

Константин Плешаков
Богатырские хроники.

КОНСТАНТИН ПЛЕШАКОВ

Богатырские хроники



Тетралогия
в одном
тоне

- Святогор •
- Добрыня •
- Илья •
- Алеша •

Артем

«Богатырские хроники»: АЛЬФА-КНИГА; Москва; 2006

ISBN 5-93556-696-6

Аннотация

Тетралогия Константина Плешакова переносит в мир древней славянской магии и эпоху войн со Степью. Описываемые в книге события фантастичны, но вполне вероятны, богатыри не похожи на почти лубочных васнецовских персонажей, это люди из плоти и крови. Привычные сказочные и былинные сюжеты предстают в неожиданном свете: великие битвы, ратные подвиги, Святополк и колдовская девка Маринка, невинно убиенные Борис и Глеб, неодолимое зло в лице вечного врага героев — Волхва.

Святогор

Первым о беде узнал Илья. Как только настиг его гонец под стенами Галича и прошептал, задыхаясь, страшное слово, тотчас взметнул Илья коня на дыбы, поворотил круто и погнал к Карпатским горам так, как один Илья коней гнать умел: измучен конь, дрожит — сейчас упадет, а Илья роздыха ему не дает, к уху склоняется и уговаривает: «Потерпи-выручи, дружок каурый; я тебя сколько раз выручал, теперь и ты мне помощи — нужда крайняя у меня». И приехал Илья к Святогору первым.

Два ученика было у Святогора-богатыря: Илья да я, Алеша. Илью гонец нашел, а меня — мысль Святогорова. Небывало велик был Святогор-богатырь, не слыхал я ни про кого, чтоб мысль свою, как он, по свету всему рассылал невозбранно. Конечно, у кого Сила есть, все могут порой мысли посылать и ловить, в меру умения своего, кто через улицу только перекидывать, кто (в жизни раз) через весь свет; в мере все дело; но Святогорова мера небывалой была.

Могу и я иногда мысль послать и чужую почуять — за несколько дней пути, но, помимо Силы, здесь еще везение нужно, чтоб твоя Сила Силой людей, земли и вод не перебивалась. У всякого леса, у речки всякой, у горы, у моря, у людей многих — своя Сила, и, чтобы в разноголосице этой мысли не потеряться — везение надобно, повторяю, или чтоб боги тебе помогали.

А Святогор ни в чем этом не нуждался. Сильным из Сильных Учитель был. Замрет Святогор на мгновение, сожмет кулаки, глаза опустит, веками прикроет, набухнут вены на лбу у него, струйка пота по виску пробежит — и услышат его хоть на краю света.

Вот и я на краю света услышал. Понятно, что я прежде Ильи весть Святогорову получил: едва только выпустил Святогор ее, я уж к нему летел, а Илью гонец еще искал и догонял. Но опередил меня Илья, потому как куда ближе к Карпатским горам в час тот холодный был, а я в степях Хазарии странствовал, подвигами беспечно играя.

Получил я весть от Святогора, и весть та черною была: погибал Святогор-богатырь, не умирал, а погибал именно. А я в тот миг на мечях для забавы бился; вздрогнул, чуть удар не пропустил, но тут же шутить перестал, степняку руку правую отсек и к коню бросился. И понесся к Учителю (знал уже, что запалю коня, но только б успеть вовремя!), и Силу свою напрягал, и Святогору кричал: дотерпи только! Вместе беду одолеем! Но не откликнулся Святогор, и озноб пробежал по спине моей, потому как не молчал бы Святогор в такой час, а отвечал бы мне. Однако чувствовал я, что жив Святогор, но — скован.

Святогора никто из человеков сковать не мог. Не было такого богатыря никогда на Русской земле и дальше не будет. Великие тайны знал Святогор и небывалой Силой обладал. Долго держал землю Русскую и уж совсем под старость сначала Илью, а потом меня в ученики взял. И как меня выучил — отошел от дел и у Карпатских гор поселился, и знал я (а

Илья не знал, потому что Силой не обладал вовсе), что небывалых тайн Святогор взыскал; нам оставил подвиги богатырские, да дела княжеские, да рубежи земли Русской, а сам Силы неземной добивался. И уж догадывался я, вихрем степи меряя, что же сковало Святогора-богатыря...

Совсем немного оставалось мне пути. Меж холмов, лесом покрытых, неся я, а дело под вечер было. Не любят Сильные время это и беречься стараются. Ночью всякий настороже, а тут убаюкан ты еще светом солнечным и слеп и глух ко злу. Опасен час заката: еще солнце на небе, но шевелятся Силы зла великого и против солнца восстают; тут и звезда тревожная на небо восходит, и по траве шелест нехороший, и ветер веет уже из мира иного, и тени кружат не по-доброму, и вообще много злого приметит глаз опытный. Если приметит: об эту пору и знающие спотыкаются, словно водит их кто-то. Что Силы темные пробуждаются к закату — это дело понятное и объяснения не требующее. Но вот тревога знающих и холодок особый по сердцу в этот час, зрение притупляющий, — это что? Смущены наши сердца закатом, и боимся мы, что может не вернуться солнце. Ночь — другое дело, сторожкое, а тут, как несмышлениши, опасаемся, что навсегда с солнцем прощаемся, и ослабеваем, и ловят нас в тенёта цепкие...

Света уж немного в лесу оставалось. Лес хороший, дубы да буки, да трава золотистая, далеко в нем видно, и не гуляла по этому лесу никогда раньше на памяти моей злая Сила. Не остерегся я, только коня понукал, вот-вот, думаю, на поляну Святогорову вынесусь. Тут-то и попался.

Ветер холодный мне в сердце ударил; словно в прорубь ледяную свалился я, и конь мой заржал страшно и на месте завертелся. И зашумело у меня в голове, и глаза застились, и увидел я, как во сне, — вьется дымок из-под двери приотворенной, а дверь кованая, темного серебра, тяжелая, мерцает за ней что-то голубовато, а дымок все тянется, тянется...

Справился я с собой, Силой заслонился и коня остановил. Стою, прислушиваюсь — ветра нет, а холод на меня по-прежнему наплывает. Не понял я впопыхах, что это за ветер такой был, который листочка ни одного с земли не поднял и ветки не шелохнул, а только сердце мое покачнул, не понял — потому что оглушен, как ударом, был, и погнал коня дальше.

Мчимся, летим невозбранно — нет ветра, но и поляны нет. Остановил я коня. Глаза закрыл, задышал по-особому (как меня Святогор учил), стал себя и лес слушать. Глаза открыл — и застонал: в обратную сторону коня я гнал, обманул меня ветер.

Не сдержался я — проклятиями заветными лес осыпал, жизнь короткую, короедную, ему посулил, развернул коня и назад полетел. Проскочил то место, где ветер меня опутал, как змея невидимая, — и ничего. И больше до самой поляны ничего я не заметил и не почувствовал, кроме того, что кончается жизнь коня моего вороного.

Вылетел я на поляну и к дому Святогорову поскакал, у горы стоящему. Конь тут пал мой; но не обернулся я на товарища своего дорогого, с Востока вывезенного, а на землю прыгнул и к избе побежал. Вышел на порог Илья могучий, плачущий, меня слышав; тут я и понял: нет больше Святогора, Учителя нашего. Опоздал я.

Однако не стал Илью ни о чем расспрашивать, а оттолкнул и в избу вбежал.

Лежит Святогор на лавке, меч его богатырский в руки вложен, и нет жизни в Святогоре, и ходит по избушке его такая Сила, какая мне страшна, та Сила, что сердце мое в лесу покачнула. Понял я тут кое-что: неземной Сила была, и ветер холодный в лесу от нее шел, и не мне Силу эту понять, и не мне ею владеть. И еще понял: не хотели, чтоб я живым Святогора застал, вот и завертели в лесу.

Я на крыльцо. «Как было?» — спрашиваю. Илья плачет: «И зачем только Святогор меня, неuka, в учение взял? Не помог я ему, а только жизни лишил. И где тебя, Алеша, носило, что не помог ты ему, тебе бы хоть на чуток пораньше прискакать». «Плакать потом будешь, — говорю, — тут спешить надо. Рассказывай!» «Куда спешить-то? — Илья недоумевает горько. — Раньше спешить тебе надо было, мертв уж Святогор, чего ж теперь-то? Обмоем мы его, похороним...» «Не знаешь, что плетешь, Илья, — сказал я ему. —

Быстрей рассказывай, потому что Силу тут неземную чувствую, от которой ни тебе, ни мне не поздоровится, да и дальше она может пойти дымом ядовитым».

Испугался Илья, зашепшил, заговариваясь и сбиваясь.

Приехал он к Святогору, а тот его на пороге и не встречает. Вошел Илья в избушку — лежит Святогор на лавке, и глаза закрыты. Заплакал Илья: помер Учитель, ученичков не дождавшись. Но открыл Святогор глаза: «Жив я еще, Илья, здравствуй. Нет Алеши-то?» Разинул Илья рот: «Нет». — «Плохо». Закрыл снова Святогор глаза, полежал, потом говорит: «Делать нечего, не могу я больше ждать, время мое на исходе. Зажигай свечи, бери меч мой и делай, что я тебе скажу». Взял Илья меч Святогоров и, как тот говорил, стал по телу его постукивать легонько, от ног начиная. До пояса дошел, тут Святогор глаза снова открыл. «Нет, — говорит спокойно. — Алеша был нужен. А теперь, после меча моего в руке твоей, я уже до пояса неживой». Заревел Илья, как дитя малое: Учителя своей рукой в гроб вогнал! Отходить стал Святогор, только и успел прошептать на прощанье: «Не кручинься, Илья, нет тут твоей вины, а Алеше передай: зло на свободе». «Какое зло?» — Илья плачет. Всего-то и успел добавить Святогор: «И еще передай: далеко ходил Святогор, да не успел донести сумочку-то». — «Какую сумочку?!» А Святогор уже неживой.

Понял я, всего уразуметь не мог, а многое понял. Илье говорю: «В избу больше не ходи», — а сам я зашел.

Нехороший дух в избе, словно ворота в мир иной отворились, и сочтется оттуда что-то. Одно Илья правильно сделал по наитию: меч Святогоров в руки ему вложил; меч-то тот сейчас дверцу в иной мир и придерживал. Спешить мне надо было, потому как чувствовал я: и до меня Сила эта добирается, и так легко, как в лесу том, не отделаюсь больше. Огляделся я быстро; вижу, стол Святогоров, а на нем пусто. А знал я: писал Святогор что-то в годы последние; где искать-то? Или запечатать все словом страшным вместе с телом его? А Сила ходит вокруг меня, ходит, принюхивается ко мне рылом своим смертоносным, губы смрадные на меня выворачивает И тут смотрю я, веточка дубовая на столе лежит.

Вышел я из избы, дверь прикрыл. Не люблю я Силу свою показывать, тайности хочу, и по мне, пусть и не знали бы вовсе, что Силой владею. Но тут отогнал я Илью подальше, напротив входа стал, меч перед собой выставил и начал слова кое-какие говорить: научил меня им Святогор в свое время, на крайний случай. И вот пришел случай-то.

Долго со мной Сила та боролась, все на волю хотела, но победил я ее, хотя думал — она меня одолеет: много времени уж прошло, как дверца-то та приоткрылась. Пот с меня ручьями, перед глазами — темень, но запечатал я Святогорово жилище на веки вечные, и никто и ничто туда не войдет и оттуда не выйдет.

Сел я на травку, а Илья ко мне — выпрашивать жадно про сумочку и про все остальное. Не стал я ему рассказывать ничего: нет Силы у Ильи, и говорить тут не о чем.

Ходил Святогор Силу небывалую искать и нашел — вот она, сумочка-то, найдена, а не принесена, а что он нашел, то его и одолело. А что зло на свободе — так узнал он это и нам передать торопился: не будет покоя Русской земле, блуждает по ней великое зло. Запечатал я Святогорово жилище, но дверца, темным серебром окованная, что в лесу мне привиделась, не в нем дрожала.

Отдышался я немного, про веточку вспомнил. В рощу дубовую пошел; недолго ходил: позвала меня Святогорова Сила, и нашел я под корнями дуба старого ларец, а в нем листы свернутые: Святогоровы писания.

Нет в них тайн страшных: не доверял их Святогор перу. Но много чего другого есть.

Учитель всегда прав. Ученикам сомневаться в этом нельзя. Не опалил нас Святогор в писаниях своих Силой неземной; земные они, и правильно это. Наше дело — подвиги искать и за землю Русскую стоять, и знал Святогор, что по силам нам, а что нет. И великое дело, что оставил Святогор после себя записи эти, — хоть и нет в них тайн великих, но многого и мы, ученики, не знали вовсе.

Загадка для нас с Ильей, почему Святогор именно нас в ученики взял: правда, объясняет он это в записях своих, но, как Учителю полагается, — усмешливо. Сильный из

Сильных — отчего нас выбрал? Илья вовсе Силой обделен, а я до тайн ее доискиваться не хочу. По справедливости, так Добрыню надо было в ученики Святогору, Добрыня до дел таких жаден. Но — прав всегда Учитель.

И забрал я писания Святогоровы и верным людям иногда даю. Разное в ответ слышу. Чудны записи эти временами, и некоторые мудрые люди оспаривали их, прочитав, — мол, зазнался Святогор под конец и небылиц всяких наплел, Силой своей оглушенный. От многих слышу: только про старых богов Святогор говорил, а про нового, которому теперь все, кроме Степи, поклоняются, и знать не хотел, значит, ложны его придумки. И нечего, говорят, про Святогора всякое выдумывать, Сильным из Сильных был, но и он не всевидящ, и смирения не хватало Святогору.

Одно скажу: Святогор еще до нового бога богатырствовал, да и вообще — не знает никто ничего верного про богов. Не мне судить и не мне, ученику, Святогоровы писания толковать: прав всегда Учитель.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Вначале была только одна Зга. Зга была всем, и все было Згой. Не имела она лика и тела не имела, но была всесильна и всеобъятна. Не шевелилась Зга, а лежала неподвижно, все собой обнимая. Чуждо ей было движение всякое. И пролежала так неимоверно долго, времени не считая. И никого и ничего больше не было. Но всему на свете приходит конец: этому закону и сама Зга повиновалась. Пошевелилась Зга, и от этого шевеления родилась Мокошь.

Выйдя из Зги нагая, Мокошь заговорила:

— Мать, дай мне одежду.

Тут Зга впервые ощутила, как в ней шевелится что-то, и этим «чем-то» было Удивление. Так родилось на свет первое чувство. Зга раньше не ведала никаких чувств, и незнакомые ощущения понравились ей. Так Родилась Радость. И от радости Зга заговорила:

— Зачем тебе одежда?

— Дай, — настаивала Мокошь.

И Зге не понравилось, что осмеливаются у нее что-то просить. Так родился Гнев.

— Мне холодно, — сказала Мокошь.

И Зга почувствовала что-то неизъяснимое и рвущее сердце; так родилась Жалость.

— Возьми сама, что хочешь, — сказала она.

И Мокошь запустила в Згу руку, и вытащила змею, и оделась ею.

— А теперь я ухожу, — сказала Мокошь. — Прощай.

И Зга, сама себе удивляясь, ощутила не гнев, а нечто совсем иное. Так родилась Печаль.

— А как же я? — спросила Зга.

— Как знаешь, — ответствовала Мокошь рассеянно.

И она зашагала и своими шагами, как пряха, выткала землю.

— Что ты такое творишь? — закричала Зга.

Но Мокошь только засмеялась; она принялась дуть что есть силы — и выдула небо.

Гневная Зга вздыбилась, но ударилась о небо и ощутила Боль. От боли и гнева невиданная Сила забушевала в Зге; не совладала с ней Зга, и Сила вырвалась наружу. Ослепительный всполох озарил все кругом; Мокошь присела и закрыла в испуге глаза, а когда мгновение спустя раскрыла — потому что, в сущности, была бесстрашна, — кругом парили огненные шары. Они шипели, лучились и жгли, и Мокошь поняла, что сейчас погибнет. Обжигая руки, она схватила шары и принялась запихивать в небо. Но ей было невыносимо больно, и один шар она не успела убрать, а второй убрала наполовину. Огненные шары, которые Зга убрала в небо, стали звездами. А оставшиеся два застыли и сделались солнцем и луной. Но луна глубже утоплена в небо, чем солнце, поэтому она то всплывает полностью, то исчезает.

Ладони у Мокоши болели невыносимо, и она приложила их к земле. И там, где она их вытирала, появились жаркие страны.

— Недобрая ты мать! — закричала она Зге и заплакала от обиды. И от слез ее соленых родилось море.

— А ты... — сказала Зга, уже успев опечалиться, — а ты...

И Зга тоже заплакала, и от ее слез родились озера и реки.

— Уходи прочь! — топнула ногой Мокошь. — Я здесь хозяйка!

И змея зашипела на Згу, и та оторопела.

— Я же тебя родила! — сказала она.

— Ничего не знаю, — мотала головой Мокошь.

— Я дала тебе Силу, — настаивала Зга, все еще надеясь на справедливость.

— Это теперь моя Сила! — кричала Мокошь. — Уходи, мать, уходи!

Зга понурилась. Вот только что она лежала одна и ни о чем не думала и была всеильна, и вот — родила, и только бы жить ей, и говорить с дочерью, и творить Силой новые вещи, но дочь гонит ее. И знала Зга, что детей у нее больше не будет.

— Хорошо же, — сказал Зга. — Я уйду под землю, которую ты мне соткала, — видно, вместо савана. Но не зови меня больше: не вернусь. И знай: не видать тебе и тому, что ты сотворишь, счастья, потому что творение твое началось с того, что ты прогнала мать.

— Счастье? — смеялась Мокошь. — А что такое счастье? Его можно потрогать?

— Можно, — сказала Зга и ушла под землю.

Мокошь ничуть не опечалилась. Она бегала по земле, трогала пальцем холодные звезды и смеялась. Потом ей сделалось так невыносимо хорошо, что она затанцевала. И от ее танца родились горы и бездны.

— Теперь ты видишь, что такое счастье? — спросила из-под земли Зга.

— Вижу! — опрометчиво крикнула Мокошь.

— Больше не увидишь, — молвила Зга, и Мокошь перестала танцевать и опечалилась.

Мокоши сделалось горько и одиноко.

— Мать! — позвала она тихонько. — Мать!

Но Зга не отвечала.

И Мокошь стала в горе рвать на себе волосы, и от волос ее пошли по свету деревья и травы.

Но даже их цветение не радовало Мокошь. Она металась по земле, не зная, куда себя деть.

И от тоски она сошлась со змеей. То была не обыкновенная змея, а змея Упирь. Пока Мокошь препиралась со Згой, Упирь молчала. Но поскольку она была извлечена Мокошью прямо из Зги, то обладала великой Силой.

Мокошь любовалась Упирью, покуда та проникала в нее. Упирь была молочно-голубого цвета и, когда свивала свои кольца, сверкала так блестяще, что даже Мокошь отворачивалась. Она заговаривала с Упирью, но та до времени молчала. И так продолжалось долго, очень долго, пока живот Мокоши не стал подергиваться.

Мокошь дико закричала от боли и забилась. Змея обвилась вокруг ее живота и стала его сжимать.

— Что ты делаешь! — простонала Мокошь. — Ты убьешь меня.

Но Упирь молчала и продолжала свое дело, как обессиленная Мокошь ее ни отталкивала.

И вдруг прогремел гром, потрясший небо и землю, и из лона Мокоши вылетела молния, за острие которой держался Перун.

Мокошь ахнула и хотела подняться, но не смогла, потому что Упирь, переползая вниз, обвила ей ноги. А Перун принялся метать молнии в Мокошь, несказанно мучая ее.

— Я же тебя родила! — закричала она.

Но Перун все метал и метал молнии, которые жалили Мокошь. И тут впервые заговорила Упирь:

— А Зга кого родила? — спросила она неожиданно.

— Так вы подсланы Згой! — завопила Мокошь.

— Нет, — отвечала Упирь спокойно, — мы просто творим справедливость.

— Мать, защити меня, — захныкала Мокошь капризно.

Но Зга не отзывалась. А Упирь по-прежнему крепко держала ноги Мокоши, и Перун поливал ее белое тело молниями.

Мокошь испугалась. Она стала биться изо всех сил, и из лона ее извергся камень, и ударился оземь, и раскололся пополам, и из половинок выскочили близнецы — Вилы.

И вскочили на ноги Вилы, и заговорили без умолку, и воцарился мир. Они сыпали всеми словами без разбору, всеми словами, которые только можно было вообразить. И понятно стало, что Сила их была — заговаривать всех до примирения.

И в досаде замер Перун, и Упирь освободила ноги Мокоши. Мокошь вскочила и закричала:

— Негодные твари! Вы хотели погубить меня!

Но Вилы говорили без умолку, и Мокошь принялась бродить по земле и звать Згу:

— Мать! Мать!

Но Зга не отвечала.

— Что ищешь ее? — сказала Упирь. — Зга затворилась в земле и никогда тебе не ответит.

И Мокошь, рыдая, принялась кататься в травах. А потом устала и оглянулась.

Земля стояла в одних лишь лесах и травах, которые начинали вянуть. Мокошь переполошилась и стала носить в пригоршнях воду из рек, но устала.

И сказала Мокошь:

— Надо, чтобы вода сама лилась с неба.

И набрала Мокошь в рот воды и выдула пузырь, и в этом пузыре сидел Стрибог.

Он взмыл в небо, ударился о него, пузырь лопнул, и пошел дождь.

Расправили свой стан деревья и травы, и реки наполнились, и даже соленому морю была прибыль. И все умылись в дожде — и Мокошь, и Перун, и Упирь, и Вилы, которые все еще говорили.

Но после дождя отсырело небо, и солнце стало в нем вязнуть. Наступили сумерки, и с деревьев стали облетать листья, а травы стали желтеть. И холодно сделалось.

И сказала Мокошь:

— Перун, мечи молнии в солнце.

И Перун метнул первую молнию, и она вонзилась в солнце, но только вогнала его глубже в небо. И стало еще холоднее.

И змея Упирь прошелестела Мокоши:

— Давай сойдемся снова, потому что иначе солнце уйдет, а новое нам взять неоткуда, потому что скрылась от нас Зга.

— Ты опять будешь меня мучить! — сказала Мокошь.

— Нет, — отвечала Упирь, — Вилы-то еще говорят.

И Мокошь снова сошлась с Упирью, и живот ее стал расти, и заметалась она и закричала:

— Жжет, жжет!

И змея Упирь сказала Перуну:

— Освободи брата, потому что, если он не родится, мы все погибнем.

И Перун метнул молнию в живот Мокоши и распорол его, и оттуда выскочил горящий Дажьбог, и поднял его Перун на молнии к солнцу, и вытащил Дажьбог солнце из неба, и засияло оно, и снова стало тепло. А Вилы все говорили.

И заползала змея Упирь по земле, и стала откладывать яйца, и из яиц вылупились берегини — на каждое место своя, чтоб его хранить. И были берегини женообразны, но могли принимать змеиный лик. Сказала Упирь:

— Теперь земля под защитой. Берегини и дождь и солнце выпросят.

И ходили они все по земле, и скучно им стало, потому что мир среди них был (Вилы-то все говорили), и ничего не происходило.

И сказала змея Упирь:

— Надо сотворить меньших наших, чтобы, как мы, страдали; тогда нам не скучно будет. И согласились все.

И змея Упирь сотворила змей и ящериц, себе подобных. И разны они были, и некоторые Силой наделены.

Но как ни пытались Перун, Дажьбог и Стрибог что-то сотворить — ничего у них не выходило.

И засмеялась Мокошь:

— Невелика же ваша Сила!

Закричали ей Перун, Дажьбог и Стрибог:

— Так сотвори ты!

— Не стану, — сказала Мокошь, — за меня другой сотворит.

И она собрала цветочную пыльцу, воду и землю, и смешала их, и положила себе в лоно. И скоро родился Велес. Он был волосат и зычен. И, выскочив из лона, он сотворил всю тварь (кроме змей и ящериц, которых сотворила Упирь, змея великой Силы) — и зверей и птиц.

И сказал:

— Мои они теперь. Попробуйте, троньте без моей воли.

— А что будет-то? — засмеялся Перун.

— А то, что духом моих меньших кормиться будете.

Не поверил Перун:

— Это еще почему?

— А потому, — отвечает Велес, — что только Зге, Мокоши и Упири Сила дана от начала самого и до конца. А остальным питаться надо.

И забил Велес для Перуна быка, и тут хохот раздался: Зга хохотала, потому что смерть в мир пришла. Оторопели боги, ну да змея Упирь их утешает:

— Не про вас смерть, куда питаться будете.

И отведал Перун спешно бычьего духа, и удивился.

— И впрямь, — говорит, — Сила моя прибывает! Дай еще!

— Что, — говорит Велес, — я тебе за подавала такой? Другого ищи.

А тут и Дажьбог, и Стрибог загалдели: «И мне, и мне!»

И решили они: надо кого-то такого сотворить, чтоб звериный дух им подавал. Говорят Упири:

— Ты самая хитрая, подскажи, что надо!

А та косится на Мокошь и молчит.

Побежали боги к Мокоши:

— Мать, дай нам есть!

Долго смотрела на них Мокошь. Думала. И Згу вспоминала. И решила: хоть и поднял на нее Перун руку, а все ж таки сын.

И остригла Мокошь ногти свои, и в воде омочила, и к солнцу подняла, а потом на землю бросила и говорит:

— Мать, а мать! Коли не хочешь, чтобы внуки твои пропали, помоги!

Ничего не отвечала Зга, но только превратились ногти в людей. Заметались людишки.

И тут Вилы замолчали, и пошли по земле войны.

Боги сначала, как дети малые, обрадовались, глазают на потеху, толкаются, а потом спохватились: что ж им есть-то не несут?!

А хитроумная змея Упирь говорит:

— А вы отнимите у людей что-нибудь: сами прибегут.

И скрыл Дажьбог от людей солнце, Стрибог дожди прекратил, Перун молнии напустил, а Велес на скот мор наслал. Поняли все люди и жертвы понесли.

Довольны боги.

А людишки и рады стараться: человеков стали умерщвлять и богам подносить.

Не нарадуются Дажьбог, Перун, Велес и Стрибог. А Перун говорит:

— Стойте-стойте, да ведь людской дух получше звериного будет.

А змея Упирь отвечает:

— Еще бы. Мокошь о людях Згу попросила. Вот Зга с ними духом и поделилась.

Задумались боги.

Вдруг Перун молниями ошетинился, как еж огненный, громом грохнул и заревел:

— Моя земля теперь! Мне Сила людская нравится и дух звериный тоже!

И молниями в братьев пустил (Вилы-то молчали).

— Безумный! — зашипела змея Упирь.

И тут земля сотряслась: то Зга смеялась.

А Перун и в Упирь молнией — та задержалась и скрылась до времени.

«А у Дажьбога, Стрибога да Велеса какая Сила против меня?» — Перун думает.

Стрибог дождем все залил — ну да Перуну что в дождь, что в сушь молнии кидать, похохатывает и огненными стрелами мечет.

Дажьбог солнце скрыл, и холод с тьмою настали. Не унимается Перун. Добить хочет братьев и в ливневой темноте одними молниями другим дорогу освещает.

Закричал Велес:

— Скот заморю!

И пал скот на земле темной, водой залитой.

Но ничего не слушает Перун.

Стрибог изо всех сил старается — но не вязнут в ливне молнии. Дажьбог сам едва за солнце держится. А Велес уже все сделал, что мог; стоит, в ладони лицо спрятавши. Стали звать Мокошь:

— Мать! Мать!

Но равнодушна Мокошь и к дождю, и к молниям, и к холоду. Снова обвила ее змея Упирь, и смотрят они на битву безучастно.

— Мать! Мать! Погибло все!

— А мне что, — говорит Мокошь спокойно. — Лучше б я вас вовсе не рожала.

А на земле в это время случились потоп, голод и мор. Все люди молниями побиты, а кто не побит, тот от холода и голода помер или в потопах захлебнулся.

Не стало людей.

А звери дикие забрались на верхушки деревьев — кто мог (ящерицы и змеи первые были), а кто не мог — погибли тоже.

Но стал Перун уставать. И понял он, что Сила его кормиться чем-то должна.

Кончил молнии метать, говорит братьям: — Ладно, давайте, как прежде, жить, только я теперь среди вас главный.

— Какой же ты главный, — Велес возражает, — когда без скотинки моей пропадешь?

— А потому я главный, — Перун говорит, — что лучше вас всех сожгу, а от своего не отступлюсь и сам погибну.

Подивились братья на первенца Мокоши, Згиного старшего внука. Но тут Вилы заговорили, и снова мир установился.

И говорят Дажьбог, Стрибог и Велес:

— Не знаем, какой ты главный, но старший — ты.

И успокоился Перун. Говорит Велесу:

— Надо людишек вернуть, чтоб животину нам носили.

Велес отвечает:

— Скот-то я верну и зверюгу всякую, а людей творить не умею. Упирь надо с Мокошью.

Заголосили боги:

— Упирь! Мокошь!

Мокошь молчит. А змея Упирь говорит:

— Поищите получше, может, остался кто.

Засуетились. Дажьбог всю землю освещает, живых выглядывает — ему сверху лучше всех видно. Закричал радостно:

— Есть тут одна.

Выжила женщина в потопе, Дарой ее звали. Забралась на ель и хвою ее глодала.

— Не справится она одна животину нам таскать, — качает головой Перун. — Надо, чтоб снова много людей было. Как быть?

А змея Упирь советует:

— Сойдите кто-нибудь к ней в лоно.

Посоветовались — послали Дажьбога. Он луч солнечный пустил — и забеременела Дара, и родила семерых детей от Дажьбога. Так род людской восстановился.

И передалась от Дажьбога, и стала гулять по людскому миру Сила.

Но Мокошь покоя не знала. Мать свою, Згу, прогнала и с тех пор металась. Детей рожала на забаву, землю творила, но не было Мокоши покоя.

И вот снится ей, будто заговорила с ней Зга: — Вернись ко мне, дочь. Только для этого все обратно повернуть надо. Чтобы ни детей твоих, ни земли, ни неба.

Проснулась Мокошь и думает: не говорит со мной мать наяву, а вот во сне заговорила. Чтобы к ней вернуться, надо детей моих извести.

Долго думала, потому что дети уже в силу вошли, но придумала все ж таки. Но одного не знала: что змея Упирь все ее мысли читала.

А змея Упирь обратно в Згу не хотела. Не тосковала она по Зге, а хотела и дальше по свету ползать и советы давать.

И сказала змея Упирь детям Мокоши, как от матери обороняться.

Приходит Мокошь к Велесу и говорит:

— Сын, решила я тебя позабавить и животинку лесную тебе ручную подарить. Ты всякую животинку любишь, а эта вовсе не обычна будет.

— Спасибо, мать, — Велес говорит. — Когда принесешь?

— А завтра по росе.

Приходит Мокошь к Стрибогу и говорит:

— Сын, ты вот водичкой балуешься, а я тебе забаву водяную приготовила.

— Спасибо, мать, — говорит Стрибог. — Когда забава-то будет?

— А завтра по радуге.

Приходит Мокошь к Дажьбогу и говорит:

— Сын, ты огнем правишь, хочу тебе игрушку огненную принести.

— Спасибо, мать, — говорит Дажьбог. — Когда игрушки-то ждать?

— А завтра на зорьке.

Приходит Мокошь к Перуну и говорит:

— Сын, ты у меня старший, чудо одно у меня для тебя есть.

— Спасибо, мать, — говорит Перун. — Когда чудо-то увижу?

— А завтра по холодку.

«Вот и ладно, — Мокошь думает. — А Вил я и так раздавлю».

Поднялась Мокошь затемно, ходила и улыбалась: скоро-де с матерью буду. Собрала подарки детям своим и пошла.

Приходит к Велесу и бросает на него духа малого, до Силы богов охочего, всю выпивающего, до дна.

А Велес глиной намазался, и увяз в волосах его дух малый; выловил его Велес и на землю бросил. И стал этот дух малый лешим.

Заплакала Мокошь.

Приходит к Стрибогу и сажает ему на колени двух духов малых — мужского пола и женского, воду выпивающих до единой капли. А Стрибог маслом коровьим натерся, и соскользнули с него духи, и упали на землю, и стали водяным да русалкой.

Еще пуще закручинилась Мокошь.

Приходит к Дажьбогу и напускает на него Змея огнедышащего, солнце пожрать норовящего. А Дажьбог вместе с солнцем в небо ушел, и ударился Змей мордой о небо и отлетел на землю, где Змеем огнедышащим и остался.

«Ну, — думает Мокошь, — последняя надежда на чудо для сына моего Перуна». И протягивает Перуну яйцо зеленое. Перун по нему молнией ударил, а яйцо пухнет. Перун — пучком молний, а яйцо крепнет и смарагдом переливается. Перун напрягся, заревел, оплел яйцо молниями, а оно все больше и больше и светится уже, и смех из него идет нехороший.

Рада Мокошь. Страшную игрушку сыну принесла. А яйцо уж с Перуна ростом. Вот-вот трескаться начнет и выползет из него кто-то. Только Мокошь да знают кто.

Но тут-то Упирь и появилась. Сжала яйцо, но мало что не дала ему лопнуть. Упирь была необыкновенная змея; яйцо стало уменьшаться...

Мокошь бросилась к ней, потому как в яйце была ее последняя надежда, но Перун выпустил веером молнии и преградил ей путь.

Упирь билась на яйце; в нем бушевала такая Сила, что Упирь просвечивала насквозь, и боги видели, как напрягаются ее позвонки и как колотится ее сердце. Но вот яйцо стало тускнеть, и, наконец, Упирь бросила его оземь.

Мокошь дико закричала и вцепилась себе в волосы, а боги перевели дух.

Но яйцо не погибло. Оно упало на землю, и с ним пришло к людям великое лихо, потому что в яйце билось лютное создание Мокоши, ее последняя надежда, предназначавшееся на гибель богам, а доставшееся людям...

Не буду таиться: да, в яйце был Кашей.

Не смогли боги победить Мокошь, а Мокошь их не одолела. Ушла от всех Мокошь и затаилась. Но звала ее в снах Зга, которая от обиды на единственную дочь посулила всему, что она творила, несчастливую жизнь, звала и говорила: поверни все обратно. А наяву никогда с ней не говорила и не отзывалась, даже когда Мокошь в голос плакала.

И решила Мокошь: если детей своих извести не | могу, то изведу людишек, чтобы некому было богов кормить. А если не кормить богов Силой людской и духом звериным, зачахнут боги и исчезнут. Только Зге, Мокоши и Упири питаться было не нужно. И ополчилась Мокошь против людишек. И пошли по земле войны, и истребление, и коварство, и подлость, и страх, и ярость.

Зга была под землей, и не знал на земле почти никто о ней. Не добра и не зла была Зга, но вся Сила, что в мире была, от нее исходила. Не думала Зга о людях, а только о том, как дочь мучить. И не вредила им, и не помогала.

После Мокошых дел скользнула змея Упирь на землю и решила там жить: не простила бы ей Мокошь предательства, а на земле Упирь никто не одолеет. Не хочет Упирь людского исчезновения, потому что тогда мир в обратную сторону вертеться начнет, и придется ей в Згу возвращаться. А не хочет Упирь этого.

А Мокошь желала людишек истребить. И для этого были у нее на земле слуги. Много было слуг у нее. Только напрямую с Мокошью лишь избранные общались. Слишком велика Сила Мокоши, чтобы от нее смертные люди питались. Совсем немногие, Сильные из Сильных, до этого доходили.

Но были малые духи на земле, Мокошь порождение.

Лешие ей не больно повиновались. Полюбили лешие леса и хозяевами там стали — и над зверьем, и над человеками. И не хотели лешие людей истреблять. Так, редко — заводили в чащу и губили, для собственного развлечения. Но зла настоящего не было в них. Понимали лешие, что власть им дадена до тех пор, покуда люди есть. Да, бывало: заводили лешие в трясину целые рати — но это когда Мокошья Сила их одолевала.

Когда встретишь лешего, если Сильный ты — скажи ему тихое слово знающего. А если нет — стой безмолвно и молись Велесу и Упири. Не двигайся, замри. Отступится от тебя леший. И когда в лесходишь — старайся без крайней надобности деревьев и кустов не ломать и не рубить. На костровище сноси старый хворост, сам собой опавший. Ягоды, грибы, орехи, мед, корни и травы — бери, но не жадничай: не любит леший этого. Если

Силы у тебя нет, папоротник не РВИ: лешачья услада он, отдыхает в нем леший. А если знающий ты и знахарством занимаешься, вырой папоротник и ямке поклонись низко. И когда зверя или птицу подстрелишь — попроси у лешего прощения. Если водить тебя леший начнет — берегись: может, играет, а может, погубить тебя хочет. Не ходи по лесу беззаботно. Думай о хозяине его. И если почувствовал, что повел леший тебя, — стань спиной к старому дубу, руками его обними, как сможешь; лучше, чтоб руки друг с дружкой сошлись, и молись одной только Упири: она твоя последняя заступница.

Водяные и русалки на леших похожи: губят человек, но истребления рода их не хотят. Водяной в каждой пресной воде живет, но сидит обычно на глубине, а к берегу только позабавиться выходит. Говорят, что плывущего за ноги хватает и утаскивает сразу, как сом утицу: не верь. Не так. А потянет тебя что-то под воду легонько, будто ноги твои в траве подводной запутались, — молись Стрибогу: ухватил тебя водяной, но еще можешь выбраться. Водяной над рекой или над озером хозяин. Угрюм он и людскими делами мало занят. Если мужеского ты начала — вряд ли пристанет к тебе водяной. Женщинам и девушкам он опасен, особенно похотливым. Какая от живого мужа гулять станет — к воде не подходи. Рыбу лови без страха: равнодушен к ней водяной. Только если угря с синим глазом поймаешь — сразу в воду обратно брось и руки умой: забава он водяному и отомстит хозяин за любимую животину. Сад подводный у него на глубине устроен, и в том саду угри синеглазые гуляют. В воду камней не бросай и детям своим того не позволяй. Когда на лодке плывешь и весло вдруг траву подводную рвать начнет — остановись и греби хоть ладонью, лишь бы сады подводные не рушить.

Русалки ни над чем властвовать не поставлены. Балуются, как хотят. Живут под берегами крутыми. Никогда кувшинок не рви: кто сорвал кувшинку, тот русалке ее подарил. Заманит в воду смехом серебряным — и пропал ты. Не ломай и камыша: кто камыш сломал, тот у русалки ресницу вырвал. Женскому началу не опасны они. Но если до женщин ты охоч — ступай в воду только при крайней надобности. По вечерам русалки бесятся, а в лунную ночь, коли не Сильный ты, так и не подходи к омутам.

Змеи огненные есть. Раньше больше их было, сейчас повывелись почти все. В самой чаще Змей живет, а когда в лесу Змей поселился, леший над лесом больше не начальник и к Змею тебя выведет услужливо. Летают Змеи эти с натугой, но большие расстояния покрывают. Там, где всаднику шесть дней пути, богатырю — три, Змею лететь — день. С отдыхом, конечно.

Знаки Змея: гарь в лесу. От человеческой легко отличишь: иван-чай на ней кучно растет и роста небывалого. Еще знак: земляничные поляны сухие, с земляникой взбесившейся, громадной.

Сила Змея: к себе притягивает, чтоб сожрать. Человечину чует задолго. А если завидит, так и Сильного может остолбенить.

Если завидишь Змея и страшных слов не знаешь, а спастись хочешь, молись Мокоши. Больше молиться некому. Обещай слугой ее стать. Может, отпустит Змей, а Мокошь про обещание твое забудет.

Берегини сильно ослабли. Поставили их боги, чтоб землю каждую охранять, но без Силы Мокоши тяжело им. Поэтому жертвы приноси им прежде Перуна: голодны берегини, добры и забыты.

Если в Силе они, ни Змей, ни кто иной страшный в округе не появится. Только молиться им бесполезно, тут Сила нужна, а если Силы нет, так доброта: хоть крошки хлебные положи. Кормятся они в полдень, на сухих пнях.

Когда дойдешь до мест, где берегиня скрывается, сразу почувствуешь. Воздух там даже зимой душистый и из-под снега — первоцветы. А летом цветы так и стелются и даже по елям вьются.

Но не ищи берегиню. Пугливы они и место свое нажитое бросить могут. Людям являются змейками золотыми или кустами цветущими, чаще шиповником белым. Если встретишь — замри и стой тихо-тихо и дыши в такт сердцу. А потом пяться, отходи

понемногу. Спугнешь берегиню, и останется земля твоя без защиты.

Змея Упирь на Севере скрылась, в лесах непролазных. Логова постоянного не имеет, из одной норы в другую кочует: Мокоши боится. Людям является редко. Вид принимает обычной змеи, только по чешуе радуга играет. Редко является, и никогда не знаешь, где встретишь. Поэтому, если в лесу змею слышишь — посоха не поднимай. Злитесь Упирь на людскую неблагодарность, что забыли почти все про нее, а ведь это она людей спасла. Покажется тебе — пади ниц, и землю целуй, и слов никаких не говори. И не проси ее ни о чем: в прах рассыплешься. Даже если Сильный из Сильных ты — и не по сомнению, а если люди тебя таким почитают знающие, — не заговаривай с Упирью. После Зги и Мокоши — третья она, а из Згиного лона — одна она на земле.

Змей никогда не убивай. И ящериц. За каждую перед Упирью ответишь. И можешь ответить страшно. Она их сама сотворила.

В норы ее не лазь. Знак норы: круглая она, как солнце, края без изъянов.

Говорят: в таких норах клады Упирь прячет. Врут, потому что на что ей клады? И некоторые лазили в норы — и все погибали на месте.

В других местах оставляет Упирь клады, но клады человеку обыкновенному непонятные: вещи диковинные. Видели однажды цветок с ликом человеческим, а в другой раз — яйцо золотое. Великую Силу такие клады дают — если овладеть ими сумеешь. А не сумеешь — сгинешь, и семья твоя сгинет, и друзья почти все. И большая беда для земли получиться может. Увидел вещь чудную, непонятную — беги в сторону и молись Упири: «Прости, заступница, что не свое увидал».

Змей вообще сторонись. Не проверено, но говорят, что даже медянкой Упирь обернуться может.

Человеческая защитница она, но больно велика ее Сила.

Страшный дар Мокоши Перуну — Кашей — все еще на земле. После Упири самый Сильный он, и черна его Сила, как небо ночное осеннее. Главный он слуга Мокоши, главная ее надежда людишек истребить.

О Кашее много говорить знающими запрещено. По земле кочует, тела не имеет, Сила огромна и только зла, вид принимает любой. Может ведром прикинуться, может дубом, может плотником.

Незнающий почуять его никак не может: всю человеческую жизнь Кашей может в доме жить, и не узнают его. И похоронят потом...

Почти всесилен Кашей и почти неуязвим. И растекаются от него ручейками злоба и ненависть, и Сильных много вокруг него, и Сила его над землями разлита.

Сходят и боги на землю.

Перун в грозу страшную покажется — всегда на взгорье, с молниями, в руке зажатые. Хоть и нужны ему люди, а любит молнией травить, как зайцев, и петляет молния, и живет долго, пока не поразит кого-то насмерть. Но это балуется Перун. В грозу ему молись. Увидишь — если не боишься прогневать — проси о делах воинских и славе. Может, посмотрит на тебя Перун, да и сожжет, а может, и поможет.

Вилы тоже показываются — в отдалении, как пара близнецов-отроковиц. Часто над полями битв парят — и молчат. Проси их о мире. Дурного Вилы не сделают. Даже если не парят они, а на земле стоят просто, всегда их узнаешь: кукушки над ними выются.

Стрибог является в обличье странника длинноволосого, и по волосам вода струится даже в засуху. Смешлив он и, если развеселишь его, даст тебе, что нужно — дождь или ведро. На засуху или потоп не жалуйся: обозлится Стрибог.

Даждьбог только лучом является. Луч тот плотен и ярок и стоит столбом. Если цвет имеет золотой — к плодородию общему. Если зеленый — к счастью небывалому. Если красный — к смерти. А радужный — к морю. Проси об удаче луч золотой, а пуще того — зеленый. А красный и радужный — спроси: «Мне ли?» Если качнется луч — тебе.

Велес является либо человеком голым, волосатым сплошь, либо быком красноватого цвета. Быка еще и так узнаешь, что все твари к нему липнут и шкуру лижут. И человек

голый, волосатый, тоже ими окружен. Проси Велеса о здоровье скота и о делах торговых. Никому еще худо не стало от того, что Велеса попросил. И не бойся Велеса. Поклонись и подойди — и счастье тебе будет.

За разным боги на землю являются. То скучно им, то любопытство одолевает, то знамение дать хотят, а то — похоти ради.

Сходят к девицам только. Стрибог дождем коротким, яростным налетает, с вихрем; замотает-закрутит.

Даждьбог — лучом опять же. Только к спящим приходит.

Велес человеком набрасывается. Но не насильничает — никакая перед ним не устоит.

Один Перун не может к девице сойти; многожды пытался и всякий раз испепелял дев. Поэтому завистлив Перун к братьям: не дано ему познать наслаждение это.

Охотчивы боги остальные до этих дел. И Сила их к людям переходит. Не рождаются боги от смертных девиц, но Сильные из Сильных рождаются. Блага может быть их Сила и черна может быть — все от Мокоши. И иногда боги детей своих хранят и помогают им. Но редко это бывает. Часто и не знают люди, кто к матери их сошел, повторяют за всеми: гулящая. Но бывает, что открывается все, и знают Сильные из Сильных род свой.

От Зги родилась Мокошь.

От Мокоши родился Даждьбог.

От Даждьбога родился я, Святогор.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Много вымыслов окружало мою жизнь и много недоверия. Много врали про меня и враги, и друзья, и даже те, кто меня в глаза не видывал.

Одни говорили, что мать моя стала тяжела от Сильного воина Гора, пришедшего с западных земель. Действительно, помнили многие, что жил он в нашей деревне, Силой своей удивляя и воинским умением. И по срокам сходилось.

Другие говорили, что отец мой был киевский варяжский князь Игорь. Мол, отсюда и честь вся Святогору пошла. И по срокам опять же похоже было.

Третьи говорили, что рожден я действительно от Даждьбога, но только не матерью моей, а самой землей, что зачали земля и Даждьбог меня в весенний солнцеворот, и даже место показывали — в сосновом бору, на поляне, на пригорке, на шлем похожем. И якобы лежал я в земле, как в утробе, а потом землю раскидал и вылез наружу, и подхватили меня на крылья две сойки и принесли в дом матери моей. Так и зовется с тех пор холм тот: Святогорово Лоно.

Да, и воин Гор, и князь Игорь могли быть отцами Мне; проходило княжеское воинство на юг через нашу Деревню, и Гор к нему прибил и сгинул. И Сильным он был — до сих пор показывают в наших местах родник, что он взглядом отворил, и называют: Горово Око. И князя киевские меня в почете с юности держали.

Да и холм тот шеломообразный странен: бывает, по ночам свечение от него исходит, и тепла земля там в самую непогоду, и в снег макушка его непокрытой торчит. И связан я с холмом тем, со Святогоровым Лоном. Но об этом — в свой черед.

Сейчас расскажу, как было.

Я помню себя еще в утробе.

Не важно мне, что скажут те, кто эти записи прочтет. Не для славы пишу; носил я славу как бремя всю, жизнь мою, и не нужна она мне. Не для того, чтобы след по себе оставить на земле, пишу; и без того неумеренно много оставляю. Не для того, чтобы поняли меня; чтоб меня понять, нужно богатырем быть и все, тайны, что я ведал, ведать; богатыри пока не перевелись,] а вот всех тайн своих никому не открою. А для того пишу, чтобы когда по пути моему пройдет кто хоть сотню шагов, так чтоб легче ему было, потому что частью знания своего поделюсь. Для пользы пишу. И не важно мне, поверит мне каждый или не поверит; тот, кто моей дорогой пойдет, сразу правду почует.

Итак, я помню себя еще в утробе. В утробе на ребенка памяти и предчувствия странные находят, с видениями, ему непонятными. Прошрое с ним говорит и будущее. И в утробе видел я богов битву, и Мокошь, и Упирь, и Перуна, и Дажьбога, и других. Одну только Згу не видел. А от будущего — так, сны, в которых многое верно, а многое — намеренно напутано. Видел богов на своем пути и малых духов, и сам путь — со сшибками один на один, засадами, битвами неисчислимыми, мудрости огнем; и в конце тот путь нехорош был, тьмы, холода и хохота чьего-то исполненный, и одиночества, когда никто мне не помощник и не выручалычик.

Ничего я в это время думать не мог, а мог только видеть и слышать.

Помню молниеносное рождение свое — и луч солнца, в глаза ударивший. Закричал я... И, родившись, ощутил страшное бессилие, потому что, в отличие от младенцев остальных, уже мыслить мог, а никто не понимал этого. Подходила ко мне мать моя, брала на руки и говорила: «Сынок, а сынок, что же ты это, как все, — и шептала: — Ведь ты же от бога рожден!» И в досаде заходился я криком.

Как теперь понимаю, было у меня разуму, у новорожденного, как у десятилетнего дитяти, и невыносимо было, чтобы ворочали меня, как несмышлениша. Но мать моя быстро догадалась, что делать, и стала говорить мне: «Сынок, подай знак, что понимаешь!» И я знак подавал — глазом моргал или рукой дергал.

И с самого начала стала мне мать твердить одно только, что знать мне нужно было сызмальства: чей я сын.

Была мать моя девушкой, и стали случаться странные вещи. Работает она в поле, а из облаков луч — прямо на нее, и греет, и шею ласкает. Не знала мать моя, что Дажьбог так всегда за девушками ухаживает, к себе приучает. Не была мать моя Сильной, а была только красоты редкой. Когда сходят боги к женщинам смертным, не Силу они ищут, а то же, что и мужи обыкновенные. И стал луч тот матери моей сниться, и голос во сне звучал: «Пойди в лес на поляну и жди меня на пригорке».

И, завороченная, пошла она в лес на поляну и поднялась на пригорок, и луч с небес протянулся — и отдалась она Дажьбогу. Пригорок тот и прозвали потом — Святогорово Лоно. Всегда остраиваются места, где женщины земные богов принимают. Земля с них и травы от бесплодия лечат и от бессилия. Стекаются на них птицы и звери. И всякие другие чудные дела творятся. Так, на Святогоровом Лоне действительно — свечение в ночь тихую; издадека теплится огонек тот, и жутко незнающему человеку в лесу. То свечение летом усиливается, а зимой убывает. Но не вечно оно; пройдет лет сто — и не останется и намека, потом уж и забудут, что было такое. Сила трав подольше задержится — но и она пройдет. А уж потом и костровица на пригорке этом жечь начнут — все пройдет и все позабудется. Вижу.

Все пройдет. Русалки, лешие, берегини — сгинут, как не были. Пусты станут леса, замолчат омуты. Уж переводятся Змеи. Кашей — и тот не вечен. Да что там говорить — и боги уйдут, уже и сейчас слабеют, самой Мокоши и той не станет. Змея Упирь скроется в северных болотах, и не будет понимать потомок наш, отчего это заповедны будут болота те и отчего не пройдешь по ним никак, и будет потомок наш далекий на болота те наступать, а его водить начнет, и плюнет, и отступится он, и скажет: бросовая земля. А не бросовая вовсе, но нельзя Упирьин сон тревожить, Сила и тогда беречь ее будет. Но — скроется Упирь от человеческого ока, уйдет от человеческих дел, во сне замкнется, в кольцо свернувшись. Одна лишь Зга, Зга одна все так же будет безмолвно радоваться в земле, не старея и ликуя, что сбылось ее обещание дочери Мокоши: все будет на земле, новые боги придут, и невиданные вещи настанут — одного только счастья не будет...

Рос я, многое уж зная. Пять месяцев мне исполнилось — тут и заговорил — и не лепетом или словами там отдельными, которые матери одной лишь понятны, а разумно заговорил, чисто.

Хоть и догадывалась мать моя, что так и будет, а все ж таки ахнула, побежала к яге. Та на пороге ее встречает, шамкает: «Как от Дажьбога рожать, так вы, девки, ясны, а как к яге

идти, так грустны». И смеется нехорошо. Но знала яга, что с Дажьбогом шутки плохи. Следит он за своими детьми в младенчестве и в обиду не дает. Кто обидит — скверно дело Г обернется. Хоть и не первый среди богов Дажьбог, а велика его власть над человеком. Стояла изба твоя — и вдруг полыхнула под солнцем, как хворост. Или вышел ты на солнышко погреться — да тут почернело у тебя в глазах, захрипел ты, светом удушенный, и замертво упал.

И сказала матери моей яга: «Говорят уж в округе, от кого ты родила. Ничего не бойся. Сейчас под покровом солнца сын твой. Как вырастет, так покров упадет, а покуда под защитой он. Живи в родительском доме, как жила. Только замуж выходить и думать не смей: не любят этого боги. Соблазны тебе всякие будут. Но помни: кто с богом полюбился, того бог за смертного не отдаст. Подпустишь мужчину близко — беда тебе выйдет. Этого — бойся. А про сына тебе одно скажу: к змеям его отведи».

«Это как к змеям?!» — Мать моя ушам своим не верит.

«Вдругорядь повторяю тебе, Дажьбогова жена на час. Хочешь сыну добра — отведи его в лес да посади на берег ручейка мелкого, а сама уходи до вечера».

«Да как дите в лесу бросить! Звери, люди лихие!» — Мать моя плачет.

Качает головой яга: «Не того боишься. Мужчин к себе не подпускай, а за сына не опасайся. Змеи его от всего уберегут. А коли не сделаешь так, как я тебе велю, забудет про сына своего Дажьбог и лишится он защиты».

Три дня и три ночи проплакала мать моя. И на третью забылась сном под утро, и тут ей Упирь приснилась: радужные кольца свивает, играет, как молоденькая, за собой в лес манит. Поняла мать: надо идти, раз сама Упирь показалась.

Взяла меня и понесла в лес (я тогда хоть и говорил, но еще ходил нетвердо). Посадила у ручья, что мимо холма того шелохообразного бежит, слезы отерла и пошла, не оборачиваясь, прочь.

Сижу я. Лес не шелохнется. Хвоинка упадет — и ту слышно. Ручеек тихо так журчит, мелкий он, и каждый камушек на дне видно. И тут зашуршало что-то в траве, и показались три змеи. В мою сторону головы повернули, поглядели на меня, но не приблизились, чтоб не пугать. В ручей спустились и стали там играть. И понравилась мне игра их. Переливаются в воде змеи, и чешуя на солнце зернами ослепительными сверкает.

Потом на берег выползли и ко мне направились. Сначала вокруг ползали, а потом осторожно — на колени, да на руки, да на шею и шипят тихонько. Засмеялся я от удовольствия — так мне змеи эти полюбились. И не страшно мне было совсем, и, оттого что холодные они, противно не было. И стал я змей гладить и в воздух поднимать тихонько, а они пошипивают успокаивающе: мол, правильно делаешь.

Я их прошу: «Скажите хоть что-нибудь!» А они только изгибаются плавно — и ничего.

Поиграли со мной змеи — и уползли в траву.

А на исходе дня и мать моя прибежала:

— Как ты, сынок?!

— Почему они молчали, мама?

Покачала головой мать, поняла, что Сила тут есть несомненная, и домой меня понесла.

С тех пор каждый день я со змеями играл. И — диво дивное — стал мало-помалу язык их понимать. Учили меня змеи, а я ухо имел особое от рождения и к концу лета уж многое знал. И Упири научили они меня молиться, и понял я, что не только Дажьбог, но и Упирь меня бережет, хоть сама не показывается. Тайн никаких змеи мне не открывали, а больше языку своему учили и терпению. И говорили: придет твое время, не торопись, век твой долгод будет.

И назвал я их: Шиха, Шитусь и Шипь.

Осенью простились со мной змеи: до весны. Не время, говорят, нам по снегу ползать. Набирайся за зиму сил и ума. К зимнему солнцевороту бегать станешь, а к весне сам к нам приходи.

Осень недобрая настала. Осенью даже Стрибог воду без радости всякой на землю льет.

Озlobляется Стрибог на холод и затопляет землю потоками бессмысленными.

И несколько дней не было мне покоя. Говорил я матери: «Беда будет». Дед на меня сердился: «Накличешь, — говорит. — Не знаю, — говорит, — чей ты сын и отчего в год неполный разговариваешь, но таких слов в моем доме молвить не смей!»

И будили меня видения странные, непонятные, и некому было их объяснить. Говорю матери: «Отнеси к яге». — «Ладно, завтра с утречка отнесу».

Еле дотерпел я до утра. Но тут дед со двора возвращается. «Гадюки, — говорит, — такую силу взяли! Уж крупа снежная сыплет, а они к самому дому льнут! Эку гадину на крыльце пришиб, под дверью лежала и шипела!» Глянул я и оцепенел: Шиха то была.

Сжал я зубы, сдержал слезы, глянул: голову ей дед размозжил, а брюхо она себе сама раскровянила, покуда до меня по крупе ледяной острой ползла. Добрая была змея Шиха, и, видно, дело у нее до меня было важное.

Сказал я деду: «Накажет Упирь тебя за это! А еще змею у дома увидишь, особенно в такую непогоду, меня к ней выноси».

Разбушевался дед, злым кобелем на меня полез: ты такой-сякой, в подоле принесенный, меня учить будешь! И мать на меня накричала, и удивило меня это. Никогда в жизни на меня мать голоса не повысила, а дед хоть и сомневался насчет Дажьбога, а все ж таки тоже ни мать раньше не попрекал, ни меня.

Тут в дверь стук. Дед вздрогнул. Но стук — людской, и голос слышен: «Пустите, люди, замерзаю я на холоде этом, добром отплачу вам!»

Отворил дед дверь, а на пороге молодец — волос русый, борода курчавая, глаза сини, как василек. И весь крупую снежной облеплен и от холода дрожит. Я, говорит, купец киевский, пустите непогоду переждать.

Бабка с матерью к печи, а он смеется: у меня с собой добра припасено. И на стол всячины всякой наставил. Я посмотрел и говорю:

— Не ешьте!

А дед смеется странно и говорит:

— Не обижайся, гость киевский, с дурью у нас мальчишка.

И с любовью на гостя смотрит. А дед мой нелюдим был, все хмурый ходил. И мать с бабкой суетятся. А мать — ох, мать! — раскраснелась вся, на гостя взоры такие бросает и смеется беспрестанно. Говорю я матери:

— Яга что наказывала?..

Она смутилась, а гость кучерявый ко мне подходит, на корточки присаживается и говорит ласково:

— Что наказывали, что рассказывали — то былшем поросло и репьем покрылось.

И глядит на меня добрыми глазами смеющимися, и ласка эта в меня проникает. И стало мне легко и радостно, и засмеялся я в ответ.

Сидят они за столом, гость им лакомые куски подкладывает, меда пьяного наливает. И захмелел дед, и лицом в стол ткнулся, и бабка за ним вслед захрапела. А гость уж руку матери моей гладит и слова ей какие-то на ухо шепчет. Тут оглянувшись на меня гость, сверкнул глазом, палец в мед обмакнул — и мне в рот. И еще веселее мне стало, и затуманиваться стало все, и не смотрел я больше на них, а лежал и грезил о чем-то.

И вдруг от боли вскрикнул; гляжу, а это меня Шитусь ужалила. И не успел я ничего промолвить, как взвыл наш гость и принялся что-то ногами топтать; смотрю, а под ним Шипь вьется и жалит его, и жалит.

Поднял гость наш за хвост тело ее умирающее и молвил:

— Ну, это гадюка просто.

А потом вдруг схватился за сердце и взвыл:

— Не-ет, не простая гадюка это! — и ко мне бросился, но пошатнулся и упал замертво.

Тихо стало. Просветлело у меня в голове, на мертвую Шипь смотрю, глазами Шитусь ищу. И тут словно шипнул мне кто в ухо на змеином языке имя какое-то, но только не разобрал я его.

Сполз я с лавки и заковылял к ним ко всем.

Гость на полу валяется, спиной Шипь мертвую придавив, и сам мертвый. Никогда не видел покойников раньше; не по себе мне стало, хоть и не испугался я.

Дед с бабкой не шевелятся, но дышат. Мать сидит и плачет, и глаза бессмысленные.

Что делать? От роду — год, говорить и думать горазд, да ногами не шибко тверд, уметь — ничего не умею, только язык змеиный понимаю. Стал звать: «Шитусь, Шитусь!» (одна она живая среди сестер осталась). Но скрылась Шитусь.

Нацепил какую-то одежонку, пошел к соседям. Но знал: боялись соседи меня. Поэтому звать их не стал, а только достучался в дверь и сказал: «Бегите к яге, не то беда будет», И домой поплелся. А надо сказать, крупа снежная на дворе прекратилась и растеплело. И понял я, что крупу ту гость наш с собою принес.

Вернулся в избу. Понимаю: пока еще соседи до яги добегут (на выселках та жила) да пока яга приковыляет — много времени пройдет.

Пошел я к матери. И вижу — горит лицо ее, и чувствую — пылает вся. Обессилела и лежит ничком. А я-то ничего сделать не могу. Смотрю на деда с бабкой — а они уж неживые.

И тут страх на меня напал. Мать помирает беспомощная, а я в избе, где уж и так три покойника. И хуже того: кажется мне, что перемена какая-то с гостем нашим крупяным происходит, словно расплывается лицо его, и черт его различить я уже не могу. И не шевелится он только потому, что Шипь весь яд свой в него впрыснула, а непростая гадюка была Шипь — это еще и гость наш «дорогой» перед смертью сказал.

А страх наползает, как облако, и стал я Дажьбогу молиться: защити или страх по крайней мере отгони. Но не помогает Дажьбог, да и как ему помочь — сумерки уж на дворе, не его время.

Упирь стал поминать — но все без толку.

А над гостем киевским дымок некий виться стал; так, легкий дымок, как над болотом к вечеру, и запах пошел тяжелый, как от кожи жженой.

И тогда, как я считаю, и стал я богатырем. Взял дедовский нож и — как ни тяжел он был для руки моей — приставил к горлу гостя мертвого и не отпускал, покуда шаги на дворе не услышал.

Соседи войти побоялись, и только яга тенью мышью прошмыгнула.

— Лихо-лишенько, яд горит, смерть палит, — прошипела она и к мертвому гостю проворно подскочила.

Тут меня заметила — от горшка два вершка, но все еще сжимавшего нож, как меч.

— Положи нож, храбровин, — сказала равнодушно. — Малому горю уже не поможешь, а от большего горя нож невелика защита.

Заковыляла яга по избе, в лица родных моих посмотрела, яства поковыряла.

— Что, храбровин отцович, — сказала, — без семьи ты остался. Дед с бабкой мертвы, как бревна глупые, а мать к утру отойдет.

— Так делай же что-нибудь! — И я замахнулся ножом.

— Бей старуху, — сказала она так же равнодушно, — не такие били. Давай думать, что дальше с тобой будет.

— Мать мою вылечи! — топнул я ногой.

— Ох, лихо, — вздохнула яга. — Говорила я девке, но сильней моих слов гость ваш оказался. Заберет ее Дажьбог с рассветом. Как первые лучи солнышка покажутся — сгорит. Нет Силы такой теперь, чтоб ее вылечить.

Я замолчал, и первые и последние в жизни слезы потекли по моим щекам.

— Не хнычь! — прикрикнула яга. — Сам едва от смерти ушел! Рассказывай, как было.

Рассказал. Ни слова не вымолвила в ответ яга, а вышла на двор и кликнула соседей, которые в испуге хмуром поотдаля толпились.

— Готовьте три домовины, — сказала им яга. — Старику со старухой из ели горькой, чтоб смолой яд закупорить, а Дажьбоговой жене из дуба, божеска дерева. Ройте четыре

ямы. Для жены Дажьбоговой в полроста, чтоб лучи вдовца ее грели, для стариков — в рост, а четвертую — в два роста с четвертью.

— Умом ты подвинулась, яга, — сказал кто-то угрюмо. — Отродясь в два роста с четвертью не рыли.

Засмеялась яга, как закаркала:

— А не выроете, так скоро вас самих закапывать будет некому.

— Кто четвертый-то? — спросили из толпы. — Дажьбогов сын?

— Ответишь за слова такие, — сказала яга спокойно — Перед Дажьбогом ответишь.

— Прости! — взрыдали.

— Завтра жертву Дажьбогу принесешь. А ямы чтоб к полудню готовы были.

Вернулась в избу яга, разворошила мешочек, что с собой всегда таскала, накурила травами горькими. Мать уложила на лавку небрежно, деда с бабкой и вовсе на пол стащила. Потом опустилась на колени перед гостем мертвым, посмотрела пристально.

— Да, — сказала, — уходит уже, — и усмехнулась непонятно.

— Куда уходит? — спрашиваю. Покосилась на меня яга:

— Не видишь, что ли? У него уж и лица-то, считай, нет.

Вгляделся я — ахнул. И в самом деле, там, где лицо было, дымок один вьется, а черт уже и не различишь.

Но разобралась яга, что к чему, и все ж таки рот мертвецу приоткрыла. Сунула туда желудь с дуба священного, а сверху золой из печи присыпала. К рукам-ногам привязала по корешку и шепотом наговорила чего-то. Поднялась, кряхтя, с колен, зевнула:

— Все равно к утру уйдет.

На меня посмотрела:

— Нельзя тебе здесь одному. Ночь с тобой побуду.

Ничего сегодня не бойся.

— Что было-то, яга?!

— Похороним — скажу.

И уложила меня спать, а сама на полу сидела и что-то под нос напевала.

А утром разбудила чуть свет и сказала:

— С матерью прощайся.

Подбежал я к лавке, а тут луч солнечный на мать, в жару метавшуюся, упал, и расслабилось ее лицо, и вздохнула она глубоко — и утихла.

Стиснул я зубы, кулаки сжал и в угол пошел.

— Так-то, — сказала яга. — Дажьбогов сын.

А в полдень выволокла она три тела. Положили в домовины. Похоронили. Сказала яга:

— А этого не касайтесь.

Взяла веревку и подошла к гостю мертвому. Пошел и я за нею. Тела не было. На полу лежали платье и сапоги.

— Ушел, — сказала яга.

Стала она веревку набрасывать — а платье словно на тело надето. Только тела самого нет; ни волосинки.

— Ожил? — спросил я осторожно.

Яга промолчала и, только когда с натугой подтащила эту надутую тугой пустотой куклу к выходу, сказала:

— Не ожил, но и не умер.

И крикнула толпе:

— Расступитесь! Кто любопытствует — страшное проклятие наложу.

Но нужды в угрозах и не было: как голуби разлетелась толпа по сторонам.

Яга, утирая пот, тащила куклу к могиле, как будто это действительно было тяжелое тело. Долго тащила — за околицей могилы рыли. Добралась до края — постарались люди, два с четвертью роста отмерили — и спихнула куклу вместе с веревкой вниз. Покосилась на меня:

— Швыряй и ты землю, Дажьбогов сын.

Немного нашвырял я на эту страшную куклу. Не проваливалась земля в пустоту, где бы голове быть, а так ложилась, будто невидима голова стала. Жутко мне было; чавкающая грязь кругом, вода на дне могилы — и ни голоса не слышно.

Разровняла землю яга, от усталости задыхаясь, вытащила семян пригоршню и посеяла.

— Что сеешь? — спрашиваю.

— Ну и внучок у меня появился, — яга ядовито говорит, — до всего ему дело есть, кроме головы своей окаянной. Репейник сею. Самая живучая трава. Если хоть один взойдет — значит, очищается земля.

— А не взойдет?

— А не взойдет, — кричит яга, — на другой год в расход войду, корень редкостный посажу, мындрагыр называется. Тот уж точно из земли все вытянет. Пошли-ка отсюда, внучок.

Еле добрела яга до людей. Но подбоченилась, рот утерла и говорит:

— Эй, а кто мне платить будет за то, что я, старуха немощная и утлая, пять пудов на себе волокла до болота до самого?

Мертвые тебе заплатят, — мрачно сказали из толпы.

Заохотала яга по-вороньи:

— Миленькой ты мой, уговор у нас теперь. Когда мертвые ко мне платить придут, я их к тебе за сумой серебряной пошлю. Идут мертвяки, глядят в листвяки, видят человека, не видать ему века...

— Постой! — взмолился тот же голос. — Не подумав сказал.

— Аи хорошо, что не подумав. За глупую мысль спросу нет. А вот носите вы мне со двора каждого курочку, да яички, да мяска внуку моему. И пока внучок мой со мной жить будет, так и носите, хоть весной красной, хоть летом зеленым. А уж как внучок мой от меня уйдет — тогда расплатятся со мной мертвяки... Теперь, ребятушки, так: избу эту сжечь, а кто позарится на что из избы, тому волком красногубым по пустошам скакать.

— Помилуй! — всхлинули. — Огонь на всю деревню перекинется!

— А перекинется, так что ж, — отвечала яга вполне равнодушно. — Лучше, чтоб дома ваши сгорели, чем чтоб вас самих черви земляные сосали.

Почесали в затылке люди. Пошли избу поджигать. Остервенился я:

— Почто все у меня забираешь? Дажьбогов я сын, в своей избе буду жить!

— Не пушу, — говорит яга с ухмылкой. — Мать твоя перед Дажьбогом за тебя отвечала, да провинилась и померла. Я теперь в ответе. Я теперь тебе и мать, и дед, и бабка. А что до наследства материнского, так не за ложки хватайся, а за память о вечере вчерашнем.

И смотрел я, как нехотя горит изба наша, как стоят кругом мужики, готовые с изб своих огонь сбивать.

— Не кручиньтесь!! — Яга им кричит. — Перун, огня владетель, моему внуку дядя!

Смутились люди от таких-то слов, но, по обычаю русскому, на Перуна не положились и стояли, берегли избы свои: верили в богов, но и знали, что равнодушны по большей части боги и что нет им дела до людей.

Сгорела наша изба.

Подошла яга к пепелищу, слова какие-то сказала. Потом за руку меня взяла и говорит:

— Со мной теперь жить будешь.

И повела.

Хутором жила яга. В низине изба ее стояла покосившаяся, у самого болота, под осинами горькими. А за болотом лес начинался. Не было видно деревни из избы ее, только ночью иногда слабые огонечки мерцали. Ну, да на болоте голубые огни во сто раз ярче были...

Изба тесная, хозяйства никакого — не держала яга ни птицы, ни скотины: все ей люди носили. Было в избе душно от трав и тяжело: и ядовитые яга держала, а те по большей части горьки. И отовсюду-то травы эти и коренья свисали: не боялась яга разбоя. И казалось

поэтому, что не изба это вовсе, а чаща лесная.

Не было в избе ее ликов богов, а только под связками трав коряга змееобразная висела: Упири подобие.

И посадила меня яга, продрогшего, на лавку, и сначала отваром каким-то напоила, а потом и угостила похлебкой.

Села в изножье, закачалась по-старушечьи, словно себя убаюкивая, и заговорила:

— Жил Дажьбогов сын, и случилась с ним напасть. Обернулся враг гостем киевским и в дом его взошел. Деда с бабкой отравил, а дальше посмеяться хотел — надругаться над Дажьбоговой женой летней, а Силу сына ее в когти взять. И почти уж добился своего, но не знал, что Упирь за сыном его смотрела. И послала Упирь трех змеек на помощь Дажьбому сыну. Одна змейка предупредить хотела, но глупым дедом убита была. Вторая ядом своим яд врага победила, Дажьбогова сына ужалив. А третья врага наповал уложила.

И пришла бабушка-яга, дом сожгла, врага закопала, могилку заровняла, семечки посадила. Но лежит в могиле не вражина чернотный, а детина пустотный, не лютый сам, а только крылышки его.

— Какие крылышки, бабушка?

— А врагу детина этот — как крылышки. Не шел, не скакал, а перед вашим домом детину этого на себя надел — вот и гость готов.

— Так кто гость-то этот был, бабушка?

Посмотрела на меня яга пустым взглядом, волосы мои погладила:

— Кащей, внучек.

Кашей... Я задумался. Еще в утробе матери я видел в снах какую-то черную тень, не имевшую лика. Уже тогда она смутно тревожила меня, хоть я и не мог составить себе никакого понятия, на что она способна. Но со вчерашнего вечера я уже точно знал, что такое зло.

— Когда я вырасту... я убью Кашея.

Пламя играло с лицом яги.

— Многие говорили, никто не сделал... Он бессмертен.

Она с трудом выговорила это, а я с трудом пытался понять. И тут яга вдруг ударила себя по коленям и расхохоталась.

— Дажьбогов сын, Дажьбогов сын, — едва выговорила она, — ведь Кашей тебе... дядя!

И снова залилась смехом.

Я топнул ножонкой. Яга утерла слезы и посмотрела на меня. Потом поднялась шустро, накурила трав по всей избе, так что в сизом тумане я смутно различал только огонь, взяла меня за руку и принялась говорить:

— Травки ушки всем закроют, а твое сердечко раскроют, и поговорим мы без подслушки, без подглядки и поднюшки. Мокошь породила Дажьбога, она же породила Кашея, выходит, что он брат твоего отца, так что не зря бабушка смеялась. А теперь ничего не бойся, но слушай, слушай — время твое пришло, слышишь, как время твое по избе ходит — топ-топ, топ-топ...

Мокошь породила Кашея, чтобы деток своих погубить. Боги сбросили его на землю и спаслись. Но не заботились боги о том, что Кашей теперь людям достается. Не было и нет у богов жалости к людям; Силу люди им приносят и потехой служат. Нет у богов и разума большого: не поняли боги, что Кашей на земле не просто так злодействует, а все по тому же Мокошьему умыслу. Не получилось у Мокоши на небе, решила на земле попробовать. Переведутся людишки — некому будет богов кормить, погибнут боги, думает Мокошь, и завернет она все обратно, и вернется к Зге и с нею, с матерью, помирится. Так что от Мокоши Кашеева Сила. Хочет Мокошь через Кашея род людской извести. Сама в дела людские не мешается — плачет, о матери тоскует, но Силу Кашею дает.

Беспечны боги. Родились безмозглыми, безмозглыми и живут. Чего Вилы хотят — одна Зга знает. То заговорят без умолку, когда ссора пустячная заварится, и тогда мир наступает,

то молчат, когда вмешаться бы им, большую войну остановить. Ни с Мокошью, ни с Упирью не знают; не то своим умом живут, не то Зга ими забавляется. Одна Упирь Кашеев враг. От нее змейки к тебе приходили. Она одна только заступник и помощник. Дажьбогов ты сын, но не больно тебя отец защищает, даже пока младенец ты; а дальше и вовсе забудет. Так, в час надобности крайней, крикни: «Дажьбог, про луч свой вспомни!» — но не надейся особенно: глуп отец твой.

Упири молись. Присматривает она за детьми богов, потому что Сила им дана, и рассчитывает на них Упирь. Вот и тебя она сейчас спасла. Значит, виды на тебя Имеет. И значит, должна я, убогая, тебя растить, покуда Упирь того хочет.

— А Кашей? Кашей зачем приходил?

Яга прищурилась на огонь:

— И он о детях богов знает. Сила их ему страшна. Бессмертный он, говорят... Вот и сейчас не умер, а ушел просто... Но есть тут тайное что-то, внучек, чего я не знаю. Если вовсе бессмертный — чего ему по земле за вами бегать? Вот сгниют мои косточки — тогда узнаешь тайну. Правду говорю тебе, Дажьбогов сын. Что, боязно стало без бабки-яги остаться?

Она хрипло засмеялась, как закаркала:

— Ну, да правду тебе говорю. Покуда я тебя растить берусь, но недолго это будет. Помру. А когда сгниют мои косточки — тогда тебе все про Кашея откроется.

Подожди, внучек, пока бабка в землю ляжет.

— А почему он меня сразу не убил?

— А кто тебе медом сладким губы помазал? И ты бы сейчас в домовине лежал, когда б не змейка твоя.

Да погоди: он за тобой еще придет.

Я закусил губу. Мне было жутко. Я был один в целом свете. Яга, которая взяла меня в дом, была мне чужая. Я верил, что сейчас мне никто не причинит зла, но при мысли, что Кашей придет за мной снова, я вздрогнул. Больше всего мне хотелось сейчас броситься вон из избы и искать Кашея, а когда найду — упасть ему в ноги и просить убить меня сразу. Но, ловя на себе насмешливый взгляд яги, содрогаясь от страха, ненавидя все на свете, я сказал, нахмурившись:

— Утром пойду Шитусь искать.

— А коли «его» по дороге встретишь?

— А коли не встречу?

Помолчала яга, в глаза мне глядя.

— Будет из тебя толк, Дажьбогов сын.

Покуда живешь — время тебя под горку катит, а покуда растешь — ты его в гору толкаешь. Девять лет прожил я у яги. Невыносимо долго я рос. Умом взрослел я быстро, но тело мое тянулось за сердцем несносно медленно, хотя, когда мне исполнилось два года, был я уже ростом с пятилетнего.

Не пустила меня яга наутро Шитусь искать. Три месяца курились в ее избе травы плотным туманом, три месяца не пускала она меня за порог. Ворчала:

— Разорил, Дажьбогов сын! Не знаешь ты, что на тебя перевела! Ну вот погоди, как услышу, что первая травинка проклюнулась, растолкаю до зари и с собой поведу: должок собирать.

Просил я ее:

— Бабушка, дай хоть по снежку пробежаться! Ноги уж отнимаются, и голова кружится от трав твоих!

Качала головой яга, смеялась:

— Три луны пройдут, тогда только прокуришься ты травами, запах Силы от тебя отобьется, тогда на двор пушу. Больно духовита Сила твоя, а хоть и много у врага забот, а не забыл он тебя.

И учить меня яга стала. «Странно мне, — говорит, — мальчишку, пусть и Дажьбогова

сына, учить знанию тайному, женскому. Но, видать, так мне на роду написано». И начала про коренья, да травы, да ягоды и про многое другое рассказывать и заговорам учить. Сидим целые дни в дыму, а яга курочку варит и меня Допрашивает строго: «А коли на рану рваную, гнойную, на брюхе ромашку накладывать, то когда ту ромашку рвать? В полдень или по зорьке, а если по зорьке, то рассветной или закатной, а если закатной, то как роса пала, или прежде того? А где рвать будешь? В лесу или в поле? А если ромашка под дубом возшла — можно ту брать или нет? А луна где стоять должна? А если с ромашкой рядом таволга росла — можно такую Ромашку на брюхо рваное накладывать?» И чуть что — так — половником по лбу, да больно.

И когда придет кто к яге, с болью или с бедой, она меня рядом сажает и смотреть заставляет. А через тройку лет кличет: «Пойди, внучек, глянь в щелочку, с чем это к нам парнишка бежит? Понос у него, в груди теснение или девка разлюбила?» — «Девка разлюбила, бабушка!» А она — раз подзатыльник: «Кака девка, когда у парнишки губы синюшные! В груди теснение, и не жилец он».

Долго так учила, до конца самого.

Всегда держала слово яга: прошли три луны, и выпустила на двор. Снег еще лежал, и я по нему целыми днями катался.

Но недолго баловала меня. Вышла однажды вечером на порог, воздух понюхала, щепотку снега разжевала, головой кивнула: «Завтра идем первоцветы собирать». И до зари разбудила, одела тепло и далеко в лес повела, и, как только порозовело небо, ткнула носом в проталину, и сказала бутоны рвать да спешить, покуда солнце не возшло. И на каждую траву, на корешок всякий свое время у нее было и заговор свой.

Смирился я и стал учиться. Лет через пять я уж хворых, которые попроще, сам принимал и лечил.

Всему, что знала, научила яга. Об одном кручинилась: «Не видал ты, внучек, папоротника цветущего, одолень-травы! А из всех самая она сильная, ее только корень мындрагыр побивает, но не растет мындрагыр-батюшка в земле нашей холодной!»

Последний мындрагыр извела яга на Кашееву яму: не возшел весной ни один репейник, все убил Кашеев яд. Поохала яга да в полдень корень мындрагыр и закопала, и кровью своей покапала сверху. И что на другой год над Кашеевой ямой не то что репей, а разнотравье уж цвело, и проклюнулась там яблоня, невесть откуда взявшаяся, и через три года уж давала она яблоки, и яблоки эти яга сушила и только при крайней нужде отмеривала.

А корня мындрагыра еще долго не было у нее.

Раз в год заезжал к ней старик из стран далеких — Сычом она его звала. Сыч и был: темный, насупленный, двух слов подряд не скажет, и по-нашему говорил плохо.

Ночью приходил, ночью уходил. Коренья и травы со всего света носил. В первый год пришел — не было у него мындрагыра. Уж яга так просила, так просила, а он хмурится: «Растет еще». Во второй год пришел — в цене не сошлись, он за мындрагыр, почитай что, все наши травы хотел. На третий год явился — а ему яга на стол редкость редкостную выложила: гриб древесный с человеческим ликом, да не смутным каким, а явным. Цокал языком, торговался Сыч, а потом все же достал мындрагыр — но крохотный. Взвыла яга для порядка, но мындрагыр тут же прибрала. И никому его не давала: «Наследство, — говорит, — это твое по мне будет. Нам бы еще одолень-траву нарыть, совсем богатый бы внучек после бабки остался».

Но с одолень-травой не вышло ничего. Каждый год, в ночь летнего солнцеворота, ходили мы в лес. Перед этим росой мылись и ландышами сухими натирались. Зайдем в лес, покрутятся яга молча, сядет и пальцем на папоротник какой ткнет. Каждый год всю ночь напролет сидели — не цветет папоротник алым цветом, во тьме различимым.

Не одни мы ждали. Звери выходили, поодаль сидели. Медведь, волки, лисы. Друг друга не трогали, тихо сидели. Как светать начнет, рыкнет медведь злобно, все разбегаются, а яга ему: «Ишь ты, какой сердитый!» И уходил медведь вперевалку.

— В избу вернемся — причитает яга:

— Невзлюбил нас папоротник-отец, не почел и сиротства твоего!

Поохает, слазит в тайник, вытащит тряпицу чистую, а в ней крошки: говорила яга, что нашла последний Цвет годов так за пять до моего рождения. «Уж как, — говорит, — меня медведь тогда не порвал, и не знаю, очень огорчился, сердешный, что я первая цвет углядела».

Первой же весной нашел я Шитусь — у ручейка того же самого. Яга, прежде чем меня со двора выпускать, губы кореньком одним натрет: «Дух твой, — говорит, — перебить надо».

И говорила со мной Шитусь, и словам кое-каким Сильным научила, только велела по пустякам не тратить.

И ходил я один по лесам, и язык звериный и птичий уже знал. Словно сам он мне давался: и с птицами пересвистывался, и со зверями говорил. Одобряла яга:

— Никогда тебе человек столько добра не сделает, сколько животного простодушная.

Когда день ясный был, заставляла по заре Дажьбогу показываться:

— Пусть сына запоминает!

Но ни единым знаком не дал Дажьбог понять, что признает.

По деревням не ходил я. Не запрещала яга, но и не посылала к людям:

— К Дажьбогову сыну сами прибегут, когда надо будет.

А я и не хотел. Противны мне были трусливые люди. Я лучше с лисом пофыркаю или гадюку спрошу: «Тепла ли вода в речке?» — и еще по спинке ее поглажу. Льнули ко мне все змеи и ящерики и любили меня, а птицы и звери побаивались: что это за парнишка, который язык наш понимает?

Каждые три года собиралась яга помирать: «Несбыточное дело, чтобы Дажьбогову сыну нянькой дольше трех лет быть». Ляжет на лавку, не ест, не пьет, руки на груди сложит и в потолок смотрит. Так по три дня лежала. Потом на рассвете вскочит, трав себе заварит: «Не пускает Упирь».

Так три раза по три года прошло, но на третий раз не встала яга. Отлежала три дня, а на рассвете меня кликнула:

— Подай мне иголку.

— Зачем, бабушка?

— Суму тебе шить буду.

Шьет и приговаривает:

— На этот раз отойду. За хорошее помни меня, Дажьбогов сын, а плохого не делала я тебе. Мындрагыр маленький да крошки одолень-травы — наследство твое. Травы простые по деревням отдай, а ядовитые или мудреные — какие в суму себе положи, а какие в землю закопай. В избе моей оставайся до весны только — не по тебе ведунья жизнь, бери суму и в дорогу пускайся. Дорога тебе все и расскажет, а я, старуха глупая, что могла, уж рассказала.

Она шьет, я молчу. Потом говорю:

— Бабушка, давай мындрагыра тебе заварим.

Смеется:

— Упирь меня торопит, а ты — мындрагыр. Эй, да ты что? Ты плакать, что ли, собрался?

— Нет, — говорю, а сам в сторону смотрю.

— То-то же.

— Куда мне идти-то, бабушка?

— А куда дорога выведет. Одно тебе скажу: за людским счастьем не гоняйся. Не будет у тебя ни жены, ни детей; хорошо, если вообще найдется, кому глаза закрыть, когда помирать станешь. Дорога твоя нехорошая: кому Кашей губы медом мазал, тому либо волком отчаянным по земле рыскать, либо червем дохлым в земле лежать. Ничего больше не знаю, но надежную суму тебе шью — большую, прочную. Хочу, чтоб и жизнь твоя такой же была. Говорила тебе раньше, еще скажу. За Кашеем будешь всю жизнь гоняться, хочешь или не хочешь. И правда про Кашея тогда тебе откроется, когда косточки мои сгниют: последняя

была я твоя хранительница, и надо, чтоб и праха моего не осталось. Но схитрим мы тут с тобой маленько. Чтоб не ждать тебе долго, схорони меня без домовины, яму копай в полруки глубиной и копай на краю болота, на поляне, летом жаркой, и обложи меня травами размягчающими, и осину надо мной посади. Не озлится Упирь на нас за это, а посмеется только. Только раз после смерти знак подам тебе, больше не надейся.

— Может, чего хочешь, бабушка?

— А хочу я, внучек, чтоб не горевал по мне. Пустое это дело. А лучше вспоминай, как мы с тобой травку всякую собирали.

Дошила яга суму, в руки мне дала:

— А вот и хочу я кой-чего: малинки завари, внучок.

Кинулся я к печи, мигом горшок снарядил. Тут словно погладил меня по голове кто-то. Понял я все. К лавке метнулся — отошла яга.

Долго сидел я в изголовье, руки ее держал.

Потом оделся, пошел яму копать. Зимой яга померла — через девять лет ровно, как меня подобрала. Но мягкой земля оказалась, а копать мне было всего ничего — в полруки.

И выложил я могилу травами размягчающими, и положил ягу, и в последний раз посмотрел на лицо ее. «Прости», — сказал и закопал. Потом на снег сел и думать начал.

Было мне десять годов, но соображение было как у взрослого, а ростом и силой был я с пятнадцатилетнего, да здорового. И был я один в целом свете, и знал уже, что всегда один буду.

До весны прожил я в избе. Первые дни никуда не выходил, а ягу вспоминал, только не плакал. На третий день приплелся ко мне старик из деревни:

— Я к яге за милостью.

Посмотрел я на него надменно — не любил я людей — и говорю:

— Много вас за милостью ходило, а в час смертный никто не пришел.

— Померла?!

— Нет, глупый старик, замуж вышла.

— Да как ты, пащенок, слова такие мне говоришь? Кончилось яги время, теперь с голоду без нас сдохнешь!

Засмеялся я нехорошо, а сам в глаза ему смотрю:

— Забыл я, думаешь, какая мне от вас защита была? А для вас-то лучше б, чтоб и забыл.

Остервенился старый пес:

— Сожжем, с избой вместе сожжем!

А я на лавке лежу и говорю ему лениво:

— Ты зубами не кладай, не то старуха твоя завтра яге венок свадебный плести будет.

Опамятовался старый.

— Прости меня, — говорит, — странно мне, что парнишок десяти лет власть такую имеет. Полечи старуху мою, плоха она ночью стала.

— А мне что за дело? — говорю.

Он на меня глядит, а у самого глаза мутной влагой заволакиваются. И стыдно мне стало. Не любил я людей, но не такому яга меня учила.

Поднялся и в деревню пошел, и на ноги старуху поставил.

И до весны ходили ко мне люди, а я все молчал, в разговоры не вступал, но помогал всем, кроме тех, кто зла другому хотел.

А по весне посадил я на могиле яги осину, пошел на погост к могилам матери, да деда, да бабки. Бурьяном поросли, только родное сердце и найдет. Но когда убитые лежат, то лучше, чтоб ничего, кроме бурьяна бессмысленного, и не росло на могилах-то.

Обошел я деревню, травы раздал.

— Оставайся! — просят. — Ни за чем не постоим. Дочерей, — шепчут, — ввечеру посылать к тебе будем.

Противно мне стало: бесстыжи люди.

— Без ведуна деревня ваша остается, — говорю. — Теперь за три леса ходить будете. Наказала вас Упирь за жестокосердие.

И ушел.

В лес пошел, к ручейку, с Шитусью попрощаться. Сижую, жду. Выползает Шитусь. На колени ко мне заползла, я только рот раскрыл, а она дернулась и затихла.

Не хоронят змей, даже таких, как Шитусь. Положил ее в ручей, чтоб муравьи не терзали, а ручей она всегда любила, и в избу вернулся. Кончилась жизнь моя здесь. Поглядел я на стены пустые, и не захотелось мне в избе ночь еще одну ночевать. Взял суму, ягой сшитую, травы сильные в нее сложил, мындрагыр да одолень-траву в одежду спрятал, поклонился избе в ноги, дверь притворил и напрямик через лес пошел.

И только прошагав уже много, вдруг понял, что сам не знаю, куда иду.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Я блуждал по весенним лесам много дней. Ждал некоего знака, который указал бы дорогу. Что говорить, до тех пор меня вели; яга говорила, что меня хранят, покуда я мал. Я был все еще мал годами, рассуждал я, но не означало ли мое недетское знание Силы, что теперь мне больше не будет подмоги?

Я знал, чего хотел: победить Кашея. А к этому я был все так же мало пригоден, как к тому, чтобы двигать горы. Ничто другое меня не трогало: я должен был стать умнее и сильнее. Но ничто в лесах не указывало мне дорогу ни к новому знанию, ни к большей Силе. Я забирался на верхушки сосен и глядел в пышущее солнцем небо, но только портил глаза. Я часами просиживал на берегу ручьев и рек, глядя в воду, но только тупел в неподвижности. Я скликал Змей, но ко мне выползали только испуганные глупые медянки и гадюки. Я пробирался на болота и тарасился на смутные голубые огни ночи напролет, но только едва не провалился два раза в трясину. Я повторил без счета все молитвы, которые знал, — ничто не шевельнулось в мире. Все и вся были глухи ко мне. Я почти не спал, потому что стоило мне забыться и увидеть первый сон, как я, вздрогнув, просыпался и начинал его толковать. Но сны были незначащие.

Я стал отчаиваться. Возможно, все мои потуги стать Сильным были глупы, и я должен был оставаться деревенским ведуном, разгадывающим нехитрые тайны и врачующим несмертельные болезни. Разве мне было видение? Разве боги говорили со мной? Разве сказали мне Шипь, Шиха и Шитусь, что передо мной лежит дорога подвигов? С чего я вообще вообразил, что могу преградить путь Кашею?

Минул месяц. Когда я пускался в дорогу, снег еще лежал в тенистых местах, по ночам случались заморозки, и леса только еще просыпались. Теперь все вокруг было восторженно-зелено, все облечено в тепло. Пора было что-то решать. Я провел день на берегу глубокого синего озера. Я был так мрачен и хмур, что даже русалки не заигрывали со мной (я уже не говорю о том, что за целый месяц меня ни разу не повел леший). Я перестал ждать знака. Я просто слонялся по берегу, думая, что мне делать.

Возвращаться я не хотел. Я был слишком горд. Я не представлял, чем могут заниматься люди, кроме того, чтобы пахать, охотиться, ловить рыбу и лечить. Несколько раз в своей жизни я видел воинов, но они показались мне тупы и животны. Никакой земной путь, из тех что я знал или воображал, не прельщал меня. Мои мечты разбились, и вместе с ними как бы разбился и я сам. Из всех выходов я выбрал самый простой: оборвать свою жизнь. Странно слышать это о ребенке десяти с половиной лет; но меня нельзя было мерить по моим годам, и я тосковал, как юноша.

Вечерело. Где-то стороной шла гроза. Перун освещал темнеющие леса. Небо над озером было розоватым в верных разводах и пульсировало от молний, как внутренности раненого зверя. Я выложил мындрагыр и одолень-траву, потому что грешно было не оставить их на земле, зашел в теплую, пылающую от зарниц воду и стал зловать кувшинки.

Я плевал в их нежную сердцевину, я рвал на клочки их волшебные лепестки, я

уничтожал их холодно и усердно, заходя в воду все дальше.

Русалки обезумели от гнева. Я хорошо чувствовал это, издевательски смеялся и уже плавал на глубине, срывая самые заветные русалочьи цветки. От молний моя кощунствующая рука светилась голубым.

Превозмогая гнев, русалки тихонько засмеялись. Я не сразу услышал этот смех за громом и поднявшимся ветром, но когда расслышал, то возликовал. Я уже чувствовал, как меня влечет в глубину, из которой не будет возврата. Мне предстояла легкая смерть. Мне стало щекотно, и, понимая, что это значит, я в последний раз обвел глазами земной мир, который теперь был весь — Перунов и содрогался, и мигал, как голодный костер.

И тут молния ударила в старый дуб, и он запылал, и я понял, в какую сторону мне нужно было идти.

Но русалки уже тянули меня вниз, и их смех был громок, и никакие молитвы мне помочь не могли, потому что я сорвал слишком много кувшинок.

И меня затянуло под воду, и я задыхался, все еще в бессилии слыша нарастающий смех, и глаза мои были открыты, и я видел, как пляшут голубые тени по воде, а потом все вдруг озарилось потоком света, и судорога выворотила мое тело, и русалочьи объятия разжались, и неожиданно я вынырнул.

Совершенно ошалелый, я поплыл к берегу, но русалки вернулись и снова потянули меня на глубину, и тут Перун метнул вторую молнию, и они порскнули в стороны, и через мгновение я уже лежал на мелководье. Гроза гремела прямо надо мной, я был полумертв, но ликовал, потому что неожиданно оказался услышан.

Я выбрался на берег. Меня сек холодный дождь, а русалки снова смеялись, и я, так и не переведя духа, подхватил суму и бросился в лес.

Как только русалочий смех затих за шумом дождя и леса, я скорчился на земле и тут, наконец, потерял сознание.

Очнулся я уже под утро. Снов я не видел. На востоке начинала шевелиться заря. Я боялся идти искать дуб. На рассвете русалки были еще сильны. Я не знал, как мне умиловить их, и теперь должен был сторониться воды по заре.

Как только наступил день, я пошел лесом в ту сторону, где молния ударила в дуб. Я быстро нашел его и понял, что мне предстояло идти точно на север. Я повернулся в сторону озера, лег на землю и стал молиться Упири, чтобы она отвела русалочий гнев. Русалки таят обиду всю жизнь, а я не хотел, чтобы на моем пути оказались ловушки, расставленные моей же собственной глупостью.

Упирь не отвечала, и я понял, что она сердита и что теперь мне действительно лучше обходить воду стороной.

Я осмотрел дуб. Он выгорел почти весь, и можно было заметить только одно неопаленное дупло. Я не знал, что оно означает, но какой-то смысл в этом был. Я забрался наверх и заглянул в него. Оно было пусто. Знак, который я получил, не был ясен. Сколько мне предстояло прошагать на север, где остановиться, кого искать? Не мог же я идти, не уклоняясь от прямой линии, проведенной от дуба на север? Леса, болота, реки, дороги, селения, встречи в пути — как тут было не рыскать? Как тут было найти то, что я искал? Но виноват был только я сам, прогнав богов почти исполнившимся намерением уйти из жизни. Мне нужно было безропотно блуждать по лесам сколь угодно долго, хотя бы полжизни. Но моя гордыня предала меня, как почти всегда делает гордыня.

И, вздохнув, я зашагал на север.

Я шел лесом четыре дня, стараясь не уклоняться от прямой. Однако уже на второй день я долго проблуждал по болоту, и прямой, собственно, уже не получалось. Может быть, я миновал что-то или кого-то, ждущего меня на болоте? Я спрашивал птиц: нет ли на болоте человека? Нет-нет, отвечали они, и давно не было. Но, может быть, я должен был выйти не к человеку.

Несколько раз мне приходилось пересекать речки; со страхом я переплывал их, потому что брода, как назло, не было. Всякий раз я дожидался полудня, когда русалки спят. Я

оголодал: в своих странствиях я рассчитывал на рыбу, но теперь задерживаться у воды было опасно, хотя обычно русалки рыбу не жалели.

На пятый день я вышел на дорогу. Не была ли дорога подобна дуплу, выдолбленному в теле леса? Не должен ли был я остановиться здесь? Я сел и задумался. Прошло много времени, а я все никак не мог заставить себя пересечь дорогу и идти дальше на север. И кончились мои раздумья тем, что я услышал стук копыт.

Слева, из-за поворота, выехал отряд из семи конников. Завидев меня, отряд остановился.

— Эй, парнишка! — крикнул вожак, поглаживая меч. — Скажи по-хорошему, ты один в лесу или нет?

— Нас тут много.

— Ну, что я говорил? — обернулся вожак к своим. — Пускай выходят, кончилось их время! — крикнул он мне.

— Тебе ежа позвать или волка?

— Ах ты, гаденыш! — И он стал осторожно подъезжать ко мне.

— Или лешего на тебя вывести?

— Боялся я твоего лешего на дороге! — засмеялся вожак. Он привстал на стременах и заулюлюкал, всматриваясь в чашу. — Сейчас мы их расшевелим, — бросил он своим, достал лук и неторопливо прицелился в меня. — Эй, — крикнул он в лес, — крови дозорного хотите?

Свистнула стрела и прошла мой рукав насквозь.

— Держи его на прицеле, Рудый, — посоветовал кто-то. — Мы его сейчас возьмем.

— А что меня брать, я и сам подойду.

— Ловушка! — закричали все, когда я начал медленно подниматься, чуя, что на этот раз Рудый целит мне прямо в сердце. — Пускай, Рудый!

Крикнул я коням их: «Волки! Рядом!» — и заржали кони, и на дыбы встали, и смешались, и выпустил Рудый две стрелы — одну в землю, а другую в небо.

— Чего от меня хотите? — крикнул я. — На сирот, что ли, охотитесь? Не хочу вам зла!

Совладали они с конями, а я им другое кричу:

— Говорить давайте!

Но берегутся конники, переговариваются: «Ведун!» А я на дороге стою, счастье свое пытаю:

— Может, еще и помогу вам! — И вру: — Если б хотел я, не такое бы на вас наслал!

Смотрит на меня Рудый исподлобья.

— Не видал я, — говорит, — ведунов безусых. Не нравишься ты мне.

— И ты мне не нравишься, — говорю. — Заносчив, нагл и зол. Но, видно, нужда у нас обоюдная друг в друге.

— Может, ты и стрелы останавливать умеешь? Попробовать, что ли?

— Пробовали уже, — вру, — да в землю легли. Говори, что у вас за нужда такая?

— А может, ты к той нужде и отношение имеешь?

— Не знаю я ваших дел, и шел я своей дорогой. Но раз боги нас свели, говорить нужно, а не стрелы метать.

— Ну, поговори.

Засвистал я по-птичьи, долго свистал, потому что вспугнули мы птиц перепалкой, но наконец, что хотел, вызнал.

— Люди, — говорю, — которых вы ищете, за третьим поворотом вас ждут, в засаде лежат. Тринадцать человек их. По дороге не езжайте, а спешитесь и лесом идите. Со спины их и возьмете.

— Лазутчик, — говорит Рудый, — ты и лгун. Как раз на засаду нас и выведешь.

— А ты одного разведать пошли, — говорю. — Коли не вернется, значит, лгун я. А я пока меж ваших коней стану, и ты меня мечом достанешь всегда.

— Ладно. Но только меч у горла твоего будет.

Кинули они жребий, кому в лес идти, волком посмотрел на меня проигравший, но пошел. Стал я подле стремени Рудого и шею под меч подставил.

— Не знаю, — Рудый говорит, — что у тебя за корысть. Может, ты тех тринадцати и опасней во сто крат.

Я молчу. Вернулся разведчик: правда, говорит, через лес их брать надо, у дороги, за третьим поворотом в засаде лежат.

— Я, — Рудый говорит, — тебя сейчас свяжу. И не спорь, а то горло перережу.

Я не спорю. Связал он меня и на дороге оставил. Все спешились и в лес пошли. Скоро слышу: бой идет. Кого, думаю, под мечи подвел, свою судьбу пытая? Но раз в мир вышел, нельзя все по лесам мышью шнырять безгрешной. Жесток мир, и злы люди.

Вернулись. Двух пленных ведут, остальных, видать, всех перебили, подкравшись.

Повеселел Рудый.

— Не знаю, — говорит, — чего ты ищешь, но я, чего искал, то нашел. Доволен князь будет. Не ушли разбойнички.

Так вы княжеские люди? — говорю. — Хороши у князя слуги: чуть сироту безвинно не порешили.

— Нахален ты! — Рудый говорит. — Ну, в долгу я перед тобой. Чего ты-то хотел?

— Вы куда едете?

— В Смоленск возвращаемся. Там князь. С собой, что ли, взять тебя?

— А возьми.

Странно смеется Рудый:

— К князю не повезу, а другому доставлю.

— Кто такой другой? — спрашиваю.

— Поедешь со мной — увидишь.

— Развязывай: еду.

Развязал он меня и к себе в седло посадил. Поехали. Непривычно мне на лошади трястись, высоко и шатко. Рудый меня расспрашивает: кто я, да откуда, да что умею, да чего ищу.

— Пришел от дуба, умение мое лесное да озерное, а имя мне — Святогор.

Морщится Рудый:

— Имя у тебя больно гордое. Звериные да птичьи языки знать — это еще полдела.

Ехали мы день да полдня. Скоро стены городские увидали.

— Нравится город, деревенщина? — Рудый спрашивает.

— Глуп ты, — ему говорю.

— Пропадешь, парень. Люди не медведи.

Подвозит меня к домине, говорит:

— Со мной пошли.

Переходами, словно норами кротовыми, повел меня, выводит в палату. Сидит спиной к нам детина здоровый, хлебает из миски что-то.

— Эге, — хрюкает, хлебать не переставая, — Силой запахло. Молодая Сила, глупая. И подождите, — голову поднимает и принюхивается, — чего творится, одолень-траву и мындрагыр с собой несет!

— Эге, — говорю, — а ты кто будешь, к чужим сумах принюхиваться? Ты, что ль, мындрагыр выкапывал и одолень-траву рвал?

— И не ты тоже, — говорит он и снова хлебать принимается.

Смеется Рудый нехорошо.

— Поучи ты его, — говорит, — Микула. Наглый волчонок. Пороть надо. И злой, как муха.

— А ты прочь пошел. — Детина отвечает, все не оборачиваясь. — Нечего тебе в наши богатырские дела лезть. Хошь заporю я его, хошь с кашей съем, а не кличь волчонком богатыря.

Отступился Рудый, побледнел:

— Я думал, ведун он просто.

— А кто ты такой, — Микула кашу трескает и хрюкает, — чтоб ведунам руки вязать? Наглодаются свиньи твоих косточек.

Затрясся Рудый.

— Прости, — мне говорит.

— А не прощай, братик, — Микула чавкает, — покуда коня тебе, да сбрую, да все доспехи к вечеру не доставит. Не прощай, братик. Пускай повертится, образина рыжая, самомнительная и дерзкая.

— Все к вечеру будет! — Рудый воет.

— Только не скупись, а то не простит братик. Лучшее самое бери. Тебе князь за разбойничков награду даст. Прокутить ты ее хотел да бабе своей монисто хазарское купить, а вот видишь, как вышло. Плохо, брат, глупым-то быть.

Как сквозь землю провалился Рудый. Утирает рот Микула, поворачивается ко мне. Здоровый детина, годов тридцати, руки медвежьи, волос рыжий, глазки заплавленные, и Сила от него так и прет. Склонил голову набок, в глаза мне смотрит. И в первый раз в жизни опустил я глаза.

— Зовут как?

— Святогор.

— Чей сын?

— Дажьбогов.

— Наглый ты, да.

И затрещину мне. Повалился я с ног.

— Не тем хвастаешься. Вот не Дажьбогов я сын, а с ног тебя свалил и в любом деле побью. За чем пришел, знаешь?

Поднимаюсь, затылок потираю:

— За знанием да за Силой.

Вторую затрещину дает мне Микула. Снова в угол лечу.

— Словами не бросайся. Гордец ты. И дурак к тому же. Кто ко мне прислал?

Стою, мнусь.

— Перун, — говорю.

В третий раз с ног повалился.

— Не Перун, а дуб. — Микула рычит. — Говоришь, а не знаешь. И вообще, может, и не ко мне ты вовсе шел.

Потом принохиваться стал.

— Подойди, — говорит, — ко мне, братик, поближе.

Э, да на тебе глаз, знаешь чей?

Я молчу. Но и трех раз показалось Микуле мало, и чуть голову мне с плеч не снес лапищей своей.

— А это за что? — с полу спрашиваю.

— А просто так. — Микула рогочет. — Правильно сделал, что смолчал. К порядку тебя приучаю.

Потом помолчал, говорит:

— Давно с Кашеем-то видался?

— Девять лет с половиной.

— Дитем еще, значит, совсем? — Крякнул и говорит: — в общем, понял, я, чего тебе от меня надо. Только, братик, одно дело, чего тебе надо, и другое — чего ты хочешь. Чего хочешь, того не получишь. А надо тебе многое. Правильно сказала образина глупая: волчонок ты, тебе к людям приучаться пора. Ты, поди, и не знаешь, кто я такой?

— Не знаю, — говорю осторожно, — уж прости.

— Про богатырей слышал?

— Слышал.

— Так вот среди них наибольшие я и Вольга. К кому, братик, пойдешь?

Подумал, говорю:

— А у кого рука потяжелее.

Хмыкнул Микула, глазками меня полоснул:

— Значит, ко мне.

Часто доставались мне затрешины от Микулы. На дню несколько раз. Уж стараюсь, из кожи вон лезу, а он придирается или вовсе так — ни за что. И понял я: гордость из меня Микула выколачивает. И не обижался, потому что одолевала меня гордость и считал я себя всех людей превыше. Тяжела была у него рука, но только через пару годков уж не падал я с ног, а кряхтел только и затылок потирал. Но на людях не то что не бил меня Микула, а все: «братик, братик». А одни останемся — он раз, да другой, да третий.

— За что бью, знаешь?

— Знаю.

— Ну вот тебе и четвертый, чтоб догадывался.

В первый же вечер все доставил Рудый. Осмотрел Микула коня, сбрую, доспехи. Хмыкнул. Меч взял, в руках повертел и переломил. Обломки Рудому под ноги бросил:

— Дурак. Ему богатырский меч нужен.

Месяц ходил я без меча, потом в кузне деревенской, под Туровом, достал мне меч Микула:

— Годов через десять свой достанешь, лучше. А этот до поры носи. Имя ему легкое дай.

Подумал я и назвал меч: Шипь.

Когда встречал кого Микула, говорил: «А это Святогор, братик мой». И княгине киевской, Ольге-, и меньшим князьям меня назвал. «Ты, — говорит, — каждому князю наговори чего-нибудь, хоть наври. Дураки князья у нас, а без них мы в дураках будем. Под одним дураком многим умным спокойно».

Быстро научил меня Микула выгоду людскую понимать. Всю ночь ворочался я, когда к князю Святославу идти собрался. Уж с самого начала знал, чем угодить: сына Святослав хотел, а у него ото всех жен девки рождались. И понятно было, как князю помочь. Но до слез жалко мне было мындрогыра. Не того жалко, что камней драгоценных он дороже, а — яги наследство. Наутро говорю Микуле: знаю, мол, что делать, но одна у меня яга была из родных, и не за тем корень она мне оставляла, чтоб на княжескую беду глупую перевести. А Микула сам лечил плохо, но цену травам знал.

— Да, — говорит, — на твоём мындрогыре ещё и Сила ягиная. Вот ты людей не любишь, а она тебе Силу свою отдала. Подумай, кстати. А мындрогыр — чего б тебе его новый не взять?

— На Восток, что ли, ехать?

— А хоть бы и на Восток. Туда дорога трудная и веселая. Там и подрастешь заодно.

— Спасибо тебе, Микула. Завтра и поеду.

А он — бац, затрещину.

— Наглец! На Восток он поехал, кости свои волкам кидать! Вместе съездим.

А я ему и говорю: — Дай ещё затрещину. Вытаращился на меня Микула.

— Этого, — говорит, — ещё не бывало, чтоб у меня затрещин просили. Тебе легкую, среднюю или настоящую?

— Настоящую, — говорю.

И как дал он мне по затылку — так из меня чуть не душа вон.

Ну, — говорит Микула любопытствующе, — на что тебе затрещина была нужна?

— А чтоб людей полюбить, — говорю.

Пошли к князю. Лицом надменен, усы как у рыси, голова бритая, в ухе серьга с жемчужинами розовыми и камнем красным, а глаза печальные: сына князь хочет.

Микула ему и говорит:

— Братик мой с тобой словом перемолвиться должен.

Усмехнулся князь приветливо: новый богатырь ему — что дружина целая. А я ему

шепотом:

— Недостаче твоей помогу.

Нахмурился князь:

— Языки болтунам вырву! Не в почете у русских князя!

— Язык, князь, в утробу не вложишь.

— Ох, не забалтывайся, Святогор, — аж задохнулся князь.

— Через год привезу тебе чудо одно. Через сына на руках держать будешь.

— Привозили мне уж чудес всяких!

— Коли мое не поможет, голову срубишь.

Играет кинжалом князь:

— А ну как правда срублю?

— Когда соврал богатырь, руби его, как крапиву. Смотрит на меня князь кошкой дикой, усом дергает:

— Никому не скажу про уговор наш, но сам помнить буду. Губы поджал: — Золота тебе или каменьев отсыпать?

— А сейчас на людях меня обними, вот и все золото, что мне от тебя надо.

Пожал плечами князь, обнял. И пошел среди людей слух, что отправил Святослав Святогора на подвиг. Научился я уж от Микулы: людская молва подчас выше Силы стоит.

Поехали мы. Сразу сказал Микула:

— Твой мындрагыр. В пути я тебе брат старший, но добытчик — ты. Коли я его добуду, ослаблю тебя, и, может, и впрямь срубит тебе голову князь.

Не был учителем мне Микула, а вот братом старшим был. Сам никогда тайн не раскрывал, а подсмотрю что, он глазом зыркнет — и буркнет что-то, а я дальше догадывайся, что да как.

Несколько раз нехорошо выходило. Сила у меня и своя была, умения только не было.

Однажды окружили нас степняки и взять хотели: Микулу узнали, на выкуп богатый надеялись. Долго бились мы; я тогда только трех воинов стоил, невелика подмога. И устали мы. А Микула фыркнул что-то и траву глазом поджег — там, где степняки стояли. И пока пламя сбивали они с себя, достали мы их кого стрелой, кого мечом. После сшибки — як нему: что делал?

Пробурчал Микула что-то невнятно, и не понял я половины, что с сердцем делать, да куда Силу посылать, да слова какие говорить. И через месяц — у моря Хвалынского это уж было — снова привязались к нам степняки, и устал я, и, думаю, чего бы мне Микулин огонь не зажечь? И зажег — но только под своими же ногами.

Не стал меня Микула тогда от ожогов лечить. От степняков отбил — и то спасибо. А опаленные места я себе сам смазывал, от боли воя, а Микула меня еще по затылку охаживал. Так никогда и не научился я Микулин огонь зажигать. Исчезает умение. Сила бессмысленная, дикая остается, самоедка, а когда умение не передадут — во вред только Сила та. Напрасно Микула с собой умение большое унес. Но не судья я ему потому что когда сам своих учеников растил, так и Половины им не раскрыл: неместно им все это было. Может, и я слабее Микулы был. Мельчают люди.

Едем и едем. Не говорит Микула, когда мындрагыр искать надо. А у меня страх: добудет Микула корень тайком и надо мной посмеется. У него ведь как было: поставил корень против головы своей — держи слово, и не то чтобы не пожалел бы меня Микула, когда бы мне князь голову рубил, но только усмехнулся бы и пошел себе над кашей хрюкать. И стал я спать вполглаза и за Микулой следить.

Море Хвалынское обогнули, по пустыням едем. Зима стояла, и легче было пустыни мерить. Море я впервые увидал, и не понравилось мне море: Сила в нем неумеренная гуляет, и не знают русские, кто Силой этой владеет, и я не знал. Грех свой перед русалками отмолил я вроде: пока на Русской земле с Микулой были, по заре реки переезжал и ни разу смеха не услышал. А тут страх у меня перед громадой этой бездонной и синей. Ходил я по белым берегам, море слушал, к Силе его приноживался. Микула ничего не говорит, я не

спрашиваю. Зло меня уж взяло: не на Русской земле свет кончается, должен я и про другие земли знать.

Выждал полнолуния, вышел на берег ночью, разделся, в воду пошел. А холодно было, хоть и привычен я к холоду, а тело — оно и у богатыря тело. Что делать — поплыл. Плыву и у моря Хвалынского о мындрагыре спрашиваю. По самой лунной дорожке плыву, зубами стуча. И слышу, говорят со мной, но на языке чужом. Не зло говорят, а размеренно и спокойно, но ничего не понимаю. Вылез на берег, в костер сушняка подбросил, греюсь. Поднял лохматую голову Микула:

— Молчит мать морская?

— Говорит. Не понимаю ничего.

— Деревенщина, — сказал и спать отвалился.

Обидно мне было. Луна уж за море валилась. Взял я меч свой, Силой закаленный, и снова к морю пошел. По рукоятку меч в воду окунул — и светиться он стал зеленовато. Я слова Сильные говорю — и пошли по мечу тени, и обозначился мындрагыр. Не сказало море, где искать его, только знак подало: близко он и мой будет, если изловчусь. Поблагодарил я мать морскую и спать пошел.

На другую ночь — мы уж от моря отъехали — ушел в пески, стал змей скликать. Зашелестел песок, и не по себе мне стало. На что уж привычен я к змеям был, но таких громадных и смертозубых не видал еще. Окружили они меня, держатся сторожко, и вижу — готовы ужалить. Стал им про Упирь говорить, про Шипь, Шитусь и Шиху. Расслабились немного змеи, но молчат. Прошу их, Упири именем: помогите мындрагыр выкопать. Заволновались змеи, стали о меня тереться, как кошки домашние. Стал я их в руки брать, и заговорили они. Нет, говорят, сейчас в пустыни мындрагыра. Дальше он, в долинах горных. Любим мы, говорят, мындрагыр, но в пустыне он раз в двести семь лет вырастает. И та змея, что после линьки шкурой новой о мындрагыр потерлась, до следующего мындрагыра доживет, и так вечно жить может. Говорю: а коли змея в мындрагыр зуб вонзит? Тогда, говорят, яд мындрагыра этого никому не одолеть. Забилось сердце мое: а, говорю, коли не смертному человеку яд тот дать? Испугались змеи и в пески припустили. Стойте, кричу, не будем об этом, а подскажите мне, как мындрагыр добыть; я по дороге обратной к вам заеду, на ночь мындрагыр выложу, жизнь долгая и, может, бессмертная у вас будет. Подумали и вернулись змеи. Говорят: никто не знает, где в этом году мындрагыр взойдет. Любит он долину тихую, нехоженую, чтоб со всех сторон горы ее закрывали и чтоб водопад хоть маленький, но был рядом. Знак его: проплешина большая среди травы зеленой — все соки с округи мындрагыр в себя тянет. Вершки у него разные бывают: Дурит всех мындрагыр, чтоб в земле дольше жить. По вершку его не поймешь. Но земля над ним сладкая. Один мындрагыр от другого не меньше чем за три дня человеческого пути растет. Но только один к другому Дорогу никогда не укажет. И не спрашивай, говорят, Дорогу к нему у змей местных и ящериц: для себя они то берегут и ты им враг. Хоть и умеешь ты говорить со Змеями, а пуще всего их рядом с мындрагыром берегись. Копать его ночью надо, и многие тогда от змей гибнут. Днем не копай: пожухнет мындрагыр и силы волшебной лишится. Ладно, говорю, коли жив останусь, обратно к вам заеду. Помолчали змеи. Потом говорят: стыдно нам свой род предавать, но больно мындрагыра хочется. Чтоб от змей уберечься, три сухих кожи змеиной кольцом вокруг себя положи. Нет сейчас кожи этой, но весной будет. И набери ее обязательно. По-прежнему не говорит мне Микула, куда едем, все на юг да на юг. Весна открылась. Нашел я первую шкуру змеиную.

— Эге, — Микула говорит, — суп варить будешь?

— К мындрагыру приправа, — говорю.

Ничего не сказал Микула.

Горы пошли. Не видал я раньше гор, и понравились мне они. В горах Сила легко накатывает. Коли были б горы на Русской земле, сильнее русские были бы.

Блуждаем мы по горам. И водопады были, и долины, со всех сторон огороженные, а нет знака мындрагыра. Наконец, показалась проплешина, а на ней семь кустиков растут.

— Чего уставился? — Микула говорит. — Дальше поехали.

Я молчу. И заночевали на перевале. Спать легли. Только я к мындрагыру собрался, слышу, Микула — шнырь в ночь. Схватил я шкуры змеиные и понесся по склонам вниз, дороги не разбирая. Чуть шею не свернул. Спустился. Слышу — пыхтит Микула, чавкает: землю пробует. Екнуло сердце мое: опоздал я. Но смотрю. Нашел Микула мындрагыр, копать стал. Вдруг вскрикнул, прочь отскочил и в гору заковылял. Понятно, думаю: побежал Микула яд змеиный выводить. Бросился я к кустику, шкурами змеиными трижды кольцо вокруг себя выложил, рою. Слышу — шипят змеи. Оборачиваюсь — и страшно мне стало, потому что кипит все тенями тугими, смертоносными, все вокруг колец моих, и тянут ко мне змеи головы, и бесятся, колец преступить не могут.

Выкопал я мындрагыр бережно, как роды принимал. К груди прижал, думаю: как выбираться-то? Чуть из кольца выйдешь — погибнешь. Дня буду ждать, думаю, и простоял столбом до рассвета. А змеи уж стали шкуры покусывать. Первое кольцо переползли. Второе одолели. Тут первый луч солнца ударил из-за горы. Притихли змеи, с ненавистью на меня уставились: одно только кольцо им оставалось. Но не одолели змеи последнего кольца, потому что день уж начался, и расползлись какая куда.

Тут гляжу — Микула на скале сидит, на меня смотрит молча. Ничего не сказал я ему, и он мне ничего. Сели на коней, поехали. Но не поворачивает обратно Микула: второй мындрагыр ищет. Долго мы рыскали, через семнадцать дней вышли на вторую проплешину. Слезает Микула с коня, на проплешину ложится с кряхтением.

— Посплю я здесь, — говорит.

— Может, — говорю, — тебе змей прямо сейчас кликнуть?

Зверем глянул на меня Микула, но с проплешины прочь пошел. А я думаю: как второй мындрагыр возьму? Бросил я шкуры все в долине той: испорчены они уже ядом змеиным. Стал соколов звать. Слетелись. Говорю: знаю, птенцов сейчас кормите. Ночью этой прилетай — будет вам змей без числа. Смотрят соколы круглым глазом: на мындрагыр, спрашивают, зовешь? На мындрагыр, отвечаю. Не подведете? Посмотрим, говорят.

И дождался я ночи и копать стал. Знаю: по всем скалам соколы расселись. Стали змеи сползаться хищно, но заклекотали соколы радостно, и битва у них промеж собой пошла. Я корень выкопал и быстрее прочь.

Спит вроде Микула. Я улегся, а он говорит:

— Завтра обратно поедem. Все одно, кончается время мындрагыра.

— И хорошо, — соглашаюсь.

Сопит Микула. Наконец, вымолвил:

— И знай все же, что в тайные места мындрагыровы я тебя вывел.

— Знаю, — говорю.

И поехали обратно. Кончились горы. Говорит Микула:

— На запад поворотим. Море Хвалынское по кромке южной объедем.

— Мне долг отдать надо, — не соглашаюсь я.

Он подъезжает — и затрещину.

— Хоть в землю вбей — старой дорогой поеду.

— Вот и езжай, — Микула говорит. — В Киеве-граде и встретимся.

Поворотил коня, а меня одного оставил.

Но где богатырь раз днем проехал, там другой раз и ночью не заплутает, и не боялся я в песках да степях заблудиться. Сшибок боялся: один был, против пятерых устоял бы, а больше — нет. Но — раз обещано, надо змеям мындрагыр сvezти.

Добрался до места того, ночью в пески вышел, змей скликал, говорю: вот вам мындрагыр.

Обезумели змеи, ласкаться о корень начали. Потом жалуются: много нас, а мындрагыр один. Говорю им: не было такого уговора, но вот вам второй, только как потретесь, яд в него впрысните. Не стали спорить змеи, в раж вошли, второй мындрагыр попользовали, а потом, омолодившись, одна за другой в него зубы вонзили. Не перепутай, смеются, какой

мындрагыр кому. Не перепутаю, говорю, подружки. Расползаться стали, а напоследок шепнули: довольна тобой Упирь.

Добрался я до Волги, ни с каким лихом не встретившись. А за Волгой привязались ко мне степняки — десять конников: куда едешь да кто ты такой? Что делать? Драться — не отобьюсь. В руки им даваться — мындрагыра лишусь. Сейчас, говорю, покажу, кто я такой. И задор меня взял. А солнце было. Привстал на стременах, кричу:

— Дажьбог, признаешь ли?

И тут на меня луч солнца выстрелил. Недолго держался, но попадали степняки в страхе на землю, а потом говорят:

— Зовут тебя как, чтобы знать нам и своим рассказать?

— Святогор, — говорю.

— Ты солнца сын?

— Святогор я, и большего знать вам не надобно.

С тем и уехал.

Уж к Киеву подъезжал, речку лесную по заре переходил. Засмеялись русалки, подлые. Я-то устоял, потому что, видно, Сила у меня была уже большая, а конь на глубину бросился. Я-то спасусь, да мындрагыр намокнет! Воззвал я к Велесу, и, видно, сильно довольна мною Упирь была, потому что снова откликнулись боги и коня моего на берег вывели.

Но разлюбил я коня своего и, как в Киев приехал, нового себе взял.

В Киеве сразу к князю пошел. Помнили меня людишки, шепчут: «Святогор с подвига вернулся!» А еще без Микулы был, так что вообще сам себе богатырь. Допустили к князю. Я кланяюсь и молчу. Князь спрашивает тихо:

— Ну что, богатырь, привез чудо-то?

— Привез.

И приготовил я ему мындрагыра отвар, от нового корня отрезал немалую часть, и принял князь из рук моих зелье горькое, и через год родился у князя сын, Владимир, который потом с Царьградом связался. И потом другие сыновья рождались.

Нашел я Микулу. Вижу, собирается Микула куда-то, на меня не глядит. Не сказал я ему ничего, а на двор вышел и на коня сел. Выходит Микула:

— Поехали, братик?

— А поехали.

И закрутилась дорога дальше.

А князь Святослав меня с тех пор в большом почете держал и сыновьям с малых лет говорил: «Вас Святогор с Востока в суме привез».

Много изъездили мы земель с Микулой, и научился я кое-чему; везде знание брал.

Из всех богатырей Микула и Вольга первые были. Вольга воин больше и Силу на воинские дела употреблял. Знаю, не поверят многие, но и без Силы мог Вольга от тридцати конников отбиться. А коли Силу употребит — так и целую дружину остановит. Истинно говорю.

Не дружили Микула и Вольга. Завидовали друг другу. Каждый хотел старшим быть, и не уступал один другому. Как в одном месте сойдутся — так и ссора. За мечи не хватались, словами перекидывались. А иногда начнут Силой биться. Бывало, с ума сходили те, что между ними оказывались. Я уж говорю им не раз:

— Внуки славу вашу делить меж вами будут. Образумьтесь, не кидайте Силу под ноги.

Микула хрюкнет:

— Потом поговорим, братик.

(Это, значит, затрещин навешает.)

А Вольга заулыбается, заморщится, бороду погладит:

— Правильно говоришь, миленький. Разумный ты. Святогорушку всем слушать надо. Я, как ты говоришь, так и сделаю. Ты только треску сначала эту тухлую и жестоковьюную, Микулушку нашего, научи уму-разуму, сделай милость.

Вспыхнет Микула, и пойдет меж ними разборка по новой.

А когда я на год к Вольге уходил воинскому делу учиться, несколько трепок от Микулы принял. Ревновал Микула зверем лютым. Но торопился я чему только можно научиться. И год с Вольгой ездил. Охотно Вольга приемы тайные показывал, но про Силу молчал. Я его стыжу:

— Вольга, уж не мальчик ты, пятьдесят тебе минуло, Микулин огонь с ним вместе в землю ляжет, упрямиться будешь, и твое с тобой уйдет. Лучится улыбкой Вольга:

— А мы с тобой, Святогорушко, условимся: как помирать стану, так весточку тебе дам и все тебе перед смертушкой расскажу. Подожди, миленький, молоденький ты, меня намного переживешь.

Так ничего я и не добился. Но воинское умение дал мне Вольга; коли не Сильные против меня выходили, один против дюжины легко справлялся я, Силы не расходуя. Понял: не научит меня ничему Вольга больше, и к Микуле вернулся. Он хоть иногда буркнет что, подберешь крохи и с умом сложишь.

И был я зрелым мужем уже, и разумом, и обличьем, хоть и было мне двадцать лет, и слава обо мне пошла. И приходили ко мне люди за помощью да советом. Но по-прежнему не любил я людей, презирал как тварей своекорыстных, жестокосердных и трусливых, Сильным всегда потатчиков. Но помогать — помогал, и за годы эти весь мындрагыр здоровый, с Востока вывезенный, растратил. Ядовитый при мне остался да ягин тоже. А на ягином Сила убавляться стала. Спрашивал Микулу, а он все одно — глазом косит и ворчит:

— Не любишь ты людей, братик, а вот яга тебя любила. Вот тебе и загадка вся.

И ничто не открывалось, мне нового про Кашея, как ни торкался я то в ту дверь, то в эту. И вспомнил ягин завет: пока целы ее косточки, ничего не откроется мне.

Микуле сказал:

— Отъеду на месяц один.

А он взъярился вдруг:

— Куда?

А я тоже ошетинился:

— Не спрашивает брат у брата выросшего, куда он коня правит.

Микула — затрещину, а я руку его поймал и к земле пригнул.

— Эге, — Микула говорит спокойно.

— Эге, — отвечаю.

— Больше не приезжай.

— Не приеду.

— Дурак ты, хоть и руку мою пересилил.

— Это отчего?

— А не любишь никого.

На том и расстались. Ехал я и сердился. Как же да за что людей-то любить! И яга про это ничего не говорила.

В деревню не заезжал, сразу на погост. Сровнялись с землей родные могилки. Поехал к Кашеевой. Зеленеет вся. Ушел яд, не зря яга мындрагыр извела. На болото двинул. Осинка, что я на могиле посадил, большая уж стала. Слез я с коня, в пояс поклонился: «Здравствуй, бабушка!» Шелестит осинка, и ком у меня в горле стал. Постоял, вспомнил ягу. Потом присел, землю отвернул бережно — и ахнул. Сияют ягиные косточки, и следа тлена нет! Хотел было травами размягчающими снова присыпать, а потом думаю: не в травах дело. За десять лет и без трав, и без слов страшных развалились бы косточки в месте таком. Прикрыл могилку, думать стал. Ничего не понимаю. Уж как мне яга помогала во всем, зачем же после смерти на дороге стала? Поклонился могиле еще раз и уехал. Думаю, дай еще раз дорогу попробую, что мне дуб горящий указал. Может, и не к Микуле мне идти-то было надо.

Добрался до дороги, где мне тогда отряд княжеский, разбойничков догонявший, встретился, и дальше через лес поехал.

Трудно на коне по прямой ехать, еще трудней, чем пешему. Но еду. Еду и еду. Деревни какие-то бессмысленные да леса, и знаков никаких нет. Но Упирь не спрашиваю: злится

Упирь на глупость. А, чувствую, есть тут моя вина какая-то. Долго ехал, пока в Ладогу-озеро не уперся. Плюнул со злости. Нет дальше пути ни пешего, ни конного. Челн долбить, что ли? Есть и острова на Ладоге-озере, а может, в воде разгадка меня ждет? Хожу, как кот вокруг сметаны, по кромке воды. Челн долбить — так какой же челн нужен, чтобы с конем Ладогу переехать? А без коня — на что я за Ладогой годеи и что с конем моим станется, покуда я скитаться буду?

Понял: зимы надо ждать, покуда лед прочный станет. А уж осень была, так что месяца два мне перебиться оставалось. Покуда к морю Варяжскому съездил, я к тому времени уж приспособился с морями говорить. В каждом живет мать морская, норовистая, и нет правил никаких постоянных, как подходить к ней.

Вышел на моря берег, Силу напугал и спрашиваю:

— Ответь мне, мать морская, отчего не открывается мне загадка, живу которой ради? Отчего ягиные косточки дорогу мне преграждают?

Молчит мать морская, но выбрасывают мне волны на берег игрушку детскую — куклу грубую, деревянную. Не разгадал я загадки, но куклу с собой взял и обратно поехал.

Стал лед на Ладоге-озере, поднабрал я корма для коня и поехал осторожно.

Ох, Ладога-озеро, берегов не видно, одна пустыня белая, тоскливая. Где лед прозрачный — там видно, как водяной со дна пузыри тонкие пускает. И нет нигде ответа. Но екнуло вдруг мое сердце, потому что точно на север остров обозначился. Понял я: недаром по льду спотыкался.

И точно — на берегу сруб стоит грубый. На пороге женщина, годов сорока. Кланяется мне в пояс:

— Здравствуй, Святогор. И тебе приют будет, и коню твоему пропитание, усталому.

— Здравствуй, — говорю. — Силу на тебе чувствую. А уважаю я Силу. Ты, видно, много обо мне уж знаешь, потому что велика Сила твоя, а я по дороге не заслонялся. Знаешь, зачем я приехал.

— Да в дом зайди, — говорит, — продрог.

Сидим. Собрала она на стол. Налила щей, миску мне протянула, а потом дрогнула у нее рука, и разбилась миска, и новую мне налила, и извинилась. Похлебка пустая, травяная, да горячая, и то дело. Но странно мне показалось, что миска у нее из рук прыгнула.

— Рада, — говорит, — зовут меня.

— Рада! — говорю. — Не поленица ли ты, девица-богатырь, что всех удивляла, а потом скрылась куда-то?

Кивнула: — я. Потом помолчала; спрашивает:

— Как там Микула-то? Заслоняется он от меня, и ничего не знаю о нем.

А зол был я на Микулу.

— А что ему делается, — говорю. — Над кашей хрюкает себе, как свинья. А коли сердечный интерес у тебя к нему был, так попусту ты затворилась: не стоит он того.

Улыбнулась Рада тенью и сказала тихо:

— Ты, Святогор, так без интереса сердечного и провекуешь, так что не суди о том, чего не знаешь. Много я горя от Микулы видала, а ты от него, поди, кроме затрещин, и не видал дурного ничего?

— Видал, — говорю, — я разное от Микулы-богатыря твоего. Змеям меня ядовитым кидал дважды. И другое разное было.

— Так тебе ж змеи подружки. А Микулу не суди — я и то не сужу.

— Ладно, — говорю, — за то, что покормила, спасибо, а теперь скажи: зря я приехал или нет?

Пожала плечами:

— Что спрашивать будешь? О Кашее не знаю ничего верного, и никто из смертных не знает. Подбивала и я Микулу на Кашея идти. Он не хотел, а я знания искала — и не нашла.

— Пусть так, — говорю. — Но чего ягиные-то косточки на пути мне стали?

Вздыхнула она:

— Людей не любишь.

Возмутился я:

— Не затем я на свет родился, чтоб людей любить!

Плечами пожимает:

— Значит, вовсе попусту родился, потому что не откроется тебе дорога к Кашею. Вот и мать морская куклу тебе выслала, а кукла — любовь детская, простая.

Скрипнул я зубами:

— Скажи, как людей полюбить. Все сделаю.

— Всему, Святогор, научить можно, а этому нельзя. Вот ягу любил ты да змеек своих. А потом замерзла любовь твоя.

— Спасибо за ответ, — говорю. — Верю тебе. Твоя правда: нельзя научить тому. Сам буду жить. Глянем, что выйдет. А сейчас поехал я. Не люблю я Микулу твоего, и противен тебе я оттого.

— Спорить не стану, — говорит. — Но вот тебе подарок мой, — и дает что-то, в тряпицу завернутое. — Поклянись, что не развернешь, покуда ягиные косточки не сгниют. Это тебе на Кашея — не разгадочка, но догадочка.

Вздыхнул я.

— Клянусь, — сказал.

— Верю слову твоему, — говорит. И смотрит на меня пристально. — Ступай, Святогор. Потом поймешь, по-чему я миску первую-то разбила.

— Яд то был? — спрашиваю.

— Яд, — отвечает. — На горе свое не дала тебе его. Не спрашивай, почему дать хотела и передумала почему. Все поймешь со временем и, что делать надо будет, смекнешь.

Покрутил я головой и вон пошел. Обратной дорогой не поехал, а на север дальше двинул, потому что ближе там земля была.

Выкинул я из головы Радину загадку про яд и про тряпицу ее старался не думать. Поверил я ей и решил людей полюбить.

Бунтовало сердце мое гордое, и понимал я, что смирить его надо. В тех местах, куда я выехал, людей уж не было, почитай, и проехал я на юг, до первой деревни, на реке Свирь стоящей. Невелика деревня, и до другой — три дня пути. Слез с коня за околицей и принялся избу себе ставить маленькую. Пять дней не подходили ко мне люди: боялись. Потом пошли всей деревней, чтоб не страшно было, и говорят: кто ты и зачем избу себе ставишь?

— Ведун я, — говорю, — и с вами время какое-то по живу.

— Богатырь ты, — говорят, — а не ведун.

— Так вам что — грязно от богатыря будет?

— Странно нам и боязно. Может, князь на тебя в гнев?

А меня зло душит на трусливых людишек, но говорю спокойно:

— Хотите, в деревню вашу князь придет со мной говорить ласково?

Пошептались они и просят:

— Уходи от нас лучше. Бери девок, каких хочешь только уходи.

Чуть с кулаками я на них не пошел. Но смирял себя. Говорю:

— Не гоните, люди. И богатырю время приходит угла своего искать.

Поняли, что не отступлюсь, и в помощники мужиков предложили. Отмахнулся я: сам дом поставлю.

И поставил избу, и стал жить. Но не идут ко мне люди, маются и умирают, знаю. Сам стал по дворам ходить, где болезни были. Молча вхожу, на болящего гляну, травы заварю и, как пить, скажу.

Долго так ходил. Год целый. И целый год не глядели на меня люди, но уж знали, что Святогор среди них живет, и травам верили. И обходил я так всю округу, и нюх у меня на болезнь тяжелую развился, сразу знаю, что за болезнь и где человек мучается. Так за три дня пути знал. Но не велика доблесть — места пустынные, Сильных нет, поэтому ничто не мешало мне болезни вынюхивать.

И приезжали ко мне люди со стороны. Сначала гонец княжеский прискакал: что со Святогором случилось и почему так рано от мира затворился. Передай, говорю: думает Святогор. И приезжали ко мне от князя доверенные люди за советом. А иногда Сила была им нужна. Тогда клал я Силу на траву или на железо и с ними посылал, если уверен был, что на благо это. Раньше не умел такого делать, а вот теперь научился.

Через год пошли ко мне люди. С большой опаской поначалу, а потом и просто с поклоном, И издалека приходили. Но я как сильную болезнь почую, наперед к ним сам шел. И уже много лучше яги я лечил, и слава целителя обо мне пошла, и, бывало, привозили ко мне людей знатных из дальних городов.

Невыносимо скучна мне жизнь такая была, тесно и душно мне было. Но смирял я себя и ни разу в отлучке дальней не был, и ни одной сшибки у меня не вышло. В лес уходил и там с мечом упражнялся, чтобы вовсе всего не забыть, и так шли годы, шли. Рассказали мне: до того уж доревновались Микула с Вольгой, что на мечах схватились, но опаматовались вовремя. Досадно мне сделалось невыносимо. И вдруг понял я, что могу Силой своей мысль им послать, и почувствовал, что, где бы ни были они, услышат меня. Сама собой Сила меня повела, и послал я им видение города горящего, на стене которого бьются они.

Месяца не прошло — приезжает Вольга.

— Ой, Святогорушко, совсем распоясалась треска твоя хрюкающая, злобная, лохматая. Как ушел ты в затвор, спасу от него не стало. Старость хотел мою погубить и мечом на меня замахнулся. Ты уж уйми его, кровохлеба, кинь ему мысль такую, чтоб ласковым Микула стал.

Зло меня взяло.

— Я, — говорю, — такую мысль в следующий раз кину, что как мечи друг на друга подымете, так и скую руки ваши на веки вечные. А коли перебранку начнете, так и языки скую.

Смотрит на меня Вольга и сомневается, старый пес, верить ли.

— Великую Силу, — говорит, — в затворе обретают те, в ком терпение есть. Только это Микула на меня всегда первый кочетом лезет, его и сковывай.

Смотрит на меня, щурится ласково:

— Чего ждешь здесь, Святогор? Мертвых поднимать хочешь?

— Неподъемное поднять хочу.

— Горд ты, Святогорушко, по-прежнему.

И с этими словами уехал Вольга.

А через несколько дней Микула появился.

— Чего, — говорит, — тут этот шепелявый делал? На меня жаловался?

— Кашель, — отвечаю, — лечить приезжал.

Засопел Микула:

— Мыслями бросаешься через эдаковы дали. Знаю, чего хочешь: первым на Руси быть.

Засмеялся я:

— Совсем одурел ты, Микула.

Упорствует:

— Добра тебе хочу. Если тайн доискиваешься, так нет их здесь. Пустая здесь земля, и нет в ней Силы, добился ты своего, Святогор: только о тебе и разговор теперь, нас с Вольгой и забыли, а тени твоей славу поют.

— А вы больше между собой сшибайтесь, так и вовсе вас забудут.

— Поехали со мной, — Микула гундосит. — Чую, беда какая-то мне через твой затвор выйдет.

— Доброму Микуле не выйдет, — говорю. — А злонравному да суетному поучение может быть.

— Мало я тебя бил, — хрюкнул Микула и с тем уехал.

Не смутили меня богатыри. Живу и лечу. Однажды мальчонку у смерти отбил. Не было у меня надежды, но наложил руки на него и Силу всю свою бросил. И оправился он, правда,

все равно не жилец был и лет пятнадцати, думаю, все одно помер.

Сижу, пот утираю, темно в глазах у меня: устал.

Кинулся мне отец его в ноги:

— Боги нас не любят так, как ты.

Ничего не сказал ему, а только в ту же ночь на юг поскакал. Как ветер несся. И добрался я до мест, где родился, и к ягиной могиле припал, и землю отвернул.

Целы косточки. Потемнели маленько, но крепеньки еще, и всей жизни моей не хватит, чтоб дожидаться, покуда сгниют.

Поехал я сам не зная куда. И вдруг от ярости на лес бросился и стал деревья крушить без разбора. Леший невдалеке мелькает, как кошка, у которой котят отобрали, а я только смеюсь зло и дальше крушу, устал. Опамятовался. Натер от мындрагыра кусочек и по лесу развеял: легко заживут раны лесные. И обратно на север поехал. И больше не было злобы во мне, а только усталость была, на горечи замешанная.

И снова в затвор свой вернулся и лечить стал И снова текли годы. И научился я говорить с лешими и прочими малыми духами, как с людьми, и даже шепот деревьев понимать стал. Но не проходила тоска моя и перестал я гневаться на глупость людскую и злобность, а только рукой махал: не дала Зга человеку разума и сердца, так что теперь гневаться попусту. Не трава человек, заново не посеешь.

И льнули ко мне люди, и помощи просили, и поучения, и что мог — давал. И странное дело — все при мне было, но пуст я был как-то, и не было во мне больше страстей никаких, и, что самое дивное, перестал я о судьбе своей кручиниться. По лесу ползаю, травы собираю и думаю: ну и проживу ведуном, видно, так мне на роду написано, и напрасно я тогда из ягиной избы ушел.

Однажды почувствовал болезнь далеко очень: дней за семь. Лютая болезнь, вижу. Поехал, поспел вовремя и молодку на ноги поставил. И благодарили меня слезно. А я оставил им ландышей сухих, в полнолуние собранных, на счастье, и домой поехал. Уж почти выехал за деревню, вижу: сидит старушка на крыльце и слезы утирает. А далеко деревня была, и не знал я старушку.

— Что, — говорю, — бабушка? Здорова ты, вижу, и изба твоя крепенька, чего тебе еще надо?

— Да из ума я, — плачет, — Святогорушко, выжила. Мне уж в землю ложиться, а я все как девчонка за безделицы цепляюсь.

Сошел я с коня:

— За что цепляешься-то? Может, вместе удержим?

Машет руками старушка, а слезы текут все.

— Такое уж не удержишь.

— Так Расскажи хоть.

Шмыгнула носом, голову руками подперла и говорит:

— Первым сын мой помер. Задрал его мальчонкой волк-душегуб. Потом дочка. Уж невеста была и купаться пошла. И не то водяной девку попутал, не то еще что случилось, но только не вернулась с речки-то. Остались мы со стариком одни и долго так вдвоем вековали, только все о детках тужили, и не было нам счастья. Одно время парень, что дочь нашу сватал, к нам ходил, а потом молодка его запретила: порченный, говорит, лом, и их беду к нам перетащишь. И забыли все о нас. А четыре лета назад старик мой в одночасье отошел. Вышел на двор, упал и неживой стал. Одна я осталась. И — уж прости, Святогор, — но привязалась я тут к курочке. И кормила она меня — много ль мне надо, и грела, и со мной в доме спала. Дурная я, что к животине так пристала, да вот померла курочка моя сегодня, а я убиваюсь, как по человеку. Не оттого плачу, что яичка теперь не увижу, а оттого, что, когда бы умирать я стала, села бы мне курочка на грудь и проводила б меня. А до смерти я б с нею еще жизнью вместе потешилась.

Махнула рукой и снова плачет.

— Да неужто, — говорю, — соседи к тебе не заглянут? Ты ж за ребятишками их

присмотреть можешь.

— Порченный мой дом, говорят. Кто встретит — так отворачивается и молчит. Ты со мной первый за четыре лета заговорил. Я уж и отвыкла от речи-то, как немая стала.

Посмотрел я на старушку эту — сухонькая, глаза заплаканные, а ручонки сжимает, чисто птичка. И упало вдруг сердце мое куда-то.

— Давно, — спрашиваю, — курочка твоя померла? — Да когда ты подъехал, она еще теплая была.

— Воду ставь.

— Ты что, — плачет, — курочку мою варить вздумал? Оставь мне ее, рядом со своими закопаю.

— Ставь, — говорю, — бабушка, воду, да о том, что было, не говори никому.

А сам курочку щупаю. Рядом, чувствую, душа ее еще.

Взял и в дом пошел. Не знаю, что со мной сделалось но только достал я три тряпицы — ягин мындрагыр, свой да одолень-траву. Стал рукой пробовать. Лежит одолень-трава тихо. Мой мындрагыр тоже спокоен, а ягин, дорогой самый, пошевеливаться потихоньку начинает. Эх, думаю, яга, разума твой внучек лишился, что наследство твое так переводит. Но только погладил я мындрагыр, посмотрел на него в последний раз, растер и отварил. Остудил воду и курочку мертвую купать в ней стал.

Не оживляет мындрагыр людей — разве что только корень огромный, с Силой великой, и у человека только-только сердце биться перестало, но и то — слышал я лишь о таком, а сам не видал никогда. А тварь мелкую, думаю, взять должен. Хотя не было, думаю, ни одного дурака, чтоб мындрагыр Сильный на курицу переводил, и не будет никогда, потому что за мындрагыр князья золота отсыплют чуть не ведрами, а богатырю он в час крайний понадобится может. Но дурак я или не дурак, а только взял мындрагыр курочку. Ожила.

Старушка дара речи лишилась.

— Ну, бабушка, — говорю, — коли кому расскажешь, что было, не поблагодарю я тебя. Странное дело я сделал и безумным прослыву, коли узнают об этом.

Корень этот тебе годов двадцать скостить мог, но уж коли не в радость тебе жизнь, то живи остатнее, сколько сможешь, а курочка тебя в любом разе переживет, но как только ты глаза закроешь — и она за тобой. Уж и не знаю, что боги про меня скажут, но что сделано, то сделано. Прощай.

Залопотала старушка что-то, а сама на курочку косится: жива ли или это Святогор морок навел?

Усмехнулся я и домой поехал, и хорошо мне было, хотя глупое дело сделал. Еду, плечами пожимаю. И тут чувствую — зашевелился мындрагыр мой оставшийся. Остановился, достал — точно. Плечами пожал, дальше еду, А уже ночь была, лесом я ехал. Гляжу — в лесу огонь алый, крохотный, и шорохи, шорохи. Словно по лбу меня что ударило: папоротник цветет!

Подкрался я, а вокруг него уж звери собрались, на меня и рылом не ведут. И пошел я, как в тумане, к папоротнику. Волк мне на плечи прыгнул, да отскочил с воем: Сила моя его ударила. Медведь на дыбы с ревом, но от боли скорчился тут же. А я все к цветку иду.

Алый он, о пяти лепестках остроконечных, как костер маленький, и сердцевина голубая, и тени по сердцевине ходят. На колени опустился я, к стеблю прикоснулся. Тут вой по лесу пошел, и ветер небывалый, и тьма пала, и скрылся из глаз моих цветов, только жар его чувствовал я ладонью. И сорвал я его бережно, и засветился он снова в моих руках, и побежал я без оглядки, потому что гневается стебель обезглавленный и погибнуть через это можно. А за мной — топот, свист и вой. Великую Силу в этот час леший имеет, но призвал я Упирь, и отстал от меня леший, и ушел вой в чащу, но, думаю, как бешеный леший в ту ночь был и если кто в лесу ночевал — и думать не хочу, что стало с ним.

Погас цветок. Три дня сушил я его на поляне, Упири молясь. И подумал: а не провести ли мне ягиную Могилку в третий раз?

И тут же, домой не заворачивая, к ней поскакал, Отвернул землю: пыль одна с запахом

сладким осталась.

Отворила мне дорогу яга. Посидел я, с ней поговорил. Не знаю, полюбил я Людей или нет, но только одобрила меня бабушка.

Вспомнил тут про Радин дар и тряпицу ее развернул. И вздрогнул: там смородина сухая лежала. Чего уж тут думать: на Смородинку меня боги посылали.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

О Смородинке много говорить не буду. Речка это маленькая в русских лесах, ворота в мир Згиный. Никто не знает, что с душами после смерти Зга творит, но только летят они на Смородинку и в воды ее опускаются листьями мертвыми. Ворота это, и, если Сильный ты можешь краешком одним за створки заглянуть и все начала и концы увидеть. Не Зга с тобой говорит: не заносись, а Упирь. Лютёхонькое место Смородинка, там ловушки и на Сильного расставлены, и не ездят к Смородинке богатыри. А мне вот — надо.

Но прежде чем в дорогу пускаться, о которой и спросить-то некого, заехал я туда, где дом мой двенадцать годов был, и говорю людям: простите Святогора, но уходит он и никогда не вернется. Жестокость совершаю, но большое зло остановить иду. Знаю, что обо мне думаете: бросает нас. Бросаю; но не могу по-другому. Простите, люди.

Ничего не осмелились мне сказать в ответ. Так и уехал. Но, проезжая на юг, услышал, что появилась в деревне одной курочка небывалая: в день по дюжине яиц несет без усталости. Усмехнулся: яйца считать горазды люди, а о большем лучше и не знать им. Спокойней так. И поехал с легким сердцем дальше.

Вышел я из затвора, но ни с кем видаться не хотел: может, спешить мне надо было до крайности, может, всего на миг для меня Смородинка приоткрыться была готова.

Где Смородинка текла, про то все богатыри знали. Начиналась в болотах и пропадала в болотах. Не северных, не южных, и от востока близко, и запад на опушке. В общем, найти легко, да сказать трудно.

Близко я уж подъехал: Силу чувствовал душную Лес тяжелый пошел, еловый, почитай что черный. И на болотах стоит. Ну, да по болотам простым богатырь поедет. Да и птиц спросить можно. Еще предместья Смородинки шли. Чего там.

И вдруг кто-то сжал мне горло, из седла дернул; в воздухе повис я и задышаться начал, как удавленник, руками за горло схватился — лапа еловая меня сжимает как змея. Темнеет в глазах, хриплю, а лапа все сильнее давит. Шею я напряг, сопротивляясь, и кинжалом лапу перерубил, и только вниз полетел, как меня другая колючая удавка перехватила. Рубанул ее, а уж третья обхватывает и, вижу, четвертая тянется, чтоб двойной петлей меня уж наверняка прикончить. Бросил кинжал и, пока еще сознания не лишился, мечом стал махать — вихрем-кругом, и, видно, все ветки вокруг посекал, потому что на землю полетел. Падая, миг какой-то, но успел, сам не зная зачем, в воздухе перекувыркнуться, и тут пронзило мою левую ногу что-то, и крикнул я дико.

И, воя от боли, гляжу — пришили меня к земле корень в дитя ростом, из-под земли выскочивший, как кол острый, и бьюсь я, как жук беспомощный, а ель кряхтит и стволом толстым уже на меня заваливается: сейчас раздавит. И рванул я что было мочи вправо, и прорвал корень все бедро мне, и упал я вбок, и тут сознание от боли страшной потерял.

Но потерял не напрочь, а какие-то искры вились в глазах моих, словно пчелы, и меня жалили, и очнулся я и своим глазам не поверил: снова лапы еловые на меня напозлали, как змеи. Откатился я в сторону, а кровь хлещет, и, если ее не остановить, умру я скоро. Ель переломилась у корня, упала, тянутся ее лапы ко мне и дотянуться не могут, и шипит еловая хвоя. Конь мой ржет, меня зубами за плечо хватая, прочь тащит. Подняться не могу — какое, когда полноги располосовано, наклонил ко мне конь голову, вцепился я в гриву, и отволоч он меня от ели умирающей. Дальше хотел волочить, прочь со Смородинки, но говорю ему: погоди, А кровь хлещет, и Сила моя отчего-то ее не останавливает, хоть и умел я глазом кровь затворять умру я, видно, скоро. Но лег конь и суму мне подставил и схватил я ягиную

тряпицу с одолень-травой и все до крошки в рану страшную высыпал.

И приутихла боль, и кровь сразу остановилась.

Шагах в десяти лежу я от ели, у которой лапы, как змеи, шевелятся, и шипение от нее идет, будто муравейник с гору величиной разговаривает. Корни из-под земли повыскакивали, да острые, словно заточенные. Да, думаю. Если б не перекувыркнулся я, когда падал, сел бы на корень тот, как на кол, и тогда уж прихлопнула бы меня ель.

Что тут думать? Кащей ель на себя надел, как тридцать лет назад детину того. Никто больше в целом свете с деревом такого сотворить не может. И яда, конечно, в рану мне вошло порядком. Вся надежда — на одолень-траву. Мындрагыр теперь не помощник, потому что не уживается он с другими травами. Но остановилась кровь и сворачиваться стала быстро. Боль только до конца не прошла и скоро вернется. Привалился к коню, перевязал рану. От раны не умру, но ходить начну не скоро. И на коне ездки плохой. Чудесная трава одолень, и коли б от меча рана такая мне была, так через пять дней хромал бы уж бодро. Но на яд Сила папоротника-цветка ушла, и теперь до луны новой лежать мне. Нечего калеке на Смородинке делать. Назад ехать надо. Остановил меня Кащей.

Ель замерла. Снял ее с себя Кащей, как плащ, и в другое что-то перешел. И ничего не стал я с елью делать. Спалить ее надо было, потому что отныне нечисто место это всегда будет, но нельзя огонь разводить когда Смородинка рядом. Проклял я ее, чтоб сгнила быстрее, — ну, да это утешение малое.

Заполз на коня и обратно поехал. Меч в руках держал и Упири непрестанно молился. И выехал к вечеру из леса на пригорок маленький. А нога болит — сил нет.

Кликнул белок: сделайте милость, хворосту принесите. Наташили; развел я костер, стал скорей травы заваривать. Кликнул змей: приходите, подружки, кольцом вокруг пригорка станьте, сон мой поберегите. Сползлись я легли кольцом тихо.

И спал я, а за полночь проснулся от крика. Ничего не понял: в лихорадке был, а змеи пошипивают: хорошо все, спи. А утром вижу — под пригорком человек мертвый лежит.

Подполз к нему — не Кашеева личина, покойник покойником. Кашеев слуга, значит. А когда Упирь того захочет, у гадюки яд будет мгновенный и смертельный. Лежу, думаю. До деревни ближней ехать четыре дня. Да и нельзя на людей беду наводить. А мне месяц отлежаться надо, да есть, да пить. Поблагодарил змей и белок, на коня взгромоздился и на берег озера недалежного поехал. Коса там была камышиная, место не гнилое, чистое. Там решил месяц жить.

Змеи косу перекрыли. Хворост я уж с коня сам собирал, сухие ветки обламывая. Рыбой питался. Не любили меня русалки с тех самых пор, как я над кувшинками надругался, и не могло мне быть от них помощи, вреда бы только не было. И поговорил я с водяным, что над озером начальник был: Упирь, говорю, хочет, чтоб пожил я тут у тебя. Коли с озера ко мне кто заходить ночью станет — поможешь? Помолчал водяной, потом судака с синим пером выслал — знак дал. Помогу.

И шли дни, и заживала страшная рана моя, и лежал я, притаившись, в камыше, и конь мой рядом лежал, бедный. Поставил я Силы заслон кругом.

На пятнадцатый день выехали из леса всадники — десять человек. Выехали, посовещались и к косе моей направились. Но поднял я Силу, и разума они лишились, и заметались, и перестрелял я их из лука.

На двадцатый день, к рассвету ближе, просыпаюсь, как от толчка: водяной разбудил. Присматриваюсь, а по воде трое плывут в челне — подло, тихо. Предупредил меня водяной и тем спас, потому что Сильные они были и застали бы меня врасплох. Подождал я, пока на берег они выползли. Почуяли меня и напрямик в камыши мои направились. Снова стрелами взял, двоих положил, одного ранил только. И спрашиваю его из камышей:

— Кто послал тебя?

Не мог он от Кашея приказы получать, но про земной клубочек мне рассказать-то должен был. Скрипит зубами, молчит, вражина. Я к нему в сердце Силой, а там заслон стоит и мало что видно: лаз подземный какой-то, темно, и говорит некто: «За Святогором поедете».

И ничего больше, и лиц не видно, и голос тот шепотом, поэтому и голос не запомнишь. Единственно что — показалось мне, в роще лаз тот был и вода была рядом.

Что делать — подполз я к нему и пытаться стал. Про пытки говорить не буду: крайний это способ, и не любит его Упирь, и только Сила Кащей прибывает, когда пытаются кого. Все равно — даром я лютовал. Хрустел зубами, стонал он, но сильный был и до смерти тайну свою сохранил.

Понял я: собирает Кащей рати свои земные, скоро не отобьюсь. А поджила уж нога, но жизни в ней мало. Говорю змеям: пришлите молодую самую. Приползла гадючка, а я ей говорю: жаль в ногу три раза. Она бежать. Жаль быстрее, говорю, знаю, что делаю.

И ужалила она меня три раза, и принял я травки кое-какие, и лихорадку переждал, а нога ожила моя. И на двадцать третий день поехал я на Смородинку снова.

Понял я: подчас и Силой не почувешь Кащей, коли хоть немного рассеян будешь. И ехал с большой опаской, и пока в лесу этом был, не спал вовсе.

Той же дорогой ехал. Вижу — начала ель гнить: действовало проклятие мое. Объехал ее стороной. Недолго уж до Смородинки-речки оставалось: Сила ее наплывала мороком. Вдруг стоны слышу. Остановился. А стоны спереди идут, куда ехать мне. Проехал ольшаником мокрым, на полянку выехал, вижу: в болоте дева тонет, в платье крестьянском, простоволосая, с глазами очумелыми. Меня увидела и кричит:

— Вытащи, вытащи, сейчас затянет меня!

Не приближаюсь я.

— Не сейчас еще затянет тебя, и скажи мне сперва — что ты в местах потаенных делала?

— Гибну я, скорей ко мне иди!

— Не ходят девки на Смородинку.

— А я пошла, пошла, горькая! Милый мой на войну ушел и пропал, пошла я Смородинку, глупая, спрашивать, ой, вытащи!

А она уж по грудь в трясине, и белая вся, и скоро полется жижа болотная в горло ее.

— Меня знаешь? — спрашиваю.

А она в крик безумный, и больше ни слова. Только «а-а» и трясется, и жижа в такт ей колышется и все глубже влечет. Хрипит она, глазами вращая безумно:

— Упири именем, помоги!

Слез я с коня, ветку срубил и ей протянул. Заголосила дева, не может до ветки спасительной дотянуться..

— Ближе, ближе! — хрипит.

И только дотронулся я до нее ветки концом, как Рана моя жаром загорела. Отдернул я ветку. Ну, думаю, есть теперь у меня на Кащей своя примета. Дева:

— Да что ж ты?

А я стою, смотрю. Каких только слов не говорила мне дева: и про мать-сироту, и про молодость свою, захныкала даже под конец, что плод в чреве носит. Говорит — и не погружается дальше в трясину дева.

— Ты, — говорю, — дно, что ли, нащупала, раз со мной поговорить время имеешь?

Осеклась дева и снова проваливаться стала. Вопила молила, но только сомкнулась над ней жижа, пузырьки взошли — и кончилась еще одна Кащеева личина. Од. ним проклятым местом больше будет. А рана моя все жжет тихонько — над Кащеевой могилой стою.

Под вечер предместье кончилась, пошла Смородинка. Туман стал кудрями виться над пустошами, резко запахло сыростью, лес зашептал. Но не было слышно ни зверя, ни птицы. Я знал, что они наблюдают за мной, но на них лежала Сила Смородинки, и звать их было бесполезно.

Когда я проезжал очередной пустошью, над которой в еще ясном небе скалился молодой месяц, кусты раздвинулись, и на поляну вышли два старца.

Тот, что шел впереди, был плешив и согбен. Второй — лохмат и могуч. Они сложили руки на посохах и остановились. Остановился и я. Молчали. Мог ли Кащей вселиться в два

тела сразу? Если и мог, то не здесь: не было ему доступа в царство Смородинки. Получалось, что именно сейчас я и должен был получить ключ, который искал.

— Не молчи, Святогор, — сказал плешивый.

— И ничего не бойся, — сказал лохматый.

— Издалека ли вы, отцы?

— Небо нам крыша, а ельник лавка.

— Что далеко, то нам близко, а что нам близко, до того ты и не доскачешь.

— Знаете кручину мою?

— Не кручина это, а загадка.

— От кручины воют, от загадки хмурятся.

— Так разгадайте. — И я стал наезжать на них, но вдруг словно уперся в невидимую стену.

— Что, — захихикал плешивый, — это не девок-гляделок в болоте топить?

— Не елям невинным лапы рубить?

Я напрягал свою Силу и так и эдак, но стена оставалась стеной. Смородинку мне было не одолеть.

— Дальше не ходи, Святогор, — посерьезнел плешивый.

— Сгинешь, — подтвердил лохматый.

— Нас слушай.

— Последняя мы твоя надежда.

— Дайте разгадку мне, старцы, не со злом приехал, по дороге чуть не сгинул, жизнь всю ответа этого ждал.

Застыли старцы.

Кашлянул плешивый и на месяц показал:

— Как семь раз по семь лун пройдет, в Хазарии будь. От Итиля на восток тебе три дня пути. Выедешь к кургану двуглавному. Над ним птицы кружиться будут, как над падалью. Меж глав кургана яму копай в четыре роста своих. Ядовитый мындрагыр свой растолки и выпей. Змей зови. Одна приползет — серая, громадная. Кашей ею будет. Бери змею в руки, и ужалит она тебя, но яд мындрагыра из тебя в нее перельется, и то будет Кашеева смерть.

Лохматый вперед выступил:

— И поруби Кашея-змея мечом, и в яму столкни, и меч свой не жалея, сверху брось. Закопай яму. И откроются небеса, и боги с тобой говорить будут. И совершишь ты подвиг свой.

— И помни: не прощает маловеров Смородинка. Что сказала — тому верить надо. Смерть спросившему, да не поверившему.

— Поворачивай коня. Иначе смертью страшной умрешь. Кашей же людям достанется.

Я молчал и перебирал поводья.

— Уезжай, неслух! — топнул ногой плешивый.

— Смерть твоя за тобой стоит! — прокрипел лохматый.

Но я сидел неподвижно.

— Косой замахнулась!

— Пропал Святогор!

И крикнул я:

— Разве спрашивал я Смородинку-реку? Разве в воды ее смотрел? Разве доехал я уже до нее? Прочь подите, нетопыри бесплотные, мысли лукавые!

В руках у плешивого оказался лук.

— Придется мне, — сказал он, головой качая, — порешить Святогора упрямого.

— Миг у тебя остался, беги! — выдохнул лохматый.

Плешивый натянул тетиву. Я видел острие стрелы, блестящее, зазубренное, разящее. Плешивый медлил; Я не шевелился. И неожиданно плешивый плюнул на землю, старцы поворотились и исчезли в кустах. Стена, державшая меня, рухнула. Я обогнул ольшаник. Старцы, переговариваясь, шли сквозь вечеряющий лес. Я не боялся их и не верил их словам.

Смородинка отгораживалась призраками, и сомнений в том у меня не было.

Я заночевал на той же поляне. Конь мой тихонько ржал всю ночь: его тревожила незнакомая Сила. Я знал, что здесь Кашей не потревожит меня, и спал. Видения мучили меня, но веры им не было.

На другой день, поутру, я выехал к Смородинке. Черные воды ее были неподвижны; ни водорослей, ни камыша, ни кувшинок — ничего не было. Мошек, водомерок, комаров словно не существовало на свете.

Я провел целый день, глядя в эти черные воды и спрашивая все одно и то же. Ответа не было. Я просидел и ночь. Смородинка не говорила со мной. Вокруг была полная чернота, словно я сидел в мешке. Наутро мне пришлось отвести коня на болота — напоить. Я не знал, можно ли было ему пить эту воду, но пить воду Смородинки было вовсе заказано. Я оставил его пастись в лесу, а сам вернулся на берег и стал снова смотреть в воду.

Так прошли не день и не два; если бы Смородинка не заволакивала небеса пеленой, я бы уже увидел молодой месяц снова. Так минуло тридцать три дня.

Я уже давно жил на одних лишь ягодах и кореньях из заповедного леса. Я ослабел. Коню моему прискучили мох да скудная трава. Мы оба пили воду из болота, и я не знал, что с нами будет. Смородинка не говорила со мной. Я видел только черную речку, которая никуда не текла.

Я не верил, что старцы говорили правду: они были только лукавыми мыслями Смородинки. Я чувствовал, что добьюсь ответа либо сейчас, либо никогда. Но ничто не менялось в Смородинке, и на тридцать четвертый день я решился на отчаянный шаг. Я достал уду и забросил ее в Смородинку, как в обычную речку. И как только крючок ушел под воду, я вскрикнул от боли, и, хотя судороги сотрясали меня, я был счастлив, потому что все стало меняться, и я увидел, как тени неслись со всех сторон и ныряли в воду — тени, души умерших. И я узнавал все их земные истории, и боль нарастала, и я уже почти не мог ее терпеть, и тут уда дернулась и ушла под воду, и, изнемогая, я вытащил на берег рыбу. Тут же боль отпустила, и я перестал видеть мучительные тени и прижал рыбу к земле.

Это была молодая щука, совершенно черная, только свирепые золотые глаза мерцали. Я дал ей уснуть самой; никакого знака в ее предсмертных биениях я не усмотрел. Кошунствуя дальше, я вспорол ей брюхо. Там лежали голубое, в зеленоватых прожилках, яйцо и сияющая игла в палец длиной.

Я ударил ею по яйцу, оно раскололось, на землю Вывалился черный червяк, дернулся три раза и подох. Я вонзил иглу себе в руку, лег на берег и принялся Пить воду Смородинки. Как только я сделал первый глоток, окружающее скрылось из глаз, и я увидел: лесистая низина, старый дуб с ветвями, разросшимися так, что он напоминал растопырившегося жука, дупло; дупло надвигалось на меня, росло, и я увидел в нем точно такое же яйцо, какое было в щуке; вдруг потемнело, и в дупло влетел огромный филин, и прикрыл яйцо крыльями, и стал шелкать клювом. Потом он успокоился и принялся оглаживать яйцо; по яйцу пошли трещины, оно раскололось, и оттуда вылетела тень. Я мог следить за ее полетом, и вот я видел, как тень обернулась русым детиной, убившим моих родных. Потом я снова видел яйцо и филина, и снова вылетела тень и превратилась в ель, которая душила меня. Потом точно так же тень обернулась девушкой на болоте. А потом я видел одно лишь яйцо. Страшно сверкнули глаза филина, и все скрылось, и я снова лежал на берегу Смородинки. Я был изможден, закрыл глаза и тут же уснул.

Проснулся я к вечеру. Игла все еще сидела у меня в руке. Я вытащил ее и рассмотрел: нет, игла была не простым лишь знаком; именно ею я должен был расколоть яйцо, в котором высиживались личины Кашея. Мне было досадно, что я не догадался раньше: Кашея, как духа, как порождение великой Мокоши, никто из смертных не мог ни победить, ни спеленать. Кашей-дух будет жить, покуда живут боги. Но его можно загнать в царство духов, запечатать там, лишив его счастья надевать земные личины.

Я задумчиво смотрел в воды Смородинки. Я получил ответ, который хотел. Но — смешно сказать, мне предстояло найти тот дуб, в котором лежало яйцо, а может быть, и не

яйцо даже, но нечто, из чего рождался всякий раз Кашей после гибели своей очередной земной оболочки. Найти дерево, пускай и приметное, в нескончаемых лесах Русской земли! Да и Русской ли? Не только на Руси дубы растут. Что мне оставалось? Не в человеческих силах, не в богатырских даже, изъездить все леса. Надо было думать и искать других знаков. Смородинка сказала мне все, что хотела, и даже дала иглу.

Я повернулся к щуке, чтобы выбросить ее в реку. Но невесть откуда взявшиеся зеленые мухи уже пожирали и ее, и черного червяка, и даже липкую скорлупу. Я не попрощался со Смородинкой. Рано или поздно моя душа должна была скользнуть в ее черные воды: смешно прощаться с собственной могилой. Я зашагал в лес.

Мой конь довез меня только до границ царства Смородинки. Как только ее Сила стала слабеть, он пал. Теперь ему предстояло превратиться в призрака и вечно бродить по этим болотам, смущая живых. Сила Смородинки, заразившая его через воду и траву, не пускала его прочь. Я был рад, что она отпустила хотя бы меня. Дальше я пошел пешком. Осень была уже в силе. Со дня на день должна была начаться распутица, и я представлял, чего мне будет стоить добраться до Киева без коня. Я хотел ехать в Киев говорить с Микулой и Вольгой. Может быть, они согласятся разделить со мной подвиг. Но пешком я мог идти бесконечно долго, а кто знал, сколько времени было мне отпущено.

Я прошагал пять дней, прежде чем добрался до первой деревни. Ни одного коня в ней не оказалось. Дороги уже раскисли, можно было идти только лесом, но неизвестно, что выходило медленней. Я не стал искать другой деревни и направился в Новгород. Только через долгих десять дней я был там. Не дошел я и до торжища, как уже прошел слух: Святогор вышел из затвора. Слух был мне на руку: ни серебра, ни золота у меня не было. Они всегда бренчали в суме богатырей, их не считавших, потому что княжеская казна раскрывалась для богатыря даже в самое скудное время. Но я провел двенадцать лет в затворе, а все, что имел перед тем, давно раздал. Конь же мне был нужен богатырский.

Я сразу заметил белого жеребца с умными карими глазами. «Мой!» — подумал я. Торговаться надо было со степняком. Русский заплакал бы, но отдал бы Святогору коня даром. Я нахмурился. Первый раз в жизни я должен был торговаться! Все, что у меня оставалось, были травы, мындрагыр с Востока и одолень-траву, которую я сорвал летом. Ничем из этого пожертвовать было невозможно. Сердито я начал:

— Отдай коня.

— Отдам. Сама Святогор у меня покупает! Аи-аи, хороший барыш будет!

— Не будет тебе барыша.

— Как — не будет? Конь эта — как человек, да еще и скачет.

Вокруг нас уже собиралась толпа. Стыдоба, Святогор Кашея три раза видал, а теперь как нищий коня выпрашивает! В Смородинку заглянул, а в свою суму позабыл!

— Отдай коня, — повторил я тоскливо.

— Бери-бери!

— Порченный твой конь, — сказал я вдруг.

— Сын русского бога, побойся отец свой!

— Порченный, — повторил я уверенно. — Богатырский, а порченный. Глаз на нем лежит нехороший. И на других тож.

Степняк вытаращился на меня, потом кинул шапку оземь и плюнул.

— Чего вытаращилась? — накинулся он на зевак. — Не видите, с кем моя говорит? Прочь, прочь пошла!

И зашептал мне:

— Мать жены моя, он, он глаз положил! Видит, коню цены нет, и глаз хореk вонючий положил, ведьма лысый! Приеду, зашибу! Снимай сглаз с коней моих, полцена сброшу!

— Давай вот что, — сказал я, впервые в жизни противен сам себе, — я до Киева на коне доеду, коли снимется сглаз, двойную цену получишь. После Новгорода в Киев зайди.

— Двойная не надо! Мать жены голова с плеч надо!

— Ты меня слушай. Двойную цену получишь, и траву дам в чай — добрей мать твоей

жены станет.

Благодарил меня степняк. Стыдно мне было: в первый раз обманом взял! Долго еще ехал и думал: хоть и грязь для богатыря деньги, а все ж таки надо, чтоб к подошвам пристала.

В Киеве пришлось первым делом идти к князю. Не состарился Святослав, не помягчала варяжская порода на русской равнине — сидит, как беркут на скале, и глазами сверкает.

— Святогор! Вышел из затвора таки! Или что случилось на земле моей?

Что мог я воину объяснить, пусть и на престоле сидящему?

— Великое зло, — говорю, — по земле твоей гуляет. На подвиг ухожу. Долгий будет и людям невидимый. Не с твоей ратью пойду и рассказывать ничего не стану.

Хмурится Святослав:

— Не люблю я тайные подвиги ваши! Вот Вольга — дружину остановит, и люб он мне.

— А коли Вольга перестанет дружины останавливать, и войско твое все исчезнет, и людишки в земле твоей переведутся — что тогда тебе любо будет?

Вздыхает Святослав:

— Велик, видать, подвиг твой. Ни о чем спрашивать не буду, но как найти тебя? То раньше на месте сидел, но на зов мой не шел, только из-за леса советы давал, то теперь вовсе уезжаешь невесть куда.

— Не знаю, что ответить тебе, князь. Дорога моя петляет, как речка подлая. Если почую, что нужда у тебя во мне крайняя, — приду. Но может так статься, что биться в этот миг буду и с места своего сойти не смогу. Не обессудь уж тогда, пойми. Молчит Святослав, усы разглаживает.

— Ладно, — говорит наконец, — богатырь. Людям своим приказ дам: если объявится Святогор, слушаться его, как меня самого. И казну ему открывать, и полки под его начало ставить. Престол не забывай все же.

— Как забудешь? Мы землю Русскую Силой держим, ты — порядком. Простились.

В Киеве тогда Вольга был, меня поджидал, а Микулы не было. Говорю Вольге:

— На подвиг зову. Велик враг, а есть надежда запереть его.

Замахал руками Вольга, зашикал:

— И не говори про такое, миленький. Всегда был враг, и всегда будет. Служкам его жизнь укорачивать мы поставлены, а на большее руку не поднимаю. Да и к чему? Так мир устроен, и не к чему нам, убогим, в дела богов мешаться, чужие это дела.

— Мне не чужие, — говорю. — Дажьбог мне отец, а враг, выходит, дядя.

— Не ходи, горденький ты мой. Что Дажьбог тебе отец, про то все говорят, но доподлинно не знают. А что синички о море поют, то дело небольшое.

— Тайны мне открылись, Вольга. Пойдем.

— Играет с тобой Упирь-змея, кольца свивает, а что ей потеха или причуда минутная, то тебе погибель. Защитница нам Упирь, но неместны нам Сила и лукавство ее. Не замахивайся, Святогорушко, на неземное.

— Боишься ты, Вольга.

— Аи боюсь, дорогой ты мой, боюсь. Хочу еще землю потоптать, на солнышко посмотреть, плечо свое князю подставить. Не оторвешь гору от земли, моря не выпьешь, звездочку не достанешь. Меру, Святогорушко, знать надо.

— Тогда прощай, Вольга. Коли рядом окажешься — поможешь?

— Когда дело земное будет, то посмотрю, может, и помогу. Но особенно не надейся: не мешаюсь я в дела такие.

— Долго живи, Вольга, останавливай рати.

— А ты поумней, пожалуйста, касатик.

С тем и расстались. Стал я Микулу ждать. Почует Микула, что в Киеве я, покажется. И к зимнему солнцевороту объявился в Киеве Микула.

— Здравствуй, — говорит, — братик.

— Здравствуй и ты, Микула. Подвиг разделим?

Сопит Микула, меня слушает. Потом говорит:

— Дурак ты, Святогор, и опасный дурак при этом. Враг всегда был, но не перевелись от этого люди. Убивали, жгли, вредничали, но не перевелись. И дальше не переведутся. А расшевелишь ты врага, нас всех погубишь. Как почует он, что на него самого руку люди подняли, — отомстит страшно. Или не знаешь ты этого? Покуда змею не трогаешь — и она тебя не тронет. А коли полезешь на нее, так и ужалит она тебя.

В общем, бросай ты это дело тут же.

— Не остановить тебе меня, Микула.

— Князю скажу.

— А говорил я уже Святославу и еще скажу: враг престола его лишит. И будет мое слово против твоего. А честно скажу тебе, Микула: больше моя слава твоей и меня князь послушает.

Скрипит зубами Микула:

— Не шевели гнездо страшное, зло большое от этого людям будет! Не заносись, гордец глупый и своенравный! Что сам ты голову сложишь — то печаль малая. Зло расшевелишь! Дремлет оно, а ты в него острием раскаленным!

— Давно ли зло задремало? — спрашиваю. — Или разбоя меньше на земле стало?

— Коли тронешь его, больше, больше будет! — Микула сипит.

— Если не мы сейчас, Микула, то кто тогда? Мельчают люди, слабеет Сила их, и изведет их враг! Пока есть богатыри Сильные, только тогда и можно зло запечатать!

Молчит Микула. Потом в сторону смотрит и говорит:

— Пропади, запечатник! Последнюю службу окажу — на подвиг провожать поеду. День вместе будем, потом в Киев вернусь и слушать о тебе больше не стану.

— Спасибо и на этом, — говорю.

— Когда едешь-то?

— А сейчас прямо.

— Весны хоть подожди.

— Нечего и некого ждать мне теперь. А по мне что стужа, что гроза. Дажьбогов я сын.

— Дай хоть каши поем. — Микула скрипит.

Поел он. Выехали из Киева. Не знал я, куда ехать, и на север двинул. Микула со мной. Леса пошли несчастные, снегами засыпанные. Пусто, сиро. Охнул вдруг Микула.

— Смотри! — кричит и на лес показывает.

Поворотился я, а конь мой вдруг заржал и дернулся и удар страшный, смертельный, от головы моей отвел, только по руке левой он пришелся. Снес Микула мне с кольчугой вместе руки кусок. Выхватил я меч:

— Вражья подстилка!

— Ушел, думаешь? — Микула хрипит. — Конь твой подлый тебя только и спас, а то остановил бы я тебя. С врагом никогда не знался, а шевелить его не дам! Не уйдешь ты с дороги этой, Святогор.

Схватились мы. И мечами бились, и Силу друг на друга напускали, и одолевать меня Микула стал.

— Не уйдешь, гордец смертоносный, — пыхтит, — не уходил никто еще от Микулы!

Но тут игла, из Смородинки добытая, в ворот зашитая, горячей вдруг стала, и прибыла Сила моя несказанно, и затмил я Микуле глаза и рассек его от плеча до седла, и каша из Микулы полезла.

Стою над ним, и дрожь меня пробирает. Он на меня первый руку поднял, но чтоб богатыря русского своей рукой порешил! До какого ж предела, думаю, враг во власти своей дошел, что Микулу пленил! А потом смотрю — нет на Микуле злой Силы. С ясной головой Микула на меня кинулся. Опасен я, решил, а суд у Микулы скорый был.

Долго я над ним стоял. Потом в Киев повез. Ночью в город въехал, но все равно сбежался народ, плачут:

— Микула мертвый, а Святогор в крови весь!

Вышел на крыльцо князь разбуженный.

Громко сказал я, чтоб все слышали:

— На зло смотрите! Один богатырь убит, и ранен второй! Берегитесь, люди, раз богатыри гибнуть начали.

А больше ничего не сказал никому. Вольга один все понял, но только головой покачал и ни слова мне не сказал. Заплакал Вольга. Не любил Микулу, а страшное дело случилось.

И остался я в Киеве на зиму. Руку вылечить надо было, и вообще знамение смертное получил. Не начинают подвиг так.

Скоро степняк объявился, ко мне прибежал. Сказал я ему:

— Нет цены коню твоему. Честно говорю. Поэтому получи впятеро больше того, что просил. Больше бы дал, да сведут тебя с ума деньги такие.

А он про свое:

— А трава в чай?

Охнул я про себя, но некого винить, кроме Святогора, и дал ему траву умиротворяющую. И долго я сидел тем вечером, и все мешалось в голове моей: и обман мой, и с Микулой сшибка, и игла со Смородинки. И стонала душа моя, и не было на земле человека, который бы залечил мои раны.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Тело Микулы я отправил с верными людьми на Ладугу-озеро, к Раде. Санний поезд с его телом шел медленно, и только через два месяца рана на руке моей, которая уже совсем зажила, вдруг вспыхнула огнем и стала гноиться. Я ожидал этого и откладывал выезд из Киева. Но Рада недолго гневалась на меня, гной вышел, и я отправился сам не зная куда. Да и что мне предстояло делать, оставалось загадкой. Дуб, похожий на распяленного жука, и дупло в нем не подлежали сомнению; но я сомневался, что в дупле действительно увижу яйцо, и игла, данная мне Смородинкой, могла быть предназначена совсем не для того, чтобы раскалывать злую скорлупу.

Решительно ничто не подсказывало мне, куда ехать. Проблуждав до середины лета по случайным лесам, выглядывая тот дуб, и, не только что не найдя его, но даже не повстречав никакого обнадеживающего знака, я, как делал в таких случаях всегда, остановился у темного лесного ручья. Несколько дней я смотрел на воду, но видения все были пустые. Потом я отогнал видения и стал думать. Дубы, ох, дубы росли, насколько я знал, по всем сторонам земли, и Кашею было вовсе не обязательно гнездиться на Руси. Чтобы объехать всю землю, нужен был полк богатырей, а один богатырь, сраженный моей рукой, лежал в могиле, второй испугался, а больше богатырей об эту пору не было. Никаких других примет я не имел. Где искать? В дубовых пущах на юге? На северных окраинах? Великий лес тянулся на север и на восток, и только темные слухи доходили до нас с его дальнего края, откуда поднималось солнце и где, как говорили, на берегу зеленого моря лежали богатые страны. Иголку в стоге сена найти было проще, чем этот проклятый дуб. Следовательно, думал я, на него можно было выйти либо по случаю, либо по знаку. А знак найти можно было тоже только случайно, потому что никакая Сила не направляла меня в то время.

Я достал иглу. Она была холодной и тусклой и никак мне не помогала. Я подбросил ее в воздухе; она легла на песок, как самая обычная игла. Острие ее указывало на юго-восток. Мне было все равно, куда идти, и, хоть я и не верил в то, что это был знак, я поехал туда, куда показала игла.

Семь лет объезжал я леса Галитчины и Волынщины — и в распутицу, и в метель. Я сновал по лесам как челнок. Помощников мне не было; я не мог справиться о дубе даже у зверей, потому что они отвечали бы Кашею о Святогоре, как отвечали бы Святогору о дубе. Я не сомневался, что Кашей был настороже и искал моей гибели, но если бы он узнал, что Смородинка проговорила про яйцо и дуб, он бы бросился на меня всей своей Силой и, конечно, уничтожил бы. А так у Кашея была пропасть других забот: за каждым

кровопролитием, насилием, ссорой даже стоял он и временами, хохоча над людским несчастьем и радуясь тому, как люди изобретали новые способы известить друг друга, наверное, даже вовсе забывал про меня.

Люди знали, где скитается Святогор, и искали встречи со мной. И многим помогал я.

Нет более невыносимого испытания для богатыря, чем пустое житье. Первые три года я тосковал неимоверно, а потом свыкся и с этим. Я уже был готов скитаться впустую всю странную жизнь мою и умереть, так и не завершив подвига. Как рабочая лошадка, я впрягся в свой хомут и не думал ни о чем, кроме искомого дуба.

За семь лет у меня не было ни одной настоящей сшибки; только несколько раз карал я разбойничков, но куда было озверевшим мужикам или беглым воинам разозлить или озадачить Святогора своим небольшим воинским умением, на восьмой год я готов был поручиться, что никакого необыкновенного дуба ни на Галитчине, ни на Волынщине не было. Я снова бросил иглу. За семь лет она ни разу не засветилась и не потеплела, и ее падение должно было быть таким же случайным. Сейчас игла показала на северо-запад, и я безропотно поехал сначала в Полоцкую, а потом в Смоленскую земли.

Чего я боялся, так это того, что игла потеряла свою Силу. Но этому я помочь в любом случае никак не мог.

Одолень-травы и мындрагыр все еще были со мной. Каждый год я просиживал ночь летнего солнцеворота близ папоротников, но одолень-травы мне больше не открывались. Мало-помалу я стал приходить к мысли, что боги меня оставили. Может быть, Упирь не простила мне Микулиной крови.

Я проезжал по Полоцкой земле три года и отправился в Смоленскую. Я не знал, стоит ли мне через три года, когда я обрышу новые леса, бросать иглу в третий раз. Я ей не верил. Я уже смирился с мыслью, что никогда не найду тот дуб.

Однажды, как бывало несчитанное количество раз, я почуял в лесу человека и приостановился. Он шел прямо на меня; кусты шумели, и вот я уже его видел. Привычно я испытал, Сильный ли он. Нет, никакой Силы на нем не было.

— Святогор, Святогор! — запросил он. — Помогите! Мне еще тридцати годов не исполнилось, а уж еле ноги таскаю. Сердце меня мучит.

Жить ему оставалось не больше года. Помочь я ему уже ничем не мог, мог только усмирить боль. Я дал ему трав, он кланялся в землю. Назвался он Хлыном, был из дальней деревни и уже несколько дней шел по моим следам.

— Первый раз я тебе сам травы заварю, — сказал я ему. — Да и сразу выпить тебе отвар нужно: путь не близкий. Травы русские даю. Покажешь ведуну вашему, пусть таких же тебе отсыплет.

Хлын с надеждой смотрел, как я готовил снадобье.

— Пройдет хворь моя?

— Боль пройдет, — отвечал я уклончиво, но Хлын, кажется, все понял.

— Видно, из дальних стран травы нужны, — вздохнул он тоскливо.

— Почему ты знаешь и отчего дальним веришь больше, чем ближним?

— На восходе солнца, говорят, правильные травы растут. Так ли?

— Везде правильные травы есть.

— А вот слышал я, — Хлын мечтательно сощурился на огонь, — что выстроили на восходе солнца Белую башню и кто в ней проживет три дня, с того любая хворь спадет.

— От кого ты такое слышал? Я, Святогор, давно землю топчу и на восходе был не раз, но не слышал я про такую Башню.

— Купец нашей деревней проезжал год назад. На заход ехал, шелка вез, но либо обратно другой дорогой прошел, либо сгинул на заходе. Говорил, выстроили ее недавно волхвы тамошние. Стоит Башня у моря, три реки великие нужно переехать и степью пройти, а как песок один пойдет, там и Башня будет. Камень ее особый, из южных стран, и волхвы там сильнющие живут, и вылечиться там можно. Одно в толк взять не могу: как же это может быть, чтобы один песок был кругом? И не бывает такого.

— Бывает, — вздохнул я.

С Востока постоянно накатывали какие-то слухи. Давно говорили уже про Беловодье, где бессмертны люди, но куда входа нет, а теперь вот про Белую башню придумали. Хлын все говорил про Белую башню и про то, как там все от хворобы лечатся, а я рассеянно слушал вполуха.

— ...и стоит, говорит, в песках, тоже белых, и чудно это.

— Что чудно-то? — зевнул я.

— А дуб.

— О травах твоих думал, не слушал тебя. Что чудно-то, повтори?

— Да действительно чудно, Святогор. Пески сухие, как зола, а за Башней низинка, и зеленая вся, а в ней дуб растет. Море его не солит, песок не сушит, а держится, видно, Силой Башни той. Что ты так на меня смотришь, Святогор?

Я смотрел на него так, как давно не смотрел на людей.

— А сердце твое слушаю и о травах думаю. Помолчи.

Я готов был поклясться, что на нем не было никакой Силы. Он был простой человек. Он смотрел мне в глаза доверчиво и открыто, но я хотел проверить, по умыслу он говорил, по наущению или по простоте. И я пронзил его Силой. Брови мои пошли вверх: Хлын говорил то, что слышал.

Но, добиваясь своего, я не рассчитал. Моя Сила оказалась слишком велика. Он схватился за грудь, застонал и с ужасом глянул на меня. Я подскочил к нему, но Хлын уже отходил.

— Что же ты, что же... — прохрипел он, в отчаянии вращая белками глаз, но если я и не мог чего-то победить, так это свою собственную Силу.

Он умер тут же. Травы только закипали на огне.

Я провел подле него три дня. Я подумал, что это мог быть Кашей, дошедший до совершенства в своих личинах. Но мертвый не ушел; я почувствовал, как отлетела его душа и помчалась на запад, на Смородинку. Я знал, что эта душа все еще укоряет меня. На второй день началось тление. Сомнений не оставалось: Хлын был человеком из плоти и крови, Силы на нем не было, и говорил он то, что слышал.

Я похоронил его и стал мерить лес шагами.

Хлын говорил то, что слышал. Но что это был за купец? Не обычные ли восточные байки он повторял? Не был ли он подослан врагом? Ответить на все это я не мог.

Я поехал в деревню, из которой был Хлын. Он жил бобылем, и его смерть никого не огорчила. Мужики только возгордились, что человека из их деревни похоронил сам Святогор, и выспросили у меня, где была могила, ожидая, видно, чудес на том месте.

Мне не составило особого труда исподволь выведать, что купец действительно проходил через деревню чуть больше года назад, вез шелк, шел на заход, собирался возвращаться той же дорогой, но пропал. Слова Хлына про Белую башню мне повторили точь-в-точь. В деревнях долго помнят истории про чудеса. Купец был степняк, покупал шелк на границе пустынь и возил его в Русскую землю, а теперь вот ушел дальше. Ничего особенного за ним не заметили, и если на нем была Сила, то он ее никак не обнаружил.

Если бы я услышал только про Белую башню, я бы запомнил слух, но поинтересовался бы у знающих людей лишь при случае. Но дуб — это была подробность, которая удивительным образом пересекалась с моим подвигом. Дуб в таком месте, даже безо всякой Башни, — необыкновенный дуб! И низина, заросшая сплошь, — подозрительное урочище в песках! Я решил ехать. Была весна, и я рассчитывал добраться до места к осени. Башня за тремя великими реками, у моря, в песках — сомнений не было, это за низовьями Волги, на восточных берегах Хвалынского моря.

Я не гнал коня сверх меры, чтобы не будить слухи. До поры до времени я никого не спрашивал про Белую башню, но в донских степях о ней стали говорить уже сами встречные. Они спрашивали меня, что это за волхвы, и как они построили эту Башню, и правда ли, что Башня снимает все хворобы. Я отвечал, что ничего не знаю, что пробираюсь в южные горы,

и спрашивал, отчего они не везут своих хворых к Башне. Все говорили одно: к Башне нельзя прийти просто так, она должна позвать. А построили ее недавно, и людей, которых она позвала, никто сам не знал, а слышал только истории, прошедшие через несколько уст.

Я заехал в Итиль. Поговорив кое с кем, я еще больше уверился в том, что Башня действительно есть. В Итиле о ней знали, но предпочитали молчать. Как считали там, Башня была слишком Сильна и нова, чтобы судить о ней. Оставалось неизвестным, исходит ли от нее зло, а добрых мест на земле не бывает. На меня смотрели с подозрением, и от одного знающего я услышал: «Осторожно, Святогор. Не разбуди Башню».

Начиная с Итиля я поехал берегом моря. Несколько раз вдали показывались всадники, но, завидев меня, растворялись в желтом мареве. Я не знал, были ли это дозорные или просто проезжие люди. Догонять их я не собирался: если Башня существовала, говорить надо было прямо с нею или с людьми, которые в ней волхвовали.

Стояла обычная для этих мест удушливая погода, и только ветер с моря временами бывал прохладен. Однако по большей части он напоминал жар, идущий от горячего котла. Начиналась осень, и скудная трава свалилась и пожухла; коню моему приходилось несладко.

Я ехал уже восточным берегом моря и однажды ночью позвал змей. В первый раз в жизни змеи ко мне не пришли.

Я ждал их до рассвета. На меня накатывал страх: не растерял ли я свою Силу? Я, Святогор, которому Упирь всегда посылала змей, даже когда я и не просил, а уж когда просил, то и подавно, теперь не мог их вызвать!

Утром я завидел орлов и заговорил с ними. Орлы продолжали кружить надо мной, как над самым обычным всадником. В гневе я проклял их своей Силой; но орлы невозмутимо мерили крыльями небо.

Я заговорил с морской матерью, но я потерял либо слух, либо голос. Я слышал только нерасторопный прибой и видел только скучную морскую гладь. Сомнений не было: я лишился части своей Силы. Однако поворачивать назад я не хотел. Я не желал приобретать, отступая.

На третий день после невеселого открытия я выехал на высокий обрыв. Море шумело далеко внизу; но я не видел ни одной чайки вокруг, хотя им бы как раз и гнездиться здесь на скалах.

Солнце клонилось за море, бросая на него свой нетленный золотой ковер. Я ехал над пропастью; ветер шелестел травой; внизу море ровно билось об отвесные скалы. И тут я увидел урочище.

Оно открылось мгновенно. Только что вокруг не было ничего, кроме безжизненного обрыва, высохшей скучной степи, и вдруг из-под обрыва вынырнули неровные откосы, спускавшиеся куда-то к морю; но не от этого я вздрогнул, а оттого, что в этом безводном Жалком краю откосы были покрыты жадной темной зеленью, обильно глотавшей живую воду на рубеже сухой степи и соленого моря. Прямо там, где стоял я, меж скал был вход в урочище, и зеленая трава насмешливо кивала мертвой степной сестре. Вход был узок, скорее, это была широкая щель, в которую всадник проникнуть никак не мог.

Откосы уходили за поворот, и я проехал дальше, Но ничего, кроме верхних площадок, сплошь зеленых, в высоких диковинных кустах, я не увидел: они закрывали собой нижние.

Урочище простиралось вдоль моря на полет стрелы, а потом снова замыкалось глухим обрывом. Другого входа в него не было.

Я вернулся к щели в скалах, спешился и протиснулся внутрь.

Урочище было живо; шорохи ползли кругом, я видел змей и ящериц под камнями, изумрудных и багровых жуков на пышных цветах граната, белых бабочек без числа. Хохлатые удоды, пестрые сойки и длиннохвостые сороки с любопытством таранились на меня, наклоняясь и свешиваясь с ветвей, чтобы лучше видеть. Ни одной тропинки не было, и, вглядываясь в землю, я не мог определенно сказать, заходили ли в урочище люди. Мне казалось, что нет, но трава была так густа и жестка, что я мог ошибаться. Я рассылал по всем сторонам Силу, но она не подсказывала ничего.

Я поднялся к обрыву, где ждал мой конь, и сказал ему:

— Отсюда уходи и жди, пока позову. Сколько бы времени ни прошло — жди.

Он обеспокоено посмотрел на меня и тихонько заржал; он не чувствовал ничего особенного вокруг, и до сей поры мы никогда не расставались. Послушно он поскакал в степь, прочь от моря и обрыва, которых боялся, а я снова шагнул в скалистый проем.

Без особой надежды я заговорил со змеями и птицами. Конечно, они не отвечали, а бежали от меня, как от самого обыкновенного чужака, вторгшегося в их заповедную землю.

Кусты граната, все в крупных цветах, стояли купами; между ними вились хмель, ежевика и шиповник. В урочище царила полная неразбериха: хмель созрел одновременно с ежевикой, шиповник и гранат еще цвели, крупные красные шишки ядовитых трав, похожие на привставших змей, покачивались над птичьими гнездами, в которых по осени лежали яйца, а настоящие змеи, шнырявшие вокруг, гнезд не разоряли.

Я нашел проход к следующей ступеньке урочища; под козырьком скалы лежал белый песок, прилизанный ветром. Скалы дыбились вокруг, а между ними вилась все та же сочная зелень и шныряли безмятежные твари. Я стал обходить песок, не желая оставлять следов; это было трудно; песок словно тянулся ко мне, а скалы сдвигались и не давали протиснуться между ними. И когда я наконец миновал проклятый белый язык песка и вышел на поляну, прямо подо мной, ступенью ниже, открылась Белая башня.

Она стояла у самого моря и в лучах красного солнца казалась тлеющим углем, но сложена была из блестящего белого камня, широкая, напрочь лишенная окон: круглый белый приземистый обрубок, прикрытый низким куполом. Она сверкала и переливалась, и я не видал ничего построенного человеческими руками, что было бы совершенней ее. Отполированные грани были, как зеркала, и я видел себя — облитого закатом, как кровью, и мороз прошел у меня по коже.

Если в Башню и был вход, то он либо начинался из подземелья, либо открывался на море. Башня была одним налитым кровью глазом, который вбирал в себя урочище. Башня завораживала, и я неотрывно глядел на ее прекрасные грани, но тут что-то коснулось моего уха, я выхватил меч и отпрыгнул. Огромный филин бесшумно неся куда-то; я проводил его смятенным взглядом, и, когда филин долетел до правого края Башни, я невольно охнул, потому за Башней в низине стоял дуб.

Филин скрылся в его ветвях. Дуб был молодой, но нелепо взметенные ветви все равно делали его похожим на распяленного жука. Урочище, филин, распяленный дуб — это было как во сне, это было то, что я искал пятнадцать лет, уже отчаявшись и рыща по земле бессмысленно и слепо, как поднятый из берлоги медведь.

Я долго стоял, озираясь. Ни человек, ни бесплотный дух не объявились, и я медленно, держа в руках меч, двинулся к дубу, оставляя сверкающую Башню по левую руку. Внезапно земля разверзлась у меня под ногами, и я полетел вниз.

В падении я рубил мечом все вокруг, но меч сек только воздух.

Я упал на что-то мягкое и через мгновение не сдержал крика отвращения: я лежал в густой липкой паутине и на меня со всех сторон лезли мохнатые гады. Со стоном бессилья я стал метаться по норе, но они уже жалили меня, и скоро спасительный жар затмил мне глаза. «Здравствуй, смерть», — только и успел подумать я.

Я стремительно плыл в темноте, ничего не ощущая, кроме этого неслыханно быстрого движения в бесплотном потоке. Потом меня понесло еще быстрее, а дальше я словно закупорил какое-то отверстие, и поток силился одолеть меня, и одолел-таки, и, как праща камнем, выстрелил мною в пустоту. Я быстро неся куда-то и вдруг на мгновение увидел собственное тело, скорчившееся на дне глубокой ямы; пауки ползали по мне, уже не жала, а будто осматривая меня, как поле выигранной битвы. Потом меня дернуло вверх, и урочище показалось мне величиной с ладонь, и в степи я увидел мятущуюся белую точку — своего коня, и остатками сознания я проклинал свою небрежность, но все это больше не имело никакого значения, потому что, словно голос за дальним лесом, я услышал тихое слово: «Смородинка». И я понесся над землею, не различая ничего, ибо все слилось в вихрь

смешанных красок, а потом меня закружило в ночи, где звезды казались серебряными нитями, а луна — потоком серебра, выплеснутым в небо. «Смородинка», — повторял время от времени кто-то не мужским и не женским голосом, а потом Сила, несущая меня, стала спокойней и тише, и я чувствовал, что меня опускают ближе к земле, но движение замедлялось, и я словно повис в воздухе.

В темноте я все же различил то, что и должен был увидеть: неподвижную гладь воды. Я — да уж не я, потому что тело мое осталось в страшной яме, а, видно, душа моя, почему-то державшая еще очертания умершего тела, словно уперлась во что-то. Шли мгновения. Тот же бесполой голос повторял ровно: «Смородинка». Но на каждый его тихий возглас вдруг стало слышаться такое же тихое шипение. Так прошло, как казалось мне, бесконечно много времени, а потом шипение стало нарастать, а голос совсем ослаб, и передо мною ослепительно блеснула чья-то лазурная чешуя.

Она показалась только на мгновение, но этого оказалось достаточно, потому что меня стало медленно поднимать снова ввысь, и, убыстряясь, движение потекло вспять, и скоро снова показались краски, потому что я неся на восток, к своему все еще мертвому телу, над которым догорал закат. И я увидел урочище и своего коня, ставшего в лучах солнца розовой точкой, и меня повлекло вниз, и я с ужасом ждал, что снова увижу пауков, пирующих на моем теле, но, когда я смог различать то, что лежало внизу, я увидел, как мое тело выскальзывает из ямы через какой-то лаз; ноги мертво волоклись по дну: кто-то тащил мое тело прочь из проклятого места. Это было последнее, что я увидел. Снова накатила темнота, и я снова закупорил горловину жизни и смерти, но тут благословенной молнией опять сверкнула лазурная чешуя, и я устремился дальше, ликуя, потому что понимал, что вновь буду жить.

Затем все исчезло, и я перестал что-либо ощущать, а когда чувства вернулись, я снова был в своем теле и лежал в зале из полированного красного камня, освещенном несколькими свечами, и надо мной стояли двое.

— Прикажете прикрыть парадный вход? — тихо спросил один.

— Прикрой, — так же тихо отозвался другой. — Мы ни о ком больше не знаем, но, может быть, к нам идет настоящий Сильный.

— Сильнее этого, кажется, не было, — почтительно заметил первый.

— Самые Сильные — тихие. Этот был шумен.

Они говорили на хриплом языке горного Юга. Сознание полностью вернулось, но я был невероятно слаб; я ощущал, как горели все укусы ядовитых тварей. Я смотрел сквозь смеженные ресницы и не шевелился.

— Что-то не то, — вдруг заговорил властный второй.

— Я ничего не чувствую, — почтительно отозвался первый.

— Не то, — повторил второй. — Нет, не может быть.

— Как распорядиться телом? — шелестнул первый.

— Подожди распорядаться. Не то, не то...

И он наклонился ко мне и раздвинул веки, а я, как забитый зверь, не мог шевельнуть и пальцем.

— Невероятно.

Он приложил холодную руку к моему лбу.

— Молодой друг мой, он жив.

— Я не расслышал, Владыка.

— Он жив.

— Немыслимо! Только вы и я в силах совладать с нашим ядом!

— И тем не менее, — заключил второй, все еще держа ладонь у меня на лбу, — мы получили не труп, а гостя. Неосторожный странник, — и он ущипнул меня за щеку, — полно притворяться. Ты можешь открыть глаза.

Говоривший был горбонос, сед, со взглядом темных отрешенных глаз. Его почтительный наперсник был молод, неловок, скован в движениях, и я с недоумением угадал

в нем русского. Я лежал с широко раскрытыми глазами и при всем желании не мог пошевелиться. Я напрягся, как мог, и воззвал к своей Силе.

— Не трудись, неосторожный странник, — произнес старик. — Ты уже давно знаешь, что Сила твоя тебя оставила.

— Владыка, я добыю эту пададь? — засвистел шепотом русский. — Если у него две жизни, то уж никак не три.

— Молодой друг, ты когда-нибудь видел людей, у которых было бы две жизни?

— Нет, Владыка.

— Ну, а я видел только три раза, и всегда это был какой-то знак. Подожди-подожди. Он принял противоядие? Я чувствую здесь наш корень и ваш красный летний цветок, но они не на нем.

— Они в суме, Владыка.

— Значит, молодой друг, мы должны заключить, что его спасла Сила, которая много больше нашей.

— Дозвольте снова пропустить его через парадный вход!

— Парадный вход, парадный вход, — повторил старец раздумчиво, думая о своем. — Нет, — сказал он решительно, — поскольку здесь замешана Сила духов, а то и богов, это знак. Скажи мне, неосторожный странник, кто ввел тебя обратно в твое тело?

Я издал только невнятный хрип.

— Ах да, яд же все-таки действует. Ты по крайней мере не Кашей, правда?

Если бы я мог, я бы вздрогнул.

— Не сокрушайся попусту. Мы знаем, зачем ты сюда пришел. Молодой друг, дай ему немного нашей воды. Но отмерь хорошо — пускай только заговорит.

Вода не пахла никакими травами, но я мгновенно почувствовал себя лучше.

— Итак, неосторожный странник, кто тебя спас?

— У меня есть имя, — выговорил я с трудом. — Я Святогор, сын Дажьбога.

— Ты и правда веришь в эту историю? Ты упрям, неосторожный странник. Я скажу тебе правду: я не могу читать твоих мыслей, почему-то ты все еще от меня заперт. Скажи сам, ты знаешь, кто тебя спас?

Конечно, я знал. Еще мертвым я понимал, что лазурной чешуей сверкнула сама Упирь.

— Тот, кому я нужен.

— Да, пытаться тебя, наверно, бесполезно. Хорошо, пускай это останется твоей маленькой тайной. У тебя не так уж много тайн от меня.

Он посмотрел в темноту и задумался. Потом, переводя взгляд с меня на своего служку, произнес:

— Раз не труп, значит, гость. Молодой друг, отнеси его на солнце.

— И оставить его там, Владыка?

— Да... Пока просто оставь его там. Я не могу сразу определить меры нашего гостеприимства.

Он хлопнул в ладоши и зашагал куда-то в глубь зала.

Служка подхватил меня под мышки и поволок прочь.

— Ты из кривичей, — сказал я. — И ты Кашеев.

— Верно, — прошипел он, с натугой таща меня вон из зала. — Я всегда думал, что ты неглуп, Святогор.

— Ты видел меня?

— Кто ж тебя не видел. Тебя вся Русская земля видела. А теперь, — заключил он, вытирая пот, — ты просто куль с костями.

— Ты недоволен, что твой хозяин продлил мне жизнь.

— Посмотрим, на сколько его хватит, — пропыхтел он. — А теперь, — с торжеством сказал он, — сын Дажьбога, повелителя дня, я вынесу тебя на солнце!

И он пихнул меня в кромешно темный лаз и захлопнул за мной дверь.

Прошли ночь, день и еще ночь, и еще день, а я все лежал в кромешной тьме, не слыша

и не видя ничего вокруг. Воин вовсе потерял бы счет времени, но я знал, что считал верно.

Жар и зуд от укусов были почти нестерпимы; мучила жажда; тело не повиновалось мне. Я не знал, какими словами ругать себя за то, что провалился в волчью яму. Это было просто смешно, немыслимо, непредставимо, и я решил, что Сила Башни не только сковала мою, но и лишила меня самой простой осторожности, одурманив.

Я пробовал свою Силу и так и эдак. Все было напрасно. Я даже не ощущал Силы Башни и своих хозяев. Очевидно, действительно, все, что оставалось от моей Силы, — это замок на моих мыслях, которые никто по-прежнему не мог читать. Я молился Упири, потому что она все же не дала мне провалиться в темные воды Смородинки, из которых нет возврата. Но Упирь не отвечала. Тогда я решился на невиданное святотатство: я заговорил со Згой. Но то ли Зга вообще никогда не говорила ни с кем, то ли я не подобрал нужных слов, то ли я просто навсегда сделался немым.

Я был беззащитен, я ничего не знал о Башне, и никогда, наверное, ни один богатырь не был так постыдно беспомощен.

На третью ночь за мной пришли. Я даже не услышал, как отворилась дверь и как надо мною склонился служка. И я, как малый ребенок, разбуженный ночью, вздрогнул, когда он гаркнул:

— Просыпайся, бревно!

«Конец Святогору, — подумал я. — Не пробудиться, когда за мной пришли, — не богатырь больше я...»

— Холоп, — сказал я тем не менее спокойно, — помни, с кем говоришь.

— С глупым бревном я говорю. И зови меня — Молодой Волхв!

Я громко зевнул и сказал равнодушно:

— Холопом был, холопом и в землю ляжешь.

Он зашипел от злости:

— Если бы не Владыка, давно бы ты у меня верещал, как заяц. Отдаст он мне тебя. Долгой будет тогда твоя смерть.

— У меня и жизнь будет долгая. И не лайся тут! Делай, что приказано.

И он, бормоча что-то под нос, поволок меня вон из мерзкого лаза, и скоро я оказался в том же самом красном зале.

Старик сидел на полу, скрестив ноги, и, прищурившись, смотрел на свечи. Молодой Волхв бросил меня посреди зала и встал рядом, скрестив на груди руки. Долго все мы молчали, был слышен только треск свечей. Потом старик сказал, не глядя мне в глаза:

— Странно что-то. Вроде все твои тайны знаю, а чего-то понять не могу. Кто тебя от смерти спас?

— А служка твой Молодым Волхвом себя называет, и Кашеев он. Знаешь ты это?

Старик рассмеялся.

— Что Кашеев — знаю, а вот про имя такое звонкое от тебя услышал. Ты, — обратился он к покрасневшему юнцу, — такое имя еще заслужить должен. Нагл ты, но за услужливость и любопытство жадное прощу тебя.

Тот поклонился в пояс и потупился.

— А вот ты не Кашеев, — продолжал я, — и ты мне тоже непонятен. Поговорим?

Старик немного раскачивался из стороны в сторону; так делают на Востоке, вроде от безделья, а на самом деле — Силу тормозят.

— Не знаю, — промолвил он, наконец, — говорить ли с тобой. Сам не пойму, что это я дни твои продлеваю. Видно, кто-то все еще помогает тебе.

— С кашенком Башню делишь, не боишься. А можно ли, такую Силу имея, отшельником жить? Возьмет ее у тебя Кашей, и не заметишь как.

— Может, и возьмет, — охотно согласился старик. — а может, и помилует. Я на его Силу не зарюсь.

— Земной власти хочешь?

— Равновесия, — равнодушно сказал он. — Это ты сломать порядок хочешь. Глупый

ты. Надо, чтобы как на весах все: то в одну сторону склонится, то в другую, но чтоб ровно было все отмерено.

— Весовщиком быть хочешь? Сам меру всему определять?

— А хотя бы так. Когда не одна Башня будет, а несколько, так ни одна чаша и не опрокинется. Одних со свету сживут, другие народятся. Вырежут царство на Востоке — на Западе новое взойдет.

— Так и ты против Кашея, выходит.

— Кашей на одной чаше стоит, ты — на другой. А я ровности хочу, и не враг я Кашею.

— А я, значит, тебе помеха?

— Беспокойный ты больно и сильно чашу толкаешь.

Мы помолчали. Потом старик спросил:

— Ну и что же говорят в вашей земле про Башню?

— Врут все. Говорят — хворобы снимает. А она чаши, видите ли, уравнивает.

— Вот всегда так. Как что новое вошло — так, говорят, либо к гибели оно, либо к здоровью.

— Ты меня к Башне позвал?

— Не я, а глупость твоя собственная. Но в землю вашу я людей посылал. Попадется, думаю, Святогор дурной.

— И показывал Башню кому?

— Лечил даже пятерых, больных смертельно. Были они здесь и, как Башню поняли, так и рассказали. И соблазнила тебя Башня своей Силой, и попался ты.

И тут я вдруг понял, что Владыка Башни на самом деле ничего не знает, не знает, что мне сказала Смородинка, не знает, что я приехал к Башне вовсе не из-за ее Силы, а из-за дуба, и, может быть, даже не знает, что Кашей не бессмертен!

— В союзники приехал тебя звать, — сказал я. — Отчаялся землю мерить. На Белую башню понадеялся. А ты меня паукам скормил.

— Мы гостей незваных через парадный вход встречаем. Но кто же тебя все-таки в тело-то обратно впихнул?

— Кашей.

Старик махнул рукой:

— Не умеешь ты врать, человек русский.

— Не слушай.

Старик пристально глядел на меня:

— Раскроить бы тебе голову, заглянуть вовнутрь, да все равно мыслей не увидишь.

— А ты спроси службу своего: не говорил ли с ним Кашей обо мне? И не наказал ли со мною в паре Башню в другую сторону развернуть?

— Пададь, — зашипел Молодой Волхв. — Все ложь.

— Врет! — воскликнул я. — Посмотри на него!

Старик вздохнул:

— Увы, молодой друг, наш полутруп говорит правду: сейчас ты солгал.

— Он говорил, но он говорил — кончи Святогора!

— Изворачиваешься, — сказал я спокойно. — А что бы Башню в твои руки передать, о том разговора не было?

— Владыка, — прошипел Молодой Волхв, — дозволю я его кончу. Раздор сеет.

— погоди, милый, погоди, — забормотал старик, поднимаясь, — дай-ка я на тебя погляжу, о чем ты там себе думаешь.

Молодой Волхв пытался защититься от Силы старика, но не мог даже сойти с места. Старик неторопливо подошел к нему, взял его лицо в ладони и стал смотреть в глаза.

Молодой Волхв, видно, отчаянно пытался заслониться Силой, потому что старик нахмурился и вены на его лбу набухли. На какое-то время оба забыли про меня. И тут случилось то, на что я уповал: игла, игла, зашитая в мой ворот, почуяла Силу Кашея, бушевавшую в Молодом Волхве, и стала жечь мне шею. С невероятным усилием я оторвал

голову от пола и изо всех своих слабых сил ударился подбородком об острие ожившей иглы. Боги опять помогали мне: она вонзилась под кожу, и, как только кровь моя соприкоснулась с горячим жалом, я стал богатырем.

Я едва успел откинуться на пол снова, как старик оторвался от Молодого Волхва и сказал мне сурово:

— Не хотели мне покуда зла. Лукав ты, собака. Две жизни у тебя были, третьей не будет.

— Владыка, — обрадовался Молодой Волхв, — отдай мне его: за изворотливость свою долго умирать будет.

— Нечего тут пыточную устраивать, — брезгливо махнул рукой старик. — Спать уложи, как обычно, и все. — Он посмотрел мне в глаза: — Хитер ты, труп гостевой, и что-то с собой уносишь. Но прощай на этом, не хочу с тобой разбираться: действительно, раздоры от тебя пойти могут.

Молодой Волхв с натугой поволок меня вон из зала по полутемному переходу. Я чувствовал, что «положить спать» он должен был меня очень скоро, и, как только мы скрылись за поворотом, я сковал его своей Силой и тихо поднялся на ноги.

Молодой Волхв стоял как вкопанный, с перекошенным ртом и глазами, полными ненависти. Я ударил его ладонью по шее, потому что не сковывает Сила людей надолго, подхватил тело, опустил на пол и прислушался. Я был Силен как никогда. В Молодом Волхве еще теплилась жизнь; мне некогда было его добивать. Владыка Башни о чем-то размышлял в красном зале; он был ровня мне, а то и больше меня. Других людей в Башне не было. Сила ее показалась мне громадной; не один Владыка положил такую власть на камень. Но Башня отчего-то терпела меня сейчас. Я напрягся и почувствовал, что Сила ее убывала в трех направлениях. Позади меня был красный зал, в который вел лаз с паучьего «парадного входа». Я чувствовал еще два выхода — впереди и слева. Я медленно пошел налево, и моя осторожность была вознаграждена: плита скрипнула под носком моей ноги, и, в полумраке, я различил провал перед собой; оттуда шел смрад. Видно, там спала вечным сном не одна жертва Башни. Из зала донесся смешок Владыки. Я замер.

— Что, уснул? — спросил Владыка из зала.

Я громко захихикал в ответ.

— Ты мне нужен, — сказал Владыка.

Но я умел говорить даже по-змеиному и поэтому спокойно отвечал голосом Молодого Волхва:

— Я послушаю его Силу.

— Попытайся, — согласился Владыка, и я мелкими шажками начал продвигаться к единственному остававшемуся выходу, который чувствовал. Подземелье было невелико, и через пять шагов я уперся в лестницу. Выход лежал где-то здесь. Но мне мало было найти выход. Я должен был еще биться с дубом, в котором лежала Кашеева смерть.

— Владыка, — крикнул я, вернувшись к повороту, скрывавшему зал, и стоя над телом Молодого Волхва, — ничего не понимаю!

— Чего ты не понимаешь? — донесся до меня усталый голос. — За последние дни слишком много вопросов.

— Здесь ходит чья-то Сила! Я пытаюсь сдержать ее!

— Да, — встревоженно отозвался Владыка Башни, — я чувствую ее, и она велика! Держи ее, я иду!

Он быстро зашагал ко мне, и я чувствовал, что он Сильнее меня, и я изготовился либо погибнуть, либо одолеть, приготовив свое единственное оружие, и, только он показался из-за поворота, я вонзил ему иглу в грудь. Упирь хранила меня. Владыка упал молча как подкошенный.

Я бросился к выходу. Лестница из десяти высоких ступеней вела наверх, и я задрожал от радости, потому что завидел неясный свет. Мгновение спустя я был в самой Башне. Она оказалась гораздо меньше подземелья; розовый рассвет сочился сквозь узкие прорезы между

куполом и стенами. Прямо напротив меня располагалась маленькая дверь. Я медленно пересек Башню и толкнул ручку.

Передо мной плескалось море, лиловое, прохладное, под свежим утренним небом. Я с наслаждением вдохнул соленый воздух и шагнул вперед. Но нога моя так и осталась занесенной над порогом. Башня не выпускала меня. Я позвал свою Силу, но Башня была Сильнее. Я повернулся и побежал вниз, подхватил легкое старческое тело Владыки и бросил его на порог. Запор был сломан, и я оказался на узкой площадке над морем. Я знал, где был дуб, и шел туда тихим шагом, щупая землю и не желая снова опростоволоситься. Но я не чувствовал никакой опасности поблизости и, обогнув Башню, вышел к лощине.

Дуб стоял прямо передо мной, точь-в-точь такой, как в видении на Смородинке. Держа иглу в руке, я стал спускаться в лощину. И тут я с недоумением заметил, что игла стала остывать.

Моя Сила была при мне, но игла, ставшая горячей в Башне, зачуяв Кашея, сейчас, когда я приближался к его логову, остывала! Я ничего не понимал и стоял, тупо глядя на нее. И в это мгновение чьи-то зубы сомкнулись сзади на моей шее; я вскрикнул и, почти теряя сознание, забросил руки назад; они вцепились в морду зверя. Я ударил зверя по глазам, и он с воем отскочил; метнувшись за ним, я увидел крупного волка с ощеренными зубами, сжавшегося в комок, чтобы прыгнуть мне на горло. Но тут он скакнул в сторону, взвыл победно, и я увидел, как в его пасти исчезла игла, оброненная мною.

Волк оскалился; но это был не звериный оскал, это была усмешка. Он прыгнул на склон лощины и исчез. Я чувствовал, как кровь струилась по моей шее, но я бежал что было сил в сторону Башни, которая мерцала теперь розовым, как драгоценный камень. Владыка еще лежал в дверях, и, задыхаясь и почти падая, я рухнул рядом с ним на землю. Когда мои пальцы сомкнулись на его горле, он как раз пришел в себя, но умер от удушья быстрее, чем смог сразить меня. Я сидел рядом с ним и благодарил Упирь за удачу. Владыка сделал вторую ошибку за утро: сначала он принял меня по голосу за Молодого Волхва, а теперь вот, обернувшись волком, не сдержал усмешки.

Если б не эта усмешка, я не сразу сообразил бы, что волк был оборотнем, а видел бы в нем самого Кашея.

Со смертью Владыки должен был сдохнуть и волк; да, я нашел его в кустах за Башней, со стекленеющими глазами и пеной на морде. Не буду описывать, как я извлекал иглу; когда она была наконец у меня в руках, я сам походил на окровавленного зверя.

Но игла была по-прежнему холодна, и лощина снова не пробудила ее Силу.

Я пошел к дубу. Бесшумная крылатая тень промаячила в воздухе, отрываясь от его ветвей, — филин из моего видения. А обойдя дуб, я увидел дупло.

Оно было на высоте моего роста. Я долго смотрел на его черный зев, сжимая в руках иглу. Я не знал, что с ней делать. Я уже понимал, что холодная игла была бесполезна.

Я бросил всю свою Силу на черный зев, но она вернулась ко мне, не встретив сопротивления. Я посылал ее туда еще дважды, и дважды она возвращалась, как от самого обычного дерева. Прокляв свое невезение, пренебрегая всем, чем только можно было пренебречь, я вскарабкался на дуб и заглянул в дупло. Рваные останки мелкой птицы — завтрак филина, высохшие перья, запекшаяся кровь, волосинки. Обыкновенное дупло, пристанище хищной и умной птицы.

Я истыкал все его стены иглой; она не ломалась, но и не теплела, и ничего вокруг не происходило. И я вдруг понял, что Смородинка меня обманула.

В дурном оцепенении я просидел у дуба, пока солнце не начало бросать лучи прямо на мою голову. Сомнений быть не могло. В подземелье игла зажглась впервые за пятнадцать лет, потому что почуяла Кашееву Силу, исходящую от Молодого Волхва. Теперь же, когда я воткнул ее в дуб, вышедший из моего видения, она не годилась ровно ни на что.

Мне было почти пятьдесят. Вся моя жизнь была прожита зря. Особенно невыносимо было думать о пятнадцати годах, проведенных в лесах. Худо-бедно, но я мог как-то служить Русской земле все это время. Выходит, Смородинка на пятнадцать лет лишила Русь

сильнейшего богатыря. Может, я и не был ни на какой Смородинке? Может, все это был сон, морок, наведенный Кашеем? Я не знал.

Я пошел к Башне. Где-то там скрывался Молодой Волхв, которого я твердо намерен был прикончить. Голова моя разрывалась от боли: оборотень-волк основательно порвал мне шею и, может быть, с его зубами в мою кровь вошло нечто большее, чем обычное гниlostное дыхание зверя. Надо было заварить одолень-траву или мындрагыр. Но где была моя сума? Мой меч? Мог ли я справиться с Молодым Волхвом голыми Руками, обессиленный, раненный?

Но ничто меня не останавливало; может быть, так мне и суждено было погибнуть — на чужой земле, от Руки юнца-недоучки, Кашеевого служки.

Не хоронясь, я перешагнул через тело Владыки Башни и шагнул внутрь. Никого не было ни видно, ни слышно, и Сила моя говорила мне, что здесь никого нет.

— Эй, спальню готовь! — крикнул я во все горло, и эхо от стен Башни оглушило меня.

Без боязни я ступил на лестницу и так же без боязни пошел по переходам. Молодого Волхва не было. В сумятице он бежал.

За красным залом я нашел обшитую деревом камору. Там лежали моя распотрошенная сума и оружие. Трав волхвы взять не успели; надежная Сила по-прежнему лежала на них и на мече. Больше в каморе ничего не было. С трудом я нашел потайную дверь; за ней было самое великое богатство, которое я когда-либо видел в жизни: травы. Одного мындрагыра было целых семь штук. Но я побоялся брать травы отсюда. Я не знал, какая Сила на них лежала. Вместо этого я вынес несколько охапок наверх и бросил в море. Я хотел сжечь их, но побоялся, что дым настигнет и погубит меня. Умирать я уже не хотел.

Я не мог разрушить Башню. Ее Сила потускнела со смертью Владыки, но победить ее я все еще не мог. Я бросил его тело там, где оно лежало. Никакого подвига я не совершил, но Владыка невольно служил Кашеем. Я жалел, что не разузнал больше, но стены отвечают очень редко, а спросить больше было не у кого.

Я пошел к дубу и развел у его основания огромный костер. Как ни была сочна зелень в урочище, но все же наступала осень, и лощина занялась. Я сидел в отдалении и ждал хоть какого-нибудь знака, но прошли день и ночь, и дуб догорел, как догорали до него тысячи дубов. Я плюнул в шипящую гарь и побрел прочь.

За ночь урочище стало увядать. Облетели лепестки граната, пожухли цветы шиповника, хмель и орехи попадали на землю, листья повяли. Никакой живности я уже не видел. Сухая степь стремительно наступала по склонам, принося с собой омертвление земли. Я не знал, возродится урочище когда-нибудь или нет.

Ночью я выпил отвар одолень-травы и чувствовал себя здоровым. Теперь я мог не бояться, что оборотень заберет меня с собой.

Поднявшись на обрыв, я свистнул коня. Конь появился с радостным ржанием. Все было, как прежде, только смысла больше не было в моей жизни. Я не выбросил иглу — пускай она предупреждает меня и впредь о Кашее. Но я больше не дорожил ею.

Неспешно я поехал берегом моря на север, потом завернул на запад и поздней зимой въехал на Русскую землю.

Весна была хмурая, тревожная, мокрая и обещала нехорошее лето. Она издергала всех, как беспокойная жена; Сила была взбудоражена и обещала большое своеволие в скором будущем. Лешие проснулись раньше времени и уже заводили невинных в сырую чащу на погибель. Русалки словно взбесились; ночуя на берегах рек, я слышал, как они по заре ломали лед своими тонкими пальцами; время от времени раздавался мощный треск: это водяной, не понимавший, что с ним происходит и отчего ему так нейдет, стремительно всплывал с глубины, ломая горбом льдины. Мой отец, Дажьбог, беспокойно шарил по земле красным лучом, пророчествуя мор. Стрибог бешено заливал землю водой, не зная удержу. Бесновался и Белее: вся скотина словно лишилась разума, металась и тосковала; в деревнях жаловались, что куры перестали нестись, что у коров пропало молоко, что мясо забитых тварей имело тошнотворный вкус. Охотники шепотом передавали, как звери, умирая в

силках, говорили по-человечьи, и что подстреленные птицы, прежде чем умереть, взмахивали крыльями непременно три раза.

«Что это за знамения, Святогор?» — спрашивали меня. «Готовьтесь к голоду, войне и мору», — отвечал я кратко. Люди бежали на капища с жертвами, но все это было напрасно, потому что Сила отчего-то разбушевалась, и ее было не утишить жалкими людскими подношениями. Обычно такое случается, когда Мокошь начинает особенно страдать по матери своей, Зге, и пока не забудется в тихом плаче, ничем беснование ее не перешибешь.

В Киеве меня ждал новый князь, Владимир. Это ему всегда говорил Святослав: «Тебя, сынок, мне Святогор с Востока привез». Кровь северных разбойников, варягов, бушевала во Владимире; к тому же к зачатию его имел отношение мындрагыр, добытый мной, а дети, в чье зачатие вмешались, нрав имеют буйный.

— Святогор, с какой стороны беды ждать? — спросил он, играя длинной серьгой со смарагдами, которую, подражая отцу, носил в ухе. Он только что взошел на престол и был уверен, что жестокость поборет все, кроме воли богов.

— От неба огня, от земли голода, от воздуха мора, от друзей измены.

— Не знак ли это какой?

— Несчастливый год будет, это я тебе и так сказал.

— Скажи, Святогор, — тихо проговорил он, промолчав, — что ты думаешь о новом боге?

Вот оно что. Слышал Владимир, что умирают старые боги и что надо новому, единому, на далеком Юге распятому, молиться. Бабка его, Ольга, правительница крутая, памятливая, но мудрая, в этого Бога верила, и с ней многие обратились. И уж почти все соседи наши либо Распятому молились, либо просто Единому.

— К чему тебе тайны эти? — спросил я недовольно. — Что уйдет, тому поклонись, а пока кланяться будешь, новое уж само рядом появится. Не останется мир без присмотра.

— Не пора ли кланяться? — настаивал князь.

— Раз спрашиваешь, значит, не пора еще.

— Подтолкнешь?

— Что я тебе за толкальщик такой! — сказал я грозно. — Что тебе до богов, своим умом живи!

Злили меня расспросы такие; часто меня пытали, правда ли-де, что слабеют старые боги, что нового искать надо. Не отвечаю никогда людям глупым: не хочу воздух попусту сотрясать. Людям ведь что — боги, как князя, который сильнее, к тому под руку и перевертнется. А на самом деле не как князя боги. Правду сказал я Владимиру: кланяйся богам, каких знаешь, а коли поднимешь глаза от земли и нового увидишь — значит, зовет он тебя. Не важно, какому богу молишься, когда о враге всеобщем помнишь, который извести людей хочет, а ты ему противься, как тебе силы позволяют, и будет тебе награда от любого бога. Но коли силен ты был, а врагу сдался — строго спросят с тебя на Смородинке, какому богу ни молился.

Увидел князь, что рассердил меня, и стал советов государственных спрашивать, и говорил я с ним, и просил он меня съездить в Новгород, и через людей доверенных звать еще варягов на Русь. Варяги для Руси — что обруч для бочки; и согласился я: дело полезное, хоть и не вполне богатырское.

И на другой день выехал я на север. Распутица была сильная: не жалел воды Стрибог, а Дажьдбог снега ел, но землю не сушил. Медленно продвигался я, но в Киеве несносно было мне сидеть, и терпел я нескорую езду. На второй день еду дорогой узкой, мокрой, под дождем шумным и вижу: в лесу старушонка копошится. Занята чем-то, меня не замечает даже. Остановился я, говорю:

— Эй, бабушка, чего грязь месишь?

Подняла на меня глаза подслеповатые старушонка, а лицо мокрое, и с каплями дождя слезы мешаются.

— Ой, — говорит, — проезжай, сделай милость, не мешай.

— Чего ищешь?

— Снега прошлогоднего, — отвечает сердито, а сама слезы глотает.

— Давай, — говорю, — вместе искать.

Испугалась старуха.

— Ты, — говорит, — меня не трогай, пожалуйста. Я, — говорит, — ландышей ищу.

— Какие же ландыши, — говорю, — бабушка, о такую пору? Спят они под землей еще.

— Хоть корневищ накопаю, — плачет.

— Кому, — спрашиваю, — худо?

— Старик мой помирает.

— Нашла ты ландышей, бабушка, — говорю, — пойдем старику отвезем.

Не верила она, потом затрусилась по лесу, на меня оборачиваясь, я за ней. На отшибе они доживали, в лесу недалекое. Просидел я у них день и ночь, поднял старика. Старуха вокруг меня как молодая ходит, не знает, чем угодить в бедности своей.

— Я, — говорит, — вижу, ты человек непростой. Дуб тут рядом есть необыкновенный, желуди с него удачу приносят.

— Нет мне, бабушка, — говорю со вздохом, — от дубов удачи, и как увижу дуб, так свирепею прямо.

— Возьми, — просит, — сделай милость. Нечего мне тебе дать.

Не отказываются от подарков бедных, дорогие только бросают. И повела она меня к дубу.

Только зашли в лес — смотрю, распялился старый дуб на меня жуком, из видения выползшим. Не сдержался, плюнул.

— Чего плюешься? — Старуха сердится. — Не скверни землю такую, пожалуйста.

Вздыхнул я. Набрала она мне желудей, я у дуба стою, на дупло разъявленное его кошусь зло, птицу там чую.

— Живет филин тут? — спрашиваю.

— Живет, живет, милый, огромная птица, и боюсь я ее, так что ты, пожалуйста, ее не буди.

— Уж не бужу. Давай желуди-то.

Ахнула старуха:

— Милый, чтой-то у тебя рукавица дымится?!

И со всех ног от меня побежала, желуди теряя.

«Глупая старуха», — думаю, но на рукавицу посмотрел.

Под дождем, в лесу туманном, дымок от рукавицы моей шел и горелым пахло.

В рукавице той игла зашита была.

Схватился я за рукавицу, а она горячая вся, и игла наружу просится, и в руках не удержать ее, потому что раскалена.

Взял я ее рукавицей мокрой и вокруг дуба кружить стал. Никакого зла Силой не чувствую, но — уже светится игла моя!

Дупло высоко, на два моих роста от земли, и филин там шевелится беспокойно. Может быть, чувствует что-то.

Ушел я в чащу, на землю в кустах густых лег и затаился и Силой себя скрыл. Весь день пролежал так, и не гасла игла.

К вечеру высунулся филин из дупла — громадный, с рысь величиной, не видал я раньше таких, и Сила на птице большая положена. Осмотрелся филин, ухнул довольно и на охоту припустил. А я, пока его не было, в дупло забрался. Осветила мне игла дупло все, но пусто в нем было. И снова ушел я в чащу и залег.

Так семь дней прошло. Лежу, продрог до костей, шевелиться боюсь. Каждую ночь тварь хищная пировать отправляется, а я в дупло ее лезу, и все пусто.

А на восьмую ночь только проверил я дупло и в кусты свои забрался, как вдруг заныл лес, застонал, зашатался, и даже земля сотряслась немного. Потом все тихо стало, и вижу — несется филин в дупло свое молча и так торопится, что из когтей зайца выпускает, и тот,

полуживой, на землю падает. Верещит заяц, но филин на него внимания не обращает, а забирается в дупло и там ворочаться начинает и ухать страшно.

И подумал я: ну, держись, Святогор. Когда лес стонал — Кашеева личина помирала, а филин торопился яйцо снести, чтоб было во что Кашею перейти.

Еще три ночи не вылетал из дупла филин, потом выбрался, покругил вокруг дозором и в ночь улетел. Подкрался я к дубу, забрался на него тихонько: в дупле яйцо с ладонь величиной лежит, зеленоватым светом помаргивает, словно дышит, и сквозь скорлупу видно смутно: человечек там скрючился.

Прожгла к этому времени игла все рукавицы мои, и схватил я ее пальцами, боль пыточную превозмогая, и по яйцу ударил.

Гром грянул, и молнии на лес посыпались, и задрожала земля так, что едва вниз я не полетел. Ослеп я и оглох на мгновение, а когда совладал с собой, то увидел, что раскололось яйцо на светящиеся осколки и человечек в кольце пламени бился и выл тихонько — маленький, в платье воинском, русском. И добил я иглой человечка, и в золу он превратился. А молнии за спиной моей в лес бьют, и гром голову мою раскалывает. И бил я по яйцу осколком, и иглой толкал их, и медленно истлевали они, темнели, гасли, исчезали. А потом сломалась игла в руке моей. Стал я обломком скорлупу добивать, но остыла игла сразу же, и не давались мне осколки. Закричал я страшно, в буре крика своего не слыша, и принялся кинжалом скорлупу рубить, а потом руками мять, но словно из золота тяжелого отлита была скорлупа, и не гнулась даже. И тут стали мне спину рвать: филин вернулся, когтями и клювом в хребет мне метил, кольчугу расколупывая, как я яйцо давеча. И сгреб я скорлупу светящуюся в ладонь, и на землю прыгнул, и выхватил меч, и стал с птицей биться. Стремителен филин был, огромен и искусен, а я изранен уже, и своей Силой птицу отогнать не мог, потому что пылал вокруг лес и Сила богов бушевала. А потом вдруг сверкнул свет невыносимый, и гром я услышал уже как шепот, потому что проваливался в небытие.

Когда я очнулся, было уже утро и снова лил дождь. Лес выгорел, сгорел до половины и дуб, и дупло сгорело, а на островке неопаленной земли лежали я да мертвый филин, а осколков скорлупы не было. Было тихо, только угольки, догоравшие в стволах, пошипивали себе, как змеи.

Спина моя, порванная филином, болела невыносимо; едва ли не хуже болели пальцы правой руки, я взглянул — игла прожгла их до кости.

Шатаясь, я поднялся и побрел через гать. Голова моя кружилась, я мог упасть каждую минуту и уже не подняться. Я не знал, был ли вокруг настоящий туман или это дурнота застила мне глаза.

Добредя до границы гари, я почувствовал, как что-то тихонько царапает мне ладонь. Я повернулся. Это был куст шиповника, цветущий глянцево-бело в голом и сиром лесу. Под ним золотой проволокой вилась змейка.

Как ни странно, еще владея своим телом, я пал ниц и услышал тонкий голос:

— Святогор, Святогор, ты слишком долго возил иглу по свету. Пройдет жизнь филина, и еще две жизни филина, и Кашей вернется, а ты уже уйдешь; кого мне посылать за ним тогда? Святогор, Святогор, зачем ты не поспешил? Ты умираешь сейчас, но я снова поддержу тебя, хоть я и недовольна тобой. Ползи...

И я послушно пополз, не разбирая дороги, но Упирь направляла меня, и через какое-то время я услышал человеческие голоса: я приполз к избе, где лечил старика. Старик со старухой что-то кричали мне, плакали, конь мой жалобно ржал, но я лез к своей суме, искал остатки мындрагыра и хрипел: «Заварите и вливайте мне в горло».

Потом я лежал в тошноте и полузабытье, а мне давали горький отвар. Как потом оказалось, я пролежал в избе месяц.

Когда дурнота отступила, я увидел, как боялся меня старик со старухой: я ушел к их заветному дубу, и потом началось светопреставление с дрожанием земли и невиданным молниепадом. Я, конечно, был страшный гость.

Как только я смог сидеть в седле, я поехал в Киев. В Новгород я уже все равно опоздал.

Я был бледен как смерть и слаб, но ничего не боялся и ни на что не обращал внимания. Все, что вложили в меня боги, все, все оказалось напрасным даром. Больше ждать мне было нечего, я не заботился о том, что обо мне будут говорить, и, когда князь Владимир спросил мен нетвердо держащегося на ногах, почти ничего не видящего перед собой: «Святогор, не ты ли учинил дрожание земли и молниепад?» — я размеренно и равнодушно отвечал:

— Нет, не я, а моя глупость.

И люди, никто из которых не знал меры моего несчастья, стали говорить, что сильнее Святогора на свете никого нет, потому что даже его глупость колышет землю.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Пустые годы легко глотаются, да трудно жуются, колесил по земле, когда по княжеской нужде, когда оттого, что просто не мог сидеть на месте, но никогда не ездил по своей, тайной, надобности, потому — несвершенный подвиг мой оборвался. На память мне остались изуродованные пальцы правой руки да вечная боль в спине. Обломка иглы я лишился той ночью в лесу; видно, Упирь забрала его обратно.

Это были годы без Кашея. Он был заперт на три жизни филина. Но его служки усердно шевелили зло и когда хозяин их оставался нем. Впрочем, нельзя было не заметить, что на Руси сделалось спокойнее. Престол Владимира укрепился, смуты повывелись, страха стало меньше. В это время Владимир привез на Русь нового бога, где его уже многие ждали, и низверг идолов. Он несколько раз советовался со мной, колеблясь, но я всегда спокойно отвечал одно: не люди богов защищают, а боги людей, когда хотят; не люди богов творят, а боги людей сотворили, и коли пришел некто новый и сомнение есть, время рассудит. Может, устоят старые боги, а может, заснут. Не надо в споры такие мешаться. Многие ждали, что Святогор нахмурится и проклянет Владимира или остановит его своей Силой. Но я не проклял и не остановил. Расцвел на поляне сладкий цветок — и полетели к нему пчелы, за что же их проклинать или останавливать? Сам я к новому богу близко не подходил; не интересно и не нужно мне это было. Я от Дажьбога рожден. Не заношусь, но связь моя со старыми богами родственная, а не покидают родных. И перевалило мне уже на седьмой десяток; не ощущал я старости, да не живут люди по сто лет. Богатыри же переводиться не должны, И решил я найти себе ученика, чтоб знание и умение ему свое передать, и не так, как Микула с Вольгой жадничали, а чтобы все, что возьмет — его.

Цель у меня появилась, и повеселел я. Кружу по Русской земле, ни города, ни хутора стороной не миную, с ребятами беседую. И догадались люди, зашептали: веди своего к Святогору, он у тебя кровь затворяет и к мечу тянется. Научит его Святогор всему, и станет он на Русской земле выше князя. И вели многие. Но ни с одним таким даже не говорил я, хоть и Сильные меж них попадались. Не водят учеников на смотрины. Сама дорожка должна Учителя к ученику вывести.

Долго так ездил я и встречал ребят смысленных и к учению способных, но не лежало у меня к ним сердце. И вот однажды проезжал я Муромскими лесами и вижу: мужичок на дороге колотится. Сосны великие повалила летняя буря, а ему на телеге не объехать. Раскидал я ему сосны. Поклонился мне мужичок в ноги:

— За пустым делом остановил тебя, прости, Святогорушко! И никогда я силищи такой не встречал, такие сосны и безногий наш не подымет.

— Что за безногий? — спрашиваю.

— А живет в деревеньке нашей парень не парень, мужик не мужик, тридцать три года ему, а ходить не может, на печи сидеть ему немоготу, так он по двору ползает, и, как что тяжелое встретит — корову или лошаденку, так одной рукой в воздух поднимает.

Ничего не сказал я, но в деревеньку ту заехал. Заехал, остановился: из одного дома такая тоска слышится, волком кто-то выть готов. Зашел я в тот дом. Вижу: сидит на печи мужик здоровущий, богатырской стати и пальцами ветки толстенные переламывает.

— Это ты, — говорю, — ходить не ходишь, а корову одной рукой поднимаешь?

— Я, — басит. Глаза чистые, маленькие, хитроватые, и не ночевала Сила в них никогда, и добрый очень он, не озлобился, несмотря на кару такую страшную.

— Ну-ка, — говорю, — а это согни, — и бросаю ему монету золотую.

— Эка блеснит!.. — Мужик ревет и двумя пальцами сложил, как листик подорожный. И прост он, и хитрость его простая, и, вижу, никакой червь его не подточит.

А Силы нет в нем ни на мизинец. Но вспомнил я тут про Вольгу с Микулой Сильных и корыстных, в беде бросающих, про свою Силу-обманщицу вспомнил, крикнул и говорю:

— Сиди тихо, — говорю, — и змею себе представляй.

— Зачем это?

— Доставь удовольствие гостю.

Сидит, глазами хлопает, а я болезнь его пробую и вижу: глаз на нем черный лежит и снять его можно. И выскоблил я черноту всю и сказал:

— Спускайся с печи и ходи!

Он рукой только махнул, и слезы на глаза навернулись:

— Смеяться, вижу, гость приехал.

— Не гость, а Святогор, неслух!

Опешил он от имени громкого, головой косматой покачал, вздохнул безнадежно, руки расставил, чтоб не упасть, и на ноги встал. Стоит и на меня смотрит, рот разинувши. А я его к себе маню и к двери отступаю. Он дрожит весь, но шажками маленькими идет. Потом в ноги мне упал.

— Не ходится? — спрашиваю.

А он ревет:

— Спаситель! — и сапоги мне целует.

— Спаситель не спаситель, — говорю, — а со мной поехали.

Ошалел он, не понимает ничего, но кое-как на улицу выбрался — ноги-то слабые еще, конечно, и смеется.

— Ты чего? — говорю.

— Смешно мне, — отвечает, — в тридцать три года землицу сверху увидел!

Подсадил я его на своего коня; хоть и богатырский конь был, а заржал жалобно, поняв, что ему нас двоих, тяжесть такую, везти. Ну да ничего, поехали.

Медленно ехали, и дорогой «расходил» я Илью. Когда до Муром добрались, он уж много сам пройти мог. Купил я ему коня кой-какого, тяжеловоза, не богатырский конь, но не сразу все находится, оружие купил, а кольчуги ждать на заказ пришлось: широк больно в груди Илюша был, не нашлось для него кольчужки.

Пробовал я Силу его шевелить — как бревно ученичок мой безмысленное. К травам его приставил; лечит, как воин. Языкам стал учить: пот градом по лбу невысокому катится, и страдает Илья. Загадки загадываю: а ответ все, как с моста в воду. Мечом, правда, быстро махать научился, и со стрелами был хорош: не то что белке в глаз, а ночью в муравья попадет.

Сам себе дивлюсь: на что мне воина такого небывалого пестовать? Что в нем богатырского, кроме стати и силищи? А потом понял: нужен Русской земле такой богатырь, чтоб, как пахарь, прост был, как дружина целая, силен и ясен, как мед лесной. Что я со своей Силой недовоевал, он, может, по-своему, по-простому, по-медвежьи довоюет.

Начали потихоньку землю объезжать. Год прошел, как я Илью подобрал. Тут слышим, на Волынщине, на болотах разбойнички завелись. Посмотрел я на Илью, подумал. Говорю:

— Дело нехитрое. Силы на них нет, биться они тоже невесть какие мастера, сходи, поучи их.

Обрадовался Илья, меч свой погладил и в лес пошел. А я за ним тишком, мышью старой по кустам пробираюсь. Взял след Илья легко и прямо к становищу и вышел. Там дозорный стоял — одна только дорожка через трясины шла; снял его Илья стрелой, как жучка с руки снимают, и вывалился на поляну, а там разбойничков — десять человек! На бревне сидели, а как Илья, медведь молодой и наглый, из кустов выхрустел, повскакали- и за

ножи (мечей-то не было у них). Оторопел Илья — все ж таки десять человек. Я уж показаться решил, потому что великовата была стычка для первого раза, но тут Илья бревно подхватил и им, как палицей, крушить все начал. Больше промахивался, конечно, но и разбойничкам перепало. Трех уложил, а остальные, кто покалеченный, кто напуганный, к выходу с болота побежали, а там я стоял. Сошлись потом с Ильей. Говорю ему:

— Ну, умная голова, потешился? Бревном побросался? А посылали тебя зачем? У тебя вся шайка без трех человек ушла бы, коли Святогора в кустах не было б.

Стоит, в землю смотрит, сопит.

— Что сделал неправильно, неук?

— Поторопился, следы не пересчитал.

Отлегло у меня от сердца: соображает все ж хоть так-то.

— Ладно, — говорю. — В другой раз медленней торопись.

Потом уж в степях помахал Илюша мой мечом; первый раз нырком, второй кувырком, третий ровно, а на четвертый всех побил. Медведище такой, проворный и на пчел хитрый. Облепят его со всех сторон, а он их размажет и еще проревет напоследок: «Жалко, мало вас было!»

Уж просил князь Владимир Илью в дружину ему снарядить; и смотрел на меня Илюша глазами жалостливыми: славы хотелось. Но нахмурился я и никуда не отпустил. Воин еще был, не богатырь.

И все меня мысль точит: как же он с Сильными-то долбиться будет? Что же, его мозгляк любой, ведун Деревенский, с толку собьет и в землю вогнет? Для меня-то как на ладони Илюша был: я сплю, а сам его сны вижу. И тревожился я очень: не пропал бы без Меня. А с собой его весь век таскать — так зачем тогда вообще в ученики брал?

Хорошо, думаю. Привез его в лес Червонный, на Волынщине. Светлый лес, буком и орехом порос, и Трава в нем мягкая, и цветов, как на вышивке. Но обходят и объезжают этот лес стороной все: больно зол леший его. Давно, очень давно, уж и не помнят, Кто кем правил тогда, но сошлись в лесу две рати, и Крови много пролили, а потом помирились, решили Мертвых своих с почетом великим проводить и в самой гуще леса погребальные костры устроить из веток дубовых, священных. А полегло в битве той, говорят, не мало, не много, а семь тысяч. И с зеленых дубов ветви рубили, а для героев целые деревья валили, а потом костры зажгли в самую летнюю сушь, и пожар пошел. В дыму и огне неслыханном мертвецы с почестями уходили, хотя им, мертвецам, уж все равно было. И выгорело леса четверть. И ничего не мог леший с такой прорвой народа сделать, и пожар погасить не смог, потому что то ли Кашей угли раздувал, то ли просто сушь сильнее лешего оказалась. И остервенился леший, и с тех пор как кто зайдет в лес — хоть дитя невинное, не выйдет. Проверено это. По опушке, да со страхом, да с молитовкой, еще туда-сюда, а если вглубь — пропал человек.

Я-то лес этот изъездил вдоль и поперек, когда на несчастном подвиге своем был, и свирепел леший, но ничего со мной сделать не мог. Я уж говорил ему: «Отстань, хозяин лесной, не со злом я пришел, не стервенись понапрасну, не одолеть тебе меня, а я — видишь — даже ягоды с бережением срываю». Но все ходил за мной по пятам, надеялся. Там в глубине леса болотце небольшое, но цепкое, и по ночам огни скверные горят по местам, где люди утопи, и он все меня туда подталкивал. Но и по болоту я проехал, хоть и редко встретишь дуб на болоте. Ну, да про подвиг несчастный вспоминать не хочу.

Повез я Илюшу в Червонный лес. Ни слова ему не сказал, а сам он про лес такой не слыхал. Настырный леший, думаю; признает меня, а все равно в чащу тащить станет. Вот мы и проверим, как скоро Илюша без меня пропадет.

В лес въехали, Илья спрашивает:

— Святогор, а Святогор, за каким делом едем-то?

— А, — говорю, — землю тебе в богатырствование передаю, вот и показываю.

— Понятно.

И только скрылась опушка, уж чувствую: рядом хозяин лесной.

— Чего-то, — Илья говорит, — конь мой влево забирать стал. Туда ли едем?

— Время наше не куплено, куда выедем, то и хорошо.

И ведет леший Илью радостно, к болоту самому, а на меня удивляется: чего этот-то послушный такой? Но радуется леший, и от радости прибывает Сила его. «Да, — думаю, — пропадет Илья в одиночку. К злему лешему я его вывел, но, пожалуй, и тихий его поведет. Вон как забирает. След в след лесному хозяину ступает».

В самую глушь зашли. Остановился Илья:

— Болото рядом, Святогор. Уж пахнет.

— Действительно, пахнет, — говорю. — Ну так что ж?

И по болоту поедем.

А сам думаю: «Хорошо, я тоже здоров, а в другой раз кто тебя вытащит?»

— Нехорошее место, — Илья вдруг говорит. — Надо ли нам туда?

Удивляюсь, но молчу.

А болото тут такое: где трясина кажется, там твердь на самом деле, а где твердь — ну да понятно, что там. И ведет леший Илью как бы на сухое место. Сейчас ухнет Илья. А он вдруг говорит:

— Святогор, а ведь трясина сейчас пойдет. Чудное болото какое-то.

И в сторону поворачивает. Леший и так бьется и этак — не идет на болото Илья. Подивился я; думаю — глаз хороший, лесной, русский у Илюши, вот и сквозь землю видит.

А сумерки пали. По краю болота едем, а там огоньки горят, а когда огни на болотах загораются, там и Сильному беречься надо, потому что тянет его. Слышу — шепчет Илюша:

— Смертищей-то как потянуло!

И едет себе вокруг болота и ночью, ни разу в трясину не ступая и на огоньки не прельщаясь. Вzbесился леший. Посчитал я: пять раз мы вокруг болота того за ночь объехали, а ни разу не оступился Илья. Но и с круга не сходит. Только на рассвете встрепенулся:

— Да были мы уж здесь!

И охнул:

— Так нас леший водит! — и на меня смотрит с укоризной.

Я молчу, думаю: ну, как выбираться станешь?

Насупился Илья: обиделся. Поехали от болота вроде, но я же чувствую — на самом деле снова круг закладываем (а серое небо было, и не поймешь, где восход, где закат). Опять леший повел. А Илья вдруг как жажнет мечом по дубу! Леший аж кустами захрустел, как пальцами, за дерево свое любимое страдая.

Говорит Илья:

— Ну вот, обозлился и показал, куда он нас вести хочет. А мы в другую сторону пойдем.

Три дня выбирались мы из этого леса, где дороги было на полдня. Но вывел Илья. Немало веток посек и лешего обозлил немерно, но вывел. Да, думаю, медведь ты, медведь, а не на всякий улей лезешь.

Ничего не сказал Илье, в другой конец земли Русской повез его, на Псел-реку. Там русалки злые, а почему — неизвестно. Вроде не обижал их никто, но — Сильное место для них.

Приехали к самому закату. Ласково Псел глядит. И теплынь тихая, и солнце на воде отдыхает. Радует Илья:

— Ох, поплещусь сейчас, день-то больно жаркий был!

Разделся и в воду полез.

У меня с русалками с детства самого плохо. Как надругался я тогда над кувшинками, так не любят меня с тех пор русалки. Вреда причинить уж не могут по Силе моей, но всякий раз стараются. И сейчас зашевелились.

Не бросил я Илью одного, с ним вместе в воду пошел. А русалки будоражат, водой щекочут, и смех тихий, серебряный зазвенел, словно волна малая в берег каменистей колокольчиком ударила. Сильны русалки и на меня сердиты. Вижу, помрачнел Илья, действует на него русалочья Сила. Смотри, думаю, Святогор, лови ученичка-то, как на дно

пойдет.

Вдруг поплыл Илья к берегу сердито, из воды выбрался, на траву лег, отвернулся; вижу, плачет. Подсел к нему:

— Ты чего?

А он басом обиженным:

— Девку хочу. Тридцать три года на печи просидел, три года в седле, а все как дитя малое.

Чуть не рассмеялся я. Люди невест, жен бросали, в воду кидались на русалочий смех зовущий, волшебный, а этот увалень из самого волшебства на берег полез — себя жалеть. Смолчал, но думаю: хранит тебя земля Русская. Расшевелили тебя русалки, как и положено им, а погубить не смогли.

Ну, думаю, духов попробовал, теперь глянем, что Илюша с Сильными делать будет.

По Пселу к левобережью Днепра выехали и направились в Олешье, в днепровском устье: там корабли из Царьграда, Корсуни да Тмуторокани пристают, и много там всякого люда сшивается, сорного и стоящего, и живет там Сильный один, грек, ведун, Фотием зовут, ни добр, ни зол, а Сила ему для забавы и наживы потребна. Крутит людьми, как хочет: в Олешье Русь с Зарусьем встречаются, и многим Сила нужна перед тем, как на чужую землю ступить. И тешится Фотий. Коли денег не взял с тебя — берегись: играет тобой, как кот мышью доверчивой, и на беду идешь. Многие потом хотели с Фотием по квитаться, но где купцу или воину Сильному синяков наставить.

Сильней я Фотия, и знал он это, поэтому сразу уговорились: чур, Святогору не вступаться. Что сделал Илья, то сделал. А Илье сказал я: «Полезный человек Фотий, и хочу я, чтоб сошелся ты с ним будущего ради».

Говорит Фотий Илье:

— Ах, русак ты, русак! К морю синему приехал, а матери морской подарка не привез! Не будет тебе счастья на море, и рекам гладкотекущим мать морская тебе помогать запретит, и смерть от воды примешь.

Ложь все, от слова до слова, но пыхтит Илья, на меня оглядывается, а я вида не подаю, и всему верит Илья. А Фотий пошептал что-то, на воду подул и дальше чирикает:

— Слышишь, как море волнуется? Это мать морская на тебя сердится. Поди, умилостивь ее, иначе сегодня в море лодки рыбацкие потопнут, а через время не долгое и ты в воде сгинешь.

— Да не сказал мне Святогор ничего...

— Испытывает тебя Святогор, — в первый раз грек изворотливый правду молвил. — А я тебя по доброте научу. Зайди в воду и в море помочись, как ребенок малый. Тебя мать морская в сыновья и примет.

Едва не крикнул я. Большое это оскорбление матери морской, и наказывает она за это всегда. Что делать? Не сдержать слова, вмешаться? Так ведь честный уговор был с Фотием. Ну, да не потопит сегодня мать морская Илюшу моего, а потом я сам перед ней повинюсь.

Поспешил Илья к морю, на меня не оглянувшись, потому что уж под Силой был, а я Фотию говорю сердито:

— Что ж ты, собака черная и лукавая, делаешь? По-другому испытать не мог?

А он смеется:

— На коленках ко мне ученичок твой приползет, ты мне денежку заплатишь, а я его у матери морской отмолю.

Плюнул я и на Фотия глянул нехорошо. Сидим, ждем. Наконец, шаги. Отлегло у меня от сердца. Вваливается Илья. Мокрый весь, лицо раскрасавлено, дрожит и бросается Фотию в ноги. Противно мне стало: все как грек блохастый говорил, так и вышло. И вопит Илья:

— Ой, подними меня, Фотий, ноги меня не держат, поздно я в море помочился, уж прогневалась на меня мать морская, едва не утоп.

Смеется Фотий и к Илюше наклоняется. А тот ему снизу — хрясть по зубам кулачищем! Взвыл Фотий, на спину упал жуком и лежит как неживой.

Обомлел я.

— К морю с чистым сердцем шел? — спрашиваю.

— С чистым.

— Фотию верил?

— Как тебе верю.

— Наказала мать морская?

— Наказать не наказала, а как помочился, так волной накрыла и стала по камням мордой возить.

— Ну?

— Ну, а дальше понял я все.

Тут Фотий в себя пришел, зубы на пол отхаркнул с кровищей, десны пощупал, зыркнул гадам и говорит:

— Жа это ответишш, жлобный.

И начинает Илюшу сковывать и порчу наводить. А Илюша ждать не стал и по башке Фотия треснул так, что тот снова замертво упал.

— И он еще на меня с Силой теперь лезть будет! — Илюша мой возмущается.

Долго бы лежал Фотий, когда б я его не откачал.

— Все, — говорю строго, — покуражился ты, не мешался я. Впредь не ругайся над матерью морской. И мстить не думай: передо мной ответишь.

— Шли бы вы с ушенишкой швоим жабавным в какое другое мешто!.. — Фотий шипит, зубы в ладошку собирая.

И уехали мы, и понял я, что Илюша, мой может как под Силу попасть, так и Сильного кулачищем одним подмять. И не мстил нам Фотий, боялся, и забыли люди, как его прежде звали, и стали кликать: Шамка.

По всем землям ездили, а в Киев все ж таки наведывались. И без нас не забудет о богатырях князь Владимир, да нужда у него в них появиться может. Издалека почую: все время слушаю я князя. Вот и в этот раз услышал. Знаю, не отчаянная нужда, но думает о чем-то князь неотступно и меня призывает.

Въехали в Киев-град, пошли в княжеские палаты. Удивляется Владимир:

— А я-то только гонцов разослать хотел! Удивительный ты действительно богатырь, Святогор, тайный, и все тебе ведомо.

— Ученика моего по смерти моей так же ласкай, — говорю. — А мне хвалы, что ужу сапожки. Так что за нужда у тебя, князь?

Отводит глаз Владимир, пальцами по столу барабанит:

— На мне одном земля Русская держится. Как Богу душу отдам, так смуты пойдут.

— Не ты один земле Русской защитник, — говорю. — Но то, что смуты пойдут после смерти твоей, так возможно это. Зажал ты людишек в кулак, а как разожмется он, так во все стороны побегут.

— Сколько жить мне, Святогор?

— То одни боги знают. Тело твое вижу и душу, но меч, да стрелу, да вепря клык, да яд загодя только одни девицы вещие видят. И то — врут обычно девицы-то. А коли ни меча, ни стрелы, ни клыка, ни яда не будет, то жить тебе, князь, еще не меньше десяти годов, но и не больше двадцати.

Не любят люди, когда говорят им такое. Но строго я на князя Владимира смотрел, потому что сам с Востока в суме его привез и не врал ему никогда.

— Мало, — Владимир говорит.

— Мало, — соглашаюсь. — Не больно прочно тело твое.

— Так делать надо что-то! — вскидывается и хмурится грозно. — Или уж княжескую жизнь и продлить ничем нельзя?

— Не слышал о средствах таких, — говорю.

— А мындрагыр? А одолень-травя?

— Врут о них больше, чем правды говорят. Бывает, что и творят чудеса мындрагыр и

одолень, и смерть отвести могут, но только тогда, когда тело само смерть отторгнуть готово. А не знаю я снадобья, чтобы тело от распада положенного бы спасло.

— Сказали мне об одном, — князь свое гнет.

— Дня не проходит, княже, чтобы люди бессмертия тайну не раскрывали. Все снадобья подбирать — спину надорвешь.

— Но одно проверить-то можно?! Верю я ему очень.

Поразмышлял я. Что, думаю, Илюшу моего не свозить ли еще куда? А то что-то последнее время кружим без дела.

— Раз веришь, так расскажи.

Загорелся князь: верит, что раз на престоле он, так ему боги, значит, жизнь дадут невмерную. Ох, люди, люди...

— Живет на далекий восток от Новгорода, за озером Белым, в лесах еловых, темных, соболь кипрейный. Как кипрей он цветом, розовый то есть. Мало его на земле той, но кто соболя кипрейного в доме держать будет, тот жить будет, покуда жив соболь, а соболь кипрейный живет по сто лет.

Не сдержал я вздоха.

— Чего вздыхаешь, — князь сердится, — верю я в соболя того и доставить прошу!

— В самоедскую землю посылаешь, — говорю, — а какая самоедам вера? Если такая тварь небывалая в лесах у них гнездится, так что же сами они живут по тридцать годов и старикам их по пятьдесят?

— Не дается соболь самоедам! — Князь кулаком стучит, чисто ребенок слезливый. — А тебе дастся.

— Вот что, — говорю, — не гоняют Дажьбогова сына за глупостью хвостатой. Илью моего пошли.

Молчит князь, шибко на соболя-зверя надеется, Илью за воина почитает. Потом говорит жалобно почти:

— Пошлю Илью, а ты с ним не съездишь вместе на случай всякий-разный?

— Съезжу, — говорю.

Илья князю кланяется низко: почитает Илья князей слишком долго на печи высидел. Кашляет, хмыкает наконец, спрашивает:

— Великий князь, а кто тебе про соболя того рассказывал?

— Новгородец один, — князь говорит.

— А куда поехал новгородец тот? — Илья спрашивает осторожно. — Как бы его найти да с ним поговорить?

— А никуда не поехал с тех пор новгородец тот, — князь смеется. — В моем подземелье сидит. Как услышал я про соболя, так и посадил новгородца, чтоб другим не рассказывал. Откуда знаю я, может, в земле самоедской всего и есть, что две соболюшки, и кто-то вперед меня их получит!

— Да, — говорю, — рассказывай князьям тайны после такого.

Злится Владимир:

— А что мне, язык ему вырезать было?

— В тереме своем поселить с почестью!

— Сбежит!

— Твой же Бог новый тебя плетью за такое огладит!

— Договорюсь я с Богом новым, — Владимир рычит, — я в него верю, не ты! Ты сам, Святогор, мало ли крови пролил! Говорят, будто и Микулина кровь на тебе, а?

— Неслух! Оставлю двор твой и богатырям завещаю тебе служить!

Опустил князь глаза, чтоб злобу свою не показать, и говорит:

— Сейчас же новгородца в палату светлую, в терем свой переведу, там вы с ним и поговорите.

На том и простились. Зол я тоже был, а Илья мне шепчет:

— Святогор, да как же ты, да с князем!

А я ему:

— На земле князей — что грязи, а ума — что грома! Молчи уж лучше! Послали мне боги ученичка за грехи мои! Только одежду, золотом тканную, увидит, так и хвост поджигает, как собака, кнут чующая! С мужиками да лешими лишь смел! Не выйдет из тебя богатыря!

Едва не заплакал Илья от слов таких, но не стал я его утешать. Позвали нас к новгородцу.

Сидит в палате, по-восточному убранной, перед ним стол с яствами праздничными, одет с иголки, а худ, как былинка, и лицо у него бледно, как былинкин корень.

— Видишь теперь, как небывальщины разносить? — спрашиваю его. — Глуп ты. Плачет:

— Ох, проклиная язык свой! Но не небывальщина это, а самая что ни на есть правда!

— Рассказывай.

И выложил он, что был в земле самоедской, и в шатре водителя их клеточку видел, платочком покрытую. В большом почете его самоеды держали, потому что наконечники для стрел привез им отличные и в шатре спать положили. И подглядел он ночью, как приподнял водитель платочек, а в клетке соболя розовый на колесе крутится, и стал ему водитель орешки сыпать и за жизнь долгую благодарить. Поутру спросил новгородец водителя про соболя-то, тот испугался, не сказал ничего, новгородца выпроводил поскорее, а сам с места снялся и перенес свой шатер куда-то. А люди его новгородцу про соболя объяснили, что живет в еловых лесах старых в редкости большой и что почти и не бывает удачи такой — соболя розового поймать. А обычно один поймает, а другой у него украдет, и так переходит соболя кипрейный из рук в руки, и поэтому никто и не живет долго. А как ловить его, не сказали, потому что тайна это большая.

Вот так-то поговорили мы. Послал я слово князю, что едем мы в самоедскую землю. Он к нам не вышел, потому как сердит был на меня сильно, а только передал: «Скажите Илье, чтоб молодого соболя-то вез».

Моргнул Илья, но хватило ума у него хоть шавке княжеской не кланяться, а только кивнуть важно.

А что князь-то? Та же шавка, только побольше и позлобнее, власти облопавшаяся. Но во всей земле такие князья, поэтому хоть и позлился я, но поехали мы.

Ох, Русская земля, дороги длинные, реки холодные, ночи стылые, леса паутинные, кусты мокрые, травы жесткие, звери ехидные! Тяжело по тебе на север забираться. Расступаешься ты, и тонет путник в просторах лесных, а с верхушки ели ничего, кроме другой ели, и не видать. И конь неохотно ступает в студеную воду рек твоих, что пробирает летом хуже, чем зимою в проруби. Звезды ночью глаза колют с небес, а солнце отворачивается днем и насмешливо светит беспутно допоздна, не согревая, а только тормоша всякую тварь живую. Мох кругом, он здесь властитель, и дальше, у моря Студеного, вовсе кончается лес, а только мох один кругом, подушка бесполезная сырая.

Долго очень ехали. Русский дух уж кончился, а самоедского все не чуяли мы никак. Ничейный был лес, как будто и не сотворила Мокошь людей, а только тварь одна дикая, непутаная, кругом ходила.

Илья чуть не с Новгорода соболя княжеского высматривать стал. Я еду краткой дорогой, а Илья неустанно кругом рыщет, все выглядывает, не покажется ли где хвост кипрейный. А я хмур был: за пустым делом поехали, и противно мне было, что ученик мой так перед князьями стелется. Угодник будет медовый. Ну да знал, что делал, когда мужика о тридцати трех годах в дорогу собирал.

Не просит меня Илья ни о чем, сам соболя высматривает. Его дело, которое князь подвигом называет. Уж с лица спал Илюша: больно отличиться хочется. А я молчу и молчу. Его дело, а я при нем только на всякий разный случай.

Наконец въехали в землю самоедскую. Силки их и ловушки, на птицу и зверя поставленные, показались. Проверяет Илья западню каждую: не сидит ли где зверь

приветливый?

Потом взмолился:

— Святогор, помолились кому-нибудь, чтоб соболь на меня вышел!

Зыркнул я на него, и осекся Илюша. Каждый вечер свои силки ставит с приманкой, соболю сладкой. Попадались соболя без счета, но все обыкновенные. Один раз приносит в руках дрожащих: соболь как соболь, только брюшко розоватенькое немножко.

— Не он ли?

Посмотрел я и ничего не сказал.

Вздыхнул Илья, размахнулся и соболя на самый верх елки зашвырнул. Тот мявкнул только злобно так и потом долго сверху ругался.

Наконец, пришли к нашему костру самоеды. Сели, помолчали, потом говорят:

— С чем пришли, люди? Силки наши проверяете и свои ставите, а земля это наша.

Рявкнул Илья по-медвежьи:

— Русская это земля!

— Может, и русская, — отвечают, — но все равно наша. Не нравится нам, что два могучих человека таких по ней ездят. Скажите, чего надобно, может, договоримся.

— Князь нас прислал, — Илья говорит, — наказал найти у вас водителя самого старого. Дары ему богатые прислать хочет. Два мешка наконечников для стрел, и каждый мешок с меня ростом.

Встреппенулись самоеды:

— А с чего это ваш водитель про нашего вспомнил?

— А милы ему самоеды... — Илья буркнул.

Не поняли те ничего, посовещались шепотком и говорят:

— Самому старому водителю нашему восемь раз по десять годов будет, ему пускай князь ваш и посылает дары.

— Не-ет, — Илья отвечает, — мы на то и посланы, чтобы водителя обо всем выспросить, и, если правильно отвечать будет, тогда князю доложим о нем, и уж летом следующим ждите даров.

Обрадовались самоеды, но странным им это все кажется, и повели они нас через леса туда, где их старый водитель кочевал, а вперед гонца послали.

Выбрались, наконец, мы к шатру. На берегу речки прозрачной стоит. И вылезает оттуда старик, нас приветствует важно и начинает расспрашивать, большой ли шатер у нашего князя и как русские люди наконечники для стрел делают. Илья чушь какую-то несет, а бабы тем временем в шатре угощение собирают. Позвали нас и в шатер. Илья сидит, озирается: нет нигде клеточки; может, спрятали куда? Воздух в себя втягивает: но нет, не жил здесь соболь, шкурки только лежали.

Тогда говорит Илья:

— Степенный ты человек, и будут тебе дары. Наш князь сказал: кто самый степенный будет, того и делайте главным водителем в земле той.

Поник головой старик:

— Нет у нас главного, хоть я бы и не прочь.

А Илья птицу жует и выговаривает ему:

— Надо, чтоб главный был, без этого порядка не будет. Да ведь не бывает так, чтоб все вровень были, один да высунется!

Замолчал старик самоед с мыслью злой и в одну точку уставился.

И тут понял я, что есть на свете этот проклятуший кипрейный соболь.

А Илья все свое гнет:

— Ты старший, тебе и почет, а кто невочередно высовывается, того приструнить надо.

Молчит старик. А Илья вздыхает притворно:

— А там пес с вами, с самоедами, живите без старшего.

Спать легли. Наутро старик спрашивает:

— А что ты сделаешь с тем, кто высовывается не в очередь?

Сощурился Илья:

— Силу чувствуешь?

Ох, Илья, медведь на муравейнике, мою Силу кто ж не почувствует? Кивает старик и на Илью смотрит преданно и просит наглеца молодого обуздать.

— За это, — говорит, — когда я старшим буду, вашему князю в полцены шкуры отдавать буду, а тебе внучку отдам, делай с ней, что хочешь.

Облизнулся Илья, дорогу спросил. Хитрый старик был, сказал:

— Дорогу мои люди покажут, а потом скроются тут же, и вы сами с водителем молодым разбирайтесь.

Долго вели нас чащобами люди его, а потом враз поклонились до земли и исчезли. Дальше Илья меня по следам повел.

Тут из леса голос:

— У нас стрелы.

А Илья им:

— Легко ль им без наконечников русских?

Подумали, вышли из чащи. А Илья соловьем поет:

— Были мы у пня жухлого, старика какого-то. С ним не столковались. А наш князь ищет, с кем бы ему из водителей ваших подружиться, и чтоб не через новгородцев двурушних, а прямиком бы нам торговать.

Сбегали самоедские людишки куда-то, потом в ладоши хлопнули и нас за собой повели.

Стоит шатер на поляне, а вокруг шатра по четырем сторонам — лучники. Выходит к нам водитель молодой. Смотрит сторожко, опасается чего-то. Чего там думать — у него соболь-то! Животиной-то пахнет.

Начал Илья ему заливать про то, какие новгородцы надували и как хочется князю нашему шкурок самоедских. Слушает водитель, а потом покушать нас приглашает — тут же, на поляне. Быстро согласился: мол, новгородцев больше знать не хотим, а ждем вас на будущий год. Поблагодарил и говорит:

— Дам вам провожатых сейчас, а то, не ровен час, в болота попадете и не узнаете ваш князь о разговоре нашем.

Стреляет Илья глазами, Силы не имеет, но чувствует: не только у шатра, но и в лесу лучники стоят. А на ночь боится водитель нас оставлять.

— И хорошо, — Илья говорит, — побольше дай, иначе нам почета не будет.

Подумал водитель, послал с нами четверых.

— Хватит для почета? — спрашивает.

— В самую мерушку, — Илья отвечает.

Отошли мы от лагеря, Илья говорит:

— Прощаться будем.

Слез с коня, выхватил меч и, злодей, четверых самоедов мирных уложил за-ради соболя.

Сумерки уж пали. Илья на меня косится и говорит:

— Святогор, я в лагерь сейчас пойду.

Я, ни слова ни говоря, тоже с коня слезаю и за ним поворачиваю.

Залегли в чаще. В темноте кричать стали самоеды, звать тех, кого с нами отправили. А Илья громко стонет в ответ. Побежали к нам, а Илья стреляет на звук, и еще троих долой. Замерло все. Пополз Илья к лагерю, и я за ним. Видим, выбирается водитель из шатра и в лес крадется, а в руках несет что-то. И конечно, снял его стрелой Илья, ничего не успел сказать водитель, только соболь заверещал злобно, в клетушке на землю падая. Подхватил его Илья и к коням бросился. А я за ним бежать не стал. Какая ночью в чаще дорога? Только если я впереди поеду да Силой путь себе освещу, тогда и проедем. Но не будет от меня Илье такого. Побрел Илья на ощупь, утра дождался и на запад наметился, Едет и следы замечает, как я его учил. И что же — крались за нами самоеды, да только беспрестанно поворачивал их

Илья на дурные дорожки, и выехали мы беспрепятственно из самоедского края.

Едем, молчим. У Белого озера остановил я коня, сказал:

— Восемь душ ты, Илья, ради соболя поганого загубил. Знать больше тебя не хочу. На этом рвется ученичество твое. Недомерком всю жизнь будешь. А чтобы от людей неискусных уходить воровски да на княжьем дворе лебезить кобелем драным, на то твоего ума теперь хватит. Как заслышишь меня, за полночи объезжай, потому что видеть тебя не хочу больше.

И поехал прочь. Илья за мной скачет:

— Святогор, сам же меня на подвиг снарядил! А от соболя князь долго жить будет и Русской земле спокойствие выйдет!

— Пустое дело твой соболя, — говорю равнодушно. — Нет на нем Силы никакой. Что он, что крыса дохлая — все одно не позднее чем через двадцать лет помрет князь Владимир. Ну, да ты еще двадцать лет княжеской лаской попользуешься.

Ахнул Илья:

— Так ты и с соболя Силу снял!

Оборотился я и в глаза ему посмотрел:

— Глуп ты. А еще докучать мне станешь — коромыслом оберну.

И уехал.

Не оборачивался, но знал: стоит Илья, рот разинув, мне вслед глядячи.

Горько мне было и противно. Ну, да не первый Илья, кто у власти скурвился. Вот я-то, наверно, действительно первый богатырь, кто такого ученичка взял. И поехал я на север и всю зиму блуждал по сопкам тамошним, совершенно безлюдным. Уже за половину восьмой десяток мой перевалил, а что сделал я, Дажьдбогов сын? Но не на меч же бросаться. И по самой распутице, себе назло, отправился снова на Русскую землю нового ученика искать.

В Новгород завернул. А там мне подносят сверток.

— Что такое?

— Илья для тебя оставил.

Разворачиваю — а там стрела сломанная. На землю бросил и ничего не сказал.

В Полоцке еще тащат. Усмехнулся: хорошо дороги мои ученичок знает! Посмотрел — а там соболя шкурка. Выкинул и смолчал.

В Смоленске сначала вовсе брать не хотел, а потом вижу — тяжел сверток очень. Развернул и нахмурился: меч там Ильи сломанный лежит!

Подумал и повернул на Муром. Приезжаю в деревню, где Илью подобрал, и к его дому еду, а от меня шарахаются все. Ничего не спрашиваю, в дом захожу.

Сидит Илья на печи.

— Давно сидишь? — спрашиваю.

— С зимы.

— Ноги отнялись?

— Ходят.

— Чего ж сидишь?

— Зарок дал.

— Что за зарок?

— Пока Святогор в ученики не примет, не встану.

— Ну-ну, — говорю.

И уехал. Год ездил. Потом снова в деревню завернул. Все сидит Илья на печи, и по полу видно — не ходит, а ползает все.

— Вставай, — говорю, — поехали.

Потом рассказал мне Илья: привез он соболя драгоценного в Киев, князь его с почетом великим принял, и золота отсыпал, и за пирами по правую руку от себя сажал. Пировал-пировал Илья, а потом говорит Владимиру:

— Князь, а князь, ты б новгородцу тому тоже золотишка отсыпал бы. Как ни крути, а на соболя он тебя навел.

Смеется князь:

— Отсыпал я ему уже столько, что выше головы было.

Успокоился Илья, а потом узнал: только мы из Киева выехали, приказал Владимир новгородца умертвить, чтоб никто больше о тайне великой не пронюхал. А отсыпал ему понятно чего — земли, когда в могилу бросали.

Заплакал Илья и с княжеского двора уехал, не простившись.

— Ладно, — говорю, — поедem к князю; не попрощался, так поздороваяешься теперь.

Входим к Владимиру, а он просиял весь:

— Тебя-то, — говорит, — мне и надо, Илья! Собирайся снова в самоедскую землю. Сдох соболю мой.

Стою, жду, что Илья скажет. А он насупился и шепотком таким — чтоб не обидеть, но и правду сказать:

— К новгородцу соболю ушел. Забыть тебе теперь о соболях надо, княже.

Осекся Владимир. Потом повернулся круто и вышел. Посмотрел я на Илью и говорю:

— Поехали, ученичок.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Недолго странствовал со мной Илья после того, как с печи я его во второй раз снял. Испытание его богатырское соболю кипрейным обернулось. Сделался Илья богатырем. А то, что размолвка меж нами вышла, так в учении и не такое бывает. Доволен я Ильей остался: не бывало сродного богатыря на Русской земле раньше.

Но точил меня червь сомнения: что же это, Святогор, богатырь Сильный, тайн своих так передать никому и не должен? Да, не передают богатыри все тайны свои и самые заветные в землю уносят, но большую толику-то под солнцем и луной оставить нужно. Что ж, выходит, второго ученика искать Святогору? Нет, не хотели, значит, боги, чтоб Силу я кому-то свою передал. И где такое видано, чтоб богатырь за собой целый выводок птенцов таскал?

Ладно, думаю. Отвоевал свое Святогор, пора на зиму устраиваться.

Была у меня мысль давняя, тайная: как на покой уйду, так осяду где-то и с Упирью говорить стану и Згинные мысли слушать. Только больше Сила моя с годами становилась. Не одолел я Кашея, пока богатырствовал, так, может, на покое узнаю, как подступиться к нему, и, может, откроются мне слова такие, чтоб без дуба и без иглы всякой подвиг свой земной завершить. Не особо верил я в это, да чем еще заняться? Мелки дела остатные, а шататься меж двор скучно мне.

И стал я места себе искать. Такое место должно быть, чтоб Сила моя в него, как в седло, села. Нелегко такое найти. И пустился я в путь загодя.

Лето прошло, и осень, и зима, а я все себе места не найду, как медведь-шатун, во все стороны тычусь, а никак покою не сыщу.

Ранней весной я ехал западным краем Киевской земли. Леса медлительно стряхивали с себя зиму. Внезапно я заметил клин подснежников. Он был словно высажен человеком и показывал точно на запад. Чтобы не оставить мне сомнений, на острие клина рос пурпурный цветок. Я низко поклонился клину, с молитвой сорвал пурпурный цвет и поскакал на запад. Я знал, что Упирь ведет меня, потому что во все дни пути цветок оставался свеж и прохладен, как будто только что сорван.

Через пять дней я въехал в предгорья Карпат. Когда я проезжал широкой поляной у подножия лесистой горы, цветок сам собой зашевелился и выпал у меня из руки. Ехать дальше было нечего: Упирь велела мне жить здесь.

Все было свежо и покойно кругом, и Сила моя словно растеклась по поляне, как вечерний туман, и я почувствовал, как сильны в этом месте берегини. Тем же вечером я начал строить себе избу на опушке букового леса.

Через неделю мой третий и последний дом был готов. Он был темен и мал и терялся в

тени леса и горы. Я притворил дверь и поскакал в Киев прощаться с князем Владимиром. Мне не терпелось уйти в свои занятия, но надо было сказать князю, что Святогор уходит навсегда и что никакие напасти уж не вовлекут его в богатырские дела.

Немного ниже Киева я выехал к Днепру, там, где клыки порогов распарывают его спокойные воды, как мешковину. С только что приставших челнов высаживались путники. Челны пришли из Олешья. Купцы орали на носильщиков, которые несли тюки с царьградским товаром, богомольцы, ходившие к греческим святыням нового Бога, суетно мерили шагами берег, боясь, видно, растерять в суматохе новоприобретенную благодать.

— Алешка! Алеша! — кричал рыжий поп, бегая по берегу.

— Не было его на берегу, — отозвался кто-то.

— Да и в лодке, кажись, не видно было, — раздумчиво проговорил бас.

— Мальчонку потеряли! — взвизгнула баба.

— Алешенька! — почти плакал поп.

— Утоп? — небрежно спросил купец, пересчитывая тюки.

— Я тебе покажу утоп, — заголосил поп, — я тебя словом страшным афонским прокляну!

— Смышленный был такой, — всхлипнула баба, — шустренький.

— У-у-у! — замахнулся на нее поп и полез в воду к челну.

И тут челн потихоньку отчалил.

— Матерь Божья! — всхлипнул поп, перекрестился и рухнул в воду.

— Перун вас разрази! — охнул купец и пихнул своих работников в реку, а потом махнул рукой и нырнул сам.

Вода медленно уносила тяжелый челн, и ни поп, ни купец не могли его догнать, но работники, парни молодые, заработали руками что было сил, быстро догнали челн и забрались в него с двух сторон.

— Вот он, гаденыш! — раздался торжествующий возглас, челн закачался, и над бортом показалась и тут же пропала взъерошенная голова юнца, который, видно, изо всех сил сопротивлялся. Тут уж до челна добрались и поп с купцом.

— Запору, щенок! — кричал купец. — Товару на пол-Киева!

— Не трогай, не трогай, — говорил повеселевший поп, впрочем, без всякой убежденности в голосе. — Я родитель, я и поучу.

Купец топтал мальчишку ногами; тот не издавал ни звука, только упрямо брыкался.

— Дай, дай, дай, — кричал поп, — дай я!

Возня в челне продолжалась долго, и, когда мальчишку, наконец, выкинули на берег, он еле шевелился.

— Вставай, — топнул ногой поп, — за пороги пойдем!

Шатаясь, мальчишка поднялся. Он был черняв, ему едва исполнилось четырнадцать. Он утер кровь и поплелся впереди отца, все еще получая затрешины.

Я прилег подремать на берегу Днепра. Злы люди, думал я. Впрочем, кто знает, что было на уме у самого мальчишки; может, тоже зло.

Я тронулся в путь только вечером. Я в последний раз путешествовал по Русской земле и прощался с сумерками над великой рекой, с теплым ветром, который всегда словно покрывает твоё лицо паутинкой. Наступила ночь, но я не останавливался. Усмехаясь, я слушал лес, опушкой которого ехал. Лес жил своей нехитрой жизнью. Леший затаился в глубине и не мешался ни во что; к тому же здесь, в соседстве с торговым путем, он ослаб от близости множества людей.

Вот заверещал заяц, попавший в когти к филину, вот хрустнула ветка под ногой сытого волка, вот злобно захрюкал вебрь, обнаруживший, что желудей за ночь нападало мало, вот змея, не найдя птичьего гнезда, набросилась на лягушек в затоне... А вот в лесу появился человек. Он был очень зол и шел близко к опушке, боясь сбиться с пути.

Забавы ради я спешил и устроился прямо у него на дороге. Он шел сторожко, но время от времени не выдерживал и начинал тихо бормотать себе под нос:

— Снова поймают — по Дону уйду... Отец называется... А с Дона — в Итиль... Коня украсть... Меч...

Поймают — все равно уйду...

И думать нечего: это был давешний мальчишка, который снова улизнул с челна — наверно, у другого порога.

Усмехаясь, я уже представил, как через мгновение он споткнется о меня и как перетрусит. Но мальчишка неожиданно замер.

— Человек... — пробормотал он и затих.

Человек! Как он мог почуять меня? Заинтересовавшись, я стал приманивать его к себе, и он слепо пошел под моей Силой, правда, то и дело недоверчиво останавливаясь. И наконец, споткнулся о мою ногу и полетел головой в кусты.

Он дрался ожесточенно и молча, хрустя от обиды зубами, но я в момент скрутил его.

— Ну, — сказал я ему, — снова сбежал, попович?

Мальчишка часто дышал, но не отвечал.

И вдруг я понял, как он почуял меня: у него была Сила! Сейчас он пытался сковать меня, но он сковывал так, как голодные ведуны сковывают зайца. Все равно я чрезвычайно удивился:

— Ах ты, волчонок, Святогора сковать хочешь?

— Святогора? — вздрогнул он. — Ох, да я ж тебя видел на реке...

Я отпустил его, и он шустро отпрыгнул в сторону.

— Мало, видно, тебя мяли сегодня. Ишь, как скачешь. Ну, и куда ты наострился и откуда Сила у тебя?

Мальчишка помолчал, а потом усмехнулся:

— Ведь ты меня отпустишь, Святогор, правда?

— Ты откуда знаешь?

— А ты без зла меня скрутил.

— Вот сейчас безо всякого зла к отцу и отведу.

— Нет, — смеялся мальчишка, — я знаю, не отведешь.

— Ну и куда ты от меня в сторону скачешь, такой умный?

— На всякий случай.

— А Силой тоже на всякий случай играешь?

Он помолчал, а потом жалобно заныл:

— На Восток я иду, Святогор,пусти меня, я никому не мешаю.

— А на Востоке что, в рабы метишь или гнилушкой в болотах светить?

— Нет, — засмеялся мальчишка, — я коня украду и меч, а потом стану по Востоку кружить. Хочу про все знать.

Я вдруг почувствовал, как безмерно я устал и как хочу быстрее оказаться в своем последнем доме у Карпатских гор, но вместо этого мне выходило совсем другое, чему нельзя было противиться, и я сказал, сдерживая тяжкий вздох:

— Вот что, Алеша Попович, ты только теперь мне не перечь ни в чем, а то и половины не узнаешь.

Мальчишка внимательно смотрел на меня, а потом быстро отвесил земной поклон. Затем, не говоря ни слова, он опустился на землю подле меня и замер.

Я спал до рассвета, а мальчишка от волнения вовсе не спал. Я сказал ему:

— Сейчас поедем к твоему отцу.

Он побледнел, но смолчал.

Действительно, поп сидел неподвижно у следующего порога и то ли ждал сына, то ли оплакивал. Остальные поплыли дальше: недолговечно людское участие.

— Эй, поп, — крикнул я, — прощайся с сыном!

Поп бросился к нам, схватился за стремя и заголосил:

— Слезай, слезай, пострел, на голову свою повез тебя в Царьград к святым местам, неслух ты, преступник и отцехуитель!

Алеша потупился и ничего не отвечал.

— Вот что, — сказал я попу, — я теперь ему и отец, и мать, и места святые. В церкви Алеше не служить, в монастыре не хорониться, в поле не сеять и не жать. На какую дорогу я его поставлю, такой и пойдет.

— Язычник ты, — прошипел поп, давясь ненавистью, — деревяшкам молишься, ведун, сына моего в погань свою захомотавший, проклят будь, колода не верная, прокляти!

— Я что, с него крест стаскиваю? — осведомился я. — В какой вере рос, в такой и жить будет.

— Отдай сына! — прорыдал поп.

— Все равно не убережешь. Ноги у него рысьи, глаза совиные, хватка волчья. Не жить ему с людьми. Прощай, поп. Другого сына наживешь. А что до креста, то обещаю — не отнимется он у него.

— Алеша! — прорыдал поп и припал к Алешиной ноге. Тот пугливо отстранился и покосился на меня: мол, зачем это? Не понимал еще волчонок, отчего плачут люди.

— Не кручинься, поп, — проговорил я. — Вспомнит он потом твои слезы и сам к тебе приедет. И за это ручаюсь. Прощай.

Я тронул коня, и мы поехали шагом. Поп бежал за нами, а потом отстал, рухнул на колени и начал молиться. Алеша не оборачивался на него. Он жадно смотрел на мой меч.

Той же осенью я увез Алешу на Восток.

Второй мой ученик был лукав, сметлив и смешлив. Все давалось ему почти безо всякого труда, я даже иногда кричал с досады, вспоминая Илью, который, бедный, столько мучился. Этот заговорил по-степняковски и по-гречески, будто ему боги сами слова в рот вкладывали. Звериные и птичьи языки дались ему едва ль не легче. На коне держался лучше степняка, в воде плавал, как угорь, а по земле бегал и прыгал скорее дикой кошки. Мог по семь дней не есть и по пять дней не пить и при этом махать мечом. Мечом махал покуда слабовато: молод был и надо было мясо на кости нарастить. И наконец, он рос Сильным и жадно перенимал у меня все, чем я был готов с ним поделиться. Года не прошло, как мы стали переговариваться мыслями.

Одно печалило меня. Не желал Алеша доискиваться до тайн глубоких, как я до них доискивался. Хотел он прожить жизнь смеясь, а не кручинясь, и уже сейчас смеялся так, как ни я, ни Микула, ни Вольга не смеялись никогда. День проедем — уж у него должно тело ломить, а он шепотом:

— Учитель, я слетаю в деревню, а? Тут недалеко, к рассвету обратно буду!

И глаза горят. А в деревне какие дела-поделки? Известно: девки. Не запрещал я ему такого, только за нерадение днем спрашивал строго. Но он ветром умоется, разльбится — и готов скакать хоть три дня подряд. Одним словом, беспечен, но надежен. Заночуем в поле. Он:

— Я сейчас.

И через миг с птицей возвратится и тут же испечет. Я бы уж возиться не стал. И он так завел: я сплю вполглаза, а он вчетверть.

И учение ему все в такую радость, что аж светится весь. И на Востоке — привезу его к человеку знающему, а он его так расспросит, что тот только руками разведет и потом головой качает: «Ну и ученичка привез Святогор, лезет ниточкой, а черпает бочоночком».

И в Киеве тоже представление вышло. Смеялся Алеша за глаза над князем Владимиром: чванлив-де не по уму, а в глаза — без наглости, но и без лести. Сердился поначалу князь:

— Вот Илья приедет, с ним и потолковать приятно, а с Алешей этим твоим, что мне едва не во внуки годится, и говорить не хочу.

Но вышел случай один.

Чрезмерно много думал Владимир о сроке жизни своей, небывало долго жить хотел. Тот соболь кипрейный, котенок лесной и поганый, что ему Илья привез, сдох давно, а он с тех пор чего только не перепробовал. И вот зазвал он к себе Тугарина-ведуну с Востока.

Тугарин — ведун особый: Сила в нем большая, и меч у него в руке почти как у богатыря. Только не богатырь Тугарин, до денег жаден неимоверно и много у князя денег тех выманил.

Живет себе в Киеве и живет, и из казны таскает, как мурашка не маленькая. Надоело это князю, он однажды на пиру и говорит:

— Нету проку от снадобий твоих, Тугарин, а золото грести ты горазд. Завтра последний подарок тебе сделаю и ступай себе в степь свою.

Разозлился Тугарин:

— Уедет Тугарин — князь кончаться скоро будет. Так сделаю.

Оробели все. А Тугарин свое:

— Как выедет Тугарин в чисто поле, так скоро и князя понесут.

Сморщился Владимир от наглости такой, и денег ему жалко, но — стерпел. А Алеша не стерпел.

— Не выедет, — говорит, — Тугарин в чисто поле.

Встает из-за стола и меч достает.

Смеется Тугарин, зубы скалит, а сам Алешу Силой сковывает.

А Алеша повел плечом — и пала Сила та, как тряпка случайная. Понял Тугарин, что плоховато дело, и за меч схватился тоже. А Алеша подождал, покуда тот меч поднимет, да прыгнул и одним махом голову-то я снес.

Ахнули гости, ахнул Владимир.

А Алеша говорит, глазами одними смеясь:

— Не выедет теперь Тугарин никуда, а прикажи, князь, собакам собаку кинуть.

И величал Владимир Алешу, и прослезился, и сказал:

— Второго богатыря Святогор привел.

Усмехнулся Алеша:

— Второго, но не богатыря пока.

И я подтверждаю: «Верно говорит».

Покачал головой князь с изумлением:

— Хорошо, — говорит, — мое правление будет, коли это не богатырь еще!

И с тех пор все от Алеши сносил.

А я на Алешу смотрел и думал: скоро Святогора на покой отпустят.

И тут дошли до меня слухи: неладные дела творятся на могилах Вольги да Микулы.

Вольга своей смертью помер, когда его десятый десяток подпирать стал. Под конец уж отяжелел Вольга и все только по княжеским палатам разъезжал, и в каждом месте гостил долго, почивал, ел и пил сладко.

— Что ж такого, миленький, — скажет, — то я Русскую землю стерег, пусть теперь она меня побаюкает.

И в Полоцке, меда напившись хмельного под завязку, захрипел за столом, лицом в тарелку упал и помер не богатырской смертью.

Судили, рядили, где его на отдых вечный пристроить, да не долго думая схоронили в глубине леса, под дубом. А особая статья — богатырские могилы. Сильный решать должен, где хоронить и как, потому что уйдет богатырь, а Сила его сама собой гулять начать может. А не оказалось Сильного под рукой, а может, был, да нарочно подсказку нехорошую дал.

И поднимается в Полоцкой земле иногда ветер сладкий, медом пахнущий, и кто ветром тем надышится, у того кровь горлом пойдет, а коли над полем ветер тот пронесется — все колосья до последнего полягут. И тени какие-то по лесам заходили прельстительные. Старичками малыми, на Вольгу похожими, запрыгали, шуршат из-под елок, как зайцы: «Иди ко мне, миленький, награжу тебя». И Силой награждали невеликой. Но когда к человеку непривычному Сила приходит — как пьяный медведь он становится, и ничего, кроме горя, от Силы той не происходит. И еще говорили — появился в Полоцкой земле Змей, и дивно это было, потому что уж перевелись Змеи давно, только на Севере гнездятся, а тут вдруг рядом с человеческим обиталищем объявился, выползок.

Микулу сама Рада схоронила. А Рада, как говорил я уже, поляницей была, девицей-

богатырем, то есть и Силу имела великую. Не мстила она мне за Микулу, сдержала ярость свою, потому что задолго знала: так будет. Женщинам будущее скорее открывается, нежели мужескому полу. Мстить не стала, тут умна была, а вот с похоронами нехорошую вещь сделала. Привезли ей Микулу зимой, во льду как живой лежит. Упала она на глыбу эту и замерла. А потом поднялась, глаза отерла и велела в Ладоге-озере прорубь рубить. Испугались люди, хоть и не больно сведущи были, но не слыхивали про такое — чтоб покойника людской волей в воду бросали. Когда сам утоп — и то плохо, что не в земле лежит, а уж тут вовсе скверно выйдет.

Но не ослушаешься поленицу, и вырубил прорубь, и поцеловала Рада ледяной гроб, и Микулу своими руками под воду опустила.

Понятно, почему так сделала. Тот, что не в земле лежит, призраком ходить долго будет. Обратном может становиться или просто так — тенью тоскливой, которая к несчастью большому. А не хотела Рада Микулу на Смородинку отпускать. Подумала: покуда я жива буду, хочу Микулу на земле встречать, хоть тенью, хоть дуновением, хоть волком злым. При жизни бросил он меня, так уж после смерти моим какое-то время будет.

Не знаю уж, каким она Микулу встречала и какие дела у них промеж собой шли, но только по всему северному краю, до Новгорода до самого, бродил теперь Микула.

Станет мужик прорубь рубить — а во льду глаз выпученный и ус торчком стоит. И одна луна другую не сменит, как замерзнет мужик, как ни бережется, и снопом ледяным домой его привезут.

Рыба переводиться на Севере стала. Зато раков, на падали пухнувших, видимо-невидимо, и от раков тех болезни скоротечные, тяжелые и часто смертельные. Далеко Микула ходил, и не в одной Ладоге это было.

И по ночам, что зимой, что летом, шатается по Северу призрак тучный, хрипит и на людей замахивается, и многих рассудка лишил или горе какое накликал. А коли ребенок Микулу увидал — так прощайтесь с дитем, родители, не жилец он теперь.

Оборотни развелись, как жуки майские. Идет себе человек по лесу, а ему навстречу волчище громадный. Глаз человеческий и спрашивает языком понятным: «Куда попер, братик?» — и ну за горло, и никого не пропускает.

Вокруг Ладоги же вовсе спасу от Микулы не было, и уж три деревни на восток, за Белое озеро, бежали, дома бросив.

Богатыри были Вольга и Микула, но дичились они людей, а посмертно вовсе дики стали. И знал я: если не запечатать могилы их, расползтись может Сила остронюхая и не оберешься зла потом.

Сказал Алеше:

— Поедем, навестим могилки.

Смеется:

— Плакать едем?

— Мне-то слез на роду больше не написано, а вот ты еще не раз слезами умоешься.

Оторопел баловник Алеша:

— Сроду не плакал я, Учитель.

А я одно гну:

— Беспечность твоя до поры тебя от горя отводит, а не вечно тебе посмеиваться, и не выше других в слезах будешь.

Присмирел, задумался и дорогой тих был.

Сначала в Полоцкую землю поехали. И ближе, и меньше беспутничал Вольги призрак, легче с ним справиться.

Добрались до дуба этого злосчастливого, под которым Вольгу схоронили. Посмотрели — я кракнул, Алеша присвистнул.

— Ты не свисти, — говорю, — а скажи, что видишь?

— А чего тут видеть-то? У дуба своя Сила, и испокон века вокруг него леший здешний колготился. Вольгу твоего закопали на пять вершков в землю, а богатырская могила — в

рост. Головой он на север лежит, и вовсе чепуха это, так и мужиков не хоронят. И лес этот нехорош. По полнолуниям, даже в сушь самую, туман под дубом собираться должен, а что тогда здесь делается, и знать не хочу. С умыслом Вольгу здесь положили. Опытный человек клал.

— Так, — соглашаюсь. — Ну а делать-то что надо?

— Этого не знаю. Не научил ты меня.

— Ну, а коли б не было Свято гора, делал бы что?

Подумал Алеша:

— Дождался бы зимнего солнцеворота, когда спит Сила почти вся, выкопал бы, в осиновую рощу оттащил, осиною бы на богатырский рост могилу выложил, лицом на восток положил, травами подходящими присыпал — уж лучше было б.

— Что ж, — говорю, — будем зимы ждать?

Покраснел Алеша с досады. Но молчит.

— Ладно, — усмехаюсь. — Достань-ка мне старичка маленького, что зайцем из кустов верещит.

Нахмурился Алеша, но с коня слез и в лес пошел.

Неделю я его ждал. Беспокоиться не беспокоился, потому что мыслями перекидывались мы с ним, но любопытно мне было, достанет Алеша старичка или не достанет.

Приходит ночью, смеется:

— Лучше бы ты меня, Учитель, за жар-птицей послал. Норовист старичок твой и лукав, собака.

А у самого в мешке бултыхается что-то. Изумился я:

— Как же ты несешь-то его?

Но умен Алеша:

— Лозой скрутил, а хмельную лозу мы с тобой прошлой осенью собрали.

И действительно — собирали прошлой осенью хмель, а если хмель во время верное и со словами умными собрать, им кого хошь скрутить можно и прочней всякой веревки будет.

А поймал он старичка вот как. Забрался в чащу, да и ну вслух богов всех поминать и Силы у них просить: девку приворожить. Шесть дней причитал Алеша: недоверчив старичок был. Прятал Алеша свою Силу, а все ж таки сомнителен он старичку казался. Наконец, на седьмой вечер выпрыгнул старичок зайчиком: убедил его Алеша пылкостью своей. Алеша — баловник тот еще, и про девок с убеждением говорит. И сидит старичок махонький и улыбается приятно.

— Поди ко мне, миленький, — говорит, — дам тебе, что просишь.

— Как же это получится-то? — Алеша сомневается.

— А вот в рот тебе ягодку положу малиновую, ты ее скушаешь, и все тебе будет.

Подскакал старичок к Алеше, тот на землю прилег; старичок только лапку с ягодкой протянул дрожащую, а Алеша ему в глаза серебряной пылью пустил — оборотень старичок был, а первое это на оборотня средство. Взвизгнул старичок, в зайца вмиг обратившись, и деру задать хотел, но стукнул его Алеша кулаком по лбу, и грохнулся заяц замертво. А уж дальше хмелем скрутил и ко мне понес.

— Где ж ты, — говорю, — пыль серебряную достал?

Не давал я тебе с собой такого.

— А я, — отвечает, — пока плакал, от скуки перстенок свой памятный, подарок подружки одной, сточил.

Развязал я мешок — на зайца этого посмотреть надо. Чудной заяц, в самом деле: глаз у него зеленый, хвоста нет, а на морде — борода седенькая. Смотрит злобно и все старается пыль серебряную выморгать.

Отнесли мы его на Вольгину могилу, а заяц все уж чувствует, верещит, и по лесу стон в тишине предрассветной — не заячий вовсе стон, и деревья без ветра, сами собой, шевелиться начали. Отточил я кол осиновый да зайцу в сердце и воткнул. Взвизгнул он, и могила Вольги

дрогнула. «Пора», — подумал я и заговорил заветные слова.

Тут забормотала земля, зашевелилась, как будто зверь огромный заворочался в ней, и стала лопаться, и трескаться, и оседать с гулом. Это поворачивался лицом на восток и уходил глубоко в землю мертвый Вольга.

Когда все стихло, я поглядел на Алешу. Он был бледен и все смотрел себе под ноги. И вдруг мы услышали низкий протяжный крик в небе, исполненный тоски и зла. Алеша схватил меня за руку.

Почти скребя брюхом о сосны, на север улетал Змей; его морщинистые перепончатые крылья в багровых лучах восхода казались необъятными, когтистые огромные лапы поджаты, длинная шея втянулась в плечи, и на нас косился огромный агатовый глаз, в котором плясала красная искра...

Алеша стал метать стрелы, но Змей быстро унесся прочь, да и невероятное везение надобно, чтобы поразить Змея стрелой.

А потом утро стало спокойным, и Алеша тихонько щипал себя за руку — не приснилось ли ему все это: заяц с зеленым глазом, ворочающийся в земле мертвый Вольга и плывущий на север страшный нетопырь.

— Поедем, — сказал я, отирая пот. — Микула потруднее будет.

Никто не помнил точно, в каком месте Рада приказала опустить ледяной гроб в воду. Самой ее к тому времени давно уже не было на свете. Где была ее могила, тоже никто не знал. Мужики говорили, что она не умерла, а скрылась от людей и живет теперь у Дышащего моря и правит Алатырем-камнем. Но это было неправдой; я чувствовал, что Рады больше нет на земле.

Плохо было у Ладоги. Всю осень бушевали штормы. Туман напал и там, где ему и быть-то не полагалось. Какой-то тяжелой тоской веяло кругом. Я-то отлично знал, что это за тоска: это шатался по земле неприкаянный Микула.

Мы долго бродили вокруг Ладоги. Подходили и так и сяк к бывшему Радиному жилищу и пилились в воду; но тоска была разлита кругом, а не со дна шла. Это было и понятно: ничего уже не осталось от тела Микулы, а твари, сожравшие его, и твари, сожравшие тех тварей, были повсюду. Водяной потерял рассудок и баламутил воду, невыносимо страдая от ядовитой Силы, которая отравила огромное озеро, и ни на какие вопросы не отвечал. Русалки попрятались. Лешие в окрестных лесах уже не были хозяевами, и я несколько раз слышал, как они вздыхали в чаще. Берегини по вечерам плакали тоненькими голосами вдали.

Оборотни нам не попадались. Я звал Микулу и, накликая на себя беду, дразнил его обидными словами про него и про Раду. Но Микула стерегся и к нам не выходил.

Мы договорились разойтись на семь дней; может, Микула решит справиться с нами поодиночке. Микула был великий богатырь, но мертвый он был под силу Алеше, если б тот его встретил. Я был уверен в этом.

Ветер ревел в лесах; ледяная крупа крушила все живое; зверье тихо поскуливало, не понимая, за что на него обрушилась такая напасть. За семь дней я не нашел ничего и никого, затосковал и ждал встречи с Алешей.

Он выехал из леса румяный, веселый, и я сразу понял, что он едва скрывает торжество.

— Старому тоска, как гробовая доска, а молодому тоска, как хлеба полкуса, — сказал я ему. — Что нашел?

— Радину могилу, — сказал он.

Я не поверил.

— Радину могилу, — настаивал он.

Он плутал по лесам так же, как и я. Но в отличие от меня он был веселый озорной юнец, и у него был нюх на любовь.

— Не могу описать, Учитель, — говорил он, сверкая смородиновыми глазами, — но только пахло на меня любовью. Что за притча, думаю? Белки третий год врозь живут, а тут — тянет, как из сада вишневого! И по запаху-то этому и выехал я на поляну. А там валуны

горой лежат. Заглянул в развал — там косточки белеют, а пахнет словно свадьбой. Рада это, точно говорю.

Эх, Рада, Рада, и ты на Смородинку идти не захотела: мол, что после Смородинки будет, того никто не знает, а так хоть тенью с милым дружкой по земле поверчусь. Озлился я на нее и обругал, а Алеша усмехнулся так странно и говорит, потупившись:

— Любовь Рада крутит. А когда любовь крутится, мир остатный замирает.

Раскрыл я было рот, чтобы укорить: мол, умничаешь не по годам, а потом едва стон сдержал. Я, Святогор, всю жизнь на дорогу положил, обо всем сужу, а и не любил никогда. А вот Алеша, который полки не останавливает, особое зрение на любовь имеет. И только покачал я головой, но жалеть себя не стал: полна жизнь моя была, а то, что не любовной ложкой ее наливали, так за то с богов спросу нет.

А Алеше сказал:

— Полнолуния ждать надо. Увидим их.

Схоронились мы задолго в лесу. Ледяная крупа все валит с неба, все валит, и промозгло, и плохо кругом. Что, думаю, увидишь в такую пору? И вдруг, как по слову чьему-то строгому, смолк ветер, и небо очистилось, и луна выкатилась белая. И показалась у валунов тень — волк огромный, небывалый. А ему навстречу, из камней, лисица вышла и о его загривок тереться стала, и играть они принялись.

Были уж серебряные наконечники у нас заговоренные, но сидим, на игру волка да лисицы смотрим — и ни Алеша не выстрелил, ни я. Знаем, надо стрелять, всю округу уж извели поганые, а взглянешь, как играют, — и рука не поднимается.

Всю ночь до рассвета проиграли Микула с Радой, а потом она в камни ушла, а он в лес. Да, уходя, обернулся и завыл так тоскливо, и морду задрал, и в ярости снег шкрябал.

Переглянулись мы с Алешей: без слов все ясно, дураки мы, да не поднялась рука, что ж теперь делать.

— Ладно, — говорю, — с костями легче, чем с животинами игручими.

Бледнеет Алеша, понимает, к чему я клоню, но ни слова не возражает.

Пошли мы к валунам. Снег кругом чистый, следов на нем нету — какие от оборотня следы-то.

— Ты, — говорю, — молодой. Сам похороню.

Из-под камней косточки достал, головой покачал:

— Что ж, — говорю, — Рада, и во второй раз прости меня. Красивая, видно, у вас любовь, да только всем кругом от нее тошно.

И слышу — вихрь по лесу мчится. Только обернулся — вижу, вылетает на поляну Микула-волк и прыжком прямо Алеше к горлу. Еле увернулся Алеша, да еще меня загораживает, мечом отмахивается. А Микуле-волку меч что хворостина: серебряной стрелой надо, да не развернешься тут, а Микула-волк обезумел — Радую свою от смерти отбивает! Полосует его Алеша по горлу, а как по тени. бьет. А я стою над Радиными костями и своей стрелы не достаю.

Стал Алеша кричать слова страшные, и заскулил Микула-волк и отскочил на мгновение, а тут Алеша стрелу выхватил и, как копьем, — в сердце ему.

Долго мы с Алешей могилу рыли — на богатыря да на поленицу, и чтоб не метались они, а хоть в земле вместе покойно были; Смородинка-то еще что про них рассудит, как знать! И травы Сильные бросили, и опустили на дно волка серого и косточки Радины беленькие: спите.

Закопали могилу, присели на валуны. Алеша бледный и не смеется совсем. Говорю:

— Дальше сам езжай.

— Рано еще, Учитель!

— Какое рано. Видишь, ты любовь почуять можешь, а я не могу. А что со мной не добрал — в дороге доберешь.

Сжал зубы Алеша. Сидит, не встает.

— Езжай, — говорю, — первый. Так оно легче будет.

Он молчит. Потом спрашивает:

— Учитель, а что ты в Микулу-волка не стрелял, когда он мне горло грыз?

Вздыхнул я, глаза отвел и сказал:

— Не такой уж был волк Микула, чтоб мне его второй раз убивать.

Вот уж три года живу я в Карпатских горах и на зимний солнцеворот разменяю последний, десятый, десяток. Вот уж три года я пытаюсь говорить с Упирью и даже — страшно сказать — с самой Згою. Я хочу навеки запечатать Кащея. Я намерен сделать это одной лишь Силой. Я отправил своего коня доживать век без меня — отправил с Алешей, когда он в последний раз заезжал ко мне. Конь был соблазном уехать.

Мне кажется, все идет на лад. Я обустроил местных берегинь, и одна показалась мне небывалой, сиреневой, дикой розой. Я встречаю мелких золотых змеек — их посылает мне Упирь. Даже мой отец — Дажьбог, который, как я думал, давно забыл про меня, однажды взметнул над горой зеленый луч. Боги снова помогают мне.

Издали видел Велеса. Он шел со стадом оленей. Они лизали ему руки. Он остановился и долго молча смотрел на меня, а потом скрылся в чаще.

Теперь я знаю очень многое. Я знаю, что и помимо Смородинки есть дверца в мир иной. Нужно открыть ее Силой и добить врага.

Что таиться: я намерен сделать это завтра, на середине лета. Все знают, что это колдовская ночь.

Потом нужно будет сказать Алеше и Илье, что Молодой Волхв, которого я много лет назад упустил в Белой башне, стал очень Силен и опасен. Даже им будет непросто справиться с ним. Может быть, я попрошу Алешу пригнать мне моего коня.

Завтра вечером я уйду в открывшуюся мне дверь. Упирь, помоги мне. Но я спокоен. На этот раз Святогор победит.

...Алеша! Илья!..

...пропал. Я поверил Зге. Меня нужно проклясть. Она хочет уничтожить все. Даже Мокошь. Я был нужен Зге. Я должен был открыть дверь в ее мертвящий мир. Я был там и все видел. Я сделал все, как надо. Но я не смог притворить дверь. Она теперь приоткрыта, и на всю Русскую землю наползает трупный чад. Я, Святогор, в своем самомнении погубил все.

Добрыня

Агрр...агрр...агрр...» — трижды прокричала в вечерней холодящей мгле птица феникс в отрогах Кунлуня; на скалах Тянь-Шаня клекотнул ястреб, наставив красный глаз на восток; в песках Гоби, потирая спину о стены занесенного пустынным прахом святилища, завозилась, заерзала гюрза; в дельте Волги зашлась в тревоге цапля; в степях Таврии поднялся ветер, засвистал в ковыле; в Муромских лесах монотонно завелась кукушка; «пок-пок-пок» — посыпались желуди под лапой потревоженного Змея в Полесье; все слышу.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Об Илье болтают теперь много всякого вздора. Говорят, например, что Илья в одиночку сокрушил Идолище Поганое (а что это было за Идолище, толком уже и не помнят), что от Ильи на карачках убегал сам князь Владимир Красно Солнышко со княгиней (это Владимир-то, перед которым Илья шапку ломал идохнуть лишний раз боялся), что Илья победил и пленил злодея Соловья-Разбойника (пленил-то Илья его пленил, но я еще расскажу о Соловье, и станет видно, что невелика доблесть победить и вообще обидеть такую несчастную тварь), что Илья верховодил среди богатырей, а нас с Алешей держал

всегда за молодых — да мало ли какого вздора напридумано вокруг Ильи! К тому же Илья сам приложил руку к легендам об Илье: он подбирал пьянчужек песняров, поил их, кормил, рассказывал о себе всякие небылицы; а потом те разносили эти небылицы по градам и весям как самые настоящие былины.

Вот и получилось, что Илья — могучий, рассудительный богатырь, главная надежда и опора земли Русской, эдакий дедушка-великан, патриарх, мудрец, а все остальные, даже великий князь киевский — какие-то недотыки, полудурки, спесивая нежить.

Я знал Илью преотлично: совсем молодым человеком я пространствовал с ним четыре года и многому научился у него; а недостатки Учителя видны ученику лучше, чем кому бы то ни было. Потом наши дороги часто пересекались; в нескольких подвигах мы были соратниками. Да и теперь я иногда вижусь с Ильей — уже очень старым, вросшим в землю, как старое дерево, слабым, но все так же жадно цепляющимся за призрачную мирскую славу.

В годы же зрелости Илья был непоседливый хитрый буян, пьяница к тому же. Я благодарен ему за науку, но дело в том, что Илья учил меня не только хорошим, но и дурным советом, поэтому надо, чтобы те, кто решит вступить на нашу стезю, знали об Илье — как, впрочем, и обо всем другом — правду. Я еще вернусь к Илье в своем рассказе, но теперь скажу об одном — как Илья победил Соловья-Разбойника, кто такой был Соловей и что вообще из этого всего вышло.

Как известно, на восход от Киева тянутся бескрайние Черниговские леса, большей частью дубравы. Дубы стоят в три обхвата, в густолапистой кольчуге листьев, со звонкими крупными желудями, по колено в траве. Не посоветую, впрочем, путнику обольщаться насчет Черниговской дороги. Густая дубрава, конечно, не производит на душу такого гнетущего впечатления, как тесный еловый лес или путаное болотистое мелколесье. Но не за душу здесь надо опасаться путнику, а за грешное свое тело. По дубравам рыщут вопреки огромных размеров с клыками, превосходящими величиною мой большой палец. Немало в этих сухих благодатных местах и разбойничков, прячущихся в глубине леса и неожиданно возникающих с кистенями на дороге, когда слышат стук копыт или посоха. У черниговских разбойников нет обычая отпускать жертву на волю; ограбленный остается лежать на сырой земле, покуда его не сожрут те же вопреки или — лучший удел — если его не похоронит сердобольный отряд христиан, без опаски и спешки едущий в Киев. А одинокий путник, увидев покойника, побледнев, перекрестится, помянет Николу — покровителя странствующих, или прошепчет имя Перуна и лесной мышью поспешит дальше.

В Черниговских же лесах до последнего времени часто гостевал и Змей, и знающие люди, завидев мерцающее красноватое зарево над дорогой, бежали стремглав в самую чащу и сидели там, пока не смолкали сопение, рев и хлопанье крыльев; а незнающие часто попадались, и я не припомню ни единого случая, когда бы Змей побрезговал человечинкой.

Черниговские леса — не худшее место на Русской земле, но уж и не самое безопасное.

Когда я впервые услышал про Соловья-Разбойника, мне было двадцать шесть лет, и я уже давно странствовал в одиночку. Под Любечем мне встретился купец. Купцы вечно рассказывали богатырям всякие разности, и от них скорее, чем от кого бы то ни было, узнаешь, что делается на земле Русской.

— Куда путь держишь, Добрыня?

— В Киев, купец.

— Тебе бы лучше съездить в Чернигов, Добрыня...

— В Чернигов? Разве великий князь в Чернигове или Степь двинулась на Чернигов?

— Ты не слыхал о Соловье-Разбойнике?

— Соловей-Разбойник? А кто это?

— Слушай. Меня зовут Петр Гончар, я из Мурома.

Прошлым месяцем ехал я из Чернигова в Киев...

Он ехал осторожно, от одного постоялого двора до другого, а если постоянных дворов не было, то с сумерками уходил в лес. Вообще он был не робкого десятка, если отважился ехать по Черниговской дороге один.

На середине пути это и случилось. Дорога — скажу для тех, кто не знает, — идет большей частью прямо под дубами, редко выходя на открытое место. Проложили ее давно, и над просекой успели сомкнуться деревья. И вот Петр Гончар, проезжая под дубами, внезапно был оглушен невероятной силы свистом. Свист, казалось, шел со всех сторон, как будто засвистала вся округа. Лошадь обезумела, рванулась в лес; свист не умолкал; у Петра от этого свиста разрывалась голова; он "упал с лошади, зажал уши и, не разбирая дороги, понесся прочь; обернувшись, он увидел, как с дубов на лошадь свалился огромный, величиной с человека, мохнатый паук и впился ей в шею. Гончар бежал по лесу, ветки рассекали ему лицо; свист затихал позади, но Петр все бежал, пока не рухнул без памяти.

Когда он дополз до ближайшей деревеньки — а называлась она Свапуще, — крестьяне сказали ему, что в лесу завелся Соловей-Разбойник, невиданное чудище, которое грабит и убивает проезжающих. Петр дождался большого обоза и вернулся в Чернигов, но, когда проезжал проклятое место, ничего страшного не увидел и не услышал, зато напугал своими рассказами весь обоз так, что до самого Чернигова все были тише воды ниже травы.

Я немедленно повернул на Чернигов. По дороге рассказы о Соловье-Разбойнике множились. Пятерых встречных купцов он напугал и ограбил, человек двадцать клялись, что их родня или друзья были убиты проклятым Соловьем. Говорили, что иногда он начинает свистать как настоящий соловей, заманивает доверчивого разиню, а стоит тому приблизиться — бросается на него сверху и душит. Поэтому стоило кому-нибудь заслышать на Черниговской дороге соловьиную трель, как путник тут же поворачивал обратно и ждал большого обоза: выяснилось, что Соловей-Разбойник никогда не нападает на обозы из десяти и больше коней. В Черниговских лесах открылась охота на соловьев. Птах убивали, как ядовитых гадюк, но Соловей-Разбойник от этого не исчез.

Все видевшие его сходились на том, что на птицу он не похож — а похож на громадного, в человеческий рост, а то и больше, мохнатого паука. Еще все сходились на том, что чаще всего паук нападал неподалеку от деревеньки Свапуще, где, возможно, и имел логово.

Так доехал я до самых соловьиных мест. Была середина мая, и дни стояли длинные, что очень не нравилось моему коню, — я ехал, не давая ему отдыха, потому что слухи доходили до меня все тревожнее: Черниговская дорога пустела. За день пути до Свапуща я заткнул коню уши паклей, а когда оставалось полдня пути — заткнул и себе. Ничто не доносилось до меня извне, я спокойно покачивался в седле под жарким солнышком, вдыхая запахи разнотравья и думая о Соловье-Разбойнике.

Надо сказать, что за те три дня, что я ехал по Черниговской дороге, я не встретил ни души: даже разбойнички и те, как я слышал, разбежались.

Свапуще открывалось путнику внезапно. Так было и на этот раз. Ошеломленный, я остановил коня. Передо мной лежало свежее пепелище. Дым еще курился там, где стояли недавно избы. Я подъехал поближе, и картина страшного разбоя открылась мне. На земле лежали полуобугленные трупы. Ни собаки, ни кошки — никого. Я объехал всю вырубку, где стояла деревня. Все жертвы были мертвы, некому было помочь, и некого было спросить. Я освободил на мгновение уши — нет, ни стоны, ни крика, ни шороха.

Пришпорив коня, я выехал на дорогу. Неподалеку от сгоревшей деревни, в ольшанике, оставил копье, щит и шлем, закутался в плащ, чтобы скрыть от глаз меч, сгорбился и пустил коня по Черниговской дороге.

Время тянулось мучительно долго, пока я не услышал свист. Не уверен, что не будь у меня пакли в ушах, я бы не пришпорил своего коня. Это был зловеющий громовой свист, который, казалось, несся со всех сторон, был страшнее грома и пронизывал самое сердце. Конь подо мною дрожал. Я отпустил поводья и прижался к его шее. Конь понес в чащу. Краем глаза я видел, как вслед за нами с ветки на ветку стремительно передвигается большая черная тень...

Я закружил коня на месте, и тень бросилась вниз; мечом я отбил ее на землю и сам прыгнул вниз. Раздался крик.

Передо мной на траве корчился от боли молодой горбун с уродливым лицом. Я приставил к его горлу меч:

— Не шевелись, упырь!

На меня смотрели полные страха и боли синие глаза. Я с облегчением перевел дух. Этот Соловей не znalся с нечистью.

— Вставай, ублюдок!

Постанывая и с опаской посматривая на меня, он поднялся.

Он скинул широкий черный плащ и остался в плохо сидящем на нем боярском платье. Это был юноша лет семнадцати; горбатый, примерно по плечо мне ростом; с очень уродливым лицом — длинной челюстью, вывернутыми губами и крохотным носиком; очень худой и гибкий, как куница: проворство сквозило в каждом его движении. Из левой руки сочилась кровь, он с опаской поглядывал на рану, поскуливал и морщился.

— Стой на месте. Вздумаешь убежать — прикончу.

Я разыскал в кустах своего коня, достал из сумы тряпицу, сушеной травы и перевязал ему рану; она, впрочем, была неглубока.

— Так это ты — Соловей-Разбойник?

Он что-то отвечал — я не расслышал. «Пакля», — вспомнил я и вытащил ее из ушей. Он с изумлением смотрел на меня.

— Повтори, что ты сказал.

— Так меня называют...

— А сам ты как себя называешь?

— Радко...

— Веди меня к матери.

У него задрожали губы.

— Откуда... ты знаешь, Добрыня?

— А откуда ты знаешь мое имя?

— Тебя знают все...

— Ну так вот, а ты, когда падал, закричал «мама». Даже сквозь паклю я расслышал это.

Он повалился мне в ноги:

— Не трогай ее...

— Не трону, кто бы она ни была... Вперед, упырь!

И он, всхлипывая, повел меня. По дороге он немного успокоился, и по тому, как он оглядывался на меня, я понял, что какой-то вопрос вертится у него на языке.

— Спрашивай.

— Откуда ты... знал, Добрыня?

— Что ты не паук и не чудовище? Это было просто. Никто никогда не видел человека, убитого Соловьем-Разбойником, — раз. Два: ты нападаешь только на маленькие обозы, а чаще всего — на одиноких путников. Три: ты нападаешь обычно здесь, значит — у тебя есть дом... Ты видел, что сделали со Свапущем?

— Это не я, Добрыня!

— Я знаю, что это не ты. Это сделали соседские крестьяне — они думали, что ты укрываешься в Свапуще. Так?

— Это — страх... Там лежат трупы...

— Да, там лежат трупы. И хотя не ты их убил, твоя вина здесь тоже есть. Ты навел людей на черные мысли. Это тебе зачтется.

— Где... зачтется?

— Везде. И на земле, и на Небе.

Он умолк.

Мы вышли в низину, где журчал ручей. Радко юркнул в кусты и вывел меня на поляну; там темнела грубая изба. В дверях стояла женщина.

Увидев меня, она было завывала, но тут же зажала рот рукой.

— Я привел тебе твоего сына. Помни: я еще не завершил свой суд, а потому

рассказывай все, как было.

Она закивала, заметалась по поляне, громким шепотом рассказывая мне их историю.

Радко родился горбатым и уродливым. Дети дразнили его, взрослые хотели убить — боялись, что вырастет в колдуна. Тогда его мать, Наина, унесла его в лес. Он рос совершенно один и людей видел только с обочины дороги, из кустов. Его дар открылся в детстве, как только он начал ходить. От свиста лесные твари теряли рассудок; их можно было ловить и есть. Когда Радко вырос, он все дни пропадал подле дороги, разглядывая обозы и путников. Зависть и злоба поднимались в нем. Однажды он принес домой тюк с одеждой. Наина заклинала его не ходить туда, но с Радко ничего нельзя было поделать.

— Я знала, что это плохо кончится. Он мог попасть не на тебя, Добрыня.

— Да, он мог попасть не на меня. Ты видела, что сделали со Свапущем?

В ее глазах зажглась ненависть.

— Они травили убогого... Перун наказал их...

— Их наказал не Перун, а Радко.

— Перун справедлив, — сжала она губы. Помолчав, она спросила: — И какой же твой суд, Добрыня?

— Я голоден, Наина, — сказал я просто. — Накорми меня.

Она накормила меня медом и лепешками. В избе по стенам были развешаны ковры, оружие, парадное платье, на гнилых досках стояла драгоценная заморская посуда. Радко забился в угол и оттуда глядел на меня горящими глазами, и я поймал себя на мысли, что он ничем не отличается от своих сверстников, когда они с обожанием глядят на проезжего богатыря. А Радко к тому же в отличие от них был убог и умел только и всего, что лазить по дубам, как куница, и свистеть, как соловей. Что ему предстояло в жизни — Бог весть.

— Радко, выйди... — Я смотрел в глаза Наине и чувствовал в них не только страх, но и Силу. Да, она была из тех. — Наина. Ты умеешь ворожить. Ты знаешь травы, Ты умеешь говорить со зверями. Она выпрямилась:

— Да, Добрыня.

— Ты не умела этого от рождения. Тебя этому научили.

Она молчала.

— Это сделал тот, от кого ты родила Радко. Кто он был?

Она смотрела на меня с одним уже только страхом.

— Вы в моих руках — ты и твой сын. От кого ты родила Радко?

Она молчала. Это было то, чего я больше всего боялся. «Вот, — подумал я с отчаянием, — опять он».

— Это был... Волхв?

Она вскрикнула и невольно обернулась.

— Его здесь нет. Я бы это чувствовал.

— Я бы это тоже чувствовала, Добрыня... Уж кто-кто бы это чувствовал, так это я... Да, я родила от Волхва.

Он останавливался в Свапуще под именем Марко-странника восемнадцать лет назад. Он научил ее всему этому — и ворожить, и знать травы, и говорить со зверями, а взамен этого взял ее и жил с нею тайно.

Теперь мне оставалось одно, самое страшное. Если Волхв знает про сына, то Радко не должен остаться жить.

— Он знает про Радко?

— Клянусь — нет. Клянусь. Я знаю, о чем ты думаешь.

— Так не обманываешь ли ты меня? Волхв не знал, что ты зачала от него? Я этому не поверю.

— Знал. Но когда он приезжал в Свапуще потом, нас там уже не было, и все думали, что я утопилась вместе с Радко. Я оставила одежду около речки...

— Ты думаешь, ты обманула Волхва?

— Он забыл про нас. Если бы он захотел...

Да, если бы захотел, Волхв нашел бы их. И может, и найдет, когда будет собирать рассеянных им по Русской земле Волхвовых детей. Но сегодня он о них не знал. И поэтому я не мог убить Радко, хотя не было у Русской земли врага злее, чем Волхв.

— Радко! — позвал я.

Он приковылял. Бледный, поддерживая раненую руку.

— Вот тебе мой приговор. Живи здесь, как жил. Слушайся мать. Слушайся! — Я постарался, чтобы голос мой зазвенел не хуже его свиста. — На дорогу ходи редко, в семь дней раз. Нападай только на тех, за кем добро тащат слуги. Если услышу, что ты пошел против меня, — вспомню про Свапуще и вернусь.

— А если... ведь Свапуще припишут мне... если ты услышишь обо мне ложь...

— Не болтай! — прикрикнула Наина. — Добрыня поймет.

— Прощай, Радко.

— Прощай, Добрыня.

— Наина, проводи меня.

Мы отошли немного от крыльца.

— Ты понимаешь, что сегодня я подарил вам жизнь.

— Да, Добрыня.

— Я подарил Радко не просто жизнь, но ту жизнь, которую он любит. Он останется Словьем.

— Да, Добрыня.

— За это я прошу одного. За жизнь сына ты можешь обещать мне это.

Она поняла, прежде чем я сказал.

— Если появится Волхв... дай мне знать.

— Я твой слуга до конца дней, Добрыня. Если я смогу, я отплачу тебе.

— Ладно. Радко! — Он с готовностью выскочил из избы. — А ну, свистни!

— Вполсилы! — вставила Наина.

И Радко свистнул... Я присел и вжал голову в плечи; издали ржанием отозвался мне мой стреноженный конь; листья заволновались, посыпались с деревьев. Наина что-то выговаривала Радко. Он стоял, широко улыбаясь. Я помахал им рукою и пошел прочь.

По дороге я с печалью думал о Радко. Пока он очень молод, такая жизнь неплоха. Но когда он войдет в возраст, жить изгоем окажется невыносимо. Что он будет делать тогда? И не появится ли к тому времени его отец, Волхв? Пока я не знал на это ответа.

Я направился в Киев. В Киеве первым человеком, которого я встретил, был Илья. И первое, что он меня спросил, было:

— Ты не слыхал о Словье-Разбойнике, Добрыня?

Я рассказал ему, что Словей-Разбойник — это несчастный юноша-горбун, который никогда не нападет ни на богатыря, ни даже на большой обоз и что от него очень просто спастись, заткнув паклей уши.

И что, вы думаете, сделал Илья? Он сел на своего гигантского жеребца, заткнул свои поросшие седым волосом уши паклей (прямо выезжая из Киева, на всякий случай!) и направился по Черниговской дороге. Одно радует мое сердце — долго он ездил по ней взад-вперед. Первое время Радко был осторожен. А потом, обманутый грузной фигурой Ильи и, видно, соблазнившись роскошным плащом, который этот старый хитрец распустил, как павлин, засвистел...

Илья скрутил его и привез в Киев к великому князю — на потеху. Когда я услышал это, кровь закипела в моих жилах, и я был готов пристукнуть негодного старика. Я помчался в Киев.

Радко сидел в подземелье дворца. Илья сам ходил за ним, никому не позволяя приближаться к клетке ближе чем на десять шагов.

Радко было не узнать. Лицо вымазано черным, к волосам привязана черная лохматая пакля, к плащу приклеена какая-то лесная дрянь...

Илья ухаживал за ним, как за ручным медведем.

— Эх, Илья, — сказал я ему с горечью, — ты превратился в старого скомороха.

В глазах Ильи засверкали былые молнии.

— Молод ты, Добрыня, меня учить, — сказал он, как говорил всегда, когда не знал, что сказать...

Клетку с Радко вытаскивали на крыльцо княжеского дворца, и оттуда Радко свистал в третью силу — по строгому наказу Ильи, который грозился отрезать ему губы.

У меня так и чесался язык сказать Илье, что он шутит с сыном Волхва, но я остерегся: Бог знает, что бы сделал Илья после этого и куда бы его завела своекорыстная жилка его натуры.

Я же не знал сна в эти дни. Конечно, я чувствовал себя ответственным за Радко; ведь я как-никак решил его судьбу, позволив ему остаться Соловьем-Разбойником; вместе с его судьбой я решил и судьбу Наины, его матери.

Но было здесь и кое-что другое, от чего я покрывался холодным потом по ночам. Вдруг Волхв или его несчетные глаза и уши узнают Радко? Сажка на лице да черный плащ — слабая защита от глаз Волхва. Чем дольше я думал, тем больше мне казалось, что Волхв обязательно появится в Киеве сам. Он всегда старался самолично сделать смотр всей новоявленной нечисти. Я понял, что медлить больше нельзя.

Вход в подземелье сторожили двое. Справиться с ними я бы мог без труда. Но мне не хотелось, чтобы с освобождением Радко связывали мое имя. Ни к чему было навлекать на себя гнев князя Владимира, а еще более ни к чему было давать Волхву направляющую нить. Поэтому днем, при полном многолюдстве, я выехал из Киева.

На следующую ночь я был у княжеского дворца. Я прошел туда подземным ходом от Днепра. У подземелья я оглушил стражей, сбил замок и шагнул в темноту со свечным огарком в руке.

Я знал, что подземелья никогда не пустовали, но был все же поражен числом несчастных, томившихся в клетках. Завидев меня (но не узнав — я был закутан в плащ), они заволновались, бросились к прутьям и подняли страшный шум. Чтобы отпугнуть их, я крикнул:

— Соловей, свисти!

Радко услышал меня и свистнул — в полный голос... Меня сшибло с ног. Несчастные тоже попадали и со стонами расползлись по темным углам. Пошатываясь, я бросился в дальний конец подземелья, где стояла клетка с Радко.

Раздвинуть путь было не слишком трудно, тем более что Радко не требовалось большого проема. Я поднял его на руки и выбежал вон.

Шум в подвале и, главное, свист Радко подняли дворец на ноги. Кто-то уже бежал с факелами к подземелью. Я прокрался, как тать, к подземному ходу, впихнул в него Радко и, прикрыв за собой дверь, задышавшись, сказал:

— Беги вперед, здесь тесно, я не смогу нести тебя.

И мы побежали, вернее, поползли по тесному лазу.

Вскоре через плечо Радко я увидел мерцание звезд. Почуввав волю, Радко всхлипнул.

Мы спустились к реке. В камышах был спрятан мой челн. Когда я отгреб от берега, мы увидели множество факелов на стене дворца. Почувствовав, что мы уже в безопасности, я принялся корить Радко. В ответ на мои слова он съежился еще больше и пробормотал:

— У него был такой красивый плащ...

«Ребенок, — подумал я, — но опасный ребенок».

Потом мы ехали на моем коне по Черниговской дороге. Днем мы спали в лесу, а ночью осторожно продвигались дальше. К счастью, разбойники еще не вернулись в здешние места, и нас никто не потревожил.

Подъезжая к Свапуще, я перестал таиться и ехал вечером. Деревня лежала все так же — в пепле. С дороги мне были видны белеющие кости.

Внезапно от стены дубов отделилась женская фигура и с плачем бросилась к нам.

Радко спрыгнул с коня. Она обняла его... Потом стала целовать мое стремя. Я тронул

коня.

— Запомните: в следующий раз я уже не смогу помочь вам. Теперь, Радко, ты можешь выходить на дорогу один раз в целую луну. И запомни — твоя добыча — толстый, дрожащий от страха купец. Позаботься об этом, Наина.

Я прищиприл коня; когда я оглянулся, в лучах заката увидел две фигуры, прижавшиеся друг к другу, глядящие мне вслед.

Очень скоро до меня дошли киевские слухи. Не без удовольствия я услышал, что великий князь разгневался на Илью и даже на время посадил его в подземелье, где Илья и отсидел смирно, как старый ручной медведь. Не без удовольствия же я услышал слова князя, сказанные во гневе, что пока-де в Киеве был Добрыня, Соловей-Разбойник не отваживался на побег. Молва приписывала побег исключительно колдовству Соловья, о фигуре со свечным огарком, ворвавшейся в подвал, она не говорила ни слова.

Еще я узнал, что в эти дни Волхва видели далеко на Востоке, а следовательно, в Киеве он быть не мог. Мне оставалось только надеяться, что его не слишком заинтересуют глупые слухи.

Вот что это был за подвиг Ильи, вот что это был за Соловей-Разбойник, и вот чего мне стоила вся эта история.

Илья потом еще шастал по Черниговской дороге, но Радко был уже учен. Вообще слухи о нем постепенно отодвинулись в область преданий. Хотя некоторые и рассказывали, что после полнолуния Соловей все так же страшно свистит и бросается на купцов с дерев.

Я еще раз должен сказать, что Илья сделал много доброго в своей жизни. Он научил меня многому.

Однажды мы ехали с ним в Новгород, и Илья преподавал мне, как я считаю, великий урок. На обочине вересковой пустоши, во мху, нам попался крепкий крупный сатанинский гриб, который, как известно, так похож на белый.

— Сатанинский гриб! — сказал Илья.

Я только кивнул. Тут Илья, укоризненно кряхтя, слез со своего жеребца, вернулся к грибу и аккуратно сшиб его носком сапога. Потом он обернулся ко мне (я до сих пор помню его серьезное лицо) и сказал:

— Никогда, никогда не оставляй сатанинский гриб! Сбей его, чтобы он не попался несведущему.

Всю жизнь я следовал этому завету; и именно поэтому я и ввязался в историю с Соловьем-Разбойником, хотя там уже и был замешан постаревший Илья, который к старости сделался тщеславен, что так часто случается с богатырями.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Не знаю, где я сложу голову; видно, так мне на: роду написано, что смерть свою я встречу внезапно, незнамо где, когда сам буду всего меньше ее ожидать. Я немного умею ворожить; иногда меня посещает откровение; по молодости я пытал судьбу, желая знать, когда и как встречу свою кончину, но никогда не получал ответа; смотрел ли я в огонь или воду, я видел мечи, дороги, а потом — все заволакивалось, и конец мой оставался для меня по-прежнему темен. Еще когда я странствовал с Учителем, спрашивал его о том же; Учитель не хотел ворожить мне, хотя был силен в этом искусстве, хмурил брови, говорил: потерпи несколько лет, скоро это перестанет тебя интересовать (а ведь и в самом деле — годам к двадцати пяти перестало), но я настаивал, и однажды Учитель сдался, гадал по огню и по воде, а потом встал ошеломленный и сказал: «Знаешь, Добрыня, Он, видно, не хочет открывать это; ничего не вижу». Гадала и мать моя; я еще скажу об этом — она сильная ворожея, да тоже ничего не увидала. Она долго не хотела гадать: боялась, а однажды, когда я в бессчетный уже раз покидал дом, в отчаянии решилась — и тоже ничего не узнала, сказала только, что я закрою ей глаза, и успокоилась отчасти: имея сына-богатыря, всегда боялась, что переживет меня. Но как бы я ни окончил свои дни, хотелось бы, чтобы это случилось

там, где я появился на свет, хотя в жизни почти никогда не бывает так, как того хотят люди, воображающие, что их резоны что-то значат в сравнении с Его.

Я родился на севере Русской земли, в двух днях езды от Новгорода, в лесах, на берегу огромного озера. Теплый сухой сосновый бор, мягкий мох, слой хвои под ногами, плеск рыбы в воде — вот что я помню с детства; зим я не помню, может быть потому, что не люблю зиму.

Отчетливо помню, как я родился. Многих это удивляет, многие не верили мне, даже мать моя. Но когда я описал, что в момент моего появления на свет повитуха обронила чашу, — поверила. Помню, как на меня хлынул свет, помню чувство изумления и освобождения, помню нашу избу, которая казалась мне огромной, помню пучки трав, окошко, печь. А потом наступает провал в памяти, и я уже не помню, как рос, и помню себя в следующий раз уже лежащим на спине (мне — несколько месяцев, мать склонилась надо мной и разговаривает со мной), потом помню, как я болею (мне — два года), а потом, как и все, отчетливо помню себя лет с четырех.

В детстве во сне меня преследовал один и тот же кошмар: что-то надвигалось на меня, бесформенное, чему решительно не было имени, незнакомое, неотвратимое, вызывающее страх, но не злое, просто нечто, против чего я был совершенно беспомощен, и, как только я должен был соприкоснуться с этим нечто, я слышал неразборчивую ласковую речь и с криком просыпался. Учитель говорил мне, что это память о том, как я выходил из утробы матери. Может быть, потому, что тут были и неотвратимость, и новизна, и чья-то ласковость, которая была мне пока что чужда, и страх перед неведомым. Возможно, так оно на самом деле и было.

Мать моя звалась Ксенией от рождения: ее крестили еще до киевского крещения; насколько я знаю, первую в округе. Отец мой не был христианином; он рыбачил и погиб на озере, когда мне было года два; я его совершенно не помню, как будто бы его не существовало вообще. Я часто вижу его во сне; всякий раз это другой мужчина, и мои отношения с ним странны: я как бы отторгаю его. Может быть, все это было бы по-другому, не будь у меня Учителя... Но Учитель был, и он был больше, чем отец. Мать почти не рассказывала мне об отце; я знаю, что их брак был несчастлив, а о причинах этого могу лишь гадать; правда, с годами это занимает меня все больше. Подозреваю, что мать моя была слишком сильна для него. Сомневаюсь, что она не давала ему этого понять, — в молодости люди не слишком задумываются над такими вещами. К тому же — я уже говорил об этом — мать моя обладает Силой. Сила ее не слишком велика, это именно женская Сила, к тому же не получившая развития: мать училась мало, главным образом, как применять то, что узнала сама, да еще врачеванию травами и заговорам.

Я рос здоровым ребенком, крепче и сильнее своих; сверстников, и мои малые болезни легко поддавались ее магии; с детства я привык ей верить. Помню, когда ее дар открылся мне: не запрещавшая мне почти ничего, она запрещала водиться с сыном наших соседей, с которым я был дружен. Мать очень сердилась, но причины мне не открывала; когда мне было семь лет, он утонул в озере. Узнав об этом, мать вздохнула и сказала: «Бог тебя уберег». — «От чего, мама?» Она еще раз вздохнула и с сомнением посмотрела на меня: пойму ли. Потом решила: «Видишь ли, у него на лице была написана скорая лихая смерть. Вместе с собой он мог забрать и тебя». — «А у меня, у меня что написано?!» Мать погрозила мне пальцем и на все мои вопросы не сказала ни слова. Только потом, через много лет, когда она все-таки решила поворожить мне, сказала: «Я боялась ворожить тебе, да и сегодня бы этого не сделала, если бы не слабость. А на лице у тебя и так написано, что ты будешь много страдать и что жизнь у тебя будет необыкновенная — плохая или хорошая — Бог весть. А я боялась необыкновенной жизни, но понимала: судьбу не обманешь, а ворожить — тоже боялась. Но твоя жизнь стала необыкновенной слишком рано, вот к этому я не была готова...» Да, к этому моя мать, да и я сам не были готовы. Судьба налетела на меня как вихрь, подхватила и понесла... Но об этом я скажу позже.

Без сомнения, мой небольшой дар Силы перешел ко мне от матери. Открылся он

нехорошо: мы плыли с матерью в лодке по озеру, и вдруг я заплакал, закричал: «Не хочу, не хочу сюда! Мне страшно!» Мать побелела, отгребла в сторону. Через много лет я узнал, что мы приближались к месту гибели моего отца... Мне было тогда семь лет.

Мать учила меня понимать травы; я плохо слушал ее. Травы казались мне женским делом; мать очень сердилась, но сделать ничего не могла: я был своенравен и упрям. Я отказался заниматься бабьим делом (как потом надо мною смеялся Учитель!) наотрез. Сила редко проявлялась во мне. Мать не поощряла меня, не учила даже простейшим заговорам: травы казались ей безопасными, а Сила внушала страх и в себе самой. Для меня Силы она не хотела. Она справедливо полагала, что Сила проявляет себя почти во всех детях, но, если ее не развивать, она затихает навеки, и человек так и не становится ее обладателем и одновременно рабом — обладателем и рабом, потому что Сила такова. Я и сам рад, что большой Силой не обладаю, — даже если ты получаешь Силу Его именем, это тяжелое бремя, и даже моя пригинает меня долу.

Что я беззаветно любил — это рассказы про подвиги. Странники никогда не переводились на Русской земле, и наш дом всегда был открыт для всех — даже для тех, кто при имени Христа плевался и поминал Перуна. В нашей деревне были старики, которые любили и умели рассказывать. Целые дни напролет я был готов слушать про князя Владимира, который крестил Русь, про походы Олега и Игоря на Царьград, истории из Писания — как я понимаю теперь, перевранные до неузнаваемости: в округе не было ни одной церкви. Мать относилась к этим рассказам очень настороженно: сама рассказывать она не умела, и, когда пробовала пересказывать мне Евангелие — так, как она его помнила, я только что не засыпал. Мать сердилась и ревниво следила за тем, как я слушал рассказы других. Когда пересказывали Писание, на лице ее проступала мучительная тревога — она была христианка и должна была пресекать вранье, но сама была нетверда в учении и оттого не могла понять, где правда, а где ложь, и очень сердилась.

Рассказы про Перуна, Белеса, Дажьбога она воспринимала спокойно: это старые боги, говорила она, они были и уходят, надо знать и о них. Чувствовалось, ее очень волновали все истории, связанные с богами, и она пыталась в них разобраться. Странники наговаривали много всякого вздора; старые боги перемешивались у них в голове с Новым. Я помню много причудливых рассказов такого рода. Так, заспорили однажды Перун с Иисусом, кто сильнее. Перун говорит: ты умеешь исцелять, и я умею исцелять, давай посмотрим, кто сильнее. Проходит мимо глухой и ведет слепого. Перун махнул рукой — глухой стал слышать. Иисус махнул рукой — слепой стал видеть. Перун говорит: я умею метать молнии, и ты умеешь метать молнии. Давай посмотрим, кто больше бросит. Стали бросать. Перун бросил — и Иисус бросил. Перун говорит: я живу в солнце, а ты ходишь по земле, значит, ты слабее меня. Иисус взял и остановил солнце. Только позже я узнал, что солнце остановил Иисус Навин, но помню, что сказка эта крепко засела мне в голову, да и матери тоже, — она все потом поминала к случаю, что Иисус даже остановил солнце.

Пожалуй, больше всего мать раздражали бесконечные рассказы о том, как русские ходили на Царьград и победили греков. «Царьград — святой город, — говорила она с отчаянием, — грех было ходить на него».

Уже тогда пошли первые былины про богатырей; больше всего, конечно, про Илью. Тогда я простодушно считал, что Илья действительно единственная опора и надежда земли Русской; мать моя уклончиво говорила, что имя у него христианское, а это уже много.

Мать не настаивала на том, чтобы крестить меня. При рождении меня не крестили — видимо, отец был против, да и не было у нас священников, за всю жизнь у озера я всего-то видел одного или двух, которые были у нас мимоходом: проповедовали, их слушали, но, насколько я помню, не обращались, хотя в городах уже крестили даже насильно: князь Владимир был крут и крестил не только словом, но огнем и мечом. До нас доходили такие слухи, но нас не трогали, а любви к новой вере это не добавляло.

Как все, я верил в Перуна, но — под влиянием матери — Христос тоже вошел в мою жизнь — как новый Бог, Который, вероятно, сменяет старых. Когда мне было лет

тринадцать, я впервые испытал присутствие божества. Это было в лесу, в сухом бору. Вдруг, непонятно отчего, на меня накатила какая-то волна блаженства, благодарности за то, что есть этот мир, за то, что мы с матерью живем, за то, что греет солнце и всегда возвращается лето; я упал на колени и заплакал и стал молиться: я поминал и Перуна, и Христа, мало что соображая. С тех пор я иногда уходил в лес и, укрывшись от всех, становился там на колени. Знаю, что влекло меня туда: я отчетливо чувствовал чью-то руку на своем плече. А человеку всегда нужно чувствовать эту руку; может быть, в тринадцать лет даже меньше, чем в тридцать и позже.

Так я рос. Слушал рассказы, былины, иногда молился неведомому Богу (зимой тоже уходил в лес и даже в сильную стужу выстаивал какое-то время на коленях в снегу), был в остальном, думаю, очень похож на своих сверстников, выделяясь, впрочем, ростом и силой. Драться не любил; не люблю и сейчас, хотя странно это слышать из уст богатыря.

Я рано стал входить в отрочество; это мучило меня. Мать поила меня, не спрашивая, какими-то травами; это помогало на время; однако мое сильное тело не давало мне покоя. В это же время снова обнаружила себя Сила: дважды были у меня случаи ясновидения, правда, по пустячным поводам. Однажды мы играли на дворе, и я с полной ясностью увидел, что сейчас один из сверстников, Селян, возьмет камень, кинет в воробья, промахнется и попадет мне в лоб. Я не успел ничего сделать, как вдруг Селян действительно схватил камень, замахнулся на воробья и попал мне в лоб. Обозленный, я бросился на него и принялся лупить, приговаривая: «Знай, куда целишься!» В другой раз ясновидение сослужило мне хорошую службу. Мать отправилась в соседнюю деревню врачевать роженицу; я ночевал у Селяна. Притворившись спящим, я лежал на печи под покрывалом нагой и ощупывал свое удивительное тело. И тут я увидел будущее: старшая сестра Селяна бесшумно подходит к печи и, думая, что я сплю, приподнимает зачем-то покрывало. Я спешно накинул рубашку и замер. Не успел я улечься, как услышал шорох: это была сестра Селяна... Я лежал, закрыв глаза; покрывало повисело в воздухе и опустилось. Я много думал потом (сначала — с замиранием сердца, затем — с усмешкой), чего она хотела и что бы делала, если бы я не накинул рубашку...

Мать баловала меня. Я не слишком утруждался работой в поле, как соседские дети, как тот же Селян и его загадочная сестра. Мы мало были связаны с землей: мать ворожила и врачевала, и это нас кормило, Я был сильным ребенком, потом — сильным отроком, и вот безобразный пух стал пробиваться у меня на подбородке и на щеках, мне исполнилось шестнадцать лет, я был почти взрослым, ростом едва ли не выше всех в деревне и едва ли не сильнее всех, но совершенно не знал, что из меня будет; знахарем мать меня не сделала (я и сам не захотел), хлебопашца или рыбака из меня тоже не получалось. Я умел обходиться с землей и скотиной, но все это вызывало во мне страшную скуку. Я бродил по лесам вокруг села, удил рыбу, выезжая на озеро даже в бурю, как этого ни боялась мать, и все мне казалось, что вот сейчас наступит что-то такое, что полностью переменит всю мою жизнь. Шло время, но ничто не наступало.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Был летний день. Я сидел букой на крыльце и с тоской наблюдал за беспечальным течением облаков по небу. Я глядел то на них, то на озеро — гладкое, словно из цельного куска. В этот день я снова пребывал в дурном настроении: казалось, будто сама жизнь протекает мимо вместе с этими облаками, а я, никчемный, ничем не могу этому помешать. Жизнь казалась совершенно бесцельной, пустой, безнадежной, в который раз я уныло рисовал себе картины своего будущего, и они не утешали меня. Даже предстоящее вскоре освобождение от телесного морока не радовало. Да, скоро я стану мужчиной; но кем я буду? Пахарем? Другие улыбаются, когда плуг входит в сочную землю, а я лишь устало вытираю пот. Рыбаком? Но что за радость вытаскивать невод, полный серебряных тел, которые еще быются. Что я мог еще? Уйти в город? Но что делать там? Ведь я ничего не умею. Да и

становиться гончаром, плотником, печником, сапожником — все это меня не привлекало. Пожалуй, говорил я себе в сотый раз, я мог бы стать странником. Но — странником!

Странник — это не просто человек, который со скуки покинул отчий кров и пустился в путь. У странника должна быть цель, его должен Кто-то вести. Кто-то должен звать его из-за каждого поворота. А меня если и звал Кто-то, то я не смел верить Его голосу.

В досаде я заходил по двору, оперся на плетень и стал смотреть на дорогу, выходящую из леса.

Внезапно на дороге появилось облачко пыли. Я всмотрелся: это был всадник.

Всадник!

Он ехал не спеша, значит, не нес с собой дурных вестей. Всадники всегда волновали меня. Они приходили из незнакомого мне мира и уходили в незнакомый мне мир. Они были в моих глазах во сто крат интереснее людей, которые меня окружали. Кто он был, этот всадник? Я стал вглядываться в него. Он выплывал из пыли медленно, будто задумчиво, не торопясь въезжать в деревню. Он приостановился. И тут я понял, что это богатырь.

Я видел богатыря всего один раз в моей жизни; он торопился куда-то и пронесся через нашу деревню галопом; но он часто снился мне — пригнувшийся к седлу, весь устремленный вдаль, напряженный, но замечающий все вокруг, блистающий доспехами. О нем потом долго вспоминали в деревне. Странники, как я уже сказал, часто рассказывали про богатырей, и, когда мы увидели его вживе, то были изумлены. Но тот богатырь пронесся мимо, я не успел его даже как следует разглядеть. Теперь я смотрел во все глаза.

Он тронул коня и поехал в мою сторону. Я замер. Теперь я видел его уже отчетливо. Голубой плащ легонько развевался на ветру. Кольчуга, шлем — все блестело сизо; щит был приторочен к седлу, из-под плаща торчал широкий меч. Он ехал, как мне казалось, прямо на меня, вот я уже видел его лицо — оно наплывало на меня, как будто он склонялся надо мной: узкие серые глаза, седеющая русая борода, прямой широкий нос да очень внимательные глаза. Он смотрел на меня не улыбаясь. Я не мог от него оторваться, наконец, оторвался в досаде: сколько юнцов моих лет смотрели на него раскрыв рот! Как ему должно быть противно все это. Но я не совладал с собой и исподлобья поглядел на него снова. Он все глядел на меня, откровенно рассматривая. Вспыхнув, я выдержал его взгляд. Он стоял уже совсем рядом со мной. Как сквозь сон, я слышал голоса вдалеке — видно, ребята бежали к нам. И тут я услышал его голос — очень отчетливый голос:

— Как тебя зовут?

— Добрыня.

— Добрыня... Хорошее имя... Ты хочешь уйти отсюда? — спросил он внезапно.

Я судорожно кивнул. Он смотрел на меня пристально. Кто-то уже стоял вокруг, он смотрел на меня, я — на него.

Вдруг лицо его изменилось; улыбка появилась на губах; он смотрел куда-то поверх моего плеча. Я оглянулся: мать стояла за моей спиной, встревоженно глядя на всадника.

— Здравствуй, — сказал он, наклоняя голову. — Именем Христа — напои.

Лицо матери смягчилось.

— Здравствуй, богатырь, — сказала она, кланяясь ему.

— Меня зовут Никита, — сказал он, слезая с коня и потирая поясницу.

Мне внезапно сделалось страшно: вдруг мать слышала, как он спросил, хочу ли я уйти отсюда, и видела, как я кивнул? Но нет, он не мог спросить, если бы она стояла за моей спиной. Но почему он спросил, откуда он знал?! Я шел за ними в дом и слышал, как ребята за моей спиной шептали: «Богатырь, богатырь!» Все это было как во сне.

— А ты, — сказал он внезапно, оборачиваясь ко мне, — Добрыня, напои коня.

Я подошел к его коню; я никогда не видел столь великолепной сбруи. Завистливый шепот смолк за моей спиной, как будто конь был волшебный. Пока я распрягал и поил коня, я ничего не соображал; меня прошиб пот. Я не думал ни о чем и в то же время думал обо всем.

Когда я вошел в дом, мать разговаривала с богатырем. Она суежилась, накрывала на

стол. Он снял шлем и положил рядом с собой на лавку; я никогда не видел такой прекрасной вещи раньше, и внезапно вся наша с матерью изба показалась мне такой убогой и жалкой, что я чуть не заплакал со стыда.

— Да, я был в Киеве во время крещения, — говорил богатырь. — Что тебе сказать, Ксения? Даже самое благое дело можно испортить грязными руками. Возьми стеклянный кубок грязными пальцами — и ты испачкаешь его.

«Стеклянный! — подумал я горько. — Хотел бы я посмотреть на стеклянный кубок!» (Я никогда не видел стекла, только много слышал о нем, что оно прозрачное, как вода, и твердое, как лед.)

— Нет, князь Владимир сделал благое дело, но наша с тобой вера такова, что нельзя в нее загонять силком. Правда, говорят, что детей приучают битьем, но ведь это не всех детей. Ты же не била своего сына?

— Никогда! — сказала мать с гордостью.

— Вот видишь... — Он потерял лоб. — Не знаю, не знаю, не радостное это было крещение. Я-то к тому времени уже давно носил крест на груди, и, когда его вешали на кого-то насильно, — нет, это не по мне.

Я робко присел в углу, словно это был вовсе не мой дом. Богатырь будто не замечал меня.

— Давно ты живешь одна?

— Я не одна, я с сыном. Постой, а откуда ты узнал?

— Не так трудно, не так трудно. — Он засмеялся. — Ведь я все же не песнярь, не бродяга... Добрыня никогда не видел отца?

— Видел, но не помнит его. Четырнадцать лет назад мой муж утонул в озере. С тех пор мы вдвоем. Я знаю травы... живем.

— Ты знаешь не только травы. Сыну ворожила?

Мать испуганно вздрогнула и покачала головой.

— Да, трудно ворожить своим... Да и не стоит: о будущем своих лучше ничего не знать... — Он обернулся на шепот за стеной: — Темно, все окно загородили...

— Ждут — ты выйдешь, поговоришь.

— Они будут ждать долго, а потом уйдут, а затем будут рассказывать, что я о чем-то совещался с тобой. Что я приезжал к вам. А впрочем, — он вдруг посмотрел на меня, — может, я и правда к вам приехал? Ведь зачем-то же я завернул сюда, что-то же меня привело к вашему порогу.

Мать посмотрела на него, на меня и вдруг вся сжалась, как будто поняла что-то. Я еще ничего не понял. Она смотрела в пол, потом медленно, как будто у нее не осталось сил, поправила волосы и села. Что она думает, что с ней, спрашивал я себя, но по молодости и по глупости не знал ответа. Зато я хорошо запомнил это мгновение, и даже теперь, через много лет, я вижу фигуру своей матери в этот момент: свет падает на нее из окна слева, серебрит ее контур, она опустила глаза, но как будто говорит мне что-то, а я не слышу...

— Ты когда-нибудь держал меч в руках, Добрыня? — неожиданно спросил богатырь.

— Нет.

— На, попробуй. — Он вытащил сверкающее лезвие из ножен.

Мать пристально смотрела на меня, как будто хотела что-то сказать.

— Не хочу. Это не мой меч.

— Но ты же никогда не держал в руках меча! А этот меч чего-нибудь да стоит. Возьми!

— Нет.

— Показать тебе волос Змея? Он достался мне не просто так. Змей был совсем рядом.

— Нет. — Мать смотрела на меня так же внимательно.

— Тогда я покажу его ребятам на улице... Это удивительный волос. В нем есть своя Сила.

— Пускай.

— Послушай, Добрыня, попробуй прижать мою руку к столу — я вижу, ты силен не по

годам.

— Нет.

— Что же ты все «нет» да «нет». Я думаю, ты меня одолеешь.

— Я не буду.

— Ты боишься? Ты стесняешься, как красна девица!

— Думай что хочешь, богатырь.

Он нагнулся и заговорил вполголоса:

— Хочешь, я научу тебя Силе? Немного, столько, сколько ты сможешь вобрать. Но для тебя это будет большая Сила. Она будет больше Силы твоей матери. Ни у кого в округе не будет такой Силы.

— Не хочу... Не хочу брать то, что не принадлежит мне... по праву.

Он расхохотался:

— «По праву»! Я уеду отсюда, и уже никто и никогда не научит тебя ничему, по праву или не по праву, и ты останешься таким же, как все. А я могу научить тебя сейчас многому.

— Нет.

— Ну и как же ты собираешься жить, Добрыня? Тебе не нужен меч, тебе не интересен волос Змея, тебе не нужна даже Сила!

— Я буду пахать землю... ловить рыбу...

— Пахать? Не смей меня! Ты создан не для этого! И ты отказываешься овладеть тем, для чего ты предназначен?

Я впервые посмотрел ему в лицо:

— Я предназначен жить как все. Мне ничего не нужно.

— Хорошо... Сейчас я уеду от вас. Я оставлю тебе талисман — он принесет тебе счастье в той жизни, которой ты хочешь жить.

— Не надо.

— Что, ты не веришь в талисманы?

— Верю.

— Так что же?

— Нет.

— Почему?

— Я не хочу.

— Ты как маленький ребенок. Почему — нет?

— Я не знаю.

Он смотрел уже не на меня, а на мою мать.

— Что скажешь, Ксения?

Мать молчала. Он поднялся. Надел шлем. Поправил меч:

— Поехали, Добрыня?

Я смотрел на мать. Мое лицо горело. Я молчал. Впервые я столкнулся с тем, что молчание можно ощущать. Оно было — как стог сена, как лес даже, может быть. Мать молчала. Я смотрел на нее. Она смотрела в сторону.

— Мама...

— Я знала, что однажды так все и кончится, Добрыня... Я не гадала тебе, но я видела по твоему лицу, что ты не останешься здесь... Нет, не останешься... И я боялась, что ты уйдешь незнамо куда и пропадешь. С ним ты не пропадешь. Я верю ему. Я... я не хочу, чтобы ты уходил. Но я знаю, что ты так или иначе уйдешь. Лучше, чтобы ты ушел так. Сразу. Чтобы я... плакала Уже потом. Это нельзя, чтобы я совсем не плакала.

Богатырь скажет тебе: материнские слезы — Божьи слезы. Сына Богородицы распяли. А ты всего-навсего уходишь. Ты только... не забывай меня. Она умолкла. Богатырь поднялся:

— Бог будет с тобой, Ксения. И Добрыня будет с тобой. Ты действительно не можешь его удержать. Ты знаешь, что ты родила не простое дитя, что ему суждено что-то другое, чем просто покоить твою старость и родить тебе внуков. Помни: Бог будет с тобой. И Добрыня

вернется. Он будет часто возвращаться, я знаю. Где бы он ни был, с кем бы он ни был, его сердце будет с тобой. И ты будешь чувствовать это. Не надо собирать его в дорогу. Пускай он уйдет так. Так будет легче.

В каком-то оцепенении мы вышли во двор. Богатырь седлал коня. Толпа стояла за плетнем. Слезы душили меня. Но я ничего не мог с собой поделать. С собой — или с чем-то иным, много выше и сильнее меня? Не только жажда иной доли звала меня. Я боялся смотреть на мать. А она смотрела на меня во все глаза, словно из меня в нее должна была перелиться Сила.

— Я готов, Добрыня. Прощай, Ксения. Я виноват перед тобою.

Мать ничего не ответила ему. Она перекрестила меня — впервые в жизни. Прижалась ко мне. Это было... — это было, — я до сих пор не знаю, как описать, что это было.

Как во сне, я взобрался на коня — перед богатырем. Мы тронулись с места. Я судорожно махал матери, пока мог различать ее. А когда отвернулся, мы уже въезжали в лес.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Мы ехали молча. По дороге я немного успокоился. Тем более что мы ехали знакомой дорогой и пока что я знал эти места.

— Я думаю, ты все понимаешь, Добрыня... — вдруг раздался голос позади. — Я околдовал вас. Это злые чары. Теперь ты в моей власти. И я использую тебя так, как захочу. — Он захохотал. — Почему вы поверили мне? Вы увидели кольчугу и меч и решили, что перед вами богатырь? Я — оборотень и сейчас превращусь в волка. Слезай с коня и смотри. — Он сбросил меня с коня на землю. — Слушай, юнец. Ты нужен мне. Ты нужен мне! И теперь ты — в моей власти. Смотри, кого ты принял за богатыря! Смотри! — Он заговорил на непонятном языке, делая правой рукой резкие жесты. Внезапно что-то поднялось во мне — гнев, должно быть.

— Я не верю тебе! Ты мог обмануть меня, но не мою мать.

— Ты думаешь, у твоей матери большая Сила?

— Я не знаю, большая или нет, но... Хватит! Он опустил руку. Постоял, усмехнулся:

— Все, Добрыня. Больше испытаний не будет. Ты прав. Я не мог обмануть твою мать. Но ты не прав в другом: я не мог обмануть и тебя. Я сейчас убедился в этом. У твоей матери действительно небольшая Сила — прости, но это так. А у тебя пока и еще меньше. Но у тебя есть больше, чем Сила, а может быть, и наоборот, самая ее суть: умение отличать злое от доброго. Я тешу себя мыслью, что я добр... Может быть, это и не так; через год ты скажешь мне. Но есть, во всяком случае, и совсем другие люди. И, я думаю, ты сумеешь распознать их. Давай присядем. И мы присели — на мою родную теплую лесную землю.

— Видишь как, Добрыня, случайностей почти не бывает. Когда ты отклоняешься от своего пути — как тебе кажется, просто так, ни за чем, а вот просто поворотил коня, — будь внимателен, не Он ли направил тебя на незнакомую дорогу. Смотри, чтобы из засады Не показались всадники — Он мог направить тебя сюда, чтобы остановить Зло, и, если ты будешь рассеян, ты можешь погибнуть. Он защищает тебя, но и ты должен защищать Его... Так вот, сегодня я отклонился от своего пути — я не знал зачем. Когда я увидел твою деревню — я и тогда не знал. Когда я увидел тебя, я начал догадываться. Потом я вошел в ваш дом. Уверенность моя росла. Потом я начал испытывать тебя. Ты отвечал безукоризненно. Единственно, кто беспокоил меня, — это твоя мать. Но и она — поняла. Она даже хотела, чтобы ты отвечал правильно...

Теперь слушай меня внимательно, очень внимательно, Добрыня. Я не достиг многого в своей жизни. Не обо мне поют былины, не меня славят, ты думаешь — я об этом? Да, не меня. Но не это главное. Главное — что я не сумел совершить в жизни то, что я хотел. Я не стану рассказывать тебе сейчас — ты, боюсь, не поймешь меня, не обижайся. И однажды я сказал себе: пока я еще силен, я должен найти ученика. Я должен найти настоящего ученика. Я должен передать ему все, что знаю и умею, — если он сможет и захочет перенять. Может

быть, ему повезет больше и он сумеет сделать то, чего не сумел сделать я. И где бы я ни был, я везде искал такого. Ни один не подходил. Мне нужны были особые люди, крепкие телом и духом. В некоторых я чувствовал Силу, но видел, что они никогда не станут богатырями. В других я видел только сильное тело, но совершенно беззащитную душу. Некоторые хватались за меч, другие — за волос Змея. Я не обманывал тебя, он действительно у меня в суме, и я взял его из логова Змея, когда он был совсем рядом. И все, решительно все ловились на Силу... Никто не в силах был устоять. Я не спрашиваю, почему устоял ты, потому что ты не можешь мне теперь ответить, ты и сам не знаешь. Но я продолжал испытывать тебя. Оказывается, тебе нелегко внушить и страх. Это очень важно, потому что боязливый богатырь — жалкое зрелище, а бывают и такие. Потом ты узнаешь их.

Я понимаю, как трудно тебе было уйти из дома и как трудно было твоей матери отпустить тебя. Если тебя это утешит — моя мать не обладала никакой Силой, и поэтому разлука со мной ей была особенно тяжела. Но у каждого свой путь, Добрыня. Твоя мать права. Ты бы действительно все равно покинул дом, и кто знает, по какой дороге ты бы пошел.

Я расскажу тебе, кто я такой. Ты вправе знать обо мне все и можешь все спрашивать. Ты уже знаешь, что меня зовут Никита. Вот уже тридцать лет я странствую по свету, изъездил Русскую землю вдоль и поперек, был в разных краях, о которых, если тебе интересно, я тебе потом расскажу. Двадцать лет назад я крестился в Царыраде. Я участвовал во многих подвигах, скажу не хвастая. Много бился на мечах. У меня есть Сила — я не чародей, но что-то я могу.

Но несколько лет назад я понял: время мое резко пошло под гору; жизнь человеческая не похожа на жизнь дня или ночи: здесь ты знаешь, сколько им осталось. С людьми другое...

Он поежился, как будто холодок подул откуда-то из леса.

— И вот я стал чувствовать что-то такое... Не приближение смерти, хотя ее шаги стали мне слышны, чего не бывало ранее... Но я стал чувствовать, как трудно мне вставать по утрам и засыпать ночью, как болит мое сердце, как тоска застилает мне глаза. И я стал думать о том, что никогда, никогда не завершу того, чего хочу и о чем мечтал всю жизнь, что мне снилось и грезилось наяву. Мне отпущен довольно короткий век, и — я чувствую — силы мои на излете и уже никогда не возвратятся, какими бы заговорами меня ни заговаривали и отварами каких бы редких корней из дальних стран я себя ни поил. И я понял — пришла пора искать ученика, пока я еще силен и могу передать ему многое, а я все-таки кое-что могу, это подтвердят и мои друзья, и мои враги.

Теперь ты знаешь главное. Больше, чем кто-либо еще. Ты волен выбирать. Вон, еще видна твоя деревня, твой привычный мир; конечно, ты немного велик для него, но если ты не будешь возвращать свою Силу, ты все-таки вживешься в него и будешь в нем героем. Еще близка мать твоя. И вот перед тобой другая дорога — пыльная, со сверкающими мечами, возможно, смертью, прежде чем ты чему-либо научишься. Выбирай любую — но выбирай, потому что, пространствовав хоть день, ты станешь другим, и никогда — никогда, ты слышишь меня! — ты уже не будешь так прост, чтобы вернуться к своему озеру и жить у него всю жизнь.

Волнение охватило меня; не постыжусь сказать, что слезы потекли из глаз; я еще раз подумал о матери, о теплой безбедной жизни, которую я оставлял, о своих тайных молитвах в лесу, о том, что я входил в возраст и уже скоро должен был стать мужчиной...

Но что-то новое рождалось во мне. Отвернувшись, я отер слезы и сказал глухо:

— Нам, наверно, далеко ехать.

— Так ты решился?

— Да... Учитель.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Мне очень трудно говорить об Учителе. Учитель сделал меня тем, кто я есть сейчас.

Когда я вспоминаю парнишку из Заплавья, который только-то всего и мог, что молиться неведомому Богу в лесу, я невольно усмехаюсь. Учитель увел меня очень далеко от всего этого. В каком-то смысле я действительно стал его единственным ребенком.

Когда я уезжал из дома, я не умел держать в руке меч, толком ездить верхом, не знал грамоты, не имел доступа к Силе, я по-настоящему не был близок к Богу, я был никто, и по всему мне действительно выходила судьба землепашца или рыбака. Почему судьба рассудила иначе? Почему Учитель искал ученика несколько лет и только во мне он нашел его? Что было во мне, если разобраться, — это высокий не по годам рост и крепкое — опять же не по годам — тело, да какая-то искорка Силы, которая, как я подозреваю, есть во всех детях. Учитель так и не сказал мне, почему он выбрал меня; вернее всего, он и сам не знал почему. Отчего Бог снизошел ко мне, отчего выделил меня — я никогда не узнаю.

Первые дни после отъезда из дома Учитель ничему не учил меня, а просто говорил со мной, заставлял рассказывать о моей жизни, а я тогда толком не умел и этого, да и нечего было рассказывать. Он попросил показать, быстро ли я бегаю, сколько могу поднять, как высоко могу взобраться на дерево, боюсь ли высоты, огня, темноты, неожиданных движений и встреч. Все это время он испытывал меня, пытаюсь понять, чего я в действительности стою и как много он может в меня вложить. Бегал я быстро, поднять мог по своим годам много, по деревьям лазил, как белка, высоты не боялся и мог спокойно смотреть вниз с самых высоких деревьев и даже ходить, поддерживая равновесие руками, по ветвям (Учитель сказал, что можно еще поддерживать равновесие мечом, плащом или, на худой конец, веткой; это было первое, чему я научился у него, и очень изумился); огонь я любил, темноты боялся; когда Учитель, испытывая меня, то бросал мне ножны, то внезапно появлялся передо мной, я весь напряжинивался, ножны чаще всего ловил, а от Учителя не отскакивал, понимая, что он не сделает мне зла.

— Ну что, Добрыня, — сказал Учитель на третий день, — я вижу, что мечом ты научишься владеть, что в схватке не оробеешь, что голова у тебя не закружится на скале. Что тебя тянет к огню и что ты боишься темноты — это хорошо, потому что с людьми, у которых это наоборот, что-то неладно. Приедем в Новгород, там посмотрим.

На четвертый день мы въехали в Новгород. Сказать, что я был ошеломлен, — это значит не сказать ничего. Уже когда мы подъезжали и дорога стала оживленная, голова моя зазвенела. Когда же сам Новгород показался вдаль, я замер. Это было что-то необыкновенное, что мне даже никогда не снилось, это было нечто сказочное, о чем говорили, что пытались описать странники, в чьи рассказы я до конца никогда не верил. Это не было большой деревней, это было тем самым невиданным — городом, совершенно особенным, небывалым, чего я и представить себе не мог. До сих пор думаю, что самое большое чувство восторга в жизни я испытал именно тогда, когда впервые увидел город, потому что все остальное — и женщин, и мечи, и коней, и даже Силу я так или иначе видел раньше в своей жизни, а этого — никогда.

Больше всего меня поразили некие совершенно удивительные строения. Остальные дома были так или иначе понятны: за ними угадывались жалкие дома родного Заплавья, но что это такое, я не мог взять в толк. Они были необыкновенны, они немного походили на остров-а с деревьями, когда на них смотришь издали, и словно слышался их крик: мы особенные, мы не такие, как все вокруг, к нам, к нам, к нам!

— А что это такое?

— Это? Это церкви, Добрыня.

— Церкви? И... они все такие?

— Нет, не все. Они все разные. И потом — наши церкви еще совсем молоды. Церкви Царьграда — они во много раз больше, когда смотришь на них даже издали, запрокидываешь голову, они выше самых высоких деревьев...

— А что там... внутри? — Я весь дрожал от возбуждения.

— Внутри? — усмехнулся Учитель. Потом он вдруг посерьезнел и сказал: — Там внутри — Бог.

Я ничего не понял, но не стал спрашивать дальше, а только все оглядывался на церкви. Впрочем, их было совсем немного, две или три.

— Мы с тобой не задержимся здесь, — сказал Учитель. — Соберемся в дорогу — и дальше. Переночуем тут. — И он показал на постоялый двор.

Я был в отчаянии. Хотелось ходить по улицам города вечность, впитывая в себя новую жизнь. Но я уже понимал, что Учитель знает лучше, и поэтому промолчал, Я думаю, Учитель очень хорошо понял, что со мной творится, потому что сказал:

— Сейчас перекусим и пойдем в город.

Вкуса еды я не чувствовал. Ноги мои просились вон. Наконец, Учитель довершил трапезу, и мы пошли в город.

Но у Учителя была какая-то цель. Он уверенно повел меня куда-то, и вдруг я очутился в толпе народа, среди сверкающих тканей, посулы и металла, множества коней... Я увидел, что это было торжище. И сразу понял, что Учитель привел меня сюда не просто так и что сейчас мне, нищему, босоногому пареньку из Заплавья, вдруг будет подарено что-то... Мне никогда не дарили ничего городского: очень немногие в нашей деревне могли похвастаться этим.

Я заметил, как люди расступаются перед Учителем, как многие здороваются с ним и как спокойно он идет, рассекая эту могучую, на мой тогдашний взгляд, толпу. И вот тут-то я начал понимать, что значит быть богатырем на земле Русской. Пройдет много лет, прежде чем я окончательно пойму, но первое понимание посетило меня в тот день. «Неужели и я когда-нибудь стану таким?» — ошеломленно подумал я и, конечно, себе не поверил.

Совершенно потерянный, я, стесняясь самого себя, брел за Учителем, который неторопливо шел по рядам.

Было видно, что он искал что-то или кого-то. Торговцы I наперебой зазывали его, но он только слегка качал головой: нет. «Конечно, — подумал я с горечью. — Здесь все такие прекрасные вещи. Они не для меня». И как я вообще мог рассчитывать, что Учитель захочет покупать мне что-то дорогое? Да, он взял меня в ученики; это само по себе уже было подарком.

Внезапно Учитель остановился и весело сказал:

— Здравствуй, Богдан!

— Никита!

Они обнялись. Богатырь, обнимающийся с торговцем, когда мгновение назад он отмахивался от других, как от мух? Я не понимал этого.

— Это Добрыня, Богдан. Ему нужен меч.

— Так! Какой меч тебе нужен, Добрыня?

— Он пока еще не знает сам. Я выберу за него. Предлагай.

— Вот хороший меч. Лучше не найдешь для учения.

— Для учения? А что, если ему придется биться?

Даже когда он еще не очень-то и научится?

— Вот тебе другой меч, Никита. Прочен, остер.

— И прочен, и остер, но это обыкновенный меч.

— У меня есть меч — особенный меч... Меч для воина.

Учитель взял меч, отошел в сторону и вдруг раскрутил его над головой так, что видно было только одно сияющее кольцо, а потом принялся рубить им со свистом воздух — направо, налево, назад... Я только разинул рот. В толпе, которая собралась вокруг нас, пронесся восхищенный шепот. Учитель взмахнул мечом в последний раз, повернулся ко мне, сказал тихо:

— Попробуй. Да, знаю, ты ничего не умеешь, а вокруг зеваки. Просто возьми его в руки. Подержи его. Это хороший меч.

Едва ли не со слезами я взял меч в руки. Он был тяжел; но я был силен. «Я смогу драться таким мечом!» — сказал я себе.

— Подними его над головой. Опуст. Подними. Опуст. Быстрее. Что ты чувствуешь?

— Я... я не знаю, Учитель... Он тяжел, но я смогу...

— Тяжел?

— Я не знаю... Я никогда не держал меча в руках... Может быть, я никогда не смогу с ним сладить...

— Тебе не нравится этот меч?

— Нравится...

— Добрыня, послушай меня внимательно. У каждой вещи есть душа. Это только кажется, что ее нет. И душу каждой вещи можно почувствовать. Меч — это особая вещь... Отвлекись от людей, от меня, от всего. Скажи, что ты чувствуешь, когда поднимаешь меч?

— Я чувствую... Я чувствую тяжесть. Я хочу этот меч, он не хочет меня!

— Он не хочет тебя? А может быть, это ты не хочешь его? Может быть, это не тот меч?

— Учитель усмехнулся и сказал Богдану: — Нет, это не тот меч.

— Ему нужен один из твоих мечей, Никита? — Богдан посмотрел на меня с некоторым сомнением.

— Один из моих.

— Очень хорошо... Поглядим... Вот.

Учитель взял меч в руки, подержал, внимательно посмотрел на него; закрыл глаза и замер. Лицо его как бы замкнулось, потом прояснилось.

— Да, — сказал он. — Попробуй, Добрыня.

Я взял меч в руки и, как сказал мне Учитель, стал поднимать и опускать его, стараясь ни о чем не думать. Мне казалось все это очень странным. Меч был точно такой же, если не тяжелее. Но моя рука словно прилипла к нему.

— Что скажешь, Добрыня?

— Он... прирастает ко мне...

— Очень хорошо. Богдан, мы берем этот меч. Теперь покажи нам кинжал.

Когда Учитель расплатился, Богдан осторожно спросил:

— А зачем тебе меч, Добрыня?

— Это мой ученик, Богдан, — просто сказал Учитель, — Когда-нибудь он, как и я, будет приезжать к тебе и просить свой меч.

Потом мы покупали одежду, коня, щит, шлем и кольчугу. На одежду Учитель едва посмотрел, с конем возился недолго, пристально осматривал кольчугу и щит.

Потом, ведя коня на поводу, мы вернулись на по-стоялый двор.

— В дорогу, — сказал Учитель. — В дорогу!

Я молча повиновался. Мне очень хотелось посмотреть город — первый мой город! — но я уже хорошо усвоил одну вещь: Учителю нельзя прекословить. Нет, если бы я попросил, я уверен — он бы не сказал ни слова против и остался бы, и мы ходили бы по городу, и Учитель все рассказывал бы мне. Но я уже не мог спрашивать «зачем?», если Учитель говорил что-то. Теперь я понимаю — я оказался неплохим учеником; наверно, Учитель почувствовал это сразу, как только увидел меня. Я только никогда не пойму — как. Учитель всегда говорил, что часть своей Силы он не сможет мне передать.

— Я плохо езжу верхом, — сказал я. — Достаточно хорошо, чтобы держаться в седле, — усмехнулся Учитель.

Мы выезжали из города. Люди смотрели на Учителя, потом на меня, и я замечал в их взгляде уважение. Высоко поднял меня Учитель. Или можно сказать по-другому: неглубоко смотрит толпа. Ведь я-то на самом деле оставался неумехой, который с трудом держался в седле, неловко носил одежду, который задыхался под кольчугой, которого мучил шлем и который судорожно прижимал к себе новообретенный меч.

— Ты, наверно, спрашиваешь себя, почему мы не задержались в городе дольше, Добрыня. Но ведь ты бы ничего не понял, если бы я стал тебе объяснять, а город отвлек бы тебя от более важных дел. Все мое время. Мы еще будем во многих городах, и скоро ты сможешь сам находить в них дорогу, а потом, даст Бог, побываешь в таких городах, о которых я никогда не слышал. Я тороплюсь, Добрыня... — Учитель зябко поежился и

оглянулся. Нас уже окружал лес, и я почувствовал какую-то неясную угрозу, и тоска закружила мне сердце. — Что ты встрепенулся? Ты почувствовал что-то? Не бойся, на этот раз это были только мои мысли. Видишь ли, я прожил беспокойную жизнь и слишком часто вставал на пути сил зла, чтобы быть спокойным и уверенным в своем завтра. А я тебе уже говорил: наверно, главное, что я сделал в своей жизни, — я нашел тебя. Не знаю, когда со мной что-то случится. Пока я не чувствую приближения беды, но... кто знает? На всякий случай я не должен терять время. Я обязан передать тебе все, что знаю, и все, что ты сможешь взять. А ты сможешь взять многое. Вот сейчас ты почувствовал мою тревогу. Ты выбрал правильный меч...

— Но я не выбирал его, Учитель!

— Тем не менее ты выбрал его... Видишь ли, меч богатыря — это нечто особенное. Кольчуга, шлем, щит — все это очень важно, потому что это твоя защита. Еще более важен конь, но ты еще пока не можешь знать толк в лошадях, да новичку и не нужен первоклассный конь. А вот меч — если ты начнешь упражняться не с тем мечом, испортишь себе руку. Не в том смысле, что надорвешь мышцы, а в том, что ты никогда не будешь владеть мечом как продолжением своего тела. А это очень важно. Ты не будешь воином: богатырь отличается от воина. У него должны быть Сила, и изощренный ум, и очень чуткое сердце. Но богатырь в то же время и воин: многих врагов ты не проймешь ни Силой, ни умом, а они будут стремиться УНИЧТОЖИТЬ тебя. Поэтому твой меч — это как бы часть твоей Силы, это больше, чем просто длинное стальное лезвие... Богдан знает, какие мечи нужны богатырям. На Русской земле есть еще два-три человека, которые куят такие мечи. Я не знаю, как они это делают. Я думаю, они вкладывают в них не только хитрые тайные добавки, о которых можно прознать; они вкладывают в них Силу, которую ни украсть, ни подделать невозможно. Не смотри, что Богдан простой оружейник. Его Сила велика. Не обижайся, что он не признал тебя: он думает о другом. На Русской земле много людей, у которых есть Сила, — хороших и дурных; тебе надо знать всех.

— А что будет, если меч, в который вплавлена Сила, попадет к дурному?

Учитель посерьезнел:

— Богдан никогда не продаст такого меча случайному человеку. Если же меч попадет к дурному другим путем... Меч, в конце концов, остается мечом, он не может сопротивляться. Он только никогда не будет служить новому хозяину так же хорошо, как служил старому. Он будет обычным мечом в его руках. Впрочем, если он попадает в руки к очень дурному человеку — я слышал, — он может неожиданно обернуться против него. Я знаю такие случаи. Но это бывает, лишь когда меч попадает к лютым врагам... Давай не будем пока о них, тем более что мы уже въехали в сумерки. Старайся никогда не думать в сумерки о злом.

— Почему? Такие мысли всегда приходят в голову в темноте!

— Это очень верно, Добрыня, и именно потому, что мысли эти нам насылают Тьма, не нужно помогать ей.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Мы неспешно ехали на юг, редко заезжая в селения и никогда — в города. Я тосковал по матери; я тосковал по людям, но Учитель, видно нарочно, старался избегать их. Теперь я понимаю, что он был мудр, объезжая селения стороной и в то же время не задерживаясь нигде подолгу: люди отвлекали бы меня от учения, а кочевая жизнь — удел богатыря, к которому нелегко привыкнуть. Да, многих людей, которые весь свой век прожили в одних стенах, манит дорога; это какая-то особая форма тоски или надежды — со временем я понял, что эти вещи часто суть одно и то же, потому что человеческий удел — тосковать по неземному, и надеяться на него. Дорога манит многих, но когда они вступают на нее, то обнаруживают, что тяжело жить без дома, и даже с большой привычкой к странствиям все же часто тянет жить, как все. Но богатырю нужна привычка к дороге, потому что это будет его жизнь, при удаче это будет добрая дорога, но по большей части — опасная, нередко —

дурная, страшная даже. И чтобы выдерживать все, надо приучаться к ней смолоду. Вот примерно все это и старался растолковать мне Учитель. Мне казалось, что я понимаю его, но только теперь, наверное, понял до конца. Мне вообще думается, что настоящее учение состоит в том, чтобы принимать на веру какие-то истины, чтобы потом, много лет спустя, они в тебе проросли, когда Учителя уже не будет рядом.

Уже в первый вечер Учитель заставил меня биться на мечах. Это оказалось трудно, как я и предполагал. В детстве мы, играя, дрались на палках, и я был сноровист. Но ничего, кроме природной сноровистости, у меня, конечно, не было, а меч так же отличается от палки, как пахарь от богатыря. Потом было еще одно, и я признался Учителю почти сразу: я не мог биться на мечах с ним, я не мог поднять на него меч. Учитель не рассмеялся, как я того боялся, но только сказал, что так оно и должно быть, но что нужно побороть себя.

Мы бились на мечах часто; так часто, что у меня ломило все тело. Может быть, его ломило еще и с непривычки ездить верхом. Учитель учил меня и этому, но меч — это главное, говорил он. «Я не знаю, когда мы столкнемся с лихом, это может быть в любой день, и я не хочу, чтобы ты был беззащитен. Иногда достаточно только принять позу опытного бойца, и враг обратится в бегство. Да, умение биться далеко не самое главное для богатыря, но только тогда, когда он умеет по меньшей мере защищаться. Важнее всего уметь биться мыслями, но мир таков, что те, кто бьются только мыслями, как правило, погибают. Тебя собьют с ног прежде, чем ты сумеешь открыть рот. Поэтому становись в стойку, Добрыня».

Когда мы неторопливо ехали верхом, Учитель говорил со мной — обо всем, иногда я замечал, что он учит, но чаще учился, сам того не понимая. Когда я спрашивал его о Христе, — всегда неловко, потому что неловко спрашивать о таком, легче спрашивать о воинском искусстве, — он охотно отвечал, впрочем, довольно коротко. Понемногу он пробовал мою Силу, «Как я думаю сейчас?» — «Не знаю...» — «Отвечай «не знаю», только когда ты действительно не знаешь, Добрыня». — «Но я действительно не знаю, о чем ты думаешь, Учитель». — «А я и не спрашивал тебя, о чем я думаю. Очень немногие люди могут читать мысли, как книгу: сторонись их, я не встречал среди них праведников. Но ты можешь знать, как я думаю». — «Я не понимаю». — «Хорошо, потом поймешь».

Он учил меня, как управлять своей Силой. Он говорил, что Силу нельзя увеличить, ее можно только найти в себе и научиться ею пользоваться. Сколько Силы есть в человеке, столько ее и будет, и грешно рассчитывать, что можешь стать сильнее. Можно лишь стать действительным хозяином того, чем можешь владеть по праву.

«Ты никогда не будешь уметь говорить со зверями, и они никогда не станут тебе повиноваться, как повинуются другому. Но ты будешь уметь узнавать человека, который говорит с ними, и если окажешься умен, то человек сделает так, что звери будут поступать по-твоему, Ты должен уметь распознавать Силу каждого человека. Много нужно уметь понимать сразу: добр человек или зол, умен или глуп, расположен к тебе или нет, скрывает что-то или готов рассказать все. Но Сила, которой обладают далеко не все, — это могучее оружие, и надо всегда знать, могут ли его применить против тебя».

Он наставлял меня так, как я того не ожидал, Так, он учил меня, как он говорил, слушать, как растет трава. Сидеть и слушать, Как растет трава? Кто может слышать это? Однажды вечером, когда мы сидели у огня, я спросил его:

— Учитель, ты говоришь, что я должен выявить свою Силу. Мы бьемся на мечах, мы говорим, ты учишь меня всему, кроме этого, Я не прошу тебя научить меня тому, чему ты не хочешь, но раз ты говоришь про Силу, я прошу тебя: научи! И тут Учитель рассмеялся:

— Я знаю, чего ты ждешь. Ты ждешь, чтобы я открыл тебе тайные слова?

— Да! — вспыхнул я.

— Тайные слова... Их нет.

— Как — нет?!

— Так — нет. — Учитель ворошил угли и молчал.

«Он обманывает меня! — горько подумал я. — Тайные слова конечно же есть, но он не

хочет открывать их мне! Я, наверное, слишком глуп для них».

— Ты ошибаешься, Добрыня. Тайных слов правда нет, а если бы я думал, что ты глуп, то не взял бы тебя в ученики. Что? Как я узнал твои мысли? Может быть, ты думаешь, что я прошептал про себя какое-то заклинание и твой ум открылся мне? Ты ведь так думаешь? Ну так вот, ты ошибаешься. Все дела, какие люди совершают Силой, они совершают без тайных слов, потому что Сила дается без слов, — а просто дается, и все.

— Но моя мать... Она всегда шептала что-то...

— Почти все что-то шепчут. Но они обманывают либо других, либо себя. Посмотри. Чтобы поднять тяжелый камень, тебе не нужно тайных слов, тебе нужна только сила. То же и с другой Силой.

— Но заговоры! Сглаз! Колдун проклиная человека, и он умирает!

— Начнем с того, что по большей части он умирает от страха. Не обладая Силой, можно внушить человеку, что ты владеешь ею, и он будет в твоей власти, как если бы ты в самом деле обладал большой Силой. Это — важный урок, запомни. Это то же самое, как принять позу опытного бойца и выиграть бой, не вступая в него. Настоящий же колдун, каких очень мало, проклиная человека, проклиная его не тайными словами, а своей Силой. Придет время, и ты выдумаешь свои собственные заговоры, чтобы люди верили тебе. У меня они тоже есть, но ума для этого большого не надо. Я постараюсь объяснить тебе по-другому... Ты знаешь, как молятся христиане?

— Я слышал, как молилась мать...

— Так, по-твоему, люди молятся, чтобы Бог услышал их?

— Конечно. И молитва может творить чудеса.

— А вот тут ты заблуждаешься. Чудеса творит только вера. Если бы у человека было веры с горчичное зерно, сказал Иисус, он мог бы двигать горы. А горчичное зерно — это очень маленькое зерно, Добрыня. Молитва же нужна для того, чтобы люди, эти несчастные, по большей части злые существа, могли сосредоточиваться на своей вере. Святые полны веры и без молитвы. А мы должны отгонять свое ничтожество и грехи прочь — и молитва, молитва, Добрыня, помогает нам. Я много раз говорил тебе: слушай, как растет трава. Ты не понимал. И не понимаешь. И почти никто не понимает. Так вот, молитва для христианина — это когда он начинает слышать свою веру. Сонм забот и сует не подпускает его к вере. Молитва — не цель, а способ услышать свою веру самому и дать услышать ее Богу. Это непростой разговор, Добрыня, и я рад, что ты его сам завел. Не спеши... Только не спеши, Добрыня. Очень легко надорваться.

Так мы ехали на юг. Учитель был искусен во всем: ловил рыбу, собирал коренья, без промаха бил дичь из лука. Я старался учиться. Когда мы заезжали в деревни, Учитель был приветлив, но немногословен. Все чаще он испытующе посматривал на меня.

Так прошло много дней. Однажды мы свернули с тропы и поехали по лесу. К закату мы выехали на берег реки. На красном небе я увидел холмы и на них — стены, башни — так много, что я и представить себе не мог.

— Что это, Учитель?

— Это Киев, Добрыня.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Только потом, через много лет, я стал без смущения входить в княжеские дворцы — через много лет, когда меня там ждали и всегда рады были видеть, иногда — весьма рады, потому что князья, в том числе и великие князья киевские, часто искали нашей помощи, а иногда И защиты. Понадобилось много лет, чтобы я без трепета представал пред светлы очи князя, пристально и подчас Даже холодно испытывая его лицо, чтобы понять, чего мне ждать на этот раз, и перебирал в уме бояр, с которыми нужно переговорить, и друзей, которых хочется повидать.

Тогда же, в одиннадцатый год после крещения Руси, я был шестнадцатилетним юнцом,

сердце которого замирало при одном виде города, который был совершеннейшим чужаком среди людей, казавшимися ему необыкновенно значительными и особенными, и с которыми, как он думал, ему никогда не сравняться.

Учитель, спокойно поясняя мне, что за дома мы проезжали и что за люди жили на той или иной улице Киева, так спокойно, словно все это было в порядке вещей, и Киев — сотый город, который я вижу, двигался в каком-то нужном ему направлении. Когда сердцебиение мое немного улеглось, когда пропал проклятый туман в глазах и я снова стал понимать то, что мне говорил Учитель, я понял, что влюбился в Киев с первого взгляда; как оказалось в дальнейшем, я не ошибался, и этот город, Мать Городов Русских, действительно запал в мое сердце навеки. Родившись в равнинном краю, я был с самого начала очарован киевскими холмами, которые приближали город к небесам; как я узнал позже, все великие города мира были основаны на холмах, и я думаю, что в этом есть какой-то особенный смысл, Божья подсказка.

Тщеславие мое было удовлетворено в полной мере: хотя киевляне были привычны к богатырям несравненно больше, чем наши пахари и рыбаки, они тем не менее питали к ним большое благоговение, как и вся Русская земля, и снова я ловил восхищенные взгляды, и снова часть их совершенно незаслуженно перепадала мне, и~ я уже приосанивался, сунул брови, поправлял без надобности меч — хитрый юнец, в котором, как видно, действительно что-то было, если он сумел так быстро и ловко приспособиться. Учитель ничего не говорил мне, но, конечно, все замечал.

Неспешно продвигались мы по киевским улицам, и вот впереди показался громадный дом за бревенчатой стеной; он сверкал слюдяными окнами, и я никогда не видел такого огромного.

— Что это? — спросил я Учителя.

— Это дворец князя Владимира, — отвечал он.

— Самого князя?!

— Да, самого князя.

Мы приблизились к воротам. Учитель махнул рукой стражникам, те, не колеблясь, распахнули ворота, и мы оказались внутри... В голове у меня помутилось. Мы — в княжеском дворце! Какого ни был я высокого мнения об Учителе, но в этот миг, неожиданно для себя, понял, что все равно недооценивал две вещи: его могущество и то будущее, которое он предлагал мне. Учитель посматривал на меня. Я молчал, стиснув зубы, хотя сердце мое снова билось бешено. Я почти ничего не видел вокруг. Вслед за Учителем я слез с коня; он говорил что-то кому-то; я ничего не слышал. Он взял меня за плечо и повел за собой. Какое-то время мы ждали в темном зале, потом двери растворились, и мы пошли по узким коридорам и лестницам; я никогда не думал, что лестницы могут быть такими высокими, а коридоры — такими длинными; мы поднимались, казалось, к самому небу. Неожиданно мы остановились у двери, стражник отворил ее, и мы вошли.

Это была маленькая комната, очень светлая, и в ней стоял человек. Учитель низко поклонился, я неловко склонился до пола, гадая, что за боярин вот так, с порога, захотел видеть Учителя. Человек, что стоял у окна, был крепко сложен, сед, и лицо его было непроницаемо. На щеке — глубокий шрам. Глаза его, цвета подтаявшего льда, бесстрастно обшаривали мое лицо. Он не говорил ни слова, и от его взгляда я потупился.

— Здравствуй, Никита, — наконец промолвил он.

— Здравствуй, великий князь, — ответил Учитель.

Я снова полетел куда-то... Это был сам Владимир, великий князь киевский...

Когда я снова смог соображать, я понял, что упустил начало разговора; но я был как нельзя более удачлив, потому что разум вернулся ко мне, когда они говорили обо мне. Представляю, что бы я испытал, если бы затмение продолжалось дольше, и я очнулся бы только, когда Учитель дотронулся бы до моей безмозглой головы.

— Ученик? — сказал великий князь задумчиво, все так же бесстрастно глядя на меня.

— Да. Его зовут Добрыня.

— Откуда он?

— Из-под Новгорода.

— Ты не мог найти себе ученика при моем дворе, Никита? — сказал великий князь недовольно. — Я давно уже думаю о том, что пора велеть богатырям выбирать учеников среди боярских детей в Киеве.

— Как ни велика твоя власть, князь, а ты не можешь приказать людям брать невест из одного только дома.

— Невест? Но ведь ученик — не невеста.

— Если ты доверяешь моему суждению, то поверь мне: легче найти жену себе, чем ученика.

— И чем же он так хорош? Я что-то ничего особенного в нем не вижу. В свою дружину я бы его, может быть, и взял бы, если бы он показал, что кроме широких плеч у него есть еще ловкость и смелость.

— У него есть больше, чем ловкость и смелость. Когда-нибудь твои сыновья будут принимать его так же, как ты принимаешь меня.

— Предположим, я поверю тебе... Но зачем ты не оставил его внизу? Зачем... — И он презрительно посмотрел на меня.

— Он теперь часть меня, и куда пускают меня, туда должны пускать и его.

— Хорошо. — Великий князь провел ладонью по лицу, и я понял, что он забывает обо мне. Я заметил, что он неотступно думает о чем-то и что разговор обо мне — это всего-навсего словесная игра с Учителем.

— Я рад, что ты здесь, Никита. Мне нужен сейчас твой совет. И, может быть, твоя помощь.

— Я всегда рад служить тебе, чем могу.

— Ты многое можешь. По делам тебя знаю... — Он помолчал. — Никита, случилось несчастье. Я лишился власти. — Князь то сжимал, то разжимал кулаки, но стоял все так же неподвижно, и это поразило меня: обычные люди в несчастье мечутся, как затравленные звери. — Не думай, я не сошел с ума. Я — великий князь и до поры до времени венец свой держу. Но я лишился залога власти; значит, и сама власть скоро падет. Слушай.

Много лет назад я крестился в Корсуне, на берегу моря. Вокруг толкалась пропасть людей — царьградцы постарались. Великое зрелище было, да... Крестившись в Васильевской церкви, принимал я дары. И приплелся дряхлый монах с Афона и прошамкал, что Святая гора благословляет меня на долгое и счастливое правление даром своим — частью Креста Господнего. Шепнул старик: великая это святыня и охранять будет меня и мою власть. Не очень поверил я в это — не знал еще, что такое Афон, да и что такое Крест Господень понимал смутно, — князь быстро перекрестился, — но приказал заделать частицу в золотой браслет, который стал носить на правой руке, высоко, под самым локтем, чтоб меньше видели...

— Тонкая виноградная лоза с тремя гроздьями...

Великий князь хмуро покачал головой:

— Я всегда говорил, что ты особенный богатырь, Никита. Спроси у Ильи, что такое виноградная лоза, или просто, в каком платье я был вчера, он не ответит... Да, это был браслет, как виноградная лоза с тремя гроздьями. Но ты не знал, что в нем была заключена частица Креста Господнего. И никто не знал. Почти... никто. Я, как уж сказал тебе поначалу, не придавал браслету особого значения и через год снял: он сделался мне мал. На другое утро в лесу на моего коня вдруг рухнуло молодое здоровое дерево; я спасся чудом. После этого я никогда не расставался с браслетом, только снимал его на ночь — он действительно был мне мал — и клал в изголовье под подушку. Только один раз я забыл его надеть, потому что был разбужен гонцом, получил страшную весть и поспешил на тайную встречу к Днепру... В это самое время в покоях княгини рухнул светильник; люди видели — сам собой; во дворце начался пожар. И я понял, что в этом браслете — моя жизнь и моя власть. С тех пор, как бы я ни торопился и какие бы вести среди ночи ни получал, я всегда успевал

надеть браслет.

Семь ночей назад я проснулся от жуткого звука. Я очень чутко сплю — великому князю лучше не спать вовсе, — а тут я услышал то, что всегда бросало меня в холодный пот, — змеиное шипение. Шипели змеи — как когда весной в ложине наталкиваешься на их сплетенный брачующийся клубок. Я не дрогну, если о мое изголовье звякнет чей-то меч, но змеи повергают меня в ужас. Я соскочил с постели и бросился вон с криком «Огня!». Когда принесли свечи, мы осмотрели всю комнату, но никаких змей в ней не было. В отвращении я решил тем не менее переменить ложе, но, когда сунул руку в изголовье — браслета не было. Я приказал слугам перетрясти все — ведь они рылись в постели и могли уронить браслет на пол, но они ничего не нашли.

Я знаю своих слуг с детства. И все равно я приказал обыскать их. До слуг в комнате никого не было — я стоял у дверей вместе со стражем и могу поклясться, что никто не входил в комнату и не выходил из нее... И вот теперь я сижу во дворце, боясь выйти на крыльцо, потому что мне грозит смертельная опасность, бороться с которой я не в силах; я лишился защиты и, видимо, скоро лишусь жизни или власти.

Он умолк, все так же неподвижно стоя у окна. На лбу его набухли жилы.

— Кто знал о твоём браслете, великий князь?

— Жена, сыновья и слуги. Даже если... даже если кому-то придет в голову заподозрить их... они не входили в комнату после того, как я выбежал из нее.

— Чего же ты хочешь от меня? — мягко спросил Учитель.

— Найди его! Или хотя бы скажи мне, что ты чувствуешь своей Силой.

Наступило молчание.

— Я чувствую, князь, что тебе действительно не надо выходить из дворца еще несколько дней. Еще я чувствую, что опасность не так велика, как тебе кажется. Я прошу — дай нам осмотреть комнату.

— Охотно. Только предупреждаю тебя, Никита: я, я, великий князь киевский, исползал комнату вдоль и поперек, как последний червяк. Там нет ни одной щели, в которую мог бы закатиться браслет. Или... откуда могла бы выползти змея.

— И еще прошу тебя — позволь нам быть с твоей семьей сегодня вечером.

— Хорошо. Но каковы бы ни были твои кощунственные мысли, запомни: никто не выходил из комнаты после того, как выбежал я.

Тут что-то шевельнулось во мне, и, прежде чем я смог подумать, с языка сорвалось:

— Но ведь кто-то мог выйти, пока ты спал, великий князь.

Впервые князь заметил меня, и я узнал, что такое княжеский гнев.

— Щен! Раб! Пыль! Встревать в разговоры! Даже моим детям это заказано! Ты распустил своего ученика, Никита.

— Он еще очень молод, не сердись на него.

Я почувствовал — даже не я, а что-то во мне, что обособлялось от меня все больше, что великий князь гневался не только на мою дерзость...

— Могу ли я спросить тебя, — как ни в чем не бывало продолжал Учитель, — была ли княгиня с тобой в эту ночь?

— Нет, я был один... Итак, слуги проводят тебя в спальню, а вечером — туда, где я буду с семьей.

Учитель поклонился; я тоже, позвоночником чувствуя гневный взгляд князя.

Когда мы вышли из комнаты и стояли, ожидая слуг, Учитель, усмехнувшись, сказал мне тихо:

— Никогда не говори князьям все, что ты думаешь, Добрыня. Если будешь говорить то, что думаешь, будут судить тебя по словам, и даже великие подвиги ради князей не спасут тебя от их гнева. Сегодня ты сильно озлил Владимира. И если бы не я, не уверен, что он не отправил бы тебя прямиком в подземелье... Давай князьям только то, чего они просят — подвиг или разгадку, а мыслей своих им не давай. Никому не поверяй своих мыслей, Добрыня.

Я был посрамлен.

Нас провели в спальню, где случилась пропажа. Учитель оглядел все. Потом сказал:

— Здесь даже сквозняков нет. Я отведу тебя к княжичу Святополку. Он твой ровесник. Вы будете биться на мечах. Он бьется лучше тебя; ты вообще еще очень мало что умеешь. Но я скажу ему, что ты опытный воин. И Боже упаси тебя, Добрыня, поймать счастливый случай. Княжич должен всегда побеждать.

Святополк не понравился мне сразу. Он был похож на хоря. Устрашающие черты его отца выродились в малопривлекательное личико мелкого хищника, знающего, что он может справиться со своей жертвой одной лишь хитростью. Но все-таки он был хищник, жестокий по природе (потом я понял: как и отец его), и бурно радовался своим легким победам над мной. Опьяненный успехом, как и все двуногие хори, он преувеличивал силу побежденного противника и искренне считал меня настоящим учеником богатыря, умеющим драться на мечах.

— Нелегкий бой, — сказал он, отирая пот. — Раз ты ученик Никиты, ты и должен хорошо биться. А Никита бьется гораздо лучше, чем мой отец.

Мне почудилась нота презрения в его голосе.

Святополк небрежно кивнул мне, и мы расстались. На мгновение я был оскорблен тем, что княжич не удостоил меня разговором, а потом сердце мое повернулось: я, юнец из Богом забытого Заплавья, только что бился на мечах, что уже само собой было восхитительно, — с самым сыном великого князя киевского! Ошеломленный этим прозрением, я глупо блуждал по двору, пока ко мне не подошел юнец моих лет.

— Ты правильно сделал, что поддался, — сказал он шепотом. — Нелегко было сдерживаться, да? Святополк — он зверь, он бы извел тебя, если бы ты победил. Я Данила, я служу во дворце и просто хотел сказать, раз ты в первый раз здесь, — остерегайся Святополка. Его братья, Борис и Глеб, совсем другие, правда, они сильно младше, но — руку даю на отсечение, — когда подрастут, не будут такими зверьми. Да и старшие братья — Ярослав, да? — лучше...

Наученный горьким опытом, я уже держал язык за зубами и не бухнул, что Святополк напомнил мне хоря и что на мечах биться я почти не умею. Признаться, я соскучился по сверстникам за время странствий с Учителем и увлекся разговором. Данила быстро поведал мне, что великий князь последние дни «сам не свой», видно, что-то стряслось, наверное, какое-то дурное знамение, все во дворце настороже, все боятся, как бы с великим князем чего-либо не случилось, потому что Святополк так и метит править и свирепствовать, что он ненавидит братьев и отца, как говорят, ненавидит тоже, что пользуется именем княжича и не дает прохода девушкам, причем, зашептал Данила, хвастается, что спит с теми же, что и его отец. Тут на крыльце появился Учитель и знаком велел подойти. Я наспех попрощался с Данилой и бросился к нему.

— Я уже слышал, что Святополк победил одного из лучших воинов земли Русской, — сказал Учитель с улыбкой. — Что тебе рассказал этот мальчик?

Я честно повторил, смертельно покраснев, все, что узнал о похождениях Святополка. Учитель посерьезнел:

— У Святополка душа волка, а сердце лисье. Насколько я знаю, все, что тебе рассказали, — правда. Я узнал кое-что очень важное: в ту ночь князь был не один. С ним была дочь сокольничего — Настя. Тринадцати лет, между прочим, да... Он велел обыскать и ее — браслета при ней не было. Так что мы остаемся, Добрыня, с князем, скрывающим свое распутство, Святополком, мечтающим вырвать власть из рук отца, и шипением змей... Пора, князь собирает свою семью.

Вечер с семьей князя оказался мне в тягость. Князь был мрачен; смотрел на огонь не мигая, в точности как ненавистные ему змеи. Домашние не отваживались его развлекать. Все, как показалось мне, ходили под бедой и переговаривались шепотом; один Святополк был возбужден. Он то и дело бросал испытующие взгляды на отца. Учитель старался поддерживать разговор, что было нелегко; он рассказывал о своих странствиях в восточных

землях. Князь сидел неподвижно, иногда по привычке спрашивал о военной силе царств, которые видел Учитель. Младшие сыновья — Борис и Глеб — быстро увлеклись рассказом; глаза их сияли от возбуждения. Я же слушал вполуха, думая о проклятом браслете.

В голове у меня сложился план, и я понял, что во что бы то ни стало должен повидать Настю.

Наконец, князь тяжело поднялся; мы распрощались, и я сказал Учителю, что хочу найти Данилу, — это было полуправдой, потому что только он один мог помочь мне. Учитель кивнул.

Данила был польщен. Я завел разговор о похождениях Святополка. Данила слегка смешался, но, когда я произнес «Настя», закивал и прошептал, что Святополк похвалялся именно ею, когда говорил о победе над отцом.

— Вот бы посмотреть на нее, — сказал я.

— Не надо, — сказал Данила. — После того как что-то случилось наверху, она плачет.

— Только гляну издали, — упрасивал я.

Данила быстро сдался и, пугливо озираясь, повел меня длинными переходами; наконец, застыл перед одной дверью и тихонько приоткрыл ее.

В ту минуту Настя не плакала. Она сидела на лавке, неподвижно глядя перед собой и будто видя кого-то, — как я понял потом, так сидят только женщины в часы горя. Она была высокая, тоненькая, похожая на мальчика.

— Данила, кто-нибудь здесь умеет подражать звериным голосам?

— Конечно. Конюший князя.

— А кто еще?

— Многие пробуют, но он — от глухаря или от лося не отличишь. Князь часто берет его на охоту.

«Что делать?» — вертелось у меня в голове. Конечно, по совести надо было пойти к Учителю и рассказать ему, что пришло мне на ум. Но глупая жажда заслужить похвалу самостоятельным деянием побудила меня пробормотать:

— Я хочу поговорить с этим конюшим.

Данила смотрел на меня с сомнением. Все это, как видно, начинало ему казаться немного подозрительным. Но я как-никак приехал с Никитой и, более того, считался его учеником, и, пожав плечами, Данила повел меня к конюшне. С замирающим сердцем я услышал тихое ржание переговаривавшихся коней, но в конюшню войти не успел: дверь отворилась, и из нее вышел человек. Он остановился и смотрел на нас. Это был Учитель.

Неимоверный стыд и раскаяние охватили меня. Я пробормотал Даниле, что Учитель уже, видно, переговорил с конюшим (чем, как я понял позднее, только утвердил себя в его глазах — я действовал вместе с богатырем ради какой-то таинственной цели!), и виновато приблизился к Учителю.

— Да, Добрыня, ты переусердствовал. Ты хотел доказать мне, что умеешь думать. Доказал. Но ты сделал ошибку. Ты мог и не возбудить подозрений сверстника; конюший же несомненно заподозрил бы неладное и не только отказался бы с тобой говорить, но и, пожалуй, позвал бы стражу. Когда во дворце неладно, слуги настороже. Ладно, ты быстро учишься. Давай поговорим о другом. Я рад, что ты, впервые попав в княжеский дворец, не растерялся и, более того, разгадал загадку, которую великий князь киевский, со слепотой отца, разгадать не смог. Ты был на верном пути и когда пошел поглядеть на Настю, и когда шел к конюшему. Скажу больше — ты помог мне, когда передал разговор с Данилой. А теперь пойдем к князю.

Нас не хотели пускать. Князь только-только заснул, говорили нам. Учитель устало потер лоб и сказал:

— Передайте князю, что прибыл гонец с вестью о змеях.

Страж, явно опасаясь княжеского гнева, равно если разбудить и если не разбудить, нерешительно нырнул в спальню. Послышался громовой рык, потом Владимир прокричал:

— Князь зовет гонца!

— Гонец — это мы, — сказал Учитель, отодвинул стража плечом и вошел в спальню.

Князь сидел, привалившись к стене. В руках его был кинжал. Даже на ночь он не снял кольчугу.

— Мы принесли тебе разгадку, великий князь. Я говорю — мы, потому что Добрыня был со мной и даже иногда впереди меня. — Князь на мгновение прикрыл глаза, потом посмотрел в лицо Учителю, и я ужаснулся, что будет, если мы ошиблись. — Скажи мне прежде, хорош ли сон у твоего сына Святополка?

Князь медленно провел ладонью по шее; как видно кольчуга его душила.

— Если ты пришел говорить загадками, Никита, ты выбрал неподходящее время. И плохого отгадчика. И — не шути со мной, Никита...

— Если я ошибусь, великий князь, я отвечу за это. — Князь молчал. — Если трое мужчин тихо войдут в спальню Святополка, когда он спит здоровым сном неопытной молодости, он проснется?

— У него крепкий сон. Он еще не знает всех опасностей жизни. Но что ты хочешь от меня, Никита? Говори, потому что мне сейчас не до хитросплетений твоего ума.

— Я хочу, чтобы мы вошли в спальню Святополка. Чтобы ты поверил, что я на правильном пути, скажи мне, в ту ночь та, что была с тобой, выходила из комнаты?

Князь глухо застонал:

— Так об этом уже говорят все... Нет, Никита, ты ошибаешься. Когда она выходила, я проснулся и проверил, на месте ли браслет. Я не настолько глуп. Браслет пропал, когда мы... оба выбежали из спальни.

— И натолкнулись на Святополка.

— Его спальня рядом с моей. Его разбудил мой крик... Подожди... Откуда ты знаешь, что она выходила?!

— Раз я узнал что-то о той ночи, чего ты не говорил никому, значит, я знаю и где твоя пропажа. Пойдем?

— Ты хочешь убедить меня, что мой сын — вор, замышляющий лишить меня власти... Но даже если я поверю тебе... что он подкупил ее... ты забываешь про слово, с которым вошел только что: змеи!

— Прошу тебя: пойдем к Святополку.

Князь с лицом, которое не предвещало ничего хорошего, молча поднялся. Тихо мы прошли по коридору. Владимир сделал знак стражу у дверей спальни сына. Крадучись, мы вошли.

У кровати горела свеча; Святополк спал, лежа на Животе и отвернувшись к стене. На его правой руке, обнимавшей подушку, я увидел золотой браслет в форме виноградной лозы.

Мы стояли молча. Украдкой я смотрел на великого князя. Лицо его было страшно. Он повернулся и пошел вон.

Когда мы снова стояли в его спальне, князь прошептал:

— Но змеи?

— Я объясню. Судить твоего сына тебе. Скажу лишь одно: его хитрость и отвага направлены в дурное русло. Уже давно Святополк считает своим долгом совращать тех девушек, которых совращаешь ты. Но поначалу ему не везло: ни одна не соглашалась сделать то, что он просил. Допроси потом Настю — нам бы она ничего не сказала; тебе откроется. Спроси также своего конюшего, учил ли он Святополка звериным языкам и не спрашивал ли княжич, как шипеть по-змеиному. А было все так.

Решившись выкрасть браслет, в котором, как он полагал и как полагаешь ты, заключены твои жизнь и власть, он уговорил Настю сыграть с тобой шутку. Настя такого же роста, что и Святополк, и в полутьме, да еще в ночной рубашке, легко принять Настю за твоего сына. Что и сделали стражи, когда Настя вышла из комнаты, а вернулся вместо нее Святополк. Ведь Настя всегда прятала лицо, когда проходила мимо, она смущалась до обморока, ведь ты старался делать с ней нечистое тайно, верно? Итак, вместо Насти на твое ложе вернулся Святополк. Он знал, что браслет можно выкрасть, только когда ты был бы в

смертельном ужасе. А Святополк знал, что только одна вещь на свете страшит тебя: змеи. И он выучился змеиному шипению загодя, сам. Конюший божится, что только раз показал ему змеиный шип — вместе с ревом лося и другими голосами. И Святополк — а он искусен во многом! — применил свое умение. Ты в ужасе вскочил; тут он запустил руку под подушку, схватил браслет и выбежал вместе с тобой из спальни; пока сбегались слуги, Настя уже была у двери, и ты был в полной уверенности, что это она выбегала с тобой из комнаты и что Святополк только что прибежал из своей. Я не говорил с Настей, но знаю, что Святополк упрашивал ее только пошутить. Святополк же перенял от тебя веру в то, что браслет приносит счастье только тому, кто его носит. Он не мог надеть его днем (конечно!) и поэтому надевал его ночью, что, имея крепкий сон, было неосмотрительно. Вот что на самом деле произошло, и вот почему ты сейчас можешь вернуться в комнату сына и снять браслет с его руки. Впрочем, думаю, на этот раз он проснется...

Учитель умолк. Князь помолчал и сказал:

— Подожди. Мне нужен мой браслет, — и тяжелыми шагами вышел из спальни.

Я услышал грохот, вопль, а потом злой скулеж подавленной боли.

Князь вернулся очень скоро. Виноградная лоза мерцала на его руке. Он помолчал и спросил:

— Чем я могу отплатить тебе, Никита?

— Я прошу тебя беречь княжеский престол и себя. Мы никогда не знаем, великий князь, откуда ждать беды. Я прошу тебя сохранить в тайне то, что кто-то помог тебе найти разгадку. И еще одно. На этот раз я был не один. Мой ученик был со мной, и он шел к разгадке без моих подсказок и даже помог мне. Его зовут Добрыня. Сегодняшний вечер доказал: когда-нибудь он будет полезен тебе так же, как и я, и, как почему-то кажется мне, даже больше. Он будет не обычным богатырем, этот Добрыня... Я прошу тебя запомнить это имя.

Великий князь посмотрел на меня. Как ни был он удручен предательством сына, какие предчувствия ни терзали его, взгляд его был властен, тяжел и внимателен, и я почувствовал, что он действительно запоминает меня и что отныне я буду для него уже не просто деревенским юнцом, взявшимся ниоткуда.

В эту ночь я плохо спал: мне снился Святополк; он угрожал мне.

Наутро мы выехали из Киева. Учитель молчал, погруженный в свои мысли, и, только когда мы миновали предместья, вдруг усмехнулся и сказал:

— Никогда не бойся змей, Добрыня.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Три года прошли в учении и странствиях...

Зимы мы проводили под Новгородом, в Заплавье, у моей матери. Как ни молод я был, я видел, чего ей стоила разлука со мной. Но мой путь был выбран, и теперь ничто не могло заставить меня повернуть назад. В Заплавье я уже стал легендой; Учитель охотно разговаривал с моими земляками, впрочем, не рассказывая о своих подвигах, а скорее о землях, где он побывал, и о полезных вещах, которые он там увидел.

К концу третьей зимы я уже сносно бился на мечах; конечно, я не шел ни в какое сравнение с Учителем, но, как он говорил, чтобы победить его, мне надо привыкнуть к настоящему бою — и тогда все получится. К настоящему бою, легко сказать. Я не боялся его, я рвался в него, но настоящего боя все не было: Учитель берег меня. Как я сейчас понимаю, глядя на учеников моих товарищей, я действительно быстро учился, и, видно, не зря Бог привел Учителя к нашему порогу. Теперь я часто понимал Учителя с полуслова, с полувзгляда. Мне стало легче понимать людей вообще. Все чаще я думал о Христе и молился Ему; Учитель научил меня этому, когда я попросил. Как велел Учитель, каждый день я проводил долгое время в созерцании, но как я ни бился, передо мной была словно закрытая дверь. Со временем я успокоился и перестал страдать от своей ничтожности, а

просто уходил в глубину разума, ища там разгадку того, как услышать, как растет трава. Внезапно из Киева пришла весть: степняки по весне двинутся на Русь. Не дожидаясь, пока просохнут дороги, мы снялись с места и двинулись к месту сбора ратей. Учитель, наконец, решил проверить меня в деле...

Однажды под вечер я собирал хворост для костра (Учитель не любил рубить живые деревья, говоря, что этого не хотят не только обитатели леса, многие из которых обладают разумом, но и сам Бог). Внезапно незнакомое раньше чувство охватило меня. Я вдруг понял, что в каждой ветке хвороста под ногами заключена высшая правда и что я могу чувствовать эту правду, которую ни один смертный не опишет словами, что я ее уже чувствую, я ее уже знаю, я — принадлежу ей! Забыв все на свете, я бросился на поляну с криком: «Учитель, я слышу, как растет трава!»

Учитель посмотрел на меня сурово и сказал:

— Я задам тебе вопрос, который Понтийский Пилат задавал Иисусу, а Иисус промолчал. Итак, что есть истина?

— Это ветка хвороста под ногами, — не задумываясь, отвечал я.

— Да поможет тебе Бог, Добрыня, — сказал Учитель и пошел к лошадям.

Все еще переживая свой восторг, я бродил по лесу, улыбаясь дурацкой улыбкой; все казалось мне возможным в этот вечер, и ничему не было преград.

Стемнело. Мы сидели у костра. Учитель, как часто бывало, молчал, но теперь я понимал, что и молчанием он учил меня. Наконец, он заговорил:

— Пришел час, Добрыня, поговорить о злом. Мы много говорили о добре, и ты сам теперь знаешь, что почти все вокруг — добро. Но надо поговорить и о зле... Зло действует вокруг нас. Зло руководило Святополком, когда он крался в спальню отца; зло водило князем Владимиром, когда он взял себе наложницу.

Бог дает каждому выбор — быть добрым или злым, и каждую минуту мы отвечаем на его немой вопрос: кто ты? Но есть люди, которые сеют только зло и которых нужно выкорчевывать с корнем, хотя нет растения, которое заслуживало бы такой участи... Святополк, боюсь, один из них. Но он мелок, и, каковы бы ни были его мечтания, только случай, вознесший его в княжеские палаты, дает ему силы творить великое зло... Но есть люди, которые, не будучи князьями, могущественны, как князья, и даже более.

Есть один человек... когда-нибудь... через много лет... когда ты станешь настоящим богатырем, Добрыня, тебе придется сразиться с ним... Не в рукопашном бою; он не таков. Кабы он был таков, он бы не был страшен... А просто однажды к тебе приблизится странник и попросит воды — именем Христа. И ты дашь ему воды, и он прильнет к твоей фляге губами и поблагодарит тебя, поклонится низко и уйдет. А потом ты глотнешь воды из своей фляги, почувствуешь невыносимую боль в кишках и жжение и умрешь. Вот как это может быть. Поэтому я и учу тебя. Драться смог бы научить тебя кто-нибудь иной, не я. А я с тобой для того, чтобы, когда он подойдет к тебе, ты бы плеснул ему водой в лицо и осенил себя крестным знаменiem; если даст Бог, чтобы ты всегда узнавал его, в каком бы обличье он ни представал перед тобою, чтоб ты преследовал его и приблизил его конец...

— Кто это? — спросил я шепотом, чувствуя, как ночь давит мне в спину, воображая, что уже сейчас недобрые глаза смотрят на меня из черноты.

Учитель молчал. Он ворошил угли; тени плясали по его лицу.

— ...Волхв? — выдавил я.

— Ты уже слышал это имя, — откликнулся Учитель тихо. — Не от меня. Я берег тебя от него. Но оно на устах у всех. Говорят, если назвать его по имени трижды, то, где бы он ни был, он встрепечется и услышит...

Я в это не верю, но на всякий случай старайся пореже произносить это имя.

— Да... Я слышал... от людей... Им пугают детей...

— Им пугают детей, им пугают друг друга. А некоторые клянутся его именем, это его слуги... Если бы он был один, он не был бы страшен; что может сделать один, даже могущественный, человек?

— Так он человек?
— Я вижу, пришло время рассказать тебе о нем. Ты правда хочешь это услышать? Ты готов?

— Почему ты спрашиваешь, готов ли я, Учитель?

— Потому что я знаю тебя. Как только ты узнаешь про него то, что знаю я, ты уже будешь не таким, как прежде. Уже и весна, и лето не будут дарить тебе беспечность, уже и в солнечном свете ты будешь искать его глаза. Ты не будешь знать покоя ни днем ни ночью. Что бы ты ни делал, сердце-сторож будет говорить тебе: бди, Добрыня.

— Я готов.

— Хорошо... Не оглядывайся; его здесь нет, я чувствую это. Скажу больше: тогда я покину тебя, когда увижу, что ты чувствуешь его так же хорошо, как я. Что можно видеть, не видя?

— Все.

— А сможешь ли ты видеть все?

— Нет. Я слаб для этого.

— Все же я научил тебя чему-то... Что ты чувствуешь сейчас? Забудь о том, чего ты боишься; забудь о том, чего ты хочешь. Что ты чувствуешь вокруг?

— Лес... Он живет... Хотя шум ветра не дает мне ничего слышать, а тьма видеть, но я вижу и слышу... Я вижу: сотни глаз глядят на наш костер. Я слышу: сотни лап ходят вокруг поляны... Медведь... Рысь: близко!

— Смотри на огонь, смотри...

— Кроме нас, в лесу ни человека... Ни огня... Я чувствую что-то еще: леший? Леший, Учитель?

— Да. Есть ли рядом вода?

— Нет... То есть она есть, но это болота... Они ведут в еще больший мрак...

— Что ты еще чувствуешь?

— Больше ничего.

— Достаточно и этого. Я могу добавить, что медведь уже ушел, что рысь лежит на суку шагах в тридцати за моей спиной, что местный леший слаб, что болото глубоко и где-то в глубине его лежат погибшие люди... Я боюсь, что ты никогда не будешь чувствовать так, как я. Ты не ясновидец, ты богатырь. Но ты будешь особенный богатырь...

Итак, слушай про Волхва.

Он — не Сатана, не дух, не упырь, что бы про него ни говорили. Он человек. Причем — мне горько говорить это — русский человек.

— Русский?

— Да, Добрыня, тебе, конечно, хочется, чтобы он был половцем или булгарином, но, увы, — он русский, и нет у Русской земли врага злее, чем он. Насколько я знаю, он родился в Киеве около сорока пяти лет назад. От рождения он был наделен сердцем, впитывающим зло, как земля — воду. Говорят, что отец его — сам Сатана, но это вряд ли правда. Я думаю, что родился он от смертных родителей; и сам он смертен. С детских лет вертелся он около колдунов, и кто-то посвятил его в обряды Врага Рода Человеческого, именем которого он и живет сегодня. Когда ему было примерно столько же лет, сколько тебе, когда ты стал моим учеником, он ушел далеко на Восток. Там за степями есть горы; я тебе рассказывал о них. Там творятся особые, чудные дела, и тамошним людям ведомы многие тайны, неизвестные нам, потому что там бьется исполинское сердце земли. Говорят, что Господь наш Спаситель Иисус Христос странствовал там: подумай, отчего в Евангелиях ничего не сказано, где он был с детских лет до тридцати? Иисус был там, чтобы прильнуть к сердцу земли, чтобы яснее слышать голос Бога живого. Волхв был там, чтобы научиться колдовству. И он стал колдуном — таким, каких нет больше на Русской земле. Несколько раз я сходил с ним — и всегда бывал побежден. Он умеет многое, а то, чего не умеет он, умеют его слуги — злые сердца земли Русской. Но не бойся: он не всемогущ. Он не может переноситься из одного места в другое по воздуху: как мне и тебе, для этого ему нужен конь. Он не может

превратить тебя в змею; но он может лишить тебя рассудка, если ты не будешь уметь противиться.

Он сеет зло там, где другие сеют добро. Он разжигает раздоры на Русской земле и навлекает на нее напасти, но самая большая напасть — я чувствую — впереди, когда кончится и мой век, и твой тоже. Нет, он не вечен. Не вечно и зло; но оно долговременно. Когда-нибудь он умрет: но кто-то станет на его место, кто-то станет вторым Волхвом.

— Что же тогда делать мне... нам?

— Нам — бороться с ним, покуда мы дышим. Если тебе повезет — а лучше сказать, если благословит Бог, ты сможешь даже его убить. Его сердце так же уязвимо для меча, как любое другое. Но дело в том, что он умеет отводить мечи от себя, я это видел...

Но не падай духом; ты не один будешь бороться с ним. Есть и другие люди, которые знают, кто он такой, и которые не меньше нас с тобой хотят с ним покончить. Не бойся: с годами ты начнешь его понимать... Ты, наверное, думаешь сейчас, что тебе важнее всего понимать меня? Нет, Добрыня, и это урок: важнее всего понимать не Учителя, а врага...

Еще какое-то время голова твоя будет занята богатырскими подвигами; но чем дальше, тем больше ты будешь думать только о Нем; когда-нибудь ты схватишься с Ним — я вижу... Но я не вижу, кто победит...

— К тому времени я уже смогу узнавать его?

— Ты сможешь узнавать его гораздо раньше. Я уже сказал, что не покину тебя, пока не буду убежден в этом.

— Но, Учитель, зачем тебе вообще покидать меня? Разве я не усерден? Разве тебе скучно со мной?

— Эх, Добрыня, родители плачут, когда их дети уходят и основывают свой дом, и дети иногда плачут при этом, но таков закон. Надо человеку отлепиться от родителей и учителей и быть самому по себе. А если повезет, то и самому стать и родителем, и Учителем, и плакать, когда птенцы покинут твоё гнездо.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Бой со степняками был страшен. Волна за волной они накатывались на нас; безбрежное жестокое море степей толкало их вперед; я знал, что они не первые, и чувствовал, что они — не последние. Одна цель — грабить и покорять — гнала их вперед; они были словно стая птиц, гонимых чьей-то волей.

Князь Владимир был во главе войска. Святополк вел в бой свою дружину: что бы ни думал отец о сыне, он видел его своим преемником, должно быть, чувствуя в нем такую волю, какой не было ни у Бориса, ни у Глеба, ни у старших братьев.

Владимир узнал меня. Он кивнул, когда проезжал мимо. Учителя в этот момент не было рядом: он сказал, что в моем первом бою будет достаточно близко, чтобы помочь мне, и достаточно далеко, чтобы я забыл о нем.

Мне было самому странно, но я не волновался перед боем. Какая-то холодная решимость овладела мною. И когда Владимир двинул войска вперед, я был в первом ряду атакующей конницы. Я не думал о тех, на кого я летел, как о людях, хотя они были на самом деле несчастные, сбитые с пути, мои братья; я видел в них лишь одно: они были врагами. И я бился с ними, и меч был легок в моей руке, но я не удивлялся этому, потому что внезапно я понял, что ученик Учителя не может драться по-другому, и вот уже я не сражался с ними, а теснил их, и они обращались в бегство.

Наши войска сражались храбро, и мы выиграли бой. Потом, разгоряченные, мы возвращались в наш стан; кони, нервно храпя, переступали через безжизненные тела. И тут внезапно мое горло сжалось, и я снова был мальчиком — неужели расплачусь? — я увидел лежащего на спине степняка; лицо его было снесено мечом, и живая трава склонялась над ним, словно пытаясь оживить; ветер шевелил ее, и она то пригибалась к мертвому, тормоша его, то смотрела на меня, как бы в недоумении спрашивая: что же это. Я услышал, как растет

травы, и теперь был наказан: она со мной заговорила.

Товарищи подъезжали ко мне и восхищались мною. Я стискивал зубы, и они видели, очевидно, то, что хотели видеть: бесстрастное лицо молодого богатыря.

Неожиданно меня позвали: великий князь киевский хотел говорить со мной.

Князь сидел в седле, опьяненный победой, не чувствуя лет. Рядом с ним стояли другие всадники: я узнал Учителя, Святополка, Бориса и Глеба.

— Что же, Добрыня, — сказал великий князь, усмехаясь, — сегодня я увидел, что ты воин. Думаю, что это не столько твоя заслуга, сколько Никитина, но доблесть останется твоей бесспорно. Я готов взять тебя в свою Дружину и обещаю, что ты не будешь простым ратником.

Я чувствовал ловушку. И тут я — словно не я, а кто-то старше и умнее меня — сказал:

— Великий князь киевский, похвала твоя незаслуженна. Я всего лишь меч, который выковал мой Учитель. А меч должен оставаться с тем, кому он принадлежит.

— Хороший ответ, — сказал Владимир, помедлив. — Пусть будет так. Теперь я начинаю верить Никите: пожалуй, не мне одному стоит запомнить твое имя. — И он тронул лошадь, и его свита последовала за ним, и я ловил на себе разные взгляды, и очень мало было среди них добрых.

Я остался с Учителем. Мы молчали. Потом, посмотрев ему в глаза, я сказал:

— Учитель, никогда я не был так несчастен.

Он не помогал мне; молчал.

— Ты научил меня слышать, как растет трава. Сегодня она заговорила со мной.

— Грех убивать людей, — сказал Учитель тихо. — Каковы бы они ни были. Мы делаем то, что мы должны делать, но, как я вижу, сегодня трава прошептала тебе обратное. Мне она кричит это без малого тридцать лет.

Ветерок гулял над степью. Наши рати возвращались. Радостные возгласы неслись со всех сторон, но мы были совсем одни. Я посмотрел туда, где земля встречалась с небом, и сказал:

— Учитель, я хочу креститься.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Меня крестили в мелкой реке неподалеку от сечи. Отец Амвросий, один из священников при княжеском дворе, близкий не столько к князю, сколько к Учителю, предлагал мне креститься в Киеве или хотя бы в ближайшей церкви. Но я стоял на своем: здесь, на этом поле.

И я отрекался от Сатаны, и плюнул на него трижды, и, может быть, он действительно был близко: смерть ходила кругом. Я не ощутил дуновения Святого Духа: кто я был, чтобы он снисходил на меня? — но я ощутил дуновение покоя. Великого Покоя, который был сопричастен к моему умению слышать, как растет трава, и ко всем моим пролитым и непролитым слезам; я уже догадывался, сколько непролитых слез будет в моей жизни. Мир обновился; у меня было тихо на душе, и я уже начинал понимать, что тишина в душе — это самое большее, на что может рассчитывать смертный. Я понимал, что я вступил на дорогу подвигов; но ведь Учитель понимал под подвигом совсем не то, что другие люди, и, как мне кажется, моя гордыня в то утро получила сильный удар.

Мы возвращались пешком; роса играла россыпью; травы дорожили ею. Мне не хотелось разговаривать, и я с досадой обнаружил, что нас уже ждут.

Это был гонец от князя.

— Великий князь киевский велит тебе, Никита, спешно прибыть к нему по великому делу. Он находится в тайном месте, я проведу тебя туда.

Уже садясь в седло, Учитель подозвал меня:

— Я никогда не видел этого человека при дворе Владимира. И что это за великое дело и тайное место? Все это странно, весьма странно, Добрыня. Будь настороже.

Они ускакали в сторону леса. В первый раз за три года Учитель покинул меня. Только когда он скрылся из виду, я понял, как странно мне было оказаться одному. Тревога вкралась в мое сердце. Быть настороже? После того, как Владимир был так милостив ко мне, он захотел видеть Учителя наедине? Что же это было за великое дело?

И когда я увидел всадника, стремительно мчащегося ни меня, я уже знал: случилась беда.

Он осадил коня, подняв клубы пыли, и, задыхаясь, выговорил:

— Случилась беда. Никита ранен! Он хочет говорить с тобой!

Не помня себя, я бросился к коню. Мы мчались к лесу, туда, где совсем незадолго до этого исчез Учитель.

— Что случилось, что? — допытывался я, но всадник только хмурил брови и обгонял меня.

Учитель ранен! Я гнал коня из всех сил, чувствуя, что он не может мчаться быстрее, и горько упрекнул Учителя за то, что он так и не подобрал мне богатырского коня. Мы ворвались в лес; мой провожатый поехал шагом. И тут случилась странная вещь: я ощутил холодок в спине, который не имел ничего общего ни с лесной прохладой, ни с отчаянной тревогой за Учителя; это был какой-то смертный холод, как будто я уже падал в свою могилу, — и тут из чащи вылетели пять всадников с поднятыми мечами и бросились на меня.

Той доли мгновения, пока я выхватывал меч, было достаточно, чтобы мой провожатый обрушил на меня первый удар, который я еле успел отбить щитом. «Засада!» Вот она, неожиданная опасность, которая подстерегает меня за поворотом, о которой твердил Учитель, когда учил меня драться! Но мысль эта только вихрем промелькнула в моем сознании, потому что я уже бился, как мог.

Мой провожатый уже падал на землю; я так и не понял, когда я успел нанести удар. Но пять всадников окружили меня; меч и щит мелькали в моих руках, которые словно сами знали свою работу, я вертелся в седле и разрубил шлем одного, но тут я понял, что оставшиеся четверо берут меня в тесное кольцо, из которого мне не вырваться, и через мгновение нанесут смертельный удар сзади, потому что я не мог развернуться в седле. Я сделал резкое движение и соскочил на землю; мой конь отчаянно заржал, потому что, как видно, мечи разрубили его спину, но снизу я успел отсечь кисть нападавшего вместе с мечом и вырваться на свободу.

Враги слегка смешались. Я стремительно огляделся. Провожатый-предатель лежал на земле; всадник, шлем которого я разрубил, сидел в седле, держась за голову, еще один мычал, зажимая окровавленную руку, из которой хлестала кровь. Я бросился на оставшихся троих, и, видно, так был странен бросок обреченного человека, что они невольно отпрянули и выставили щиты, и я наискось полоснул по их ногам. Потом были мгновения, которые я не запомнил; я рубил выше, наталкиваясь на щиты и разрубая плоть и кости, и они отступили, и невредимый шестой всадник отступил с ними же, но ярость бурлила у меня в сердце, и я преследовал их и рубил... Лошади взвились; один всадник упал, и я вонзил меч в его горло. Второго я ударил мечом в пах... Всадник, оставшийся невредимым, подскочил к товарищу, который все еще держался за голову со стоном, и крикнул: — Бежим!

Я, собрав силы, бросился на них, и тут с треском расступились кусты и на поляну вылетел всадник, Учитель. Он с ходу разрубил невредимого всадника — как мне показалось, прямо до седла — и стал исполненным тоски взором искать меня; а когда увидел меня, смертельно бледного, стоящего на земле, то вскрикнул и соскочил с коня.

Он обнял меня; потом обвел глазами поляну и отступил в изумлении.

— Один... против шестерых?!

Всадник с отрубленной рукой скрылся в лесу; еще один лежал недвижимо, придавленный павшей лошадей; третий, с иссеченным боком, тихо подбирался к чаще; четвертый все так же сидел в седле, держась за голову. Пятый корчился на земле. Провожатый был мертв.

— Это Святополк, Учитель, — сказал я вдруг. — Да, это он. Будь проклят тот час, когда мы приехали в княжеский дворец, и будь проклят Святополк и имя его. И пусть Бог покарает неразумного князя Владимира... У тебя нет коня? Возьми коня одного из этих молодцов.

Пока я ловил испуганного коня, Учитель наклонился над телом провожатого и отсек ему голову. Я отвернулся.

— Он сказал мне, что ты ранен, Учитель.

— Гонец, который вызвал меня, лежит неподалеку отсюда... Возьми это. Возьми! — И он протянул мне отрубленную голову, завернутую в плащ. — Мы едем к князю.

Шатер князя стоял на холме. Владимир сидел у входа. Свита окружала его. Святополк был рядом.

— Рад видеть вас, Никита и Добрыня! Я только что послал гонца за вами.

— Третий гонец за одно утро? Не велика ли честь? — сухо сказал Учитель.

— Третий гонец? Я не понимаю.

— Приехал человек и твоим именем вызвал меня к тебе. Потом прискакал другой и сказал Добрыне, что я ранен. Он завел его в засаду. Шестеро против одного. Кто-нибудь знает этого человека?

И я, помня, что меня крестили сегодня утром и Великий Покой коснулся меня, сбросил плащ на землю и с содроганием поднял голову за волосы... Ропот пронесся по свите князя.

— Их было шестеро. Тот, кто послал их именем великого князя, просчитался. Да знают все, что засады не страшны Добрыне и что тот, кто поднимет на него меч, погибнет от меча, — сказал Учитель.

Владимир поднялся на ноги. Лицо его было страшно.

— Клянусь вам, что никогда не видел этого человека. И клянусь в другом — если кто-то поднимет на вас руку, я казню этого человека, кто бы он ни был! И пусть слова великого князя киевского станут известны каждому!

Лицо Святополка было бледно. И я, глядя ему в глаза, отшвырнул отрубленную голову в сторону.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

— Странные дела творятся при моем дворе, — сказал великий князь в гневе. — Повторю еще: тот, кто поднимет руку на богатыря, будет покаран смертью. Проверьте, не исчезал ли кто из войска за какой лживой надобностью в это утро. Богатыри, я посылаю гонца. Я нуждаюсь в вас.

Мы спешили. Владимир повел нас в шатер.

— Я знаю, о чем вы думаете, — произнес он мрачно. — Я не говорил Святополку, как я узнал о пропаже браслета. Но, в конце концов, догадаться было нетрудно. Я не могу ничего сделать, Никита. Святополк зол, и он поднял руку даже на своего отца. Но мне некому оставить престол, кроме него. Его старшие братья думают только о том, как бы получить от меня по городу и править им. Борис и Глеб не воины и не правители. А на престоле должен быть смелый человек, хотя бы и дурной. Я надеюсь, что он изменится. Он еще очень молод.

— Он уже не юнец, и все его сегодняшние дела повторятся в будущем с утроенной силой, если ты, великий князь, оставишь ему престол, — сказал Учитель бесстрастно. — Я, который никогда не обманывал тебя, — продолжал он, вскинув голову, — предсказываю: страшные дела свершит Святополк на престоле, такие страшные, что ты содрогнешься в могиле!

Страх отразился на лице Владимира. Но он совладал с собой.

— Мы еще вернемся к этому разговору, Никита... Если я захочу, — заключил он с вызовом. — Дела княжеские — особые, и доверься мне в этом. Но, — продолжал он, меняя тон, — я велю расследовать это дело, и, если у меня будут доказательства вины Святополка, я посмотрю на его будущее иначе. Учитель горько рассмеялся:

— Доказательства вины! Человек, который обернулся змеей в спальне своего отца, не оставляет следов.

Великий князь помолчал, давая понять, что разговор окончен. Потом он как ни в чем не бывало заговорил спокойно и значительно:

— Мне нужна ваша помощь, богатыри. Мой племянник, князь Мстислав, был пленен на южных рубежах Русской земли. Его пленили не обычные степняки; они не просят выкупа; до меня дошли вести, что он увезен далеко на юг, в земли, где я был крещен, в Таврию, и содержится в некоем месте, которое называется Крепостью.

Лицо Учителя омрачилось.

— Ты знаешь это место, Никита?

— Да, знаю, но договори до конца то, что знаешь ты.

— Итак, до меня дошла весть, что он содержится в Крепости и что Крепость не отпустит его, пока... пока Мстислав не станет на ее сторону и... — князь запнулся, — не пойдет войной на меня. Вот то, что сказали мне. Я не знаю, что это за место и что за народ им владеет, я не знаю, что они делают с Мстиславом, но я слышал, что они сильны в колдовстве. Что ты думаешь об этом, Никита? Совет, который я уже получил от сведущих людей, — немедленно освободить Мстислава, потому что Крепость будет вертеть им, как захочет.

— Я никогда не был в Крепости, — начал тихо Учитель, — но много слышал о ней и даже видел ее издали.

Эта Крепость была построена в незапамятные времена, никто не помнит кем. Уже много лет ее держат в своих руках правители маленького народа тавров. Но они не живут в ней; в Крепости живут, охраняемые воинами, их жрецы, которые, как говорят, обладают большой Силой и которые употребляют ее на службу злу. Говорят, там частый гость Волхв...

По лицу князя пробежала тень; в шатре будто запахло плесенью. Я невольно вздрогнул.

— Я давно слышал, что Крепость вовлечена в дела, во многом превосходящие возможности народа тавров и не соответствующие его истинному предназначению, и что самомнение жрецов, играющих с огнем зла, не знает границ... Я думаю, то, что тебе сказали о несчастном Мстиславе, к сожалению, верно. Враг, имя которого я только что помянул, давно, как ты знаешь, мечтает погубить Русскую землю, чтобы сделаться ее владыкой. Сломив волю Мстислава и помутив его разум, Крепость подвигнет его на мятеж, исход которого ни ты, ни я не можем предугадать. Власть князя уязвима, и всегда найдется много обиженных или дурных, которые воспользуются смутой, чтобы нанести ей удар. А Враг между тем только и ждет, чтобы воспользоваться случаем. Я думаю, что это правдивая история. И если ты позвал нас, чтобы не только спросить нашего совета, но и нашей помощи, то мы готовы отправиться на юг. Нам надо только заехать в Киев: Добрыне нужен хороший конь.

— Я прикажу дать Добрыне любого коня, хотя бы это был мой любимый конь.

— Вряд ли это понадобится ему. Вы не соперники ни в чем. Ему нужен конь не князя, а богатыря. Я думаю, мы найдем такого в твоих конюшнях.

— Вам понадобится не только конь, но и золото. Возьмите... — Князь показал на три кожаных мешочка. — Да благословит вас Бог. И еще... — Он колебался, говорить или нет, но потом сказал: — Если освободить Мстислава будет невозможно или если вы увидите, что разум его уже помутнен безнадежно и он в руках Врага... убейте его.

Учитель пристально смотрел на него. В неудовольствии великий князь пожал плечами:

— Я доверяю вашему суду.

По дороге к нашему шатру Учитель был задумчив. Неожиданно он повернулся ко мне:

— Один из отцов церкви, Августин, пишет, что любое государство — это сообщество разбойников. Будь верен престолу, но никогда не забывай этого.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Ранним утром мы въехали в ворота Киева. Кони с трудом находили себе дорогу в толпах людей, заполонивших улицы в торговый день. Смешалось все: ратники, кони, повозки, бабы с младенцами, мужики, купцы, служилые люди; я видел азиатов со смоляными волосами и варягов, светлых, как патока; здесь мелькали новгородские широколобые лица и вытянутые головы древлян; всяк торопился на торжище, всяк знал свою пользу в этот день.

Мы спешили у постоялого двора; я стал привязывать коня, и тут со мной сделалось что-то странное. Небывалый страх охватил меня, все мое существо, от пальцев ног до затылка; это был не тот страх, который охватывал меня подчас в бою, и не тот страх, когда оступаешь на краю пропасти и холодный пот прошибает тебя. Нет, тут было другое; страх владел каждой моей порой, я был уже не я, а неведомо кто, тело страха; я был готов рвануться в толпу, удариться оземь, умереть на месте, если это возможно, но только не ощущать этот рвущий душу и тело на клочки животный ужас; словно кто-то высасывал мой мозг, подкидывая туда угли страха, которые жгли меня; члены мои сковались, я едва мог разлепить губы или шевельнуть пальцем; бежать, бежать, спастись — от себя самого, умереть, броситься на меч — вот что вертелось в том, что было прежде моей головой. Но я не закричал, не побежал, не завыл, как собака. Непослушной рукой я отер пот со лба и непослушными губами проговорил:

— Учитель, мне страшно.

Учитель сильно ударил меня по лицу; ударил еще раз; третий; я не смотрел по сторонам, хотя вокруг нас собиралась толпа; я испытывал блаженное чувство освобождения от смертельного ужаса; может быть, сейчас я умру, думал я. Но я не умер.

Страх ушел, оставив по себе дрожь во всем теле, почти судороги, звенящую голову и уже осознанный ужас: что это, что это было со мной, не схожу ли я с ума? Учитель втолкнул меня в дом, усадил за стол. Меня трясло.

— Что это было? — слабым голосом, боясь, что страх вернется, проговорил я.

— Что это было? Так, пустяк. Просто в толпе мимо нас прошел Волхв.

— Волхв?!

— И ты почувствовал его.

— И... и так будет всегда?!

— Ты не хочешь больше быть богатырем? — усмехнулся Учитель. — Не бойся, такого больше не будет. Воды! — крикнул он. — Пей. Зубы мои кусали чашу.

— Пей еще. Пей. Это был Враг. Я тоже почувствовал его. Я расскажу тебе, как я его чувствую и как его потом будешь чувствовать ты. Сегодня Враг ударил по твоей раскрывшейся наконец душе, душе, которая может чувствовать. Ударил, сам того не зная. Если бы узнал, он бы свел тебя с ума. Но теперь ты защищен. Теперь при его приближении ты будешь чувствовать его — просто чувствовать. Это будет, может быть, страх, может быть, тоска, но ты никогда не ошибешься в своей душе, ты всегда будешь узнавать его. А потом, когда ты окрепнешь, ты будешь чувствовать его — как ветер, тоскливо завывающий ночью, как шаги в темноте.

— Он... он ходит за нами?

— Велика пока для тебя эта честь, Добрыня, а для меня уже велика. Я заварю тебе трав, и ты будешь спать. Ты будешь спать и ждать меня.

Он повел меня наверх, в какую-то комнату; ноги мои еле двигались, и голова была словно не моя. Я упал на постель и закрыл глаза.

Потом Учитель влил мне в рот чашу горького питья; озноб прошел, тело мое расслабилось, и я провалился в сон.

Когда я открыл глаза, солнце краешком смотрело в окно; близился вечер. Учитель сидел у моего изголовья. Я проснулся свежим, как ребенок, меня тянуло свернуться калачиком и лежать, ни о чем не думая, но вместо этого я протер глаза и сел.

— Где ты был, Учитель?

— Где я был? Я искал Волхва. — Лицо его было угрюмо. — Все хуже, чем я думал. Он заметил тебя.

Я-то хотел, чтобы ты увидел его, оставаясь незамеченным, но Бог судил иначе.

Он сам подошел ко мне. Ты еще увидишь и сам узнаешь его — тонкое лицо с глубоко посаженными черными глазами, с вьющимися темными с проседью волосами и бородой, со змейкой вместо губ, маленького роста, скованного в движениях, всегда улыбающегося. Он сам подошел ко мне. «Что, старый волк, — сказал он мне, — воспитал волчонка?» Я понял, что таиться дольше нет смысла, и отвечал: «Это не волчонок. Это молодой волк. Он еще вцепится тебе в загривок, аспид». «Ошибся я в тебе, Никита, — задумчиво протянул Волхв. — Я полагал, ты уже о душе думаешь, а ты, оказывается, волчат натаскиваешь. Старею я, видно. Незачем мне было отпускать тебя на Рогожке». — «Видно, кто-то посильней тебя распорядился». — «На Него киваешь? — усмехнулся Волхв в бороду. — Думаешь, Он твоему волчонку поможет?» — «То, что я думаю, — это малое дело. Знаю — поможет». — «Эх, если бы не дела мои, Никита, — протянул Волхв, — посмотрел бы я нынче вечером на тебя да на твоего молодца». — «Все дела, Волхв?» — «Все дела». — «Стоит земля Русская?» — «Стоит пока, когда у нее такие защитники... А как волчонка-то кличут?» — «Как он себя сам назовет, так и кликать будут. И в свое время узнаешь ты и это». — «Эх, — протянул Волхв снова. — Не вовремя, Никита, ты встретился мне. Есть дела поважнее... Всему волчонка научил, поди?» — спросил он, помедлив. «Всему. Последний урок был сегодня». — «Понятно. На меня натаскиваешь. На крупного зверя». — «А мелкие от него сами разбегутся». — «Ну, прощай, Никита». — «Нет тебе моего прощания, Волхв». — «Тогда до свидания нашего», — сказал он и канул в толпе....

— А что было на Рогожке, Учитель?

— С этого часа я тебе уже больше не Учитель, а Никита. Кончилось твое учение, Добрыня. Собирайся да в путь. Спешить надо из Киева; не Волхв должен за тобой охотиться, а ты за Волхвом — запомни.

Мы заехали на княжеский двор, и Учитель выбрал мне рыжего жеребца. Через некоторое время мы выезжали из Киева... Поток людей на дороге не редел, и странно казалось мне, что они могут быть заняты будничными делами, в то время как мы обсуждаем дела Волхва.

Киевские холмы скрылись за деревьями; прощально блеснул напоследок Днепр.

— Значит, ты хочешь знать, что было на Рогожке? — спросил Учитель. Я кивнул. — Я расскажу тебе.

Рогожка — маленькая речка неподалеку от Новгорода. Долго, да и нет смысла рассказывать про то, как я вставал на пути Врага, — не один раз это было и не Два. На Рогожке же мы встретились в лихую пору. Было это вскоре после киевского крещения. Многие в Новгороде хотели знать, что это за новая вера и почему люди обращаются в нее. Я не монах; но крест висит на моей груди, напротив сердца, с моих юных лет. И я говорил новгородцам: поезжайте, посмотрите, поговорите с христианами; но многие говорили обратное — не езжайте, не поддавайтесь слабости, верьте в старых богов, как верили отцы ваши. Но все ж таки собралось человек десять, которых я повел в Киев. Когда мы подъезжали к броду на Рогожке, стало темнеть.

Вдруг в лесу заговорило, загоготало, загудело; кони наши заржали, люди покрылись потом. И тут я понял — это он, я почувствовал его. Из леса выехали всадники.

«Смерть отступникам! — загудели они. — Смерть!» И с ними был Волхв на коне. Я бросился на него; мечи целили в меня со всех сторон; я отбивался, крича: «Новгородцы, смелее, смелее!» Но новгородцев и след простыл.

Меня сбили с коня. Меч был приставлен к моему горлу. Я сжал крест: смертный час, думал я.

Но тут подъехал Волхв. С усмешкой он посмотрел на меня и плюнул в лицо. «Вот чего ты заслуживаешь, Никита, — сказал он. — Отпустите его. Пусть слава о его бесчестье пойдет по свету. А еще лучше, пусть-ка новгородцы рассказывают, как он подвел их под

засаду, а сам, предатель, уцелел. Лежи-лежи, Никита. Плюйте на него, молодцы, плюйте».

И они плевали на меня. А потом рассекли мечом лоб вот здесь — видишь шрам, оттуда он, с Рогожки, — и, гогоча, уехали.

Вот что было на Рогожке, Добрыня. Кстати, надо дать твоему коню новое имя. Сделай мне одолжение... назови его — Рогожка.

Мы ехали молча.

— Когда-нибудь я отомщу Волхву, — сказал я запальчиво.

— Не зарекайся. На той дороге, на которую ты стал, никто не знает, чья возьмет верх. Тем более с таким противником, как Волхв. Не зарекайся. Когда-то я тоже думал, что мне все нипочем. Я думал, что сам поборю Врага. А теперь мне думается, главное, что я сделал в жизни, — это передал то, что знал, тебе. Кто знает, что станет главным в твоей жизни. Надо только всегда подниматься, когда тебе плюют в лицо.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Мы ехали на юг. Я догадывался — в Крепость. Учитель отмалчивался, я не спрашивал. Я уже потерял счет дням, как мы выехали из Киева. Дубравы кончились, и мы ехали по степям. Птицы выпархивали из-под самых ног наших коней; воздух был полон звона насекомых и запаха созревших трав. Учитель был погружен в свои мысли, я был несчастен, потому что знал — близко время, когда он оставит меня.

Я не чувствовал никакого зла вокруг. Раз или два нам повстречались степняки; Учитель говорил с ними на их языке, и они приглашали нас к костру разделить трапезу, а затем беспрепятственно пропускали дальше.

Учитель не давал мне никаких наставлений, только иногда беседовал со мной на языке степняков. По всему было видно, он дает мне понять, что мое учение кончилось, как только я почувствовал Волхва.

Мы переехали через узкий перешеек; впервые я увидел море. Оно было таким синим, каким никогда не бывают наши озера, и я сказал Учителю, что оно напоминает мне о Боге. Потом мы снова ехали степями; степи цвели, но был такой зной, что, казалось, трава выгорает прямо на глазах. Потом я увидел вдали синие холмы, но что такое, подумал я, почему холмы видны так издалека? Они должны быть очень велики; и только тогда я понял, что это горы. Мы приближались к ним, и вот увидели веселые леса по склонам и ручьи, и мне казалось совершенно немыслимым, что в этом жарком благодатном краю может стоять Крепость. Учитель сказал, что она в одном дне пути.

Мы переночевали в лесу на берегу потока, а наутро двинулись в путь. Голубая дымка размывала очертания гор, которые чаровали меня. Привычный мне пейзаж не был нем; он говорил со мной, но говорил просто и незамысловато; горы говорили так мощественно, с такими взрывами страстей и в то же время подчас с такой бездной покоя, что мне иногда хотелось плакать от счастья. Я сказал об этом Учителю. Он сказал на это, что горы — это особая, Божья, земля, которая создана для того, чтобы будить души, и что, как бы ни была красива равнина, горы скажут такое, чего ты раньше никогда не слышал.

Смеркалось. Учитель продолжал путь. Он заговорил теперь о том, что силы зла живут и в горах и что скоро мы увидим Крепость. Он говорил о том, что, как бы ни обещали горы, равнины, озера и моря человеку счастье на земле, человек обречен на страдания, и что страдал сам Бог, и что мы недаром носим на груди крест.

Горы скрылись из виду почти мгновенно, словно кто-то задул свечу. Тьма, которая окружала нас, была не обычной тьмой, она была необыкновенно плотной; сгустился туман, который, казалось, показывал нам свою Силу, и я уже с трудом мог видеть Учителя, который растворялся в тумане, во мгле, и временами мне казалось, что я остался совсем один.

— И помни: никто никогда не поймет тебя, а ты будешь всю жизнь хотеть этого, и к этому стремиться, и тешить себя обманом: вот друг мой понял меня, вот мать моя поняла меня, вот понимает меня жена моя. Запомни: никто и никогда тебя не поймет на земле.

Поймет тебя лишь Бог Святой, и, если Он даст, ты себя поймешь. Запомни и еще: горчайшей обидой твоей будет, что тебя не понимают ни мать, ни жена, ни друзья, ни тем паче враги. И вот еще запомни: это удел всех, все живут и умирают непонятыми, и все терзаются от этого и плачут в ночи или рвут себе сердце, не плача. Великое непонимание положил между людьми Враг Рода Человеческого, и только с твоей смертью кончится оно для тебя. Ибо как тебя не понимают другие, так и ты никогда не понимаешь других. Пока ты очень молод, ты скажешь: вот мои друзья понимают меня. Не тешься зря: они лишь понимают — и то кратко их понимание! — что есть узы между мужчинами, которые прочны и которых не описать словом. Потом покажется тебе, что жена понимает тебя: не обманывайся! Она понимает лишь одно — что есть таинственные узы между мужчиной и женщиной, которые делают их одним; а тебя она не понимает. Не поймет тебя и мать твоя; ей кажется, что понимает, но не понимает тебя и она, понимала она, когда ты был крошечный и просил: дай мне есть! дай мне пить! А после этого одно понимает мать твоя: что сын ее стал мужчиной и какие-то неведомые ей страсти рвут ему душу. Ты обречен на одиночество, как и любой другой человек, и ничто не сможет твое одиночество одолеть. Ты думаешь, может быть, что я, твой Учитель, понимаю тебя или что ты понимаешь меня. И этому не верь. Две песчинки бьются друг о друга; но не сольются никогда. И запомни еще: самое большое счастье не то, когда ты победил врага, или когда разгадал загадку, или одолел болезнь, самое большое счастье — это когда тебя хоть кто-то на мгновение понял или когда ты сам понял кого-то. А теперь — прощай.

Он развернулся, пришпорил коня и исчез в темноте. Я остался один на горной дороге, в ночи, на пути к Крепости, в непроглядной туманной мгле и слушал, как со стуком копыт уносится от меня человек, которому я верил больше, чем Богу, и которого любил больше, чем мать. Слезы выступили у меня на глазах, горло сжалось болезненным спазмом. Как хотелось мне развернуть коня и помчаться вслед за Учителем, догнать его, просить объясниться. Но я понимал одно: этого делать было ни в коем случае нельзя. Я не знал, зачем Учитель бросил меня на дороге в дьявольской, колдовской мгле, в смертельной опасности. Послушание и гордость равно восстали во мне. Я отер слезы, сел крепче в седло и тронул поводья. Конь мой продолжил неспешно свое путешествие по горной дороге, скрытой мглой. Как и прежде, стояла абсолютная тьма, небо, да что небо — вся округа была занавешена тяжелым покровом. Я не видел вперед дальше десяти шагов. Иногда мне казалось, что колдовские чары перенесли меня прямо в ад, где я еду навстречу вечным мукам в крошечной сатанинской мгле.

Черные мысли завертелись в моей голове. Почему Учитель бросил меня здесь, сейчас? Было ли это испытание, был ли этот подвиг предназначен мне одному, и он это знал, или Учитель холодно рассудил, что опасность слишком велика, и бросил меня, отравив мою душу дьявольским дурманом непонимания? Слезы уже не возвращались на мои глаза, и рыдания не подступали к горлу. Злой, обиженный, я упрямо понукал коня и продвигался вперед.

Внезапно какая-то перемена произошла в окружающем; поначалу я не понял какая; через мгновение я увидел, что тучи исчезли, небо очистилось. И когда я поднял голову, чтобы посмотреть на звезды, прямо перед собой, в каком-нибудь десятке шагов, я увидел зловещий силуэт Крепости.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Я долго стучал в ворота; ни на мгновение колебаний у меня при этом не возникло; я тупо рвался вперед, прорываясь сквозь слезы отчаяния и безнадежности. У меня было чувство, будто я стучался в ворота ада.

Я знал, что за мной наблюдают; я был готов к тому, что стрела со свистом вонзится в мою шею; но что мне еще оставалось делать, покинутому Учителем на дороге, бедному юнцу из Заплавья, недоучке-богатырю — что оставалось мне? Трусливо бежать сквозь степи

назад? Возвращаться в свою деревню или вовсе не возвращаться, а скитаться по градам и весям, рассказывая обывателям небылицы и зарабатывая тем на хлеб? Нет, говорило во мне что-то упрямо, будь что будет, но я войду в Крепость — а дальше, как Бог даст.

Внезапно ворота бесшумно отворились; я пришпорил коня и въехал во двор; ворота так же бесшумно закрылись за мной, и я почувствовал себя в западне. Я не видел никого, только ощущал на себе множество глаз. Я сидел в седле прямо, стараясь сохранять бесстрастное выражение лица. Это было очень трудно. Не знаю, сколько я так просидел, только потом кто-то появился из темноты, взял моего коня под уздцы и повел куда-то. Я не сопротивился.

Потом я спешился и все так же бессмысленно, намеренно не думая ни о чем, пошел за моим провожатым.

Мы миновали еще одни ворота и затем стали спускаться в глубокое подземелье. Отворилась дверь, и я оказался в просторном помещении с низкими потолками, освещенном огромным очагом; пламя играло на потолке, и на стенах, и на лице человека, который сидел на возвышении и смотрел на меня.

Он был стар; морщины придавали его лицу выражение не слабости, а силы; взгляд его был пронизывающ, и я сказал себе, что человек этот обладает большой Силой и что я никогда не выйду из этих стен Живым.

Он разглядывал меня тщательно, не упуская ничего, проникая в самые глухие уголки моего сердца, и мне казалось, что я ничего не смогу скрыть от него. Я Приготовился к смерти. Пока он молчал, я думал об одном — почему Учитель бросил меня на этой страшной дороге в эту непонятную Крепость, на пути к подвигу, совершить который я был не в силах. Я не искал причин словами, я не спрашивал себя, предал ли меня Учитель или нет; я только вопрошал: почему?

— Не часто я вижу богатырей земли Русской в своем скромном обиталище, — проговорил человек на конец на языке степняков, и тут я что-то понял, словно какая-то преграда перед моим взором рухнула, и я сделался способен понимать, говорить и думать. Вот зачем бросил меня Учитель, думал я с несказанным блаженством, вот зачем оставил меня, рискуя не выполнить приказ великого князя киевского; я, негодный, полагал за его исчезновением какие-то черные мотивы, а он, на деле, совершал великое таинство: будучи готовым поставить под удар спокойствие и безопасность киевского престола, отступая от неписаных правил, оставляя меня наедине с подвигом, Учитель не бежал, не предавал и не лукавил: он посвятил меня в богатыри. И не было другого пути заставить меня почувствовать это посвящение всем моим нутром — до слез, до спазма в горле, до сердечной боли. Да! Теперь я, деревенский юнец из Заплавья, был сподоблен защищать землю Русскую; я был благословлен на свои подвиги, теперь и на мне лежало тяжкое бремя решать и совершать деяния. Я понял это в мгновение ока, и поэтому — когда человек на возвышении насмешливо спросил меня, презирая мой возраст и мою неопытность: «Как тебя зовут, богатырь?» — я ответил не колеблясь:

— Добрыня. Добрыня... Никитич.

Он молчал, шевеля пальцами, потом сказал:

— Я слыхал о таком богатыре: Никита. Ты что, его сын?

— Я его ученик. Могу я спросить твое имя, властитель Крепости?

Его хохот оглушил меня:

— Ты уже сказал его: Властитель Крепости.

«Смейся, — подумал я, — смейся. Я молод, неопытен и глуп, но ты не смутишь меня, потому что я защищен любовью и опытом Учителя и по крайней мере сумею умереть достойно».

Он выжидающе смотрел на меня; я молчал, вспоминая слова Учителя: «Не вступай в бой первым, пока ты не понял намерений и Силы противника». Пока что ничего этого я не понимал и поэтому глядел в переносицу Властителя Крепости, не отваживаясь посмотреть ему в глаза (Учитель научил меня и этому). Наконец, наскучив молчанием, он раздраженно спросил:

— И что же привело тебя в стены Крепости, молодой, неизвестный мне богатырь? Я весьма желал бы узнать это. Меня занимают люди, которые скитаются по дорогам сами не зная зачем, вызывая поклонение толп и презрение мудрых, называя себя богатырями.

— Я ищу мудрости, Властитель Крепости.

— И ты ждешь, чтобы я дал ее тебе? — спросил он, наклонившись ко мне в некотором изумлении.

— Насколько я знаю, мудрость не дают; ее подбирают там, где ее оставляют знающие.

— Неужели ты думаешь, что я настолько беспечен?

— Даже самые рачительные хозяева не властны над птицами, которые питаются их посевами.

— И что же намерена клевать эта птичка?

— Эта птичка намерена задать тебе три вопроса.

— Спрашивай. — Он надменно откинулся на своем троне.

— В чем разница между большой и малой птицей?

— Это просто. Большая птица охотится за малыми.

— Но ведь гусь больше ястреба, а ястреб тем не сильнее. В чем судьба птицы?

— И это просто. В ее Силе.

— Но ведь судьба всех тварей — в руке Божьей, и он может покровительствовать слабым. Если некая большая и сильная птица похищает чужого птенца, что она намерена с ним делать?

— Так вот зачем ты приехал, богатырь, — презрительно рассмеялся он, — так вот какой мудрости ты ищешь. Слушай меня, — он снова наклонился вперед, — что захочет, то она с ним и сделает. Захочет — пожрет, захочет — примет в свою стаю и велит лететь со всеми.

— А вот здесь я согласен с тобой. — Не знаю, кто говорил за меня и откуда взялись у меня силы и наглость спорить, но только я был спокоен. — Позволь задать тебе еще один вопрос, хотя я просил только три ответа. Но сможет ли птенец, оперившись, вернуться в свою стаю и править ею?

— Может, — насмешливо прищурился он. — Может. Надо только, чтобы за ним летела стая сильных птиц. А теперь давай я спрошу у тебя три вопроса. Может быть, я тоже ищу мудрости. — И он засмеялся. — Итак, что развязывает уста, когда человек говорить не хочет?

— Это просто: пытка.

— Что ломит человека, когда пытка не поможет?

— И это просто. Темница.

— Что ожидает человека, когда и темница не ломит его?

— И это очень просто. Смерть.

— Это были легкие вопросы, богатырь; посмотрим теперь, как-то ты станешь отвечать на них в жизни.

Вопрос первый: пытка. — Он хлопнул в ладоши; появились стражи. — Взять. Пытать. Здесь. Спрашивать буду я.

— Ты хочешь услышать запах моего паленого мяса или ты хочешь услышать мои ответы?

Властитель Крепости захохотал:

— Вот они, хваленые русские богатыри. Произнеси при них слово «пытка», и они поблднеют и все скажут тебе. А что, если я действительно просто услышать запах паленого мяса?

— Выбери свое желание, Властитель Крепости. Может быть, я трус, но я умный трус. Слово «пытка» действительно есть начало пытки, и ты меня уже пытаешь, и я готов говорить.

— Я люблю слышать запах паленого мяса сильных врагов, а не мальчишек. Ты уже мой, ты будешь говорить. Итак, кто послал тебя сюда?

— Великий князь киевский.
— Итак, Владимир боится. Что он велел тебе сделать?
— Он велел говорить с тобою о Мстиславе. Он знает, сколь велика твоя власть, и хочет мира.

— Мира? Он не получит его. Скоро Мстислав будет сидеть на киевском троне.
— Ты неискренен со мной, Властитель Крепости. Впрочем, это ты меня пытаешь, а не я тебя. Владимир послал меня не с тем, чтобы обманывать тебя. Мстислав в твоей власти. Но ведь ты сам до конца не уверен, что Русская земля — твоя. Не гневайся: и ты, и Владимир, и я — все мы знаем, что Владимир тебе не соперник. Но есть кое-кто, кто стоит на твоём пути и кто действительно может сделаться господином земли Русской.

— И кто же это?

— Волхв.

По лицу его пробежала тень; он надолго замолчал, смотря в пространство перед собой. Потом он обвел взглядом зал и жестом приказал страже удалиться.

— Не шути со мной, богатырь. Если это уловка, если ты хочешь избежать пытки, то это кончится для тебя очень плохо. Ты не знаешь, как умеют пытать в Крепости.

— Спрашивай, и ты увидишь, лгу я или говорю правду.

— Что дает тебе основание говорить то, что ты говоришь?

— Знание.

— Откуда ты получил это знание?

— От Силы.

— Не лги! Твоя Сила невелика. Я чувствую это.

— Она невелика, чтобы я боролся с Волхвом в одиночку. Но ее достаточно, чтобы знать о нем.

— И что же ты знаешь?

Я знал очень мало, но Учитель говорил мне: если ты вынужден лгать, то лги хорошо.

— Я знаю, что мысль похитить Мстислава и сделать его послушным орудием в борьбе с Киевом принадлежит не одной только Крепости. Я знаю, что Волхв совещался с тобой. Я знаю, что он обещал тебе власть над Русской землей. Но ты не верил и не веришь ему. Волхв никогда не будет делать что-то ради другого. Что бы он ни делал, он думает об одном: как править Русской землей, а если удастся, то и другими землями самому. Он не молод. Он должен спешить. И он спешит. Он использует твою Силу, зная, что ты ему не доверяешь, но что ты готов рискнуть. Волхв избавится от тебя быстрее, чем ты можешь предположить. Как только Мстислав будет в Киеве, Волхв приберет его к рукам. Как ни велика твоя Сила и как ни могущественна Крепость, на Русской земле Волхв во много раз сильнее. Как только он захватит власть в Киеве, он сделается почти всемогущим. И тогда Крепость может пасть. Мстислав, которого ты хотел сделать своим орудием, обернется против тебя. Волхв уже думает о том, как погубить тебя.

— Ты не боишься так часто повторять это имя?

— Я бы не стал повторять его так часто, будь я в любом другом месте. Но твоя Сила велика, и Волхв не может услышать, что делается в Крепости.

— Ты определенно неглуп... Но скажи мне — не станешь же ты уверять меня, что приехал затем, чтобы предупредить меня?

— Нет, я не стану утверждать явную ложь. Но я могу утверждать, что у нас есть общий враг и что этот враг — Волхв.

Властитель Крепости молчал, а я с отчаянием думал, что ни на шаг не приблизился к своей цели; я лишь избег пытки, но Мстислав оставался так же недосыгаем для меня. И тут я решился на отчаянный поступок:

— Я имею основания полагать, что Мстислав и сейчас находится не только под твоей Силой, но и под Силой Волхва.

— Что?! Немыслимо. Ничья Сила не проникнет в стены Крепости.

— Позволь мне поговорить с ним в твоём присутствии, и мы увидим, прав я или

ошибаюсь.

Властитель Крепости колебался. Я видел, что он боялся и ненавидел Волхва, но поверить в то, что Сила Волхва действовала в Крепости, не мог. Наконец, он хлопнул в ладоши; появился страж, и Властитель Крепости приказал привести пленника.

В молчании мы провели некоторое время; затем двери растворились, и появился Мстислав. Ему было около двадцати лет, он был русоголов, с редкой бородкой, запавшими глазами, бледным лицом пленника. Взгляд его был углублен в пространство и странен. Я напряг то, что называл своей Силой, постаравшись забыть о страшной Крепости и о своей цели, и стал слушать Мстислава. Я пытался слиться с ним, почувствовать то, что чувствует он, но у меня это никак не выходило; блики пламени, пронизывающий взгляд Властителя Крепости, — все это не давало мне сосредоточиться, пот тек по моему лицу, но я упрямо старался Делать так, как меня наставлял Учитель и как это у меня иногда получалось. Но я не мог проникнуть в сердце стоявшего передо мной человека; гнев и отчаяние от собственной слабости душили меня, и я входил, входил, входил в него, пока вдруг какая-то стена не Упала и я стал Мстиславом. Я не мог читать его мыслей, но я чувствовал то, что чувствовал он, и, когда эти чувства дошли до меня, я с ужасом понял, что Мстислав покорен чужой Силой, преодолеть которую я никогда не смогу. Он был полностью раздавлен, он перестал быть самим собой, им владел чужой, посторонний ум, и Мстислав, по всей вероятности, не мог даже как следует мыслить и только в душевной боли ждал чужого приказа... Разум его был совершенно — и, может быть, непоправимо — помутнен. Пот покрывал все мое тело, и я понимал, что скоро Сила моя иссякнет, и торопился.

— Мстислав... С тобой говорю я — именем твоего хозяина... Ты знаешь, кто твой хозяин?

Мстислав все так же бессмысленно смотрел перед собой, покачиваясь от слабости.

«Сила кончается!» — прокричал мне кто-то, и тогда, по наитию, я быстро проговорил:

— Святополк убил князя Владимира. Ты убьешь Святополка.

— Так Святополк все же сделал это? — безжизненно проговорил Мстислав. — Я готов.

Сила оставила меня, но в этот самый момент Властитель Крепости соскочил со своего трона и бросился к Мстиславу:

— Ты готов? К чему? Говори!

Мстислав молчал, потом болезненная судорога пробежала по его телу, и он рухнул на пол. Властитель Крепости стоял над ним, не отрывая глаз, потом понял, что сердце Мстислава сейчас недоступно никому, топнул ногой и повернулся ко мне:

— Святополк? Сын князя Владимира?

— Да. И ты никогда не говорил с Мстиславом о нем. О Святополке с ним говорил Волхв.

— Когда? — отрывисто спросил Властитель Крепости.

— Тебе лучше знать, — пробормотал я, изнуренный.

— Почему, — спросил Властитель Крепости неожиданно спокойно, — я не узнал об этом сам?

— Потому что ты был уверен, что сила Волхва больше твоей... И потому, что ты не боишься Волхва так сильно, как его боюсь я.

— Так ты боишься Волхва? — прищурился Властитель Крепости. — Как же ты собираешься бороться с ним?

— Когда ненавидят и боятся — борются. Когда просто ненавидят — уничтожают.

— Ты неглуп, неглуп... — пробормотал Властитель Крепости. — Но я вижу, что ты устал. Я прикажу отвести тебе комнату.

Я молча поклонился, едва держась на ногах. Меня провели в комнату с узеньким окошком. Я упал на постель, положил меч в изголовье и уснул.

Утром меня рано разбудил молчаливый страж, который не отвечал ни на какие мои вопросы. Он провел меня в то же подземелье, где я был вчера. Властитель Крепости сидел за столом и указал мне на место напротив себя.

— Раздели со мной трапезу. Ты, конечно, голоден... Я в отличие от тебя мало спал в эту ночь. Я в том числе решал и твою судьбу. Я решил позволить тебе уйти. Я чувствую, что мы с тобой враги. Но я вижу и другое — Крепости отныне придется биться с Волхвом. Я не прощу ему предательства. А у тебя, хоть ты и молод, нюх на Волхва. Тебя, как видно, натаскивали на него, как охотничью собаку — на волка. Мне будет приятно знать, что еще одна пара глаз охотится за Волхвом. Если ты придумаешь, как уничтожить его, и тебе понадобится моя помощь... Поезжай на северную границу степей и скажи степнякам, чтобы они передали Властителю Крепости: началась волчья охота, и скажи где. Или, если будешь в моих краях, заезжай в Крепость. Волхв жив, ты всегда будешь выходить из нее живым... Добрыня Никитич... Я думаю, теперь скоро многие запомнят это имя. А теперь прощай.

Когда я выходил из дверей, в темноте я споткнулся обо что-то. Я наклонился. Это была голова Мстислава.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Отъехав от Крепости на некоторое расстояние, я обернулся. В лучах утреннего солнца она не казалась такой мрачной, но теперь-то я отлично знал, что все рассказы о ней — только малая толика того великого зла, которое она содержит. И я согласился заключить союз со злом против зла. Что сказал бы Учитель, думал я. Но Учителя не было рядом.

За поворотом я немедленно опорожнил желудок. Я склонен был верить Властителю Крепости, что он нуждался во мне как в союзнике против Волхва, но предосторожность никогда не бывает излишней.

Ни голубизна гор, ни золотые нити солнца в лесу, ни клекот ручьев, ни рыжий бок промелькнувшего оленя — ничто не радовало меня, и подземелья проклятой Крепости стояли у меня перед глазами. Я понимал, что вчера вступил в ее ворота уже другим человеком, может быть, негодным, но все же богатырем, но никакого ликования эта мысль у меня не вызывала. Пока мы странствовали с Учителем, я частенько мечтал перед сном о том, как я буду богатырем; это случилось много раньше, чем я мог предполагать, но не принесло мне радости, а только некое мрачное удовлетворение от того, что Учитель во мне не вполне ошибся. Да, а где был Учитель сейчас? Меня отделяло от него не более суток пути, он ехал по той же дороге, что и л, и орлы, может быть, могли с большой высоты видеть нас одновременно. Но я понимал, что, скорее всего, Учитель не будет дожидаться меня, а, наоборот, постарается сделать так, чтобы я его какое-то время не мог найти, потому что после сегодняшней ночи я дол-ясен был ехать по своим дорогам сам.

Я думал о Волхве, о том, что первое самостоятельное деяние я совершил в борьбе против него. Я думал о том, насколько я могу полагаться на слова Властителя Крепости, но больше всего я думал о Святополке. Когда я, по наитию, а может быть, из великой ненависти к Святополку произнес при несчастном Мстиславе это имя, я невольно напал на важный след: Волхв плел паутину вокруг Святополка, и Бог знает, как далеко он зашел, и в какой мере Святополк находился в его власти. Я не имел пока никакого понятия о том, что мне делать дальше, я только понимал, что борьба будет долгой и трудной, и что я не в силах предвидеть, что может помочь мне. Так, погруженный в невеселые мысли, я ехал на север. Скоро я миновал перешеек, подъехал к синему морю и долго смотрел на него, вдыхая всей грудью соленый незнакомый мне ветер, и на какое-то время веселье вернулось ко мне, и я подумал о Царьграде, который лежал за ним, и о всех странах, в которых я не был, но в которых, может быть, побываю. Я разделся и осторожно вошел в воду. Я долго плавал, удивляясь тому, как морская вода выталкивает мое тело. Нет, положительно, думал я, море это не просто большое озеро, это нечто иное, чего я пока не понимаю.

Потом я ехал степями. Когда появлялась конница степняков, я поднимал руку в знак мира, мы обменивались несколькими словами, и я ехал дальше. Они не задерживали меня, и я знал, что в крайнем случае зловещее имя Крепости откроет мне путь.

Так в безмолвии и бездеятельности добрался я до Южных границ Русской земли.

Безмолвие неожиданно понравилось мне. Я тосковал по Учителю, как поначалу тосковал по матери, но, как я уже говорил, даже в детстве я испытывал тягу к одиночеству, и поэтому одинокий путь богатыря оказался мне не тягостен.

Люди в селениях принимали меня с почетом; я ничего не рассказывал им, только говорил свое имя: я понимал, что богатыря, как бы слаб он ни был (а тогда я был еще весьма слаб), должны знать.

Я был в трех днях пути от Киева, когда вдруг плохое предчувствие посетило меня. Я ехал полем и ничего не видел подозрительного вокруг. Спешно я соскочил с коня и прильнул к земле. Я услышал стук копыт.

Я вскочил в седло и поскакал в лес. Не знаю почему, но я не хотел оставаться один на дороге. Как только я укрылся за опушкой, на дороге из-за поворота показался отряд всадников — десять вооруженных человек; размеренной рысью они шли на юг. Они были не похожи на княжескую дружину, и я готов был поклясться, что недобрая сила влекла их. Они быстро проехали мимо меня, не заметив. Я стоял на месте в раздумье. Внезапно я услышал крики и звон мечей. Я сорвался с места и понесся за ними.

Они кружили на дороге вокруг одинокого всадника, который, что-то зло и задорно крича, отбивался. Я прищипил коня и ворвался в сечу. «Держись!» — крикнул я ему. Всю свою смертную тоску и сомнения вложил я в первый удар, который оказался последним для одного из конников. «Ага-га!» — закричал всадник, на помощь которому я пришел, и с удвоенным напором продолжил бой.

Бой был очень тяжок мне. Всадники были искусны и, казалось, одержимы. Вот уже пятеро из них валялись на земле, но остальные пятеро вместо того, чтобы обратиться в бегство, яростно насакивали на нас. Только когда шестой и седьмой пали, оставшиеся трое понеслись по дороге прочь. Мы не преследовали их, утомленные боем. Вытирая пот, мы смотрели друг на друга. По росту, оружию и какому-то особенному выражению лица я узнал в незнакомце богатыря. При всей своей мощи он был гибок, как лоза. Лицо его было немного лукаво, очень красиво и отчасти женственно; черные глаза поблескивали, как смородина. Он был всего на пару лет старше меня.

— Как тебя зовут, богатырь? — спросил он весело.

— Добрыня. Добрыня Никитич.

— Ты ученик Никиты? Я Алеша — Алеша Попович.

Алеша Попович! Я много слышал о нем от Учителя. Учитель говорил, что это совсем молодой богатырь, который только недавно пустился в странствия после учения у старого знаменитого богатыря Святогора, у которого в свое время учился еще Илья. Учитель говорил о нем хорошо, заметив, правда, что Алеша, похоже, немного себе на уме. Но это мало занимало меня сейчас. Я встретился с другим богатырем — как богатырь, и он признал это. Меня признали...

Но что-то беспокоило меня. Что? Да — почему всадники были так отчаянны и почему они спешили на юг?

— Почему они набросились на тебя?

Алеша пожал плечами:

— Я сам не пойму. Я ехал им навстречу. Мне показалось, они бы не напали на меня, если бы я не окликнул их и не спросил, куда они едут и зачем. После этого они стали как бешеные собаки.

— Надо обыскать их, — сказал я.

— Обыскать? Это еще зачем?

— Они ехали на юг. А я оттуда. Там творятся не хорошие дела.

— Нехорошие дела?

Я долго смотрел ему в глаза, размышляя. Потом сказал:

— Дела Волхва.

Алеша посерьезнел:

— Вот как? И какие же?

— Я бы рассказал тебе, когда б это был только мой Подвиг. Я был на юге по велению князя Владимира.

— Узнаю руку Никиты, — рассмеялся Алеша раздраженно. — Поручения князя, тайны, дальние поездки... Что ты хочешь найти?

— Не знаю.

Мы обыскиали всех семерых. Четверо были мертвы, трое — без сознания. Мы не стали перевязывать их. Волхв или не Волхв, эти люди были посланниками зла. Как только мы сняли кольчугу с первого, Алеша изумленно присвистнул. На шее его висел очень странный амулет — почерневшее серебряное копытце величиной с ноготь большого пальца. Такие же амулеты были на других.

— Если ты охотишься на Волхва, Добрыня, лучше запомни этот амулет. Я много раз слышал, что копыто — знак Сатаны.

— А ты разве не охотишься на Волхва, Алеша?

— Я — нет. Как сказал бы Никита, я слишком легкомыслен. Но если тебе когда-нибудь понадобится моя помощь или помощь других богатырей — Волхв наш общий враг. Кстати, я так и не поблагодарил тебя. По всей вероятности, ты спас мне жизнь сегодня.

Мы не нашли больше решительно ничего подозрительного. Я, однако, про себя пришел к твердому убеждению, что это был отряд Волхва, едущий в Крепость за Мстиславом.

— Кто из них ранен легче всего?

— Ни один не доживет до заката. У нас с тобой тяжелая рука.

— Давай перевяжем одного.

Алеша задумчиво посмотрел на меня:

— Ты будешь его пытаться?

— Пытать!

Алеша пожал плечами:

— Я ничего не советую, но... если ты в самом деле охотишься на Волхва... да еще, как я понимаю, с благословения великого князя киевского... тебе стоит, наверно, быть менее щепетильным.

Я не отвечал, но голова моя раскалывалась от новой загадки. Мы перевязали раненого и оттащили в лес. Я заварил трав и влил ему в рот. Он долго стонал, но потом все-таки пришел в себя. Я наклонился к нему:

— Я могу спасти тебя. Если ты скажешь, кто тебя послал и зачем.

Он помолчал, потом поманил меня пальцем, чтобы я наклонился ближе. Сердце мое радостно забилося, и я склонился совсем низко. Некоторое время его прояснившиеся глаза рассматривали меня, а потом он сделал усилие и плюнул мне в лицо.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Алеша тоже ехал в Киев. Как он сказал, развеять грусть-тоску любовную: в Киеве всегда можно было узнать, что делается на земле Русской и где нужен богатырь сейчас. Мы нашли речушку, умылись и неспешно поехали дальше.

Алеша оказался приятным товарищем. Он весело рассказывал о своих подвигах, не забывая упомянуть и о победах над девицами; я краснел и отворачивался. Я мало что мог рассказать в ответ; единственным моим подвигом была Крепость, а о ней я не мог говорить. Серебряный амулет — копытце — я на всякий случай взял с собой, и, как мне казалось, он оттягивал мою суму до земли.

Киев открылся, как всегда, внезапно. Как ни устал я от дороги, как ни давила мне душу новая ноша, но я не мог не приободриться при виде этого великолепного города и не сказать себе, что на этот раз исхожу его вдоль и поперек. Впрочем, мы направлялись прямо во дворец. Как я уже понимал, богатырь всегда мог рассчитывать на почетное место во дворце любого князя, даже великого князя киевского. И все-таки я сильно Поколебался, прежде чем сказал слугам:

— Передайте великому князю, что Добрыня приехал и ждет приказаний.

Прошло совсем немного времени, и запыхавшийся страж возгласил:

— Великий князь киевский велит Добрыне взойти к нему.

Алеша посмотрел на меня с уважением:

— Ты, я вижу, быстро шагаешь, Добрыня.

Да, думал я, идя за стражем, я шагаю быстро, потому что того хочет Бог и потому, что Учитель вознес меня так высоко, что другой, пожалуй, и вовсе летал бы.

Владимир принял меня сердечно — настолько, насколько князья и, в частности, этот жестокий и решительный правитель способны на сердечность. Я не ожидал такого от замкнутого гневного князя. Как я понимаю теперь, он решил прочно заручиться моей службой.

— Никита был здесь пять дней назад. Он сказал, чтобы я ждал тебя.

Я хотел спросить, что еще говорил Учитель, но сдержался и вместо этого подробно пересказал князю все, что произошло с тех пор, когда я въехал в ворота Крепости. Когда я дошел до имени Святополка, князь на мгновение опустил голову, но потом снова бесстрастно стал смотреть мне в глаза.

— Да, — сказал он, когда я закончил свой рассказ, — Никита был прав и три года назад, когда ты впервые вошел в эту комнату, и пять дней назад, когда он сказал, что отныне ты заменишь его. Признаться, я не поверил Никите ни три года, ни пять дней назад, но я в очередной раз вижу, что богатырям подчас открыто то, что скрыто от правителей. Я огорчен, что Никита решил отойти от дел. Но если кто-то становится на его место — что ж, ему виднее... Мстислав... Я никому не могу рассказать то, что ты рассказал мне. Ты еще очень молод, Добрыня, так молод, что твой первый подвиг вообще кажется неправдоподобным. Верно, Алеша Попович тоже рано встал на ноги, но ты, видно, действительно особый богатырь... Так вот, привыкай к тому, что о многих делах твоих будет знать только великий князь киевский. Привыкай и к другому. Великий князь киевский не всесилен, и княжеских дел ты понять не можешь. Ты, может быть, ожидаешь, — продолжал он горько, — что я велю заточить Святополка. Нет. Мне некому больше оставить правление. Братья его, Борис и Глеб, мягки, так мягки, как будто это не мои дети. Ярослав и другие — беспечны. После меня править будет Святополк. А там... будь что будет. Ты очень молод, Добрыня, и мне тяжело говорить с тобой. К тому же я совсем не знаю тебя. Но слушай меня внимательно. Ты должен быть предан мне и киевскому престолу. Но... богатыри — это особый народ... Ты волен идти своей дорогой и перечить мне. Когда я умру, — он поднялся, лицо его приняло отстраненное выражение, — и Святополк сядет на трон, ты волен поступать так, как хочешь. Престол важнее, чем князь. Я заранее освобождаю тебя от присяги Святополку. Тем более что именно он — я уверен — хотел убить тебя тогда в лесу. Ты будешь уже опытнее тогда. Рассудишь сам. Киевский престол устоит, что бы ни произошло после моей смерти. Многие будут помогать этому. Ты будешь среди них. А теперь пойдем в зал на пир.

Пир князя Владимира были великолепны. Ревнуя к роскоши царьградского двора, великий князь киевский неумеренностью, размахом и продолжительностью застолий хотел придать своей столице тот блеск, которого она, конечно, не имела в сравнении с Царьградом. Столы ломились; число бражничающих всякий Раз было чрезмерно велико; драгоценная посуда не хранилась под замком, а выставлялась на общее пользование; десятки глаз следили за князем, и он следил за десятками глаз, никогда не хмелея, а подпавая Других, раззадоривая их, подчас ссоря лучших друзей и мира злейших врагов. Много дел было начато за Пиршественным столом при киевском дворе — и умных, и никуда не годных. Но Владимир был настороже и никогда ни словом не обмолвился о том, чего бы не хотел сделать достоянием всех, и, насколько я знаю, жестоко карал тех, кто проговаривался о княжеских делах в застолье.

Я вошел в зал вместе с князем, и это раз и навсегда определило мое место при киевском дворе. Кто-то льстиво закричал:

— Слава великому князю Владимиру!

Одобрительный ропот пронесся по залу. Незнакомый мне человек крикнул:

— А вот Добрыня, который спас Алешу Поповича!

Алеша, как видно, не скрывал ничего; я только надеялся, что он молчал про амулеты и вообще про дела той стаи.

Одобрительный гул пронесся по залу. Владимир указал мне на место за четыре человека от себя. Меня смущало, однако, одно: как держаться за столом — я не был ни в одном застолье, и боялся, что поведу себя не так и что надо мной будут смеяться. Потом — я знал — на пирах князя Владимира было принято усердно пить (на этом настаивал князь, который, как я уже сказал, сотрапезников спаивал), а я не знал, как хмель подействует на меня. И действительно, Владимир протянул мне полный кубок:

— Добрыня, сегодня мы пьем за твое здоровье!

Подобострастный ропот пронесся по залу. Что было мне делать? Я опорожнил кубок; дыхание мое прервалось, слезы выступили на глазах, в голове зашумело.

Князь Владимир одобрительно кивнул, протягивая мне второй кубок:

— Выпей за великого князя киевского.

И на этот раз я не нашелся, что ответить, и опорожнил проклятую посудину.

— А теперь выпей за Русскую землю.

За Русскую землю? А потом за княжескую дружину и за города земли Русской? Голова моя уже шла кругом, и, пока я еще мог соображать, я громко сказал:

— Великий князь, меч ржавеет от воды, богатырь слабеет от вина. Я выпил второй кубок, потому что здоровье великого князя киевского я не могу защитить и могу только лишь желать его. Я выпил первый кубок, потому что это была великая незаслуженная честь. Но если ты хочешь, чтобы твой слуга не слабел, а меч его не ржавел, не заставляй меня пить больше. Тать не дремлет в ночи.

Владимир нахмурился, то ли от моей смелости, то ли оттого, что я напомнил про Волхва. Но потом морщины на его лице разошлись, и он рассмеялся:

— Этот богатырь не слабеет от вина! Язык его все так же остер, как и его меч. Будь по-твоему!

И с тех пор Владимир говорил с усмешкою, что Добрыня пьет только за себя и за великого князя киевского.

— Расскажи нам о своих подвигах, Добрыня! — закричал кто-то. — Мы знаем о подвигах Ильи и Алеши, а о твоих не знаем.

— Я молод, и я не совершал подвигов.

— Не так! — сказал князь Владимир. Брови его неожиданно снова сошлись на переносице. — Добрыня вернулся в Киев с победой, и пусть все знают, что это была великая победа, такая победа, что о ней может знать только великий князь киевский! И кто это осмеливается разговаривать с богатырем, как со скоморохом? Разве вы не видели, что я сам привел его в этот зал?! — Голос его уже гремел. — И разве вы забыли приличия, что Допытываетесь отчета от верных слуг великого князя?! Или, может быть, кто-нибудь тут думает, что великий князь киевский раздает почести направо и налево? — Он ударил по столу. — Да знают все, что богатыри допущены до великих тайн, и да не смеет никто лезть в них... Пейте, ешьте, веселитесь, гости, но не забывайте: великие и тайные дела вершатся вокруг!

...С тех пор за мной утвердилась слава тайного богатыря князя Владимира...

Я уж не знаю, намеренно или случайно, но только великий князь сотворил мне своими словами много тайных и явных врагов, и, как нож, полоснул по мне ненавидящий взгляд княжича Святополка.

Но снова голос Владимира отвлек меня:

— А почему бы тебе, Добрыня, вместе с Ильей и Алешей, не послужить мне сейчас на поле брани? Предстоят битвы со Степью, место богатырей — там.

«Там ли? — хотелось крикнуть мне. — Не в твоём ли дворце совершается измена, о которой ты знаешь, великий князь?» Однако вместо этого я склонился в поклоне, поднялись

и поклонились Алеша и могучий старик с кустистыми седыми бровями — сам Илья Муромец... Потом я много думал об этих словах князя Владимира и пришел к мысли, что он хотел удалить меня от дворцовых дел, закрывая сам глаза на измену Святополка и страшные дела Волхва и не желая, чтобы я напоминал ему об этом...

Хмель душил меня. Я поднялся и вышел на двор. От стены отделилась тень — Данила, который посвящал меня в похождения княжича Святополка три года назад. Всего три года! Как горько я жалел о тех временах!

Он очень обрадовался, что я узнал его, и принялся жадно расспрашивать о моих подвигах. Я смотрел в его пышущее волнением и замороженным непониманием лицо и неожиданно совсем трезво, будто я и не пил вовсе, сказал себе, что юность моя миновала, едва успевши начаться.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Бои со Степью были затяжными. Степнякам не удавалось прорваться на Русскую землю, но они были упорны и злы, и мы сдерживали их набеги четыре года подряд, с весны до осени. Это было время, когда родилась наша дружба — старого Ильи и нас — молодых Алеши и Добрыни. Мы вместе шли в бой, и степняки тоже знали нас, и расступались, как трава. Мы вместе бражничали (Илья — до одури, Алеша — до расслабления, я — до веселья). Мы вместе являлись ко двору великого князя киевского и вместе скитались по градам и весям в перерывах между боями. Скоро если поминали одного из нас, то поминали и остальных двоих.

Я не любил войну. Бой вызывал у меня теперь глухое отвращение; я не переносил крови, но как иначе было остановить эти безумные волны великого моря Степи, которые накатывались на нас? Я преодолевал себя.

Нашей дружбе я отдавался с восторгом. Скоро я знал слабость и силу моих товарищей, как они знали мои.

Илья поздно вступил на богатырский путь. До тридцати лет он сидел в своем Муроме, слабый на ноги. Но потом появился богатырь Святогор, дела которого помнят до сих пор, вылечил его и взял с собой в странствия. Илья был самым могучим из нас, несмотря на свой возраст. Рука его была тяжела, и он был бесподобен в бою — как разозленный медведь, отряхивающийся от мелкой твари. По-своему Илья был мудр (я уже рассказал о том, как он дал мне урок с сатанинским грибом), и мудрость его была очень житейской, такой, что ее понимали все. К нему часто приходили рассудить ссору, и Илья, со смешками и шуточками выслушав стороны до конца, обычно судил по справедливости, да так просто, что все только рты раскрывали. Но у Ильи совершенно не было Силы; он не любил вмешиваться в истории, которые были так или иначе связаны с нею. Водились за ним и другие грешки. Буйан и пьяница, он бывал груб и неразумен; очень любил сладко поесть, поспать и попить. Илья был до крайности тщеславен и рассказывал о своих подвигах, когда его просили и не просили, ревниво добиваясь места первого богатыря земли Русской. С князем Владимиром он был подобострастен и всячески старался ему угодить, как и княжичам. Когда я говорил ему, что Святополк — опасный зверь, Илья лицемерно вздыхал и отвечал: «Не нам с тобой, мужикам, Добрыня, князей-то судить». Поначалу он пытался крутить мною и Алешей по-своему, но Алеша только насмешливо фыркал, а я хмурился, и скоро Илья говорил о своем верховенстве среди богатырей только песнярам; многие, впрочем, ему верили.

Алеша родился в семье священника, отсюда и прозвище. Он был вторым и последним учеником Святогора. Он прославился тем, что, будучи совсем юным, вызвал на поединок степного князя Тугарина, оскорбившего князя Владимира на пиру. Тугарин рассмеялся, но Алеша, выхватив меч, срезал как бритвой пук волос с его бороды. Тугарин решил посмотреть, что же это за удивительный юноша, и его любопытство было удовлетворено самым неожиданным для него образом. Вскоре после этого Алеша пустился в самостоятельные странствия. Из нас троих он, пожалуй, был самым хитроумным и находил

такие решения, до которых я бы никогда не додумался. Он обладал Силой, почти никогда, впрочем, не выказывая ее открыто; никто доподлинно не знал, насколько она велика. Я все же полагаю, что она была не больше моей, только, пожалуй, Алеша говорил со зверями. Вторым удовольствием в его жизни после подвигов были женщины, и здесь Алешино лукавство проявлялось в полную меру; я бы сказал даже, что он был безжалостным в нем. Если говорить дальше о его слабостях, то надо сказать, пожалуй, о некотором легкомыслии; мне всегда казалось, что Алеша намеренно старается не вникать в глубины жизни, чтобы не омрачать счастливого состояния, которое обеспечивал ему его веселый нрав. А тот, кто сам не хочет страдать, тот невольно причинит больше страданий другим, чем мог бы. Алеша был неунывающий и очень проворен в бою. В дела, связанные с Силой, он ввязывался крайне осторожно, но, как мне всегда казалось, втайне любил такие похождения.

Это были относительно спокойные годы. Нам не верилось, что с нами может что-то случиться в обычном бою; да ничего, кроме царапин, и не случилось. Зимой я уезжал к матери и жил в Заплавье; несколько раз Илья и Алеша приезжали туда; дым шел коромыслом. Я уже подумывал о том, чтобы перевезти мать в Киев: в Киев я часто наезжал по делам, а в Заплавье мог проводить только зиму. Слава матери как ведуньи усилилась после того, как я стал богатырем, и к ней приходили из самых отдаленных деревень. Я наполнил нашу избу дорогими вещами; это не заменяло матери меня. Ей постоянно мнились какие-то опасности, встающие на моем пути, и именно в те годы она отважилась погадать и успокоилась, сказав мне, что я переживу ее. Я построил в Заплавье часовню; туда стали иногда приезжать священники из Новгорода.

Тяжелым грузом лежало на моем сердце исчезновение Учителя; он дал мне знать, что живет теперь в монастыре, но не сказал в каком. Я тосковал по нему, и потом мне нужен был его совет: как быть дальше. Конечно, ратная служба у великого князя была почетна, прибыльна и спокойна; я стал опытным и искушенным воином и дрался теперь не отчаянно, а уверенно. Но Волхв, Волхв и Святополк — вот что волновало меня. Святополк перестал метать на меня яростные взоры: я не мог понять, повзрослел ли он и переменялся или просто стал хитрее. Я грешил на последнее. Владимир, казалось, совершенно забыл про минувшие дела, да и Волхв не давал о себе знать; впрочем, поговаривали, что постоянные набеги степняков — его рук дело.

Я стал тяготиться воинской службой; Илья и Алеша тоже часто сетовали на однообразие нашей жизни, и осенью мы сказали князю Владимиру, что от нас будет больше проку, коли мы станем вновь колесить по Рус-ской земле. Я не сказал бы, чтобы Владимир обрадовался нашим словам; по-моему, в глубине души он считал, что богатыри притягивают к себе, а заодно и к Киеву напасти. Однако отговаривать нас он не стал и с видимым неудовольствием дал вольную.

Ту зиму я снова провел в Заплавье — на этот раз в некотором раздражении. Священник, которому я заплатил прошлой весной за то, чтобы он жил у нас, куда-то сгинул, и я рыскал вокруг Новгорода, разыскивая негодного хитреца или кого-нибудь, кто бы согласился занять его место. Но таких не было. Мы действительно жили в глуши, Я утвердился в мысли перевезти мать в Киев; она долго отказывалась, поначалу наотрез, говоря, что в Заплавье прошла вся ее жизнь, но потом согласилась, сохранив дом здесь, переехать в Новгород. В феврале мы тронулись в дорогу и скоро уже обустроивались на новом месте. Я предпочел бы, чтобы мать жила в Киеве, но Киев казался ей слишком далеким и чужим. Не успели мы устроиться в новом доме, как к нам повалил народ; лечиться у матери и говорить со мной. Наскучавшись за зиму, я охотно разговаривал, выведывая, что творится на земле Русской, — и что же, все в один голос говорили о том, что в Черниговских лесах, на Сорочинской горе близ Пучай-реки снова появился Змей. Рассказывали, что он говорит человеческим голосом, злобен и хитер, похищает людей и пожирает их. Хлопанье крыльев и шипение наводили страх на всю округу. Говорили уже и о змеенышах, и о пламени, которое вырывается из пасти Змея. О Змеях рассказывали и раньше, но всегда — недостоверно, с каким-то сомнением. Я решил отправиться на Сорочинскую гору. Дело было

не только в том, что я засиделся за зиму, но и в том, что у меня большое подозрение вызывала новоявленная нечисть: не знамение ли это возвращения Волхва?

По дороге я говорил с кем только можно было. Все твердили в один голос: и пламя было, и по-человечески говорит, и размеров невероятных. Я колебался. Змей не принадлежал к миру леших, домовых и прочих существ, бороться с которыми бесполезно. Он был, судя по всему, из плоти и крови. Но пламя? Но человеческий голос? Я был в затруднении. Или это действительно порождение Тьмы? Если я увижу пламя и услышу человеческий голос — сомнений быть не может, эта тварь создана великой Тьмой и не мне с моей небольшой Силой тягаться с нею. Но по крайней мере узнать, что это за тварь, нужно было обязательно.

Ближе к Сорочинской горе говорили уже, что Змеев несколько, но только один — на Пучай-реке — бесчинствует, остальные же сидят смирно, жрут лесную тварь и нападают на человека только в самых крайних случаях. Когда я расспрашивал дорогу к Пучай-реке, на меня смотрели как на безумного; я усмехался; по крайней мере будет известно, где я сложил голову.

— Когда он говорит по-человечески? — допытывался я.

— А когда с ним заговорят, он и отвечает.

— Кто с ним говорит, коли он так страшен?

Наконец, однажды я услышал:

— Поди к Пучай-реке да влезь на Сорочинскую гору, увидишь пещеру. Подойди ко входу да поговори с ним, но только днем, а не то он тебя сожрет.

Это звучало не слишком ободряюще, но что еще оставалось мне делать? Говорящий Змей — очень подозрительно это было.

Пучай-река не понравилась мне сразу. Берега ее были сплошь покрыты лозняком, который тут же переходил в душное мелколесье. Дороги моему коню там не было, и я оставил его в чаще, уповая на то, что никто не сунется в это глухое опасное место. Я долго блуждал, перед тем как нашел Сорочинскую гору. Ее тоже покрывал лес. Я долго крался по лесу — насколько вообще может красться богатырь в полном вооружении. Тропинок вокруг не было. Была, правда, полоска примятой травы, но кто ее оставил — я не знал. Потом я завидел просвет, лег в траву и осторожно выглянул наружу.

Наискосок от меня был вход в пещеру. Трава перед нею была вытоптана. Кругом было тихо. Это была какая-то особенная, нехорошая тишина.

Я огляделся по сторонам, собрался с мыслями и крикнул:

— Эй, Змей Сорочинский, покажись.

Тишина сделалась еще тише; какое-то напряжение почувствовалось вокруг.

— Эй, Змей Сорочинский, чудище невиданное, пусти-ка пламя.

Тишина.

— Эй, Змей Сорочинский, поговори со мной.

И тут хриплый голос вдруг сказал:

— Отчего же не поговорить.

Я вздрогнул. Голос шел из пещеры, сомнений в этом не было; это был какой-то странный голос, он звучал по-человечески, но было в нем что-то непривычное. Я молчал. Пещера тоже выжидала.

— Скажи мне, Змей, что самое удивительное ты видел на своем веку?

— Самонадеянность жалких людишек.

— А может, ты настоящих людей-то и не видал?

— Может, и не видал. Покажись.

— Я не самонадеян.

— Кто ты?

— Человек.

Голос хихикнул, помолчал и промолвил вдруг:

— Ты труслив и самонадеян, Добрыня.

Я онемел на мгновение, но потом постарался совладать с собой:

— Не думал, что я так известен. Я не настолько самонадеян, чтобы полагать, будто меня могут узнавать по одному лишь голосу.

— Не по голосу, не по голосу, Добрыня. Моя Сила велика. Ты бы удивился, когда б узнал, как много я знаю.

— Не знаю, как велика твоя Сила. Но только не мудрено узнать, кто едет к тебе, если этот человек справляется о тебе у каждого встречного.

Сквитавшись, мы помолчали. Потом голос спросил бесстрастно:

— Ты пришел убить меня?

— Я пришел говорить с тобой.

— Ты лжешь. Впрочем, это тебе не поможет. Пока не поздно, уходи под добру-поздорову.

— У меня еще есть время до ночи.

— Мои крылья сильны, полет мой быстр. Я могу настигнуть тебя в пути.

Я напрягал свою невеликую Силу, как мог. И то, что я чувствовал, утверждало меня в моих догадках.

— Скажи мне, Змей Сорочинский, почему другие Змеи не трогают человеческих жилищ и лишь ты один посягаешь не на свое?

— Я не знаю, что такое «не свое».

— Скажи мне, Змей Сорочинский, почему ни один другой Змей не говорит на нашем языке, а ты владеешь им?

— А почему другие люди не суют нос в чужие дела и только богатыри славятся этим?

— Я не знаю, что такое «чужие дела»... Я приехал с могилы твоего отца.

Молчание повисло над поляной. Я гадал, видно ли меня из пещеры: я лежал на опушке, но зоркие глаза могли разглядеть меня в траве. Мы молчали долго. Потом голос безо всякого выражения проговорил:

— Ну и где же могила моего отца?

— В неосвященной земле.

— Назови место.

— А разве у Змеев бывают могилы?

— Назови место!

— А разве Змеи посещают могилы предков?

— Место!!

— Между восходом и закатом.

И тут из пещеры разнесся громopodobный рев. Взмыл к небесам и стих.

Я не понимаю этого языка, Змей Сорочинский. Говори со мной по-человечьи.

После некоторого молчания голос заговорил — с расстановкой, зловеще:

— Не шути со мной, Добрыня. Ты действительно глуп и самонадеян. И ты жестоко поплачишься за свое хитроумие.

— Я принес тебе вести с могилы твоего отца. И ты обвиняешь меня в глупости?

— Да. Ты не глуп, это верно. И что же это за вести?

— Выходи. Я не люблю говорить с пещерами.

— Я тоже не люблю говорить с теми, кто прячется в траве. А может, никаких вестей и нет? Зачем бы тебе приносить их?

— Не с тем, чтобы сделать доброе дело. У меня есть своя корысть.

— И какая же?

— Сначала вести. Потом о корысти.

— Что ж. Приходи в сумерках. Я выйду к тебе.

— В сумерках ты будешь сильнее меня. Выходи сейчас.

— Нет. Если ты действительно так настойчив, как говорят, ты придешь в сумерках. Это мое последнее слово.

— Хорошо. Я приду в сумерках.

Я поднялся во весь рост и сделал шаг вперед на поляну.

— Чтобы ты не говорил, что я труслив, я показываюсь тебе. И когда я уйду, я оставлю на том месте, где я лежал, первую весть. Она будет завернута в тряпицу. К сумеркам, когда я вернусь, ты уже будешь знать, что я говорил правду.

Не дождавшись никакого ответа, я ушел. Я дошел до места, где был привязан мой конь, и заговорил с ним. Я дождался, пока он приветствовал меня ржанием, и тихо стал пробираться обратно. Не дойдя до поляны шагов пятьсот, я лег в траву и стал ждать. Я ждал долго и терпеливо: чему-чему, а уж терпению-то я научился. И вот я услышал то, что ожидал, — яростный крик боли.

Что было сил я рванулся вперед; бегать в доспехах — самое последнее дело — ни убежать, ни догнать ты не сможешь, но иногда сумеешь поспеть. И я поспел.

На месте, где перед этим лежал я, лежал недвижно человек. В его правой ноге торчала стрела из моего самострела, который я тихонько соорудил, разговаривая с ним. В руке была зажата тряпица с сучком, который я подобрал здесь же. Он все-таки не выдержал. Я усмехнулся и посмотрел на пещеру. Я знал, что у меня есть еще некоторое время: наконечник стрелы был смазан ядом, который лишал человека сознания.

Как мог тише, я нарвал еловых ветвей и приблизился к пещере. Я поостерегся заглядывать вовнутрь и только сложил еловые ветви как можно ближе ко входу. Потом — так же осторожно — я вернулся к человеку, попавшему в мою ловушку. Я вернулся вовремя: он уже приходил в себя. Я потерял ему виски. Со стоном он открыл глаза, но одурь и боль стояли в них недолго. С необычайной ненавистью он смотрел мне на лицо. Мой кинжал был приставлен к его горлу.

— Что, Змей Сорочинский, где же твои крылья?

— Они сейчас вырастут.

— И ты пожрешь меня? Ты оборотень? Не надейся, что я этому поверю.

Сжав губы и напрягшись, он смотрел мне в лицо.

— Вот что, Змей, если тебе угодно называть себя Змеем. Ты пытаешься использовать свою Силу против Меня. Я это чувствую. Лучше перестань: как только я почувствую, что твоя Сила берет верх над моей, я перережу тебе горло.

— Как ты узнал, что я человек?

— Ни один Змей не может говорить по-человечески. Уже заранее я шел говорить не со Змеем, а с выродком. И потом я проверил тебя — сначала Силой, а потом обманом. Змеи действительно не имеют могил, и ты это знаешь. Я не знаю, жив твой отец или нет. И ты, как видно, не знаешь. Но будем говорить о другом. Я уже сказал тебе, что вестей у меня нет. Будем говорить о моей корысти.

— Чего ты хочешь?

— Я хочу узнать, кто надоумил тебя.

— Никто.

— Это ложь.

— Никто.

— Может быть, ты слышал: я не люблю убивать. Но есть случаи, когда я отступаю от правила.

— Я сам. Я сам притворился, что я — говорящий Змей.

— И ты пожирал людей? И пускал пламя?

— У меня есть моя Сила и мои тайны, которых я тебе не открою.

— Я не собираюсь делаться Змеем и помогаю только одной тайны: кто надоумил тебя?

— Я сам! Я говорю тебе: люди верили, будто в округе появился Змей, я хотел власти, и я ее получил.

— А что получил Волхв?

Не успел я сказать это, как мощный удар обрушился на меня, и свет стал меркнуть в моих глазах... Я услышал странный крик, который издал мой враг, и едва — каким-то чудом

— успел двинуть кинжал... Я все еще плохо соображал, но уже бежал к пещере, в которой — я был уверен — был настоящий Змей, и вот на коленях дрожащими руками я орудовал трутом и поджигал еловые ветви и слышал, как ревет, как поворачивается в своей пещере Змей, услышавший голос хозяина...

Я отскочил в сторону и прижался к склону холма, И в тот самый момент, когда змеиное рыло показалось, подслеповато моргая, на солнце, я изо всех сил обрушил удар меча на него...

Оглушающий яростный рев боли и ненависти был ответом, и через мгновение Змей, разметав костер, был уже снаружи... На мое счастье, он обезумел от удара и не стал рыскать по сторонам, а то бы я не ушел с той поляны; он взмыл в небо, и я убедился, что рассказы о летающих Змеях не были преувеличением. Он метался по воздуху над поляной — вытянутый, размером чуть больше крупного коня, с перепончатыми крыльями, как у летучей мыши. Ревя, он то падал к земле, то взмывал в небо. Как я и догадывался, он плохо видел днем; может быть, к тому же я повредил его глаза. Но страшное чудовище было все же намерено понять, кто напал на него и против кого его успел предупредить хозяин. Змей принялся кружить над поляной, полагаясь, видно, не столько на зрение, сколько на нюх. Но у него ничего не получалось; отчего-то он не мог меня найти. И это дало мне время вспомнить о луке. Я целил ему в сердце; стрела со звоном оторвалась от тетивы и впилась в его тело; но она, как видно, не могла пробить его шкуру и войти в него Целиком. Мой выстрел дал Змею преимущество: он понял направление, откуда исходила угроза, и с ревом стремительно бросился на меня. Я выпустил еще одну стрелу, целясь в его зев, но он в последний момент Дернулся, и стрела пролетела мимо. Я едва успел скользнуть в пещеру, а Змей едва успел увернуться от склона Холма и снова взмыл в небо. Оставаясь в пещере, я выпустил еще одну стрелу, которая застряла у него Под лапой. Змей понесся на меня, но в последний Момент заметил пещеру и отчаянно захлопал крыльями, приостанавливаясь. И вот пока он висел в воздухе, прострелил ему глаз.

С клекотом Змей взмыл в небеса; движения его уже были смятенны и неверны; и вот он рухнул на землю и забил крыльями, протяжно крича и подвигаясь к своему жилищу. Я бросился навстречу ему и, пока чудовище напрягало последние силы, отсек ему голову.

Я стоял над ним, глядя на него; теперь я видел, что первый удар меча глубоко рассек голову, повредил правый глаз и полуотрубил ноздри. Голова еще моргала маленькими глазками; туловище подергивалось. И внезапно крыло взмыло в воздух и сшибло меня с ног, унося в беспамятство...

Когда я очнулся, был уже вечер. Странное красноватое зарево стояло над поляной. Поначалу я не понял, что это было, и только потом, приподнявшись на локте, понял: это светилось брюхо Змея.

Вот откуда взялись легенды о пламени, понял я. Не может Змей извергать пламя, но, оказывается, может светиться, как светляк. С трудом я поднялся — к счастью, я был только оглушен — и подошел к нему. Змей походил отчасти на летучую мышь, отчасти на ящерицу и был величиной действительно чуть побольше крупного коня. Тело его покрывала толстая чешуя.

Я зажег ветвь и осмотрел пещеру. Она была глубока и просторна, и в ней было место и для Змея, и для человека. Я не нашел ничего приметного. Кое-какое оружие, травы, грубая утварь. Я обыскал тело хозяина Змея. Как только я расстегнул ворот, я увидел серебряное копытце на шее.

Вот так, думал я устало, снова Волхвовьи слуги. На этот раз — человек и Змей. Что ж, все более-менее понятно. Нужна громадная Сила, чтобы приручить Змея, и Волхв обладает такой Силой, и он поделился ею с этим человеком, и они натаскали Змея на людей. Больше ничего я сказать не мог, завернул голову Змея в ту самую тряпицу, которой приманил к самострелу его хозяина, и направился к своему коню.

Пока я добрался до ближайшей деревни, была уже глубокая ночь. Но я стал барабанить в окна, крича: «Змея больше нет! Выходите!»

Они долго боялись, потом стали выбираться наружу. «Огня!» — закричал я и в свете пламени показал им страшную отрубленную голову...

Не буду описывать их ужас и облегчение, пришедшее позднее восхищенное любопытство, скажу лишь одно: когда я уезжал, я сказал им:

— Никогда не верьте, что чудища говорят по-человечески. Этого Змея направляла человеческая рука, и эта рука уже больше никогда не поднимется. Но этому нелюдю помогали и другие. Скорее всего, они ходят среди вас. Никогда не полагайтесь на то, что кто-то придет и спасет вас. Учитесь чувствовать зло среди вас — уж это-то вы можете! И в усталости и даже в некотором раздражении я пришпорил коня.

Я привез голову Змея в Киев, где и выставил ее на княжеском дворе на всеобщее обозрение. Князю Владимиру, Илье и Алеше я рассказал все, как было. Великий князь киевский приказал мне молчать. Он снова не хотел, чтобы разговоры о Волхве возобновились. Вот так — не хотел, и все. Грешным делом, я Думаю, что был тут и такой расчет: не давать основания говорить, что есть на Русской земле человек более могущественный, чем великий князь киевский.

А меня Владимир шумно чествовал, и песняры запели про то, как Добрыня победил Змея. Очень скоро после этого я решил выяснить, что это за другое чудище — Соловей-Разбойник, и поехал на Черниговскую дорогу к деревеньке Свапуще, где узнал, что Соловей-Разбойник — это несчастный юноша-горбун Радко; и еще я узнал, что он — сын Волхва, и его Наина твердо пообещала дать мне знать, если Волхв вернется за Радко... Но этот подвиг остался тайной, и все говорили по-прежнему только о Змее.

Илья и Алеша ревновали меня к подвигу, и я думаю, что именно это заставило Илью вскорости отправиться по моим следам к Соловью-Разбойнику и привезти его в Киев, где я освободил Радко из княжеского подземелья и вернул матери. Но я чувствовал, что если история со Змеем уже в прошлом и только Волхв припомнит мне ее когда-нибудь в будущем, то история с Соловьем-Разбойником еще будет иметь продолжение и в нем будет непременно участвовать сам враг Русской земли — Волхв...

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Внезапно у меня стало неметь правое плечо — именно то, которое задел своим крылом Змей Сорочинский. Я лечил плечо травами, но оно не проходило, стала неметь правая рука.

Я не знал, что это было: естественное повреждение плоти или какая-то злая Сила Волхва, переданная выпестованному им зверю. Богатырь — без правой руки?!

Надо было спешно что-то решать. Я не мог обратиться к известным знахарям: они бы разболтали. Я не мог доехать до матери — рука немела быстро (и я в очередной раз проклял себя за то, что не перевез мать в Киев). Я пошел к своему другу Даниле, который стал теперь сокольничим великого князя, и открыл ему свою беду. Я помянул и Волхва, и его Силу. Данила поначалу пришел в ужас (Добрыня без правой руки!), а потом, зная всех и вся (на это-то я и рассчитывал), сказал:

— Я отведу тебя к одной знахарке. Ее зовут Маринка. Она живет здесь, в Киеве. Она молода, но ее мало знают, потому что она странная девушка и лечит не всех, многим отказывает. Она вообще странная — не выходит замуж, живет сама, молвы не боится. Но я знаю, что Сила ее велика.

— А ты знаешь, какая это Сила? Не из тех ли рук, что и моя рана?

— Знаю, Добрыня.

И тотчас же, не медля, он отвел меня на Подол, где в маленьком доме жила эта самая Маринка.

Она вышла к нам, увидав Данилу в окно, — он, чувствовалось, был из тех, кому она доверяла. У нее были редкие глаза — темно-синие и такие яркие, словно налитые слезами. Данила только открыл рот, как она сказала:

— Если ты привел его ко мне — спасибо. Я еще не лечила богатырей. А теперь не

обижайся, ступай, оставь нас. Мое дело не любит посторонних глаз... Садись, Добрыня. Что с твоим плечом?

«Это еще не Сила, — подумал я. — Любой знахарь заметил бы это».

— Прости и ты меня, но я еще не знаю, могу ли я довериться тебе. Раны, которые получают богатыри, подчас особые раны... Скажи мне: о чем мечтает Добрыня?

— Это просто. Сейчас он мечтает, чтобы плечо его распрямилось. А вообще он думает о том, кого я называть не хочу.

— Почему ты многим отказываешь в помощи?

— Потому что болезни некоторых слишком страшны, чтобы я могла помочь. Потому что болезни других слишком ничтожны, чтобы я тратила на них свою Силу. Наконец, потому, что некоторые знают с тем, кого я называть не хочу.

— Почему я могу тебе поверить?

— Потому что у тебя тоже есть Сила, которую не обманешь. Ты плохо лечишь, Добрыня, но ты многое Понимаешь.

— Хорошо. Я верю тебе. Я дрался со Змеем и убил его. Но Змей задел меня своим крылом так, что я рухнул без чувств. А Змей был выкормыш того, имени которого ты называть не хочешь. Потом прошло несколько месяцев, и я ничего не чувствовал. Сейчас у меня немеет плечо, которого коснулся Змей. Немеет рука. Я думаю, что тут замешана Сила Волхва...

— Не называй его!

— Хорошо... Посмотри. Скажи мне все, что ты думаешь. Я же думаю, что тот, кого ты не хочешь называть, настиг меня...

Я разделся, и она долго смотрела на мое плечо и водила руками по нему и над ним. Лицо ее было бесстрастно, но я чувствовал, что ничего хорошего я не услышу.

— Вот что я тебе скажу. Можешь верить мне, можешь нет. Ты прав. Здесь — Сила. Большая Сила. Того, которого я не хочу называть. Но я думаю, что есть еще одно. Сила эта вошла в тебя не просто от касания крыла Змея. У тебя под кожей сидит его волос.

— Волос? Что ты говоришь! Я был в кольчуге, и потом я ничего не чувствовал!

— Волос не пробивает кольчугу, он проскальзывает сквозь ячею. А то, что ты ничего не чувствовал, — что ж, его Сила велика.

— Хорошо... Ты можешь помочь мне?

— Если я тебе не помогу, тебе уже никто не поможет.

— Никто? Не слишком ли ты горда?

— Я горда. Но не в этом дело, Добрыня. А в том, что тебе осталось жить всего день и ты просто не успеешь найти другого лекаря. Холодный пот прошиб меня.

— Ты не веришь мне? Кроме плеча, в остальном ты здоров? — Она горько усмехнулась. — Смотри. — Она достала откуда-то белый высушенный корень. — Это мындрэгира. Корень жизни. — Она провела корнем по своей руке. — А теперь — смотри.

Она провела им по моей здоровой левой руке, и я увидел, что корень сделался черен, как уголь...

— Помоги мне... если можешь... Я отплачу, как ты скажешь. Золотом. Подвигом. Чем хочешь.

— Я не возьму с тебя золото. Я не возьму с тебя и подвиг. Просто, если ты выздоровеешь, ты будешь преследовать того, кого я не хочу называть. А это ты будешь делать и без моей просьбы.

— Где ты будешь лечить меня?

— Здесь. Немедленно.

— Когда я могу потерять сознание?

— В любую минуту.

— Ты можешь послать за Алешей Поповичем? Тогда пошли и передай ему: пускай кто-нибудь скачет на Сорочинскую гору и накажет людям не приближаться к телу Змея... Если поедет смелый и умный, пускай сожжет его...

— И это все?

— В случае чего Алеша поймет, что еще останется сделать...

Она крикнула кому-то в окно:

— Беги на княжий двор и скажи Алеше Поповичу: Добрыня зовет!

Не медля, она приступила к делу. Острым ножом она вскрыла мое плечо и долго искала в нем волос. Онемевшее плечо вдруг вскрикнуло болью; я только сжимал зубы.

Наконец она разогнулась и протянула мне на зеленом листе — волос. Он был черен и прям. Весточка от Волхва, подумал я горько. Потом Маринка влила мне в рану горячий отвар чего-то; как больно мне ни было, я старался определить по запаху, что это было, но не мог. Потом она забинтовала плечо, уложила меня и стала готовить другой отвар. Семнадцать трав, посчитал я. Отвар был очень горек. Я отер губы, и вдруг все начало бешено вращаться. Темень застлала глаза. Отравлен, сказал я себе. Опять слуга Волхва.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

...жар... адский огонь... жажда... тело распалось на куски, но каждый болит... голова... моя голова... ледоход... ледоход в моей голове... ледоход, как на нашем озере... мама... далеко, далеко... почему я не перевез ее... где она... где я... где я?., кто я?., женское лицо надо мной... горькое питье... я не могу его пить!., я не могу и сопротивляться... я не могу пошевелить рукой, пальцем — не могу... мои веки... под ними — песок... Волхв, Волхв!.. Учитель, где ты?., все покинули меня, никто не пришел... как мое имя?., кто я?., снова женское лицо надо мной... Алеша! Алеша здесь!.. Алеша, скажи за Учителем, я должен передать ему, что я знаю о Волхве... ты не слышишь меня, Алеша...

Я открыл глаза. Я смотрел в черный потолок. Кто я? Добрыня. Где я? В Киеве. Да: плечо, Маринка, Змей, Волхв, отравлен... Значит, я не отравлен? Значит, я...

Она сидела в изголовье. Я пошевелил губами.

— Ты можешь говорить, Добрыня. Говори! Ты будешь здоров.

— Спасла? Спасла меня? — проговорил я.

— Бог спас... И кто-то еще тебе помогает, Добрыня... Я чувствовала еще чью-то Силу на тебе.

— Два человека. Мать. Учитель.

— Ты говорил о них... Я теперь много знаю, Добрыня, но ты можешь быть спокоен: даже если я буду в беспамятстве, я буду молчать. А теперь спи. Выпей вот это и спи.

— Алеша... Змей...

— Илья поскакал на Сорочинскую гору. Алеша здесь.

Не знаю, когда я очнулся в следующий раз, но только теперь я чувствовал себя много лучше. Мы долго говорили. Алеша примчался, как только его нашли: я был уже без сознания. Алеша был во хмелю и кричал, призывая всех святых в свидетели, что он выпотрошит того, кого Маринка не хотела называть. Маринка еле уговорила его молчать. Сказали только Илье да князю Владимиру. Князь посылал по три раза на дню узнавать обо мне. Алеша не отходил от меня. В бреду я наговорил много лишнего. Я часто поминал Волхва — Маринка зажимала мне рот, — говорил о Крепости, о серебряных копытцах, даже о княжиче Святополке... Алеша только хмурился. Много он знал, а чего не знал, того предпочел бы не знать вовсе. Всего я был в беспамятстве двадцать дней.

Теперь я был очень слаб, и даже плечо почти перестало болеть. Дня через три вернулся Илья; труп Змея был сожжен, но несколько человек уже успели умереть... Я проклинал себя за беспечность. Илья утешал меня тем, что для верности он спалил весь Сорочинский лес.

— Поменьше бы ты, Добрыня, якшался с Волхвом, — сказал он мне, супя брови.

Они с Алешей взяли в привычку бражничать у моей постели. Маринка сидела за столом; глаза ее смеялись. Во время одного такого застолья дверь отворилась и в дом вошла моя мать...

Весть о том, что я здоров, разминувшись с ней: она покинула Новгород, как только в тот

вечер, когда я впал в беспамятство, услышала мой крик...

Теперь и речь не шла о том, чтобы ей возвращаться в Новгород. Великий князь подарил нам дом. Хороший новый дом с крепким частоколом неподалеку от берега Днепра. Князь приказал позаботиться о том, чтобы дом и кладовые не были пусты. Что ж, думал я, я заслужил это...

Но я медлил перебираться в новый дом от Маринки. Она тоже выдумывала все новые предлоги, почему мне надо остаться. Однажды — шел уже октябрь, и дождь нудил за окном, — я спросил ее:

— А что бы ты делала, если бы ночью сюда вошел Волхв?

— Пока ты был без сознания, здесь был Алеша. Но... на всякий случай... у меня есть моя Сила... я все время думала об этом... Ты видишь, над дверью стоит чан. Никто не знает, что стоит мне дернуть за веревочку, и чан опрокинется... А в нем такой настой, что даже Волхву бы не поздоровилось... Бабья защита, Добрыня... Я все привыкла делать сама. Я ведь сирота. Растила меня бабка. Она и научила всему. А Сила у меня была. Единственное, что было в моей жизни, — это бабка и Сила. А потом бабка умерла — не от болезни: от старости, и мы ничего не могли поделать — ни она, ни я...

— Но ведь многие хотели взять тебя в жены...

— Ты угадал. Многие.

— Но ты живешь одна.

— Один хотел жениться на знахарке. Второй хотел стать золотых дел мастером. Третий хотел научиться владеть мечом. Четвертый хотел ковать мечи. Но если я хочу лечить людей, то ни один из них не хотел лечить зло.

— Лечить зло?

— Ты не согласишься со мной, но я думаю, что зло нужно лечить. Конечно, многих нужно отсекал, как гниющую плоть или заразу, но зло в людях вообще нужно лечить...

— Я знаю человека, который бы согласился с тобой. Мой Учитель.

— Я думаю, что он приходил сюда...

— Что?!

— Когда ты был в беспамятстве, какой-то человек приходил сюда в одежде монаха... Я испугалась поначалу, почувствовав большую Силу, но тут же поняла, что его Сила добра... Он долго сидел над тобой, а потом ушел. Я почувствовала, что он сильно помог тебе.

— Что он сказал тебе?!

— Он все время молчал и уже в дверях сказал только одно: «Передай Добрыне, когда он окрепнет, что он идет по самому следу волка. И передай еще: когда одни люди уходят из его жизни, приходят другие».

— И он не говорил с тобой?

— Нет.

— И ты не говорила с ним?

— Нет.

— Я много говорил в бреду, Многое было для тебя новым. Что тебя поразило более всего?

— Твое одиночество.

— Что испугало тебя больше всего?

— Твое одиночество.

— Чему бы ты позавидовала более всего?

— Умению терпеть его.

— Ты выйдешь за меня замуж?

— Да, Добрыня.

Через неделю мы обвенчались. И великий князь киевский позвал нас — мою мать, мою жену и меня во дворец и одарил нас. Но он не говорил со мной о Волхве...

Мы стали жить в новом доме. Но Маринка не захотела продавать старый. Она по-прежнему лечила людей в нем. Моя мать сказала мне, что ее Сила действительно очень

велика.

Было странно иметь свой дом после многих лет скитаний, хотя я знал, что придет весна и я снова пущусь в дорогу.

— Когда ты решила стать моей женой? — спросил я однажды Маринку.

Она улыбнулась:

— Когда ты переступил мой порог и я увидела, что только я одна могу спасти тебя. И потом... — Она опустила голову. — Ты спрашивал меня, не говорил ли со Мной твой Учитель. Он говорил... Когда он уже стоял на пороге и передал тебе, что ты идешь след в след волку... После этого, не оборачиваясь, он сказал мне: «Если Добрыня попросит тебя стать его женой, скажи «да».

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Когда просыхают дороги, для богатырей наступает время больших дел.

В распутицу, а по большей части и в зимнюю непогоду можно сидеть в тепле и размышлять о делах минувших и будущих. С теплом же оживает все. Пока я был очень молод, я полагал, будто понятие «жизнь» включает в себе только свет, а вся тьма скрывается под знаком смерти. Теперь я уже давно знаю, что ошибался. Ведь и в смерти есть свет, раз Спаситель обещал нам жизнь вечную; но и в жизни есть тьма, потому что силы зла отпущены на свободу. Я не знаю, зачем это понадобилось Ему, в чьих руках все начала и концы, но, видно, так нужно.

С теплом же выплывает на свет всякая нечисть. В оживающих реках начинают плескаться русалки; по молодой траве крадется леший; сбиваются с дороги и гибнут в болотах, завлеченные голубыми мертвецкими огнями, целые рати. Степь собирается на дальних рубежах, чтобы, насадив солнце на пики, пуститься в кровавый набег. И по весне, неведомо откуда, неприметно пускается в путь враг Русской земли Волхв...

В теплое время нет богатырю ни сна, ни отдыха. Дороги стелются перед глазами, даже когда закроешь их. И — то клинки, то полчища, то чьи-то злые глаза...

Когда на вербе проклюнулся серый пух, я получил известие, что Илья ждет меня в Чернигове. Я понял — старик что-то замышляет, и не мешкая, простившись с семьей, отправился в путь.

Отяжелевшие за зиму шмели, шершни и пчелы кружили над полянами, тычась в стволы деревьев. В синеву небес рвались птицы. Снег, лежавший в лощинах, казалось, просил, чтобы его оставили поглядеть на всеобщее ликование, тепло и свет, и все вокруг смотрело так хорошо и добро, что казалось — действительно оставят. Илья встретил меня на пороге избы.

— Ты торопился, Добрыня, — сказал он с усмешкой. — Видно, наскучался за зиму?

Я вошел в дом; поначалу в полутьме я не понял, кто сидит за столом, но тут же лукавым смородиновым блеском на меня сверкнули глаза. «Алеша!» Мы обнялись.

Мы сидели за столом, медленно хмелея. Алеша поглядывал на меня, я — на Алешу. Наконец Илья не выдержал.

— Вы думаете, — начал он, насупив брови, — что Илья порос мхом и позвал вас бражничать и пустословить. Так нет. Илья еще все тот же Илья... — Мы молчали. — Слушайте. Я позвал вас в Чернигов, чтобы...

Он оглянулся и посмотрел по сторонам.

— Говори, Илья, — сказал я. — Если бы Волхв был рядом, я бы чувствовал.

Илья сумрачно кивнул.

— Говори!

— Пора нам, богатыри, взяться за дело... За настоящее дело, чтобы вся Русская земля сказала: вот это добро, ай да молодцы!

Мы с Алешей молчали. Мало ли по какому поводу могла сказать такое Русская земля.

— Знаю, знаю я одно слово, от которого разбежится у вас кровь по жилам... Илья

выждал. По углам избы заплясали тени.

— Идолище Поганое! — выдохнул Илья одним махом.

Мы переглянулись. Идолище Поганое! Легко сказать, трудно сделать!

Идолище Поганое... Мало кто из людей доподлинно знал, что это такое. Но мы-то, богатыри, знали, хотя из всех нас только Илья, пожалуй, подъезжал близко к тем пределам. Многие думали, Идолище — это только большой идол, вроде тех, которые до сих пор стоят по Нашим лесам и которым до сих пор тайно поклоняются некоторые. Но Идолище был страшнее, и здесь была замешана большая Сила...

Идолище стоял в степях, неподалеку от моря и от устья большой реки Дона; в отличие от Крепости, с которой начались мои подвиги и которая оставалась неизвестна для большинства, Идолище знал каждый; о нем пели песняры, сами толком не ведая, о чем пели. Илья-то знал, что говорил, но подвиг был велик, да, велик... Одно дело — драться со степняками, даже лезть в логово Змея. Легче даже было поехать в Крепость и вести с Властителем Крепости хитроумные переговоры. Другое дело было — ехать на Идолище... Илья явно хотел совершить большой подвиг, о котором пели бы века... Ходили разговоры — и я склонен был им верить, — что степняки насылались на Русь именно Идолищем. Я знал и другое. У Идолища часто бывал Волхв.

— погоди, Илья, — сказал я, решив выведать, что на уме у хитрого старика. — Ты же не любишь лезть в дела, где замешана Сила.

— Но ты же будешь с нами, Добрыня, — прищурился Илья. — Да и Алеша хотя молчит, но Силу имеет.

— А ты догадываешься, какая Сила замешана здесь? Здесь Сила того, кого не нужно упоминать.

— Знаю, знаю... Никто из нас Идолища не видел. Я, когда был помоложе, езживал в те края, да только остановился на краю земли. Подожди, не перебивай. Остановился, потому что на пределах этих начинается великая тишина, в которой даже богатырю ехать не уютно. И чувствуешь что-то. Силу, наверно. А вот что рассказал мне один человечек, крещеный степняк, который был у этого самого Идолища. В степи, неподалеку от моря и устья великой реки Дона, стоит идол — Идолище. И живут при нем жрецы. Без охраны. Потому, что никто не отваживается к ним приблизиться. В конце зимы стекаются к Идолищу степняки, и жрецы говорят им, на кого идти войной в этот год, и никто не смеет ослушаться. Потом степняки уезжают, и жрецы остаются одни. Поговаривают, — он бросил взгляд на меня, — что иногда зимует там Волхв... Так вот, почему бы нам не съездить туда, откуда насылаются на землю Русскую лихие напасти, и не разведать все как следует, а при удаче — и не раздавить бы это змеинное гнездо?

— Постой, Илья. Я знаю еще кое-что. Силы зла насадили по всей земле свои пристанища. Знающие люди называют их Оплотами. Говорят — и я верю в это, — что Оплоты идут цепью вокруг всей земли. На наших рубежах это Крепость и Идолище Поганое. За Богемией, в горах, где нечистая сила справляет весенний шабаш, тоже есть Оплот. Оплоты построили Служители зла прошлых веков, память о которых ушла. Оплоты же остались. И кое-кто хочет скрепить звенья этой цепи. Этой работой и занят Враг... Поэтому его и не бывает подолгу на Руси. Он занят своей работой — особенно на Востоке... Оплоты — воплощение большой и злой Силы.

— И Илья тянет нас на такой Оплот? — Алеша крутанул ус.

Илья помолчал. Потом решительно тряхнул головой:

— Знаю, знаю, считаете Илью великим честолюбцем. Может, вы и правы, хотя вам трудно понять, как хочется оставить след на земле нам, старикам... Вы — молодые... Но я скажу вам одну вещь. Я знал, что мне придется ее сказать. Хотя не говорил я ее даже князю Владимиру. — Он нагнулся к нам и зашептал: — В Киеве давешней осенью слышал я, как один из дружков княжича Святополка хвастал: через три года поднимется с юго-востока сила, которая сокрушит великого князя, и клялся при этом — верите ли? — Идолищем...

— Святополк! — крикнул я. — Снова он!

— Тише, Добрыня. Все мы знаем, что неладное творится за стенами дворца в Киеве. И догадываемся, что ты знаешь об этом больше нашего. Но нет нужды говорить об этом.

— Ну и как же мы подберемся к этому Идолищу? — спросил Алеша, крутя ус.

— Поедем на юг. В Таврию. Поедем по ее восточному берегу, по длинной косе. Переправимся через море и высадимся у устья Дона. Оттуда до Идолища недалеко.

— Так поехали, — сказал Алеша.

Дорога до Таврии была приятна. Степи покрывались свежей зеленью. Мы то пускали коней вскачь, то, давая им роздых, ехали шагом и беседовали о разном. Про себя я вспоминал Учителя, нашу поездку на юг, в Таврию, несколько лет назад; поездку, из которой я возвращался уже один. Но Учитель так и не снял руку с моего плеча, и в тот момент, когда моя жизнь оказалась действительно в смертельной опасности, появился, и всякий раз, когда я звал своего коня — Рогожка! — я вспоминал Учителя... Я горько жалел о том, что он вот так — неожиданно и полностью — ушел на покой. Однако я уже начинал понимать, что двигало им. Что было труднее понять, так это то, что Учитель не давал о себе решительно никаких вестей. Но он был со мной. Я думал о доме. Учитель пришел и дал мне его. Я был убежден в этом.

Мы доехали до берега моря и переправились на косу. Коса серпом уходила на юго-восток, теряясь на горизонте в голубовато-розовом мареве.

В полдень воздух дрожал от зноя; иногда — от зноя же — над берегом стлались испарения, как туман. Коса состояла из отбеленных веками ракушек, которые скрипели под копытами наших коней. Там, где кончался песок, в солончаках цвели красные маки. Беда была с водой. Море было, конечно, солоно, хотя здесь и преснее, чем обычно, справа шел гниющий залив. Колодцы встречались редко. Селений не было. Колодцы же были отрыты торговыми людьми, которые во времена затиший проложили по косе торговый путь. Она действительно лежала как ровная белая дорога. Нам никто не попадался по пути, и это был дурной знак: значит, весна на юге была беспокойной.

На берегу валялись скелеты осетров, выброшенных бурей. Солнце вставало из-за моря и садилось в гнилую воду. Восход и закат — все отражалось в воде. Однажды я отстал от Ильи с Алешей и увидел их силуэты на фоне огненного заката в полнеба. Какое-то нехорошее предчувствие кольнуло меня в сердце, и я подумал, что, может быть, напрасно мы вот так самонадеянно решили идти на этот подвиг.

По ночам звезды отражались в воде. Это море было сейчас спокойным, как озеро, и мелким. Мы с Алешей много купались; Илья с фырчанием плескался у берега. Однажды мы заплыли очень далеко, легли на спины и стали смотреть в небо. Неожиданно Алеша сказал мне:

— Твоя звезда яркая, Добрыня. Но по ней ходит пламя.

— А какая звезда моя?

— Этого я тебе не скажу...

Я уже говорил, что Алеша обладал Силой, но таил ее ото всех. Меня всегда занимала Сила других, но никто, кроме Учителя, не рассказывал мне ничего. Даже мать и жена отмалчивались, когда я приставал к ним. И я с тоской подумал, что если бы люди меньше таились, то, может быть, все было бы проще.

Через три дня мы добрались до основания косы, где стояло рыбацкое селение; жители его понимали по-русски: в нескольких днях пути была русская Тматорокань.

Никто не брался перевезти нас: рыбаки уверяли, что их судна не выдержат трех всадников. Илья нахмурил брови.

— Тогда вот этот, — и он кивнул на меня, — сейчас превратит тебя в лягушку.

Переезд через море дался нам с трудом. Мы очень страдали от жары. Мы купались в море по очереди, держась за веревку, привязанную к корме. Рыбак очень удивлялся нашей хитроумности.

На третий день мы завидели ровный низкий берег, словно срезанный ножом; отсюда снова начиналась степь. Не дожидаясь, пока судно причалит к берегу, мы высадились на

мелководье. Рыбак со страхом смотрел нам вслед.

И тут я почувствовал Силу, как будто я натолкнулся на упругий ветерок, веющий от степи к морю. Но я-то знал, что это был за ветер...

Алеша тоже дернулся и стал беспокойно озираться.

— Что, богатыри, — сказал Илья, — почуяли что-то? О-хо-хо...

Мы кружили по степи два дня. Сила то сгущалась, то слабела. Мы с Алешей совещались. Наконец мы поняли, какой круг нам надо закладывать, и двинулись по спирали дальше.

Наутро третьего дня на востоке показалась черная точка. Мы поехали прямо на нее. Через час езды стало совершенно очевидно, что это — Идолище.

Он постепенно вырастал перед нашими глазами, водруженный на курган, каменный, в три человеческих роста, с невнятными чертами лица, широкий, сложивший руки на коленях. Глаз у него почти не было — так, неясные щелочки. Внезапно я похолодел. Идол смотрел на северо-запад. Никого кругом не было.

Мы стояли в полной тишине у подножия Идолища. Я не могу сказать, чтобы Сила шла прямо от него. Но здесь я чувствовал ее явственней, чем когда-либо в своей жизни.

Мы спешили. Когда мы снова поворотились к Идолищу, мы обнаружили, что перед нами, словно из воздуха, появился безоружный старикашка-степняк. Одного взгляда было достаточно, чтобы сказать: он обладал большой Силой.

— Здравствуй, — сказал Илья важно.

Старикашка молчал, с любопытством разглядывая нас.

— Мы пришли с миром, — продолжал Илья. — Ты видишь — мы спешили с коней.

— На коне опасно сидеть, — сказал старикашка добродушно. — Можно упасть.

— Мы приехали из Русской земли.

— Мне нет дела ни до каких земель.

— И ты один здесь?

— Один, один, — закивал старикашка.

По лицу Ильи я понял, что он раздумывает, не пристукнуть ли старикашку сразу, не повалить ли Идолище и не объявить ли подвиг свершенным, и поэтому поспешно сказал:

— Ответь мне: как давно твой бог смотрит на северо-запад?

— Он стоял так всегда.

— Ты знаешь все, но, вероятно, не это. До недавних пор ваш бог смотрел на восток. Тот бок, который смотрел на север, потемнел, но теперь глядит на юго-запад.

— Ты очень хорошо разбираешься в сторонах света, — захихикал старикашка, — гораздо лучше, чем я.

— Мы приехали говорить, — заявил Илья.

— Вы богатыри.

— Да, мы богатыри.

— Богатыри не говорят. Богатыри убивают.

— Неправда, — возразил я. — Богатырь отличается от воина.

— В любом случае, — захихикал старикашка. — Спасибо, что вы меня не убили.

— Смотрите! — вскрикнул Алеша.

Из-за кургана стали выходить люди. Двое. Шестеро. Двенадцать. Еще. Еще. Тридцать. Часть вооружена, часть — нет. Они стояли по обе стороны кургана, молча и недвижимо..

— Мы приехали говорить, — повторил я, чувствуя, что Сила увеличивается.

— Да?

— Может быть, тебе и неинтересно с нами говорить, — сказал Алеша, — но мы просим тебя ответить нам. Русские люди никогда не были здесь. Мы не знаем, кто вы. И мы хотим понять, чего нам ждать от вас.

— Тогда присядем, — сказал старикашка. — В мои годы трудно стоять на солнце.

— Если бы ты приехал ко мне, я бы позвал тебя в дом, — укорил его Илья.

— Мой дом — степь, — заявил старикашка, усаживаясь в тень Идолища. —

Спрашивайте. — И он вздохнул.

— Расскажи нам, кто вы, — попросил Алеша. — И кто такой ваш бог, и как вы служите ему.

— Мы живем здесь очень давно, — закивал старикашка. — Вокруг все наши земли. Мы мирный народ, и наш бог — мирный бог. Он бог сынов степей. Мы служим ему очень просто. Мы просто верим в него.

— Есть ли у вас государь? — спросил Илья.

— Нет. Нами правит наш бог.

— А кто ты? Ты — верховный жрец?

— Можно сказать и так.

— Ты уже знаешь, что мы богатыри. Я Илья, это Добрыня, а это Алеша.

— У меня много имен... Чужеземцы называют меня Актар.

— Актар, я чувствую много Силы вокруг, — сказал я. — Я знаю, что ваша Сила древна и приходит к вам из разных источников. Но некоторые источники темны, и некоторые люди своекорыстны. Ваш бог поворотился на северо-запад. При ваших отцах он смотрел на восток. Если есть связь между этим и кое-кем, кто предлагает вам свою Силу, то не получится ли так, что этот кое-кто просто использует вас в своих целях, а потом обратится против вас? А если так, то нет ли у нас общих врагов?

— У нас нет общих врагов.

— Актар, я знаю, что другие люди, также черпавшие Силу из темных источников, уже отвратились от них. Когда были преданы.

— Твои речи очень темны, богатырь. Но я, признаться, не очень-то хочу вникать в их смысл. Наша Сила исходит от нашего бога. Мы живем далеко от вас. Вот и все.

Илья набычился:

— Мы знаем, что в конце зимы здесь собираются степняки и после этого идут в поход на землю Русскую. Не ваш ли бог посылает их? — И он покосился на Идолище.

— Здесь собирается много людей. И если их государи ведут их потом в какую-то землю, то это их дело.

— Почему бы вашим послам не приехать в Киев? — спросил Алеша.

— Нам нет дела до ваших земель, — сказал старикашка надменно.

Мы помолчали. Потом Илья спросил с наигранной веселостью:

— Актар, откуда это понавылезало столько народу? Что это у тебя за хоромы за курганом?

— Степь...

— Ты неласков, — пробурчал Илья. — Что ж, — сказал он, помолчав и поднимаясь с кряхтением, — пора нам и честь знать. Раз хором у вас за холмом нету, значит, надо нам уезжать. Не прогневайся, если что не так сказали.

— Дай и мне вопрос задать, — сказал старикашка, с Живостью вскакивая с земли. — А то все вы да вы. Какой дорогой вы к нам ехали?

— Дорогой, по которой птицы летают, — с важностью отвечал Илья, уже сидя в седле. Поехали, богатыри.

Мы поклонились старикашке. Солнце садилось, и я вдруг заметил, как налилась красным глазная щель Идолища...

— А не объехать ли нам вокруг кургана? — предложил Илья шепотом.

Мы согласились. При движении наших коней безмолвные стражи Идолища стали поворачиваться в нашу сторону. Однако нам позволили беспрепятственно объехать вокруг. Ничего. Склон. Трава. Степь. Черный силуэт Идолища на фоне заката. Мы помчались на закат.

Довольно долго мы ехали молча. Потом Илья сказал:

— Что же, богатыри, мы так ни с чем и уедем?

— А мы не уедем, — возразил Алеша. — Мы вернемся завтра. Надо только переночевать подальше от этого места.

— Я не уверен, что мы до ночи выедем за пределы Силы, — сказал я.

— «Сила, Сила», — передразнил Илья. — Толку от вашей Силы. — Но прищипорил коня.

Сила не кончалась. Вот уже и закат отгорел, и звезды зажглись, а Сила все не кончалась и не кончалась. Мы еле держались в седле. Вдруг Алеша осадил коня:

— Смотрите!

Показались всадники...

Мы остановились. Всадники направились в нашу сторону и остановились невдалеке. Их было человек пять, и выглядели они так, как будто не знали, что им делать. Не знаю, что уж подтолкнуло меня, но только я выехал вперед, поднял руку и замер. Они замерли тоже. Я разглядывал их. Они выглядели неуверенными. Не оттого, что увидели трех вооруженных всадников. Они чувствовали действие враждебной Силы. Медлен-но, шаг за шагом, я стал продвигаться к ним, пока не приблизился настолько, что они могли легко слышать мой голос, а Илья с Алешей — нет.

— Именем Крепости! — сказал я хрипло. — Властителю Крепости: Добрыня зовет к Идолищу. Началась волчья охота.

Они не шевельнулись, только пристально смотрели на меня, а потом разом поворотили коней и понеслись на запад, прочь от Идолища, в степь.

— Что ты сказал им? — любопытствовал Алеша.

— Он сказал, что мы им наломаем бока, — расхохотался Илья.

Я ничего не отвечал.

Потом мы держали совет. Идолище оказался твердым орешком. Но уходить несолоно хлебавши было нельзя. Судя по всему, наши опасения оказались правильными. Оплот направлял теперь свою Силу против Русской земли. Идол действительно был повернут на северо-запад сравнительно недавно. Мы сошлись, что здесь, конечно, не обошлось без Волхва. Надо было ночевать в степи, а утром снова возвращаться к Идолищу и вести переговоры. Я ничего не сказал про Крепость. Во-первых, я не знал, сдержит ли Властитель Крепости свое слово, а во-вторых, я не хотел, чтобы о моих делах с Крепостью заговорили прежде, чем это станет совершенно необходимым (хотя Алеша и услышал что-то, пока я был в бреду).

Мы ехали еще долго, но Сила все не ослабевала. Небо было затянуто мглой, как это обычно и бывает ночью над местами, где разлита Сила, над Оплотами, но мне показалось вдруг, что наши кони ходят по кругу.

Илья чертыхнулся. Он думал то же самое. Алеша, не колеблясь ни мгновения, сказал, что мы правы. Что было делать дальше? Коня были утомлены. Мы едва Держались на ногах. Что было бы проку завтра от трех Усталых богатырей? Мы решили заночевать здесь, хотя Каждый ночующий под Силою очень рискует.

Мы разделились на стражи и бросили жребий. Мне Выпало сторожить первому. Илья и Алеша быстро заснули. Я шагал кругами во мгле, вспоминая мглу, которую я видел в окрестностях Крепости восемь лет назад, и убеждаясь в том, что Сила Оплотов идет из одного источника. Я думал о доме. Теперь меня ждали двое. Вправе ли был я привязывать к себе еще одного человека? Богатыри, за редким исключением, не заводили семей. И так кошмаром для меня было, что Волхв доберется до моей матери. Теперь он мог мстить уже двоим...

Внезапно я услышал мягкие шаги.

— Тревога! — закричал я.

Илья и Алеша вскочили на ноги. Долго мы сидели во мгле, но не слышали решительно ничего.

Они уснули. Я вглядывался в темноту, как мог, напрягал свою Силу, но ее побивала здешняя. Зачем мы отважились на этот подвиг, спрашивал я себя, не было ли это самонадеянностью? И вдруг под окнами моего дома в Киеве теперь слышны такие же шаги? Чем смогут они защититься? Чан с ядовитым отваром? Женщина лечит лучше, чем мужчина,

но отбить удар мужчины она не может. Шаги.

— Тревога! — снова закричал я.

Посидев во мгле некоторое время, Илья широко зевнул и сказал:

— Метится тебе что-то, Добрыня. Может, это твоя Сила шагает.

— Давай я постерегу, — предложил Алеша.

Я плохо спал, сны были тяжелые — какая-то опасность дому. Я чувствую ее, но не могу двинуться с места, а мать и Маринка — спят.

Алеша будил нас трижды. Ему тоже слышались шаги. Пожалуй, я никогда не видел его таким встревоженным. Когда на стражу заступил Илья, Алеша наклонился ко мне и сказал:

— Нам лучше не спать. И вообще — больше ни одной ночи здесь.

Я кивнул, но почти тут же заснул, как если бы сон накрыл меня неожиданно с головой. Я спал, наверно, довольно долго, а потом стал стонать и метаться: Учитель и Маринка склонялись надо мной и кричали: «Добрыня! Добрыня!» С невероятным трудом я проснулся. Первое, что я увидел, — мечущегося во сне Алешу, второе — спокойно спящего Илью, третье — полчище всадников, неслышно двигавшихся на нас с востока в предрассветной мгле.

— На коней! На коней! — закричал я, хватаясь за меч.

Алеша тут же вскочил и в мгновение ока все понял. Мы подхватили Илью и бросились к коням. Всадники, поняв, что их план удался не вполне, прищипорили коней и понеслись во весь опор. Мы едва успели вскочить в седла.

— На запад! — крикнул я, и мы понеслись на сизое небо.

— Давайте драться! — закричал Илья.

— Их сотня! — крикнул Алеша. — Прочь отсюда!

Сзади засвистели стрелы. Неожиданно боль пронзила мою ногу, но это была странная рана: я стал терять сознание.

— Скачите, — успел проговорить я. — Отравленная стрела.

Последнее, что я помню, — Илья и Алеша поддерживают меня с боков, а я валюсь в темноту.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Темнота. Кромешная темнота. Я вытягиваю руку перед собой — и не вижу ее. Я подношу пальцы к глазам — и не вижу их. Может быть, меня ослепили? Да: спящий Илья, бегство, стрела, яд. Я моргаю. Я не знаю, что это такое — темнота или слепота.

Я ползу и натываюсь на стену. Я поднимаюсь и иду по стене. Я понимаю, что я — в крохотной каменной камерке. Я нащупываю дверь. Я приникаю к ней и, наконец, в щели вижу слабый намек на отблеск мерцающего факела. Я не ослеп — и это хорошо.

Я ощупываю себя. Все исчезло — и меч, и лук с колчаном, и кинжал, и даже кольчуга. Нога перебинтована, но это пустяковая рана, кость не задета, в обычных боях бывает и похуже. Я — пленник Идолища.

Где Алеша с Ильей? Удалось ли им скрыться? Или они лежат где-то рядом?

Страх наплывает на меня. Я перестаю ощущать себя. Тело мое движется, я могу поднести руку к губам, но не чувствую своего «я». Голова моя пуста. Кто я? Я Добрыня. Я еще помню это, но, может быть, скоро забуду. Я кусаю руку до крови, но это словно не я, Я чувствую боль, но я уже почти вышел из своего тела, растворился во тьме, исчез. А тело осталось. Я схожу с ума.

Я опускаюсь на колени и молюсь. Я молюсь долго. Мне становится легче. Тогда я сажусь и начинаю пробовать окружающее своей Силой. Я чувствую зло.

Я решительно не способен сказать, сколько времени я провожу так. Иногда я сплю. Когда я не сплю, то молюсь или пытаюсь проникнуть во все, что делается за стенами моей каменной клетки. Меня мучают голод и жажда. Наверно, я скоро умру. Нет, говорю я себе. Не уподобляйся слабым, теряющим голову. Если бы тебя хотели убить, тебя бы давно уже убили. Тебя даже перевязали. Ты нужен им живой.

Судя по силе моей жажды, прошло два дня. Потом я слышу шаги за дверью. Дверь растворяется. Факелы невыносимо ярки, я закрываю глаза, но слезы текут из-под сомкнутых век. Я сижу, смежив веки. В мою клетку вошел кто-то. Привыкая к свету, я приоткрываю глаза и тут же от невыносимой боли закрываю их снова.

— Богатырь плачет? — слышу я насмешливый голос.

Мне трудно говорить от жажды. Я молчу.

— Так все-таки русские богатыри плачут?

Я думаю и потом бормочу:

— Богатыри не только плачут, но и умирают. Воды.

— Только когда ты скажешь мне кое-что.

Я молчу.

— С чего вам взбрело в голову отправиться к Идолищу?

Я немного приоткрываю глаза. Мне больно, слезы все еще льются, но я могу видеть.

Передо мной стоит человек невысокого роста, щуплый, смуглый, чернобородый, скованный в движениях; седина посверкивает в волосах и бороде. Темные маленькие глаза прожигают меня насквозь. Нос с горбинкой похож на клюв стервятника. Длинные пальцы пошевеливаются на груди. Я чувствую невероятную тоску. Мое сердце сжимается.

Волхв.

Я закрываю глаза и собираю всю свою Силу. Я молюсь.

— Отвечай мне, Добрыня. Ответишь — получишь воду.

Я открываю глаза:

— Сначала вода, Волхв.

— Вот как. Ты узнал меня. Хорошо, я не собираюсь таиться. Вот мы и встретились, Добрыня.

Тишина. Только потрескивают факелы.

— Мы уже встречались, Волхв.

— Ну да — тогда, в Киеве. Тогда ты чуть не упал в обморок. Ты повзрослел, Добрыня.

— Мы встречались еще несколько раз.

— Ну да, ну да. Это когда ты дрался против моих слуг. И несколько раз тебе удалось победить. Ты не будешь возражать, что теперь пришел мой черед победить? Ведь Никита учил тебя быть справедливым.

— Только Бог знает, чей черед пришел.

— Что меня привлекает в вас, богатырях, — это наглость. Ты говоришь мне это сейчас, когда достаточно одного моего движения — и тебе отрежут руки и ноги, превратят в обрубок.

— Может, это переполнит чашу Его терпения, и ты умрешь.

— Ты нагл и самонадеян. Не думай, что ты смутишь меня этим. Я пришел поговорить с тобой о твоём прошлом.

— Сначала воды.

— Вот она.

Появляется человек с ковшом. Я нюхаю воду отталкиваю ковш.

— Я сказал, что мне нужна вода, а не зелье.

— Другого не будет.

— Тогда я умру.

— Ты не умрешь, — смеется Волхв, — ты еще будешь жить какое-то время... Напоите его.

Меня держат и вливают сквозь стиснутые зубы зелье. Я держусь за свою Силу. Даже в дурмане я не должен говорить.

Я как бы пробуждаюсь. Я был в забытьи. Передо мной по-прежнему стоит Волхв.

— Вот ты и поговорил со мной, Добрыня. Ты рассказал мне все. Ты рассказал мне про князя Владимира и про Святополка. Ты рассказал мне, как Никита натаскивал тебя на меня. Ты рассказал, как ты убивал моих слуг. Ты действительно был хитроумен со Змеем.

Ты рассказал, что ты знаешь про Идолище. Теперь ты мне больше не нужен. Умри от жажды.

Волхв уходит. Подземелье — а это подземелье — погружается в темноту.

Я не умру от жажды. Я нужен Волхву. Я не сказал ему ничего, даже когда был в дурмане. Я это знаю. Я усмехаюсь. Зато я узнал две вещи. Волхв действительно печется о Святополке, и он ничего не знает про Крепость. Пригодится ли мне это?

Я чувствую и другое. Моя Сила возросла в этом вместилище зла. Мне помогает Бог.

Я провожу в темноте еще около двух дней. Я очень слаб. У меня кружится голова. Я часто проваливаюсь в забытие. Может быть, Волхв чего-то не рассчитает и я действительно умру от жажды. Но я не умираю от жажды. Волхв появляется:

— Ты еще не умер, богатырь?

— Ты же уже узнал все, что тебе было нужно. Или тебе нужен мой каменный мешок для другого пленника? Подожди, я скоро умру.

— Зачем же умирать. Я еще поговорю с тобой. Дать тебе воды?

— Ты очень заботлив, Волхв.

Мне подносят ковш. Это чистая вода. Но я не успеваю выпить его весь. Что ж, думаю я, этого мне хватит еще на день. Я подмигиваю Волхву:

— Что, когда богатыри пьют дурман, они молчат?

Волхв спокойно говорит:

— Илья говорил. И Алеша говорил. Ты молчал. Но ты особый богатырь. Такого мог воспитать только Никита.

Я не уверен, что он лжет про Илью и про Алешу. Может быть, они и схвачены. Даже наверное. Но сейчас я должен думать о другом.

— Давай поговорим, Добрыня. Ты понимаешь, что твоя жизнь и жизнь твоих друзей зависит от тебя. Конечно, ты скажешь, что не поверишь моим обещаниям, и будешь прав. Но все равно я — твоя последняя надежда. Из этих подземелий тебе без меня не выйти.

— Это подземелья под курганом, на котором стоит Идолище?

— Что ж — ты умен. Да.

— И построены они людьми с Востока.

— Да. Больше никто не сумел бы построить их так.

— И чтобы даже входа не было заметно со стороны. Возьми меня в следующий раз на Восток, Волхв.

— Только в клетке, Добрыня. Тебе верить нельзя.

— Когда Идолище развернули на северо-запад?

— Недавно. Уже при мне.

— А остальные Оплоты? Они тоже развернуты теперь на Русскую землю?

Волхв нахмурился:

— Значит, уже Никита знал про Оплоты? У кого-то слишком длинный язык. Интересно, у кого?

— Нет ничего тайного, что бы не сделалось явным, Волхв.

— Вопрос в том — явным для кого? Ты начинаешь пугать меня своей осведомленностью, Добрыня.

— Явным для всех, Волхв. А что я пугаю тебя — спасибо.

— Впрочем, что это я увлекся любезностями. Теперь — отвечай. И помни, я узнаю, когда ты будешь лгать.

— Я не мальчик, Волхв. Это я знаю.

— Где сейчас Никита?

— Там, где он исполняет свой нынешний подвиг.

— Что князь Владимир намерен делать со Святополком?

— Когда находят змею в доме, об этом не трубят на всех угах.

— Почему вы поехали на Идолище?

— Потому что Оплоты смотрят на северо-запад.

— Нет, так не пойдет. Ты расскажешь мне всю свою жизнь от начала и до конца, ничего не упуская. Вот тогда мне будет интересно, и я смогу тебя отпустить. Я люблю отпускать богатырей. Возможно, Никита рассказывал тебе про Рогожку.

— Никита рассказывал мне про Рогожку. Но жизнь свою я расскажу кому-нибудь другому. Давай и я спрошу тебя. Что ты задумал на Русской земле? Почему ты не знаешь ни сна, ни отдыха? Ради чего трудишься, Волхв?

— Ты смел, богатырь, — смеется Волхв. — Но я ни чего не расскажу тебе. Вдруг нас кто-нибудь услышит? И потом, ты хоть обладаешь и невеликой Силой, но как знать, что ты можешь?

— Ты зря связался со Святополком, Волхв. Святополк — хорь. И у него написано несчастье на лбу.

— Несчастье? — смеется Волхв. — Ты правильно читаешь. Но это несчастье придет тогда, когда я сам этого захочу. А в общем, будь ты проклят, живучее семя! — И он бьет меня сапогом в лицо.

Меня пытаются.

Отче наш иже еси на небесех и остави нам долги наши якоже и мы оставляем должником нашим и не введи нас во искушение но избави нас от лукавого верую во единого Бога Отца Вседержителя Творца небу и земли видимым же всем и невидимым и во единого Господа Иисуса Христа Сына Божия единородного нас ради человек и нашего ради спасения сшедшего с небес распят за нас при Понтийском Пилате и страдавши и погребен а-а-а.

Я лежу на спине. Я уже почти не страдаю. Темно. Скоро все кончится. Я не могу двинуть рукой. Факелы. Волхв. Опять? Я не хочу этого.

— Теперь ты знаешь, как пытаю я. Но это последнее, что ты узнаешь. А птицы, которые склюют тебя, не сумеют рассказать даже о твоих муках. Но я позабочусь, чтобы об этом узнали, не беспокойся.

— Оплоты... Остальные — тоже... смотрят на Русскую землю? — бормочу я, и, как ни странно, Волхв меня понимает.

— Ну, это уж слишком, — говорит Волхв с некоторым удивлением, — Надеюсь, больше у Никиты учеников не было!.. Умирай медленней, Добрыня... Никитич.

Темнота. Ти-ши-на.

Ты ставишь на ночь чан с ядовитым отваром над дверью. Ты бережешься от Волхва. Ты не называешь его имя. Я вижу твои руки. И я вижу твое лицо. Я недолго смотрел на него и больше никогда не увижу. Только в жизни вечной — но будут ли там лица? Твоих рук там, наверное, не будет. Мать глядит на икону. Мать бродит по дому. Вас двое там. Вы ждете. Вы не дожидаетесь. Что будет с вами? Сила, Сила моя, скажи мне, что будет с ними? Да где ты вообще, моя Сила? Боль — скоро ли ты оставишь меня? Я не сопротивляюсь больше. Прощайте. Я не хочу умирать медленно.

Звон мечей. Это архангелы бьются с бесами. Я в преисподней. Нет. Это не архангелы. Я слышу только чужую речь. Стоны. Я не в преисподней. Я все еще в своей каменной клетке. Бой продолжается. Кто-то распахивает дверь, и факелы ослепляют меня, а я по-прежнему не могу шевельнуть рукой.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Не буду подробно описывать, как меня вынесли наверх, как я слушал язык степняков и в полубреду плохо понимал его; не буду описывать, как поразили меня звезды на ночном небе и свежий ветер и как мне показалось, будто я уже в раю. Кто-то суетился около меня и вливал мне в рот отвар и смазывал чем-то жгучим мои раны; рядом еще шел бой, а я уже проваливался в забытие.

Сон мой был неспокоен, но я не мог пробудиться до самого рассвета, и первое, что я увидел, очнувшись, было лицо Властителя Крепости.

— Как только я получил вести от тебя, я немедленно снарядил отряд к Идолищу, —

сказал он. — Опоздай я на ночь — и я тебя бы уже не застал, а даже Крепость не умеет воскрешать мертвых.

Я огляделся и узнал курган, в тени которого я лежал. Идолища на нем уже не было.

— Да, Идолища больше нет. Сейчас я послал своих людей искать дрова. Мы сложим костер и расколем Идолище на куски. Больше его не будет.

— Я твой должник, Властитель Крепости...

— Ты идешь по следам Волхва. Крепость помогает тебе.

— Со мной были еще два богатыря...

— Мы никого не нашли больше. А спросить некого. — Он усмехнулся.

— Волхв ушел?

— Хотел бы я знать как. Когда мы окружили курган, ни одна мышь не могла проскользнуть.

— Он мог почувствовать вас заранее...

— Или из подземелий был еще один ход, который мы не нашли... Я понимаю, что ты страдаешь от ран, Добрыня Никитич. Но я не могу отсутствовать в Крепости долго. Я пускаюсь в путь сейчас. Поэтому, как тебе ни трудно, мы должны поговорить. — Он смотрел на меня испытующе. Как много я мог ему рассказать? — Глотни вот этого.

— Властитель Крепости, мы — союзники, куда жив Волхв?

— Да.

— Я расскажу тебе суть того, что я знаю. Волхв говорил со мной до того, как меня стали пытать. Он поставил на Святополка. Он готовится к удару. Называет срок — через три года. Но теперь, когда Идолище повержено, — не знаю. Как только он покорит Русскую землю, он обратится на ее соседей. Он ненасытен, и его не остановить. Он часто бывает на Востоке. Он свяжет воедино цепь Оплотов...

Лицо Властителя Крепости осталось бесстрастным, и он произнес:

— Ты опасный союзник, Добрыня Никитич. Ты знаешь гораздо больше, чем полагается. Даже богатырю.

— ...но цепь Оплотов так и не связана. Связать ее — вот цель Волхва. Русская земля в его планах — только первый престол, который он завоюет. Его цель — стать Государем Оплотов.

— Поэтому Крепость и пришла тебе на помощь. Мы давно знали о том, что Волхв облюбовал Идолище, как... раз ты все равно знаешь — то что ж... как опорный Оплот. И мы давно подумывали прийти сюда. Когда Волхв был бы здесь. Но он ускользнул. Наша цель не достигнута. Мы будем идти по следу дальше. Тебе незачем знать наши пути. Но если ты опять передашь мне: «Добрыня ждет!» — может быть, нам повезет больше...

— Властитель Крепости, я не прошу поверить мне тайну Оплотов. Но Волхв и Оплоты едва ли разделимы...

— Я думаю, ты знаешь все, что тебе нужно знать. Оплоты древни, и наследуют тайны прошлого, пришедшие с Востока. Откуда — тебе знать не полагается. Всегда были люди, мечтавшие связать Оплоты воедино и править миром. Пока стоит Крепость, этому не бывать. Сила каждого Оплота велика. Волхв знает это. Вот, пожалуй, и все.

— Нет ли у него своего Оплота?

— Нет, — покачал головой Властитель Крепости. — Волхв слишком нетерпелив и своеволен. Чтобы стать Владыкой Оплота, — каким был Актар, который, к несчастью, умер, не сказав ничего, — нужно пройти долгую жизнь послушания. Волхв же не хочет и не хотел повиноваться никому.

— Какие Оплоты он посещает?

— Тебе этого знать не нужно. Все равно в ближайшие годы ты не уедешь с Русской земли.

«Он прав», — подумал я.

— Что ты намерен делать со Святополком?

— Я постараюсь в очередной раз убедить князя Владимира. Но он не послушает меня.

— Это глупо звучит, богатырь. Но это твое дело. Наше дело — Волхв. Занимайся Русской землей сам... Мне пора. Прощай. Мои люди позаботятся о тебе.

— Прощай, Властитель Крепости. Нам еще долго нужно будет прислушиваться к шагам друг друга.

Он кивнул, сел на коня и поехал прочь. Потом он приостановился и крикнул мне:

— И все-таки на твоём месте я бы остановил Святополка. Он любит охоту, а кабаны бывают опасны. — И он прищипорил коня и свистнул свите, и вот они уже стремительно помчались на запад, в сторону Крепости...

Я провел близ кургана несколько дней. Раны мои быстро заживали, хотя мне и не нравилось, что врачуют меня Силой зла. Я добился, чтобы люди Крепости отыскиали мои доспехи; даже мой меч, который выбирал Учитель, и тот нашёлся. Вот только Рогожка погиб. Порвалась ещё одна нить, связующая меня с прошлым... Мне не дали обойти подземелья под курганом: Крепость разрушила Идолище, но тайны Оплотов оставались тайной Оплотов... Под самым Идолищем развели громадный костер, и он взорвался с оглушительным грохотом. Камни полетели в стороны, и Сила стала стремительно слабнуть... Я стал вольнее дышать. Люди Крепости были заняты день и ночь. Они разрушали подземелья.

Через несколько дней мы тронулись в дорогу. Мне предлагали задержаться здесь под охраной отряда степняков, но я предпочёл, хотя и был слаб, немедленно направиться в Русскую землю. Отряд проводил меня до северной границы степей, а дальше, пусть и слабый, но я поехал сам.

Я не мог ехать так быстро, как обычно езжу, когда спешу. Мне дали хорошего коня, но я ещё не годился для скачки. Я не мог и послать весть о себе вперед: люди Волхва могли перехватить меня на полдороге, а я сейчас вряд ли справился бы с ними. По дороге я Узнал, что Илья с Алешей благополучно выбрались из нашего подвига: несколько недель назад они промчались на север, сумрачные и замкнувшие уста. Все было понятно. Мои товарищи думали, что я мертв. Я уже не думал о князе Владимире и Святополке; я представлял, какое горе запечатало теперь мой дом; в сущности, я знал все это ещё в подземелье Идолища, но теперь боль рвала мне сердце. Я напрягал Силу: «Я жив, я жив, услышьте меня! Увидьте мое лицо в воде!» Долгое время я не слышал ответа. Когда до Киева оставалось дня три пути, до меня стали доходить первые отголоски дома: горе, горе, горе. Но — при этом — было в этом горе какое-то сомнение: я понял, что меня, наверно, все-таки услышали. Однако по мере того как я приближался к Киеву, отголоски дома становились все страннее: мой голос доходил, я был в этом уверен, но — горе, горе, горе, непоправимое горе — слышал я. Наконец, измученный сердечной болью, еле держащийся в седле, с ноющими и начавшими кровоточить ранами, я въехал в Киев.

Люди шарахались от меня, а потом, поняв, что я не бесплотный дух, бежали вслед. У дурных вестей длинные ноги и громкие голоса, подумал я горько.

До нашего дома оставалось ещё несколько улиц, но внезапно я увидел, как навстречу мне медленно идет моя мать. Она увидела меня прежде, чем я увидел ее. Она шла все так же медленно, словно слабея с каждым шагом. Я соскочил с коня и, преодолевая боль, побежал навстречу. Мать остановилась, не вытирая слез.

— Маринка умерла, — сказала она.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Весть о моей смерти принес Алеша. Илья не отважился ступить на порог моего дома. Алеша рассказал: Добрыню ранили отравленной стрелой, и он упал с коня. Когда они отбили тело — Илья как бешеный бился со степняками, а Алеша поднимал меня в седло, — я был мертв, кровь не текла по жилам, глаза мои безжизненно смотрели в ночное небо; я начал стремительно холодеть. Тут под Алешей убили коня, и они еле ушли одноконь; мое тело пришлось оставить. Алеша стоял на коленях в нашей горнице, когда рассказывал это, и

смотрел в пол.

Мать сидела, словно неживая, она не помнила сколько; Алеша все стоял на коленях, потупив голову. Когда она пришла в себя, Маринки не было в комнате. С плачем мать пошла искать ее. Маринка была в сенях.

Она опрокинула на себя тот самый чан, который стоял на притолоке для слуг зла. Она не могла этого сделать случайно. Она умерла не сразу и успела сложить из мокрых ядовитых трав на полу буквы: «д» и «о».

Мать решила похоронить ее и на следующую ночь тоже уйти. Однако ей приснился я — стонущий от боли, но живой. Она проснулась и бросилась ворожить. Несколько дней ничего не выходило. Потом вода сказала: жив.

Мать верила и не верила. Она положила себе срок: три года. За несколько дней до моего появления она услышала мой голос и потом слышала его все явственней и явственней.

Я слег. Я не мог видеть ни Алеши, ни Ильи, ни княжеских нарочных. Так прошло несколько недель. Потом однажды я проснулся и пошел на кладбище. После этого я говорил с Маринкой каждую ночь во сне и говорю до сих пор. Это не простые сны. Я знаю, она — рядом, хотя разговоры наши невнятные, путаны и обычно не о том, как это бывает всегда, когда говоришь во сне с единственными для тебя людьми.

Я пошел на Днепр, разделся и наклонился над водой. Тонкие пыточные шрамы пересекали мое тело, которое Уже больше не выглядело молодым. Я не мог разглядеть в Днепре мою душу; только Бог видит ее, и только Он один знает, что в те дни я сам умер наполовину.

С реки я отправился в княжеский дворец. Лицо мое было, может быть, и бесстрастно, но глаза, как видно, были нехороши, потому что все отворачивались от меня. Даже князь Владимир отвел взор, чего ранее никогда не бывало.

Он обнял меня и сказал:

— Все-таки ты жив, Добрыня.

Невероятные горечь и гнев охватили меня от этих слов, и я заговорил с князем так, как никогда не говорил до этого:

— Великий князь, несколько лет мы не говорили ни о чем существенном. Я, Добрыня, ученик Никиты, прошел подземелья Волхва, имя которого бояться про износить на Руси, и сам Волхв пытал меня. И я скажу тебе: страшная измена свила себе гнездо в твоём дворце. Ты всегда отмахивался от разговоров о Святополке и по-прежнему видишь в нём преемника. Я не перечил бы тебе, если бы речь шла только о твоей жизни, хотя и она в опасности. Но Святополк несёт погибель всей Русской земле, и следующим государем после него может стать Волхв, имя которого бояться произносить на Руси. Дай мне сказать, не пугай меня своим гневом! После пыток Волхва твой гнев для меня смешон, князь! Ты крестил Русь, ты принес нам свет из Царьграда, и теперь ты своими руками губишь нас!

— Смерд! Как смеешь ты говорить так с великим князем киевским! Я здесь хозяин, я хозяин Русской земли, я хозяин в своём доме! Святополк верен мне!

Тут страшная догадка забрезжила в моей голове, и я рассмеялся:

— Ты хозяин Русской земли? Да хозяин ли ты над собой? Не сама ли Сила Волхва прокралась в твой дом и одурманила тебя?

— Я закую тебя в кандалы!!

— Я раскую эти кандалы своей Силой! Больше не сидеть мне на твоих пирах, больше не слушать твоих приказов, и тебе больше не видеть меня! Не бывать больше моей ноге на княжеском дворе, не ехать мне рядом с твоей дружиной! Ни слова не скажу я тебе впредь и не появлюсь на глазах твоих! Прозорливые люди говорят: да будет казнён Святополк, как ядовитая змея, но ты не слушаешь никого! Все шепчутся об одном, только ты глух! Я схожу с твоего пути! Я больше не твой богатырь! Злая Сила завладела твоим разумом, и не мне спасать тебя! Вон уйду я из отравленного места! И, князь Владимир, последнее скажу тебе: проклятие лежит на тебе и на твоём семени.

Я шёл по коридорам дворца; люди шарахались от меня. Давно ли я вошёл в эти стены

застенчивым мечтательным юнцом — и вот я ухожу из них по своей воле, чтобы больше никогда не вернуться. Кто-то, задыхаясь, догнал меня:

— Добрыня, ты не узнал меня? Это я, Данила! Великий князь в страшном гневе на тебя! Я повернулся и против своей воли надменно сказал:

— В этом дворце больше нет великого князя. Здесь есть только безумный старик.

И с этими словами я пошел прочь, и никто не остановил меня, и великий князь киевский Владимир так и не решился заковать меня в кандалы.

Размашистым шагом шел я домой, все еще в великом гневе, проклиная большую власть, данную князю, и то оупение, которое она произвела. Я распахнул дверь в свой дом и увидел в сенях стоящего лицом ко мне монаха. Все еще гневно раздувая ноздри, я всмотрелся ему в лицо и вдруг обмяк всем телом. Передо мной стоял Учитель.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Мы долго говорили с Учителем. Мы говорили о Маринке и о том, что случилось со мной.

— Но почему, почему она не стала ждать? Ведь Алеша и Илья покидали мое тело в разгар боя; глаза могут показаться мертвыми в ночи, во мгле. Разве этого достаточно, чтобы поверить?

— Для сердца, которое живет в страхе, достаточно. Здесь есть и моя вина, Добрыня. Мне нужно было остаться с вами немного подольше тогда, когда она лечила тебя. И твоя мать, и твоя жена жили в страхе за тебя. Но, может быть, ты не успел почувствовать одного. Твоя мать вошла в этот страх постепенно. Сначала ты странствовал со мной, и я мог защитить тебя. Потом ты совершал разные подвиги, и все сходило. Твоя мать помнила тебя в то время, когда тебе ничего не угрожало, и от этого была ее вера в то, что с тобой все-таки ничто не может случиться. Но твоя жена увидела тебя в первый раз, когда ты мог умереть к концу дня. Ты вошел в жизнь твоей матери со светом. Ты вошел в жизнь твоей жены вместе со тьмой. Этот чан с отравой, который она держала на случай, если к тебе, беспомощному, придет Волхв... Этот чан... Мне нужно было поговорить с ней, а не исчезать вот так... Сердце твоей матери существовало в любви к тебе. Сердце твоей жены существовало в любви, да, но и в страхе за тебя. Жизнь твоей матери прошла в любви к тебе. Почти вся жизнь твоей жены прошла в одиночестве. Тяжелая тень легла на вас с самого начала. И когда одиночество вдруг так страшно вернулось, она не смогла жить без тебя и мгновения. Она казалась тебе очень сильной. Она была сильна, пока она жила одна, без опоры. А потом опора появилась, и она оперлась на нее, но вдруг опора исчезла...

— Мне нельзя было жениться, Учитель. Я погубил ее.

— Ее погубил не ты. Но обычно богатыри не женятся... Однако ты — особый богатырь, и я сам — да, я сам, и ты это знаешь, я думал, что это принесет вам только счастье. Но знаешь, Добрыня, конечно, тебя это не утешит и утешить не может, на месте счастья у тебя сейчас боль, но у нас на месте боли и счастья-то не было.

Мы говорили долго... Потом я рассказал о том, что случилось со мной у Идолища и как я говорил с князем Владимиром.

— Значит, Волхв спрашивал даже про меня? Не совсем списал меня на покой, сквитаться хочет? Если хочет — только за то, что я взял тебя в ученики, Добрыня. Я знаю, как ты сейчас называешь себя; ты захотел, чтобы я жил даже в твоём имени. Пока я жив, я буду помогать тебе, когда это будет действительно нужно. Но я и впредь буду держаться в стороне. Ты идешь по дороге своих подвигов, а я уже отжил, в сущности, свое. У меня еще есть Сила. Но мои силы кончились на тебе. По большей части я тебе уже бесполезен. Я не хотел, чтобы ты тратил свое время на меня, и поэтому я на время ушел из твоей жизни. Теперь я скажу тебе, где ты можешь меня найти. Я живу в скиту в северных лесах, я расскажу тебе дорогу туда... Меня зовут теперь не Никита, а Феодосии. Никита умер, Добрыня, в ту ночь, когда я оставил тебя на дороге в Крепость. Это было суровое испытание;

ты мог попасть в большую беду. Но только так можно было тебе стать настоящим богатырем. Когда я оставлял тебя на ночной дороге в этой страшной мгле, я поступал правильно, как Учитель богатыря; но я грешил против Иисуса. У богатырей много таких грехов. И они отвечают за них. Но зато ты прошел огонь и не дрогнул даже перед лицом Волхва... Что до князя Владимира, я думаю, ты был прав. Если что-то и способно заставить князя одуматься — так это то, что верные слуги отказываются от него. А убеждать его бесполезно. Что же до того, что тебе посоветовал Властитель Крепости... со Святополком... решать тебе, но все же пока измена не совершена, карать за нее я бы не стал. Я уверен, что ты прав и что Святополк совершит эту страшную измену. Но если бы богатыри карали за помысел, они бы уподобились обычным злодеям на тронах... Ты уже сделал большое дело: один Оплот на время исчез, Крепость помогает тебе, у тебя в руках немало нитей. Когда настанет грозное время, ты сможешь сделать многое...

— Но, Учитель, я почти ничего не узнал про Оплоты. И про Восток — отчего оттуда идет эта злая Сила?

— Про Оплоты вряд ли кто-нибудь теперь знает больше твоего на Русской земле. А Сила... Я ничего не знаю наверняка, я только могу рассказать тебе то, что сам слышал и что может оказаться неправдой или в лучшем случае, неполной правдой.

Нам только кажется, что земля наша не таинственна и везде одинакова. Но это не так. Когда Бог сотворил землю, он оставил на ней отпечатки своих пальцев. Вся земля — творение рук Бога, но кое-где она больше помнит творение и стоит ближе к Богу. У каждой земли своя судьба, скрытая от наших глаз, но очевидная знающим. В некоторых местах земля как бы соприкасается с невидимым миром, Сила которого настолько велика, что и вообразить ее невозможно. Святая земля, наверно, центр Вселенной. Здесь вочеловечился Христос, здесь его распяли, отсюда его ученики понесли свет во все края. Но есть и другие земли, отмеченные Богом. Я слышал, что следующей за Святой землей почитают великую горную страну далеко на Востоке. Она обширна, и малозаселена, и вознесена к небесам, и совсем не похожа на то, что мы привыкли видеть. И ей дадена великая Сила. Но Сила может использоваться как во имя добра, так и во имя зла... Из этой-то страны и пришла, как я думаю, Сила Оплотов... Но помни, всегда помни, Добрыня: земля Силу с небес получает... Не забыл ту, лунную ночь? Лунную ночь я забыть не мог.

Это случилось на второй год странствий с Учителем. Напив коней, я прилег на землю. Что-то будоражило меня; уже ученый, я прислушался к себе и понял, что тревожила меня луна. Я поднял голову.

Полная луна, как живая, пристально смотрела прямо на меня. Она словно лежала на темно-синей наковальне неба, и невидимый кузнец невидимым же молотом высекал из нее свет и пускал по луне пепельные тени.

Свет стал прибывать; мне стало как-то невыносимо тоскливо, но я не мог оторвать от луны глаз. Тени, ходившие по ней, шепотом говорили о тайнах, и я пытался понять их язык. Постепенно движение теней ускорилося, потом тени стали виться метелью, а потом вся луна зашевелилась, заплесала и вдруг упала мне в глаза; голова моя закружилась, я зажмурился и в страхе прижался к земле.

— Добрыня! — Сквозь тошноту и звон в ушах голос Учителя казался удивительно далеким. — Добрыня!

Я хотел сказать, что сейчас мне очень плохо, но что скоро это пройдет и я снова стану самим собой, но пепельный водоворот крутил меня, как хотел, и я стремительно понесся куда-то...

Когда я очнулся, голова моя лежала на /коленях у Учителя. Едкая жидкость жгла горло.

— Лучше?

— Лу-лучше, — выговорил я с трудом и на всякий случай зажмурился.

— Проклятие, — сказал Учитель зло, и, никогда не слышавши от него такого, я вздрогнул и открыл глаза. Учитель мгновенно прикрыл мне лицо ладонью. — Лежи. И все-таки это проклятие... Я должен был, должен был знать и предупредить, но я надеялся,

просил, чтобы этого не было...

— Чего не было, Учитель? — едва выговорил я, в полном сознании, но обессиленный.

— Луна, — сказал Учитель горько. — Лежи, глаз не открывай. Нюх я к старости терять стал... На покой, на покой, — бормотал Учитель. — Хватит... чуть не погубил... в пустыню уходить пора...

— В какую пустыню?

— В какую пустыню... Действительно, куда я денусь? — И Учитель рассмеялся нехорошим смехом. — Ладно, ладно, забудь, что я тут плел, сейчас настоящую сказку расскажу.

Ты был в беде. Вина моя. А вина и беда вот откуда. Разными глазами смотрит на нас Сила. И в реке Сила, и в роще, и в море. Но великая Сила приходит только из мира иного. Глаза мира того — солнце, луна и звезды, счета последним нет. Только солнце одно чисто: кожу опалит, а души не тронет. И Силу солнце дает любя. На рассвете бери Силу эту: свежа она тогда и умна. Чаще смотри на солнце восходящее. Днем нет в солнце Силы. Солнце закатное Силу провидения дает. Беспокойная эта Сила, и печали от нее много. Но если знания, печаль дающего, не боишься — и эту Силу бери. Глаз дня — солнце. Нет настоящего вреда в нем; печаль только — и то на закате.

У дня — один глаз; у ночи — не сосчитал никто сколько. Много больше Силы у ночных глаз берем, чем у солнца. Но избыток Силы в них. Не добра и не зла Сила эта, а чрезмерна. На звезды засмотришься — дню радоваться перестанешь. Луна с ума свести может, и на меч свой с радостью прыгнешь, чтоб только от мук безумия избавиться.

Не всем страшны ночи глаза, а Сильным только. Если простой человек ты или даже если есть Сила у тебя, но небольшая — без опаски и на звезды, и на луну гляди; не во вред это, а на пользу.

Сила малая, чудеса незначашие и хорошие творящая, — от солнца. Сила большая — от луны. И вижу теперь, Добрыня, что велика твоя Сила; не будет тебе через это в жизни счастья человеческого. И лунный глаз для тебя — смерть. Завихрит, взбудоражит луна Силу твою своей Силой небывалой — и погиб.

Все большие дела Силой лунной творятся. Луна — колдунья первая. Все дать может. Солнце — для жизни человеческой, луна — для власти большой и тайной.

Не оставляют младенцев спать под луной; да и никому под луной спать негоже; плащ какой лучше набросить, коли в поле чистом луна тебя застала. А уж тебе, Добрыня, с душой твоей дерзкой и открытой, особенно беречься надо.

Почему раньше тебе не сказал? А еще кое-что есть, о чем и сейчас говорить неохота. Тайна одна.

Кто луной повязан, тому людей чаровать, троны качать, властью играть, дороги заросшие шагом мерить, тропы тайные торить, знание находить и хоронить от людей до времени, судьбы чужие словом тихим и тайным вершить; тому псом гончим без усталости за подвигом мчаться, тому жизнь яркая, пронзительная и... конец беспокойный.

Не от старости умрешь, Добрыня. Ветер шевелил траву; ладонь Учителя все лежала на моем лице, и было мне хорошо и покойно.

— Ну и пусть, Учитель!

— Это сейчас — пусть... Луна, кому Силу редкую дает, кого на подвиг ставит, тому жизнь обрезает. Эх... Святогор-богатырь... До каких лет дожил... И на покой ведь ушел... А конец... ох, нехорош был Святогор конец...

— А подвиги? Подвиги Святогоровы?!

— Добрыня, Добрыня... Да, жил Святогор подвигами... Но и Святогору покоя хотелось хоть кроху, а — не досталось: весь покой его луна съела.

Ладно. Чему быть... Сказал я тебе главное. Немного людей луной питаются и луной губятся. Но есть, есть. Не узнать их обычно. Только вот если, как ты сегодня, по незнанию на луну засмотрятся — и плохо им станет...

Или — тоже знак верный: сторонится человек луны, бережется — значит, знает за

собой это, значит — тоже от света лунного...

Полнолуния берегись. Старайся в ночь эту луне вообще не казаться. У месяца Силу бери без боязни. И в небе вечернем не страшна луна тебе, но когда днем на небе проступает — несчастливый твой день сегодня. Когда красной луна восходит, ворожи, но — с опаской, ох с опаской, и до тридцати трех годов запрещаю я тебе это. Коли света лунного переберешь — камыш-траву завари и выпей. Если под луной ночевать — не закроется богатырь плащом с головой: у него и кроме луны врагов много. А берегись так: когда засыпать начнешь, кулак сожми и к переносице приложи; так и спи — неудобно, зато без опаски... Ладно... В тень спать пошли, Добрыня...

Я снова был здоров, спать мне не хотелось, но я покорно улегся, приложил к переносице сжатый кулак и зажмурился. Учитель ушел куда-то. Украдкой я открыл глаза.

Учитель стоял прямо под луной, неподвижно, наклонив голову, уперев меч в землю. Губы его шевелились. Я понял: он старался заговорить меня от лунного света. Он постоял, прислушался к чему-то, устало махнул рукой и медленно зашагал ко мне.

Я притворился спящим. Учитель лег со стороны луны, прикрывая меня и сейчас. Слезы навернулись мне на глаза: я уже хорошо умел чувствовать чужую боль.

Вдруг страшная мысль пришла мне на ум. Как можно тише, прикрываясь Силой, я тихонько приподнялся и заглянул в лицо Учителя, обращенное к луне.

Я увидел кулак, прижатый к переносице, и услышал его спокойное:

— Да, Добрыня.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

Пять лет пролетело. Я не показывался при дворе князя Владимира. Он не упоминал моего имени, и скоро все к этому привыкли. Илья нередко говаривал мне: «Помирился бы ты с ним. Ведь он — князь. Пади ему в ноги, поцелуй руку». Алеша говорил другое: «Ты счастливый человек. Сам себе хозяин, А Владимир — стареет, да». Конечно, оба догадывались, в чем была истинная причина нашей ссоры, но вслух ничего не говорили.

Впрочем, я начинал думать, что Владимир нашел в себе силы преодолеть ядовитое дыхание Волхва. Он стал отдалять от себя Святополка. Пошли разговоры, что он оставит престол либо Борису, либо Глебу. Я мог без хвастовства сказать, что это и моих рук дело. Я даже решил для себя, что, если князь позовет меня — я приду. Но Владимир не звал.

С уничтожением Идолища набегги Степи сделались реже. Волхва стали не часто видеть на Русской земле; меньше стало разговоров про его дела. Что ж, лишившись своего главного Оплота, он действительно стал слабее.

Первое время я очень берегся, но Волхв отчего-то не мстил мне, и я стал спокойнее. Горе мое не забылось, но отчаяния больше не было; ноющая боль, слезы во сне — но к этому я привык. Несколько женщин пытались занять Маринкино место; я только отмахивался, не причиняя им зла.

Мать вернулась в Новгород. Я теперь редко бывал в Киеве. Это были спокойные годы. Мои подвиги сделались незначительны, я просто странствовал по Русской земле и подставлял плечо там, где об этом просили. Два раза я набредал на дела Волхва — но мало ли следов оставил Волхв на Русской земле. Я надеялся, что нам почти удалось выжить его отсюда. Я совсем не знал его дел на Востоке, но полагал, что там было достаточно царств, завладеть которыми Волхв собирался. Завладеет — тогда посмотрим, говорил я себе.

Я съездил в Крепость и провел там несколько дней. Властитель Крепости постарел, но был еще крепок. Мы много беседовали с ним; в числе прочего мы говорили и о Силе. Ничего нового Властитель Крепости мне не открыл, но уже сами разговоры с искушенным в этих делах человеком значили много.

Съездил я и в Царьград. Это великолепный город, но не могу сказать, чтобы он поразил меня: видно, с годами (хотя будь я хлебопашцем, я был бы еще молодым тридцатилетним человеком) моя способность удивляться потускнела. В самом деле, чему можно было

удивляться после подземелий Волхва?

Мои шрамы остались при мне, хотя мать и свела некоторые из них травами. Я не любил, когда меня спрашивали о них, и только хмурился в ответ. Меня теперь уже хорошо знали и помнили, что Добрыня неразговорчив и к тому же замешан в такие дела, о которых лучше не знать. К тому же он в ссоре с самим князем киевским.

Каждую зиму я посещал Учителя. Он все больше отходил от мирских дел и даже от Силы. Он считал, что монаху Сила не пристала. Но я-то знал, что его Сила останется с ним, даже если он забудет про нее. Мы говорили больше о нашей вере. Учитель все собирался сходить на гору Афон, но почему-то все откладывал. Я предлагал отправиться вместе, он говорил — «да-да».

Я не принимал участия во Владимировых походах. Я действительно отошел от княжеских дел. Единственно, за кем я старался следить, — это за Борисом и Глебом. Однажды, когда разговоры о том, что Владимир оставит престол кому-то из них, достигли моих ушей, я решил нарушить свой зарок не приближаться к княжескому дому и поехал в те места, куда направилась княжеская охота.

Тайком я плутал в лесу, Силой отстраняя от себя княжеских людей. Я выехал на берег реки и увидел на берегу коней, одежду, а в воде — княжичей. Глеб, еще отрок, нырял со старой ракиты в реку, а Борис, стоя на отмели, учил его. На ярком солнце они казались почти детьми — светлыми, прекрасными и беззаботными. От них исходила какая-то чистота, словно они выросли не в мрачном дворце князя Владимира, пропитанном ядом, а прямо здесь, на этом солнечном берегу. Наверное, так играют ангелы, подумал я с улыбкой.

Увидев это, я мог спокойно уезжать: все было ясно и так. Свет коснулся и семьи князя; но, увы, оба княжича были слишком солнечны, чтобы воцариться на этом троне, мрачном, как все троны; с некоторых пор я испытывал к власти отвращение. Ветка под ногой моего коня хрустнула — и они обернулись, немного с виноватыми улыбками, какими они, видно, привыкли встречать старших. Стесняясь своей наготы, они зашли подальше в воду, и тут Борис обрадованно крикнул:

— Добрыня!

— Мы давно не виделись, княжичи; я рад, что вы еще помните меня.

— Кто же тебя не помнит, Добрыня!

— Почему ты перестал появляться в Киеве? — застенчиво спросил Глеб.

— Богатыри приходят и уходят.

— Отец был несправедлив к тебе, — быстро заговорил Борис; сквозь пробивающуюся бородку было видно, как он покраснел. — Я не знаю, какая кошка пробежала между вами; я несколько раз говорил отцу...

— Не стоит слов, княжич. Я спешу. Вас, наверное, уже ищут, а я не хочу, чтобы нас видели вместе. — Я заговорил медленней и тише: — Вы — дети света. Если тьма будет собираться вокруг — пошлите за мной. Если кто-то из вас позовет, я примчусь.

Борис кусал губу; Глеб смотрел на меня широко раскрытыми глазами.

— Прощайте. Как бы ни была сильна тьма, всегда есть люди, которые будут готовы помочь. Только — позовите.

Я тронул коня. Борис стремительно выскочил из воды и схватил меня за руку; я мог хорошо рассмотреть его — сильного, гибкого, как лоза, капли воды на его теле блестели на солнце. «Они слишком хороши для жизни», — мелькнуло у меня в голове.

— Добрыня! О какой тьме ты говоришь? И почему ты исчез?

— Все это знает великий князь киевский, — сказал я, пристально глядя ему в глаза. — Но я чист перед ним и перед вами.

Я наклонился к нему:

— Ты старший. Помни о тьме!

Я поехал в лес; когда я обернулся, сквозь ветви увидел — братья стояли на берегу и смотрели вслед; мне казалось — они понимали многое...

У меня было тяжело на душе. Я хотел прийти к ним как друг, а пришел как черный

вестник. Зачем я это сделал? Но что мне оставалось еще? Рассказывать им всю историю про Святополка, чтобы потом князь Владимир обвинил меня в том, что я сею раздоры и смуту?

Однако горечь эта постепенно забылась, и я вспоминал княжичей такими, какими я их увидел в первое мгновение — счастливых солнечных братьев.

Кто знает, говорил я себе, князь Владимир умен, ядовитое дыхание Волхва теперь слабее, разговоры о престолонаследии идут. Борис, возможно, поднимет бремя власти, а там я уж смогу отчасти защитить его; он будет мне верить. В отличие от его отца...

Больше я не видел княжичей, но, чем дальше отстоял я от последней с ними встречи, тем с большей уверенностью думал я о будущем. В Новгороде, когда я был у матери, до меня дошли разговоры, что князь Владимир заточил Святополка и сделал окончательный выбор: Борис.

Узнав это, я решил отправиться в Киев, к своему другу Даниле, который продолжал встречаться со мною тайно все эти годы. Моя опала коснулась и его, но теперь вроде князь стал забывать о своем гневе.

Итак, я ехал из Новгорода. Я не спешил.

Вереск цвел по пустошам, и в его сиреновом дыму сладко барахтались бархатные пчелы. От земли тянуло солнцем, грибы проглядывали во мху под корнями сосен. Легкая пыль поднималась за моим конем и тут же оседала. Сороки, перегибаясь на ветках, смотрели на меня. В озерах плескала крупная рыба.

Уже несколько лет — со смерти Маринки — я не чувствовал себя лучше, чем теперь. Степь была отброшена. Княжеский престол стоял крепко. Князь Владимир правил уверенной рукой; вести о том, что он делает своим наследником Бориса, хоронили мои страхи. Обещанный срок смуты — через три года — прошел. Как видно, падение главного Оплота Волхва — Идолица — порушило или, во всяком случае, отсрочило его замыслы. Земля одевалась церквами. Перуновы капища еще стояли в лесах, но Перун уходил. Мысли мои были светлы, как были светлы дни начала лета.

По дороге я свернул в Полоцк. Я любовался на церкви и посадские дома из светлых сосновых бревен, на кипение толп на улицах, на весь оживленный летний городской гомон.

Кто-то тронул меня за стремя. Я повернулся и увидел незнакомого мне человека.

— Наконец-то я нашел тебя, Добрыня. Возьми.

Я протянул руку — и свет померк в моих глазах. На моей ладони лежало соловьиное перо.

— Ты идешь из Свапуша?

— Да.

Все кончено, подумал я. Волхв собирает своих детей.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Не прощаясь с незнакомцем, я пустил коня вскачь и скоро ехал уже за пределами города, полями, в последние годы у меня вошло в привычку раздумывать на ходу, но сейчас вести эти были так ошеломляющи, что я соскочил с коня, сел на землю и постарался сосредоточиться. Я оглянулся. Поля. Перелески. Ленивые облака. Мошки над пашней. Пустынная дорога. Помогай мне, Русская земля!

Выходило так, что я, Добрыня, Добрыня Никитич, или, как меня еще стали называть, Добрыня Новгородский, узнал о чем-то, по всей вероятности, раньше многих.

Нет, не ушел Волхв с Русской земли, глупо было рассчитывать на чудо. Не в годы Волхва менять свои притязания. Изменился лишь срок — не три года, а пять... Владычество сначала здесь, а потом... Итак, Волхв собирает своих детей. Он не вспоминал о Соловье долгие годы — сколько? Радко должно быть сейчас двадцать четыре? двадцать пять? И вот — вспомнил. Волхв собирает своих детей. Значит, пришло назначенное им время.

Откуда ждать удара? Степь? Варяги? Смута на Русской земле? Куда бросаться? Куда скакать? Кому говорить- «Тревога!»? Кто поверит мне, кто испугается, когда все кажется

прочно. С кем говорить?

С князем Владимиром (десять дней пути)?

С Учителем (пять дней пути)?

С Ильей (где сейчас искать его; кажется, Илья на южных рубежах — пятнадцать дней пути)?

С Алешей? Но я вовсе не знаю, где сейчас Алеша.

С сыном Владимира Ярославом, правителем Новгорода (четыре дня пути)?

С Наиной, матерью Соловья (девять дней пути)?

И тут я совершил первую ошибку. Я решил скакать к Наине и никому ничего не говорить.

Это была плохая поездка. Я гнал коня, понимая, что сменить его мне будет негде и что загонять его я не могу: тогда и я пропал. Мне не нравилось то, что я чувствовал в окружающих лесах. Лешие подходили к самой дороге. В голосах зверей и птиц слышалось беспокойство. Когда я мчался вечерами мимо озер, русалочий хохот был слышен издалека. Как я не замечал этого раньше? Велика была Сила Волхва, прочную пелену он сплел над Русской землею, убаюкал всех нас, и меня в том числе.

Крестьяне жаловались, что пшеница родится в этом году какая-то бешеная, ранняя («словно спешит куда-то, боится не успеть»); появлялись на свет странные животные — двухголовые, трехглазые. Я проклинал свою беспечность. Но никто пока ничего не слышал о человеческих странных делах.

Я легко нашел Наину. Она сидела у дороги и безжизненно смотрела вдаль. Она узнала меня:

— Спаси его, Добрыня!

Мать, подумал я. Вся Русская земля скоро будет в огне, а ты только о сыне.

Соловья увезли две луны назад. Приехали всадники — и увезли. Волхва с ними не было. Я не узнал ничего и помчал в Киев, слыша за спиной слабый голос:

— Спаси его, спаси!

Я проскакал день, пока не встретил отряд, предводитель которого сообщил мне, что в Новгороде сын Владимира Ярослав поднял мятеж и зовет варягов из-за моря, чтобы сесть в Киеве на трон. И тут я совершил вторую ошибку. Я свернул с Киевской дороги и поскакал на Новгород.

Что вело меня? Я думал, что мои попреки и советы Владимиру уже бесполезны и что надо скакать в самое пекло.

За день до Новгорода я напоролся на засаду из шести всадников. Я разозлился не на шутку. Я спешил.

Я не пощадил никого; с некоторых пор это стало моим правилом в отношении засад. На шее у каждого я нашел то, что, собственно, и ожидал увидеть — серебряное копытце. Знак Волхва.

Новгород кипел. Город еще помнил дни своей воли и по глупости надеялся на молодого князя. Я еле пробился ко дворцу. Стража мне не понравилась. Это была не обычная стража. Готов был поклясться — у каждого на шее болталось то же самое серебряное копытце. Я понял, что пробиваться вовнутрь бесполезно, и стал ждать.

Утром следующего дня Ярослав выехал из дворца. Я крикнул:

— Ярослав, я вернулся из опалы!

На лице князя появилась самодовольная улыбка: враг его отца, богатырь Добрыня, становился под его знамена!

— Пропустите его, — кивнул он страже.

Некоторое время мы ехали молча. Князь приветливо улыбался толпе.

— Что, Добрыня, — сказал он, — ты нашел, наконец, правого?

— Я нашел дерзкого, — отвечал я.

Князь слегка нахмурился:

— Дерзкого?

— Ты ведь дерзаешь.

И в эту самую минуту я ощутил нечто вроде укола в сердце. Я быстро осмотрелся. По правую руку князя ехал молодой всадник с очень странным лицом. Это было лицо дурачка, но при этом от него исходила Сила. «Дети Волхва», — подумал я с горечью.

— Князь, а князь, — загнусавил дурачок вдруг, — он дурного хочет. Он не с добром к тебе приехал.

Князь остановил коня. Свита смешалась.

— Что ты на это скажешь, Добрыня?

— Если ты будешь верить людям, которые попали к тебе месяц назад, ты далеко не уйдешь.

— Месяц? Да, верно, месяц, — удивился самому себе князь.

— А я уже пятнадцать лет у всех на глазах.

— Он гибели твоей хочет, князь, — плаксиво сказал дурачок.

— Крестом клянусь, что гибели твоей не хочу. Кто-нибудь видел, чтобы Добрыня преступал такие клятвы?

А ты, убогий, — я повернулся к дурачку, — скажи, что, я действительно хочу смерти князя Ярослава?

— Нет, — помотал он головой.

— И что я очень люблю князя Владимира?

— Ты его вовсе не любишь. Он причинил тебе зло.

Морщины на лбу князя разгладились.

— Отлично! Так с чем ты приехал, Добрыня?

Я усмехнулся про себя. С такими детьми Волхва действительно нетрудно справиться: надо только подставлять им нужную часть своих мыслей. А мыслей у каждого много.

— С чем может приехать опальный богатырь? Говорить с дерзающим князем.

— Отлично! Говори!

— Многие таят обиду на князя Владимира. Но не каждому удастся отплатить за обиду. И надо знать, кому это удастся. И это — можно знать.

— Ворожба? — вскинулся князь. — Мне уже ворожили.

— Я знаю, кто тебе ворожил. Пятидесяти с небольшим лет, маленького роста, борода с проседью, скованный в движениях, щуплый, глаза — как уголья.

— Откуда ты знаешь? — задохнулся князь.

«Ну и дети у Владимира», — подумал я мельком.

— И ты его раньше никогда не видел. И он исчез, как только наворожил.

— Я всегда слыхал, что твоя Сила велика, Добрыня, — с уважением сказал князь. — Ты поворожишь мне? Ты будешь со мной? — И он жадно схватил меня за руку.

— Я поворожу. И если мы увидим славное будущее, я буду с тобой.

— Отлично! Назад, во дворец!

«Только бы Волхва не оказалось сейчас в Новгороде», — подумал я.

Я долго ходил по комнатам дворца, выбирая нужную. То здесь, то там я чувствовал враждебную мне Силу Волхва. «Не то ли я почувствовал бы и в Киеве», — подумал я мрачно. Наконец я нашел нужное: комнату с очагом, в которой отсутствовала проклятая Сила.

Я разжег очаг и стал варить травы. Князь болтал всякую ерунду — что-то насчет обид на отца и как он сам будет мудро править. Я ни о чем его не расспрашивал: яснее ясного было, чьих это рук дело и что это все значит.

— Слушай меня внимательно, князь. Сейчас мы будем смотреть на огонь — ты и я. Перед этим мы выпьем из одного кубка отвара, который даст нам Силу. Я говорю — из одного. Я пью первым. — И я поднес кубок к губам. Князь внимательно следил за тем, как я пью.

Он не знал, и никто не знал, что в кубке не смешивались, а лежали слоями два отвара. Первый — мой — безвредный. Князь выпил залпом и поморщился.

— Горька Сила, князь?

— Горька.

Ты еще не знаешь, как горька, подумал я.

— Теперь смотри на огонь. Видишь, видишь — вот это ты. А это князь Владимир. Вы боретесь.

— Да. Да.

— А вот теперь слушай меня! Гляди мне в глаза! — Князь уже не мог сопротивляться. — Гляди и запоминай. Как только ты поднимешь меч на своего отца, ты погибнешь. Духи огня запрещают тебе поднимать на него руку! Запрещают! Иначе сгоришь. Перун говорит с тобой моими устами. Огонь огнится, воду побеждает, меч поднимается и падает, оплавленный, за рекой Смородинкой уже ждут тебя, вот уже поднесли сковороду горячую, вот уже жар жжет тебя, вот уже левое плечо зажглось!

Князь вскрикнул и схватился за плечо. Я знал, что он должен чувствовать сейчас.

— Вот пламя пожрало уже всю руку...

— Останови... — прохрипел князь, в ужасе глядя на меня.

— Не я — Перун жжет тебя. Пламя перекидывается на живот... Если оно дойдет до сердца, ты пропал. Огонь огнится, водицы нет, вся вода утекла в реку Смородинку, там, где ждут тебя...

— Останови! Останови!

— Но есть вода, бежит вода, струится вода, есть спасение, спи, князь, спи крепко и не обнажай меча, вложи меч в ножны, Перуну не любя твоя война... есть вода, струится вода, заливает руку, прохладная рука, прохладная, но ты еще на берегу той речки Смородинки, берегись, берегись, спи, спи...

Я дотронулся до него рукой — он откинулся; рот его раскрылся, он стал глубоко дышать. Неделя беспмятства, подумал я, и еще месяц не сядет на коня. Хорошая работа.

Крадучись, я подошел к дверям и распахнул их. Двое. Меч мой был наготове. Всего двое — цена перемирия? На груди, разумеется, — серебряное копытце... Я пошел вон. От меня шарахались, как от демона. Мимо пробежал дурачок. Поднималась суматоха. Я спешил. Нельзя было оставлять мать в Новгороде. Но я не мог взять ее и к Учителю. Я отвез ее к Богдану-оружейщику, который был другом Учителя, а теперь и моим, и наказал тайно ночью ехать в скит. Наспех я попрощался с матерью и пустился вскачь, на Киев.

Когда до Киева оставалось два дня езды, я повстречал княжескую дружину, шедшую на Новгород. Я подъехал к боярину. Мы были немного знакомы; он глядел дико. Я понял: что-то случилось.

— Ты едешь в Новгород? Подавлять мятеж Ярослава? Не особенно спеши. Ярослав спит. Он не сядет на коня раньше чем через месяц. Но учти: там много слуг Врага.

— Ты еще ничего не знаешь, Добрыня, — неожиданно всхлипнул боярин. — Князь Владимир умер, а Степь пошла на Русь.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

На мгновение я словно провалился куда-то. Потом обе мои ошибки встали передо мной въяве. Я ездил к Наине! Я усыплял Ярослава! А Враг в это время был в Киеве! И князь Владимир — убит! Престол пуст! Волхв — приходи, владей!

— Когда его убили? — спросил я глухо.

Боярин стал озираясь по сторонам.

— Он умер, — шепнул он, — так говорят. От всех скрывают его смерть. Но тебе я сказал. Что бы ни было между тобой и Владимиром, ты служил ему.

— Зато вы ему плохо служили, — сказал я. — Что со Степью?

— Я говорю тебе: Степь пошла на Русь!

— Кто возглавляет войско?

— Перед смертью князь послал Бориса... Борис уже в пути... За ним послали...

— А Святополк?

Боярин зашептал совсем тихо:

— Святополк хочет княжить...

— Видно, у вас у всех помутился разум, — сказал я в сердцах. — Вы попустительствуете ему. Поворачивай дружину.

— Нет, — зашептал боярин, — мне приказано идти на Ярослава...

И тут я понял, что здесь моя Сила не сделает ничего против силы страха. Не попрощавшись, я понесся по дороге дальше.

Вот куда завела меня моя глупость. Пока я метался по земле Русской, Враг нанес удар в самое сердце. Я не был уверен, что Волхв специально плел свои сети в расчете на меня; видно, не я один был одурачен. Но куда лететь теперь? Я остановил коня. И тут я совершил третью ошибку. В Киев, решил я. Святополк там. Я должен остановить его. Туда же приедут сыновья Владимира. Меня заботили Борис и Глеб. В Киев! Уже вскорости мне было дано узнать, как страшно я ошибся...

Киев уже знал. Плакали, ломились в церковь Богоматери, в которой лежало тело, но, по сути, в городе царило мерзкое оживление, обычное, когда одно правление сменяет другое. Для бояр — кому опала, кому почести, для простолюдинов — причастность к государственным делам...

Я протиснулся в церковь. Меня узнали; расступились. Я прошел к телу князя. Здесь не нужны были никакие корни мындрагыра: мало-мальски опытному глазу было понятно, что в нем еще жил яд.

«Вот так все и кончается, князь Владимир Святославович, — подумал я. — Ты мнил себя владыкой земным, а умер ты — и где твоя власть? Даже над телом своим ты был невластен. Твое тело скрывали от народа несколько дней, и вот оно лежит здесь — прах и тлен, и простолюдины смотрят на него раскрыв рот. А ты держишь ответ перед Царем Небесным, и как бы ничтожен я ни был, но знаю, что суд его будет суров... Да, ты крестил Русскую землю, но ты же и вверг ее теперь в смуту. Прощай, гордый князь! Сначала я был для тебя мальчишкой, потом твоим тайным богатырем, потом стал помехой. Ты был для меня сначала полубогом, потом мудрым хозяином, а кончилось тем, что я назвал тебя безумным стариком. Теперь Иисус рассудит нас. А мне пора. Прощай, князь!» И я поклонился в землю.

На паперти я увидел ненавидящие глаза. Святополк.

— Взять его! — закричал он. — Взять изменника!

Я обнажил меч. Страшная ярость поднялась во мне. Тяжело было мне поднимать руку на княжескую дружину, с которой сам проделал немало походов против Степи, но теперь я стоял на своей дороге, а дружина преграждала мне путь.

Но я поднял меч — и опустил его. Вся площадь перед церковью была запружена войском. Мне было не уйти.

— Что, отцеубийца, — закричал я Святополку, — зверь хищный и подлый, крови моей захотел? Берите меня, служите Волхву, пусть будет проклято его имя. Говорю вам: Святополк — его слуга!

По дружине прошел ропот, но меня уже схватили; я никогда не видел этих людей раньше, но мог поклясться: у каждого под кольчугой болталось серебряное копытце.

— К оружию, русские люди, — кричал я. — Отомстите за смерть князя Владимира!

Но человек труслив...

Я оказался в подземелье дворца, в самом глухом углу, в клетке из прутьев. Я был здесь только однажды — когда спасал Радко, и уже тогда ужаснулся обилию пленников, но никогда не говорил с князем Владимиром об этом. Теперь я оказался одним из них — заслуженная участь...

Я догадывался, зачем меня оставили здесь: Волхв хотел говорить со мной, и я еще раз возблагодарил Бога за то, что успел отправить мать в скит к Учителю; там ей ничего не грозило, а больше ничто другое не могло сломить меня.

И тут меня осенило: приезд в Киев тоже был ошибкой. Мое место было либо подле Бориса, который стоял на реке Альте, ожидая нападения Степи, либо с Глебом, который был в Муроме. Там, и только там, было мое место, а не у Ярослава в Новгороде, не у Наины в Свапуще, не у Святополка в Киеве. Но теперь было слишком поздно. Я не мог даже попробовать разогнуть решетку: я был закован в кандалы, которые не мог разорвать и богатырь, и лежал, скованный, на спине.

По моим расчетам, должна была уже наступить ночь, как вдруг я увидел согбенную фигуру, пробирающуюся в проходе к моей клетке.

Когда человек приблизился, я разглядел: это был дряхлый старец. Старец обхватил дрожащими руками прутья — и вдруг прутья раздвинулись! Не Волхв ли это, изощренно издевающийся надо мной?

Старец проник в проем и наклонился ко мне:

— Ты живой, Добрыня?

Алеша! Я едва не заплакал.

— Как ты вошел сюда?

— У меня есть кое-что...

— Серебряное копытце? А я думал — только я собираю подобную дрянь...

— Ты всегда уважал только себя, Добрыня... Быстро переодевайся в мое.

— А ты?!

— Меня Святополк не тронет...

— Алеша, как только освободишься, лети в Новгород к князю Ярославу. Расскажи ему про убийство Владимира. Про Волхва. Про Святополка. Про то, что в его окружении есть дети Волхва. Про то, что до меня он сам находился под дурманом Врага. Скажи, что Добрыня спешил и не успел объяснить все сам. Я еду к Борису.

— Твой конь стоит подле твоего бывшего дома. Там ты найдешь меч — не чета твоему, но пригодится, пока не добудешь новый.

— Где Илья?

— Илья выехал из Чернигова в степи.

Больше ничего сказано не было.

Сгорбившись, я поковылял к выходу, проклиная себя за то, что не могу, как Алеша, перенимать чужую походку.

Я долго стучал, пока, наконец, не взвизгнул засов и в дверном проеме не показалась фигура стражника.

— Долго возился, отец, — сказал он мне. — Покажись-ка, каков ты.

— Забыл, кому служишь? — проскрипел я, вытаскивая из-за ворота серебряное копытце. — Забыл, что твое дело — двери отворять? Прокляну!

Он отшатнулся.

Я поковылял дальше. У выхода с княжеского двора мне пришлось показать копытце еще раз. Волхв крепко сидел теперь в Киеве. Наши усилия и усилия наших Учителей в мгновение ока пошли прахом.

Скоро я уже скакал во весь опор по пустым киевским улицам. Меч, которым снабдил меня Алеша, был богатырский меч. Я бы выбрал себе другой, и я не знал, как он поведет себя в бою, но это было большое подспорье.

Во всех местах, которые я проезжал, я говорил про измену Святополка. Мне верили, но что было толку. Я гадал, удалось ли Алеше вырваться из подземелья и где находится Илья.

Борис должен был стоять на реке Альте, на рубеже степей, куда послал его еще отец, покойный князь Владимир. Я спешил как мог. Но у коней нет крыльев...

Была одна мысль, от которой я покрывался холодным потом. Расположенные ко мне люди говорили, что за несколько дней до меня по дороге проследовал отряд всадников; судя по тому, что я наталкивался на их следы, они ехали кратчайшим путем на реку Альту. Я гнал коня... Мысленно я уже сражался с Волхвом, но что было проку от этих воображаемых сражений...

У меня не было доказательств того, что отряд всадников принадлежал Волхву: сейчас вся Русская земля волновалась в смуте, и естественно было для дружины спешить к Борису, которого отец в последние месяцы видел своим преемником, правда так и не успев передать ему престол. У меня то появлялась надежда, то исчезала. Я применял Силу, твердил: «Борис, Борис, берегись!» — но Борис не владел Силой, и мои заклинания были бессмысленны. Я устремлял свою Силу на зловеющий отряд и навлекал на них несчастье. Пока ничто не помогало. Неведомый отряд опережал меня на три дня...

Так думал я, несясь по лесной дороге в сумерках. И тут невероятной силы свист оглушил меня; мой конь всхрапнул и в ужасе бросился в лес; а свист все издевательски звучал, не отставая от нас; я изо всех сил сдерживал коня, в любую минуту он мог внести меня в дерево, но сам посматривал вверх и следил за паукообразной тенью, перебегавшей с ветки на ветку; и когда мой конь, наконец, застрял в чаще, я, в мгновение ока все взвесив, решился и нанес удар мечом... Свист оборвался, и Радко упал на землю.

Я соскочил к нему. Голова моя гудела и кружилась, мой конь тревожно ржал.

Радко умирал.

— Добрыня... Будь ты проклят.

— Я перевяжу тебя.

— Нет... Мой отец отомстит за меня.

— Где сейчас твой отец?

— Я не дурак... Я служу ему... Он отомстит... Он отомстит...

Его губы сложились для последнего свиста, но только лишь слабое дыхание вырвалось из них; вместе с ним отлетела и душа Радко.

Я ехал дальше. Я не мог поступить иначе. Страшная смута была над Русской землей, а Радко, может быть, нарочно вел меня в глубь леса, где меня уже ждали. Дети Волхва. Когда он находит их — они навсегда потеряны для нас. Но я все равно не мог забыть того мальчишку из Свапуца, которого в свое время — лет шесть назад — спас. Лицо его матери вставало перед моими глазами. И в который раз я проклял тот час, когда избрал стезю богатыря.

Я понял, что не догоню неведомый отряд. Я остановил коня, спешился, сел на землю и стал смотреть на звезды. Я собирал всю свою Силу. «Пусть они задержатся в пути, пусть... Я приказываю, я заплачу за это несколькими годами своей жизни. Они должны задержаться». Потом я сел на коня и понесся дальше.

На другой день я утвердился в том, что догоняемый мною отряд принадлежал Волхву. Я нашел тела убитых киевских гонцов. Борис ничего не узнал о смерти отца. Черная стая перехватила их и теперь неслась на Альту.

Над телами убитых я стоял долго, теряя время, но размышляя, что мне делать. Оставалось еще одно средство, достаточно отчаянное и безнадежное. Я встал лицом на запад и громко произнес три раза:

— Волхв! Волхв! Волхв!

Эхо отозвалось в лесу. Даже мне стало не по себе. Но я продолжал:

— Теперь ты должен слышать меня! Я, Добрыня, на свободе. Я победил тебя в Новгороде, как победил у Идолища. Я стою на твоём пути. Приходи! Волхв! Волхв! Волхв!

Много раз я повторил это страшное имя, и эхо отвечало мне. Потом я продолжил гонку. На другой день в деревне я узнал, что накануне здесь была сеча. Черный отряд был задержан одной из дружин Бориса. Теперь меня отделяло от них чуть больше дня. К тому же черный отряд поредел.

Я знал, что мой конь долго не выдержит. Где я мог взять нового? Положение мое было отчаянным. Мелькали перелески, пыль клубилась столбом; селяне видели всадника, прильнувшего к седлу, и, вероятно, гадали, какая страшная нужда гонит его в этот жаркий день. Внезапно наперерез мне из леса выехал всадник-исполин. Я изготовил меч. Илья!

Редко когда я был так рад в своей жизни.

— Подожди, Добрыня, — сказал он, поднимая руку. — Что бы ты ни хотел сказать,

главное сейчас другое. Отряд, который ехал на Альту, повернул назад.

— Откуда ты?

— Птицы рассказали, — сказал Илья, кивая на небо, где кружили два коршуна. — Давай думать, как отбиваться будем.

— Илья, тут вот что. Я звал Волхва.

Илья помолчал.

— И он с ними?

— Не знаю. Думаю, что нет.

— Почему бы тебе не применить свою Силу, Добрыня?

— Именно это я и собираюсь сделать. Стань пока в стороне.

Я выехал на дорогу. Я чувствовал, что я совершенно один. Перед тем как наступил провал в памяти, я увидел краем глаза, как Илья прижал ухо к земле, и услышал, как он крикнул:

— Добрыня, они совсем рядом!

Некоторое время я больше ничего не видел и не слышал. Я строил стену из Силы. Я редко пробовал делать такое раньше, всегда — для забавы, чтобы проверить себя. Забавы кончились.

Я очнулся, когда всадники выскакивали из-за поворота. Они неслись на меня толпой. Только бы они не стреляли из луков, быстро подумал я.

Но всадники, видно, хотели достать меня мечами, а вероятнее всего, взять живым. Я уже мог различать их недоуменные лица — я сидел в седле неподвижно, скрестив руки на груди. И тут они влетели в Силу.

Кони взмыли на дыбы, всадники закричали, все смешалось — я знал, что они должны испытывать, еще Учитель учил меня этому: внезапная страшная боль головокружение, на миг — потеря зрения. И в этот миг влетели мы с Ильей.

Это была не битва, а бойня. Мне не хочется вспоминать о ней.

Мы положили тридцать человек. Но пятеро все же ушли. Одного Илья достал стрелой. Четверо.

— Хорошая работа, Добрыня, — сказал Илья с изумлением. — Я много слышал про Силу, но видел все какие-то бабские штучки. Что ж ты раньше никогда не скрещивал руки на груди?

— Я могу делать это не больше раза в год, — сказал я тихо. — Теперь тебе предстоит большое дело Ильи. Мы должны ехать быстро, но я при этом должен не упасть с коня.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

Я надеялся, что десять всадников, положенных княжеской дружиной, и тридцать, положенных нами, сильно ослабят людей Волхва. Во всяком случае, Волхв услышал меня... Правда, теперь, как я полагал, я надолго утратил Силу и оставался безоружным перед ним. До речки Альты оставалось полдня пути...

Мы выехали на Альту в сумерках. Костры княжеского стана были видны издалека. Мы помчались на них и вдруг услышали звон мечей...

Стон вырвался у меня из стиснутых губ. Мы метнулись через брод.

— Добрыня, мы не знаем, где князь... Скачи налево, я направо! — крикнул Илья, и мы прищипорили наших бедных коней.

И вдруг я увидел Бориса — он медленно ехал над рекой, озираясь на стан, в котором шла битва. Слезы облегчения выступили у меня на глазах.

— Князь! — крикнул я.

Он обернулся и, не узнав меня, пустил коня вскачь. Я устремился за ним. И тут мой конь пал.

Я едва успел соскочить и побежал за удаляющимся Борисом:

— Князь Борис! Здесь Добрыня! Подожди!

Он приостановился и глянул через плечо, потом неуверенно, то и дело оглядываясь, поехал в сторону леса. В синих сумерках он выглядел призраком. Несчастный юноша, спасающийся от смерти и стесняющийся этого! Я бежал за ним. Он въехал в ольшаник и остановился. Задыхаясь, я догнал его, схватил за стремя:

— Слава Богу, князь!

Он взглянул мне в лицо холодными пустыми глазами духа и расхохотался. Это был не Борис.

Мгновение назад я мог поклясться, что это был князь. «Дети Волхва!» — полыхнуло у меня в голове. «Оборотень!» И видно, ярость придала мне силы, потому что я выдернул его из седла, и скинул на землю, и ударил кинжалом в горло.

Дети Волхва! В стане шла битва, а я сидел на земле и слушал, как плещется рыба в реке, как, не прельщаясь никакими человеческими страстями, свищут птахи в траве, в этих долгих летних сумерках... Комары вились вокруг меня. Я следил за их полетом в каком-то отупении. Раздался шорох; я поднял глаза. На фоне мятущегося пламени костров на меня по траве шел Волхв. Я не вскочил, не потянулся за мечом, я просто сидел и глядел на него. Волхв остановился в нескольких шагах от меня.

— Ты, кажется, звал меня, Добрыня? — сказал он, покусывая травинку.

— Ты все-таки услышал, — сказал я глухо, не поднимаясь с земли.

— Отчего ж не услышать, когда такой богатырь зовет. Ты, говорят, явил там чудеса Силы. Только напрасно это все было. Теперь у тебя Силы почти нет и еще долго не будет, а этот отряд был мне и не очень нужен. Здесь давно были мои люди.

Кругом по-прежнему никого не было. Тонкий серп месяца взошел на зеленоватом небе над левым плечом Волхва.

— Ты, кажется, научился справляться с моими детьми, Добрыня. И ты, говорят, неплохо потрудились в Новгороде, вполне в своем вкусе — быстро и решительно. Впрочем, я никогда особенно не верил в Ярослава.

«Крр, крр, крр», — кричал коростель.

— Скольких моих детей ты убил?

— Двоих.

— Двоих. Ладно, Добрыня. Сиди себе. Я не стану убивать или калечить тебя. У каждого должна быть своя Рогожка.

И с этими словами Волхв развернулся и пошел прочь, прямо на кусты. И тут кусты расступились. Это было прощальным плевком Волхва мне в лицо.

Шум битвы утих. Небо медленно темнело. Зеленоватый магический свет проваливался в черноту. Месяц был ослепительно ярко; покровитель Волхва, подумал я. Появлялись звезды. Алеша так и не сказал мне, какая была моя, по которой ходило пламя. Пламя или не пламя, но это была глупая звезда.

В речке кто-то мощно плескал хвостом. Сначала я подумал — сом, но потом раздался звонкий и тонкий, щекочущий русалочий смех. Звали меня? Броситься в воду в доспехах и постараться утонуть? Я сидел совершенно неподвижно. Это было состояние горчайшей горечи, когда человеку открываются все начала и концы, умиротворенной скорби, когда становится ясно, что, несмотря на все твои победы и славу, ты есть то, что ты есть, и все прошлое и будущее горько, и ты выпиваешь не только горечь прошлого, но и горечь будущего. Я смотрел то на небо, то на черную воду. Нет, я не хотел бросаться в нее, и русалка напрасно звала. У меня еще было много горечи впереди.

Потом я увидел Илью, который рыскал по полю, отыскивая меня. Я поднялся и пошел ему навстречу.

— Мы напрасно дрались, Добрыня, — сказал он. — Здесь было предостаточно слуг Волхва и так. Когда я прискакал, все уже было кончено. Бориса ранили и схватили. Он не сопротивлялся. Слуги защищали его — вот и вся битва. Иногда христиане бывают очень странными людьми. Сейчас его увезут к Святополку. Если ты снова не покажешь свою Силу. Впрочем, я слышал, что здесь сам Волхв.

— Это правда, Илья, — сказал я. — Волхв был здесь и говорил со мной.

— Ты победил его?!

— Я даже не обнажил меча.

— И Волхв не убил тебя?!

— Нет, Илья. Он плюнул мне в лицо и ушел.

Илья слез с коня.

— Я никогда не верил в то, что мы победим Волхва, — сказал он. — Плетью обуха не перешибешь, Добрыня.

То, что он не тронул тебя после всего, что было, — это твоя победа.

— Еще одна такая победа, Илья, — сказал я, — и я уйду в монастырь.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

Раненого Бориса повез Святополку большой отряд; нечего было и думать о том, чтобы попытаться отбить его. С этим отрядом ехал сам Волхв.

Постепенно мы узнали подробности. Борис был в шатре, когда в лагере поднялся мятеж. Его уговаривали бежать, но Борис стоял молча, опустив голову; видимо, молился. Он подставил грудь своим убийцам. Я не знал, почему его повезли к Святополку живым; может быть, Святополк хотел выпросить у него про какие-то дела князя Владимира.

Чем больше я думал об этом, тем больше понимал сомнения князя Владимира относительно своих младших сыновей. Светлые мальчики — но не правители, не воины. В том, что Борис не сопротивлялся, была какая-то великая правда, тем самым он вырывался за пределы порочного круга братоборства, он был ближе к небесам, чем мы все. Но на престоле должен быть другой человек...

Мы долго говорили с Ильей, что делать дальше. Илья предлагал немедленно спешить на выручку Глебу, жизнь которого, без сомнения, также была в опасности. Мое сердце разрывалось. Да, Глебу грозила опасность. Волхв не мог оставить его в покое. Свет в княжеских хоробах не устраивал его. Но убереем ли мы Глеба? И самое главное — где сейчас решается судьба земли Русской? Глеб никогда не станет править, особенно после смерти Бориса. Что делать — спасти мальчика, который в моих глазах олицетворял свет, или делать нечто совсем другое — искать человека, который мог бы остановить смуту?

Я все чаще думал о Ярославе. Да, он бросил вызов отцу. Но князь Владимир был тяжелый человек, и трудно сказать, что лежало между ними. Узнать это было необходимо. К тому же я не почувствовал в Ярославе природного зла. Бесшабашность, гордость — да. Но настоящего зла в нем не было. А найти такого князя, который был бы совершенством, можно только во сне, говорил я Илье. Мы спорили полдня и, наконец, решили: в Новгород, к Ярославу, к Алеше, если он сумел вырваться из киевского подземелья. Я только горько усмехался: Алеша пожертвовал собой ради меня, думая, что никто лучше меня не справится с Волхвом. И вот что получилось.

Отправляясь в путь, я молил Бога о том, чтобы на этот раз мое решение не было ложным, как первые три.

Как я уже говорил, мы долго совещались с Ильей. Мы понимали оба, что ошибаться больше обоим нельзя; Илья, все еще под впечатлением боя, в котором я остановил тридцать пять всадников, намекал, чтобы я спросил свою Силу, но моя Сила, растраченная впустую, еще не успела восстановиться.

Мы снарядили из Борисовой дружины отряд к Глебу, который повез письмо об измене Святополка и пленении Бориса; в письме мы убеждали Глеба ехать с сильным отрядом, минуя Киев, на Новгород. Впрочем, мы подозревали, что Волхв со Святополком опередили нас, и, с тяжелым сердцем, приготовились к худшему.

Русская земля была охвачена смутой. На всех дорогах стояли уже местные дружины, колебавшиеся: примкнуть ли к Святополку теперь или ждать его окончательной победы над братьями. Мы с Ильей ехали тайными тропами: не исключено, что Волхв уже жалел о своей

сатанинской гордыне на Альте. Как Учитель пережил Рогожку, так и я пережил Альту. Отвращение к себе и отчасти вообще к греховной человеческой природе было итогом, однако Волхв все же предпочел не уничтожить, а победить меня. А самые приятные решения, как известно, в большинстве своем бывают ложны.

Когда нам волей-неволей приходилось все же встречаться с встревоженными дружинами, мы говорили с ними; слава наша все же была велика, и нас пропускали дальше. Так мы добрались до Новгорода. Дорогой я старался молчать и растил Силу; я был уверен, что при дворе Ярослава я еще не буду обладать ею в достаточной мере, но все же не буду беззащитен, как на Альте. В полдня пути от Новгорода нас встретил Алеша. Встревоженный нашей участью, он пренебрег своим правилом никогда не показывать свою Силу и поспешил в дорогу, как только почувствовал нас.

Первое, что ему сказал неунывающий Илья, было:

— Ты, Алеша, конечно, удивил меня, но если бы ты знал, как меня удивил Добрыня: он взглядом умеет останавливать рати!

Я пересказал Алеше все, что случилось с тех пор, как он спас меня в киевском подземелье. В свой черед Алеша тоже рассказал многое. В отличие от меня он действовал мудрее. Ему повезло, что Волхва не было тогда в Киеве; среди ночи он выбрался из клетки и стал стучать в двери, призывая небо в свидетели, что колдовская сила перенесла его в подземелье, и требовал князя Святополка. Святополк с неохотой пробудился от злого сна, полного мечтаний о грядущей власти, и обнаружил себя окруженным дружиной, уже и без того обозленной заключением в подземелье Добрыни, а теперь уж вовсе решительно требовавшей освобождения Алеши. Святополк, понимая, видно, что дорого заплатит за свою уступчивость, Алешу освободил, но попытался сделать пленником во дворце. Алеша не долго думая сплел из ковра веревку и с кошачьей ловкостью выбрался на волю через окно. Святополк еще спал, а Алеши в Киеве уже не было. Как и мы, он ехал в Новгород тайными тропами, но когда с опаскою въехал в город, то обнаружил заметные перемены к лучшему.

Еще до встречи со мной обезумевший Ярослав послал за помощью к варягам; они явились, пока он спал, одурманенный моим зельем. Новгородцы, решившие, что князь зашел слишком далеко, варягов перебили. Когда Ярослав очнулся, он не гневался и вообще, по словам Алеши, был задумчив и тих. Никаких приказов он не отдавал, только послал предупредить Глеба, что князь Владимир умер, а Святополк совершил измену.

Алеше он обрадовался, со вниманием выслушал мое послание и дал Алеше полную свободу в очищении дворца от детей и людей Волхва. Алеша не колебался, собрал верную князю дружину, выстроил ее с луками на изготовку, а затем скомандовал остальным раздеться до пояса. Те, кто имел серебряное копытце на груди, обратились в бегство; ушли немногие.

Главной Алешиной заботой стало скрывать от Волхва происшедшее как можно дольше, и он старался обмануть его своей Силой. Судя по тому, что я услышал на Альте, Волхв не обманулся, однако в Новгороде тем не менее стало спокойнее; поговаривали о походе на Святополка, но Ярослав медлил, и Алеша ничего не мог с ним поделать. Алеша убедился, что моя мать в безопасности, но почувствовал, что мы с Ильей попали в большую беду, и облегчение получил только два дня назад, узнав о нашем приближении.

— Я думаю, Добрыня, — заключил он, — только ты сумеешь дожать Ярослава.

— Я? Который получил плевков от Волхва и заслужил его? Обманутый даже не Волхвом, а его сыном?

— Во-первых, самим Волхвом, который выслал оборотня тебе навстречу. А во-вторых, ты имеешь теперь особую власть над Ярославом. Я не знаю, какое зелье ты ему предложил и дает ли оно тебе власть над ним...

— Я не знаю таких зелий... Только один человек на Русской земле их знает: Волхв.

— ...но ты теперь подобен врачу, отворившему кровь. Дурная кровь вышла, и теперь надо, чтобы боль ной восстановил силы.

Я был изнурен. Я не знал, что я смогу сделать, а что не смогу. Почти ничего не смогу,

думал я.

Дальше мы ехали молча. Илья с Алешей стали огибать озеро; я неожиданно сказал:
— Не ждите меня, езжайте. Я побуду здесь немного.

Я спешился и пошел к озеру. Только что прошел дождь. Сизые и серые облака быстро бежали на восток. Озеро было совершенно бело, особой русской летней белизной, когда не знаешь, откуда идет свет — с небес ли, из-под воды ли. Белизна была покойна и могуча. Ее сторожили плотные леса — как толпы монахов. За лесами были холмы. Туман еще не сошел, и основания холмов были покрыты им; верхушки холмов тонкими голубоватыми полосками плавали в небе. Тонкая редкая осока рисовала буквы в белизне воды. Я слышал, как она это делает. И внезапно я почувствовал, что моя Сила вернулась.

Алеша с Ильей никуда не уехали. Они стояли за поворотом, наблюдая за мной сквозь ветви.

— Знаешь, Илья, — сказал я, — а ведь я снова могу останавливать рати.

ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ

Я нашел Ярослава в постели. При виде меня лицо его переменялось, хотя он сам послал за мной. Оно отражало странное смешение чувств: в предыдущий раз целитель сделал больно.

— Я виноват перед тобой, князь. Но я и обманул и не обманул тебя. Ты действительно увидел свое будущее — то, которое тебе уготовил тот, щуплый, черный, с темным взглядом. И это будущее ужаснуло тебя. А потом я дал тебе время подумать. И ты думаешь до сих пор.

Он пошевелился в постели:

— Как ты узнал про него?

— Его руку было легко узнать. У меня нюх на Волхва.

Он дернулся:

— Значит, то, на что намекал Алеша, было правдой?!

— Отчего же ты не верил Алеше? Разве, когда ты проснулся, чувство вины не охватило тебя? Разве ты не жалел о том, что поднял руку на отца — каков бы он ни был? Разве тебе не стало страшно за Русскую землю? Разве ты не понял, что тобой руководил Враг? Разве ты не предчувствовал беды? Борис полужив, в плену. И я даже склонен полагать, что Святополк уже убил его... Ты оказался игрушкой в руках Врага, первым звеном в цепи смуты. Но Враг не трудился и ради Святополка... Я удивляюсь тебе, князь. Разве ты не слышал разговоров о Враге? Разве ты не знал, что как Христос может постучать в твою дверь в любой час, так и Враг может постучать, даже вероятней, что постучит Враг? Он разжег в твоём сердце ненависть к отцу. Подожди, я сам знаю, что князь Владимир был трудным человеком. Но я знаю и еще одно: Враг проник в ваш дом, как червь в гнилое яблоко, и гнилью был Святополк. И червь добрался до самой сердцевины и на время пленил даже князя Владимира, а когда понял, что удержать в своих руках человека, который крестил Русь, все же не удастся, — убил его. Я не смог служить князю Владимиру тогда, когда червь свивал свои кольца вокруг сердцевины, и я ушел. А Владимир незаслуженно обидел многих. Я знаю, что между вами лежала какая-то обида. Ты можешь не говорить мне, если не хочешь.

Князь вспыхнул. Он явно не хотел говорить об этом.

— Я не понуждаю тебя, князь Ярослав Владимирович. Я только осмелюсь предположить: в этом была замешана женщина.

— Женщина, да...

— И отец увел женщину у сына... Тяжелый счет предъявит Господь князю Владимиру... Я думаю, потомки будут милостивее... Однако давай о другом. Я знаю, что у тебя на сердце. Ты хочешь выступить против Святополка. Ты хочешь сесть на киевский престол. Но после того как ты обжегся на том, имени которого я называть не хочу, ты боишься впасть во грех снова. Такие речи приличнее вести священнику, но мы, богатыри, привыкли вставать на место любого...

Я понимал, что сейчас делаю выбор. Кто пойдет на Святополка и победит его, тот и сядет на киевский престол. Я старался читать мысли молодого князя; я не мог, конечно, сказать, что он нравился мне так, как Борис или Глеб, — Борис, которого я не смог спасти, и Глеб, которого я спасти не стал — ради этого вот его брата. Но солнечные мальчики на троне — нигде такого не было и нигде не будет. Всегда правитель будет грешником, далеким от Бога, но если он близок людям...

— Если ты все так знаешь, Добрыня, скажи: чего я сейчас больше всего боюсь?

— Решиться.

— Чего я сейчас больше всего стыжусь?

— Себя.

— Чего я сейчас больше всего хочу?

— Чтобы я исчез, как сон, и чтобы все связанное со мной исчезло, как сон. Не бойся, князь. Я не буду докучать тебе. Как только первая нужда во мне пропадет — я уйду.

— Ты не должен уходить... Отец не должен был прогонять тебя.

— Он не прогонял меня. Я ушел сам. И сам я уйду от тебя. Но скажи мне: что ты сделаешь первое, когда сядешь на княжеский престол в Киеве?

— Я объединю Русскую землю. Я сделаю так, что брат никогда не пойдет на брата.

— Не зарекайся. Ты не знаешь, что произойдет после твоей смерти. Скажи мне: что самое желанное в жизни?

— Власть.

— А кто самый страшный враг власти?

— Дурость.

— Что же... Ярослав Владимирович... Поднимайся с постели, веди войско на Киев... И с кем бы ты ни встречался, всегда спрашивай себя, от кого он пришел, не от того ли щуплого кудесника, который нагадал тебе победу над князем Владимиром...

Князь помолчал, глядя в потолок.

— Я не могу встать. Твое зелье приковало меня к постели.

— Я приготовил то зелье, я и подниму тебя. Вот, я касаюсь твоего плеча — ты здоров. Вставай и зови своих слуг.

Князь медленно поднялся, с удивлением отмечая, что тело легко поддается ему, и посмотрел на меня с благодарностью. Но я-то заметил, как он дернулся, когда я коснулся его плеча; теперь не то что принять от меня кубок с зельем, руку мою на своем плече не хотел чувствовать князь Ярослав Владимирович, и я сказал себе: «Жалко, что больше некому разбить Святополка и что, как бы ни ценил Ярослав Владимирович мою помощь и как бы ни помог я ему в ближайшие дни, никогда мне не быть больше желанным гостем во дворце великого князя киевского».

— Я надеюсь на твою помощь, Добрыня.

— Пока я нужен тебе, я буду с тобой. Как велики могут быть наши силы?

— Четыре тысячи копий.

— Я могу привести тебе еще одну рать. Не спрашивай, откуда она будет. Она придет из той земли, откуда ты ее не ждешь.

— От тебя я приму любую рать. Какой совет ты мне дашь сейчас?

— Проверь, как ты владеешь мечом. Ты вступаешь на трудную дорогу. Но если ты всегда будешь проверять, как ты владеешь мечом, перед битвой, народ назовет тебя Мудрым.

Выйдя от князя, я нашел отряд из десяти верных людей. Я верил, что хотя бы один из десятерых уцелеет в это смутное время и доберется до Юга. Каждому было приказано мчаться на северную границу степей, найти степняков и передать Властителю Крепости: «Началась волчья охота. Добрыня зовет».

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Мы стали готовиться к походу. Мы мало говорили с Ярославом. В конце концов в снаряжении рати я понимал очень мало, это было его дело. Я только сказал ему послать еще нескольких гонцов к Глебу. Ярослав повиновался с неохотой: он не хотел ослаблять войско хотя бы на один меч, а до Глеба ему больше не было дела: ведь он же послал гонцов и выполнил свой долг, а доберутся они до Глеба или нет — Божья воля.

Ни один из нас — ни Алеша, ни Илья, ни я — не могли оставить теперь Новгород: кто знал, какие козни Волхва плелись вокруг. Князь Ярослав держал теперь себя мудро, но еще нельзя было быть в нем уверенным.

Между тем пришли вести о Борисе... Он был жив, покуда его везли с Альты, но Святополк приказал заколоть его; Волхв, видимо, не противился. Он старался дать почувствовать Святополку, что тот хозяин. Святополк, конечно, поверил. Когда меня хватили по его приказу, я успел заметить, что на руке его уже красовался браслет князя Владимира — виноградная лоза... Для него — символ власти, для Волхва — смешная игрушка.

Я съездил в скит повидаться с матерью и с Учителем. Матери нравилось жить в скиту; она так и не полюбила городов, правда, наши разговоры с ней были печальны. Те несколько месяцев, которые мы прожили втроем в Киеве, казались матери единственным спокойным и счастливым временем за все годы. Тогда на мгновение показалось, что я могу жить, как все. Цена была заплачена страшная. Мать не могла не видеть перемены, произошедшей во мне. Но в скиту она была не одна и все истовой обращалась к Иисусу и Пресвятой Деве.

— Ты далеко, — сказала она. — А они рядом.

Учитель все больше молчал. Он только сказал, что из Ярослава может получиться дельный правитель.

— Но только жаль, Добрыня, что ты никогда не будешь его богатырем. Мне повезло больше: мне никогда не приходилось по-серьезному прекословить власть имущим, и меня всегда хорошо встречали в княжеских дворцах. Я никогда не мог увидеть твоего будущего. Если бы я знал, с чем тебе придется столкнуться. Ты накопил столько горечи за свои тридцать два года, сколько я накопил к своим шестидесяти. Правда, ты сделал гораздо больше моего. И может быть, именно поэтому ты получил свою Рогожку так рано.

В Новгороде долго шли споры, когда идти походом. Боялись осенней распутицы, но я настаивал на том, что за зиму Святополк может значительно укрепиться и сделаться действительным правителем. Одно дело свергать его в смуте, совсем другое — в устоявшемся порядке...

Наконец назначили срок выхода войска из Новгорода, и ранней осенью мы тронулись в путь.

Мне не очень нравилось настроение войска. Мы делали, что могли, но страшный слух о том, что со Святополком — сам Волхв, распространялся быстрее ветра. Я думаю, Волхв немало этому способствовал. Князь Ярослав был нервен, вспыльчив, хотя со мной держался ровно. Эта ровность мне не нравилась больше всего. Князь никогда не забудет своего унижения. Гордыня всегда будет с ним, а вот меня рядом с ним не будет.

Даже Илья сунул брови. Одно дело было восседать на пирах князя Владимира, измышляя себе подвиги славы ради. Другое дело — ввязываться в смуту, да еще когда Волхв — главный враг. Алеша был задумчив. Все мы понимали, что старое время князя Владимира ушло безвозвратно, а это было время, когда появились и наша дружба, и наша слава. Невеселое войско продвигалось на юго-запад.

По дороге нашим передовым отрядам попадались странные люди, в большинстве своем обладавшие некоторой Силой. Кое-кого захватили в плен. Волхв перестал навешивать им на шею свои амулеты, понимая, видно, что теперь мы обладали ими в избытке. Поначалу я не мог найти никаких его замет и только со второго раза, приказав раздеть пленников, увидел маленькие, но глубокие шрамы на левом локтевом сгибе.

Наконец наши передовые отряды донесли: войско Святополка приближается к нам, норовя зайти в тыл. Мы совещались в шатре князя. Дождь стучал по ткани, вода текла под

ноги. В полутьме лицо князя было совершенно потерянным. Князь решил остановиться. Кто знал, какие неожиданности готовил для нас Волхв, куда заманивал нас, говорил он. Войско в самом деле роптало. Знамена были самые зловещие. Стаи ворон крутились над нами. Болота по ночам мерцали так ярко, как я никогда не видал в своей жизни. Люди падали на ровном месте и ломали кости. Князь решил — остановиться. Остановиться и ждать нападения. А если нападения не последует — идти на Киев и брать приступом город. Но сколько ждать? На это князь не давал ответа.

Два дня и две ночи мы стояли в лесу, расставляя дозорные отряды. Иногда мы находили наших людей с перерезанными глотками. Я боялся, что Волхв окружит нас, но князь боялся больше моего. То и дело испарина покрывала его лоб. Я предлагал ему настоящие травы, дающие мужество, но он всякий раз отказывался. Я не удивлялся. С тех пор как мы остановились в этом мокром лесу, над нами простерлась Сила Волхва.

На третью ночь, под утро, на нас напали, как я и опасался, со всех сторон. По ночам мы, богатыри, не спали и втроем объезжали весь лагерь, в молчаливом движении своем противостоя той внятной Силе, которая окружала войско. И вот на третью ночь мы с Алешей одновременно вздрогнули и закричали тревогу: ничего слышно не было, но Сила вдруг резко возросла.

Тем не менее любое нападение ночью застает врасплох, как к нему ни приуговаривай людей. К тому же проклятая Сила погружала их в глубокий тяжелый сон, как некогда нас в степи у Идолища. И наши передовые отряды были сматы. Пока мы поднимали людей, несколько десятков было уже убито. И тут нападавшие стремительно отступили. Те, кто пустился преследовать их, были окружены и зарублены. Наше войско поредело. Наступила зловещая тишина. Я сказал Ярославу:

— Завтра будет то же самое. И послезавтра. Пока нас не перебьют всех. Ты принял пагубное решение, князь. Надо двигаться на Киев.

— Это моя война, — сказал мне Ярослав, принимая гордую позу, а на самом деле дрожа всем телом.

Я подумал и сказал:

— Что же. Это будет твоей войной еще две ночи. На третью тебя убьют, и это уже будет неизвестно чья война.

Ярослав посмотрел на меня с тоской и ненавистью и скомандовал поход.

Теперь мы были обременены ранеными. Движение было крайне медленным, но мы все же уходили из проклятого места.

Выслали лазутчиков. Те немногие, кто вернулись, подтверждали мои худшие опасения: мы были окружены со всех сторон.

Мы снова держали совет. Богатыри говорили: ударить на запад, там, где, по нашим представлениям, находился Святополк. Военачальники хмуро молчали.

Некоторые уже говорили о том, чтобы вернуться в Новгород. На Ярослава было больно смотреть. Я тихо сказал ему:

— Князь Ярослав Владимирович, я уже однажды ворожил тебе на огне. И я не обманул тебя. Давай попробуем еще раз.

Ярослав слабо улыбнулся:

— Только на этот раз я не буду ничего пить.

Я пристально взглянул на него и сказал себе, что не все еще потеряно.

Ночью мы развели костер. По дружине ходило шевеление. Весть о том, что Добрыня Новгородский гадает князю, распространилась быстро.

Я сказал князю:

— Мы сделаем так. Будем смотреть на огонь. Бросим туда олово. Если олово выплавится бесформенным куском, значит — поворачивать на Новгород, значит, дело твое пропало. Если будет походить на наконечник стрелы — надо бить по Святополку.

Мы долго смотрели на огонь. Я знал, что из тьмы за нами следят десятки глаз. Наконец, пробормотав заклинание, я кинул металл в огонь. Князь судорожно сглотнул. Мы сидели

еще довольно долго, потом я разгреб угли и двумя сучками вытащил слиток. Князь наклонился к нему. Потом вскинул глаза на меня, медленно отер пот со лба и пошел в шатер. Наконечник стрелы.

Илья сказал мне:

— Разве можно так рисковать, Добрыня? А если бы вышла не стрела?

— Как она могла выйти по-иному, — сказал я, — когда я бросал в огонь не кусок олова, а железную стрелу.

Наутро князь приказал ударить на запад.

Я представлял, что бой будет отчаянным, но я не представлял, что настолько. Войско Святополка поддавалось медленно, а с тыла и боков на нас уже давили его отряды. С мрачной решимостью мы пробивались из окружения. Мы с Алешей и Ильей дрались на самом острие удара. Я чувствовал и здесь проклятую Силу Волхва. Иногда даже мои удары били мимо цели. Мы с Алешей обменялись понимающими взглядами, отъехали немного назад и направили Силу в прорыв. Враг стал медленно поддаваться.

Но в то же самое мгновение Святополк стал теснить нас с тыла. Войско наше смешалось.

— Ловушка! Ловушка! — закричали кругом.

И тут прискакал гонец с перекошенным от волнения лицом:

— Князь, степняки на юге!

Прежде чем я успел вымолвить слово, князь Ярослав прокричал:

— Ко мне! На Степь!

— Продолжай давить на запад, князь! — крикнул я.

— Безумный чародей! Я не хочу кончить свои дни в плену степняков!

— Продолжай давить на запад! Это наши союзники!

— Ты потерял разум, Добрыня!

— Измена! — закричали кругом.

— Князь Ярослав, — сказал я тихо. — Я клянусь тебе, что это подошла помощь. Вспомни про стрелу, которую я вынул из огня.

Князь несколько мгновений смотрел на меня с ненавистью, а потом махнул рукой и крикнул:

— Все равно смерть! На запад! На Киев!

За несколько минут степняки смяли войско Святополка и со свистом понеслись рядом с нами. Многие наши от изумления застыли на месте, но тут же совладали с собой, и вот уже мы наступали, а Святополк бежал.

В этой битве Святополк был разбит наголову. Следы его вели на запад; как видно, он бежал в Польшу к королю Болеславу, своему тестю. Дорога на Киев была открыта.

К вечеру мы сошлись в шатре князя Ярослава. Он был возбужден победой и все допытывался у предводителя степняков, по чьему велению он прибыл, но тот отвечал немногословно:

— По велению твоему и по словам Добрыни Никитича.

Когда присутствовавшие углубились в споры, посылать ли гонцов в Киев или нет (как будто это было существенно: у любой победы длинные ноги), предводитель подошел ко мне и тихо сказал:

— Мои люди ищут его.

— Я верю, что твои люди знают его пути, но я боюсь, что он ускользнет от нас и сейчас.

— Властитель Крепости передает тебе: если мы не найдем его на этот раз, волчья охота кончается.

Я посмотрел на него:

— А как здоровье Властителя Крепости?

— Он готовится перейти к мудрейшим, скрытым от нас.

— Если мои слова успеют дойти до него, передай: Добрыня будет идти за волком до

конца. Благодарность Добрыни Властителю Крепости безгранична. Добрыня желает, чтобы переход к мудрейшим, скрытым от нас, принес Властителю Крепости отдых. Он молча поклонился. Я слышал голос Ильи:

— Нет, непременно идти на Киев, не посылая гонцов! Тогда князь явится в лучах славы, как небесный воитель.

Я вышел из шатра. Было темно; тучи плотной пеленой застилали небо. Победа; но только я, наверное, знаю, насколько это жалкая победа. А теперь еще Властитель Крепости умирает.

Внезапно я почувствовал что-то.

Сам не понимая почему, я прыгнул в сторону. И тут же стрела пропела возле моего уха. Шея моя заныла, я понял, что еще одна стрела готова сорваться с тетивы, чтобы вонзиться в меня. Я рванулся вбок. Пение стрелы.

Стреляли из перелеска, от которого меня отделяли какие-нибудь десять шагов и который был полон наших стражей, праздновавших победу и уже горько поплатившихся за это...

Теперь жгло лицо. Бросок вниз. Стрела бьет в шлем.

Понимая, что в поле я — открытая мишень, и зная, что он в перелеске, я ринулся рывками ему навстречу, всякий раз уходя от стрелы в последний миг. Стрел было еще три; и вот я стоял за стволом дерева, а стрелы больше не летели. И тут я услышал насмешливый голос:

— Выходи, Добрыня. На этот раз тебе не уйти. Ты не можешь видеть в темноте, а я могу. Я все равно достану тебя. Ты на этот раз сделал три ошибки. Я одну. Я устроил тебе Рогожку, вместо того чтобы устроить тебе могилу. Моя гордыня, что поделаешь.

Никита всегда говорил, что я зазнаюсь. — И он засмеялся.

Он был прав почти во всем. Я не мог видеть в темноте. Но я закрыл глаза и увидел его тень — пепельно-дымчатую, словно сотканную из лунного света. Это был цвет его Силы. Он сидел на коне и смотрел в мою сторону. В руках его был лук со стрелой на изготовку. Стрела Волхва, подумал я, она ранит тебя, и тебе уже нет спасения. И тут я понял, что мне нельзя раскрывать глаз, потому что только так я мог видеть его.

— Эй, Добрыня, — он стал заезжать справа, чтобы достать меня, — давай радостью поделюсь. Глебу-то глотку перерезали.

Я, с закрытыми глазами, отходил влево. Я чувствовал, что Волхв сердится на дерево, которое так случайно, как он думал, спасло меня. Он все держал в руках лук. Так мы кружили какое-то время, и, когда Волхв, осердясь, пришпорил коня, на мгновение отвлекшись, я метнул кинжал и перерезал тетиву и ранил пальцы Волхва.

Оглушительный крик ярости и боли пронесся по лесу, но я мог побиться об заклад, что никто не услышал его, кроме меня.

Волхв помчался прямо на меня, но я снова ускользнул с закрытыми глазами, видя его серый, расплывчатый образ, и он, прижав коня к самому дереву, принялся в ярости рубить направо и налево.

Я был вынужден отскочить, и вот — с закрытыми глазами — я видел Волхва прямо перед собой, он держал меч торчком и шипел:

— Так ты догадался зажмуриться, Никитин выкормыш, так ты можешь меня видеть!

Он налетел на меня, намереваясь смять, но я успел резануть мечом по глазам коня, и тот с диким ржанием отскочил прочь. Волхв с проклятием пустил его на меня снова, и конь, раненный, дрожа всем телом, не осмелился не повиноваться.

— Это тебе за Крепость! — выдохнул Волхв и, сделав обманное движение, едва не отсек мне правую руку.

Мои глаза были все так же закрыты, и странная сосредоточенность пришла ко мне. Мы бились на мечах; Сила Волхва отводила мои удары, моя Сила отводила его.

Но он теснил меня в чащу и постепенно одолевал. Я скользнул под круп его коня и вновь оказался на открытом месте.

Внезапно меч мой со звоном переломился; я успел подхватить его полотно левой рукой и швырнул его в лицо Волхву; тот мотнул головой — и дальше два движения совпали: я, подпрыгнув, изо всех сил ударил Волхва обломком меча в лицо, метя в глаза, а он полоснул меня по плечу.

Мы оба вскрикнули. По-прежнему с закрытыми глазами я видел, как потускнел Волхв, как ослабла его Сила. Моя правая рука немела. Несколько мгновений мы топтались на месте, потом я перекинул обломок меча в левую руку, а Волхв неловко попытался рассечь мне череп — и мы снова отпрянули друг от друга. Волхв все тускнел. Моя рука наливалась болью. И тут я услышал голоса Ильи и Алеши:

— Добрыня! Эй!

Пепельные одежды Волхва мигали черными молниями. Он ринулся навстречу мне, промахнулся, молча поворотил коня и поскакал в чашу. Я долго видел его, хотя, будь то ясный день и стой я с открытыми глазами, он бы уже давно скрылся за деревьями. Он несея прочь, превращаясь в тусклое лунное пятнышко, потом — в точку и исчез вовсе.

Почему-то все так же, не открывая глаз, я поворотился на голоса и увидел голубой лик Алеши. Я поднял веки и не различил почти ничего. Внезапно на меня как-то разом пахнуло погребной сыростью и смертью. Я опустился на землю.

Алеша с Ильей бежали ко мне, и я чувствовал, как запах смерти и нечисти сменяется горьким запахом мокрого осеннего леса.

— Добрыня! Ты цел? — крикнул Алеша.

Горло мое пересохло, голова кружилась, Силы не было вовсе, но я уже понимал, что я не ранен, а рука онемела не от раны, а от удара.

— Кто был здесь с тобой? — кричал Алеша, кружа по поляне. — Кто это был? Он? Он?!

— Здесь пахнет смертью, да? — наконец выговорил я.

— Вы — бились?!

— Можно и так сказать.

— Это великий подвиг, — прошептал Илья.

— Ну что, князь Ярослав решил, наконец, как ему въезжать в Киев? — спросил я, слабо усмехаясь.

— Здесь пахнет смертью, — все повторял Алеша вполголоса, волком рыща по кустам.

— Пойдемте под звезды, — сказал я.

— Какие звезды, Добрыня? — осторожно сказал Илья. — Тучи, тучи.

— До рассвета еще далеко, но звезды уже взошли. А это уже кое-что, ведь так? — с трудом выговорил я.

— Ты не ранен, Добрыня? — наклонился ко мне Алеша.

— Я-то нет, а вот меч мой сломался.

— Ну, это полбеда, — вздохнул Илья.

— Не скажи, Илья, не скажи, — поднимаясь, проговорил я.

Илья

Глава 1 ДОБРЫНЯ

Когда князь Ярослав Владимирович вступал в Киев, его конь споткнулся на левую ногу. Был гололед, а конь по льду не ходок. Однако большинство свидетелей этого случая полагали, что это знамение неудачного княжения. Знамение или нет, но только правление Ярослава было так же устойчиво, как конь на льду. Но Ярослав не хотел об этом думать.

Вон он хохочет, не замечая хмурых лиц и угрюмого перешептывания вокруг, приподнимается в седле, торопясь увидеть знакомые крыши, с наслаждением вдыхает влажный холодный воздух; глаза его блестят, и, как кажется ему, всем вокруг должно быть

ясно, что он победитель.

Но всем вокруг ясно другое: молодой князь просто беспечен. Смута на Русской земле; вот уж воистину — пошел брат на брата: Ярослав воюет с братом своим Святополком. Сходятся и бьются насмерть русские рати, зовут в союзники Степь — против русских же; кругом стон и плач; воинам не в радость эти победы, а уж о богатырях и говорить нечего. Знаем мы, знаем, что не простая это смута, а чей-то прыжок к власти. Знаем чей.

Я невольно оглядываюсь по сторонам, словно ожидая увидеть его в киевской толпе. Он может появиться где угодно, он бесстрашен в своем неукротимом зле, и если черная надобность позвала бы его в Киев, куда, мня себя победителем, вступает сейчас князь Ярослав Владимирович, то он бы объявился здесь, шуплый, скованный в движениях (но это кажущаяся скованность), со своей вечной усмешечкой, и бросил бы нам вызов. Но я не вижу его. Впрочем, это ничего не значит. Он может смеяться надо мной из-за чьей-то спины.

Вот уже пятнадцать лет мы идем по его следу. Я одержим этой охотой. Илья и Алеша рядом. Мы знаем: раньше по следу шли наши учителя. Мы знаем: если мы его не одолеем, то сегодняшняя смута покажется временем спокойствия и мира.

Мы почти не произносим его имени. Говорят, произнеси его трижды — и он услышит, где бы он ни был, услышит, встрепет и пойдет за тобой. Его имя известно только знающим. Там, где обычный человек увидит бессмысленную кровь и жестокость, странные знамения, непонятные знаки, знающий содрогнется и прошепчет про себя это имя.

Вот оно.

Волхв.

Объявился новый кудесник? Не зевай, это, скорее всего, его рука. Необъяснимая вражда между князьями? Ты знаешь, как ее объяснить. Степь пошла на Русь? Посмотри: степной ли это ковыль сам собой волнуется или это он гонит волны? Нашим учителям не удалось его остановить. Он идет к своей цели неуклонно и умно, и если по пути он потерял человека, то завтра найдет двоих. Он хочет править Русской землей.

Он русский. Он родился от смертных родителей (хотя некоторые полагают, будто его отцом был сам Сатана). С детства он тянулся ко злу так, как другие тянутся к добру. От рождения он наделен великой Силой, а Сила выше меча и злата. Сила может делать многое. Читать в сердцах, лечить, губить, знать будущее. Может даже останавливать рати. Четыре месяца назад я впервые в своей жизни остановил отряд, несшийся на нас с Ильей. Но то, что умею делать я или Алеша (у Ильи Силы нет), меркнет по сравнению с тем, что умеет делать Волхв. У него были хорошие учителя — к сожалению, неизвестные мне и моему мечу. Говорят, он научился многому на Востоке. Некоторые привозят оттуда благую Силу. Волхв привез зло.

Пожалуй, только богатыри понимают, как он опасен. Мы научились распознавать его руку. Но это не очень нам помогает. И вот теперь — смута. У нас были победы. Волхв хотел именем Святополка править на Русской земле. Мы разбили войско Святополка и сейчас вступаем в Киев. Но защищающийся Волхв еще опасней.

Сколько раз я встречался с ним? Четырежды. В первый раз я был молод и слаб, и его Сила едва не свела меня с ума. Во второй раз он пытал меня. В третий он плюнул мне в лицо и не стал убивать, полагая, что я не переживу позора. Но я пережил позор, и в четвертый раз, две недели назад, Волхв решил покончить со мной. Он застиг меня в лесу, ночью, когда он видел меня, а я его — нет. Но я догадался закрыть глаза и увидел Волхва в сиянии Силы, и бился с ним, и ранил его. Но дело не было кончено, потому что, заслышав Алешу с Ильей, Волхв унесся прочь. Я до сих пор помню, как светящийся всадник растворялся в осенней мгле. А потом я открыл глаза и уже видел только лес, а Волхв словно приснился мне.

Я не знаю, где он теперь. Но пока враг не добит, нам не будет покоя. Вся смута, весь этот кровавый год — за этим стоит он, Волхв.

Я знаю: давно уже он подчинил себе Святополка. Я говорил об этом еще князю Владимиру, отцу братьев. Но Владимир не слушал. Велик был князь Владимир, крестивший Русь, но под конец разум его затмился.

И убит был князь Владимир по приказанию Святополка. Отравлен. Помню его тело. Следы яда...

Я снова смотрю по сторонам. Я ищу Волхва.

И к Ярославу подбирался Волхв. Еще жив был Владимир, а смута уже началась. Ярослав восстал против отца: тесно им было, потому что одинаковы в своеволии и страстях. И пришел тогда к Ярославу странник, и ворожил ему, и нагадал быструю победу над отцом. Сам Волхв ворожил князю Ярославу Владимировичу. Но за странником этим в Новгород пришел я, Добрыня, и Силой остановил князя Ярослава...

Страшен был год. Не уберегли мы светлых княжичей — Бориса и Глеба, солнечных детей Владимира, как я их называл. Погубил их Волхв.

А теперь я смотрю перед собой. Я не хочу видеть то, мимо чего мы проезжаем. Потому что мы проезжаем близ дома, в котором жила моя семья.

Да, у меня была семья, а богатырю лучше ее не иметь. С Маринкой я прожил всего четыре месяца, а потом Илья позвал за Идолищем Поганым, и мы пошли, и там меня пытал Волхв. А Илья с Алешей, не сумев отбить мое тело, решили, обманутые Волхвом — Силой его, что мертв Добрыня, и понесли весть в Киев. Илья — тот даже в дом мой не вошел, побоялся. А Алеша и вошел, стоял на коленях и рассказывал. И Маринка наложила на себя руки.

Я не смотрю по сторонам. Я ненавижу улицу, на которой я был так непозволительно для богатыря счастлив.

Не за свои шрамы я буду мстить Волхву. Мне есть о чем ему напомнить.

Мы проехали мою улицу. Теперь я могу снова смотреть на толпу. «Добрыня Никитич! Добрыня Новгородский!» — слышу я шепот, и шепот этот давно не радует меня. Но я доволен тем, что своим прозвищем продлил память о своем Учителе — Никите.

Я знаю, что лицо мое угрюмо, как и думы. Но я ничего не могу с собой поделать. Меня раздражает хохот Ярослава. Он не понимает, что наша победа — это только шаг вперед. Волхв ударит снова. Там, где мы не ждем.

Я снова смотрю по сторонам.

Я ищу Волхва...

И тут, когда я меньше всего этого хотел, князь крикнул мне, поворачив румяное возбужденное лицо:

— Дошли до Киева, Добрыня!

Я смотрел на него в упор. Я чувствовал, что наше ближайшее будущее было как этот туманный, насквозь серый день, промозглый, стылый, бесприютный. Но я сдержался.

— Дошли, князь, — согласился я. — Хотя лучше бы нам дойти до могилы Святополка.

Ярослав нахмурился и стал, должно быть, обдумывать мелкую ребяческую месть.

Что дела было мне до его мести мне, который четырежды смотрел в глаза Волхву, которого пытал сам Волхв в подземельях Идолища Поганого, мне, жена которого погибла! Что дела было мне до его мести мне, который в тридцать четыре года был вдвое старше своих ровесников! Если меня что-то и могло испугать — так это когда б мои товарищи отвернулись от меня. Но этого никогда не произойдет.

Вот они едут — Илья, посмеиваясь, покусывая позднее коричневое яблоко, поглядывая по сторонам, полнясь спесью — а даже спесь я люблю в нем. Илья, который рассказывает о себе всякие небылицы и не прочь намекнуть, что Алеша и Добрыня — при нем, но это Илья, который всегда встанет рядом с тобой, когда попросишь и даже когда не попросишь.

Алеша, крутит ус и смущает черным смородиновым глазом молодежь в толпе: ох, киевские мужья, затворяйте ворота, запирайте жен, ох, отцы, стерегите девок. Но не устережешься и не запрешься от Алеши: хитрым змеем проникнет в дом и на твоей же собственной постели ляжет. Беспечен Алеша, но сколько раз, когда я бывал в жестокой беде, из леса вдруг со смехом выезжал он — своей Силой, о которой он никому не рассказывает, чувствовал Алеша, что Добрыне нужна подмога, бросал все, и летел по полям и болотам, и не берег себя для любовных дел. А Сила Алеши велика и кое в чем превосходит мою...

Снова я в Киеве, и я въезжаю в город вместе с молодым князем, который не очень-то хочет слушать моих советов, и я предчувствую скорую бурю.

Ко мне подъехал Будый, старый боярин, который пестовал Ярослава:

— Мрачно смотришь, Добрыня.

— Да и ты не весел, боярин.

— Князь вот наш зато соколом смотрит.

— Глаза близоруки у сокола твоего... Святополк рядом нет — и слава Богу. А что Святополк в Польшу к тестю королю Болеславу ушел, что престол — тронь пальцем и пошатнется, до того соколу твоему дела нет...

— Молод еще...

Пошел мокрый снег, докучливый, крупный.

— Снег вот тоже молод — растает.

Боярин нагнулся ко мне:

— Так что делать-то, Добрыня?

Я прищурился:

— Есть старый способ. Сокола надо напугать.

Ярослав устроил пир на пепелище. Стены княжеского дворца еще дышали злом; яд словно был разлит в воздухе. Уже знали про дела Волхва в Киеве, но Ярослав не внимал ничему. Он пировал, раздавал награды, сулил золотые горы, мирное правление, успокоение смуты и прочные рубежи. О Святополке и не поминал, как будто братец его был уже там, где следовало, — на погосте. О Волхве и подавно речи не было. Князь Ярослав не хотел помнить про него — и не помнил.

Некоторое время мы терпели молча. Ходили на пиры, хотя веселиться было нечему. Князь Ярослав сажал нас на почетные места — через силу, но по-другому не мог: все помнили, как близки мы были к нему перед походом и во время него; да и вообще — опасное это дело — отталкивать от себя богатырей... Между тем вскрывалось все больше Волхвовых дел, на которые князь по-прежнему закрывал глаза.

— Погубит все Ярослав, — сказал наконец Илья, нахмурившись. — Не на того мы поставили, Добрыня.

— На того — не на того, а другого нет, — хмыкнул Алеша.

— Ярослава надо напугать, — снова сказал я, как несколько дней назад Будому.

— Послушайте, — сказал Алеша, — а ведь очень просто... — И в его глазах зажегся лукавый огонек, а когда Алеша вот так глядит, то может произойти нечто очень интересное, потому что Алеша не только выдумщик, но и обладает большой Силой, которую, как я уже говорил, обычно никому не показывает, разве только случишься неожиданно рядом или если Алеша вот так раззадорится.

На седьмой день после въезда в Киев князь не сумел войти в свою спальню.

Стоило ему переступить через порог, как волна ужаса накатывала на него и князь, зажав голову руками, со стоном отшатывался. Всякий раз он осматривался, не видал ли кто, но никого рядом не замечал и с отчаянностью щенка пытался преодолеть преграду снова. На четвертый раз князь сумел войти. Ужаса как не бывало.

Князь немного успокоился и лег. Он долго ворочался, а когда наконец заснул, ему привиделся сон, начавшийся странно: его отец, князь Владимир, играет с ним, но при этом приговаривает какие-то чудные слова: играй, да не заигрывайся. Потом приснилось то, чего Ярослав хотел бы не помнить, но что на самом деле было: он замышляет поход на Киев, восставая против собственного отца, и вот в его новгородском дворце появляется странник — волосы черные с проседью, черные глаза как уголья, маленького роста, скованный в движениях. И странник этот ворожит ему и предсказывает победу над отцом. Но Ярослав уже мечется во сне, потому что странник этот — Волхв; когда он говорил с ним въяве, то, разумеется, не знал этого, да потом Добрыня Новгородский подсказал. И Ярослав видит то, чего прежде никогда не видел, но о чем слышал: тело его отца, отравленного Святополком по наущению Волхва, а потом видит то, чего никто не видел и чего, как я думаю, не было:

Святополк стоит на коленях перед Волхвом в Ярославовой спальне и хочет поцеловать ему руку, а Волхв руку выдергивает, смеется и говорит: вот Ярослава кончишь — тогда поцелуешь. И вот они надвигаются на него — Волхв со Святополком — и тянут к нему пальцы, а он мычит и не может убежать даже во сне, и они настигают его, и ужас снова опалает Ярослава; он не понимает, что с ним делают, но это адская мука, и он никак не может проснуться...

Но наконец князь проснулся, вскочил и заходил по комнате, заглядывая, уstraшенный, в темные углы, держа в руках меч и ища повсюду злодеев. И когда он немного успокоился — услышал стук в окно и задрожал снова, но задрожал и того пуще, когда увидел снаружи крылатую тень. А потом окно распахнулось, и в спальню вместе с зимним ветром влетел большой черный ворон, описал круг над головой Ярослава, сел на его онемевшее плечо, заглянул в глаза и прокрипел:

— Похороним-похороним-похороним...

Каркнул и улетел, растаял в снежной мгле.

Мокрый от смертного пота, раздетый, как был, князь выскочил в коридор с хриплым криком:

— Огня! Огня!

Прибежала стража (даже стражу у своих дверей не поставил в ту ночь беспечный князь Ярослав Владимирович), началась суматоха. Князь стискивал зубы, метался, вырывал у слуг из рук свечи, светил по закоулкам переходов, посылал людей в спальню (сам заходить боялся): «Ищите!»

— Чего искать?

Бей слуг, князь Ярослав Владимирович, заглядывая в спальню, а окно открыто, а оттуда — жалящий русский мороз...

Приковылял старый Будый, близкий человек; советов его не слушали, но — верили.

— Где богатыри?! Добрыня, Алеша, Илья?!

— Выехали вчера из Киева, — недоуменно округлил глаза Будый.

— Когда вернутся?! — прорыдал князь.

— Обещали к полудню...

Князь забылся сном только под утро — совсем в другой спальне, и Будый сидел у его ложа с мечом наготове, и стража стояла под дверью, но все равно снился Ярославу почти такой же сон, только ворон больше не прилетал; боялся, видно, старого Будого. И сказали князю утром, что снова стучался в давешнюю спальню ворон, все норовил разбить окно; слуги увидели это и убежали, даже не услышали, говорил что или нет...

Вот такая история случилась на седьмую ночь после въезда князя в Киев.

Мы вернулись в Киев, как и обещали, к полудню. Уже у городских ворот махали нам руками:

— К князю, к князю!

Ярослав имел вид совершенно больной; затравленно озирался, только что под кровать при нас не заглядывал.

— Я видел сон... — произнес он и запнулся, исподлобья глядя на нас. Но мы стояли молча, и князь, спотыкаясь на каждом слове, рассказал нам и сон, и историю с вороном.

— Дурной знак, — переменялся в лице Илья. — Хуже не бывает.

— Ворон старый был? — спросил Алеша деловито.

— Старый, черный, огромный, — закивал князь.

— Плохо, — сказал Алеша.

— И враг на тебя со Святополком вместе шел? — переспросил я. — И тело отца видел?

— Да, да, да... Что это, что?

— Смерть от их руки рядом ходит, — не вытерпел Илья и тут же осекся.

Князь посерел и опустил лицо.

— Ты знал, на какой престол садишься, князь Ярослав Владимирович, — сказал я. — Не только кровь твоего отца на нем и братьев, но и темная Сила. Побереги себя, державу

побереги, князь.

— Говорите, — махнул князь рукой, не поднимая головы.

— Чем за очередной пир садиться, — буркнул Илья, — лучше давай проедем-ка по Киеву.

Мы показали ему следы правления Волхва в Киеве, потому что какой был Святополк на самом-то деле правитель! Верная Владимиру дружина оставлена — не все сразу, думал Волхв, — а вот верная и умная — положена, вот погост, посмотри, князь... Вот тут лежит твой отец — отравленный, как ты во сне видел и как мы тебе говорили... Вот спалена церковь — будто сама собою сгорела, а на деле-то не сама. Вот посмотри — тридцать дворов выгорело, и погибли там умные люди, заменить которых некем. Вот смотри — разденутся перед тобой люди и увидишь, как пытали в те дни в княжеских подземельях руки Волхва, тайн искали. Вот ты все раздаешь награды из казны своей, а загляни в казну: Святополк в Польшу пустой отправился, а в казне добра воробью по колено. Куда ушли злато с серебром, камня, где драгоценная посуда, над которой так дрожал князь Владимир? Все пошло на оплату слугам Волхва; скупехонек Волхв, вот и решил княжеским добром расплатиться. И говорили мы тебе еще в Новгороде, что решил Волхв известить Русскую землю, хоть и русский он человек, и Святополк его слуга, хоть и не знает того. И не будет покоя тебе, покуда не побежден окончательно Святополк и — самое главное, слушай, смотри по сторонам, князь Ярослав Владимирович, берегись — покуда жив Волхв. Сила Волхва оплела твоего отца в последние годы; поэтому и приблизил он Святополка, потому и навлек эту беду на нас. Под конец стал вырываться князь Владимир из плена — и отравили его, и началась смута. А могилки в Киеве и пепелища — свежие совсем, еще дух Волхва от них идет... Смотри, смотри, князь Ярослав Владимирович, пропируешь ты Русскую землю...

Когда мы вернулись во дворец, князь молча ушел к себе.

Будый посмотрел на меня серьезно:

— Присмирел сокол-то наш... Очень у меня сердце болело два дня...

— Спасибо, Будый, — сказал я.

То, что князь видел и слышал в тот день в Киеве, было полной правдой: и убивал Волхв, и мучил, и жег заживо, и грабил. А вот то, что случилось ночью... Сны и ужас навел на Ярослава я. Дело это кропотливое и трудное, но если есть время, вполне посильное. Вот ворон — дело рук Алеши. Чему я завидовал всегда — так это тому, что Алеша умел говорить со зверями, и иногда они ему даже повиновались. Такая Сила дана немногим; я пробовал овладеть ею еще при Учителе, но ровно ничего у меня не получилось. А вот Алеша в озорстве сделал то, чего обычно избегал: показал Силу. И напугали мы князя нашего, как того и хотели.

А Будый только и сделал, что сказал, в какой комнате князь будет сегодня спать.

Пришла зима, засыпала Киев. Снег, снег кругом — домишки стоят по пояс, сугробы на крышах, окошки мохнато заиндевели, и злобно таращится в них месяц, расплывается в инее, словно чей-то сияющий глаз... Долгие ночи, и нет от них спасу. Многие бегут, закутавшись, к ворожее. Зимой спит лесная и водяная нечисть, не манит в чащу леший, не смеются русалки; только домовый поскрипывает половицами, шуршит за печкой; ну да что домовый — дух безобидный и домашний; но только хорошо зимнее время для гаданий. Видимо, очищается что-то вокруг, и будущее становится яснее. В теплое время года мешают гадать голоса и шевеление всех существ — больших и малых, наделенных Силой. Окружающее заполнено ими; их Силы пересекаются, сталкиваются; то пространство, в котором можно действовать Силой, шумит. Зимой же тихо... Правда, моя Сила, например, зимой ослабевает, полуспит. Не знаю почему, но такова Сила.

Князь Ярослав притих на время, пиры давал и на охоту ездил, но долго беседовал с нами и ближними боярами; строил замыслы успокоения Русской земли, и часто речи его звучали разумно. Я приходил к мысли, что наше решение в свое время поддержать Ярослава было неплохим; казалось вполне вероятным, что он вырастет в толкового правителя.

Однако время шло. Богатырь не годится в наставники князю; когда богатырь

наставляет, князь хмурится, а то и грозит; не приспособлен богатырь для наставничества князей. Удел его — подвиги. И вот студеным зимним вечером сошлись мы втроем и стали говорить о том, что нам делать.

— Волхв слабеет, — говорил Алеша, возбужденно блестя глазами. — Когда осенью он напал на Добрыню, Добрыня его победил.

— Не победил, — сказал я. — Если бы вы не подоспели, неизвестно, чем бы дело кончилось. — А сам вспомнил этот холодный осенний вечер, когда стрелы Волхва летели в меня, а я уворачивался, и как я закрыл глаза, чтобы ясно видеть Волхва, одетого в светящиеся одежды Силы...

— Но ты его ранил, — настаивал Алеша, — а никому еще не удавалось ранить его. Пока он бежит, надо идти за ним по следу.

— А может, и не бежит он вовсе, — раззадоривал его Илья, — может, он уже по киевским улицам ходит.

— Бежит враг, — говорил Алеша, — бежит, не потому только, что разбит Святополк и Ярослав в Киев вошел — это ему полбеда. Много слуг врага положили мы; оглянулся он — а черную стаю уже просто так и не сколотишь. Людишек искать и учить надо. Да и потом Силой много враг пользовался. Много яду своего за последний год пролил. Вот и Добрыня его едва не победил. Врагу нужно укрыться так, чтобы никто его не нашел, чтоб Силу свою возродить, опять Сильным из Сильных стать. Как змея враг. Слетела одна шкура, новая нарастет. Да только для этого переждать, укрыться надо.

— Что ж, — спрашивал Илья, — выходит, пощипали мы его маленько?

— Пощипали, — горячо говорил Алеша, — да только если сейчас в покое оставим, такого же, как прежде, врага получим.

— Раны он зализывает, Илья, — вступил я, — на Силе тоже раны бывают. Застать его слабым — вот дело...

— Где же искать его? — вопрошал Илья. — До сих пор не мы его находили, а он нас.

— Так вот сейчас-то и самое время! — горячился Алеша. — Покончить с врагом! — говорил он мне. — Подвиг-то какой! — поворачивался он к Илье.

— Ладно, подвиг, — ворчал Илья. — Искать-то его где? Что — по всем землям колесить? Спросишь ты у кого? Собак бешеных натравишь на след?

— Я, кажется, знаю ответ, — сказал я медленно. — Смородинка.

Илья не сдержался — ахнул. Алеша нахмурился. Я назвал то, чего называть было нельзя, даже при богатырях.

— Смородинка, — прошептал Алеша и покачал головой. Илья шумно вздохнул.

— А что делать-то, богатыри? — сказал я.

— Смородинка, — протянул Алеша недоверчиво и снова покачал головой.

Илья заворочался на лавке:

— Звал я вас в свое время на Идолище Поганое, думал, никто меня в смелости не переплюнет, а вот Добрыня — смотри ты... Ой, Добрыня, Добрыня, не сносить тебе когда-нибудь головы.

Я перевел дух. Честно говоря, я ждал худшего.

О Смородинке мне рассказывал Учитель, как должен был рассказать каждый богатырь своему ученику. Рассказывал — и наказал никогда близко не подходить к тому месту, и я всегда послушно объезжал его, не собираясь и мысленно оспорить правоту Учителя. Даже на том расстоянии, на котором я был от Смородинки, чувствовалось, что места эти — особые, и на день пути не было там ни одной деревеньки, а люди, которые жили по границе этих мест, были особенные люди, и с ними лучше было не связываться. Смородинка имя речки в глубине Русской земли, в лесах и болотах. Никто доподлинно не знает, что там происходит, но только говорили испокон веку все знающие люди, что именно там наш мир переходит в мир иной.

Говорят: отлетают души и несутся на Смородинку, и где-то там проникают в мир посмертный. Говорят: Боже упаси тебя попасться на дороге этим душам — тут же подхватят

и понесут тебя туда, откуда нет возврата. Говорят: на Смородинке можно узнать все, только вот вернуться оттуда нельзя. Говорят: открывает тайны Смородинка и тут же ловит тебя, не отпускает, и ты либо скитаешься всю жизнь по болотам, как призрак, либо проваливаешься живьем туда, куда текут души. Говорят: в тех местах Сила твоя может обернуться против тебя, и лучше забрести на Смородинку пахарю, чем Волхву: завертит Волхва Смородинка, и не вырваться ему. Говорят: Смородинка не добра и не зла, а просто — рубеж знания, переступить который человеку запрещено. Говорят: Волхв никогда не был на Смородинке, хотя дорого бы отдал, чтобы спросить там о многом. Говорят: посылал Волхв своих людей туда — и ни один не вернулся. Говорят: ни один человек еще не возвращался со Смородинки, и место это заповедано живым. Говорят: обитают там странные существа, которых только поначалу примешь за людей, а на самом деле — бесплотные знающие духи, охраняющие вход в мир иной. Говорят: загляни в Смородинку — и увидишь все, все начала и концы, и Сила твоя покажет тебе то, чего никогда не показывала, а если Силой не обладаешь — сама Смородинка покажет. Да только никто, говорят, не возвращался со Смородинки...

Во всех страшных заговорах используют имя Смородинки, пугают ею, уверяют, что черпают оттуда Силу. Но от Смородинки не питается никто и ничто. Возникает она в болотах и пропадает в болотах, и никто не может толком рассказать о ней. Но что Смородинка есть — это точно и что Сила исходит от нее неземная, тоже правда, я сам это чувствовал, проезжая теми местами.

Было от чего раскрыть рот Илье и усмехаться Алеше. Не говорят о Смородинке на Русской земле. Лучше уж помянуть Волхва: не за каждым будет гоняться Волхв, а к Смородинке — верят — мы все придем...

— Круто забираешь, Добрыня, — вымолвил наконец Илья. — На... Смородинку? Алеша молчал.

И тут я понял, что совершил ошибку, и мне стало стыдно. Как только один из нас предлагал идти на подвиг, двое других уже не могли отказаться, как бы губительно дело ни казалось; более того, чем страшнее предстоящее, тем непредставимее для богатыря отказаться от подвига, который предлагает товарищ. Мне нужно было молча выехать из Киева и отправиться на эту проклятую речку, но я, привыкши за последние месяцы, когда мы сообща отбивались от Волхва и боролись за Ярослава, обо всем говорить с товарищами, посоветовался с ними и на этот раз, а на самом деле — втянул их в этот отчаянный подвиг, подвиг, на который, насколько я знал, не отваживались богатыри, жившие до нас.

— Ну и что ж ты знаешь о Смородинке, чего не знаю я? — вдруг спросил Алеша, и я проклял себя: все, богатыри уже мысленно ехали туда, где соприкасаются два мира...

Но делать было нечего, мой язык уже сделал свое, теперь я только и мог что попытаться приготовиться к подвигу, чтобы хотя бы мои товарищи вернулись с него живыми...

— Ну, и кто расскажет тебе про эту самую Смородинку? — вступил Илья. — Разве что с черепами беседовать, если вы с Алешей это умеете. Да только черепа эти на той же Смородинке лежат.

— Если кто и знал что-то доподлинно о Смородинке, так это Святогор, — сказал Алеша задумчиво и посмотрел на Илью. Они оба были учениками Святогора: Илья первым, а Алеша вторым и последним. Но давно уже лежал в могиле Святогор, великий и таинственный богатырь прошлого, совершавший такие подвиги, о которых не поют и не помнят. Вот и я не знал, что Святогор, оказывается, был на Смородинке.

— Учитель! — сказал я горячо. — Учитель может знать!

— Никита? — задумался Илья. — Может, может... Никита всегда совал нос туда, где горячо, и тебя научил... — И он странно посмотрел на меня. — Что ж, Добрыня Никитич, поехали к твоему Учителю...

Поздним вечером мы пришли к князю.

— Вот что, князь Ярослав Владимирович, — сказал Илья. — Помнишь ворона, сон

твой? — Он вздохнул: забавы кончились, начинались большие дела. — Так вот. Решили мы посмотреть, где это тот, что ворона к тебе посылал. — Лицо Алеши было совершенно бесстрастно. — Может, птицы расскажут, может, еще кто... — Илья снова вздохнул. — Уезжаем мы, князь Ярослав.

— Я пошлю с вами дружину! — вспыхнул князь.

Илья усмехнулся:

— Ему твоя дружина — что деревянный меч, а нам — обуза. Это богатырское дело. — И он горделиво выпрямился.

— Об одном просим, князь, — вступил Алеша. — Помни: волк с волчонком бежали, да вернутся. Непрочен престол будет твой, покуда мы волка не изловим, а ты — волчонка.

— О подвиге нашем никому не говори, — нахмурил брови Илья. — Иначе все в землю поляжем, Киев без защиты останется.

— Я дам все, что хотите, — быстро заговорил князь, сверкая глазами. — Серебро, золото — что хотите.

— Давай, — согласился Илья равнодушно. — Дорога длинная, а золото добывать нам некогда.

— Только молчи, князь Ярослав Владимирович, — сказал я. — Враг будет спрашивать — молчи. Друг будет спрашивать — крепче молчи. Но сам не забывай. Забудешь — пропасть можешь.

Князь посмотрел недобро. Не любил меня с некоторых пор князь Ярослав Владимирович, не терпел моей опеки...

Поэтому прощался с нами князь едва ли не радостно. Хотел он изобразить печаль на своем лице — мол, понимает, как труден и опасен наш подвиг, однако неудержимым весельем светились глаза его: никто теперь не будет докучать советами; может быть, исчезнут богатыри, и тревога пропадет, и можно будет привольно и беззаботно пировать в славном Киеве дальше.

Но чтобы князь меньше радовался и больше помнил о враге, наслал я на него, выезжая из города, сон: входит в его спальню Волхв с мечом, смеется и говорит: «Один, один!» — и идет к его ложу, и меч заносит.

Кричи, кричи в ночи, князь Ярослав Владимирович: от беспечальности много печали бывает.

В соседнем с Никитиным скиту жила моя мать.

Если меня спросит Господь: «Что, Добрыня, богатырствовал? А жалеешь о чем?» — не скажу о десятках, а теперь уже, наверно, и сотнях сраженных моих мечом; скажу о двух жизнях: погибшей Маринки и затворившейся от мира матери. Будущему богатырю лучше расти сиротой: меньше слез будет о нем пролито. Нельзя богатырю привязывать к себе людей: муки будут одни, а не любовь. Товарищи — ну да товарищи по той же дорожке ходят, той же лютой смерти в глаза глядят. А так — когда любит тебя кто, так, иногда кажется, лучше и не любил бы: в вечном страхе за тебя, а ты все летишь куда-то, словно ветер подымает твоего коня, и нет времени обернуться, а тебе вслед смотрят, смотрят... И вот за этот взгляд-то тебе в спину, когда ты не обернулся, с тебя и спросит Господь как за самый страшный грех.

Мать пыталась беспомощно расспрашивать меня. Но что я мог ей сказать? До князя Ярослава ей не было дела. А говорить, что я иду по следам Волхва, да еще на Смородинку еду... Хотя мать все чувствовала и понимала, что небо надо мной по-прежнему темно и, может быть, даже новая гроза надвигается... А гроза действительно шла на нас, да еще такая, которой и имени нет в человеческом языке: со Смородинкой встреча. Я чувствовал, что от матери исходит слабая Сила, защищающая меня, и оттого, что я понимал, как невелика и как горяча была эта Сила, я заплакал бы, если б мог.

Учитель знал, что мы едем в его скит. Как ни уходил он в молитву и пост, как ни пытался перестать быть богатырем, но не получалось. Думы, а того пуще — Сила, не отпускали, и вот он стоял в дверях — постаревший, но еще статный: ведь он был

значительно моложе Ильи, а богатыри, даже ушедшие в скит, крепки плотью. Он спрашивал про Ярослава, усмехался, когда слышал про наведенные сны, с любопытством глядел на Алешу, умевшего говорить со зверями, но все время спрашивал меня глазами: «Что?» Товарищи мои молчали. Когда встречаешься с богатырем, которого плохо знаешь, пусть лучше говорит знающий, даже если богатырь этот ушел в скит.

Я слишком долго выбирал, с чего начать разговор, и поэтому бухнул:

— Так что Ярослав хоть какое-то время будет настороже. А мы, Учитель, едем на Смородинку.

Учитель откинулся на лавке; в лице его не было ни кровинки. Он закрыл глаза: молился, наверное. Илья смотрел на него с любопытством: он с подозрением относился к новому Богу и никак не мог взять в толк, чего же ему поклоняются и отчего даже такой богатырь, как Никита, вдруг оставляет все разом и уходит к Нему.

Наконец Учитель открыл глаза.

— Спрашивали Силу — не отвечает, — проговорил он. — Спрашивали людей — да и спросить некого. Решили спросить Смородинку.

Он тяжело посмотрел на меня:

— Ты?

Я кивнул. Помолчали.

— Если я скажу — не езжайте, вы все равно поедете. Подвиг уже начался. — И Учитель горько усмехнулся.

— Это будет такой подвиг — о нем веками будут петь, — сказал Илья неуверенно.

— Не будут, — качнул головой Учитель. — И не надейся, Илья. Вообще когда петь будут — врать будут, а о самом главном не вспомнят. А уж о Смородинке вообще забудут... Значит, приехали спросить меня про Смородинку... Святогора бы, — сказал Учитель тоскливо — Святогор знал. Вот кто знал, так это Святогор. Особый богатырь был. Вот Добрыню звали тайным богатырем князя Владимира. А Святогор — тот вообще загадочный был. Вы вот у него учились, да и вам он секреты свои не все раскрыл. Святогор знал. Но боялся рассказывать: вдруг во вред окажется. Хорошо. Расскажу все, что знаю сам, хотя и заповедано даже богатырям про это говорить... — Учитель споткнулся: богатырям! Он же так старался вытравить в себе богатыря, и вот — сорвалось... Он покачал головой. — Ладно, слушайте.

Сам я на Смородинке никогда не был. Заповедано было ездить — и не ездил, хотя нужда такая и была — по моим прошлым делам с Волхвом... Объезжал всегда Смородинку. — Он посомневался, потом нехотя сказал: — А впрочем, ездил я один раз туда. — Илья крикнул, Алеша вцепился в стол. — Была крайняя нужда. И решил я покончить с Волхвом одним махом. Молод еще был и, как водится, глуп. Кстати, Волхв тоже молод был, да вот на Смородинку никогда не ездил: ему это пуще нашего заповедано, потому что Сила его больше... Как я ездил и что я видел — рассказать не могу. Запрет был. Хоть и хорошо бы вам это знать — но не могу. Скажу главное: до Смородинки я не добрался и повернул назад, пока еще можно было. И ничего я там не добился.

Человеку с Силой на Смородинке едва выжить. А без Силы и вообще делать нечего. Вот и выбирайте... Сила на Смородинке действует особо, и управлять ею я, например, не мог. Смородинка сама тебя направляет, захочет — погубит, захочет — поможет. Двери там в другой мир и впрямь открыты, но из дверей льется такая Сила, какая с нашей не сравнится. И не в том только дело, что она больше: она еще и другая к тому же. Поэтому на Смородинке надо уметь то, чего больше нигде уметь не надо, и об этом я потом скажу. Сейчас же скажу одно: если почувствуете страх — это еще четверть беды, езжайте дальше. Если будет смертный ужас — это еще полбеды, дальше езжайте. Но если почувствуете счастье — бегите, куда живы, потому что занесли вы ногу над порогом, еще шаг — и на другом берегу будете, откуда нет возврата. Смородинка либо прямоком в другой мир отправит, либо пленником сделает; бродят там по болотам такие люди — не люди, призраки — не призраки и, говорят, бродить будут, пока мир этот стоит... Их не бойтесь. Они страшны, но вреда вам

не причинят.

Надо вам дойти до самого берега речки, потому что раньше всякие видения будут, не истинные они, а только обман один. Я вот видел, как Волхву череп раскраиваю... И другое еще много... Где Смородинка, вы и сами знаете. До весны туда не ездите: толку не будет. Лучше б подождать до лета, потому что весной бешеная Смородинка делается, ну да вас не уговоришь... На подступах к Смородинке живут странные люди; все ведуны и Силу свою имеют: к ним народ-то и стучит вечером в окошко, судьбу пытается. Им не верьте ни в чем. Просить будут из огня вытащить — не верьте: не сгорят.

Как спрашивать Смородинку — не знаю, до нее я не дошел. Но знаю: не спрашивайте много, а еще лучше — пускай сама рассказывает, что хочет. Не сердите Смородинку. Не желайте, чтоб открыла вам все начала и концы. Тому, кому все откроет, нет обратно дороги. Но помните: Смородинка знает все.

И еще одно скажу вам, богатыри. Я знал только одного человека, который дошел до Смородинки, говорил с нею и вернулся. И человек этот был Святогор.

И вот что: я говорил, надо вам кое-что знать еще про тамошнюю Силу. Но это я открою одному Добрыне. Не обижайся, Илья, ты с Силой незнаком. Не обижайся и ты, Алеша: не я учил тебя и не мне теперь начинать. Живите здесь до весны — всего месяц остался. Последний урок дам Добрыне, хотя и не думал, что придется. Потерпите: немного осталось.

Но вообще... если есть хоть какая-то возможность... объезжайте стороной место, на котором запрет положен, и никто вас за это не осудит!

Мы прожили в скиту чуть больше месяца. Каждый день Учитель занимался со мной; было трудно учиться у него снова. Это возвращало меня в те годы, в которые я не мог вернуться полностью; я вспоминал себя тогдашнего — восемнадцать лет назад. Каким светлым казался будущий путь: надо только стать богатырем. И вот я стал богатырем и во время своего первого подвига, поминая Учителя, назвал себя Добрыней Никитичем, а скоро это имя уже знали многие, и про меня запели песни, но я чувствовал только горечь.

Снова быть учеником! Мы оба чувствовали себя неловко, и я преодолевал себя.

Учитель занимался не только мной, но и моим мечом. О своих мечях — как и о своих конях — богатыри не любили говорить. И меч и конь были как бы продолжением богатырского тела, причем продолжением особым. И меч и конь владели Силой: не одним людям она дана, даже вещи могут быть ею наделены, тем паче звери.

Богатырский меч в чужих руках обычно оборачивался против вора; богатырский конь вообще не повиновался никому, кроме хозяина. Богатыри сами выбирали себе своих помощников, а иногда и Силу им передавали — ну да это старшие богатыри лучше нашего умели. Уходит Сила куда-то, в прежние времена не то было... Свой меч я обрел в первые дни ученичества, и выбрать его помог мне Учитель. Мы нашли его у оружейника Богдана в Новгороде. Богдан был не простой оружейник: умел класть на мечи Силу, собирал старые мечи, потерявшие хозяев, и их Силу проверял: готовы ли в чужие руки перейти, и какая Сила на них положена. Мой меч он выковал сам, и Силу положил на него, и имя ему дал: Потык. Я помню — необученным юнцом взял я меч, и как прирос он к моей руке. Алешин меч пришел к нему с Востока: не рассказывал ничего Алеша, кроме того, что они его вместе со Святогором добыли. Долго меч был без имени, а как отсек им семнадцатилетний Алеша голову Тугарину-князю, сам и назвал — Туг. Меч Ильи был старый и пришел к нему от варяжских богатырей уже с именем: Скал; Скалушкой его Илья называл. И знали мечи хозяев, и даже у Ильи, Силой не обладавшего, Скалушка его боевой Силой был наделен. Всякое умели мечи. Бывает, почувешь засаду и не знаешь, то ли сам догадался, то ли меч толкнул тебя легонько: замечал я за Потыком такое. Потом — холодели все мечи к бою. Меч Учителя светился в темноте, когда Волхв бывал близок. Но меч богатыря, как и конь его, — тайна, и никому я не расскажу, что в те дни делал Учитель в скиту с моим мечом.

Я часто ездил к матери; по ее лицу я видел, что она считает дни: сколько еще пробуду, с ужасом и бессилием видя, что они убывают; это тоже не прибавляло мне радости.

Илья откровенно скучал, ездил по окрестным лесам, подкрадывался к зверям и

улюлюкал; тоскливо вздыхал потом — ну и забава, нечего сказать — дожил. Снег хлопьями падал с дерев от его свиста. Илья качал головой. Съездил в ближнюю деревню, хлебнул хмельного, но что за общество — пахари! Илья томился бездельем.

Алеша исчез на полмесяца, потом вернулся — веселый и озорной, взапуски бегал с конем, играл с собаками, рубился с Ильей на мечях. Жизнь и веселье били в нем через край.

— Девочек ездил портить, — вздыхал Илья. — Кровь все играет. Скорей бы, что ли, перебесился.

Но Алеша не хотел перебеситься. Он купался в снегу, будил озорным хохотом всю округу; монахи еле сдерживали улыбку: на Алешу нельзя было сердиться. Моя мать очень боялась, что он начнет захаивать в их скит, где была молоденькая монашка, но она не знала Алешу: его, конечно, не остановили бы чужие обеты, но все похождения он держал в тайне. Монашке ничто не грозило... Если он и ревновал меня к моему новому знанию, то виду не подавал.

Зима кончалась. Снега проседали; солнце жадно съедало их, словно забирало у зимы неведомую Силу. Потом пошли дожди, втоптали в землю белый наст. Ожили лес и поле. Алеша уже ходил босиком, Илья посиживал на солнышке, зевая.

И вот когда земля немного просохла, мы выехали из скита. Накануне я простился с матерью, так что провожал нас только Учитель. С самого утра он молчал, так же молча перекрестил нас на дорогу, не стал смотреть вслед и скрылся в дверях. Мы неспешно поехали прочь.

— А ну, богатыри, — закричал Алеша, — кто скорее! — Пришпорил коня и умчался по дороге в поле; он летел долго, а потом вдруг остановил коня и оглянулся. Мы с Ильей все так же ехали шагом и молчали.

— Слово не на Смородинку едет, а к девкам на гляделки, — проворчал Илья. — Беспутный.

Наш подвиг, застопорившийся было, снова продолжался. По дороге мы не говорили о нем. Илья был сумрачен, а Алеша то и дело отрывался от нас с гиканьем и уносился прочь, исчезая за поворотом: весной Алешу было не удержать. Я старался не думать о предстоящем — предугадать в таких делах ничего невозможно — и размышлял о чем придется. Когда мы стали приближаться к Смородинке, уже почти совсем просохло, а без этого на болотах делать нечего: Смородинка или не Смородинка, а болота оставались болотами, и потерять на них коня никому не хотелось.

Что-то стало неуловимо меняться вокруг. Все было вроде то же — черные ели с ярко-зелеными кончиками молодых побегов, красные почки на деревьях, пушистые сонные комочки на вербах, мокрая дорожная колея, растущая на глазах трава, звон птиц над полями, задиристый их перещелк в лесах, глухо отдающийся в чаще, жуки, сухо бухающиеся в кольчугу, привлеченные отсветами солнца, отражения деревьев в шлемах товарищей — но что-то странно изменилось. Нет, здесь не было ощущения злой Силы, подобно той, что встречала на подъездах к Идолищу Поганому или к Крепости в Таврии. Мы часто переговаривались вполголоса. Сомнений не было — мы въезжали в царство Смородинки. Поля кончились давно. Лес шумел как-то по-особенному. Я бы сказал — осмысленно, так, как он не шумит нигде. Слово от травинки к травинке, от ствола к стволу передавалось: богатыри едут! Эй, Смородинка, слышишь? Та Сила, которую чувствовал я, была Сила изначальная, которой обладала земля до нас, людей, пока мы еще не пришли, Она была не Добра и не зла, но могуча. Когда начинал шуметь лес, казалось — он может поднять нас в воздух вместе с конями и унести куда-то.

— Заметили, богатыри? — сказал Илья тихо. — Ле-шего-то не слышно и не видно.

И в самом деле, никто не звал в лес, никто не мелькал тенью за елями, никто не смеялся тихонько в спину. Лешие остались там, в обычных лесах. В царстве Смородинки им места не было. Тем не менее мы ехали по наезженной дороге, и Смородинка все приближалась — Сила ее прибывала. И вот неожиданно дорога кончилась, и мы оказались на краю небольшой вырубki. Две избы; кто-то работает на крохотном поле. Мы остановились. Вечерело.

Предстояло решить, оставаться ли на ночь здесь или, напротив, ехать дальше. М стали совещаться. Пока мы стояли, к нам пошел человек; мы разглядывали его. Белозубый, молодой, о шел нам навстречу, широко улыбаясь.

— Здравствуйте, богатыри, — весело поклонился он нам. — Заходите в дом, отдохните с дороги.

Изба, в которую он нас привел, была чисто выметена. У печи хлопотала ласковая старуха.

— Сейчас за стол, сейчас за стол, — приговаривала она.

— Не можем мы за стол, мать, — сказал с досадой Илья, жадно втягивая в ноздри запах варева.

— Это отчего же?

— А пост у нас, — сказал Илья сумрачно; ему очень хотелось поест и попить, но он помнил: от людей со Смородинки принимать ничего нельзя.

— Пост? У богатырей-то? — изумился молодой.

— Угу. Вон самый страшный постник. — И Илья кивнул на Алешу. — Всю зиму на коленях перед иконой простоял. На ногах до сих пор мозоли.

— Так хоть воды испейте.

— И воду нам нельзя, мать. С утра выпьем — а дальше ни глоточка. А вот сесть — сяду. — И Илья с кряхтеньем присел на лавку.

Я вышел осмотреться. На крыльце второй избы сушились молодые травы. Я пошел туда: часто можно понять, чем дышит человек, если знать, какие травы он собирает, особенно в такое колдовское весеннее время.

Но тут же на крыльцо выбежала старуха.

— Ни-ни-ни, милый, — закричала она, — там у меня невестка болеет.

— Так, может, полечу?

— Лучше ей уже, милый, лучше.

Я долго бродил по вырубке, прислушивался. Из второго дома никаких звуков не доносилось; есть там кто-то или нет, сказать было трудно. Я походил по окрестному лесу. В глубине стоял старый Перун в человеческий рост, вырезанный грубо и глядящий страшно. Я присмотрелся: подножие идола было залито засохшей кровью. Я потрогал пятна: насколько я разобрал, кровь была птичья, но я мог ошибаться.

В избу я поспел, когда молодой хозяин ужинал, а старуха, подперев щеку, рассказывала:

— Так и живем втроем: сын, невестка да я. Кормимся больше от леса, да кормимся сытно, вкусно, попробуйте-ка!

— Пост, пост, — отмахивался устало Илья, как от пчел.

— А что, правду говорят, что все теперь молятся новому Богу? — любопытствовал хозяин.

— Правда, — кивнул Илья.

— Вот и я говорю, — вмешалась старуха, — силен, наверно, Бог-то новый.

— Новые, старые, — уклончиво вздохнул Илья, — все боги.

— Только новому ноги кровью не мажут, — сказал я.

Старуха засмеялась:

— Да я птичку, птичку лесную, милый, малую тварь, а Перуну, может, и приятно!

— Куда путь держите? — спросил вдруг молодой. — От нас дорог никуда больше нет. На одну только Смородинку.

— На Смородинку, на Смородинку, — забормотал Илья. — На Смородинку эту самую и едем.

Старуха охнула. Молодой отложил ложку.

— Не едите, не едите, милые, — запричитала старуха. — Сгинете все как есть. Давно туда уже люди не Ходят — и верно делают. Не для людей эта речка.

— Ну а где она, речка-то эта? — допытывался Илья.

— Не знаю и не скажу, милый, — качала головой старуха, — не хочу посылать вас на смерть лихую.

— Значит, сами найдем, — сказал Алеша.

— Вы-то как живете с ней рядом? — спросил я.

— Ой, мы ее не знаем, и она нас не знает. Так, притулились под боком, — отвечала старуха.

— Что же, хотят ехать — пусть едут. Не хотят есть-пить — пусть не едят — не пьют, — сказал хозяин. — Не нам с тобой, мать, богатырей судить. Пора ложиться. Мы с солнышком ложимся, с солнышком встаем.

Легли. Мы в одной избе со старухой, хозяин пошел в другую, сказал: к жене.

Первым караулил Алеша. Я сразу провалился в сон, но еще прежде успел услышать, как захрапел Илья. Не знаю, скоро ли я проснулся, но только когда открыл глаза, понял, что Алеши в избе не было. Я поднялся. Илья все так же храпел. Старуха дышала ровно. Я вышел на двор. Кони были на месте. Алеши не было. Я обошел избу. Никого. Я — не знаю почему, но только, стараясь ступать тихо, пошел по вырубке. Лес сильно шумел, и в его стоне ничего нельзя было разобрать, кроме монотонно повторявшейся угрозы. Я пошел ко второй избе. Она была темна и еле угадывалась на черной стене леса. Подойдя к ней, я услышал какие-то звуки, но гул леса ничего не давал разобрать. Мне оставалось сделать какой-то один шаг, чтобы дойти до двери, и тут я понял, что не могу двинуться вперед.

В недоумении я отскочил назад: получилось. Я попытался зайти с другой стороны — но все равно на мог перешагнуть какую-то невидимую черту. По привычке я прибегаю к Силе — но нет, ничего! И тут я внезапно понял, что должен спешить. На наше счастье, выходя из избы, я, как делал это всегда, захватил с собой меч.

Для пробы я повел мечом в сторону двери — руку мою повело; Потык, как и я, не мог преодолеть этой невидимой стены. И тут я возблагодарил Бога за то, что Учитель давал мне последние уроки в скиту. Потык теперь был закален особой Силой — на Смородинку. Я принялся рубить воздух. Вдоль лезвия Потыка слабо обозначилось зеленоватое свечение. Поначалу меч отскакивал от невидимой стены, потом стал увязать в ней, а потом невидимая стена как бы лопнула, и я провалился в проем.

И тут сильнейший удар по голове обрушился на меня; я бы, несомненно, упал, если бы моя Сила за долю мгновения до этого не предупредила; но она предупредила, и я успел дернуться, и удар потерял свою смертельную силу. Я обернулся; от меня убегала тень; я в один прыжок догнал ее и плашмя ударил мечом. Молодой хозяин лежал на земле без сознания, и даже в темноте можно было видеть его белозубый бессмысленный оскал. Я намеревался уже оборвать его загадочную черную жизнь, как вспомнил еще один наказ: людей со Смородинки убивать нельзя. И я оставил его лежать на земле, а сам бросился в избу.

Я, надо полагать, успел вовремя. В темноте я увидел: на полу неподвижно лежал, разметав руки, Алеша, а над ним стояла на коленях женщина и целовала его в губы. Она даже не пошевелилась, когда я влетел в двери. Я схватил ее за волосы; только тогда она очнулась, взвизгнула, стала царапаться и кусаться. Мне не оставалось ничего другого, как только ударить ее ребром ладони под ухо; она обмякла; я отшвырнул ее и бросился к Алеше. Темнота вилась кругом, но было и так ясно, что Алеша лежал замертво. Забывая, где нахожусь, я начал было оживлять его как умел, но быстро спохватился и приложил Потык к его голове. Шли мгновения, стояла полная тишина, лес смолк, слышно было, как где-то неподалеку кричали лягушки. Вдруг Алеша застонал и заворочался, открыл глаза и затих. Потом стал было подниматься, но тут же повалился на бок; его рвало. Я бросился искать ковш, в котором ему поднесли отраву, но ковша не нашел, и тут сообразил: ничто не могло заставить Алешу принять питье в близости Смородинки. Даже женщине не могло это удасться. Женщине... Вот она, главная слабость Алеши!

— Где... она? — хрипло проговорил он.

— Рядом, — сказал я.

Алеша, шатаясь, поднялся, нашел глазами неподвижное тело и неверной рукой на удивление быстрее выхватил свой Туг. Я схватил его за руку.

— Меч! — хрипло и бешено закричал Алеша (я никогда не видел его таким). — Меч!

— На Смородинке нельзя убивать! — крикнул я ответ.

Еще несколько мгновений рука его сопротивлялась, потом обмякла. Алеша подошел к той, которая хотела погубить его, опустился на колени. Я присел рядом.

— Огня!

Я повиновался. Впервые в жизни Алеша что-то приказывал мне, и я впервые почувствовал, каким страшно властным может быть его голос.

Я принес огня. Мерцая, он осветил угол, в которой мы стояли. Женщина, лежавшая перед нами, была редкой красоты. Ресницы ее, казалось, вот-вот дрогнут и она откроет глаза. «Ну нет, глаза она откроет не скоро», — подумал я.

— Спасибо, Добрыня, — сказал Алеша не поднимая головы. — Свяжем ее.

Когда мы вышли из избы, молодой хозяин все еще лежал без чувств. Мы втащили его в дом и тоже связали. Потом неспешно направились к себе. Ночной воздух казался восхитительно свежим после колдовского душного дурмана.

— Где Илья? — вдруг спросил Алеша. Мы посмотрели друг на друга и бегом помчались к нашей избе.

Уже на бегу мы заметили огонек, и я проклял себя за беспечность: я мог быть здесь уже давно, а так Илья, совершенно беззащитный перед Силой Илья...

— Греетесь, богатыри? — вдруг раздался знакомый ворчливый голос.

— Как ты, Илья?!

— Что я? Сплю, вдруг слышу, Добрыня куда-то пошел. Думаю — ладно. Лежу, слушаю. Тут старая ведьма завожилась, я глаз приоткрыл, вижу — ко мне крадется. Не знаю, зачем крадется, почему — нет у меня вашей Силы, а только хряпнул я ее кулаком по башке — и весь разговор. Может, ей любви моей захотелось, старой?

— Здесь многие любви хотят, — сказал Алеша, непроизвольно содрогаясь. — Хорошо, что у тебя сон чуткий.

Оказалось, Алеша пошел разведать, что это за изба с больной хозяйкой. На пороге его уже ждала она сама и, не говоря ни слова, обвила шею руками и стала целовать — вот последнее, что он помнит. Я рассказал про круг, который разрубил мечом. Илья только качал головой.

— Ну, я бы с этой целоваться не стал, — только и сказал он.

Мы связали старуху и понесли ее в избу молодых. — Ваш Бог троицу любит, — буркнул Илья. Пришли мы, как оказалось, вовремя. Молодая хозяйка уже перегрызала веревку на запястье мужа.

— Что, близка ль Смородинка? — спросил Илья, подбочиваясь.

— Близка, — угрюмо сказал хозяин.

— И что — всех вы так принимаете?

— Ничего не знаю, — защищался он. — Вон ваш к моей жене полез, да мне же еще за это по лбу и дали.

— Мало, видно, дали, раз еще наглый такой, — покачал головой Илья. — Или добавить ему, Добрыня?

— Со Смородинки вернусь — убью, — пообещал Алеша сквозь зубы.

— Вернись сначала, — смело отвечал хозяин.

Алеша тяжело задышал, но — сдержался. Остаток ночи мы провели без сна, шагая по поляне и разговаривая.

— А не лезь ко всякой бабе, — с удовольствием поучал Илья. — На избу он пошел посмотреть! Знаю я тебя, жеребца, намяли наконец бока, поделом, поделом!

Алеша досадливо отмахивался.

Когда рассвело, мы отправились в путь. Хозяева наши уже, не скрываясь, копошились в избе: веревки были развязаны, нас эти люди не боялись. Я поглядывал: на Алешу: он играл

желваками и думал вовсе не о Смородинке, которая предстанет перед нами, быть может, уже сегодня. Я не стал мешать ему переживать случившееся.

От вырубki в чащу тянулась едва найденная тропа, да и та быстро исчезла. Болотистая мшистая земля чавкала под копытами наших коней; я оглянулся — за нами тянулся след глубоких ямок, которые были уже заполнены водой. Илья ехал впереди: как ни таинственна была Смородинка, а путь к ней вел через болота, и нрав болот Илья знал лучше всех. Я замыкал наш короткий строй. Лес стоял полумертвый, еловый, черный, с голубовато-седыми лишайниками на ветвях, со страшно разъявленными дуплами, расщепленными и полурассыпавшимися стволами. Мох пышно разросся вокруг. Верхушки елей были еще живыми и заслоняли от нас небо. Птицы тем не менее пощелкивали и посвистывали и в этом тяжелом лесу, но видно их не было, и они словно перекликались: едут, едут, свистни дальним! И дальним свистели...

Так ехали мы, покуда солнце не наполнило теплом эти еловые палаты. От земли стало парить; сделалось невыносимо душно. Мы остановились передохнуть, посидели на стволе поваленного трухлявого дерева и поехали дальше.

Я думал о том, что приходило на ум постоянно: о чем спросить Смородинку, если мы доберемся до нее. Если доберемся! Учитель вот еле ушел отсюда. Если станет радостно, конец близок, говорил он.

— Тебе не радостно, Илья? — спросил я.

— Что? Ра... А, ты про это. Помалкивай лучше, — буркнул Илья в ответ.

Алеша хмыкнул.

Нет, радостно нам не было. Лес говорил: уходи, уходи. Блики солнца, падавшие на мох и золотившие его, плясали в глазах, потому что ветер снова завелся, и вершины деревьев раскачивались; плясали и блики.

Вдруг Илья поднял руку и остановился. За гулом ветра было не слышно, шепнул он что-то или нет, я почувствовал какое-то шевеление слева — и вдруг словно мое сердце схватилось камнем.

Прямо на нас из чащи шел Волхв.

Мы поворотили коней, выхватили мечи и изготовились к бою, и тут неведомая Сила сковала нас, и мы не могли сдвинуться с места. Единственное, что я слышал, — это свое тяжелое дыхание.

Волхв шел прямо на нас, неторопливо, со своей всегдашней усмешечкой, совсем маленький в лесу. Борода и волосы его развевались на ветру. Черные глаза глядели сквозь нас. Волхв думал о чем-то своем, не очень-то и обращая на нас внимания.

— Добрыня, — услышал я стон Ильи, — сделай же что-нибудь!

Но с таким же успехом он мог кричать камню.

Волна ужаса наплывала на меня; было лучше умереть, но только не видеть, как Волхв неспешно движется к нам. Лицо его было по-прежнему спокойно; вот до него осталось каких-то шагов десять; я молил Силу: раскуй меня, но я словно действительно стал камнем, и спасения не было. Кони тоже стояли не шевелясь, хотя я, несомненно, разодрал своему Несею бока в кровь.

Волхв надвигался, все такой же сосредоточенный. «Да скажи хоть ты что-нибудь!» — крикнул я ему про себя. Но его худое лицо было совсем безмятежно, и вот он уже перед нами, на расстоянии вытянутой руки. «Сейчас все будет кончено», — вертелось у меня в голове, и невероятное отвращение от того, что сейчас его руки коснутся меня, охватило все мое существо, но только Волхв подошел вплотную и прошел сквозь меня.

Тут словно что-то лопнуло, и никакая Сила больше не сковывала нас, и мы с гиканьем поворотили коней, едва не погубив друг друга, и устремились за ним, и принялись рубить, но наши мечи звенели, сталкиваясь, и только тут мы поняли, что рубим тень, что это насланный Смородинкой призрак Волхва, который так же безопасен, как трухлявое дерево...

Мы остановились, задыхаясь, и глядели друг на друга. Я был мокр с головы до ног от пота. Илья едва дышал, широко раскрыв рот. Лицо Алеши покраснело, словно натертое

свеклой, Не сговариваясь, мы спешили и опустились на землю.

— Вот привел, вот привел, — бормотал Илья.

— Когда он прошел сквозь меня, я думал, кончусь, — сказал Алеша с тенью усмешки.

— То есть как это сквозь тебя? — возмутился Илья. — Сквозь меня он шел.

— А мне казалось, что сквозь меня, — сказал я тихо.

— Вот оно что, — протянул Илья. И добавил шепотом, помедлив: — Значит, уж знает она... — И кивнул туда, где, по нашим расчетам, была Смородинка. — Готовится... А может, это уже и ответ был? — сказал он через некоторое время с надеждой. — Куда Волхв-то пошел? На Восток?

— Не ответ это был, Илья, не ответ, — сказал Алеша досадливо.

Мы двинулись дальше.

Илья медленно выбирал путь, едва угадывая, где твердь. Неожиданно он гадливо сказал:

— Полюбуйтесь-ка!

В низине, с еле слышным из-за ветра шорохом, сплетались в брачный клубок полосатые жирные гадюки. «Веселый будет ночлег», — подумал я мельком. Я не сомневался, что ночевать нам предстоит где-то в этом лесу.

И тут вскрикнул Алеша.

Волхв шел на нас на этот раз справа, с востока. Снова Сила сковала нас, и снова он проходил сквозь нас, и снова было жутко, хотя и не так, как перед этим.

Когда Волхв появился в третий раз, Илья досадливо сплюнул, хотя и был скован Силой:

— Ходит и ходит! Хоть бы князь Владимир вышел, что ли!

Больше Волхв — или, вернее, его призрак, посланный Смородинкой, не появлялся. И так было ясно: она ждала.

Вечерело.

— Нет, богатыри, — сказал наконец Илья. — Я ничего не могу разобрать, где здесь болото, где что. Надо ночевать.

Развели огонь. Стало немного легче. Тоска и страх, нагнанные Смородинкой, были ослаблены огнем.

— На Восток бежал Волхв, на Восток, — убежденно говорил Илья.

— А на Востоке его искать — ох-хо...

— Может, он в одном дне пути отсюда прячется, — угрюмо говорил Алеша, который никак не мог оправиться от прошлой ночи. — В деревне обычной. А ты его на Восток отправляешь.

Алеша был прав. Я не удивился бы, если б узнал, что Волхв прячется в Киеве в княжеском дворце, где мы провели два месяца.

— Вот увидел я призрак этого нетопыря, — говорил Илья, — а он так же мерзок, как и сам Волхв...

Внезапно лицо его изменилось, он сжал голову руками и замычал.

— Илья, ты что?! — бросился к нему Алеша.

Но Илья только мотал головой.

— Уеду, сейчас уеду, только отпусти! — заговорил он.

Алеша быстро оглянулся на меня. По его виду я понял, что он пустил в дело Силу, но она не помогала. И снова, как и прошлой ночью, я вытащил Потык и приложил его ко лбу Ильи. Илья затих.

— Голоса, Добрыня... — пробормотал он. — Голоса. Такое говорят... Потык ярко светился зеленым огнем. И тут я услышал Учителя, словно он стоял рядом: «Беги, Добрыня. Радость пришла».

Затравленно я обернулся. Конечно, никакого Учителя не было рядом. И тут со мной заговорили другие голоса. Они поминали самые отвратные мои грехи и проступки так, словно это говорили бесы. Потом их голоса слились в одно жужжание, от которого

раскалывалась голова. Кто-то тыкался мне в руку; преодолевая себя, я повернулся: Алеша стоял на коленях и тыкался головой в мой меч...

Я видел разное. Прошел через многое страшное и постыдное. Но хуже той ночи — когда мы по очереди прикладывались, мыча, к светящемуся лезвию Потыка, понимая, что, пока ты отдыхаешь, товарищи мучаются, и поэтому сокращали свой отдых — не было, наверное, ничего; это было страшнее даже той поры, когда меня пытали в подземельях Волхва у Идолица Поганого. В минуты облегчения, когда мой лоб лежал на мече, я был совершенно уверен, что к рассвету мы все сойдем с ума. Я помню эту ночь кусками. То гаснущий, то разгорающийся костер. Илья, на четвереньках ползущий в сторону. Алеша, катающийся по земле. Мои собственные стоны... Но мы не сошли с ума; с рассветом голоса нас отпустили. Мы провалились в сон, если только можно назвать это забытие сном. Впервые за все годы странствий никто даже не остался на страже.

Меня разбудил Илья. Лицо его было серо.

— Вот что, Добрыня. Скажет тебе Смородинка что-то или не скажет, найдем мы ее сегодня или нет, но только сегодня ночью ноги нашей не должно быть в этом лесу.

— Да, — сказал я, с трудом поднимаясь. — Лучше один живой Волхв, чем три безумных богатыря.

Молча мы отправились дальше. Ветер все так же свистел в кронах елей, которые насмешливо перешептывались, не глядя на нас. Солнце посылало стрелы сквозь ветки, но не могло нас приободрить. Синее теплое небо едва виднелось за лесом, но всевластная Сила Смородинки ощущалась кругом. Сколько нам еще ехать вперед, думал я; скоро уже надо будет поворачивать, потому что второй такой ночи нам не вынести. Мы с Алешей точно пропадем, потому что из-за нашей Силы Смородинка будет мучить нас только сильнее, и Илье придется везти назад двоих безумцев. Пропавши пропадом этот поиск Волхва, думалось мне. Впрочем, думать я едва мог: все окружающее было смутно, и мыслил я словно сквозь сон.

Вскоре мы встретили всадника, седого и сутулого; 3 Волхв был всего лишь призраком, этот же пока полупризрак, пленник Смородинки, один из тех, кто не сумел вернуться. Он поворотил коня, молча пристроился вслед и стал сопровождать нас. Мы едва посмотрели на него и ехали дальше не оборачиваясь.

Внезапно в окружающем произошла перемена: ели исчезли, пошел густой ольшаник, сквозь который наши кони едва продирались. Я почувствовал: наш провожатый отставал. Впереди просинело небо; еще несколько мгновений — и мы оказались на невысоком берегу речки. Смородинка.

Она была совсем узкой — шагов пятнадцать; на противоположном берегу непролазной стеной стоял такой же ольшаник; из-за него выглядывали ели. Речка казалась почти черной, вода — непрозрачна, как будто это была и не вода вовсе. Поначалу я не понял, что поразило меня, и только потом сообразил, что речка никуда не текла.

Она стояла на месте, совершенно неподвижно, какая-то тугая, гладкая, почти каменная. Небо и берега тем не менее ярко и четко отражались в ней, как в каком-то колдовском темном зеркале. Потянуло сыростью, застарелым, неприятно пахнущим теплом. Чуть поодаль речка сужалась еще больше, и две старые ольхи, наклонившиеся друг к другу с противоположных берегов, почти соприкасались. Ни мошек, обычно снующих над водой, ни плеска рыбы, ни голоса птицы, ни даже ветра — ничего, только тепло, странно-неприятный запах и черное тело реки в низких травянистых откосах.

Я посмотрел на товарищей. Илья грузно сидел в седле, настороженно глядя перед собой. Алеша вертел головой, присматриваясь, словно пытаюсь понять, как здесь непонятным образом соприкасаются два мира, но не мог — как и я не понимал. Если верить тому, что говорили, множество душ пролетало в этот миг меж нас и погружалось в эту воду, и что-то поднималось из воды и приходило в наш мир. Но все, что мы видели, — это речку, неподвижную, застывшую, словно — я наконец понял, — словно черная смола.

Я соскочил с коня. Как мне было спрашивать ее? Я махнул рукой товарищам,

показывая, что отойду за поворот: говорить при них не получалось.

По самой обычной траве отошел я за поворот; мои товарищи скрылись из виду, и я остался наедине со Смородинкой. Что было делать? Как говорить с ней? Как полагал Учитель, это знал только Святогор, но Святогор уже давно лежал в земле, а душа его, должно быть, давно канула в эти самые воды.

Низкий берег. Река-смола, застывшая под ним. Спаленная молнией береза на другом берегу. Ольшаник, сомкнувшийся за мной. Синее безоблачное небо, солнце, будто случайное тут, как бы сильно оно ни светило. Я смотрел по сторонам, но ничего не ощущал, вообще ничего. Я стал говорить про себя: «Волхв, Волхв, Волхв!» Шептал это проклятое имя, замечая, как странно звучит мой шепот в небывалой тишине. Силу пробовать я боялся и все бормотал и бормотал все то же имя, и ничего не происходило. Я стоял на этом берегу уже долго. Я нагнулся над водой и увидел свое лицо, и ничего не случилось.

В отчаянии я сел и начал смотреть на воду.

Тут-то это и произошло.

Все исчезло: и вода, и берег, и солнце; все бесшумно скрутилось, как свиток; я видел Волхва.

На этот раз он не выглядел призраком; он крутил головой, усмехался своей проклятой усмешкой, но тут же хмурился. Волхв опасался чего-то. Один раз он подозрительно взглянул прямо на меня, и я окоченел: казалось, сейчас он погубит меня своей Силой. Волхв несколько раз отводил глаза, но всякий раз снова оборачивался. Он хмурил брови, он остановился; мне казалось, его губы прошептали: «Добрыня», — но я не был уверен. Озадаченность появилась на лице Волхва, но тут все поплыло, и я его уже больше не видел; Волхв пропал, остался где-то внизу, а я взмыл словно птица и увидел огромный царственный город, дворцы которого были как венцы, а вместо главного зубца глыбился огромный гордый храм, и сине-зеленое море вокруг; запахи юга поплыли на меня, на мгновение я услышал даже голоса; потом город пропал, но я уже, как высоко меня ни вознесло, уже давно узнал город, в котором был сейчас Волхв: Царьград.

Однако меня влекло дальше, и я увидел странную! картину: Илья бился на мечях с молодым могучим всадником, отражая его удары. Лица всадника я так и не увидел, я смотрел на бой как бы из-за его спины; всадник занес руку для удара, лицо Ильи исчезло, и тут чей-то голос горестно простенал мне в ухо: «Сын, сын ведь!» И снова понесло куда-то, и блаженство! стало охватывать меня, и я едва ему противился, отчаянно вспоминая слова Учителя о том, что испытавшие на Смородинке блаженство обратно не возвращаются, но тут на полмига показалась смола реки, и я невероятным усилием вынырнул из ее дурмана, вскочил на ноги и побежал к товарищам... «Что?!» — шевелили они губами, боясь подать голос. Я кивнул и так же беззвучно проговорил: «Все!» Вскочил в седло и, не оборачиваясь, боясь даже посмотреть на эту неподвижную речку, которая хотела ласково утратить меня туда, откуда нет возврата и где есть полное знание, направил коня в чашу.

Когда ольшаник кончился, я повернулся к товарищам, торопясь передать им свое знание:

— Волхв бежал за море. Сейчас он в Царьграде. Они молчали, и мы продолжили путь.

Через некоторое время Илья проговорил:

— Слава Богу, что не на Востоке. До Царьграда все же ближе будет.

Мы торопились выбраться из этого жуткого леса и не обращали внимания на пленников Смородинки. Одно время рядом с моим конем шла понурясь девушка, потом ее сменил какой-то отвратительный старик, оба молчали, а потом отстали.

Я размышлял о втором видении, говорившем, возможно, о том, что Илье грозила смерть от руки собственного сына. Я не был уверен, что правильно истолковал его. Говорить о нем Илье мне не хотелось. Я не мог понять почему, но решил пока молчать.

Места здесь действительно были странные. На закате уже показалась вырубка, где нас пытались остановить слуги Смородинки, хотя от нее до речки мы ехали день с лишним. Смородинка выгоняла нас. Мы хотели объехать вырубку боком, но тут Алеша вырвался

вперед:

— Езжайте, догоню!

— Алеша! — строго окрикнул его Илья.

— Езжайте! — крикнул Алеша, нехорошо улыбаясь.

— На Смородинке убивать нельзя! — крикнул я.

— Знаю!

И он понесся прямо к избам... Мы поехали дальше. Позади слышались крики, завизжала женщина.

— Неумный, неумный! — качал головою Илья.

Я спросил его:

— Слушай, Илья, а у тебя когда-нибудь был сын?!

Илья воззрился на меня с недоумением.

— Если и был, то я об этом ничего не знаю. — И он довольно захохотал.

Что-то шевельнулось в моем сердце, но я по-прежнему решил молчать.

Алеша догнал нас скоро. Мы слышали победный стук копыт его коня и остановились.

Алеша что-то высоко держал в руке. Когда он остановился рядом, зло-веселый, задыхающийся, торжествующий, я увидел, что это было.

Голова Перуна и копна женских волос.

Глава 2. АЛЕША

Черное море — веселое море. Отражаются в нем! сады и башни Царьграда, плывут в него лики Святой земли и всех изобильных и жарких стран юга. Нет-нет, да и промелькнет неведомый русскому человеку цвет, запах и звук. И старые неунывающие боги всех земель оставили в нем свой след, и не то предания, не то былины всплывают из его сине-зеленых сказочных вод. Идут волны к берегу, бухаются ему в ноги, как безгрешные души в ноги к Богу, и, беспечальные и светлые, бегут обратно, говорить всем и каждому, что жизнь прекрасна. Кажется, что солнце почти не заходит над ним и смотрит радостно до самого дна, будоражит рыб и дельфинов. И дельфин всегда рад показаться мощным серпом из воды, от неудержимой веселости своей прыгнуть в чужую стихию, навстречу солнцу. Ходят по морю дельфины, и море радуется. Крепко запечатано Черное море горловиной Босфора, и воды его чувствуют себя в безопасности. Великие и древние страны смотрятся в море с юга, а с севера, вытягивая тонкую юношескую шею, заглядывают в море Русь. И море, чувствуя молодую кровь и радуясь ей, спешит к северным берегам и несет небывалые чудные вести. По морю этому прошел на север еще до моего рождения Христос. И кажется, что к нему, морю этому, никакая скверна не прилипнет, и будто не было тут войн, а если случалось, то не войны это были, а предания только о богатырских подвигах, или, как сказали бы греки, о царях и героях. Ничего не хочет знать Черное море о кровопролитии. Да и вообще самое радостное море это из всех известных мне морей, и потому-то мне оно особенно любо.

Море Варяжское угрюмо и серо, ровно и четко, как северная речь. Из-за моря этого пришли к нам варяги и принесли порядок, но радости не принесли; она плыла к нам, торопясь, по морю Черному. Море Дышащее загадочно и туманно. Приливы колышут его, глубоко дышит это море, и новгородцы, промышляющие там морского зверя белого зуба ради, так и прозвали его — Дышащее. Любят это море отшельники, все больше их пробирается к нему, чтобы спастись от мира на его безлюдных берегах, и нет на море этом ни одного города.

Море Хвалынское сине и пахнет Востоком и уходит от Руси на Восток, хоть и течет в него русская река Волга. Хорошо идти по тому морю в военный поход и хорошо везти по нему золотую добычу — купцы его любят и воины.

Но Черное море — особенное море. Много чудных вещей рассказывают про него. Говорят, например, что море это имеет форму лука — придумали это греки в незапамятную старину, когда заплывали сюда и полагали его концом света, и казалось оно им холодным и

жестоким, потому что избалованы греки. Говорят, что если плыть от греческого берега к Таврии, то посередине видно оба берега, но в это я не очень верю, потому что море это широко, а верю только тому, что греки — искусные мореходы, много искусней наших, которые пробираются обычно вдоль берега, опасаясь потерять его из виду, зная одно — иди по западному берегу и придешь в Царьград. Называют это море еще и Русским, потому что много шума наделали здесь мы с варяжьей помощью в совсем недавние времена.

Плавают обычно русские на больших челнах — они просты, и любому воину с ними управиться можно. Но медленны, медленны челны, и не на них нужно плавать по этому веселому летящему морю.

Мы добрались до северных берегов моря быстро, так быстро, как только могли скакать наши кони. «Ищите Волхва в Царьграде, бежал Волхв за море» было сказано нам. Как идти в Царьград? На челнах? Да ушел уж, наверно, Волхв и из Царьграда, а мор велико, и на челнах здесь много не наплаваешь. Не нам повезло. Стоял в устье Днепра варяжский корабль не часто встретишь такой на этом море. Редко строят варяги, которые перемешались с русскими и обленились, свои корабли теперь. А если строят, то воина! не отдают, потому как дорогие это корабли, и обойдутся воины челнами, а используют корабль для редких случаев — вдруг князь или важный боярин потребуют корабль на службу себе. Но если хорошо заплатит варягам, повезут они тебя куда скажешь, и оставишь ты позади все челны, и варяжский корабль со страшной мордой на носу будет пугать греческих купцов...

Золото и серебро никогда не переводились у богатырей; в чем, в чем, а в этом мы нужды никогда терпели. И согласились варяги...

— Как зовут твой корабль? — спросил я у кормчего.

— Сокол-корабль.

Есть у варяжских кораблей имена, и держатся за них варяги, все еще посвящая тайком корабли своим старым богам.

В глазах Ильи я читал большую тоску: боялся Илья путешествовать по морю. Прирос Илья к Русской земле и не любил покидать ее. А уж по морю, на деревянной посудине, которая хотя и легче воды, но тонет, это все было для Ильи вовсе ужасно. Однако крепился Илья и виду старался не подавать, но мы-то знали. После стольких странствий вместе, после такого, что видели, стоя бок о бок, отлично знали мы друг друга, и мало оставалось тайн у каждого. Но делать было нечего, и поплыл Илья. Однако было действительно очень плохо: пришлось оставить на берегу наших коней. Отдавали мы их в хорошие руки, но все равно беспокойно нам было: меч и конь — все наше достояние. А золото или серебро — это что, бывало, мы его пригоршнями швыряли на пустое дело, я, во всяком случае. Но пускаться с конем в многодневное и многотрудное путешествие по морю — испортишь коня, который боится большой воды еще сильнее Ильи.

Сокол-корабль поднял паруса, и мы поплыли к Царьграду.

Каждый знакомый с Царьградом не может не понять, какое чувство охватывает русского, попавшего туда. Ни с одной заморской столицей не было у русских связано столько, ни о какой другой так много не думали русские, ни в какую так много не ездили. И все же в отношении русских к Царьграду было что-то ревнивое. Совсем недавно, каких-то тридцать лет назад, из Царьграда пришла христианская вера; впрочем, тридцать лет назад это покойный князь Владимир крестился и крестил Русскую землю, а сама вера стала приходить куда раньше — но из того же Царьграда. Да и, честно говоря, не одна только христианская вера пришла: из Царьграда князь Владимир получил понимание того, что правитель — это не прелеводитель лихой разбойной дружины, а строитель державы. Не мог Владимир состязаться с Царьградом: не построишь дворцов и крепостных стен на голом месте не заведешь торговлю и роскошь, не станешь — самое главное — средоточием всех путей и помыслов. Царя град — пуп земли. Русь — оборонительный вал от Степи, который прикрывает и Царьград, и другие земля Вал этот огромен даже для нас, привыкших жить на нем и держать службу, он хорош и люб, но если смотреть свежими глазами, то Русь — это сильный юнец, а Царьград — умудренный богатый старец. Силы у него уже не те, вот он и

приручает юнца, вот он и послал Христа на север... Но я отлично помню, как сокрушался Владимир, что скудна его земля, что беден его дворец, что просто его житие по сравнению с царьградскими владыками! Бывало, вздохнет: «Эх, далеко нам до Царьграда!» — но тут же поймет, что сказал лишнее, нахмурится и буркнет: «А все-таки наш! мечи прочнее, и не раз мы греков-то бивали». Ох спесь эта людская... Бивали, да только приручили на греки, переменили что-то в нас (или это Христос переменил, как Добрыня утверждает?), и не пойдут теперь русские на Царьград никогда, и вот теперь ми спешим туда за помощью — как отловить нам Волхва и, очень может статься, поможет нам Царьград — мудрый старик наведет молодых на след...

Все мы уже бывали в Царьграде, но краса этого города все равно не может не впечатлять. Каменные дворцы и церкви, да не из простого камня — эх, да что говорить, на моем веку на Руси такого не будет. А портовые кварталы, где не раз в свои прошлые приезды затевал я драку — то ради глазок каких, а то просто так, от веселого хмеля. И бывали от того веселого хмеля раненные и убитые... Упаси Бог Добрый! об этом проведать. Рассердится Добрыня, пойдет ругать меня, поносить всячески, мол, не так живу, не о том думаю. Так не так, а весело живу. Илья — тот только посмеется в бороду: не любит Илья греков, муравьями называет, так, скажет, им и надо. Но не буду я вспоминать о гульбе своей в веселых кварталах, не буду, может, и загляну туда разок, пока Илья спать будет, а Добрыня думу думать. На Руси такого веселья — ни-ни, хоть лошадей хмелем опои, а девок колдовским дурманом. Не умеют русские веселиться.

Так думал я, пробираясь сквозь царьградские толпы вместе с товарищами. Мы решили не останавливаться на русском подворье: лишние глаза и уши ни к чему, хотя в такой многоязыкой толпе слуга Волхва мог носить какое угодно обличье. Не остановились мы и там, где останавливался я, — что и говорить, для тайных дел мои знакомые мало подходили. Вот если бы Добрыня решил развеять грусть-тоску... Ну — молчу, молчу.

Остановились мы там, где, боюсь, окончат свои дни Добрыня — в монастыре. Я с царьградскими монахами не знался, хотя, как теперь видел, напрасно, потому что сейчас все зависело от Добрыни. Он пошептался с кем-то в дверях, нас впустили, снова перешептывания, Добрыня куда-то уходил, возвращался, снова уходил, а мы с Ильей стояли как два дурака: очень любит Добрыня тайны, а впрочем, не всякое свое знакомство и знание открывать даже Друзьям можно. Я посмеивался, а Илья отчего-то сильно разволновался, начал посверкивать глазами и шептать мне на ухо:

— Да что за дела с этими длиннополыми! Ох, не знаю, не знаю. Веры им у меня ни на грош. Ты сам посуди, Алеша: сидят, сложа руки, гордятся тем, что девок не портили. Не велика доблесть, я с ними скоро сравняюсь, а все ж таки все хорошо в свое время. Меча в руки никогда не брали. Да чего ж стоят-то они? Чего с ними советоваться?

— А им откровение бывает, Илья, — сказал я. — Вот если к деве и к мечу не прикоснешься — будет тебе откровение.

— А мне и так скоро будет откровение, — неожиданно сказал Илья грустно. — Вот закопают меня скоро в землю — будет мне откровение. Ни к деве, ни к мечу прикасаться не буду. Лежать буду и откровения иметь. Вы-то приходите ко мне на могилку — откровения послушать. Я все, что ни услышу, вам стану пересказывать.

Нехороший озноб прошел по моей спине.

— Брось, Илья, может, я поперед тебя в землю лягу.

— А ты не спеши, — возразил Илья сердито. — против естественности будет. Ты еще не скоро откровения будешь видеть.

«Может быть, Илья почуял смерть?» — быстро по думал я. Я-то знал, что откровения бывают и у тех, что и дев обихаживают, и меч. Может быть, Илья, не имевший Силы, вдруг что-то почуял? Даже собаки уходят умирать. Но не успел я собрать свою Силу и попытаться что-то понять, как Илья вздохнул, пугливо обернулся и едва ли не одними губами произнес:

— Может, оно с Перуном и лучше было, — сказал и отвернулся беспечно, словно хотел обмануть кого-то.

Чего испугался Илья — нового Бога или людской молвы, я не знаю и спросить не успел, потому что тут вошел Добрыня и подсел к нам.

— Вот что, богатыри, — сказал он, едва сдерживая торжествующую улыбку. — Сегодня вечером нас примет патриарх.

Глаза Ильи уважительно округлились, да и я, признаться, почесал в затылке. Легко сказать, сам патриарх! Который и послов-то русских принимает через раз. Недаром Добрыню называли тайным богатырем князя Владимира, недаром...

— Как ты к патриарху-то пролез, Добрыня? — полюбопытствовал Илья.

С видимым удовольствием мой друг Добрыня, едва сдерживая гордость, сказал:

— Да когда был я в прошлый раз в Царьграде, сошелся с настоятелем этого монастыря. А он вхож к патриарху.

— И что же — настоятелю этому ты все и открыл? — Илья аж рот разинул.

— Нет, но патриарху открою... откроем, — поправился Добрыня.

— Патриарх-то тебе чем поможет? — наступал Илья.

— Послушай, Илья, у патриарха большая власть, и знает он много. Власть дает ему знание. Может быть, патриарх один из немногих людей на земле, которые знают почти обо всем. Насколько известно мне, никто еще никогда не шел по следу Волхва так, как идем мы. Он бежит, и найти его сейчас труднее, чем когда б то ни было. Волк вырвался из силка и знает лесные тропы лучше любого, а уж свое логово он выбирал так, чтобы никто никогда не сумел до него добраться. Только тот, кто стоит на башне над лесом, знает его пути.

Илья недоверчиво качал головой. Однако я был склонен согласиться с Добрыней. Сверху видно лучше.

Помню, как я удивился, когда узнал, что Илья знает по-гречески. То, что он умел объясняться со степняками, было более-менее понятно: странствуя по рубежам Русской земли, которые Степь лизала, как прибой — береговой песок, безумием было бы не уметь допросить пленного. Что крикнуть конникам, которые приостановились при виде тебя? Но Илья знал и по-гречески. Когда я обнаружил это и не сумел скрыть своего изумления, Илья ухмыльнулся в бороду: «Что, молодой умник? Думаешь, вы одни премудрости постигаете?» Изъяснялся Илья ужасно, но сочно и ясно, при этом понимал все.

Патриарх говорил, совсем не соображаясь с тем, что его слушают иноземцы: витиевато, проборматывая что-то вполголоса, перескакивая с одного на другое, да и разговаривал странно — как будто сам с собой.

— Пришли люди из молодой страны... Совсем молодой... Младенческой... Мы дали им свет... Много света... Хватит, чтобы зажечь эту огромную страну на века... Мы хорошо сделали... Когда мы потухнем, страна эта будет гореть нашим огнем... Ярko гореть... Хотя в это почти никто сейчас не верит... Но много света было отдано, да, много света... Мы стары, они молоды... Мы погибнем — свет останется... Когда ты погибаешь — что-то должно оставаться...

И он устался в узкое окно, за которым была безмолвная темень.

— Мы пришли говорить о враге, — рубанул Илья, которому надоели эти заклинания по поводу света. — Может быть, ты знаешь, где он?

Добрыня нахмурился. Сам он предпочитает говорить загадками и думает, будто это всем нравится. К тому же, может быть, он считал, что задать главный вопрос должен сам.

— Ох, врагов много, очень много врагов... Мы слабеем... У нас не остается сил... А все зарятся на нас... Мы красивы, мы хороши... Зачем только этот город так хорош, зачем, зачем... Для кого его строили... Придут конники, все потопчут, все разрушат, запустение будет... Нас уже не станет тогда, но близятся, близятся времена... И ладно бы промчались вихрем, оставили камни... Нет, построят свое... На таком месте должна стоять столица... Это пуп мира, это пересечение всех великих дорог... Я скажу людям из молодой страны: вы думаете, Рим велик? Рим в захолустье, в совершенной глуши, о нем можно забыть, разграбить и забыть, а мы — о, мы прекрасно расположены, это место никогда не будет пусто, всегда, о, всегда здесь будет стоять великий город, соединяющий два мира — Европу

с Азией, да... И башни будут, и дворцы, и сады, и корабли будут стоять в проливах, но все уже не наше, не наше...

— Святой отец, — сказал я, — отчего ты так уверен? Или ты видел будущие войны? Или ты пересчитал всех воинов? У такого города всегда будут защитники. Надо только уметь распознать общего врага.

— Они из совсем молодой страны, эти люди... Они не понимают, что значит стареть... Стареют все страны... Любая страна когда-нибудь исчезнет... Но люди из молодой страны не понимают, что страны не вечны... Молодые не думают, что когда-нибудь все умрут, и они тоже... Им кажется, что они бессмертны... Ошибка, ошибка...

— Святой отец, — сказал Добрыня мягко, — от старости нет лекарств, но есть лекарства от старения. Есть человек, по следу которого мы идем...

— Как их называют, этих людей? Кажется — богатыри? Странное слово, странное, и люди странные, мы не встречали больше таких... Они торопятся, торопятся, сейчас старый богатырь хочет нас задушить... Он нетерпелив... Он не верит в нашего Бога... Он призывает старых богов...

Илья смотрел на патриарха остекленевшими выпученными глазами.

— ...Всем троим кажется, что мы от них что-то скрываем, но они сами скрывают многое...

— Мы готовы рассказать, — вмешался я, несколько опешив. — Этот человек, враг...

— Они боятся произносить его имя, потому что у них считают, что стоит произнести это имя трижды и человек этот услышит, где бы он ни был...

— Так ты знаешь, о ком мы говорим! — воскликнул совершенно сбитый с толку Илья.

— Они хотят рассказать нам об этом человеке, но боятся даже произнести его имя, не подозревая, что за стены эти не выходит ничего, что, даже если бы человек этот стоял под окнами, он и то бы ничего не услышал...

И тут внезапно я почувствовал Силу. Она была велика и непонятна мне, я никогда раньше не встречал такой Силы. И я сразу поверил, что за эти стены действительно ничего не выходит.

— ...Мы знаем об этом человеке, он часто бывает в этом городе, он вообще много ездит по свету, много больше, чем ему бы следовало, и пора, ой, пора дать ему одно жилище навеки, до Страшного Суда... Мы следим за молодой страной... Она должна крепнуть... Мы знаем, что творит на ней этот человек, как он строит свои оплоты, как он меняет князей, как он хочет властвовать над этой молодой страной, а потом и над другими странами, и над нами... Этот человек спешит... Он стареет...

Патриарх смотрел в пространство перед собой, смежив веки и словно ничего не видя вокруг.

— ...Спешат, все спешат, не с кем поговорить... Что с них взять, люди из молодой страны... — Глаза его неожиданно широко раскрылись, он посмотрел на нас и сказал: — Вас проводят. Совсем близко. За стеной. И за нее тоже ничто не выходит. Можете называть имена.

И я впервые услышал смех патриарха.

За стеной нас действительно ждали. В полутемной комнате сидел грек лет шестидесяти; заглянув ему в глаза, я обнаружил совсем не то, что ожидал — великий страх. Он молчал, не поднимаясь со скамьи, молчали и мы. Наконец Илья промолвил:

— Так это ты, значит, знаешь, где Волхв?

Грек судорожно кивнул.

— А откуда ты это знаешь?

Грек отвернулся. Он не хотел говорить. Но Илья был совершенно прав, когда спросил. Не то чтобы я не верил патриарху: Сила, которую я чувствовал в нем, была благой Силой. Но в этом греке я чувствовал страх — страх, и только. А человек в страхе опаснее, чем испуганная змея, это я усвоил твердо.

— Ну что мне тебя пытаться, что ли? — спросил Илья грозно.

— Пытали уже! — как-то надсадно выкрикнул грек.

Мы помолчали.

— Волхв? — спросил Добрыня.

Грек судорожно кивнул.

— Вы не очень-то ему верьте, — пробурчал Илья. — Они, может быть, в сговоре тут все.

Патриарх, как видно, сильно подействовал на него — но не так, как ожидал.

— Как же ты спасся? — спросил Добрыня.

— Божьим промыслом.

— Не много я знаю людей, которые спасались от Волхва Божьим промыслом, — протянул Илья.

— А по-другому от него не спасешься, — вымолвил грек.

— Нет, — рассердился Илья. — Ты так со мной не разговаривай. Я не поп и разговоров таких не люблю.

Тут до нас донесся слабый голос из соседней комнаты, где оставался патриарх:

— Обиженного не обижай. Бери, что дают, или прочь.

Выходит, патриарх все слышал.

— Расскажи нам, что можешь, — попросил я.

Грек бросил на меня взгляд исподлобья, снова потупился и забормотал:

— Он был здесь. Он очень торопился. Он бежал от кого-то. Должно быть, от вас. — И он кинул недобрый взгляд на Илью. — Сейчас он на острове Змеином. — Мы молчали. — Все.

— Остров Змеиный, — сказал Добрыня, — где это?

— Остров Змеиный, — заторопился грек, — это маленький островок на Черном море. Совсем маленький. Его легко пропустить. Он в полудне пути от устья Дуная.

— И что там?

— Там ничего нет. Там раньше стоял храм. Очень, очень древний храм. Когда еще и этого города не было, и когда Рима не было, он уже стоял здесь. Там жили жрецы. Уже много веков там никто не живет.

— Молодой народ... — забормотал патриарх за стеной, — не помнит ничего... У греков был герой Ахилл. Он погиб в Троянскую войну. Но молодой народ не знает пока о Троянской войне. Прах Ахилла его друг Патрокл перенес на этот остров. Ахилл и Патрокл были... мы об этом никогда не думали, но это забавно... Ахилл и Патрокл были греческие богатыри... Говорят, что на острове Змеином — вход в ад...

Хотя патриарх говорил тихо, готов поклясться, что! слабое эхо прошло по комнате: «в ад... ад... ад...»

— Волхв там один? — спросил Илья, не обращая внимания на зловещее эхо.

— Не знаю. Он там.

— Как долго он там пробудет?

— Не знаю. Ничего больше не знаю. — Грек снова поднял голову, мельком взглянул на нас: — Он опасен, как волк.

— Знаем, — буркнул Илья. Он потоптался на месте, с некоторым сожалением поглядывая на грека, как будто сокрушаясь, что нельзя его хорошенько потрясти, потом кивнул на стену, за которой, как видно, все еще сидел и слушал патриарх, наклонился к нам и шепнул:

— С этим прощаться будем или как?

— Или как, — сказал Добрыня. — Если ты не хочешь, чтобы он наставил тебя в христианской вере.

Илья потоптался в поисках выхода; тут дверь распахнулась там, где ей и быть-то, казалось, не полагалось бы, и мы поняли, что разговор действительно окончен.

За стенами монастыря Сила исчезла. Был просто сухой сладкий воздух. Кипарисы, как монахи, стояли кругом. Слышался говор города.

— Домой? — сказал я.

— У богатыря нет дома, — неожиданно горько сказал Добрыня, и я вспомнил, что у Добрыни-то дом был, но дом этот был разрушен Волхвом...

Я не стал ничего возражать, хотя Добрыня мог бы и привыкнуть к тому, что я любое временное пристанище называю домом. Так уж я устроен, что стоит мне приехать куда-то, как я сразу называю место, где я остановился, домом. Может быть, потому, что настоящего дома у меня действительно не было и, судя по всему, никогда уже и не будет. Но ничего плохого я в этом не видел и, стряхнув с себя некоторое оцепенение, направился за товарищами.

Вскоре мы уже укладывались на ночь в келье, которую отвел нам монастырь. И тут мне неудержимо захотелось веселья.

— Богатыри, — сказал я, — а не провести ли нам последнюю ночь в Царьграде весело?

Добрыня посмотрел на меня сумрачно и стал раздеваться: он думал о Волхве. Илья с криканием принялся стягивать сапог: он не мог оправиться от встречи с патриархом. Я пожал плечами, смахнул с себя пыль и вышел.

Дорогу в веселые кварталы я знал преотлично. Чем ближе я был к цели, тем сильнее билось сердце, тем полнее кровь наполняла жилы. Я чувствовал, что молодею.

Знакомая харчевня была полна народа. Запахи жареной рыбы, масла, вина, пота ударили мне в нос, были бы неприятные запахи, если бы я не знал, что они связаны с весельем. Хозяин уже бежал ко мне, уже появились девицы...

Я спросил вина; я не узнавал девиц: я не был Царьграде года три, и за это время прежние успели состариться и уйти. А вот хозяин помнил меня, и помнил его. Терпкое вино казалось мне слабым, и пил кубок за кубком, я уже болтал с кучерявой девой которая обнимала меня за шею, вот уже за моим столом сидели прихлебалы и пили за мое здоровье.

— Чтобы оба твои меча были сильны — крикнул один, и все захохотали.

— Чтобы тебе никогда не пришлось вытаскивать свой единственный кинжал из ножен! — крикнул я ответ, чувствуя, что хмелею.

Мне нравилась эта гречанка, я знал, что уже скор буду с ней наверху.

Но я явно не нравился тому греку, который подольстился к моим мечам и над которым я в ответ посмеялся.

— Я сказал: «Чтобы оба твои меча были сильны» но я не закончил: как они бывают сильны у настоящих мужчин, к которым ты не принадлежишь! — выкрикнул он под одобрительные возгласы.

Я понял, что меня здесь уже все забыли, кроме хозяина, поэтому стряхнул с себя мою подругу и ударом кулака отбросил насмешника. Товарищи его вскочили. Угрожающе зашумев, они стали надвигаться на меня. Греческие моряки люди крепкие, и я уже предвкушал хорошую потасовку, когда вдруг в воздухе просвистел нож — я едва успел увернуться. Не знаю, кто его швырнул, но только через мгновение я опрокинул длинный стол на нападающих и затем ринулся на них с кинжалом — меч было рано обнажать.

Женщины, конечно, завизжали, хотя видели потасовки по нескольку раз на дню; мужчины были намерены расправиться с наглым иноземцем. Для начала я прошелся, как я сам называю это, вихрем-кругом, выставив перед собой кинжал: это когда ты, вертясь и держа все в поле зрения, срываешься с места и расчищаешь близ себя круг. Прибавилось криков; появились стоны. Я был уже безжалостен: неизвестный нож метил мне в шею, и после этого было не до жалости. Все же желая избежать уж слишком большого кровопролития, я схватил скамью и принялся кружить ею вокруг себя, раня, но не калеча. Тут противники мои бежали. Я вытер пот, огляделся, поманил гречанку:

— Пойдем.

— Куда же мы пойдем, господин, сейчас здесь будет стража?

— Царьград, девочка, город большой...

Я без труда достучался на рассвете до привратника в нашем монастыре: уже шла служба. Чрезвычайно довольный собой, я пробрался в нашу келью. Добрыня тут же

проснулся, с неодобрением посмотрел на мои ссадины и снова заснул. Илья, как видно, лежал без сна. Не проявляя никакого интереса к моим похождениям, он ворочался, вздыхая, а потом вдруг спросил меня:

— А что, Алеша, Бог христиан в самом деле сильнее?

Остров открылся нам внезапно. Он словно выплыл Со Дна моря, как гигантская горбатая рыба. Казалось, е мгновение назад вокруг не было ничего, кроме прозрачных зеленых волнующихся вод, вскипающая под килем нашего суденышка, да бледно-голубого выжженного неба. Над водами этими и под небом этим было покойно, и я век бы лежал под солнцем на палубе и лениво глядел в воду, привалившись к борту.

Как всегда в тайне от всех, я размышлял о Силе. Ни с кем, кроме Святогора, я не говорил о ней, да и то всегда говорил Святогор, а я помалкивал и сопрягал его учение с тем, что вертелось у меня в голове и что я уже смутно понимал и чувствовал сам. Добрыня все обижается на меня за то, что я избегаю разговоров о Силе. Но я уверен, что чем меньше говоришь о Силе тем лучше. Незачем делиться тем, что знаешь, и я не хочу ничему открыто учиться у других. Незачем к тому же будоражить Силу. Свою Силу нужно хранить в тайне от всех. Я не знаю, кому она подвластна. Но, по-моему, чем меньше эти существа или одно Велика Существо слышат от смертных разговоры про Силу, тем с большей охотой они наделяют их ею. Я зная Добрыня не согласен со мной. Он считает, что над едва ли не устраивать советы посвященных, говорить о Силе, доискиваться до ее истоков и учить друг друга. Пускай обижается на меня Добрыня, но все это смешно. Кстати, я чувствую, что моя Сила не слабее его. К тому же я доподлинно знаю, что умею кое-что, чей Добрыня не умеет. Но пускай он, да и никто не знает этого. Я вообще люблю жить в тайне. Вот Добрыня тоже, казалось бы, любит тайные подвиги, но все же несет их как бремя. Илья — ох, Илья вообще трубя не только о том, что было, но и о том, чего и не был никогда. А я бы хотел всю жизнь быть скрытым от других завесой тайны, и только иногда появляться из-за нее. Что ж — появляться в лучах славы, но чтобы тут же снова исчезнуть. Вот Илья — он весь на виду. Вот Добрыня — он терзается из-за того, что скрывает от нас что-то (и не догадывается, что мы зачастую знаем, что он скрывает). Его называли тайным богатырем князя Владимира, но на самом-то деле куда больше тайны было вокруг моей жизни. Илья неотступно думает о том, что будут люди говорить, и хочет, чтобы песни о нем пели и через сто лет после смерти. Добрыня печется о том, чтобы поспеть всюду, где есть нужда в богатыре, и держит в уме все склоки всех княжеских дворов, и даже склоки Степи. А я — я хочу прожить свой век так, чтобы радоваться ему. Какой прок в том, чтобы жить, мучаясь, пусть даже от благих мыслей? Когда несколько лет назад Добрыня метался в жару и бреду, потому что в его плече сидел волос Змея, снаряженный Силой Волхва, я провел у его изголовья недели две. И если бы он умер, я бы отомстил Волхву, хотя бы это стоило мне жизни. Но я наслаждался бы этой местью, я бы радовался и своим последним дням, я бы любил каждое мгновение их. И только так, на мой взгляд, стоит жить. Если плакать — так радоваться этим слезам. Если кручиниться — так любить себя в этой кручине, потому что это сильное чувство, и ты в этот миг — как раскаленный меч. А жить так, как живет Добрыня, нося тоску вокруг себя как облако, или как Илья, хлопоча о посмертной славе, я не могу и не хочу. Если Добрыня тайный богатырь, а Илья — могучий богатырь, то я, наверное, богатырь веселый. Знаю, товарищи корят меня за мою беспечность. Но то, что они принимают за беспечность — это умение прожить по-настоящему всю свою жизнь, умение, которого они, по-моему, лишены. Вон Добрыня сидит и хмурится, и думает о том, что делает сейчас князь Ярослав, и прочны ли рубежи земли Русской, пока мы в отлучке. А что проку думать об этом, когда мы здесь? о радоваться солнышку и морю, тому, что тело крепко, что раны зажили, что дух тверд. Скоро, скоро, Добрыня, мы перестанем быть молоды, да ты уж, пожалуй, и перестал быть молодым, хотя мы почти ровесники, а мне тридцать пять. И вот Илья, посмотрите на него, он вздыхает и думает явно о том, что суденышко наше непрочное, и как бы нам не пойти кормить рыб, и о том, что годы его уже немалые, сил немного, а будут ли о нем петь после смерти — то одному лишь Богу известно. Вот когда развалите суденышко — тогда и думать будем, а

когда помрем так не все ли равно, будут ли нас помнить или забудут. А ведь, Илья, были богатыри и до нас, а вот уже Святогора, нашего с тобой Учителя, начинают забывать, врут о Святогоре, а то и вовсе считают его придуманным. А ведь, Илья, мы-то с тобой знаем, что за богатырь был Святогор... Веселей, веселей надо! друзья мои. А вы — беспечность...

Я смотрел за борт на прозрачные воды и чувствовал Силу моря. Может, и Добрыня не знает о том, но у всего есть своя Сила, великая или слабенькая, добрая или злая. Да знай это Добрыня — мучился бы всю жизнь. А я — ничего. Видно, поэтому мне и дано чувствовать Силу вещей.

Сила моря огромна, но бесформенна. Она в общем благая, но я склонен думать: она скорее источник Силы для нас, чем нечто собственное. Вот и беснуется подчас море оттого, что не может владеть своею Силою, топит корабли — то, о чем ты думаешь сейчас, Илья.

Еще мне пришла в голову мысль о том, что, глядя в бегущую назад, но остающуюся с тобою воду, можно так же видеть концы и начала, как когда знающие люди глядят в огонь. Правда, я никогда не слышал об этом раньше, но много ли знающих людей имели время и терпение смотреть на море и радоваться ему? Я сказал себе, что об этом нужно подумать и при случай попробоватъ, но сейчас мне было слишком хорошо и весело, чтобы я пытался разглядеть чье-то будущее в волнах.

Внезапно я почувствовал, как какая-то тень легла мной, словно облачко заслонило солнечные лучи. В это самое мгновение Добрыня вскочил и крикнул:

— Остров!

Как я уже сказал, остров был похож на неожиданно всплывшую гигантскую горбатую рыбу. Там, где полагалось быть ее плавнику, в небо врезалось какое-то строение. Я понял, что это был храм.

Я поднялся и жадно смотрел на остров. Остров! У каждого есть какие-то слова, которые колокольным звоном отдаются в ушах. Для меня таким словом было — «остров». Не знаю почему, но только казалось мне совершенно волшебным, что он со всех сторон окружен водою; вроде бы такая же земля, суша как все остальное, и все же — нет. Может быть, это оттого, что я сам, в сущности, хочу быть веселым островом среди людей? Те острова, на которых я бывал, меня не удовлетворяли — взять хотя бы острова на великом озере, где родился Добрыня. Морской же остров — душа так и запела, когда я глядел на него!

Добрыня стоял, нахмурившись. Илья с облегчением разминал ноги: наконец-то проклятая езда по морю кончалась! И тут очень простая мысль пришла мне на ум:

— Добрыня, или ты забыл про стрелы? Нам некуда спрятаться, мы открыты со всех сторон и, может статься, скоро будем похожи на ежей.

— Укоротить бы тебе язык, Алеша, — проворчал Илья.

— А что делать? — отрубил Добрыня. — На этом суденышке не спрячешься.

Проклятый остров внезапно перестал мне нравиться. При некоторой удаче Волхв мог перестрелять нас по одному. К тому же, хоть нам и говорили, что он скрывается здесь один, кто мог знать наверняка? Как всегда в такие мгновения, я пожалел, что не выбрал другого способа радоваться миру, кроме как богатырского.

— Давайте-ка ляжем, — сказал Илья.

— И ты думаешь, что моряки после этого поведут судно вперед? — усмехнулся я.

— Пovedут, — сказал Илья. — Я знаю способ.

— После твоих способов, Илья, они отчалят, только мы сойдем на берег, и нам придется делить остров кое с кем до скончания века.

— Ладно, — сказал Добрыня. — Давайте ляжем на палубу, но только так, как мы лежали раньше, надо, чтобы моряки заподозрили что-то.

И мы снова развалились на палубе. Борта до некоторой степени защищали нас. Я глядел на приближающийся остров как охотник, и знакомое щекочущее чувство опасности, исходящей от хищной дичи, разбежалось по моему телу. Я любил его, хотя иногда дичь бывала, пожалуй, великовата для меня — как, например, сейчас. Я стал слушать Силу

острова. Это была недобрая Сила, я чувствовал в ней напластование многих злых жизней и не мог сказать с определенностью, что Волхв здесь. К тому же море мешало мне, несомненно, его Сила побивала мою.

Даже если отвлекаться от Силы, остров не мог не впечатлять. Исполинские глыбы складывались в темные обрывы, о которые плескали волны. В сочетаниях глыб угадывались то лица, то чудовища, судно наше легонько поворачивалось, и лики эти исчезали, чтобы вместо них появились другие. Стаи чаек громко кричали над головой, несомненно, весь остров уже знал о нашем приближении... Внезапно я похолодел: сверху, со с палуба нашего суденышка простреливалась насквозь, как если бы мы просто подставили Волхву наши спины. Как на грех, кормчий вел судно по самой кромке острова. Шея моя заныла, я непроизвольно дернулся в сторону. Однажды Добрыня именно так спасся от стрелы Волхва. Но, по всей вероятности, это был только страх, потому что ничья стрела не вонзилась со звоном борт корабля. «Пока жив Волхв, — сказал я себе, — я буду слишком часто попусту дергаться. Мы приплыли сюда чтобы положить конец всему этому». И снова веселое чувство азарта охоты охватило меня. Не знаю, что думала по этому поводу наша «дичь», и не радовалась ли и она тоже возможности покончить с богатырями одним разом, но только ничто не выдавало ее присутствия.

Корабль медленно огибал остров, и не успел я подумать, что пристать здесь негде и нам предстоит карабкаться по этим адским кручам, да еще тащить за собой Илью, как внезапно за поворотом показалась пристань. Ступени ее были выточены в камнях, нижние уходили под воду; волны обтесали их, они были уже не прямоугольны, а полукруглы, и я внезапно осознал, какую пропасть веков назад была высечена эта пристань, сколько кораблей приставало к ней и сколько ног прошло по этому дикому острову... Ступени приблизились, и через мгновение, перескочив через борт, мы стояли на них и волны лизали наши ноги. Мельком я глянул на товарищей и довольно усмехнулся: как бы разны мы ни были, по каким бы причинам ни сошлись вместе, но теперь издали могло показаться, что на берег ступили три близнеца: правая рука на рукоятке меча, тело немного согнуто, чтобы в любой момент прыгнуть, левая рука прикрывает шею от стрел. Но стрелы не летели; оставалось неизвестным, было ли кому принимать нас за близнецов...

Быстро посоветовавшись, мы решили прочесывать остров вместе. Конечно, Волхв и его черная свита, если она у него была, могли, перемещаясь, легко скрыться от нас, и поэтому если бы мы ходили по острову порознь, то вероятность найти Волхва была бы больше. Но — больше была и вероятность того, что Волхв перебьет нас поодиночке. Мы принялись за дело.

Скоро с нас полил пот. Остров был мал, но довольно-таки скалист, и приходилось заглядывать в каждую расщелину, ложиться на живот и пристально разглядывать обрывы в поисках пещер. Мы пошли посолонь, поначалу осмотрев береговую кромку, а затем закладывая все более тугие круги. Мы с Добрыней рыскали, а Илья вертелся по сторонам, примечая всякое шевеление. Но мы с Добрыней ничего не нашли, а Илья никого, кроме птиц, не заметил. Так мы обошли весь остров кругами, пока не поднялись к развалинам древнего храма из белого мрамора.

Колонны ослепительно сияли на солнце, словно соляные. Под ногами валялись осколки разбитых статуй. Они потемнели от времени, приросли к земле, но стоило потереть — и начинал сверкать тот же мрамор. Плиты пола были истерты тысячами ног, но он оставался по-прежнему крепок.

Отсюда был виден весь остров, покрытый одной лишь выжженной травой — ничему другому море и ветер вырасти не давали, хотя птицы наверняка заносили сюда семена. Солнце уже садилось за море, закат расплескался на воде и на небе, и казалось, что древние боги смотрели на него вместе с нами. Травы и скалы были красноватыми, и весь остров походил на тлеющий уголь. Я отчего-то запомнил это.

Мы пришли к единодушному выводу, что Волхв если он вообще здесь находился, мог скрываться только в какой-то пещере под обрывом. На поверхности острова — мы могли поклясться в этом — не было ни души.

Мы смотрели на темнеющее море, которое к вечеру сделалось, казалось, еще безбрежнее. На западе солнце скрылось в багровом маре, а с востока наваливалась тьма — особая тьма, должен сказать, не спокойная ровная русская тьма, а будоражащая, словно катящаяся на нас. Там зажигались синие звезды. Если я и мог представить себе место, где бы мне, Алеше, было бы нерадостно жить — так это на таком голом острове, застрявшем между восходом и закатом, по прихоти богов выскочившем на пути морских волн, которые когда-нибудь, — когда уже и тени нашей не будет на земле, и все живущие ныне языки исчезнут, — сотрут, слижут этот остров, перекаются через него и восстановят ровную морскую гладь...

— Пора бы и честь знать, богатыри, — сказал Илья. — Чем таращиться на соленую воду, лучше бы чем другим горло промочить.

Мы перенесли к храму наши царьградские припасы и уселись на ступени. Костра разводить мы не стали: есть кто на острове или нет никого, но только здоровое правило каждого, кто идет по следу, — оставаться ночью во тьме.

— Надул нас этот грек, — ворчал Илья. — Нашли кому верить. Может, они и в сговоре были. Пока мы тут по камням, как ящурки, ползаем, тот-то, поди, давно на Руси. Охо-хо...

— Мы этого грека не на пристани подобрали, — защищался Добрыня. — Нас к нему патриарх послал.

— Патриарх твой... Рожа как у бабы... Меча никогда в руках не держал... Своя и у него корысть... Нужна ему Русская земля... Может, и он уж давно куплен Кем надо...

— Да, именно нужна ему Русская земля! Пропадет без нее Царьград, Степь задавит! — сердился Добрыня. — Союзник он наш!

— Союзы... Как кто кого мечом посечь не сумеет и надо хитростью брать — вот тебе и союз. Видали мы, видали... А может, и напрасно машешь рукой, Добрыня. Ты мнишь себя великим знатоком дворцов, да ведь монахи тоже о семейной жизни советы дают. Но грек — грек... Не думаю, чтобы он врал или тем более был в сговоре.

— Дело в том, — сказал я, — что птичка могла и упорхнуть. Не один наш корабль на море, а слухами о погоне земля и вода полнятся.

— Завтра, завтра, — повторял Добрыня. — Вот скалы осмотрим...

По-моему, так лучше спать в степи, чем на вершине острова. Всю ночь ветры гуляли вокруг, носили незнакомые запахи. Всю ночь по очереди мы стояли на страже, но — ничего.

С первыми лучами солнца нас разбудил Илья.

— За дело, чтоб поскорей убраться отсюда, — хмуро сказал он.

Мы сели, потирая глаза, и тут Добрыня, оглянувшись на пристань, вдруг вскочил и бросился туда.

Недоумевая, мы поспешили за ним. На бегу я понял, что заставило его вскочить — недвижные тела моряков...

Добрыня сильно опережал нас, вот он подскочил к крайнему, дернул его за плечо — и тот вскинул голову.

Мы перешли на шаг.

— Что, Добрыня, — крикнул Илья, — плохой сон видел?

Но Добрыня уже возился на судне, ворочая сосуды с водой.

— Все цело, — сказал он, поднимая голову, когда мы, подошли. — Я вдруг подумал, что, если Волхв на острове, он бы заколол ночью моряков или разбил сосуды с водой.

Илья зарокотал смехом. Потом он нахмурился и сказал:

— А ведь ты прав, Добрыня. Если бы он был на острове — так бы все это не осталось. Не такой он человек, чтобы сидеть, скрючившись, в какой-нибудь норке, пока мы будем силки ставить. А значит, нет его тут...

Варяги, однако, не потешались над нами.

— Бойтесь духов? — спросил кормчий и покивал.

— А если ты тоже боишься, — раздраженно сказал Добрыня, — что ж ты караульного не поставил?

— Против духов бессилён караульный, — серьёзно сказал кормчий.

— Так пусть бы он читал молитвы! — бросил Илья.

Но кормчий, видно, не верил в то, что духов отпугнут молитвы...

Мы сели с моряками за трапезу. Оранжево-чёрные волны катили на пристань, и она сияла, как огненная. Мы наполнили чаши водой, даже сквозь глину она холодила пальцы. И тут внезапно мысль сверкнула в моей голове — а жив я до сих пор именно потому, что меня посещают такие мысли, — и я одним махом вышиб из рук Добрыни и Ильи глиняные чаши и крикнул варягам:

— Не пейте!

Илья, с недоумением проводивший взглядом свою чашу, рассерженно, как медведь, зарычал на меня:

— Это что ещё за шутки? Что на вас сегодня накатило?

— Вода может быть отравлена, — бросил я.

Кормчий покачал головой:

— Никогда не слышал, чтобы духи пользовались ядами.

— Никогда! — подхватили варяги и потянули чаши к губам.

— Стойте! — крикнул я. — Вы не знаете, какие духи Могут быть на Змеином острове!

— Послушай, — сказал кормчий рассудительно, — воды у нас мало, а если не пить то, что в сосудах, так и вовсе нет.

— Один сосуд у нас наверху, — сказал Добрыня. — Мы караулили всю ночь, из него можно пить.

Кормчий послал за сосудом; лицо его омрачилось. Судя по всему, ему очень не нравилось все то, что происходило, и он был намерен как можно быстрее убраться отсюда.

Наконец моряк принес воду и разлил в чаши.

— Не пейте, богатыри, — шепнул вдруг Илья, помаргивая глазом. — Под утро — сам не знаю как, но я вздремнул...

— Стойте! — крикнул Добрыня — и осекся, потому что варяги уже тянули пустые чаши к сосуду снова...

— Не пейте и эту воду! — сказал я мрачно, проклиная старого Илью, который, видно, рассудил, что опасность не велика, и не мог удержаться от мгновения сна — а ведь что может сделаться от такой малости...

Кормчий с проклятиями приказал отставить сосуд.

— Вот что, — сказал он, — сегодня мы уходим с этого острова.

— Тебе было мало нашего золота? — прищурился Добрыня, а всем, кто его знает, известно, что, когда Добрыня так вот прищуривается и дружелюбно что-нибудь спрашивает, лучше поостеречься.

— Все ваше золото не вернет меня к жизни, — ответил кормчий угрюмо. — Сегодня после полудня мы уходим. Я бы ушел немедленно, но именно из-за вашего золота я даю вам ещё полдня.

— Да как ты разговариваешь, сыть белоголовая? — возмутился Илья.

— Но действительно — что мы будем делать на острове без воды? — сказал я. — Если эту воду нельзя пить, нам нужно уходить сегодня ночью, чтобы к утру добраться до гирла Дуная. Завтра к вечеру у нас не останется даже силы справиться с командой, не то что с врагом.

— А это мы скоро узнаем, — мрачно пообещал Илья, — можно пить эту воду или нет. Если эта чужь перемрет к полудню — значит, нельзя. А если нет — значит, можно. — И он вдруг захохотал.

— Пока они ещё подчиняются нам, — сказал Добрыня, — надо осмотреть берега.

С большой неохотой моряки подчинились, и наш корабль медленно отвалил от пристани.

Труд это был адский. Илья оставался на корабле, а мы с Добрыней разделись и ползали по скалам вдоль берега, поднимаясь как можно выше и заглядывая в каждую расщелину.

Внезапно Добрыня крикнул:

— Алеша!

С кинжалом наготове я перепрыгнул через скалу. Добрыня стоял над глубокой расщелиной.

— Посмотри, что там, — сказал он мне хитро, отворачивая большой камень.

Я увидел холщовый мешок, развернул — и из темноты, как звериные глаза, на меня сверкнули монеты, перстни, кубки, зубы ожерелий и змееныши браслетов.

— Разбойнички, — кивнул Добрыня.

Мы переправили мешок в лодку. Он был велик и тяжел. Илья немедленно сунул в него свой нос, а мы с Добрыней повисли на бортах судна, упираясь ногами в поросшее водорослями днище.

— Ой-ой-ой, — запричитал разомлевший от солнца и жажды Илья, — ай да молодцы, ай да добыча!

И он со звоном, сияющей струей, вывалил все это на палубу.

Варяги ахнули. Кулаки их непроизвольно сжались, смотрели на Илью как голодные лисы на сытого Медведя, шевелящего лапой гору мяса.

А Илья действительно совершенно по-медвежьи копался в этом богатстве, цокая языком, то поднимая кубок, то высыпая на ладонь золотую цепь. Варягам казалось, что теперь они поняли, зачем мы появились здесь. Они пододвигались к золоту все ближе, и я смеясь про себя, читал их мысли: двое молодых в воде, а со старым медведем можно будет и справиться. Но Илья, хоть Силой и не обладал, мысли их прочел не хуже меня, потому что вдруг сжал золотой кубок своей огромной лапой, расплющил и бросил в воду. Варяги, невольно застонав, отшатнулись.

— Ну что, — повернулся Илья к кормчему, — согласен задержаться здесь на денек-другой?

Тот судорожно кивнул:

— Но как мы будем делить это? Без нас вы бы не нашли золота...

— А чего там делить, — буркнул Илья. — Делить хлопотно. Или вы остаетесь здесь настолько, насколько мы захотим, и получаете всю кучу, или я бросаю все в воду.

Кормчий не поверил, чтобы три сильных человека, не похожие на безумных, были готовы отдать ему такую кучу золота.

— Все? Ты сказал — все?

— Ну если тебе много, пусть рыбы порадуются. — И Илья бросил пригоршню золотых монет за борт.

— Мы останемся! Поклянись, что...

— Что-о? — взревел Илья. — Это мне клясться? Да я сейчас тебе голову снесу — вот тебе будет моя клятва!

— А как же вода, кормчий? — насмешливо спросил Добрыня.

— Здесь есть древние сосуды, — сказал кормчий серьезно. — К утру там собирается роса. К тому же, может быть, скоро пойдет дождь. — И он с надеждой посмотрел на небо.

Моряки сделались очень почтительны к нам. Они смотрели на нас как на священных безумцев. Но очень скоро это перестало меня занимать. Жара усиливалась, солнце жгло тело, жажда становилась невыносимой...

За день мы осмотрели весь берег. Никаких пещер обнаружено не было.

Никто из моряков не умер. Они отдали нам нашу воду и смело принялись пить свою. Мы с Добрыней отговаривали их — но как ты запретишь пить полудюжине людей, проводших без капли воды целый день на солнце? Нам хватало стонов Ильи, который доказывал, что раз за день ничего не случилось, то, по крайней мере, наша вода чиста. Добрыня сказал холодно:

— Иногда приходится платить за предрассветный сон, Илья.

И Илья с ворчанием отставил сосуд.

— Нет здесь никого, на вашем острове, — пробормотал он.

И снова был закат, и снова трава и скалы были красными, и снова остров казался мне похожим на тлеющий уголь.

«Вход в ад», — вспомнил я слова патриарха.

— Подождите, — сказал я медленно. — Здесь что-то должно быть внутри. Здесь что-то скрывается под ногами...

— Пещеры? — сказал Добрыня. — Но где же вход в них? Мы обыскали весь остров. — И он беспомощно оглянулся по сторонам.

— Храм, — сказал он. — Пещеры под храмом.

Несмотря на темноту, мы поднялись по ступеням.

Илья Ударил рукояткой меча по плитам — и глухой гул ответил ему...

Смею надеяться, даже Илья не спал на посту в эти ночь.

Мы разложили щиты, и мечи, и шлемы — и утром осторожно слили росу в чашу. Мы обошли сосуды и собрали росу с них. Возможно, для воробушка этого бы и хватило. Но для троих богатырей... Так или иначе, утром мы принялись за дело. Но храм был словно заколдованный, наверно, на нем еще лежала тем прежней Силы, — несмотря на свою древность, плиты не отходили нигде, основание оставалось прочно и никакого хода в пещеры мы не нашли. А между тем пустоты прослушивались едва ли не по всему острову — где сильнее, где слабей.

Моряки были бодры и, посмеиваясь, предлагали нам воду.

В отчаянии мы опустились на скалы. Ничто не говорило о присутствии Волхва на этом проклятом острове. Хода в пещеры не было. Естественным для нас было объявить радостной команде отплытие, добраться до земли, утолить жажду, восстановить силы и двигаться в Русскую землю. Но было одно обстоятельство: не получалось подвига. Не в том дело, что нам нужна была победа, но нам была нужна ясность. Если мы втроем брались за что-то, то всегда доводили дело до конца. И это удерживало каждого из нас от того, чтобы сказать товарищам: «Поплыли отсюда!»

Казалось невообразимым, что Волхв может находиться в это мгновение прямо под нашими ногами. Он бы, несомненно, нашел способ себя показать. Не таков он был, чтобы сидеть как крыса в норе. Предположим, он не ожидал нашего появления. Но теперь-то он точно знал, что мы здесь. Волхв, в отчаянье сидящий в пещере без воды? Да и как он мог попасть в эту пещеру? Да не был ли прав Илья, и не были ли слова грека ловушкой?

Я сказал себе, что, по крайней мере, подвиг этот отвратит меня навсегда от островов, как бы заманчивы ни казались мне раньше эти вершины гигантских гор, подножиями уходящих во всю небывалую глубину моря-океана... И тут...

— Послушайте, — сказал я, — есть только одна возможность, которую нужно проверить. Вход в пещеры может быть под водой.

— Только лягушка залезет в такую пещеру, Алеша, — сказал со вздохом Илья.

— Или человек, который умеет нырять.

Илья посмотрел на меня с подозрением:

— Ты хочешь сказать, что ты умеешь это делать?

— Умею.

— Да когда ж ты этому научился?

— Не помню.

На самом деле я все прекрасно помнил. Я переправлялся через реку в бурю; лодка моя опрокинулась; я потерял Туг... Я был тогда совсем молод; теперь, возможно, я бы и махнул на это рукой, но тогда потерять меч казалось мне совершенно непредставимым. Я провел на этом проклятом месте три унижительных дня. Никто никогда не учил меня нырять — в лучшем случае воины умели плавать. Сначала я никак не мог собственно нырнуть с поверхности: вода выталкивала меня. Затем я не мог нырнуть глубоко: у меня начинало так ломить уши, что, казалось, они сейчас лопнут. Потом я долго боялся открыть глаза под водой. А потом я научился первому, второму и третьему и нашел свой меч.

Добрыня смотрел на меня с нескрываемой завистью.

— Кто тебя учил?

— Случай, Добрыня.

Про себя я посмеялся. Добрыня — как он думал втайне — гордился тем, что умеет, в отличие от Ильи, все.

— Подожди-подожди, Алеша, — вмешался Илья. Но ведь для этого придется обшарить подножие острова под водой, а этого не сумеешь даже ты.

Как сверкнули глаза Добрыни Новгородского при словах «даже ты»! Ох, богатырское соперничество, лучше бы тебя не было! Хотя коли бы не было тебя, то и не учились бы богатыри ничему...

— Все подножие? — сказал я. — Навряд ли. Если вход в пещеры есть и им пользуются, то он должен быть доступен в любое время, и с острова, а не корабля. Даже те, кто умеет нырять...

Снова проклятое «даже»! Кто тянул меня за язык! Хотя, чтобы подначить моего друга Добрыню, который не раз выручал меня и которого не раз выручал я...

— ...не умеют ползать по скалам вниз головой, как ящерицы. Значит, ко входу в пещеры должен вести более-менее пригодный для человека спуск...

— Я знаю такие места, — сказал Добрыня поспешно.

Я знал их не хуже, но согласно кивнул:

— Веди.

Я устал, от жажды мне не хотелось двигаться вовсе словно кто-то засунул сухую тряпку мне в глотку, но надо было проверить под водой все, что можно, заканчивать подвиг. В конце концов, мне предстояли осмотреть всего три места. На это меня должно была хватить.

— На всякий случай, — сказал я, — пусть Илья пошумит в храме. Стучи-ка в плиты посильнее.

— Постой, Алеша, — сказал Илья хмурясь. — Никогда такого прежде не бывало, чтобы двое не могли в случае чего помочь третьему. Это первый случай, и он мне не нравится.

— Ничего подобного, — возразил я. — У каждого из нас были свои собственные подвиги, когда никто не помогал. Считай, что нас снова разделяют дни пути.

Но Илья был прав, и неожиданная радость заиграла в моем, казалось, безнадежно иссохшем теле, и почти вприпрыжку направился я к первому обрыву.

Мы с Добрыней еле спустились к воде. В доспехах это не слишком удобно делать. Но скоро я лишился своих доспехов совсем — разделся донага, взял кинжал и прыгнул в воду. Последнее, что я заметил, было обеспокоенное лицо Добрыни.

Я давно не нырял; к тому же морская вода почему-то выталкивала меня на поверхность, как деревяшку. Бороться с нею было утомительно, но наконец я приспособился и нырнул. В ушах зазвенело, я открыл глаза и одновременно от изумления открыл рот, откуда полетели вверх шарики воздуха. То, что я увидел, меня потрясло.

Я плыл в волшебном мире. Серебряный колышущийся плащ воды был надо мною. Серебряный цвет у поверхности переходил в голубой, синий, темно-зеленый, все — цвета драгоценных камней. Я словно попал в карбункул. В каком-то восторге я плыл, пока хватило воздуха, потом вынырнул и погрузился снова.

Дно круто уходило вниз — в самую морскую пучину! Как жаль, что мне туда не донырнуть — уже и так в ушах моих звенело; чудесным образом я слышал, как бьется о скалы вода, — значит, звук жил и здесь, и если рыбы немые, то они вовсе не глухи! Багровые, сине-зеленые, зелено-желтые водоросли колыхались в Такт прибою, а на глубине шевелились, словно живые. Отполированные тела рыб мелькали передо мной и завораживали меня. Гигантские стаи проплывали мимо, По какой-то непонятной причине враз меняя направление. Только что стая неспешно двигалась к берегу — и вдруг в мгновение ока сотни тел мелькнули, как сотни клинков, и стая ушла на глубину. Я поднял глаза — наверху солнечные блики, как масло, стлались по воде. Мороз пробежал по спине от

восторга, я ощутил присутствие божества...

Я снова вынырнул и услышал показавшийся мне странным после звенящего подводного мира голос Добрыни:

— Как ты, Алеша?

Махнув ему рукой, я вспомнил о деле.

Я принялся нырять у скал; я был свободен и силен.

Но никакого входа в пещеры я не нашел. Дно была завалено огромными глыбами, точно такими, как и на берегу, — море делало свое дело и подгрызало остров. На одной из глыб я увидел ярко-красную рыбку, прилепившуюся к камню брюхом; потом проплыла темно-синяя стая рыб... Внезапно я услышал слабые ровные удары. «Что бы это могло быть?» — подумал я и засмеялся: это Илья, стараясь на совесть, долбил плиты храма...

Добрыня неверно истолковал радость на моем лице:

— Нашел?!

Я помотал головой.

Мы перешли ко второму спуску. Илья издала помахал мне рукой, как бы спрашивая: ну как? Я снова покачал головой: пока никак. Но усталость моя прошла, прошла и жажда — видно, холодная вода на глубине омыла и оживила меня.

На этот раз я прямо-таки сбегал вниз, так мне не терпелось снова очутиться под водой. «Чем бы ни окончился этот подвиг, — думал я, — мне он принес праздник».

И вот я снова был на глубине. Я сновал меж глыб, казалось — как всамделишная рыба, но везде утыкался в скалы. Я поднялся на поверхность и осмотрелся. Неподалеку от себя я увидел козырек огромной скалы нависающей над водой. «Что, если попробовать здесь?» — подумал я и нырнул.

Скала продолжалась под водой, наверно, на два человеческих роста, а потом — мое сердце радостно вздрогнуло — кончилась; я поднырнул под нее и оказался в пещере. Я проплыл немного вперед — пещера продолжалась, вот я уже видел только слабый свет справа и слева, а впереди — черноту. Я решил подняться на поверхность и набрать еще воздуха.

Я помахал рукой Добрыне, подобрал в легкие столько воздуха, сколько смог, и нырнул снова.

На этот раз я быстро устремился прямо в пещеру и поплыл по ней; и вот я уже был в полном мраке. Водоросли, свисавшие с ее потолка, щекотали мне спину; неожиданно руки мои уткнулись в дно: пещера превратилась в лаз, в который я и протиснулся.

И тут восторг внезапно оставил меня.

Развернуться я уже не мог, а это означало, что скоро я начну задыхаться, потом судорожно открою рот, упрусь в стены, изогнусь, вода хлынет мне в глотку — и это будет конец моих путешествий и праздников. Животный страх охватил меня. Руки мои тряслись. Удивляюсь, как я не выронил кинжал. Но у меня достало рассудка сообразить, что если и есть мне спасение — то только впереди. Но спасения не было, я уже бился в судорогах удушья и бессмысленно рванулся вверх...

И, ударившись о потолок, понял, что был спасен, потому что я вынырнул.

Я понял, что нахожусь под островом. Кромешная Тьма окружала меня. Я оглянулся — смутное серебристое свечение показывало вход в пещеру. Я дрожал всем телом. Из всех известных мне смертей эта была наименее приятной.

И вот мои руки уже дотрагивались до скалы, я из последних сил подтянулся и упал на нее. Я долго лежал так, пока не унялась дрожь, пока не пропали круги перед глазами, пока не перестало бухать сердце в груди. Скала была не по-земному холодна, и это быстро привело меня в чувство. Бесшумно я растерся, чтоб унять дрожь, и осторожно поднялся. Но пещера была, видно, высока; я поднял руку — и не достал до потолка. Держа руки с кинжалом перед собой, я осторожно двинулся вперед.

Я долго не мог найти проход, но наконец нашел, двинулся, держась за стену, дальше, усмехаясь тому, что могу заблудиться здесь; что ж, эта смерть была бы все равно легче той.

Пещера причудливо извивалась, я неспешно двигался дальше, все явственней слыша мерный стук Ильи. Это согрело меня: мои товарищи были рядом, даже если я их больше никогда не увижу. И тут, за поворотом, я увидел свет.

Я пошел еще медленней и тише, вжимаясь в ледяную стену. Противоположная стена освещалась все ярче, и наконец я увидел часть ярко освещенного подземного зала.

Свет шел от очага, потому что он мерцал, и казалось, что сами стены колыхнутся. Я двинулся — и увидел тень на полу. Я уже знал, что в зале находите Волхв: моя Сила запела. Не чувствовал ли он меня так же хорошо и не получу ли я стрелу в лоб, как только высунусь? Но я не знал иного способа попасть в зал. К тому же Волхв не дал бы видеть свою тень прежде себя; он должен был сейчас стоять спиной ко мне.

Я осторожно заглянул за угол. Волхв действительно стоял спиной ко мне, запрокинув голову и, видимо, прислушиваясь (хорошо долбил Илья! Именно он насторожил и тем самым отвлек Волхва). Враг кутался в плащ: здесь действительно было холодно, хотя обнаженное тело радостно оживо в волнах тепла, от очага. Невысокий и щуплый, Волхв казался совсем маленьким в этом зале, в окружении могучих стен. Но я-то знал, как страшно опасен он был.

Я стал лихорадочно соображать, что делать. Я умел хорошо метать кинжал. Но вдруг он скользнет и упадет, и я останусь безоружным, а Волхв невредимым? Я не мог допрыгнуть до него в один прыжок, чтобы сразу ударить в сердце. Сражаться Силой против Волхва, не вступая в бой, было бесполезно. Я колебался какие-то мгновения, собирая Силу и силы, но в это самое время я успел услышать, как Волхв пробормотал:

— Ишь, долбит! — и, помолчав, добавил: — Это, конечно, Илья.

И тут наши действия совпали: Волхв почувствовал, что в зале кто-то есть, и резко обернулся, а я бросился на него, надеясь в два прыжка быть у цели.

Время словно замерло. Я успел разглядеть приоткрытый от изумления рот Волхва, в котором — я отчетливо помню — не хватало одного зуба, темные глаза, неопрятную черную с проседью бороду. Он был безоружен. И я успел ощутить его Силу, которая укоротила мой прыжок. Я прыгнул снова, испытывая бешеную радость от изумления Волхва — еще бы, невесть откуда взявшийся нагой богатырь с кинжалом, — и уже в воздухе довольно неловко поворотил в сторону, потому что метнулся в сторону и Волхв.

И тут Волхв беззвучно раздвоился. Время пошло очень медленно, и я успевал заметить всякую малость. Один Волхв вышел из другого, он был как бы бестелесен (огонь просвечивал сквозь него) и тянулся к оружию, лежавшему на полу. Волхв, от которого отделился призрак, был, напротив, ясен до последней Черточки, шептал заговоры и смело смотрел мне в Глаза, не шевелясь. Не знаю уж, какой бог помогал мне но только я бросился к бестелесному, прозрачному, хотя телесный должен был при этом ударить меня в затылок, и, покуда прозрачный упырь нагибался за оружием, глубоко полоснул кинжалом по его правому боку. Раздался крик ярости и боли, брызнула кровь, и этот Волхв стал телесен; на одно мгновение я повернулся ко второму и понял, что он-то и был в самом деле бестелесный двойник, потому что он уже почти растаял, только какие-то тени еще висели в воздухе.

Когда я прыгал в третий раз, Волхв был уже вооружен мечом — а я наг, с одним кинжалом в руке. Но из-под ребер его обильно хлестала кровь, и Сила Волхва заметно убавилась. Я, напротив, ощущал победный прилив ее и, увернувшись от меча, который Воли из-за раны держал нетвердо, попытался отсечь ему правую кисть.

Волхв отскочил, оставляя за собой кровавый след. Я едва ушел от меча и решил завертеть его. Я прыжками понесся по кругу, норовя зайти в спину, а Воля неловко поворачивался за мной, шипя сквозь зубы непонятные мне слова и пытаясь держать меня на расстоянии.

Тьма стала опускаться на подземелье, пошел гул отдаленный хохот, и красные искры замелькали в воздухе, и я уже знал, что Волхв зовет Больших Духов.

Тут бы и пришел мне конец, но меня как-никак учил Святогор, и я зажег в своей груди правее сердца огонь; если бы я опоздал на миг, Большие Духи уничтожили бы меня, но я

догадлив, и вот тьма остановилась в нерешительности, как туча, и я снова видел Волхва и вел его по кругу.

В несчастливое для себя мгновение, не в силах больше выносить боли в правом боку, видя, что Большие Духи приостановились и надо рассчитывать на оружие, он решил перекинуть меч в левую руку и тут я ударил по левой кисти, и надрубил ее глубоко и отсек палец, и Волхв взвыл, и меч выпал из его руки. Задыхаясь, он стал отступать, повторяя:

— Замри, замри!

Тут Волхва окутало синее пламя; я никогда не думал, что даже Волхв с его Силой способен на все то, что я видел, но у меня не было времени изумляться; одержимость владела мной, и, не осознавая, что делаю, я бросил всю свою Силу на синее пламя... Оно заметалось, появились бреши, и я уже снова видел смертный оскал Волхва, которого если и могло теперь что-то спасти, так это пламя; я рубил синий огонь кинжалом, и — дивное диво — я действительно рубил его, как дерево, и брызги пламени летели в стороны, и вот уже пламя свелось к огненному обручу вокруг ног Волхва, и я выбил его из этого кольца одним ударом в глаз — Волхв отшатнулся, и пламя исчезло.

Я ощущал бешенство Волхва; тьма Больших Духов развеялась, потому что Сила его таяла («Палец! — мелькнуло у меня в голове. — Палец!»), а моя прибывала — видно, помогали мне боги, — и мне было противно бросаться на него и душить, как было бы противно душить змею, противно было даже подумать, что мои руки будут прикасаться к его коже, и я сек эти вытянутые руки кинжалом, а Волхв все выл:

— Замри, замри!

Несколько раз я почти попадал ему в грудь, но всякий раз его Сила отводила мой удар, но наконец не отвела, и я вонзил кинжал ему под горло, и Волхв захрипел, и ухватился за мои руки мертвой хваткой, но тогда я дернул кинжал вниз, и он обмяк и упал.

Но в ту же минуту он провалился сквозь землю.

Поначалу я не мог поверить своим глазам, а затем Все понял: умирающий или мертвый Волхв провалился в колодец. Я заглянул туда, и все, что я увидел, — это как вода безразлично уносила его безжизненное тело в сторону моря...

Я огляделся. Коридор вел еще куда-то, но у меня не было большой охоты лезть туда в темноте; Волхва больше не было на свете, а тайны острова меня интересовали мало.

Я вернулся в зал. Очаг (интересно, как он доставал дрова?), огромный чан с водой (мне было противно ее пить, хотя рот мой горел); звериные шкуры в углу; доспехи; лук; стрелы Волхва. И вот — наверно, единственно ценная вещь — сума Волхва. С некоторым трепетом я взял ее в руки, словно ожидая, что оттуда выползет клубок змей. Но клубка змей не выползло. Травы. Золото. Ничего, что бы наводило на след его последних замыслов. Я покончил с Волхвом, но какие семена он посеял на Русской земле, догадаться я не мог. Одно я знал твердо: не мог Волхв пронести все; это сквозь морской лаз. Должен был быть какой-то тайный выход, которого мы не нашли.

И тут вернувшееся ко мне любопытство едва не погубило меня.

Я огляделся, взял из очага тлеющую головешку и пошел по коридору. По дороге я заглянул в колодец — чернота, плеск воды. Попутно же я отметил, что стук Ильи наверху прекратился.

Но едва я вошел в коридор, как почуял опасность! Я стал подвигаться шажками и неожиданно, не понимая почему, отскочил.

Через мгновение я все понял. Раздался грохот, и огромная глыба упала на то место, где мгновение назад стоял я. Посыпались камни. Коридора больше не было. Был свежий завал. Посмертный подарок Волхва.

С большим сожалением я отступил, плюнув по дороге в Волхвовую могилу.

Я решил прихватить с собой суму — как свидетельство моего подвига. И еще... я подобрал отрубленный палец Волхва. Лишившись его, Волхв ослаб: не в самом пальце дело, но Сила требует целого тела. Мне было противно подбирать этот кровоточащий обрубок, невероятная безразличность к злой Волхвовой плоти охватила меня; но я хотел показать

товарищам хотя бы это, если я не мог показать им мертвого врага.

Я вошел в воду. Это было несказанно приятно; она смывала пот и самую скверную прикосновения к Волхву.

По неровному свечению я без труда нашел лаз. Я нырнул в него без содрогания, хотя в моей памяти он остался как едва ли не самое страшное воспоминание жизни. Но теперь я был так опьянен победой, что ничто не страшило меня. И действительно — вот чудо! — я спокойно миновал лаз и, когда вынырнул на поверхность, задыхался меньше, чем можно было ожидать.

— Алеша! Алеша! — кричали мне два голоса.

Только когда руки товарищей подхватили и вытащили меня из воды, я понял, как смертельно устал.

А к вечеру стали умирать варяги.

Мы готовили на морской воде рвотное, но оно уже никому не помогло. Яды Волхва если и поддаются лечению, то лишь в первые минуты.

Моряки проклинали нас и наше золото. Даже мне сделалось не по себе от их проклятий, хотя, как считал я, наша совесть была чиста: ведь мы же предупреждали их.

— Все-таки надо было связать им руки, — пробормотал Илья.

— Или вылить всю воду, — сказал Добрыня.

Я молчал. Я-то считал, что каждый сам ответственен за свое безрассудство. Если тебя предупредили сведущие люди, а ты не внял — ты платишь, и это уже твое дело.

Кто бы ни был ответственен за их безрассудство, но, когда я стоял над двенадцатью скорчившимися трупами, произвольная дрожь прошла по спине. Последнее дело Волхва!

— Если бы не Алеша, — мрачно кивнул Илья, — мы бы теперь тоже тут лежали.

Нам чудовищно хотелось пить. Мы остались без команды на безводном острове. Никто из нас понятия не имел о том, как управлять судном. Найти путь ж земле было легко — все богатыри находят дорогу по звездам без труда. Но как совладать с парусами? С рулем?

— Делайте что хотите, — твердил Илья, — у вас мозги молодые, справитесь. Подыхать на этом смердящем острове я не хочу. Вы меня сюда заманили — вы меня отсюда и вызволите. Не может Илья умереть не на Русской земле.

— А мы, значит, можем? — прищурился я.

— Вам Царьград нравится, — сердито отвечал Илья. — Целуйтесь там со своими греками. Добрыня вот на Восток все хочет. Голову сложить там не боится. А ведь это надо тоже думать — где голову сложишь.

Мы стали совещаться дальше. Безусловно, нашей обязанностью было осмотреть подземелья острова. Кто знал, что они таили? Где вышел на поверхность Волхв первой ночью? Чему мог научить нас остров? Он был чужой нам, но, когда находишь тайну, не спрашиваешь, чья она. Однако на росе нам было не протянуть больше ночи. Знающий, но мертвый богатырь — это не нравилось даже Добрыне. Мы решили отплыть вечером, сами не зная как. В конце концов, на судне были весла; если мы не справимся с парусами (а мы скорей всего не справимся), надо будет грести — хотя даже три очень сильных человека будут продвигать корабль вперед чрезвычайно медленно и могут умереть от жажды очень быстро. Но это была единственная надежда на спасение — да-да, на спасение, речь шла именно об этом. Была, конечно, еще бочка с водой в подземельях Волхва — но что это была за вода? Никто из нас не прикоснулся бы к ней...

Пускай нас осудят, но мы не стали хоронить моряков в земле. Рыть могилу для двенадцати человек, в сухой земле, на скалах? Нам нужно было беречь силы. И мы привязали к телам камни и опустили их в воду. Добрыня прочел молитву... Никогда я не мог понять меры человеческой беспечности, думал я. Я хотел даже выбросить проклятое золото в воду, но Илья сказал:

— Вот уж не надо, вот уж глупо, Алеша. Хоть семьям передать.

И конечно, он был прав.

Мы пересмотрели травы Волхва, и нехороший холодок пробрал нас. Мы не знали почти

ни одной. В своем большинстве это были травы из неведомых стран. Мы решили забрать их с собой, чтобы, если боги позволят, и мы доберемся до земли, разобраться в них куда тщательно.

Мы перебрали суму Волхва до ниточки — но нет, больше ничего мы не нашли.

— А вы думали найти жизнеописание! — издевался Илья. — «Правдивая история о том, как я собирался погубить Русскую землю, с приложением будущих замыслов»!

Мы прилегли отдохнуть в тени храма.

— Пожалуй, теперь караульного можно не ставить, — печально усмехнулся Добрыня.

— А мы все же поставим, — буркнул Илья. — Мы по-другому не приучены.

И остался караулить первым.

Не успели, казалось, мы заснуть, как услышали го/ Ильи:

— Эй, богатыри, проснитесь. Диво дивное... И мы увидели парус.

Моим первым движением было вскочить и бежать к пристани.

Моей первой мыслью было: «Не торопись». Богатырям стоит всегда предполагать худшее. Я взглянул на товарищей. Они тоже нахмурились. Похоже, вместо холодной воды и спокойного путешествия к земле нам предстоял бой.

— А ведь это, наверно, разбойнички, — промолвил Илья.

— Больше некому, — согласился Добрыня.

Укрыться в расщелине на этом острове было проще простого, однако надо было решать, как держать бой. Решили разделить и залечь по трем ямкам, из которых простреливалась пристань.

Разбойнички явно ничего не подозревали. Я стал гадать, не связаны ли они были с Волхвом. Не было у Волхва своего корабля, а нора его здесь оставалась, надо полагать, убежищем на самый крайний случай: кто бы еще, кроме меня, достал Волхва прямо из-под воды? Значит, кто-то привозил Волхва сюда и забирал его обратно. Не за ним ли приплыли разбойнички? Не надо всех убивать, думал я, кого-то и допросить можно, а кого-то, может быть, и заставить отвези нас на материк: к чему самим-то с премудростями этими возиться?

Корабль полным ходом шел к пристани. Разбойнички, видно, чувствовали себя здесь как дома. Вдруг корабль замедлил ход, и меня прошиб холодный пот: у пристани стоял Сокол-корабль! Я стал быстро соображать и пожалел о том, что мы похоронили моряков: если бы разбойнички увидели мертвецов на берегу, они бы решили, что Волхв уже справился с ними сам. В досаде я ударил кулаком по скале. Вот куда заводят добрые намерения! Хоронить негодных беспечных варягов, чтобы потом оказаться в осаде разбойничков, не смея поднять головы!

Корабль кружил долго. Тени медленно перемещались, и мне казалось, что сейчас я, распластанный, здесь и кончусь от невыносимой жажды и зноя. А кто не лежал на горячих скалах в кольчуге, тот меня не поймет... Я знал, что мои товарищи испытывают то же самое. Как долго мы проживем без капли воды, не смея поднять голову? Не до ночи ли? Хорошенькая получалась победа над Волхвом. И тут я принял решение.

Я медленно поднялся во весь рост и, не глядя в ту сторону, где залегли мои товарищи, побрел к пристани. На ходу я пошатывался и спотыкался. Дойдя до ступеней, я упал на колени и склонил голову. Краем глаза я следил за морем, представляя, какое недоумение должны испытывать мои товарищи.

И тут корабль полным ходом пошел к пристани. Я не знал, убьют меня или не убьют, но у Добрыни с Ильей была теперь возможность уцелеть. Вот уже корабль был совсем близко; и я поднял голову: «Десять человек», — быстро сосчитал я. Они стояли с Мечами наготове. «Неужели сразу примутся рубить?» — подумал я и хрипло прокричал:

— Воды!

— Бросай меч и кинжал, — услышал я и понял, что убивать меня сразу не станут. Я медленно поднялся с колен, шатаясь, и отбросил оружие в сторону. «Легкая смерть!» — мелькнуло у меня в голове. Пять человек соскочили на ступени в воду и бросились ко мне. Я покачнулся и стал падать. Они брезгливо отшатнулись — а я всегда говорил, что

брезгливость до добра не доводит — и метнулся им под ноги. Трое упали; я услышал свист стрел. Мало кто так хорошо стреляет из лука, как обозленный и измученный богатырь.

Пока я душил одного, двое уже легли, а еще двое в ярости бросились рубить меня. Мало кто так изворотлив, как богатырь, сражающийся за свою жизнь. Стрелы свистели еще, и, когда я добрался до своего Туга, у меня оставался только один противник.

Корабль уже отплывал: оставшиеся в живых были заняты делом, не имея времени защищаться. Я молил Бога, чтобы мои товарищи не дали кораблю уйти — и что же, корабль беспомощно закружился на месте.

Я бросился по ступеням в воду и перемахнул через! борт. Двое обреченных метнулись ко мне с кинжалами — но сейчас меня могла бы остановить только дюжина, и вот один был убит, а второй расчетливо ранен.

Илья и Добрыня бежали к пристани.

— Где тут у вас вода? — спросил я разбойничка весело.

Теперь на коленях стоял не я, а он. Бояться мне больше было нечего, я подхватил бочонок и прильнул к нему...

Когда я едва заставил себя оторваться, Илья с Добрыней были уже на корабле, еле держась на ногах от жары и жажды. Я кинул бочонок им, а сам подошел к пленному:

— Зачем приехали?

Он молчал, и тут меня забрала ярость, и я пнул его ногой. Почему-то я сразу подумал, что не успел насладиться смертью Волхва.

— За золотом... — прошептал он, серея от боли.

— Врешь, — сказал я и занес ногу для удара. Спинай я чувствовал одобрение Ильи и крайнее осуждение Добрыни. Я мог бы сказать ему: за Волхвом пришли? Но я не хотел делать этого, ярость бушевала во мне, я вдруг вспомнил, сколько трупов оставил Волхв на русской земле, и я ударил его еще раз.

— Мы пришли за... хозяином...

— А кто твой хозяин? — сказал я и ударил снова, чувствуя, что Добрыня сейчас прожжет мне глазами дырку в кольчуге.

— Волхв! — прокричал он. — Не бей! Я ничего не знаю! Мы привезли его сюда двадцать дней назад! Мы должны были сегодня забрать его! Больше я ничего не знаю! Он говорил только с Клыкастым! Я ничего не знаю! Я раньше никогда не видел его!

— И куда же вы дели припасы для Волхва?

— Мы вынесли их на берег и уплыли. Так сказал Волхв.

«Он не врал, — думал я. — Он действительно ничего не знал. Хорош был бы Волхв, если бы поведал о своей — может быть, главной — норе!»

— Где вы забрали Волхва?

— В Царьграде. Он сам нас нашел. Я больше ничего не знаю! Что-то знал Клыкастый...

— Вовремя ты Клыкастого подставил, — сказал я. — Управлять кораблем умеешь?

— Да! Да!

Я перевязал ему рану.

— Ну и выдумщик же ты, Алеша! — сказал мне Илья восхищенно. — Я уж думал, ты от жары в уме повредился, когда к пристани-то пошел!

— Только вот остановиться вовремя не умеешь, — сказал Добрыня, оттаивая.

Делать нам на острове было больше нечего. Разбираться с ходами и тайными лазами Волхва было уже не с руки: надо было спешить прочь с этого острова, который мог еще раз попытаться нас погубить, и возвращаться в Русскую землю; да и после смерти Волхва тайны его уже не имели большого значения.

Мы дважды обошли на корабле остров, надеясь что тело Волхва вода вытащит из подземных колодцев и прибьет к берегу, но ничего не нашли. Усмехаясь, я представлял, как плоть Волхва уже рвут на куски жадные морские твари.

Когда мы удалялись от острова, я весело смотрел на эту каменную гигантскую всплывшую рыбу и думал, что, как бы хороши ни были Добрыня с Ильей, на этот раз это

был мой подвиг.

Глава 3. ИЛЬЯ

Охо-хонюшки-хо-хо, хорошенькие дела творятся в Русской земле. Чуть кошка во двор — мыши на хозяйстве. Не будет прока от князя Ярослава Владимировича. Съехали богатыри в чужую землю — и скатертью дорожка. Никто не зудит над ухом, не лезет с советами, никто не страшает Волхвом да Святополком, никто не перечит княжеской волюшке. Снова можно гулять напропалую, снова можно думать, будто прочен престол, словно канули в воду Святополк с Волхвом, как бельмастая нежить. Гудит дворец князя Ярослава, нет покоя зверью в окрестных лесах. Качают головами киевляне: хороший князь, нечего сказать. Даром что хром Ярослав, но прыток, все успевает, кроме как дело делать.

Мы возвращались с проклятого Змеиног острова, где едва не перемерли без воды, не спеша. Бросили, правда, на острове Сокол-корабль, да где нам с ним было управиться. Разбойничья посудина поменьше и повертлявей была. Добрались мы до берега, напились, наелись вволю, походили по надежной тверди, дождались корабля, идущего к гирлу Днепра, и поехали в Русскую землю. Смилоstinилось над нами морюшко: тихим было, и скоро мы уж снова на твердой земле стояли, а не на досках, хлипких и вихляющихся, а там уже и коней своих нашли. Да, разыскали мы друзей-приятелей тех варягов, что на Змеином погибли, и разбойничий клад им передали — чтоб отдали семьям погибших.

Удивился я: кони поначалу к нам потянулись, а потом заржали не по-хорошему и пятиться стали. Ну да Добрыня с Алешей объяснили — палец Волхва везем. Пальчик-то бросать не стали; не знали, на что сгодится он нам, а нашел воровскую котомочку — вороньятам не оставляй.

Приласкал я своего Бурого, третьего моего товарища; и он рад, и я. Без Бурейки и Илья не Илья.

Двинулись на север. Хорошо дышалось, легко после того, как нетопырь Волхв ухнул в морскую пучину. А может, еще и до сих пор море его по ходам-переходам носит, червя дохлого. Хороший подвиг получился, небывалый, да только некому рассказать. Хоть и нет Волхва, а лучше о нем молчать. Много недобитков осталось, и никогда не знаешь, как новость твоя повернется.

В степи была уж осень; ласковая лежала степь. Деловито сновали по ней птицы и звери; терялись в выгоревших высоких жестких травах. А надоест ехать — опустишься на траву, она пахнет приятно, земля спину греет — и дремлешь. А надо разогнать жар — так вот он, Днепр, под боком, с прохладной водой, бежит, дурной, в соленое море.

На южных рубежах Русской земли дошла до нас весть о войне. Святополк укрылся у тестюшки своего, разлюбезного короля польского Болеслава, свиньи мирной и памятной. Очертя голову ввязался Ярослав в войну с королем польским: сманил князюшку нашего немецкий король. Но все делал Ярослав вполсилы и воевал кое-как. Разбили немецкого короля поляки, замирился он с ними, а Болеслава ждали теперь в Русской земле... Да уж, сыночки у князя Владимира... Старый дуб молнией сшибло, а молодые дубки в осину пошли. И вот въехали мы в Киев после дорожки, подвига и снова дорожки. Весть о нас бежала впереди: не особенно мы торопились возвращаться. Как повелось, после подвига прямоком пошли к князю. Тот как раз сбегал с крыльца, нороя, по своему подлому обычаю: затеряться куда-то со двора. Увидев нас, обрадовался:

— Богатыри вернулись! Кто со мной на охоту? Сейчас волчья охота как никогда!

— Мы с другой волчьей охоты вернулись, князь, — сказал Добрыня сурово.

Потухло лицо князя.

— Мертв Волхв.

Князь смотрел в землю, кусал губы. Потом, все так же не глядя на нас, стал сбивать носком сапога пожухлый куст чертополоха. Поднял глаза, обвел взором синее осеннее небо, вдохнул прохладный благодатный воздух:

— Не забуду вам этой службы, богатыри.

Подставил лицо последнему теплому солнцу, смотрел в небо, где кружил ястреб над киевскими крышами.

— Как наградить вас?

Тут я не вытерпел — крикнул.

— Отец твой нас лаской награждал да тем, что советы слушал. Вот и вся наша награда была.

— А я, выходит, на ласку скуп да советов не слушаю, — нахмурился молодой князь.

Что говорить, боялся я, когда хмурился князь Владимир. Это только Добрыня смел с ним был. Но этого княжонка, которого мы же сами на престол и поставили — мне, Илье, бояться? Тут уж лучше я, как Добрыня от Владимира, с княжеского двора уеду.

— Серчай — не серчай, князь, — сказал я, — а правду слушай. Будет твоя ласка — хорошо, не будет — не одной ею богатыри живы. А то, что советы даем, так за то не обессудь, советы те ранами нашими оплачены и жизнью укороченной.

— Так что же советуете вы мне теперь? — хмуро спросил князь.

— Готовься к войне, — промолвил Алеша.

— Уже воюю! — неожиданно засмеялся князь. Лицо его просветлело. — Воюю, но пока толку мало!

Мы переглянулись. Что с ним было делать? Два было умных сына у князя Владимира — Борис да Глеб, и обоих мы не уберегли, достал их Волхв.

— Эх, богатыри, — воскликнул князь, — потом о делах поговорим. На охоту со мной, а?

— Да ты уж сам лучше...

Князь как мальчишка побежал к свите. До нас доносился его звонкий голос:

— Сейчас едем! И так утро потеряли!

«Утро потеряли!» Что с таким сделаешь?

— Одно хорошо, богатыри, — сказал я, — что волчищу мы затравили. А князь — Бог с ним.

Алеша хмыкнул, посмотрел по сторонам и вдруг засмеялся:

— Богатыри, небо-то какое!

Прощалось солнышко с Русской землей, бросало золотые паутинки, кликало вереницы птиц в небо, шитые плащи кидало на деревья, подбивало парчою края небушка. Воздух уж северный веял, со студенинкой, вкусный, почти хрустящий.

— Да черта ли нам в этих князях, — сказал я. — Поехали, богатыри, разгоним печаль!

Тут даже Добрыня заулыбался, и поехали мы пировать, и солнышко светило и пригревало, и ветерок Остужал, и весело гуляли мы до самого заката, а потом загорелось небо, и похолодало, и я уж зевал, думая: «Вот как славно, сейчас завалюсь — и до утра; люблю я перины». Алеша собрался и в город ускакал — девок веселить. Добрыня потыркался и на двор пошел — думу думать, а я спать пристроился. Трясли Илью по морям по скалам таскали, голодом морили, теперь уж Илья выпится, належится, отъестся. Хорошие времена наступают, покойные, теперь, наверное, до весны. Может, и скучно сделается, да найти себе занятие нетрудно. А теперь — завалиться и томиться сладко в постельке...

И подумал я отчего-то о Святогоре, Учителе своем. Вот Никита говорил — про Смородинку один Святогор все знал. Да теперь еще мы сподобились чуть-чуть Святогор, да. Не такой ему был нужен ученик, как я, и даже не такой, как Алеша. Во мне Силы вообще не было никогда, а Алеша шепотной очень. Добрыню бы к Святогору. Так ведь и погибло все, что Святогор знал, — малую толику Алеше передал, ну а мне и вовсе... Но без этой малюсенькой толики кто бы я до сих пор был? Калека. А Святогор пришел, помог, взял в ученики, видно, верил, что пригожусь Русской земле на что-то.

Помню, Добрыня рассказывал мне: обмолвился однажды Никита, что приходит время, когда богатыри начинают учеников искать. А для меня вот это времечко так и не пришло и

не придет. Мы другие уже. Святогор, которого теперь совсем глухо помнят, Никита, который всегда так тайлся от молвы, что и забыли о нем, поди, уже — то были особые богатыри, тайные, а Святогор вообще такие тайны ведал и в том мире, и в этом — что не дай тебе Бог...

Я обезножил в малолетстве. Мать говорила: сглаз. А я помнил другое: бежал лесом, и вдруг на меня такой страх напал, что больше ни шагу не сделал. Так и нашли меня потом в этом лесу, и то хорошо, что вовремя спохватились, а то погиб бы дитя. В лета, в которые Добрыня с Алешей подвиги уже совершали. я-то ползал, выл по ночам тихонько. Сколько сейчас Добрыне? Тридцать четыре? А Алеше? Тридцать пять? О-ХО-ХО... А я-то до тридцати трех годочков либо на печи лежал, либо по двору ползал. Сразу тяжеленок вырос, палки не держат, ломаются... О-хо-хо... Ночью в кулак вою, а днем кобылу за ноги поднимаю. Силен был и не хотел отчего-то слабеть. Родители со двора в поле — а я на двор, кулаком дрова колоть. С девкой уж после ученичества сошелся, а так — безногий, убогий, куда?

И вот однажды сижу я на печи, растворяется дверь, входит Святогор. Он уже тогда седой был и на меня телом похожий — как дубок такой. «Это ты, — говорит, — не ходишь, а коня поднимаешь?» «Я», — говорю. — «И дрова, говорят, кулаком колешь?» — «Колю». — «А ну-ка», — говорит и бросает мне кругляш какой-то желтый, блестящий. Не знал я, что это золото, а взял и смял. «Ого», — говорит Святогор. «Ого», — говорю. «А ну пошли», — говорит Святогор. «Как пошли?» — А он смеется. Зло меня взяло, но и надежда тоже какая-то появилась — спустил я ноги с печи.

Стою. Шатаются ноженьки под моей тяжестью, но — ходят! Я Святогору — земной поклон.

А он говорит: «Со мной поедешь». И повез меня, безногого почти еще, и по дороге расходил. И стал меня учить. Поначалу Силу мою пробовал немного, а потом говорит: «Жалко, но не такой ты будешь богатырь. Учись другому». И многому научил. Меч и лук в руки дал, научил лошадей знать, лес, поле. Смерть моя была — языки, по-степняковски и по-гречески. Плакал. Не могу. А Святогор: учись! Брови нахмурит, а я тогда, даром что за тридцать, а еще Дитя дитем, боюсь его, учусь. Ну и пригодилось. Все пригодилось, чему Святогор учил. А Сила — да без Нее спокойнее.

Едем однажды со Святогором по степи, он и говорит: принеси мне, говорит, волос с головы степняка только саму голову, Илья, не трогай, а то знаю я тебя, ничего себе, послал! Поскакал я в степь, вижу, степняки едут. Я им наперерез, мечом клик, рукой хват — и у степняка проплешина на боку, а у меня клочок волос его. Они за мной: потому что если волос возьмешь у человека, значит, порчу на него навести хочешь. Это я уже потом сообразил, когда они за мной гнались. Что делать — не ложиться же в степи самому, положил я пятерых, и того, с проплешиной, тоже. Отстали. Успокоились, видно: тот-то все равно уже мертвый был, не страшна ему порча стала. Возвращаюсь к Святогору. «Принес?» — «Принес». — «Голова цела?» — «Нет». — «Почему?» Рассказал я. Недоволен Святогор. «Принеси мне, — говорит, — стрелу степняка, только самому степняку не вреди». Поскакал я в степь. Нашел других степняков. Давайте, говорю, стрелами меняться. Они: не от Волхва ли ты, что стрелами меняться зовешь, погубить нас колдовством хочешь? Тьфу ты, далось им это колдовство! Снова — ввязали они меня в драку, троих положил, у них стрелы взял. Приезжаю к Святогору. «Принес?» — «Принес». — «Степняк цел?» — «Убит». Покачал головой Святогор. Говорит мне: принеси мне меч степняка, только помни — не трогай, не губи живой души, лиходей. Поехал я.

Золотом брэнчу. «Продай меч», — говорю. «Что, русская собака, — кричит он мне, — свой-то меч пропил?» Освирепел я, кончил степняка. Молчит Святогор. Помолчал, помолчал, говорит: «Не будет из тебя толку, Илья. Зря я на тебя силы тратил». Сел на коня и уехал. Я на землю сел и плачу. Потом озлился, поехал в другую сторону. Вижу — степняки. «Давай, — говорю, — степняки, силой померяемся: кто кого за волосы от земли приподнимет». Они — ты, говорят, здоровый очень. А я говорю — вас двое меня поднимать и я вас двоих. Схватили они меня. Не стал я упираться, волос жалко было. Подняли. И я их

поднял, да волосики их к руке моей прилипли. Спрятал я волосики.

«Что, — говорю, — степняки, кто по лезвию меча на руках пройдет?»

Подивились они, прикопали меч в землю. «Отойдите, — говорю. — Сейчас Силу показывать буду». Они отбежали, понятное дело, а я меч хвать, на коня — и деру. Они мне вслед стрелы пускать, я одну рукой поймал и ушел от них.

Догнал Святогора. Вот, говорю, тебе и волос, и стрела, и меч, и рассказал, как дело было. Обнял меня Святогор. Кончилось, говорит, твое учение, Илья. Ступай теперь ты в поле без меня. Как ни просил я его, ничего не слушал, а только махнул рукой и уехал, и стал я с той поры сам странствовать.

Но только, на мой вкус, волос проще с головой вместе взять.

Потянулась зима. Добрыня уехал к матери на север. Там же его и Никита ждал, которому теперь предстояло выслушать всю историю — и как Добрыня победил Смородинку, и как Алеша победил самого Волхва.

Алеша на запад уехал, на Червонную Русь: зима там была мягче, мягче были и девицы. Пошел Алеша отыгрываться за трудовое лето, шалопут, о-хо-хо. Я-то в первый раз девки попробовал, когда уж со Святогором расстался, годков тридцать шесть мне было. И Девка какая-то странная попалась; никому я не рассказывал о ней, а — странная. Заночевал я в деревеньке Мшенке в новгородских лесах. Рассказал пахарям про свое жите-бытье, ну, приврал немного, в то время обо мне песен еще не пели, а очень этого хотелось. Расположился я в пустовавшей избенке, спать уж лег. Вдруг входит ко мне девица; лицо ее так странно в свете месяца холодно сияет, кланяется с порога и говорит: пришла, мол, богатырского богатства отведать. Странная была девица, не скромничала, откуда взялась — не знаю, а только легла со мной. Утром проснулся — нет девицы. Не сон ли то был? Может, приснилось мне то, о чем мечтал двадцать лет? Обошел я деревеньку, все избы осмотрел — ни одна девушка не краснеет, ни одна ко мне не бросается. И я ни одну не узнаю, хотя лицо ее в свете месяца хорошо рассмотрел — красивая была, а на плече родинка, до сих пор помню. Ну да ночью лица другие бывают, это я потом понял, когда уже сам в избы к вдовам стучался; утром и не узнаешь... Потом заезжал в ту деревеньку раза два из любопытства, но никто больше ко мне ночью не заходил. Странная была история, и вскоре после этого заехал я к Святогору, который жил там, куда сейчас Алеша поехал, и говорит мне Святогор, хмурия брови: вижу, коснулась тебя, Илья, злая Сила. Рассказывай. Но не рассказал я Святогору правды, хотя уже погрешил про себя на девицу эту. Помолчал Святогор после моих баек, а потом говорит: считай, Илья, годы и жди — злая Сила эта к тебе еще вернется. Я струхнул, поначалу кошкиной тени боялся, а потом привык, и так думаю, злая Сила эта ко мне не раз уже возвращалась, потому что хоть и не люблю я в дела такие мешаться, а бывает — надо. И ничего, до сих пор жив.

Скучно мне было в Киеве, но, видно, старею я. На седьмой десяток уж перевалило. Не хочется ни поехать размяться, ни к вдове какой постучать. На пир к князю Ярославу придешь, сидишь, пьешь, ешь до одури — вот и вся радость. Проходит мое времечко, и страшно мне не это: у всех время проходит, а страшно мне того, как я старость встречать буду. Не смерти лютой, говорят, бойся, а старости неприкаянной. Вот Никита — почувал, что силы уходят, хотя и моложе он меня сильно и в скит свой ушел, и хорошо ему там, хотя и тоскует временами. Святогор, Учитель мой, тоже на покое последние дни доживал. Но у него Сила была, и он ею баловался. Святогора Сила долго держала. Когда он меня в ученики взял, ему уже годков шестьдесят было, да лет через десять он Алешу нашел, и с ним еще года три странствовал. И только глубоко на восьмом десятке отошел от дел Святогор и занялся, я думаю, одной только Силой, и умер быстро, так никому знание свое и не передав. Не от гордыни: не таков был Святогор-богатырь, а оттого, что невыносимо тяжела была эта Сила. Тяжел был и конец Святогора. Нехороший конец, я многого в нем так и не понял, и думать про это не любил. А вот зимой этой тоскливой киевской — вспомнил. Видно, и мне пора о душе подумать, раз все это в голову лезет. А каким богам молиться, новым или старым? Святогор — тот нового Бога так и не принял. Я, говорит, старыми вскормлен. И в самом деле

— дивные слухи ходили о том, что не от человека зачат Святогор матерью, а от Стрибога. Врали, наверно, потому что свечку-то никто не держал. Но Святогор слухи эти не опровергал. Станный был богатырь, Святогор, действительно — тайный...

Так вот: однажды находит меня гонец — Святогор зовет. Что такое стряслось, думаю? Поспешил я к Угорским горам, где Святогор дни коротал. Приехал под вечер. Нехороший вечер какой-то, да и место мне то никогда не нравилось: мрачное, под горой, лес уж не русский совсем... Святогор ко мне не выходит, хотя в окне огонек.

Зашел я. Лежит Святогор, глаза закрыты, а над ним свеча. Опоздал, думаю. Стал на колени, заплакал, ткнулся в руку поцеловать — а рука холодна, но не смертным холодом еще, а старческим. Понял я: жив Святогор! Стал я его по щекам похлопывать. Из меня декарь-то плохой. И водой поливал, и в рот дул, и за руки щипал. Совсем в отчаяние пришел, взял меч Святогора и в руки ему вложил: пусть, думаю, с мечом своим богатырским в руках помрет. И ожил Святогор тут.

Глаза раскрыл, шевельнулся. «А Алеша не приехал? — спрашивает. — Я вас обоих звал». «Не знаю ничего, — говорю, — не добрался до тебя еще Алеша-то, где скитается — не знаю, может, и не нашла его весть твоя». А Святогор говорит: «Нашла. Я к тебе двуногую весть посылал, а к нему мысленную». Тут я понял — Силой Алешу кликал. Но не приехал Алеша. «Плохо», — говорит Святогор. «Что плохо?» А он смотрит на меня так тяжело, как только Святогор один и умел, и говорит: «Помощь мне нужна. А на тебя надежда плохая: Силой не владеешь». «Давай, — говорю, — Алешу ждать». Усмехнулся Святогор: «Хорошо тебе, Илья, что ждать можешь. А я не могу». Лежит, молчит, думает, а у меня слезы по щекам текут: зачем такого неукса себе Святогор в ученики взял, который ему на старости лет и помочь-то не может. Наконец говорит Святогор: «Все, чувствую, ждать больше нельзя. Время выходит совсем. Держи мой меч. Я читать буду, а ты легонько по мне мечом ударяй. С ног начинай и до головы иди». Ничего я не понял. Тут — сами собой, правду говорю, — остальные свечи зажглись. Святогор глаза закрыл и шепчет. Я легонько мечом его стучаю, а меч его не по моей руке, не то что-то, чувствую. Дошел я до груди, тут Святогор открывает глаза и так спокойно говорит: «Не то. Алеша был нужен. А от твоей работы у меня ноги отнимаются». Я чуть рассудка не лишился. Святогор улыбнулся слабо и говорит: «Не казни себя. Нет твоей вины в том. Связался я с Силой, которая велика слишком оказалась. Хотел расковаться, но не получается. Только конец ближе. Стой рядом и ничего не бойся, а я до пояса уже неживой». «Да как же это?» — Я-то плачу. А Святогор: «Во вред пошел меч мой в твоей руке. Силы не имеешь. А знающим людям передай: зло на свободе; далеко ходил за ним Святогор, да обратно не сумел сумочку донести». «Какую сумочку?» — спрашиваю. «Все на вас остается», — только и прошелестел Святогор губами и окаменел. Я к нему бросился, а он уже не дышит. Стал я на колени и плачу. Слышу — конь чей-то бешено несется, загнанный конь, не жилец уже. Распахивается дверь, влетает Алеша, к Святогору бросается. Потом на меня посмотрел. «Рассказывай, — говорит, — Илья, как все было». Рассказал я ему. Заплакал и Алеша. Эх, говорит, не жалел я коня, себя не жалел, да все равно не успел.

Просидели мы ночь подле Святогора, а утром Алеша говорит: нельзя Святогора хоронить. Вышли мы на поляну, Алеша постоял долго, потом отер пот и говорит: «Все, больше сюда никто не зайдет, и ты, Илья, не заходи. Поднял я Силу Святогора, и теперь она его хранит лучше всякого камня».

Я ему — да объясни ты мне толком все! А он: не одолел Святогор Силы, которую нашел, а теперь пускай Сила эта подле него остается и к другому не переходит. «А сумочка-то что?» — говорю. Алеша только рукой махнул: «Не обижайся, Илья, говорит, только не поймешь ты, потому что Силой не обладаешь». «Волхв его кончил?» — спрашиваю, потому что за Волхвом мы уже и тогда гонялись. А Алеша так странно на меня посмотрел и говорит: «Святогор дальше Волхва пошел, а Волхв нам с тобой остается».

Ничего-то я не понял, поклонились мы Святогору в ноги и уехали. И все-таки, я думаю, большая справедливость есть в том, что именно Алеша Волхва по- Отомстил за Святогора

Волхву хотя бы, если Волхва мы дотянуться не можем.

Такие вот мысли у меня были, покуда я в Киеве сидел, и все думал о Святогоре, и иногда даже слезу смахивал.

А потом случился пожар.

Проснулся я среди ночи от запаха, которого в городе пуще всего боюсь: горящего дерева. Вскочил, оделся, а за окнами уже полыхает все. Еле ушел я на Бурейке, времени не было никому помогать, потому что огонь отрезал уж меня. Конь не хотел в огонь бросаться, прыгнул чуть не до небес, перескочил.

Едва не весь Киев выгорел в ту ночь, княжеский дворец занялся, еле погасили.

Если и не может чего-то сделать богатырь, так это пожара остановить. Крики, стоны, из огня ночью-то не очень и выберешься спросонок, а там еще дети малые... Много я видел, но такой жути — нет, пожалуй. Поле боевое — это привычно, знали люди, на что шли. А тут, когда город сгорает, и потом стоишь на пригорочке — и пепел на снегу, да зола, да бревна еще дымятся, да печи кирпичные остались, а местами и развалились от жара...

Зима. Народ раздет, разут, выскочили, в чем были. Плачут: как жить дальше будем, живые, не лучше ли мертвым?.. Но мертвым все же не лучше... Помог здесь князь Ярослав, поскреб казну свою. Но много людей полегло от холода и ожогов. А ожоги — хуже раны любой: пожар кончился уже, а человек все еще горит заживо... Подозрителен мне пожар тот показался. Чтобы зимой Киев спалить — тут умысел нужен, я так думаю. И решил я, что Святополк это наслал нелюдей. «Со Святополком надо кончать», — снова подумал я.

Вернулись в Киев к весне Добрыня с Алешей. Киев стоял еще в пепле, и страшен был вид города с зеленых холмов... Но уже отстраивались люди, помогал им князь Ярослав. Какое-то время после пожара он был действительно князем. А потом началась весенняя охота да рыбная ловля, а Ярослав Владимирович был к ним сильно пристрастен, и все пошло своим ходом. Горожане со слезами обживали пепелище, князь развлекался.

Мы сказали ему, что без злого умысла в пожаре не обошлось. «Погодите, навалимся на Святополка...» — обещал князь и норовил вырваться из города на забаву.

Добрыня нахмурился, сказал: «Без Волхвовых последышей не обошлось. Не одного Святополка здесь рука. Жалко, не стал ты, Илья, после пожара угли ворошить. Теперь ищи ветра в поле».

Стали мы приглядываться. И — дождались. Явился однажды на княжий двор Сильный один, печерским кудесником себя называл. И стал говорить всем и каждому: было ему откровение — надо-де князю Ярославу со Святополком замирился. И до князя дошел, и заколебался князь. «Брат, — говорит, — Святополк мне. Велика Русская земля, места на всех хватит». Но Добрыня с Алешей, князя не спрашивая, взяли кудесника под белые руки у крыльца и со двора повели — разговорить кудесника. Тот вырываться, и Перуна, и нового Бога поминал, смертью страшал, заговоренный я, кричит. Тут стрела просвистела и в сердце заговоренному кудеснику попала. Кто стрелял? А стрелял воин из Ярославовой дружины, Кудим. «Я, — говорит, — Давно хотел змею эту порешить, да раньше боялся. А тут вижу — спасут меня богатыри от гнева княжеского».

Засомневались Добрыня с Алешей, но что ты сделаешь? Кудим божится, заступы просит. Выговорили у князя прощение ему, но сами его заметили.

Да, раздели печерского кудесника, в платье покопались и нашли рожок махонький, в полу зашитый — как от козленочка серебряного. Не видали мы такого прежде, да по всему видно — Волхвовый слуга, любит Волхв людей своих такими знаками наделять.

Решили мы за Кудима взяться: подозрительна показалась нам меткость его. Не для того ли стрелял, чтоб кудесника мы не разговорили? Ну да до Кудима руки не дошли. На другое утро гонец прискакал.

Утро это застало нас во дворце. Будый прибежал:

— Король Болеслав на Буге стоит! И степняки с ним! Война! Где князь?

— Найдем, — пообещал я.

Никто не знал, куда исчез Ярослав. По своему обыкновению, наскучив опекой

ближних, молодой хитрец удрал из дворца еще затемно. Я-то знал: рыбу удит радостно в месте своем любимом, на Днепре, на ямах.

Понеслись к Днепру. И точно — под ракитой сидит князь, с надеждой в воду всматривается. Я даже сплюнул с досады. На голове венец, а голова что торец.

Заслышав нас, обернулся; лицо сияет.

— Какого угря взял! — похвастался и трепыхавшуюся черную страшную полузмею-полурыбу за хвост поднял.

— А угорь сейчас тебя возьмет, — сказал я. — Поднимайся, князь. Болеслав на Буге со степняками.

Князь медленно поднялся; уда выпала из рук правителя земли Русской; подхватило ее течением и понесло по серой рассветной водичке...

Не готово было войско к походу. Даже наши ожидания превосходила беспечность Ярослава. Полетели гонцы, забили тревогу, забежали людишки...

Выступили мы. До Буга добрались первыми богатыри. Обширный стан открывался за рекой. Дымились костры; завидев нас, затрубили тревогу караульные. Показался всадник. Всмотрелись... Святополк.

— Эй, богатыри, — оскалился он, — батогов захотели? Поймаю — запорю! — И со смехом понесся прочь.

— Волчья сыть! — закричал я ему вслед. — Хвост волочишь, недобиток!

Святополк завертел коня на месте, крикнул что-то стану.

— Скорей отсюда, богатыри, — сказал быстро Алеша. — Стрелять начнут.

И в самом деле — еле ушли от стрел.

— На месте Святополка я бы стрелял сразу, — сказал Добрыня.

— На нашем месте я бы на берег не выезжал, — буркнул Алеша, и прав был.

Скоро подоспел Ярослав. Два стана расположились по берегам Буга. Думали: начнется битва, как только польское войско на наш берег переправится. Стали уж наводить мосты поляки, как вдруг показался король Болеслав, жирный, но грозный, пышно разодетый, бесстрашный, как всегда, и стал впереди войска.

Я оглянулся. Ярослав угрюмо смотрел на него: понимал, что сильнее Болеслав, и единственная надежда — на нашу храбрость да еще на то, что поляки будут переправляться через Буг медленно.

Неожиданно расслышал я старческий, но ясный голос Будого, желавшего, видно, подбодрить своего князя.

— Эй, Болеслав, боров! Брюхо от дерьма-то не очистил! Поди-ка ко мне, жирная тварь, я тебя копьём почищу!

Засмеялись наши. Болеслав побагровел, крикнул что-то своим и бросился на коне в реку. Я-то подумал, что жирный король тут же и потонет, но конь его был, видимо, здоров — по лесу и чурочка, — и Болеслав уже плыл себе по Бугу, и войско его вместе с ним. Наши лучники оплошали, и поляки во главе с Болеславом уже выходили из воды. Тут еще степняки нас стрелами поливали. Почуял я, что дело плохо.

Много наших полегло под стрелами, которые перестали лететь, только когда войско Болеслава с нашим смешалось. Началась схватка.

Радовался я: рано мне, пожалуй, отправляться на покой, потому что расступались людишки передо мной как трава — боялись рядом оказаться, чтоб не полечь, и, куда бы я ни двигался, всюду пустота меня окружала. Но все равно положил я многих.

Вдруг что-то меня обожгло; обернулся я; человечешко уж прятал рыло свое под шлемом, заезжал за спины других, но мне-то показалось — удивился я! — И что увидел глаза Волхва!

Недоумевая, я стал пробираться туда, откуда эти черные зрачки сверкнули; так увлекся, что оторвался от своих далеко, и скоро на меня наседали со всех сторон, и мне было уж не до глаз. Я отступал, но никак не мог настичь своих: наконец понял, что и войско отступает, что мы бежим.

Я прикрывал отход, но вдруг увидел отчаянно вскинутую руку Добрыни. Помчался я к нему.

— Окружаем князя! — крикнул он, и вовремя: окружили мы Ярослава, еле отбили и вывели из боя.

Битва затихала; бежали русские, Святополковыми дружками разбитые.

— Быстрее, князь, быстрее, — торопили мы Ярослава, увлекая в лесок.

— В Новгород, — одним звуком выдохнул он.

— Что, князь, знатного угря поймал сегодня на Буге? — спросил я его.

Князь закричал:

— Молчи! Молчи!

— Я молчать не буду! Я и при отце твоём не молчал!

— Вперед, вперед, — торопили нас Добрыня с Алешей.

Мчались по лесным дорогам, боясь погони. Ни один лист не падал от такой скачки на землю: молоды ещё были листья, свежи и зелены. Только старая хвоя, да иногда шишка — пок! — на нас валились.

Через час остановились передохнуть. Отвел я товарищей в сторону:

— Что хотите делайте со мной, богатыри, но только показалось мне, что видел я Волхва на Буге...

— Да быть этого не может! — вспыхнул Алеша. — Одна и у него жизнь!

Добрыня нахмурился:

— Может, это тот, кто пришел после Волхва?

— Не знаю, — сказал я, — но только черные дырки вместо глаз у него точно такие же.

Играл желваками Алеша.

— Надо было показать вам его тело, — сказал он, раздувая ноздри.

— Не злись, Алеша, — сказал Добрыня устало. — Может, это предупреждение: нам тоже, а не одному князю Ярославу беречься надо.

Отошел в сторону в раздражении Алеша. Но скоро мы уже неслись дальше, выбирая окольные пути, на которых нас вряд ли ждали. Выбирали-выбирали — и напоролись на засаду. С десятков человек выехали из лесу. Хорошие были воины, для обычной четверки всадников — верная смерть. Посмотрел князь Ярослав, как бьются богатыри, посмотрел...

Мы стояли над ними, вытирая пот.

— Не нравится мне это, — сказал тихо Добрыня.

Алеша был чернее тучи.

Я верил ему — и не верил. У Волхва больше, чем одна жизнь.

Ночь прошла беспокойно. Звезды — мохнатые, колдовские, ползали с ветки на ветку. Пока стоял я на карауле, твердо убедился: следят за нами из лесу, и разбудил тихонько товарищей. Спугнутый, исчез кто-то. Мы стали переговариваться шепотом, чтобы Ярослава не будить, усталого, еле живого.

— Кто приходил? — спросил я.

Добрыня в сомнении покачал головой.

— Птица, — вдруг сказал Алеша горько. — Птица. А когда птицы начинают следить за богатырями, значит, Волхв на свободе.

Алеша понимал в зверях и птицах лучше всякого (кроме разве что Святогора), и во всем, что касалось этого, ему нужно было верить.

Он по-кошачьи тихонько поднялся и исчез в темноте. Оттуда послышался настойчивый пересвист. В ночном лесу жутковато его было слышать. Вдруг на пересвист отозвалась одна птица, потом другая, третья. Скоро появился из темноты и Алеша.

— Филин, — сказал он. — Прилетел с востока, со стороны Буга. Но что действительно плохо, богатыри, полетел он на запад. Нас ждут.

Кто ждет? Куда сворачивать? Как довести Ярослава до Новгорода? Мы совещались. Куда бы ни летел этот чертов филин (вообще поганая птица, не люблю), напасти можно было ждать со всех сторон.

С первыми лучами рассвета пустились мы в дорогу, еле растолкав Ярослава. Он был хмур, подавлен, молчал, прижимался к гриве коня. Покажись за поворотом Святополк — нырнет к нему, погибнуть, лишь бы побыстрее.

Дорога вела на запад. Алеша отставал, прислушивался к птицам, свистал им что-то (чего обычно никогда при нас не делал). Наконец догнал, знаком показал остановиться.

— Вот что. Мы окружены. По всем дорогам в лес едут всадники.

— Прорываться надо, Алеша, — сказал я.

Мы молчали. Пробиваться — как?

— Ладно, — сказал я. — Вы везите Ярослава дальше. Я задержу других.

— Не бывало такого, Илья... — начал Добрыня.

— Вы — молодые, — сказал я.

Товарищи молчали. Приняли мое решение. Весело стало мне. Что может быть лучше, чем вот так вот — погибнуть на пороге старости, на весенней лесной дороге, прикрывая товарищей? Ничего не могло быть лучше, пусть и петь об этом не будут. И только мы договорились, как из леса показались всадники.

Они ехали на нас сплошной стеной. Я поднял руку:

— Стойте! Говорить будем.

Они заколебались, глянули назад, но остановились.

— Зовите сюда хозяина вашего. Скажите — князя ему отдадим, если нас выпустит.

Князь Ярослав взволнованно дернулся в седле. и тут я от всей души дал ему сзади тумака под ребра: так надо. Князь притих и потупился.

Появился один, неспешно выехал из-за елочек, щуплый, с дырками вместо глаз. Ох, Алеша, Алеша, не знаю, кого ты там положил на Змеином, но только Волхв выехал.

— Не верю, богатыри! — крикнул он со смехом. — Хоть зарежьте — не поверю!

— А если не верите, так отберите его силой! — отвечал я. — Или давно богатырских мечей не пробовали?

— Бросьте мечи на землю, — смеялся Волхв, — тогда поверю. У нас вся жизнь на обмане. Я вас обманываю, вы меня.

— Богатырскому слову не веришь? — наезжал я на Волхва, а он, посмеиваясь, отступал к лесу; отступала и его свита. В кольце образовалась брешь...

— Ну и правильно, что не веришь! — крикнул я; ка мой сам собою скользнул из ножен; Волхв замешкался на мгновение, и я успел полоснуть его вороного коня по глазам; конь заржал страшно, взвился, ко мне бросились со всех сторон, я для начала положил двоих, а потом, когда Волхв пытался достать меня сверху, ударил его в бок, но Волхв увернулся, шипя от боли, и в ярости принялся наседать на меня, Эх, годы! Завертелся я в седле, еле удары со всех сторон отбивал но краем глаза успел приметить, что дорога, на которой только что стояли мои товарища и князь Ярослав, пуста была.

Тут и Волхв это заметил, с проклятием в сторону отскочил, завертелся на месте, крича:

— Куда, куда делись?

Но никто, отвлеченный моим нападением, не знал, Стал Волхв рыскать взад-вперед, но не мог разобраться в следах: богатыри от него уходили, а они умеют делать это так, что ни одна травинка не расскажет.

— Живым брать! — крикнул Волхв и поскакал куда-то в лес.

Без Волхва дело пошло намного лучше, тем более что воинам наказано было живым меня брать. Не скупился я на удары; если уж придет мой конец, то славный. А взять Илью живьем — ох, не завидовал я этим ребятам, которых теперь косил, мстя за нашу ошибку на Змеином и вообще за все то, за что и отомстить-то им было нельзя. Еще! Еще один! — себе говорил. Наконец, в замешательстве отступили они я — за ними.

В это время Волхв появился.

— Что! — вскрикнул. — Десять человек полегло, а вы все еще копаетесь!

По его виду я понял, что следов он пока не нашел и сердце мое запело.

Волхв решил вмешаться в бой сам. Поскакал на меня, мы схватились, я не уступал ему,

но настал миг, когда ударили меня сзади мечом по башке, и зеленая полянушка с золотым солнышком померкли в моих глазах.

— Готов! — услышал я голос Волхва и повалился с коня...

...Пришел Илюша в себя, когда солнце подбиралось к полудню. Я лежал туго связанный на земле. Подле меня сидели двое, трое расположились в сторонке. Волхв нуждался во всех своих людях, но я ослабил его еще на пять человек, а с мертвыми пятнадцать будет. Мои стражи не заметили, что я пришел в себя, и я снова прикрыл глаза. Волхв ошибся, когда приказал брать меня живым, во всяком случае, намерен я был ему это доказать.

Стал я думать. Я был связан; Скалушки своего не видел. Но ведь когда люди Волхва шли на нас, вряд ли они думали, что им придется вязать богатырей; если и рассчитывали свои веревки на кого-то, так это на Ярослава. Ощупал я веревку и усмехнулся. Не такой веревкой надо вязать Илью Муромца. Правда, узлов много было накручено. Сжал я зубы, стал веревки разрывать.

Часто про себя сокрушался Святогор, что взял к себе ученика, не владеющего Силой. Но при этом, наверное, думал, что силушкой его Бог не обидел. И точно — трудно мне было, больно, но стали веревки рваться одна за другой. Скоро руки мои были свободны, хотя болели так, будто их леший жевал. Ну да я думал уж о ногах, разрывать веревки одну за другой на них было несподручно: стражи заметили бы. Ждать другого случая тоже было невозможно: скоро придет подкрепление, свяжут мне руки так, что и не пошевелюсь найдут богатырскую веревочку, потому что на есть своя веревочка, о-хо-хо, и повезут меня в какое-нибудь логовище, из которого я, Силой не наделенный, в жизни не вырвусь. А там придет Волхв — мучить, жечь. Как ни крути, а сейчас бежать надо.

Скосил я глаз на стражей. Никто не спал, все переговаривались тихо, то и дело на меня поглядывали. Расслабился я, полежал тихо, слушал, как деревья шумят, вдыхал потихоньку пьяный запах весеннего леса, по руке моей муравей полз. Сейчас выяснится, последнего ли мурашку Илья видит. Подышал я, поиграл мышцами, потом, как учил еще Святогор, глубоко вздохнул и на выдохе что было силы рванул веревки ногами; услышал треск, и был уже на ногах и схватил одного стража и ударил о второго. Их оставалось трое, и они бежали на меня с мечами. Но я уже чувствовал, что все получается, потому что моя силушка играла, и вот они завертелись передо мной, и этих мгновений было достаточно, чтобы рванул я руку одного так, что хрустнула она, и взвыл он, а двум другим подставил под мечи тело их товарища, и опрокинул кровавое тело на них, и выхватил у одного меч, и кончил обоих, а потом одним махом добил остальных. Не нравилось мне то, что я делал, потому что на бойню было похоже, но, во-первых, убивал я дрянных людишек, а во-вторых, никто из них не должен был гонцом к Волхву уйти.

Разыскал я Скалушку и Бурею, бросил последний взгляд на поляну эту поганую, сел в седло и поехал в Новгород.

Дорогой я не пытался найти товарищей: они ушли на Новгород тайными тропами, и, чем меньше я бы мелькал на них, тем лучше.

Ехал я осторожно, перестал спешить, как только из леса этого убрался. Теперь от спешки мало что зависело: только Алеша и Добрыня могли князя спасти а я себя должен был спасать. Об одном думал много: чего это Волхв Силу свою не явил? Ну да не понимаю я этих дел, у Добрыни с Алешей спрошу.

Путешествие спокойным было; почуяв воинские отряды, сворачивал я в лес; никто меня не искал. Нехорошее шевеление пошло по Русской земле, как всегда бывает в час смуты. Людишки сновали взад-вперед, примеряясь к новому правителю, ловя свою подлую выгоду. Давно я перестал уж удивляться тому, с какой легкостью человек закрывает глаза на злодейство и какие оправдания он этому злодейству находит. Вот и сейчас люди говорили: Ярослав сам поднял руку на отца, и, если бы старый князь Владимир не умер, воевал бы он с сыном. И это правда была, потому что Ярослав, озлобленный тяжелым норовом великого князя, побуждаемый собственной горячностью и честолюбием, которые Волхв ушлый

разжигал, действительно уж совсем было втянул Русскую землю в смуту два года назад, да тогда мы его остановили; рассказал ему Добрыня, что за странник ему ворожил и чего этот странник хотел, а тут и Святополк подрос со своим злодейством. Но люди говорили, что князь Ярослав беспечен, рыбу удить и за зверем скакать он горазд, а государством править — не до этого ему; может, Святополк и не хуже вовсе будет. И тут действительно — если и доказал что-то князь Ярослав, так это то, что править он не умеет, что беспечен, легкомыслен, самоуверен, легко гневается и легко отчаивается.

Еще говорили люди: пусть кто угодно, только не бесконечная смута. И тут тоже: смута есть великое зло. Но то, что всеми этими правдами про Ярослава они приходили к неправде про Святополка, который был убийца на престоле, волк жадный с мордой окровавленной, про то они старались не думать.

Что-то будет с Русской землей! Велика она и обильна и дотягивается до четырех морей, но гуляет по ней Зло, прокатывается по просторам ее огромным, и никто не может поставить этому злу заслона. Правят князья, воюют воины, пашут пахари, ездят по Русской земле богатыри, вразумляют, защищают, да только беспокойно у меня на сердце, потому что только и было покоя-то на моем веку, что золотое время князя Владимира, покуда еще не завладела его разумом черная Сила Волхва, да вот — кончился век князя Владимира, силен был князь, а оставил землю в смуте, и вот уже второй год бьются друг с другом русские люди, и понять я этого никак не могу.

Вот пришел новый Бог на Русь; сильный Бог, если все новые и новые страны ему поклоняются. Но не прогневались ли старые боги? Меняют ли богов так, как князь Владимир поменял? Не знаю, не знаю, никому не признаюсь я в этом, но побаиваюсь я нового Бога. Не могу объяснить толком, но непонятен этот Бог для меня; что же получается, вообще все в мире через него? Старых богов умиловить было можно, да и не мешались они в нашу жизнь. А Добрыня говорит — этот тебя в любой миг видит и о тебе думает. Если так — то страшно это, потому что на большинство людских дел богам лучше бы не смотреть. И как подумаешь, что жил всю жизнь, а на тебя этот новый Бог все время смотрел, да еще про Смородинку вспомнишь, куда души-то летят — ой-ей-ей. Жил богатырь Илья Муромец, никого на земле не боялся, да и старых богов, в общем, не так чтобы очень, ел, пил, на мечях бился, Русскую землю защищал, а как полетит душа Ильи-богатыря на Смородинку, как спросят его что-нибудь, а Илья и ответить-то толком не сумеет. Веревки там разорвать или в бой ввязаться Илья может, а вот объяснять да оправдываться... Тяжело, тяжело...

Приехал в Новгород под вечер. Уже накануне узнал, что князь Ярослав в сопровождении богатырей примчался в Новгород двумя днями раньше. Не зря Илья под Волхвовы мечи-то шел...

Поехал напрямик во дворец. На крыльце сидел, задумавшись, Алеша.

— А вот и ты! — обрадовался он. — Мы с Добрыней давно тебя поджидаем, знаем уж: едет Илья к Новгороду. Едет не торопится.

После полянки той Волхв их так и не догнал, но с людьми его они по дороге еще раз повстречались, но ничего — побили людишек.

Князь Ярослав был в отчаянии, метался по дворцу, из него и выходить боялся: всюду ему Волхв мерещился. Что он собирался делать, никто не знал; князь отговаривался увертками; хитрый был, конечно.

А тут и Добрыня появился:

— Илья!

— Что, богатыри, — сказал я, — выручил вас Илья?

Алеша неожиданно помрачнел:

— Мы говорили с Добрыней... Наверное, тогда, в пещерах, на Змеином, Волхв понял, что сейчас я его одолею, действительно сильно ранен был, нарочно подвел меня к колодцу, который в нижние пещеры вел, и туда прыгнул. По-другому бы не выкрутился. Утонуть мог или голову себе разбить — но мог и спастись. И спасся... Если бы стали мы ждать, пока море тело его выбросит, и потом полезли бы в пещеры снова, мы бы его взяли.

— А того вернее, он бы взял нас, — сказал Добрыня. — Раненый Волхв в засаде — нет зверя опаснее. Все к лучшему, Алеша.

Алеша только усмехнулся зло:

— Ладно-ладно... Не все ему в колодцы прыгать...

Спросил я Алешу про Волхвовую Силу, почему на полянке той ее не показал. Сказал Алеша — ослабел Волхв после Змеиного: когда от ран оправляешься, Сила на ущербе. А тут Волхв еще и пальца лишился, сказал Алеша, что для Силы целое тело нужно. Так Что бережет Волхв Силу, понятно для чего: против Нас. на крайний случай.

— Что Ярослав? — спросил я.

— Это беда, — сказал Добрыня с отчаянием, — а не князь. Только что узнал: собирается бежать за море к варягам.

Я присвистнул:

— Ты с ним говорил?

— Все в тайне держит. Надо идти к нему.

— Вот пащенок. — Меня вдруг разобрал гнев. — Мы из-за него шеи себе ломаем, Врагу в пасть идем, а он — за море! Да не лучше ли было за Святополка взяться, у того хоть норов есть! Да пропади он пропадом, этот неук Ярослав!

— Пойдем к нему, — сказал Добрыня.

— У князя уж пятки салом смазаны, — буркнул Алеша.

— Ладно, — сказал я. — Вы, если хотите, идите к этому хорьку, а я знаю, что мне делать!

И в гневе пошел я со двора.

Богатыри, не зная ни сна, ни отдыха, бегают вокруг него, только что не сопли ему вытирают, ворона напускали на него, сны насылали, от Волхва отводили, от Волхва спасали, а этот, тьфу, травяной мешок, слабое семя!

Новгородцы волновались, и надо было только бросить искру в хворост. А искры сейчас шли от меня, как от кремня. Чувствовал я — ничто Илью не остановит. Пошел на площадь, где новгородцы судили да рядили обо всем.

— Илья! Илья в Новгороде! — пронеслось по толпе.

Знают, знают Илью! Хоть и стар Илья, а силен, и кое в чем Добрыне с Алешей не уступит, а то и покажет им, шептунам дворцовым, как дела делаются!

— Поклон вам, новгородцы. Как живете-можете? Князя своего слушаете?

— Слушаем!

— Аи напрасно, что слушаете! Князь ваш, Ярослав Владимирович, собой слаб. Не грех и князю что подсказать.

— Так ведь Киев уже Святополку покорился!

— Что тебе Киев? Ты своим умом живешь или в Киев всякий раз спросить бегаешь? Ты новгородец или баба лесная? Святополк всю землю Русскую погубит, полякам да степнякам продаст. Видели мы, видели его дела! Огонь и смерть — вот его подарочек. Если не выступят новгородцы, и к вам этот подарочек пожалует... Хотите ли вы в огне гореть? Помереть хотите? Не хотите? Есть разум у новгородцев, незачем вам за ним в Киев ездить... Больше скажу: князь ваш, Ярослав Владимирович, подбиваем неверными людьми за море бежать, к варягам.

Стон пронесся по толпе.

— Да, за море к варягам. Колеблется князь, слаб он, помочь ему нужно.

— Да как ему поможешь! — крикнул кто-то из толпы. — Мы бы рады.

— А ладьи его изрубить. Чтоб со Святополком драться, ладьи не нужны, а на палочке верхом за море не ускачешь. Кто со мной, новгородцы?

Залопотала толпа в ответ.

Не поймешь русского человека. Позовешь его дом строить — не пойдет, а как рубить чего, так только отскакивай.

Изрубили мы ладьи. Княжеские воины прибежали было, да я одного полетать пустил

немножко. Отступили.

— Что, — говорю, — рады, что ли, что князь ваш за море бежит?

— Как за море?

— Так и вы не знаете?

Пошли толпой ко дворцу.

— Говори с князем, Илья!

— Я что, вы новгородцы, перед вами князь отвечает, вы и говорите ему!

Вышел Ярослав. Бледный, унылый, про ладьи уже, вижу, знает.

— Возьми все, что имеем, только иди на Святополка!

— Не пустим за море! — кричали из толпы.

— Илью слушай! — крикнул кто-то.

Князь стоял, кивал, думал. Потом переменялось в нем что-то, крикнул в толпу:

— Не уйду с Русской земли! Или Святополк в землю ляжет, или я!

— Любо! Любо! — кричали...

Снова встретились мы с Алешей и Добрыней.

— Что, богатыри, княжеские советники, много на говорили?

— Да и ты, Илья, не только топором работал, — улыбнулся Алеша.

Рассказал я им: воин, которого полетать-то я пустил, Кудим, норовистый был. Пошли мы — лежит, не дышит: крепко башкой о землю хряпнулся. Обыскали — и у этого рожок зашит, как у кудесника Печерского. Из Волхвовей стаи, значит. Эх, обыскать бы Новгород весь! Я и спрашиваю — в шутку, конечно:

— А у Ярослава рожок такой не спрятан ли?

А Алеша:

— Ум у Ярослава спрятан. Это похуже рожка будет.

— Вот уж правду сказал: против злого — меч, против хитрого — слово, а против безголового — шиш.

Глава 4. ДОБРЫНЯ

Лучше правителю иметь нрав постоянный, жесткий и гневливый, нежели переменчивый и лукавый.

Эту истину блестяще доказал Святополк — на свою гибель и на торжество нашего дела.

Болеслав, над которым смеялись из-за необыкновенной толщины его, был человек храбрый и верный своему слову (хотя и жестокий, как, впрочем, все правители). Обещав своему зятю, Святополку, помощь, он покорил Южную Русь. При этом Болеслав разместил свое войско по городам Руси, справедливо полагая, что заслужил хотя бы некоторую благодарность зятя и что может дать своему войску попастись невозбранно на русских хлебах.

Святополк был иного мнения. Не знаю уж, с согласия Волхва или нет (я склонен думать, что Волхв был в это время в отлучке по своей злой надобности), но Святополк решил оградить себя от опеки тестя.

Поляки полагали, что имеют дело с союзником, и расположились в русских городах привольно и спокойно, не опасаясь ничего, покуда Ярослав был в Новгороде. Святополк же распорядился внезапно перебить всех поляков.

Я полагаю, что приказал он это, желая заслужить расположение русских: править именем тестя, польского короля, было небезопасно. Как ни подчинялись русские города Святополку и Болеславу по той простой и очевидной причине, что сила солому ломит, но быть они хотели все-таки под своим князем, а не под Поляковым зятем.

Желая покончить с докучливым тестем, взявшим себе в голову, что зять ему благодарен, Святополк, Которому ненавистна была сама мысль о прочности каких бы то ни было уз, распорядился покончить и с Болеславом. Однако окружение польского короля

прознало о заговоре; Болеслав скрылся из Киева, взяв с собою многих бояр и сестер Ярослава. Над Предславою он, распаленный гневом, учинил насилие. Ярослав, узнав об этом, пролил искренние слезы; но что дела людям до слез правителя! Слезы правителя — злые слезы и не от сострадания они, а от злобы, что кто-то унижил его. Чем дальше, тем меньше склонен я был доверяться любой власти.

Я часто думал о власти: что она такое? И кажется мне, что власть — это то же, что вода и хлеб, и без нее не прожил бы человек. Бывает власть сладко-мучительная, когда властитель мучается и гордится тем, что властвует над собой. Бывает власть жестокая, покоряющая без любви, одним лишь страхом. Разная власть бывает. Но любят люди власть, и без нее ничто бы не двигалось. А я хотел уйти из-под чьей бы то ни было власти и быть сам по себе. Но это мне не удавалось. Моя мать имела власть надо мной в силу своей бесконечной любви. Власть имели надо мной и Алеша с Ильей — власть товарищества. Власть имели и те вещи, которые вошли в мою жизнь с Учителем и последующими странствиями: не мог я делать лишь то, что было мне приятно, но все время думал о престоле и рубежах Русской земли и о том зле, которое бродило по ней. И огромную, неизмеримую власть имел надо мной Бог. Про себя — хотя этого никто не знал — я часто роптал; но покуда я оставался собой, я подчинялся всему этому, и жизнь моя была несвободна. Но так, видно, было надо.

Святополк, без сомнения, принадлежал к тем, кто любит власть подлую: ты поверил мне, а я завладею твоею жизнью и сделаю с нею все, что захочу, да еще посмеюсь над тобой. Сходную власть любил и Волхв, только желанная ему власть была безграничной и тайной, и не любил Волхв выставлять ее на свет.

Итак, Болеслав оставил Русь, как, впрочем, оставил себе и киевскую казну; проклял Святополка и зарекся когда-либо помогать русским.

Одновременно с этими известиями, вызвавшими ликование в Новгороде, дошло до меня и такое: вскоре после бегства Болеслава из Киева и избиения поляков на Южной Руси, пронеслась в Киев черная стая, вожак ее ворвался в покои князя Святополка, и кричал на него, и сделался князь болен, и отдавал только те приказы, которые одобрял вожак, находившийся при нем неотлучно. Но выбор, который мог сделать Святополк, был теперь не очень велик.

Я много думал, что двигало им, когда он избавлялся от верного своего союзника, и пришел к мысли, что зло, творимое Святополком, переполнило чашу Божьего терпения, и тот наказал его: лишил разума. А если нашим союзником был теперь Бог, думал я, то кто против нас?

Ярослав летал по дворцу, как на крыльях. Легко чувствовать себя победителем, когда Бог помогает тебе, негодному. А кто трепетал несколько месяцев назад? Кто полагал далекий Новгород опасным местом и норовил сбежать за море к варягам? Чьи это ладьи рубил Илья с новгородцами? Ох, Ярослав, Ярослав, голова как вода в озере: подует ветер — растревожится, выглянет солнце — успокоится.

Ярослав скомандовал поход. Стали готовить войско.

— Лишили боги Святополка разума, — качал головой Илья, уклончиво говоря «боги», по своему обыкновению не обижая ни старых, ни новых богов, — а Ярославу разума не прибавили. Что твой кочет — распустил перья, а то, что кошка в кустах, о том и не думает.

— Вопрос в том, какая кошка, — сказал я. — С кем драться? Кого позовет Святополк?

— Как кого? — нахмурился Илья. — Степь.

Степь... Было, было время, когда Степь приходила ко мне на помощь, было, да прошло.

Далеко от Руси, в горах Таврии, стоит Крепость. Это один из оплотов недоброй Силы, каких не так уж много на земле. И совсем еще зеленым юнцом, в свой первый подвиг, приехал я в Крепость, оставленный Учителем на ночной дороге, потому что Учитель бросал Меня в богатырское море подвигов, и, выплыву я или нет, зависело теперь только от меня; и говорил я с Властителем Крепости, и убедил его в том, что один у нас враг теперь — Волхв, и дважды приходил мне Властитель Крепости на выручку, надо было только поехать на

северный рубеж степей и передать: началась волчья охота, Добрыня зовет. Но умер Властитель Крепости, а нового я не знал, да и не договориться мне было с ним второй раз: однажды только такая великая удача бывает.

Ярослав не спешил. Надо было ждать, покуда настанет лето: не начинают войны зимой, разве только в случае крайней нужды. Да и наши силы были еще невелики: колебался народ, под чье начало становиться — Святополково или Ярославово.

Приближался солнцеворот: оттепели должны были переломиться в весну. Я всегда любил эти талые сумерки, когда день уже пересиливает ночь, свет — темень, когда сумерки тянутся, тянутся, и пахнет необыкновенно — еще не землею, но уже и не снегом; талой водой, должно быть. Наливаются синевой сосульки, вжимается в землю снег, движутся тени, свежо кругом: на весну, на весну! И вот шел я таким талым вечером из бани, ощущая, как наливается жизнью мое поношенное тело, вдыхая студеной вечерний воздух, выглядывая приметы весны, шел и услышал вдруг восторженный крик:

— Поленица! Поленица приехала!

Я остановился в изумлении. Поленица приехала! Сколько лет я странствовал по Руси, не видал ни одной и никто не видал. Говорили, что были поленицы при Святогоре-богатыре, в старое время, а потом канули куда-то. Одно только имя осталось на Руси — поленица.

Поленицы старины, о которых рассказывали, были дивнее богатыря. Это были девицы, севшие на коней и взявшие меч в руки — и не шутя как-нибудь, а по-богатырски. И в княжеские палаты безбоязно ходили, и на битву выезжали, и подчас Силу имели — а женская Сила особенная, ее мужчине часто и не одолеть вовсе... Женщины-богатыри, одним словом. Но и при Святогоре были поленицы очень редки, и про них уж таких небылиц наплели — и летали они на конях, и мертвых воскрешали, а как начинали мечом махать — так рати долой. Но исчезли с Русской земли поленицы, исчезли — и вот, неужто появились снова? Как могло так случиться, что мы, богатыри, просмотрели? Да и вообще — и поленицы учились у богатырей, обычно у отцов или братьев, а то и мужей. А где сейчас такие богатыри, что могут учить? Не знал я таких, кроме нас троих. И к чему это появление поленицы при новгородском дворе, накануне похода на Святополка? Чья Сила явилась в Новгород? Кто помогает князю Ярославу?

Я заспешил во дворец.

На дороге мне попался Илья — совершенно ошеломленный.

— Слыхал, Добрыня, — набросился он на меня, — девка-поленица приехала! И сразу к князю пошла!

— Подожди, Илья, ты сам-то ее видел?

— Не видел! — раздраженно отмахнулся Илья. — И видеть не хочу! Снова девки на коней сели! Понятное дело, там, где подвиг уже почти кончен, много Помощничков набегает!

— Этого подвига на всех хватит, — сказал я.

— А Ярослав-то — сразу к ней! Чертова сила — бабы! — Илья в отчаянии сплюнул.

— Это ты, Илья, кого бабами называешь, полениц, что ли? — раздался насмешливый голос Алеши.

— Ты... пересмешник! У тебя подвиг из-под носа уводят, — заворчал Илья, — а ты хаханьки! Поди лучше пощупай, что у нее под подолом!

— Так без руки останусь, — посмеивался Алеша, — поленицы они, знаешь, какие...

— Тьфу на тебя...

— Поговорить бы с ней, — только и успел сказать я, как почувствовал спиной, что сзади кто-то стоит.

Илья и Алеша уже смотрели туда, округлив глаза. Я повернулся.

Поленица. В женской одежде, но перепоясана мечом и кинжалом — тяжелыми, мужскими. Меч и кинжал северной, варяжской, работы, отметил я мельком.

Сама поленица была высока, крепка в кости, синеглаза, русоголова, белоброва — северная дочка. Крепкое ее тело так и дышало здоровьем; я успел уже ощутить тонкий

голосок ее Силы, но тут поленица поклонилась и заговорила:

— Не я кланяюсь вам, богатыри, Русская земля кланяется. Не обидьте сироту, примите в учение. Обузой не буду, от невеликого лиха сама отобьюсь, а когда от великого отбиваться будете, глядишь, и помогу чем. Не к князю Ярославу шла — к вам шла.

— Так что же ты, девка, — забубнил Илья, — поперед нас к князю вперлась?

— Не гневись, не моя была воля. Закричал народ про поленицу, позвал меня к себе князь. Не моя вина, что именем громким меня называют, не заслужила пока еще его.

— Ну-ну, — пробормотал Илья. — Зовут-то тебя как?

— Рогнеда.

— Из варягов, что ли?

— Из русских я. Варяги заморские уже не моя родня. Мои пришли давно, еще с Рюриком.

— А кто учил тебя, девица? — спросил я.

— За морем училась, у варяжского богатыря Свеборга. Сирота я. Росла здесь, да в тягость стала родным — Я за море и сбежала учиться. А потом домой вернулась. Семь лет Свеборг меня учил, хорошо ли, плохо, не знаю, чему ни научите — всему буду рада.

Алеша смотрел на нее смеющимися глазами и крутил ус. Вот уж воистину соблазн — Алеше девицу учить!

Между тем я никогда не слыхал о богатыре Свеборге. Да плохо я знал варяжскую землю, так что ничего в этом удивительного не было.

— Ну и что ж ты умеешь... Рогнеда? — спросил ее Алеша, все так же смеясь глазами.

— Испытайте, — потупилась она.

— А ну, становись! — сказал вдруг Алеша, вытаскивая Туг.

Илья ухмыльнулся.

Поленица поклонилась Алеше, ловко выхватила меч, поддернула юбку (под ней были шаровары) и бросилась нападать.

Мы с Ильей только переглянулись. Дралась она хорошо даже для воина, а уж для девицы!.. Алеша раззадорился, стал заманивать поленицу, а когда она разгорячилась, выбил меч у нее из рук.

— Хорошо дерешься, Рогнеда, — сказал он, подмигивая ей. — Учить тебя опасно, ну как потом драться придется!

— Не жена я тебе буду, чтобы драться с тобой, — отвечала поленица, покраснев.

Илья крикнул: девица робела, но не чрезмерно!

— Пускай Добрыня твою Силу испытает, — сказал он ей хмуро.

— Сила моя маленькая, — усмехнулась девица, — мне с Добрыней не равняться.

— Ну а чего умеешь-то? — настаивал Илья важно.

Девица облизнула губы:

— Умею иногда мысли подслушивать да ворожить по-бабьи. Вот и все.

— А ну-ка, подслушай! — сказал я.

Девица собралась, посмотрела перед собой. Я чувствовал напряжение ее Силы. Такой Силы я еще не встречал — но я плохо знал женскую Силу. Сила моей матери была очень невелика, а Маринка, с которой я и прожил-то всего месяца четыре, о Силе своей рассказать мне не успела. Но, решил я, Сила Рогнеды была слаба, хотя и не мог я понять, на что она была способна.

— Не подслушивается, — закачала она головой. — Добрыня сильнее.

— Да уж, сильнее Добрыня! — подтвердил Илья.

Мы помолчали.

— Так что, богатыри, — сказала поленица тихо, — беретесь меня учить?

— Учить не беремся, — отвечал Илья рассудительно. — Не ученик богатыря ищет, а богатырь ученика. Так не нами придумано, так испокон веку было. Лишним твой меч не будет: скоро Киев воевать. А чему сама научишься, то твое.

— И крохам буду рада, — потупилась поленица.

Темнело. И тут от поленицы пошла такая волна благодарности и ласки, что я невольно отвел глаза.

Ночью мне снилась Маринка. Она показывала на поленицу, хмурилась и что-то кричала мне — я не слышал. Проснувшись, я стал ворочаться и думать об этом сне. Я решил, что это говорил с собой я сам.

Уже семь лет как не было на свете Маринки: получив весть, что я погублен Волхвом, она наложила на себя руки. И с тех пор не было со мной рядом женщины — да и не полагается богатырю подруги, полагается — так, в Царьграде в веселый дом сходить. И я ходил, и грех этот, думаю, не так велик для человека, который своей волей лил людскую кровь как водицу. Но поленица напомнила мне о том, что могла быть и у меня подруга. Не была жена моя поленицей, но травы знала и Силой владела, и была мне такая жена впору, как никакая другая, да Бог судил иначе.

И лежал я без сна, и думал, думал, и руку кусал... Князь Ярослав полюбил поленицу, часто зазывал ее к себе и беседовал с нею.

Рогнеда приходила к нам растревоженная. Молчала, сидела потупившись, а однажды сказала:

— Не с поленицей говорит князь, не поленицу видит. Все семя Владимирово сластолюбиво, все забудет ради победы любовной. Хочет князь Ярослав поленицу любить...

И отвернулась Рогнеда, и показалось мне — покатила девичья слезка...

Алеша задвигался в углу, шумно задышал Илья:

— Не бойся, девка, никто тебя не обидит, покуда богатыри здесь, не посмеет щенок...

Ярослав действительно переменялся, в самом деле задерживал взгляд на поленице, много смеялся, старался не хромать (а недостаток этот имел с детства), властно хмурил брови. Я грешным делом думал, что накануне похода оно и неплохо соколу нашему крылышки расправить. Велика власть женщины, и недаром велено богатырям подальше от нее держаться...

Поленица старалась все примечать, училась, чему Могла. До знания была жадна. Когда мы оставались наедине, все расспрашивала меня о Силе, но я отвечал Уклончиво: прав был Илья, не ученик богатыря находит, а богатырь ученика.

Поленица держалась с нами со всеми ровно, не выделяя никого; смеялась, когда шутили, не навязываюсь, но и не чуралась нас. Стоило ей куда-нибудь Пропасть, как Илья начинал вздыхать: «Где же это наша поленичка?» Не раз ловил я Алешу на том, как он нашептывал Рогнеде что-то на ухо, а та только опускала голову, смеясь. А себя я уже ловил на том, что вот такую подругу нужно было бы мне искать, когда я еще хотел иметь дом: такая не наложит на себя руки, а будет тихо делать дело, оставшееся после меня.

Скоро Илья стал пошучивать: четыре богатыря, но Рогнеда шуток не принимала, серьезно говорила — не смейтесь, стыдно мне, мол, еще и думать о таком.

Мы учили ее приемам боя. Что-то останавливало меня, когда я хотел учить ее Силе; должно быть, усвоенное от Учителя бережное отношение к этим тайнам.

Маринка являлась во снах теперь каждую ночь; что-то говорила о поленице. Меня это стало раздражать: памяти ее я был верен, ни в чем виноватым себя не чувствовал, упреков не заслуживал.

Настала ростепель. Черные лужи, искрящиеся гребешки снега, капель до полуночи, ранняя заря.

Князь собирал войско. Из Киева доходили слухи, что Святополк бежал к степнякам просить подмоги: видно, плохи были его дела. Оставалось немного: навалиться и прикончить проклятую смуту. Я начинал думать, что этой весной мы вполне могли это сделать. Тогда с наших плеч падала тяжелая ноша; летом можно было поискать необременительных подвигов. Вполне возможно, что и вместе с Рогнедой: нигде так хорошо не учатся, как в странствиях, а если Богу угодно было снова пустить полениц гулять по Русской земле, то был, очевидно, в этом какой-то смысл, и этому нужно помогать.

Может быть, близился час, когда число богатырей умножится и зло переведется на

Русской земле? Может быть, к этому и появилась первая поленица?

О Волхве ничего слышно не было. Я начинал уже думать, что Волхв плюнул на Святополка и решил искать себе другое оружие. Злокозненный и своевольный во зле Святополк пытался перехитрить самого Волхва, а Волхв этого не любил.

Князь назначил поход в начале Святой недели. Оставалось всего три дня. Уже и Новгород наполнился войском, и шум стоял днем и ночью: пускай погуляют воины перед походом, не всем из него вернуться, так будьте снисходительны, горожане...

Я рано лег и долго ворочался, потом уснул. И снова с досадой я увидел во сне Маринку. Она что-то кричала мне, да я не слышал. А, по правде, и не хотел слышать.

Проснулся я оттого, что кто-то плакал рядом. Я приподнялся; одновременно со мной завопили и Алеша с Ильей.

— Кто там? — подал голос Илья. — Это ты, дочка?

После молчания прошелестел голос Рогнеды:

— Я.

— Ты что?

Она долго молчала, потихоньку всхлипывая, потом зажгла свечу, села к столу, закрыла лицо руками:

— Князь... велел прийти к нему в спальню...

Алеша зашипел сквозь зубы.

Мое сердце бешено забилося. Илья загремел:

— Ах, собака! Проклятое семя Владимирове! Бес неугомонный! Сам его охолощу!

Алеша бешено вскочил:

— Нет, богатыри, воля ваша, а должна быть управа и на этого кочета колченогого!

Он молча стал собираться.

— Ты куда?

— К князю.

— Мы с тобой, — сказал я. Алеша только кивнул.

— Подождите, богатыри, — сказала Рогнеда тихо. — Придете вы к князю сейчас, а он скажет: напридумывала все девка, сама, поди, мечтает о княжеской постели, сама сплетни распускает. Давайте уж поднимусь я к нему, как велел, а там вы подойдете. Только не мешкайте, а то горе мое на вас будет...

— Не бойся, дочка, — сказал Илья, — не было еще случая, чтобы богатыри опаздывали.

— Пошла я... — сказала Рогнеда тоскливо. — Так вы сразу следом и идите.

Она выскользнула из комнаты.

— Пора, богатыри, — сказал Алеша нетерпеливо, одергивая меч.

Мы разом поднялись и вышли из комнаты. На лестничке мне привиделась Маринка — как будто тень ее стояла; я только с негодованием помотал головой, и видение исчезло.

Страж у княжеских дверей робко преградил нам дорогу: давно уж не входили мы ночью без спроса к князю Ярославу Владимировичу.

— Нельзя, богатыри... — пробормотал он растерянно.

Алеша отодвинул его рукой. Страж крикнул:

— Трево...

Но кончить не успел, потому что Алеша молча вонзил кинжал ему под горло.

Распахнув дверь, мы вскочили в комнату. Она была полна воинов. Мы услышали голос князя:

— Быстрее, пролита кровь!

И что-то невероятно тяжелое ударило по моей голове, и я потерял сознание.

Очнулся я от страшной боли. Она наплывала постепенно, она и вытащила меня из темноты, а потом стала невыносимой, я застонал и открыл глаза.

Надо мной стояла поленица; в руке ее было раскаленное железо. Глаза ее были бесстрастны. Я все понял и не удержался — закричал от ярости, так, как никогда еще не

кричал.

— Где Никита? — спросила поленица мягко. — Это он показал дорогу на Смородинку?

— Так вот какой богатырь Свеборг тебя учил, — только и вымолвил я.

— Где палец? У кого палец? — снова почти ласково зашептала она.

Поленица опять наложила железо мне на грудь; корчи прошли по всему моему телу. Под запах паленой плоти я поплыл куда-то.

В сознание привела меня ледяная вода, пахнувшая весной. Я не мог даже отряхнуть капли с лица: цепи спеленывали меня. Чьи-то руки — да что там, я уже знал, чьи — примотали меня к лавке так прочно, как паук связывает гусеницу. Я посмотрел на поленицу — и тут произошла странная вещь, чего раньше никогда не бывало: так велика была моя ярость на самого себя, что Сила сама собою, без моего участия, взвилась и ударила по поленице. Она вскрикнула, сжала голову руками, присела на пол, с каким-то воем поползла в сторону, потом, бросив все (железо загремело), в дверь... Я представлял, что она должна была испытывать, и слабо усмехнулся. Усмехаться — вот что оставалось мне.

Все было яснее ясного. Ученица Волхва — да такая, какую он берег на крайний случай. И вот случай настал. Она действительно очаровала нас — не покорностью, конечно, а Силой, которую я так и не распробовал. В моей голове мелькнуло, что, видно, из-за Силы-то этой я и не слышал, что кричала мне Маринка в снах, и отмахнулся от ее охраны, когда, ослепленный, спешил к князю, и, когда я вспомнил, как раздражался и эти сны и какие мысли баюкал, такое чувство вины и своей низости коснулось меня, что я только замычал и замотал головой. Никогда, никогда я ничему не научусь, всегда буду верить тьме, а свету — нет, как все люди, ничем я не лучше их, эх, богатырь!.. Силою а не красотой и не именем поленицы вошла она в доверие и к князю Ярославу. Постойте, мелькнуло у меня в голове, да ведь она и ложе наверняка с ним уже давно делит! Да, и вот любовница-поленица, о которой можно только мечтать, доносит князю, что богатыри, которые давно у него как бельмо на глазу, замыслили его убить... Он и воинов собрал, а поленица присоветовала еще и балку приготовить, чтобы сразу с ног сбить и оглушить. А тут еще Алеша — ох, Алеша, снова из-за бабы! — стража уложил — какие уж тут доказательства еще. Не убил бы его Алеша, когда бы под ее Силой не ходил, горяч он и жестковат, но не настолько, можно ж было просто с ног сбить...

Однако я мог так вот лежать и размышлять до следующего прихода поленицы.

Я был спеленут такими цепями, что не разорвать даже Илье. Я скосил глаз — поленица, едва найдя дверь, не заперла ее. Но что толку? Я стал быстро думать. Все могло погубить меня, но все было лучше поленицы, которая сейчас, может быть, пытала моих товарищей (Алеша как-то сможет защититься, а Илья?!) и в любой миг могла прийти с мечом и отрубить мою глупую голову.

Скоро прельстительные слова запрыгали горохом по подземелью дворца. Немного погода послышались опасливые шаги стража. Я не видел его. Закрыв глаза, я подергивался всем телом и бормотал:

— Золото, золото, золото!

Я мог промахнуться, но со словами «золото, золото» я должен был промахнуться гораздо меньше...

Я слышал, как он сопел у входа, преодолая себя; потом приблизился; чуть-чуть приоткрыв глаза, я видел его... Я забормотал:

— Два шага от стены на заход... пять шагов на восход... рыть... рыть... отдам, отдам... золото... блестит... сплит тебя... теплое золото... смотрит тебе в глаза... ты роешь землю...

Постепенно я приоткрывал глаза, и вот уже смотрел в упор на стража, а он смотрел на меня и не видел, и руки его выделяли что-то странное — он рыл землю.

— ...золото приковано... нужен меч, меч... ставить в звено цепи и разжать... освободить золото... торопись, другие поспеют... теплое, теплое тяжелое золото... еще одно звено... и еще одно... и еще... распутывай цепи, распутывай...

И вот последняя цепь спала с меня; я медленно поднялся, разминая мышцы. Страж

тупо смотрел перед собой в недоумении. Не желая больше тратить на него Силу, я ударил его ладонью по шее, забрал оружие; влезть в его кольчугу я все равно не смог бы. И вот я стоял на пороге своей темницы, с чужим мечом и кинжалом, без кольчуги, — сравнительно легкая добыча. Я обернулся.

Страж валялся на полу, а подле него лежали остывший кусок железа и щипцы. Очаг в углу пылал.

— Новый дворец отстроишь, князь Ярослав Владимирович, — сказал я вслух и шагнул к очагу.

Солома, валявшаяся на полу, занялась сразу же; едкий дым пополз по полу. Я подбросил угольев за дверь в проход. Пламя заплясало по стенам. Прежде чем показались первые стражи, коридор был весь уже в дыму.

Без особой опаски быть узнанным, я смешался с повалившей изо всех углов, как тараканы, стражей. Промелькнула поленица; я не мог терять времени на бой с нею: мне предстояло освободить товарищей, и я скользнул в камору, из которой она выбежала.

Илья. Он с трудом, со стонами и охами ворочал головой.

— Все-таки ты особенный богатырь, Добрыня, — только и проговорил он, покуда я разжимал звенья его цепей.

— Разматывай дальше сам, я за Алешей! — крикнул, я и побежал вон.

Пламя уже металось всюду; я открывал все каморы подряд — к счастью, они запирались только на щеколду. Наконец, в самом конце подземелья, полном дыму, я нашел Алешу; он уже задохнулся дымом и потерял сознание. Торопясь, я стал разжимать звенья цепи и сломал кинжал. Но Алеша был свободен, я подхватил его и понес вон. Илья уже поджидал в дверях. Мы понесли Алешу к выходу, еле уходя от огня.

У входа в подземелье металась люди.

— Богатыри! — истошно завопил один, но Илья ударом кулака послал его на землю, а я крикнул:

— Пускай горят!

И в суматохе нас не заметили. Мы нырнули в темноту.

От холода Алеша застонал и открыл глаза. Несколько мгновений он смотрел на оранжевые сполохи пламени на снегу, потом помотал головой и сказал слабо:

— Я могу идти.

Может быть, идти он уже и мог, но бежать — нет. Мы понесли его почти бегом к конюшне. Там выводили лошадей. Свалить несколько человек, отобрать мечи, поднять Алешу в седло, вскочить самим — все это произошло очень быстро. Обычно все бывает очень быстро, когда уходишь от смерти.

Погони пока не было, и мы, не жалея коней, помчались по улицам Новгорода. Люди выскакивали на улицу: пожар уже был виден многим. Могло статься, что я запалил целый город...

В лесу мы остановились и переглянулись. Мы лишились своих доспехов и своих коней. Мы оказались в холодной ночи в одних рубашках. Наш враг — Рогнеда — по-прежнему была рядом с князем и теперь с полным основанием приписывала происшедшее злодейство — пожар — нам. Доверие не только князя, но и дружины было, казалось, непоправимо потеряно. Многолетняя наша работа пошла прахом. Хотя мы и вырвались из лап Волхва, которого подвело любопытство и желание вызнать у нас все, что было можно, но Волхв на этот раз победил нас. Имея Рогнеду рядом с князем, ему не нужен никакой Святополк. Он приберет к рукам Ярослава.

Поговорили, о чем спрашивала поленица. Всех — о Никите, Смородинке и о пальце Волхва. Палец — хотел Волхв его вернуть, Силу свою восстановить. Не пришьешь палец, а все равно, пока у хозяина он — Сила держится. Вот еще зачем северная дочка объявилась... Не сказали ей про палец, да у Алеши в суме он. Вернется теперь к Волхву, заиграет Волхвовья Сила, повертит пальчик он, усмехнется зло и на шею повесит. Прежней Силы не будет, но и остаточная велика. А тут и поленица богатырей извела...

— В скит, к Никите, — сказал Илья.

— И потерять две недели? — сказал Алеша. — А Ярослав в это время уже уйдет в поход и либо погибнет, либо будет совершенно для нас потерян.

— У меня есть верный человек в Новгороде, — сказал я. — Только идти к нему надо пешком.

Мы бросили коней в лесу и подкрались к границам города. Пожар не разгорелся; судя по всему, даже княжеский дворец удалось отстоять. Мы выждали, покуда все уляжется, и пробрались в город.

Я вел товарищей к оружейнику Богдану. Много, Много лет назад меня привел к нему Учитель выбирать и сказал; «Это мой друг. Когда-нибудь он станет и твоим другом». Теперь я должен был потребовать от Богдана весомое подтверждение его дружбы... Богдан не удивился, когда увидел нас.

— Я знал, что вас так просто не взять, — сказал он. — Когда по улицам стали сновать всадники и искать богатырей, я понял, что лучше мне погодить ложиться спать.

Вкратце я рассказал ему, что произошло, — столько, сколько ему нужно было знать.

— Оружие я вам найду. Ваше вы уже, может быть, никогда не увидите. Найду и доспехи и коней. Найду любую одежду. А дальше — говорите, богатыри; чем могу — помогу.

— Пока что спать, Богдан, — сказал я.

Наутро мы узнали, что поход на Киев не отложен и войско выступает через два дня. Значит, два дня у нас и было.

Проникший на княжеский двор Богдан рассказал, что поленица расхаживает везде с князем, что князь озабочен, но глядит на поленицу влюбленными глазами, а она ему на ухо советы шепчет. Все было яснее ясного: Сила, переданная Волхвом Рогнеде, прочно угнездилась в Новгороде — при нашем не только попустительстве, но и покровительстве; неясно было одно — что решит делать с Ярославом Волхв дальше: не то легко погубит его, не то перекинется со Святополком на него. Последнее, впрочем, было трудно: Ярослав уже однажды еле ушел от Волхва, когда Илья прикрыл наше бегство, и как бы ни была велика Волхвова Сила, а заставить Ярослава забыть весь тот ужас не мог даже Волхв. Впрочем, он мог вертеть им по-своему на расстоянии, через поленицу: Ярослав с удивительной легкостью победил бы Святополка, а в Киеве правил бы все равно Волхв.

— Может, ворона на него снова натравить? — тоскливо сказал Илья.

— Дочка твоя ворона этого такое говорить заставит, что не жить нам после этого, — зло усмехнулся Алеша.

— Сны напустить? — так же тоскливо продолжал Илья.

— Ярослав под защитой, — только и сказал я, помня, как даже в моих снах Маринка не могла до меня докричаться.

— Значит, надо убить Ярослава, — заключил Илья.

— Чтобы вся Русская земля от нас отвернулась?

— Тайно.

— После того, что было, даже если Ярослава убьет Волхв, нам все припишут.

— Поленицу кончить! — ахнул Илья, грохнув кулаком по столу.

— Ярослав не простит и не поверит.

— Прийти на княжий двор, пасть в ноги: выслушай...

— Да под Силой он, под Силой, да еще под женской Силой! — топнул ногой Алеша.

— И кто только Силу эту пустил по свету! — огрызнулся Илья. — На Смородинку поедем!

— Два раза на Смородинку — не много ли? — сказал Алеша холодно. — И потом: времени нет. Хитрость нужна, — сказал он немного погодя, постукивая ребром ладони о меч. — Хитрость. Может быть, я знаю...

Посоветовавшись, мы решили, что ничего другого придумать не можем. Дождавшись вечера, Илья пошел стучать во дворы к новгородским боярам. До выхода войска оставались

ночь, день и еще одна ночь.

Ранним утром, выехав из ворот дворца, княжеская свита нашла на земле тело Добрыни. Добрыня лежал неподвижно. Князь с опаскою выехал вперед, рука об руку с поленицей, смотрел, не приближаясь. Хмурился во гневе.

Будый соскочил с коня, потрогал:

— Дышит!

— В подземелье! — крикнул князь.

Бояре зашумели.

— Знаем Добрыню! — говорили они. — И Алешу и Илью! Прежде допросить прилюдно!

Поленица склонилась к уху князя. Тот кивнул и крикнул в ответ:

— На мою жизнь покушались! Сами вы это видели!

— Кто знает, зачем в спальню твою они шли, — храбро отвечал Будый. — А что стража убили, так мало ли они за тебя кровь проливали.

Поленица все шептала что-то на ухо князю. Раздались голоса:

— Ты, князь, если бы не богатыри, давно б уж к варягам ушел! Ты уйдешь — мы останемся. Хотим слушать Добрыню!

Кто-то уже плескал на меня холодной водой, тряс мою голову, но я был неподвижен.

— Пускай поленица его при нас допросит, она Силу имеет, он отвечать будет, даже если в себя не придет!

Поленица задумалась, потом зашептала что-то князю.

— Хорошо! — отрывисто сказал тот. — Но если запыраться будет Добрыня, короткий у меня будет на него суд, при вас голову отхвачу. Или я уже и не князь здесь? Или кто-то другой на Святополка пойдет? — И он мрачно обвел глазами свиту.

— Пусть спрашивает поленица! — пронесся ропот. Та соскочила с коня, подошла ко мне.

Я ощутил, как могучая Сила поднимает меня и уносит куда-то. Я боролся с ней, но мой рассудок делался мне уже неподвластен, и я знал, что готов был отвечать то, что она мне велит. Внезапно мне сделалось легче, и я уже мог бороться: Алеша был на месте, где-то здесь, в толпе воинов, и помогал мне.

— Давно княжить решил, Добрыня? — спросила поленица.

Лежа неподвижно, с закрытыми глазами, не шевеля ни мускулом, одними лишь губами я выдохнул:

— Сроду не хотел, княгиня.

Ропот прошел по толпе.

— Расскажи, как князя околдовывал.

— Твое не расколдуешь, княгиня.

— Что это он тебя княгиней называет? — пошли голоса в толпе.

— По злобе! — дернулась поленица.

— Ложе с князем делишь, питье ему варишь, — прошелестел я.

— Эге-ге! — сказал кто-то.

— Руби ему голову, князь! — крикнула поленица. — Тебя поносит, не меня!

Князь, послушный, как ребенок, бросился ко мне и уже занес руку для удара, не внимая ропоту свиты. Но тут руку его сковало, и он так и застыл надо мной.

— Так я сама его зарублю! — крикнула поленица, но, прежде чем она успела выхватить меч, я вскочил на ноги.

— Стойте! — закричал я бросившимся ко мне. — Мое слово против ее слов!

— Руби его! — кричал князь, обливаясь потом и смертельно побледнев.

— Мое слово против ее слов! — крикнул я еще раз.

— Говори, Добрыня!

Я обнажил грудь в ожогах:

— Не ты ли пытала меня, девица?

— Не я!

— Сам себя я не пытал, ожогам два дня уже будет.

— Если и пытала, то по моей воле! — крикнул князь, силясь опустить руку.

— Нет у тебя теперь своей воли, князь Ярослав Владимирович. И не из северных стран приехала сюда девица-поленица, и не у богатырей она училась. Вспомни, с кем мы с тобой воевали, а рука твоя свободна.

Из обмякшей руки князя выпал меч, и я подхватил его, что было как нельзя более кстати, потому что поленица решила действовать и бросилась на меня. Она хорошо училась нашим приемам...

Бояре соскочили с коней:

— Остановитесь!

Мы замерли; я — готовый говорить, поленица — весьма неохотно.

Мы с Алешей отчаянно боролись за князя. Три Силы схватились над ним, и князь застонал.

— Не порочь поленицу! — простонал он. — Вы давно уж собирались мною вертеть, да она мне глаза раскрыла! А смерти вашей я не хотел.

— Не хотел? Верю! Да не ты ли против своей воли сейчас надо мною меч занес?!

Князь озадаченно повел шеей: он чувствовал, что не хотел убивать Добрыню, но чуть не отсек ему голову.

— Скажи, князь: не поит тебя поленица травными настоями? Не обещает помощи?

Князь молчал.

— И пою, и обещаю, и страшную измену открыла! — вступила поленица.

Князь поднял руку.

— Через день мы выступаем в поход, — проговорил он угрюмо. — Богатырям место при войске. Возвращайтесь. Но поленицу бесчестить не дам!

Не оборачиваясь, пошел к коню, вскочил в седло, резко развернулся и поскакал к воротам. Поленица тоже не оглядываясь, последовала за ним.

Кто-то тронул меня за руку: Будый. Лицо его было серьезно.

— А дальше сами, Добрыня. Тут мы вам не помощники.

— Ошибаешься, Будый. Если князь сегодня примет питье из рук поленицы, похода не будет, — сказал я, с наслаждением всматриваясь в его искажившееся лицо.

Богдан ошибался: и оружие и коней — все нам вернули. Не вернулось только расположение князя. И Волхвовьего пальца в Алешиной суме, конечно, больше не было.

Напуганный моими словами, Будый побежал к Ярославу. Я просил передать: я должен видеть его — наедине или при Будом, — но немедленно, до того, как он будет сегодня пить или есть. Будый вернулся, запыхавшись: сейчас князь выйдет на крыльцо.

На крыльцо! Никогда так не принимали богатырей во дворцах русских князей. В другое время я бы и думать не стал бы — развернулся бы и ушел, но тут, сжав зубы, решил выдержать и это.

Князь появился скоро. С поленицей. «Крепкая девица», — подумал я мельком.

— Если будешь чернить поленицу, — предупредил князь, надув губы, — говорить с тобой не стану.

— Силу чернить можно? — спросил я спокойно.

Князь озадаченно посмотрел на поленицу, но та пока сама не могла понять, к чему я клоню, и ответила ему взглядом: будь осторожен.

— Так вот, князь Ярослав Владимирович. Хочу тебе сказать о Силе, чего обычно никому не говорю. Сила — чтобы вмешиваться в жизнь людей, и ни для чего другого она не предназначена. Можно Силой подчинить себе человека — но не в животное же ты его обратишь. Можно Силой остановить человека — но на очень короткое время. Чтобы Сила действовала долго, надо подкреплять ее травками. Ты помнишь, как я приковал тебя к постели и лишил сознания, когда ты поднял руку на князя Владимира? И с тех пор ты меня не любишь. Вот даже решил, что жизни тебя лишить хочу. И из моих рук ты трав больше не

принимал. И прав ты был по-своему: слова можно одно говорить, а травы другие давать. Ты выступаешь в поход. Поход должен решить судьбу престола. Полюбилась тебе поленица — пусть рядом с тобой в поход едет. Не порочу ее и не черню. Напоминаю: из моих рук травы перестал принимать, чтобы от меня не зависеть. Вот и ни из чьих рук не принимай. О другом не прошу.

— Мои травы князю на пользу! — заявила поленица.

— А что, слаб так князь, что без трав не проживет?

— Твою порчу от него отвожу!

— Ну и в чем же была моя порча, поленица? Что от Волхва увел? Что в поход снарядил?

— К бунту народ подстрекали! Ладьи рубили!

— Что с народом делали, того не знаю. А что ладьи рубили — так и сам князь передумал бы, не ушел бы за море к варягам. Силен и смел он, князь, и поторопился народ.

— Ты князю медом уши не заливай!

— Так ведь лучше медом, чем горьким чем.

— Не пей ее варево, князь! — вдруг всхлипнул Будый.

— Что ж, если не мила я здесь, — сказала поленица, потупившись грустно, — уйду в другое место — слезы лить о том, как князь гибнет.

«Ничем не взять проклятую девку», — подумал я.

— Пока я жив, ты будешь со мной, — бросил князь. — И травы ее пить буду! — бросил он на меня презрительный взгляд. — От твоих трав я обезножел, а от ее — соколом летаю!

Я посмотрел на поленицу; своей Силой я увидел — неправду сказал Будому; не хочет поленица травить князя. Волхву он нужен живой и послушный, потому что Святополк уже бесполезен. И Святополка победить он ему поможет, и на глаза не покажется до времени, пока поленица при князе будет. Я почувствовал отчаяние: хоть голову сруби поленице — именем ее у князя Волхв потом многое добудет. Я признал про себя, что на этот раз побежден.

— Летай соколом, князь, — сказал я. — Мы только рады будем. Не мне тебя учить. А в походе на нас всегда рассчитывать можешь.

Несколько озадаченный, оборачиваясь на меня, не ожидая, что я так быстро сдамся, князь ушел, а я остался стоять на крыльце. Волхв снова плюнул мне в лицо.

Так я и сказал товарищам.

Илья долго и нехорошо ругал поленицу и всех нас.

— Ладно я, до тридцати трех лет сидел на печи, чуть меня Святогор не прогнал за неспособность, но вы-то: «Сила, Сила!» Где она, ваша Сила? Девчонка вас вокруг пальца обвела.

— Девчонка эта, Илья, — сказал я, — Волхвом воспитана и на крайний случай приготовлена. Сила ее не меньше нашей будет.

— А я-то в вас верил! Я думал — за Добрыней и Алешей я как за каменной стеной!

— Аи был бы ты за каменной стеной сейчас без Добрыни, — сказал Алеша зло. — А то и вовсе — во рву бы лежал. Ладно, — оборвал он себя и умехнулся слов но нехотя (а когда Алеша так ухмыляется — уходи лучше с дороги). — Может, и меньше наша Сила, а кончим мы поленичку и князя вылечим.

— Ну? — спросили мы с Ильей нетерпеливо.

— В княжеские палаты нам вход заказан. А в походе Князь в шатре будет.

— Ну? Ну? — торопил его Илья. — При чем здесь шатер, ну?

— В шатре костра не разведешь, — сказал Алеша загадочно.

Странное войско выходило в поход из Новгорода.

Князь сиял уверенностью в победе, войско же колебалось: посеянные нами сомнения в поленичкиной правоте дали всходы. Войско вообще не любит, когда князем правит женщина. А если тут еще и женщина с Силой, да не скрывающая этого... Нехорошие разговоры пошли по войску. Люди поумнее уж и Волхва поминали. Однако — сами

заставили князя идти в поход, теперь назад копытами не сделаешь. Пошли на Киев.

Лазутчики донесли, что степняки со Святополком шли на Альту. На Альте два года назад погиб князь Борис от Волхвовых слуг. Не стал защищаться, проливать кровь; не как князь умер — как мученик. И тогда спешили мы на Альту с Ильей, спешили, а все равно не успели, погиб Борис, и мог тогда меня убить Волхв, но не убил, а отпустил, как жалкого мышонка, в лицо плюнул. Впрочем, жалел об этом потом. И вот снова Альта...

Каждый вечер поленица варила князю травы. Требовала, чтобы воины окружали костер и никого к нему не подпускали; но многие собирались вокруг кольца и издали глядели, как крепкими руками мешают варево поленица, шепчет что-то, подбирает травы, хмурится в темноту. Смотрели и мы. Становились под ветер, нюхали по очереди запах, который доносился от котла; незнакомые травы все это были, хотя парочку похожих мы в Волхвовьем мешке на Змеином нашли. Потом меж двух рядов воинов несла котел поленица в шатер, поила князя, оставалась с ним до утра... Князь чувствовал себя прекрасно, лицо его сделалось едва что не юным, и дозорные со смешками рассказывали, что ночи он проводит не в тяжких думах. С нами князь не говорил; когда случайно проезжал мимо, мы шептали ему: «Отвары не пей!» — воины хмурились, Ярослав брезгливо поводил плечом.

На четвертую ночь мы стояли на полянах в лесу, была облачная, темная; только костры и светили, щелкая дровами. Как обычно, вышла поленица к костру, прижимая к груди мешочек с травами, осмотрелась, гневно нахмурилась, чувствуя на себе десятки глаз из темноты, из-за оцепления, потом села, принялась отбирать травы, шепча что-то, бросала одну за другой в огонь, хмурила брови, считала на пальцах время: старалась.

И вдруг появились над нею бесшумные тени; поленица ничего не замечала, но тени носились над нею все быстрее; ропот ужаса прошел по поляне. Поленица подняла глаза, вскочила и тут же в страхе отпрянула: прямо ей в глаза метил когтями огромный филин. Вскрикнула поленица, выхватила меч. Но филинов было трое, они оттесняли ее от костра, кружили низко в его свете, терпели жар. Разогнала их поленица мечом, канули филины в темноту, и только жуть осталась. Зябко передернула плечами поленица, сосредоточилась, слушала что-то или звала кого-то, меч не убирала. Потом села на землю, доварила зелье, подняла, бережно понесла в шатер. Многие крестились в ужасе; кто-то поминал Перуна. Пересказывали эту историю в стане, волновалось войско. Но что делать — не пойдешь к князю посреди ночи, да и днем ему эту историю рассказывать страшно. Поговорили и успокоились.

Затих стан. Потрескивают костры, ходят дозорные, переговариваются тихо. Да и лес затаился, словно прислушивается к чему-то. Кто-то застонет во сне, кто-то заворочается, а так — безмолвие.

Жуткий крик страдальца прорезал тишину. Второй, третий. Потом — один жуткий полустон-полувовай. Повскакивали люди.

Кричал князь.

— Убила! Убила! — завопили люди, бросились к Шатру.

Князь метался по постели, катался, прижимал рука к животу, поленица бестолково суежилась вокруг. Схватили поленицу. Отбивалась, за меч хваталась, да против озверевшей толпы и поленице с ее Силой делать нечего.

Прибежал к нам гонец:

— Князя отравили!

Поспешили к шатру и мы.

Бояре шумели, кричали:

— Богатыри, вы травы знаете, лечите!

Князь уже и кричать не мог, давился рвотой и желчью, гудел только тоненько: «У-у». Илья держал его, мы с Алешей мяли живот. Князь отбивался; был уже не в себе.

— Отравлен, — сказал я громко, поднимаясь с колен.

Ропот прошел по толпе. В походе на смертного врага потерять князя?

Страшно крикнула поленица за шатром на поляне, задохнулась воплем.

Быстро кончили поленицу, затоптали люди.

Мы бегом бросились к костру, заварили свои корешки и травы.

Князь пришел в себя и мучился страшно. Сипел:

— Спасите!

Разевал рот, смотрел с мольбой: верил.

Мы стали вливать в него отвар. Поначалу желудок не принимал, потом пошло легче, князь жадно пил; слезы текли по его лицу: умирать не хотелось очень...

А потом боли прошли. Совсем. Провалился князь Ярослав Владимирович в сон, но перед сном прошептал нам:

— Простите...

Будый обнимал нас, плакал. Толпа взволнованно шумела кругом, расступалась.

— Завтра здоров будет князь Ярослав Владимирович, — объявил Илья важно.

Покричал народ, порадовался.

Подошли мы к поленице. Страшно было смотреть на ее тело.

— Так-то, дочка, — сказал Илья сурово.

Собрали мы поленицыны травы; снова половина незнакомых — ну да пригодятся. Порылись в сумке — нет пальца. Ушел уже к Волхву через верных людей... Рожок, конечно, нашли. Пошли в сторону от народа. Сели на сырую траву.

— А ну как не оклемался бы князь, а? — сказал тихо Илья. — После того что филины твои в котел побросали...

— Сам ты видел, Илья, что травы мы с Добрыней подбирали, — смеялся Алеша. — Безвредные травы. Мучительные, а безвредные.

— Мучительные, да... — вздыхал Илья. — Надо же — птахи выручили.

— Птахи, — смеялся Алеша, — да у филина ума побольше нашего будет. С ним говорить — как с монахом ученым.

— Уж монахи, да... — качал головой Илья. — Жалко, что не в бою ее кончили, — сказал он, помолчав и повздыхав. — Хоть и гадина была, а все же в бою надо было. Не по мне они, хитрости ваши.

Потом подумал и заключил:

— Старею, видно, не понимаю хитрого вашего века.

Махнул рукой, поднялся и ушел в темноту.

Наутро князь был здоров. Открыв глаза, приказал позвать богатырей. Смотрел в сторону, ломал пальцы.

— В третий раз вы меня спасли, — заговорил наконец тихо. — Всякий раз забывал про это. О пустом думал, с пустой головой в сети и попал. Больше не забуду — верите ли?

Вскинул глаза — с надеждой.

— От вас любой совет приму.

— От меня отвар примешь? — спросил я.

Ярослав засмеялся с облегчением. Вскочил, заходил по шатру. Алеша посмеивался в кулак. А у меня было тяжело на душе. Спасли мы Ярослава от поленицы и хозяина ее — Волхва; спасли и большее, чем князя. Однако спасли обманом. По-другому нельзя было, а все же скверна в этом оставалась. Что бы дальше ни было, а между нами и Ярославом лежала большая ложь.

— Что ж, князь, — сказал Илья, надувая щеки, — мир теперь между нами. А мы всегда Русской земле служили, говорили нам спасибо или не говорили.

— Разобьем Святополка?

— Разобьем, — сказал я. — Можешь быть теперь спокоен.

— Добрыне видение было, — сказал Илья, значительно округляя глаза.

— Самый главный совет дам, князь, — сказал я. — Кто бы из незнакомых ни приходил к тебе, первым делом спрашивай себя — не от Волхва ли он, и, чем большей Силой он обладает, тем пристальней на него смотри. Врага ты уже знаешь в лицо: это уже много — князь Владимир не знал, например.

— И рыбу меньше уди, — встрял Илья.

Ничто не могло испортить просветленного настроения князя. Я понимал его. Когда с тебя спадает чужая Сила — не важно, добрая или злая, приятно тебе было под ней или нет — ощущаешь огромное облегчение: вот, не замечал, жил под ношей, а теперь ноши нет.

Облегчение князя передалось и войску. Я никогда не мог понять, как огромные толпы вооруженных людей образуют войско. Тем более я никогда не мог понять, что действует на войско, что предопределяет, как оно будет биться сегодня. Иногда рати, сильно превосходящие противника и числом и опытом, терпели на моих глазах самые позорные поражения. Какая-то веселая злоба должна двигать людьми, чтобы они наступали. И на этот раз такая веселая злоба была. Когда мы вышли на Альту, князь держал речь. Поминал погибшего здесь Бориса; говорил, что кровь его вопиет к отмщению. В случае победы обещал прочный мир и престол, покров спокойствия над Русской землей. Воины слушали серьезно; верили.

Ярослав и правда стал преображаться; говорил уверенно; хмурия брови, смотрел в глаза воинам.

Я стал думать — неужели случилось, неужто становится Ярослав Владимирович правителем?

Перед сражением два воина привели ко мне подростка: спрашивал поленицу. Я поблагодарил их и отпустил. Он стоял передо мной, щуплый, с дурашливым выражением лица, но я чувствовал в нем небольшую знакомую Силу. «Дети Волхва... — в который раз подумал я с горечью. — Не была ли, кстати, и поленица его дочерью?»

— Где твой отец? — спросил я.

Мальчишка пожал плечами:

— Умер.

— А Волхв где?

Мальчишка молчал.

Был бы на моем месте Алеша, не уйти б мальчишке, не ходить по земле сыну Волхва. Но я ощущал тяжесть — грех обмана и крови, поэтому сказал устало:

— Передай отцу, что Рогнеду затоптали воины. Еще передай: кончается его время. А теперь беги отсюда, если сможешь.

Мальчишка посмотрел на меня пустыми глазами и побрел к лесу. Насколько я знаю, его никто не остановил.

Войско степняков показалось нам слабым, но, прежде чем мы успели напасть, подошло подкрепление, я полагал, что Волхв и без мальчишки узнал о судьбе Рогнеды и потребовал от Степи еще людей.

Битва началась рано утром, сразу после прихода подкреплений из Степи; жестокая битва. Она возобновлялась трижды. Мы дрались весь день, и Алешу даже оцарапало мечом. Ярослав бился в первых рядах. Обман поленицы пошел ему на пользу: он разъярился. К вечеру Святополк, которого мы так и не смогли достать мечом, бежал. Наши передовые отряды преследовали его по пятам, но степняки стали стеной, и Ярослав решил не губить своих воинов ради одной окаянной жизни.

Ни один из нас за весь день не увидел Волхва; может быть, его уже и не было при Святополке: поняв, что тот проигрывает, Волхв мог бросить его, как пустую ненужную скорлупу.

После боя мы промывали Алешину рану и говорили о том, что на этот раз на Альте взяли верх мы. Борис и Глеб были отомщены. Появлялась надежда, что киевский престол будет крепок и смута прекратится.

Уже поздно ночью, когда мы укладывались спать, прискакали люди князя и передали от него Илье сломанную рыболовную уду.

Глава 5. АЛЕША

Веселое время настало после Альты.

Пирсы Ярослава, которого теперь, не стесняясь, называли великим князем киевским, были часты и обильны. Новые люди приходили к власти в Киеве, а новые люди на веселье неумеренны. Как это ни могло показаться странным, а веселье несколько умерял сам Ярослав. Пожалуй, Добрыня был прав, и история с поленицей переменяла князя; можно было надеяться — что навсегда. Поленица, поленица... Никому не рассказывал я, какие слова ей шептал, что обещал: сказали бы Добрыня с Ильей — вот, снова Алеша из-за девки обманулся. Мы-де обманулись в ней, потому что за поленицу приняли, а Алеша необычной добычей прельстился, соперничек Ярославу-князю.

Да, прельстился, но пострадал не больше других. Зато морщится Илья, что затоптали поленицу, вздыхает Добрыня, а я бы змею эту безбровую сам хотел пощипать, ядовитые зубы вырвать. Легкой показалась бы ей смерть от войска, когда б узнала, что я ей готовил... Расходимся мы здесь с Добрыней: он вроде и считает, что нужно карать, но в то же время и брезгует. А я не брезгую. Не покараешь, не отомстишь — толку в жизни не будет. Если бы Добрыня скрепя сердце не карал и не мстил, а только думу думал или князьям советовал, и не знал бы его никто, и век бы он на княжеском крыльце стоял. А так — боятся меча и Силы Добрыни; только через боязнь эту князья его и слушают. Ладно...

Первым делом Ярослав снарядил погоню за Святополком с умным приказом — если много крови будет стоять, дело отставить, но все вызнать. Усталый отряд так и сделал.

Узнали: едва до западных рубежей дополз Святополк Окаянный, постоял на границе, пролил злую слезу и махнул воинам рукой — уходить из Русской земли. Тут его последние силы и оставили. Не мог уж на Коня скакать Святополк, несли его верные люди, и скрипел он зубами дорогой, и впадал в беспамятство, и всем богам молился. Потом телом окреп, зато разума лишился; вскочил на коня и понесся, крича, что погоня близко. Догоняли его воины — не догнали. На другой день все же настигли — пешком шел Святополк, конь пал под ним, шел, и оглядывался, и каждого куста. шарахался. Дали ему нового коня; он снова за своей спасаться. Так троих коней запалил Святополк, а от страха своего не убежал. Надоело воинам возиться с безумным князем и бросили его, и понесся он, как лист осенний, в Моравию, надеясь в глухом месте спасти жизнь свою. Последнее, что о нем говорили — глухими лесами, не зная дороги, полумертвый от голода, неся Святополк, опасаясь преследования и мести.

Услышав все это, я понял — не жилец Святополк, и страх отомстит ему во сто раз сильнее, чем людской гнев. Так что про Святополка можно было забыть.

Про Волхва забывать не следовало, но было несомненным, что нам удалось выбить несколько клыков из пасти хищника. Долго подбирался он к престолу, плел вокруг Святополка сети — лет семнадцать плел. Положил Волхв лучшие годы жизни своей на неукое своевольного, хорька в княжеских палатах. А теперь — сколько Волхву? Да уж лет шестьдесят будет. В такие годы пора либо о душе думать, либо на зиму берлогу искать, а не о престоле мечтать да о владычестве. Нет, на ущербе луна Волхва; может, и не нам окончить его злые дела: старость кончит. А может, старость в наши руки-то и предаст его годочков через несколько. Добрыня говорит: появится новый Волхв. Эх, Добрыня! Тебе бы только тревожиться! Сам знаю, не будет мира на земле, не такой землю боги создали, да надо радоваться, когда с одним врагом справишься. А о будущем думать — только дни свои сокращать. Может, до нового врага и не доживем вовсе. Налетит из степей с Востока какая-то зараза неведомая — и нет Алеши, и не смеется никто, и за девками не бегает, и в синенькое небо не смотрит.

Подожди, Добрыня, не кручинь себе и другим голову, дай погулять...

Илья тоже загрустил. Говорит Илья — старость идет. Идет, конечно; и Илье похуже будет, чем нам с Добрыней. Но не рано ли и ты, Илья, загрустил? Ты на богатырскую дорогу поздно встал, долго силы копил, может, дольше по ней и пройдешь? Святогор вон — до восьмидесяти с лишним богатырем был, правда, последние годы на покое, до тайн Силы добирался. Сила его и погубила... А потом что — конечно, невесело в Киеве на пиру сидеть,

когда другие богатыри Русскую землю защищают; но ведь ты, Илья, всегда хотел быть старейшиной! Вот и будешь, и песни о тебе уже поют больше, чем о ком бы то ни было, и знает тебя народ, и всегда помнить будет. Но затосковал Илья. Сидел понурый, только пил много и хмелел до беспамятства, чтобы дурные мысли прогнать. Я-то что еще думал — не навела ли на него порчу поленица? Илья Силой не защищен, поленице раскрывался душою всей, дочкой называл, а по открытой душе удар нанести — первое дело, и никакими травами душу не залечишь. Я хоть и подбирался к поленице, и околдовала она меня, но попробовал бы я диковинного плода — и отвернулся бы. А Илья — дочка, дочка...

Когда одному из нас бывало плохо, прибегали мы к испытанному средству развеять грусть-тоску: выезжать в чисто поле и ждать, кто встретится, может, на подвиг наткнемся. И натыкались, бывало.

Сговорились мы с Добрыней, сказали Илье на пиру: — А не хватит ли нам бражничать да на Ярослава смотреть? И ему с нами неловко, и с нас хватит князя и престольных дел. Не поехать ли искать обычного богатырского дела — подвига, который за поворотом? Илья долго отнекивался, мотал головой — Нет, вы езжайте, а я уж здесь как-нибудь... Небось куском не обнесут, не прогонят Илью...

— Ты ли это, Илья?

— Я, богатыри, я... Проходит мое времечко, а может, уже и вовсе все вышло. Езжайте без меня.

Трудно было слышать такое, дико: как же мы — и вдруг без Ильи? Но чувствовали мы, что лукавит Илья, хочет, чтобы уговорили его. И точно: сдался.

— А может, ваша правда. Поехать развеяться, помахать мечом, степняку какому-никакому уши укоротить... Поехали.

Мы простились с Ярославом. Князь был озабочен делами, но смеялся: видишь, Илья, дал я зарок тебе, с тех пор рыбу и не ужу.

С легким сердцем выезжали мы из Киева. Престол пока непрочен, зато князь нашелся. А раз князь есть, престол свой он оградит, а мы поможем, если нужда такая будет. Разбит Святополк, окаянная забота последних лет. Отомщены Борис с Глебом. Волхв снова скрылся в какую-то нору (но если есть на свете справедливость, я его прикончу, а не кто другой! До сих пор уши горят, когда вспоминаю, как радовался тогда на Змеином!).

Хорошее время было на дворе. Не успело еще лето заветрить, свинцом небо обложить, воду остудить. Едешь — и жар идет от земли, и травы голову кружат, а в бор попадешь — так и не выходил бы никогда — сладко-пряный смолистый воздух тебя, как мушку в янтарь, в себя вплавляет. Соскочить с коня, упасть на рыжую хвою, закинуть руки за голову — ив небо смотреть, и смеяться непонятно чему, и с птицами переговариваться да не посылать в окно ночью стучать или зелье в котел сыпать — а так просто: чисто ли небо, сойка? Будет дождик или сушь простоит, сорока? А ты, сова, чего спишь, небось жирных мышей ночью накушалась?

А встретишь речку — так броситься в нее, и нырять. и плавать, а потом на песке греться...

А как до степи доедешь — так чихать радостно от пыльцы трав цветущих, что там в человеческий рост вымахивают, да дроф, да журавлей вспугивать, да перепелов стрелять и на костре вечером жарить. Недолгое лето в Русской земле, но когда в силу войдет — глаз не оторвешь. А зима придет — так что ж, в город податься, в окно дышать, дырочку растепливать, на девку смотреть, и в окошко — стук-перестук...

В день собрались и выехали в чисто поле.

Как водилось в таких случаях, ехали туда, куда хотел тот, кто грусть-тоску разгонял. Илья решил поехать на северо-восток от Киева, но не в Новгород, а южнее, почти на самые рубежи: захотелось ему поездить по тамошним холмам, уходящим в небо. Оттуда не так далеко было и до степей, а в таких местах часто происходили случайные схватки: Степь пробовала стрелой Русь; скитались здесь и те, кто по каким-то причинам не хотел показываться в городах, и были среди них люди, которых богатырю надо было поучить

мечом или словом.

Договорились: во всех схватках первое слово за Ильей, первый подвиг — его.

Дорогой Илья развеселился. Вдали от хором, где пировали, он снова почувствовал себя молодым. Я всегда знал, что Илья, сам того не ведая, кормится Силой земли. Мы с Добрыней, я думаю, могли бы богатырствовать и на Востоке, и в западных странах. Илья же был привязан к Русской земле. Связь эту объяснить я не могу, потому что не остров же Русская земля, Чтобы обладать особой Силой: перетекает она в другие земли. Но, по-моему, завяжи Илье глаза, вози его по Разным странам, запутывай, а привези в Русскую землю — почует ее, распрямит плечи, забогатырствует привольно. Самый русский богатырь среди всех был Илья. Святогор вот даже под старость уединился там где уже веет нерусским Югом, в юго-западных предгорьях. Никита, Добрынин Учитель, все рвался к грекам и в Святую землю, туда, откуда пришел новый Бог. Мы с Добрыней были вообще жадны до новых земель, А Илье все, что начиналось за Русской землей, было тягостно и неинтересно. Словно выдохнула Русская земля свою Силу и создала любовно для себя особого богатыря. Мы посмеивались над Ильей, но в свое время пообещали ему после его настойчивых просьб, что, если сложит он голову на чужой земле, привезем мы его домой и похороним тут. Для себя я ничего подобного пока не хотел: не все ли равно, где будут гнить твои кости, а что будут тащить твоё окоченевшее тело куда-то, так об этом даже подумать противно.

У Добрыни было другое на уме: что станет с ним после смерти, куда душа его попадет? А я и об этом не думал. Не для того человек создан, чтобы о загробье размышлять. В том мире уже не человеком будет, а иным чем-то. А я себя без тела представить не могу: телом я живу (Добрыня — душой, Илья — землей). А уж что боги или новый Бог сделают со мной после смерти — об этом думать бесполезно, все равно представить себе этого ты не сможешь. Хотя знал я случаи, когда люди настолько упорно про это все думали, что бежали на Смородинку спрашивать: что со мной будет. И не возвращались со Смородинки: смеялась, должно быть, речка — ах, любопытствуешь? Я согласна ответить — на, смотри, ты уже на том берегу, я тебя перенесла, а обратно я еще ни одного человека не переносила. А как полетит, как понесется моя душенька на Смородинку, как нырнет в черные янтарные воды, так там ей все концы и начала и откроются. Все в свое время, и не надо смерть переносить в жизнь. Дорогой говорили мы о разном, в том числе и об этом. А когда надоело говорить, пускали коней взапуски, и неслись так, как только богатыри умеют. Летишь, словно сам ветер творишь из спокойного воздуха. А остановишься, смотришь — кольчуга твоя в мошках, разбившихся о нее, пока ты летел. Смахнешь мошек, которых полет твой погубил, и дальше.

Добрались мы до холмов, любимых Ильей. Места там действительно необыкновенные. Даже и не холмы это, а какие-то шары, утопленные в землю почти по самую макушку. Пересекаются эти округлости глубокими балками. Стоишь на одной вершине — а вокруг гигантские желто-зеленые волны, и кажется, что за ними ничего нет, а есть только одна крутая дорога — прямо в небо. В балочках — рощи, елки топорщатся, а по холмам зайцы шныряют; видишь, как трава под лапами их быстрыми назад несется, словно зайцы холмы-шары эти крутят. Привольная земля, и простора в ней едва ли не больше, чем в степи: степь во все стороны ровнехонько уходит, и далеко небо, а здесь оно близко — за каждым холмом, и кажется — влезешь на макушку и рукой потрогаешь.

И стали мы по холмам этим ездить да в разные стороны поглядывать, не покажется ли из балочки какой подвиг для Ильи. Долго ездили, мне уже надоели и холмы эти, и близкое небо, и решил я, что надо ехать в другие места; не шел подвиг в руки. Но на седьмой день почувал я, что за нами кто-то едет.

Не сразу научился я такое чувствовать, но лет десять уж умел.

Стал я оглядываться, от товарищей отрываться и по балочкам рыскать, но никого не заметил: видно, тот, кто за нами следил, меня тоже чувствовал и до времени скрывался.

Сказал я об этом товарищам.

Обрадовался Илья:

— Подвиг за мной ходит!

Разбежались мы в разные стороны, но никого не нашли.

— Померещилось тебе, Алеша, — разочарованно бурчал Илья.

— Да не померещилось, — сказал Добрыня. — След от коня я видел. Не знаю, кто за нами ходит, но не дух это бесплотный, а всадник. Умел и до времени скрывается, знает, что мы его ищем.

— До какого времени? — спросил Илья.

Добрыня пожал плечами:

— Ждет он чего-то. А того вернее — играет с нами, умение свое показывает. Так что потерпи, Илья.

Два дня скитались мы по холмам; преследователя нашего не искали, решили: не будем его веселить, сам покажется, когда надоедят ему игры эти.

И точно. На третий день оглянулся я и увидел: на вершине холма лицом к нам неподвижно стоял всадник.

Он был далеко, но глаза у меня зоркие, и я разглядел, что богатырского он был сложения, даже не просто богатырского, а на Илью похож: громаден.

Илья сверкнул глазом:

— Не поедем навстречу! Последень этот сам пускай нас ищет.

И началось странное: ехал за нами всадник, видели мы его все время, но не приближался. Удивительное было дело, первый раз в моей жизни, и уж хотел я в раздражении наказать его за игры эти, но — первый подвиг Илье.

Еще день ехал за нами всадник, и ночевал поблизости, и гадали мы нетерпеливо: кто бы это мог быть, но нетерпения своего твердо решили не показывать — мошка и мошка ты, чтобы на тебя богатыри внимание обращали.

Наутро всадник сел в седло и пустил коня рысью к нам. Надоело ему в игры играть, терпение наше испытывать. Мы не останавливались, и вот уже ехал он за нами в двадцати шагах. Мы не оборачивались даже. Едут себе богатыри и едут, а до тебя, игрун, нет им дела. Хотя шея так сама и поворачивалась — разглядеть этого умника, а в голове пело: «Подвиг, подвиг!» К полудню ускорил шаг всадник и с нами поравнялся, так и не заговаривая.

Скосил я глаз — могучий всадник, таким, наверно, Илья в молодости был; издали за богатыря примешь. Лет двадцати пяти, русский, и лицо вроде знакомое. Разозлился я на себя: что это со мной, если понять не могу, где лицо это раньше видел?

Ехали так, пока солнце за холмы скакать не стало.

Заговорил всадник:

— Искали меня, богатыри?

— Кто ты такой, чтоб искать тебя, — с напускным равнодушием сказал Илья; но я-то чувствовал радость в его голосе: близок, близок подвиг!

— Сокольников меня зовут.

— А по мне, хоть бы тебя и самим Соколом звали, — все так же промолвил Илья, глядя в сторону.

— А все же искали вы меня, а не нашли! Я, если захочу, под землю провалиться могу!

— Захотел бы ты сейчас.

— Не шути, Илья, я сразиться с вами приехал!

Илья остановил коня и повернулся к всаднику.

Маленькие медвежьи его глазки были совершенно непроницаемы.

Вот как! Честный бой!

Честный бой сделался в наше время большой редкостью. Это во времена Святогора и раньше съезжались богатыри, а чаще — просто искушенные воины (другим были заняты богатыри) и бились — до победы, Иногда до смерти. Откуда повелся этот глупый обычай, Неизвестно. Не сходятся лоси в лесу, чтобы биться просто так, да еще до смерти. Не сходятся и медведи и волки. Берегут звери жизнь, а люди — нет.

Как глупо это ни было, отказаться от честного боя считалось позором. Какие бы

подвиги ты ни совершил, что бы сделать ни собирался, а подставь самую жизнь свою под меч в бессмысленной схватке — иначе молва ославит тебя, позором покроет.

Когда я был совсем молодым богатырем, некоторые считали меня легкой добычей. Шестеро бились со мной честным боем, трое — до крови, трое — до смерти. И кровь и смерть были их. Я много думал, что это были за люди, и даже расспрашивал тех троих, что бились до крови, зачем они хотели со мной бой принять. Они талдычили одно — удаль показать да славу заработать.

Однако бывали и честные бои с причиной. Рассказывали — давным-давно, задолго до моего рождения, бились Святогор и Микула из-за какой-то обиды, до крови бились, одни в чистом поле — и победил Святогор.

Есть и другой честный бой — стоят две рати одна против другой, и выезжают два воина и бьются до смерти. Тоже глупый обычай. Когда два князя схватываются — то и понятно, их война. Но когда воины — что же, одного побили, товарищей его напугали? Неразумно все это, однако не нами придумано и не нами кончится. Обычно же, от природы своей завистливой и жгучей, завидовали воины богатырям и хотели прославиться, а то и сами богатырями стать.

Собственно говоря, меня заметили тоже после честного боя. Приехал к князю Владимиру степняковский князь, Тугарин. И стал он своей силой похваляться и над русскими трунить. Терпел князь Владимир: гость. А я вскочил, Тугарину мечом прядь волос срезал и на честный бой вызвал. Удивился Тугарин, за волосы схватился, но драться пошел с радостью. Рано радовался степняк, а меня с тех пор запомнили.

В последние годы исчез честный бой совсем. Поумнела Русская земля. Схватывались, правда, в честном бою со степняками, ну да это другое дело: с ними лучше в честном бою, чем он тебя стрелою достанет.

И вот теперь этот Сокольник. Что ему надо? В богатыри хочет? Так не с богатырями ему тогда сражаться: заносчивость такую не прощают богатыри и в свой круг потом не пускают. Прославиться думает? Опасный способ. Я ничего не понимал.

Илья, по-моему, тоже. Он неподвижно сидел в седле, уставившись на Сокольника.

— На честный бой вызываю! — выдохнул Сокольник и оглянулся на нас горделиво: вот я какой!

— И кого же ты вызываешь? — спросил Илья с некоторым страхом: вдруг Алешу или Добрыню!

— Тебя! — крикнул Сокольник.

Ухмыльнулся Илья. Подвиг не подвиг, а честный бой теперь редкость.

— Ну и как же биться хочешь — до крови или до смерти?

— До смерти! — заявил Сокольник.

Мы с Алешей переглянулись. Сокольник выглядел славно; Илья последние недели был не в себе — не лучший подбор для боя. Но даже если бы Илья лежал обескровленный на земле, а Сокольник рубил бы его мечом, мы и тогда не могли бы вмешаться. Впрочем... Мелькнуло у меня голове: мы здесь одни, и, если Кончить Сокольника, никто ничего и не узнает, а Илью спасем. Но проклятый Сокольник словно читал мои мысли:

— Только пусть Добрыня с Алешей поклянутся не вмешиваться!

Пришлось клясться. А с клятвами шутить я не люблю. О богах меньше Добрыни думаю, но их остерегаюсь.

Теперь все зависело от Ильи.

Илья отъехал от нас, распрямился в седле.

— Начинай! — крикнул он Сокольнику, не вытаскивая Скала.

«Ой, напрасно Илья лихость показывает», — мелькнуло у меня в голове.

И точно. С первого мгновения стало понятно, что Сокольник — искушенный боец. «Откуда же ты взялся?» — подумал я, но додумать мысль не успел, потому что Илья еле успел увернуться от меча. Потерять Илью... Я начинал колебаться, не нарушить ли свою святую клятву.

Наверно, Сокольник бился так, как Илья в молодости: мощно, напролом, попадись ему — коня разрубил пополам. Оба сражались одинаково: только один был моложе лет на сорок... Вот заржал страшно Ильин Бурый: разрубил ему-таки Сокольник голову.

Успел Илья, соскочил на землю, и вовремя — сверху на него обрушился Сокольник, но рубанул Илья по ноге его коня — и прыгнул конь в сторону. Жалобное ржанье двух коней было невыносимым, и Добрыня, морщась, добил их. Содрогнулся и я.

Илья с Сокольником кружили по земле. Если один не успеет отбить удар или увернуться — конец, такие бойцы рубят кости, как хворост; кольчуги еще не выкованы для таких ударов. Не видал я больше никого, кто бы бился так, как Илья: откуда ж Сокольник-то взялся?

Но Илья не отчаивался. Пот тек по его лицу, но рука не дрожала; притопывал, покрывал Илья, уворачиваясь от удара, и ударял сам.

Сшибались мечи, высекая искры, и не ломались. Меч Ильи — богатырский меч, но где добыл такой меч Сокольник? И что же это за странный храбрец?.. Но я не успевал думать, следя за боем. Илья скоро устанет; онемееет рука — годы немалые. Попал Илья под жернов, по его подобию скроенный. Кто научил Сокольника под Илью драться?

Но вот просчитался Сокольник: решил, что берет верх, потому что Илья почти с места не сходит, силы бережет, и, норовя разом окончить бой, воспользовавшись молодостью и ловкостью, взмыл, огромный, в воздух в сильном прыжке, чтобы соколом на Илью сверху броситься, и отсек ему Илья ноги.

Закричал Сокольник, забился, хлынула кровь; попался сокол в лапы медведю.

Илья опустил меч, вытер пот, хрипло дыша. Посмотрел на нас, мотнул головой: силен я еще, хоть и чуть не погиб сейчас, — и шагнул к Сокольнику.

И тут, воя от боли, ткнул Сокольник мечом в Илью: страшно свистнула-скрипнула кольчуга, отскочил Илья, вскрикнув.

— До смерти, до смерти... — приговаривал Сокольник сквозь зубы. Могучий был воин, и тайна его уходила вместе с ним.

— Чего воешь, подставь шею, — крикнул Илья, оправившийся от удара. — Кончу тебя, мучиться не будешь.

Выл Сокольник, махал мечом, как жук, у которого половину лап оторвали, слабел; выронил меч.

Отшвырнул ногой меч Илья, склонился над ним; открылись снова глаза Сокольника, и потянулся он за кинжалом, но рука не слушалась уже: утекала жизнь Сокольника кровью в землю. Всего несколько мгновений оставались Сокольнику на земле. Шагнул я к нему, спросить хотел, но обвел Сокольник нас в последний раз глазами, остановился на Илье и прошептал:

— Будь ты проклят... За мать не отомстил...

И умер Сокольник.

— За мать? — пробормотал Илья, выкатив глаза. — В жизни девки не обидел...

Тихо было на холмах, заходило солнце, залило нас красным, как кровью. Стояли мы, молчали.

Я посмотрел на Сокольника и не сдержал крика.

На земле лежал Илья.

Раскрыли рты Добрыня с Ильей. Переменила смерть Сокольника, постарел он, и было у него лицо Ильи.

— Что же это, богатыри? — прошептал Илья с ужасом.

Я не понял, откуда я знал то, что говорю, но слова сами выпрыгнули из губ:

— Сын это твой, Илья!

Илья стоял неподвижно, а Добрыня в досаде топнул ногой.

— Не было у меня сына, — глухо проговорил Илья.

— Был, — так же глухо отозвался Добрыня.

— Ты что, со свечкой надо мной стоял? — зарычал Илья гневно.

— Моя вина, не стал тебе говорить. Смородинка открыла мне — грозит тебе смерть от руки сына.

Спросил тебя — не знал ты о сыне. Не сказал...

— Почему, почему не сказал... — Илья закачался, как от боли.

— Моя вина, — повторил бледный Добрыня.

— Берег меня — и хуже вышло. Э-эх...

— Может, и не сын он тебе, — сказал я, сам себе не веря.

— Лицо, может, тоже не мое?

Я молчал. И все молчали. Закат стал гаснуть; тьма напознала с востока.

— Я все знать хочу, — сказал Илья тихо. — Кто он, откуда, за что мстил, кто на меня напраслину навел, почему я о нем раньше не слышал.

— Кто напраслину на тебя навел, я, кажется, знаю, — сказал Добрыня тихо.

— Волхв? — дернулся Илья.

— Не было злой Силы у Сокольника. Честного боя хотел, и сам честный был. Значит, натаскали его на тебя. Не лешие в лесу это делали. Многие веревочки в руках Врага сходятся; думаю, и эта тоже...

— Где искать, что делать? — проговорил Илья горько. — Коня и того у меня нет теперь. Куда я без Бурейки?

— Где искать? Вспомни, Илья, женщин своих, не было ли среди них странных? — сказал Добрыня.

Я в сомнении сощурился. Илья заезжал к вдовам, веселым, разбитным, послушным. Странные женщины его не интересовали.

Но Илья вдруг ахнул.

— Была, была одна... — В смущении он потупился. — Расскажу, ладно... Только-только стал я странствовать без Святогора, и была это первая моя девка. Заночевал я в деревеньке Мшенка, от Новгорода недалеко, и пришла она ко мне сама ночью, а утром я ее не нашел — всю деревню осмотрел. — Он подумал. — Двадцать семь лет назад это было. — И оглянулся на Сокольника непроизвольно.

«Двадцать семь лет назад, — подумал я. — Пришла неизвестно откуда, ушла неизвестно куда. Ищи иглу в стоге прошлогоднего сена».

— Лицо ее помнишь? — настаивал Добрыня.

— Какое, — махнул рукой Илья. — Ночью пришла, ночью ушла.

— Искать будем, — сказал Добрыня. — Найти должны.

— Не воскресишь его, — сказал Илья еле слышно. — Может, твой Бог это умеет? — И он покосился на Добрыню с детской какой-то надеждой.

Добрыня молчал.

— Все боги одинаковы, — молвил Илья горько. — Нет им дела до нас.

Добрыня хотел возразить, открыл уже рот, но промолчал.

Илья пошел прочь. Впервые он показался мне стариком с согбенной спиной. Он шел медленно, уходил все дальше и казался совсем маленьким среди огромных холмов, которые он так любил. Он дошел до рощицы и опустился на землю. Мы повели наших коней к нему.

Костра разводить не стали, сразу легли.

— Вот, может, нашел бы я сына, старел бы спокойно, — сказал Илья вдруг. — Эх, Добрыня, Добрыня, таишь ты все, сам все решаешь, что говорить, что нет. С людьми играешь.

Добрыня молчал.

— Нет, Илья, — сказал я быстро. — Это Сила часто с нами играет. Обманывает и заманивает. Особенно Сила Смородинки. Правильно Добрыня сделал.

— Про Волхва так поверили, — гнул свое Илья, — сразу за море поехали. А про Илью не поверили...

Мы молчали. Я знал, что Добрыня был прав. Вообще заповедано о будущем людям говорить — первейшее это правило. Теряются люди сразу, бояться всего начинают, а

будущее все равно настигнет. Были, были примеры: предупреждали людей — грозит тебе смерть от чего-то. Князя Олега вот предупреждали, что от коня смерть. Он на коня этого ни разу не сел, а только на кости его посмотреть приехал — и змея его ужалила степная. Знал — а не уберется. Правильно, правильно Добрыня сделал. Все Учителя говорят: не говорите людям про их будущее. А уж когда тебе Смородинка нашептывает — тем более.

— Подумай, Илья, — сказал я. — Доложился бы тебе Добрыня. Как бы ты потом в боях бился? В каждом всаднике своего сына искал?

Свистал ветер в балках; птицы ночные завелись...

— Не понимаю я Силы вашей и заповедей ваших, — откликнулся наконец Илья. — Все ты, Добрыня, наверно, правильно сделал, а просто кончается мое времечко, по всему видно.

Поворочался Илья, спросил:

— Больше тебе, Добрыня, Смородинка ничего не открывала?

— Нет!

— И то слава Богу, — проворчал Илья и умолк.

Утром пошли мы хоронить Сокольника.

Осмотрели мы с Добрыней его тело. Шрамов не было: не воевал, хотя боец был отличный. Руки — не воинские руки, руки пахаря. Значит, не странник был, на земле сидел, есть надежда концы найти. На шее — мешочек: женские волосы и колечко. Волосы молодой женщины, а колечко не простое: письма на внутренней стороне выбиты.

Знали мы эти колечки. Давал их Волхв в давние времена доверенным женщинам.

Сказали мы Илье:

— Девица твоя странная Волхвом к тебе послана была и родила от тебя Сокольника. Умерла мать его, нашел его Волхв и сказал: Илья мать твою погубил.

Сказал, надел на шею мешочек с прядью волос и с колечком и заповедал: отомсти. Рос Сокольник на земле, как пахарь был, но кто-то воинскому делу его учил, а статью и сноровкой он в тебя пошел, да кто-то ему еще и приемы твои показал. Известно кто.

— Все знать хочу, — сказал Илья. — Верю вам, но сам хочу убедиться, что Волхв сына моего на меня натаскивал.

— Да надо ли, Илья?

— Надо! Немного мне осталось по земле ездить, пока жив, все хочу знать про сына. И еще: Волхва мне, наверно, не достать, а вот если кто попроще сына моего соблазнял, тут я с ним и поговорю.

Похоронили мы Сокольника на вершине холма, поставил Илья в изголовье камень.

— Молитву, что ли, свою прочти, — Добрыня буркнул.

Прочел молитву Добрыня, постояли мы, потом сели на коней (Илья ко мне подсел), поехали.

— Не доживайте до моих лет, — сказал вдруг Илья. — Молодыми умирайте.

Достали мы Илье коня. Не богатырского — воинского. Но не плохого.

Ехали быстро. По дороге говорили мало. Знали: в тоске Илья, и тоску эту нам не развеять своей Силой даже. И до Сокольника тосковал и метался Илья, старость предчувствуя, подвига ждал, чтобы в силах своих утвердиться, а пришел такой подвиг, какого лучше бы вообще не было.

Даже я невольно стал задумываться: вот начну стареть, и стану ли радоваться жизни так, как радуюсь сейчас? Никогда не думал о старости, а, по размышлении, решил и сейчас не думать. Может, никогда ее и не почувствую. А если и скрутит она меня — так что проку, что я еще тридцать лет плакать буду? Нет проку, и Илье лучше пока ничего не предощущать, неизвестно, когда еще его действительно старый возраст придет.

Добрались мы до Мшенки. Спросили Илью, откуда он прибыл туда и быстро ли ехал. Все вспомнил Илья — у богатырей на все дороги память отличная. Ехал с юга, ехал быстро, значит, не могла прийти девица эта с севера и издалека.

Стали мы деревни с трех сторон объезжать. Про Сокольника спрашивали и про мать его. На пятый день нашли.

Жила в деревне Вертухи ворожея молодая Рада. Приезжали к ней странные люди издалека, и жили у нее подолгу. А двадцать шесть лет назад родила Рада мальчика, жила, как и раньше, а исполнилось мальчику десять лет, умерла — в тот день, когда у нее гость был. Рада сиротой была, и взяли мальчишку соседи, но не забывал он старый дом, и уже через два года туда снова вселился: богатырского был сложения, шутили в деревне — второй Илья Муромец будет. И однажды приехал в деревню Марко-странник (часто так Волхв назывался) и у Сокольника остановился и жил несколько дней. Потом стал исчезать куда-то Сокольник, появились у него и конь хороший, и доспехи, и удивлялась деревня. Не ходил на войну Сокольник, но с гостями своими часто на мечях бился: учили они его. А вот месяц назад привели ему нового коня, собрался Сокольник поспешно и уехал. Когда уезжал — радостный был, улыбался дорогой.

Все концы, которые Илья хотел найти, нашли. Ничего нового не узнал.

Не стал Илья визнавать, какой Сокольник был в детстве, да что любил, да с кем водился. На избу, в которой тот жил, посмотрел снаружи, помолчал да поехал прочь.

А я только что не с ужасом подумал: сколько же в моей жизни было странных девиц! Я-то, в отличие от Ильи, странных-то и любил, чем страннее, тем слаще. И сколько раз мог Волхв моих детей заполучить, ведь и ведуньи были среди моих девиц, и черные ведуньи — это я знал доподлинно. Но что ж теперь Делать — всех девиц не упомнишь, всех детей не соберешь, а если соберешь — что ж, головы им рубить, малым, что ли?

Проще, ох, проще было за Волхвом по Змеиному бегать, чем от него спастись, когда он тебя через тридцать лет настигает... Впрочем, мои дети еще нескоро войдут в возраст, если они у меня есть даже, и ни к чему сейчас забивать себе этим голову.

Сказал Илья:

— Ты, Добрыня, Волхву мстишь за землю Русскую да за жену свою. Ты, Алеша, Волхву мстишь за поражение свое на Змеином — ну и за землю Русскую тоже, конечно. А я помимо прочего — за сына. Мой отныне Волхв, и если его встретим, не трогайте, мне дайте. Если в землю лягу — ваш он, а так — мой.

Ничего не сказали мы с Добрыней. Когда Волхва встретим — тогда и видно будет, чей он. Не станем спорить, да и времени не будет. Каждый за всех мстить станет.

А дальше — закружился Илья. То на север поедет, то на юг. Дня не было, чтоб в одну сторону ехали. Мечется Илья, места себе не находит. И мы вслед за ним голову потеряли. Один только раз такое на моей памяти было — когда жена Добрыни отравилась. Правда, он тогда сразу с великим князем Владимиром рассорился и жизнь свою переменял, все сломал и тем выжил. Ну да Добрыня богатырь особый...

Говорит Илья: поехали в глушь, хочу Перуна спросить, что мне теперь с жизнью моей делать.

Не верю я Перуну, думаю, новый Бог сильнее. Поэтому и крестился я в свое время, хотя в вере своей так далеко, как Добрыня, никогда не заходил. Но спросить и Перуна не вредно. Поехали.

Знают богатыри Русскую землю, и Перуновы капища знают. Нашли одно. Стоит Перун в лесу, в чаще схоронили его: выкопали в селении, перенесли сюда и жертвы ему приносят, думаю, иногда и человеческие (уже поэтому противны мне старые боги). Подстрелил Илья лосенка, отнес Перуну. Долго там пробыл. Вернулся. Спрашиваем: что? Махнул рукой Илья:

— Молчит Перун. Лосенок у подножия лежит, кровь его течет, на землю капает. Гнев меня стал душить, богатыри, захотелось мне Перуна этого скинуть. Погубил я лосенка, как Волхв сына моего погубил. Да и что мне посоветует Перун, идол деревянный? Скинул его князь Владимир в Днепр, не побоялся, и поплыл Перун, как деревяшка, как бревно безглазое, и ничего не случилось, хоть и плакали по нему. Никогда Перун с людьми не говорил; врут, наверно, ведуньи. Бездушный бог, из дерева сделанный. Боюсь я его до сих пор, потому что дед и отец в него верили, но сам в него не верю. Боюсь, а не верю — можете такое представить? Смотрел, смотрел я на бога этого, бой свой с сыном вспоминал, а потом вытащил меч да и рассек Перуну башку — не покарает он меня уж страшнее. И ничего со

мною не сделалось, и упал Перун, как дерево трухлявое.

Не стали мы Перуна защищать. По мне — старый бог Перун, и если и была его Сила, то вся вышла, да к тому же вера в него больно жестокая.

Говорит Илья: поехали в Киев, хочу у нового Бога спросить, что мне с жизнью моей делать. Говорит ему Добрыня, знаток новой веры тонкий — у него и мать, И Учитель в скитах спасаются, и сам он христианин, сам себя мучающий:

— Не спрашивают Иисуса, Илья, коли в него не верят.

Нахмурился тот:

— Коли настоящий Бог — скажет.

Приехали в Киев, к князю заходить не стали, сразу в церковь. Оставил нас Илья снаружи: сам, говорит, спрашивать Бога хочу. Ему Добрыня: ты и то — не знаешь. А Илья:

— Коли настоящий Бог — и без молитв ответит.

Пробыл в церкви долгое время, вернулся:

— Молчит и ваш Бог. Всем сердцем ему молился — не отвечает. Красота в церкви, и поют небывало, сердце тает, а — молчит Бог. То ли придуманный он, то ли прав ты, Добрыня, верить в него нужно. Но утешился я немного: сам Бог ваш умер, а потом воскрес. Не умирал Перун, и не знает он, что такое страдания наши. Верьте в вашего Бога и, может быть, поможет он вам.

Молчит Добрыня, ничего не отвечает.

— Но вот чего я не пойму: если так добр ваш Бог, так чего ж сына моего под мой же меч подвел? Для чего вообще зло терпит?

Добрыня — сам, видно, об этом думал — говорит:

— Не нам Бога судить. Дал он людям свободную волю, чтобы сами между злом и светом выбирали и чтобы сами светом становились. А без зла — были б люди как травы безмысленные. А что сына отнял — так мы верим: в другой жизни встретитесь, и мечей при вас не будет, а будет только понимание, которого на этой земле не было. Если б не было жизни вечной — легче было б тебе, что сына потерял навеки?

— Будет твоя вечная жизнь, не будет, — отвечает Илья, — а я сейчас знать хочу, как мне жить дальше. Может, и утешил меня твой Бог, что с сыном еще встречусь и все ему объясню, но как же я с матерью его подлой да с Волхвом в жизни новой говорить буду?

Нахмурился Добрыня:

— Не знаю. Учат нас, что такие, как Волхв, в аду будут, но чтобы с ними в жизни другой не поговорить — не может быть такого, думаю. А как говорить с ними будем — того не знаю.

— Вот видишь, — кивает ему Илья, — если и ты не знаешь, то кто? Не попа же мне спрашивать — не верю я им, из Царьграда приехали на наши хлеба, при Боге вашем состоят и не страдают ни капельки — а Бог страдал.

Сказал Илья:

— Хоть смейтесь надо мною, хоть что, а спрошу я духов малых, которые есть и о которых я доподлинно знаю.

Я молчу, а Добрыня говорит:

— Нас что же не спросишь? Мы, может, не дурнее духов.

Махнул рукой Илья:

— Знаю я, что вы скажете. Скажете: богатырский путь — путь одинокого. Скажете: не плачет богатырь от потерь, но всю жизнь теряет. Скажете: бери меч да защищай Русскую землю или Волхва ищи снова.

Потупились мы. Действительно, так бы и сказали.

— Нет, — говорит Илья, — пойду малых духов спрашивать.

А малые духи — кто? Всякому русскому человеку известно: домовые, лешие, русалки.

Никогда себя телесно не показывают. Говорит человек: лешего видел. Не видел вовсе, так, куст шелохнулся, леший тенью прошел. И русалка засмеется и водой плеснет, а что видели ее — полурыбу-полудеву, так то для малых детей придумано. То же и про домового.

Стучит, гремит, горшки роняет, а за бороду не ухватишь.

Не связывались богатыри никогда с малыми духами. Вреда богатырю причинить они не могут, помогать не помогут. Правда, намекал мне Святогор кое на что... Видно, и Илья от Святогора про это слышал, раз на такое решился.

Вообще малые духи для обычного человека — сила большая. Домовой из них из всех наименьший. В детстве я все искал его, все он мне мерещился, но только и может он, что мерещиться, да вещи кидать, да стучать за стенкой. Некоторые говорят — дом охраняет, коли любит хозяев. Верю, да, охраняет. Но как? От болезней мелких да от ссор пустых, а от большой беды — не поможет домовый. Своенравный дух, но не сильный.

Леший в своем своенравии, напротив, силен. Были примеры — завлекал леший по злобе целые рати в болота, и гибли они. Но отчего злоба? Оттого, что леший хозяином леса себя считает, а всякого, кто вошел туда, — врагом. Кого помилует, а кого и погубит, но для людей, Силой обладающих, безвреден леший, Почувствуешь его и ухмыльнешься только: что, взял?

То же и русалки. Для нас они — смех над водой вечером, а сколько простых людей погубили? Но и лешие и русалки невинных сердцем не трогают почему-то. Вот когда человека страсти одолевают, тогда — не ходи в лес ни в какое время, не смотри на воду в вечерний час. Добра хочешь или зла — могут завлечь тебя и в лес, и в воду. Можешь выбраться, а можешь и нет.

Говорят, слабеет Сила малых духов. Говорят: при дедах больше была. Проверить это невозможно, но только мало я знаю дел, в которых они действительно замешаны.

В любом случае, бороться с ними — то же самое, что дождь мечом сечь, и не обращают на них богатыри внимания. Хотя... Святогор обращал, и через много лет проросло слово Святогорово в Илье.

Удивился Добрыня, но не удивился я (потому что помнил Святогоровы недомолвки), и поехали мы спрашивать малых духов. Была здесь тонкость: не знали мы доподлинно, как это делается. Не учили нас этому — так, слышали кое-что от учителей. Говорим Илье: без нашей Силы не справишься. Богов без нас спрашивал — духов с нами вместе спроси.

Согласился Илья:

— Заморочат мне голову эти тени, а то и не пойму я их совсем. Вы же Силой наделены.

Найти тени эти непросто: хоть леший каждым правит, а русалки речками, но не Перуново это идолище, которое каждый видеть может. Малые духи — маленькие божки, и нельзя прийти так да и спросить.

Долго совещались. Наконец выбрали Божемильский лес близ Мурома. Темный это лес и густой, в трех шагах ничего летом не увидишь; силен его леший. В светлых лесах — слабые лешие, уже иной раз и не почувствуешь их, умерли почти все, выцвела их Сила, истончилась и скоро, думаю, вовсе кончится. А в Божемильском лесу — там старина еще, мухоморы по колено мне будут, на коне в лесу этом не проберешься, а иногда и неба не увидишь. Зверья в таких лесах много, защищает зверье леший; трудно там охотиться — и от стрелы зверь уйдет, и сам пропасть можешь. Но мы не охотиться собирались.

Доехали мы до леса; коней на сырой опушке оставили, а сами в чащобу пошли. Долго ходили, переговаривались с Добрыней шепотом: отвыкли мы уже леших слушать — по молодости только этим баловались, а потом не до того было, чтобы с безвредными и слабыми духами беседовать.

Не показывается леший, не чувствуем его — отступает, в глубину леса заманивает, может быть? А может, и показываться не хочет? Слышал я от Святогора: не любят малые духи богатырей, потому что те им неподвластны.

Пошли в самую чащу. Деревья бережно обходим, куст каждый ласково так рукой — в сторону. Зло меня взяло: не привык я по лесам по-змеиному ползать. Долго шли, засветло уже не вернуться на опушку. Наконец начал Илья с дороги сбиваться, влево забирать: повел его леший. Не стали мы Илью поправлять, за ним идем: богатыри и не из таких чащ выбирались. Потом замечаем: кругами ходит Илья. Значит, леший вокруг себя его водит и,

наверно, удивляется, что это за богатыри такие, что ему подчиняются.

Три круга сделали, остановились. Смеркается уже: время для лешего — сумерки; их все малые духи любят. Тут по кустикам вроде как тень пробежала: вот он, леший, здесь. Говорит Илья:

— Здравствуй, лесной хозяин. С добром пришли, за советом. Ни листика не сбили, травинки и те старались не приминать. Скажи мне: что с жизнью мне моей делать?

Молчит леший.

Стали мы его с Добрыней Силой своей спрашивать. Молчит леший. Досада меня взяла: не научил Святогор, как от малых духов ответа добиваться.

Говорит тогда Илья:

— Всю жизнь по земле ездил, чтоб мир был, чтобы не ездили всадники по лесам, чтобы кровь на траву не лилась. И вот не знаю теперь, правильно ли делал, и кто мне ответит? Старых богов спрашивал — молчат, нового спросил — молчит. К тебе пришел.

А мы с Добрыней Силой видения наводим: сеча в лесу, льется кровь (не терпят ее лешие), секут молодые деревца. Чувствуем — напрягся леший. Замер лес, бесчисленное число листиков — все замерло. А потом зашелестели листочки в лад, одно и то же слово повторяя:

— Алатырь, Алатырь!

Поклонился Илья в землю:

— Спасибо тебе, хозяин!

Вот как. К Алатырь-камню леший Илью посылал.

Алатырь-камень — меньший брат Смородинки. Не у ворот мира другого он стоит, а сам по себе. Но все равно, ездить и к нему богатырям заповедано, только в случае крайней нужды, потому что опасен и таинственен Алатырь-камень: поставлен неизвестно кем, но говорят, что Силой наделен Алатырь, и Сила эта древняя и людям неподвластна и может погубить тебя.

Говорят, нашли Алатырь-камень богатыри прежних лет, задолго до Святогора, посмотрели на него, вокруг походили и решили: заповедать ученикам к нему ездить. И Святогор там не был, и не знает никто толком.

Где камень этот стоит, знаем только, что на севере, на дышащем море, на острове холодном, лесистом и туманном, где люди и не живут. Стоит он на самых северных рубежах земли Русской, а за ним, говорят, и нет ничего, только лед вечный на море да снега на других землях. Конец света это, и слышал я, что как бы запечатывает он Русскую землю с севера так, что никакая опасность ей оттуда не грозит.

Но что такое камень этот и какая в нем Сила, того и не знал никто. Люди обычные об Алатыре и не слыхали. Смородинку каждый знал, знал и то, что в свое время полетит его душа в ее воды и в другой мир перейдет. А Алатырь — не для обычных людей, да и не для богатырей, в общем-то.

К Алатырю идти — не так страшно, как на Смородинку, но никто из живущих или умерших недавно не ходил. И чего ждать там — неизвестно. Но ответил леший: к Алатырю, мол, иди, Илья.

Переночевали мы в лесу. Костра разводить не стали, на рассвете в обратный путь двинулись. Леший не водил нас больше: чего уж там, понимал леший, что он нам не помеха.

Сказали мы Илье:

— Что ты надеешься от Алатыря узнать? Лешего слушать — не попасть бы как кур в ощиц.

Потряс головой Илья:

— Никто мне не отвечал, один леший ответил. Русалок еще спрошу.

Русалок так русалок.

Посоветовались, выбрали речку Омутку поблизости, поехали.

Русалки — не лешие, они веселые речки любят, чтобы вода бежала быстро и чтобы деревьев по берегам. Не было: любят русалки, когда заря утренняя и особенно вечерняя в воде отражается. Тут и смех начинается, и игры — все.

Русалок я, честно говоря, недолюблю. Не признаюсь в этом, однако несколько раз кружили они мне голову. Русалки — не хранят они воду, а играют людьми, молодыми в особенности. Смотришь на воду — а оттуда смех такой девичий. Желание в мужчине вызывают. И те, кто послабее, бросаются в воду, ныряют в исступлении, пока не погибнут.

Были и со мной случаи. Когда я только странствовать начал, три раза в воду меня заманивали. Правы Илья с Добрыней — слаб я на девок. А тут, когда будоражат тебя не по-земному, легко ли устоять? Три раза в воду бросался, да Сила выручала. Потом уж справляться с собой научился, но и сейчас дрожь сладкая пробирает, когда смех русалочий услышу. Зовет он: прыгни в воду, здесь такое испытаешь, что все перед этим померкнет. Подлые создания они. Но посмеялся я про себя: с Ильей, в его-то годы, русалки и говорить не захотят. Значит, нам с Добрыней, а того вернее — мне с ними говорить придется.

Приехали мы на Омутку к вечеру. Заря розовая на реку легла, вода волнуется, бежит, обрывы крутые — должны здесь быть русалки, кому, как не мне, это чувствовать.

Говорит Илья:

— Не с пустяком пришел, за помощью. Не любите вы помогать людям, а мне помогите. Погиб сын мой от моей руки, и не обнимет уже девки никогда. Его пожалейте и меня пожалейте.

Бежит вода, плещется о берега, но молчат русалки. Покусал я ус — делать нечего, для Ильи постараться придется:

— Я попробую.

Разделся я, прыгнул в воду, плаваю взад-вперед, до самого дна ныряю, а вода меня щекочет и будоражит, мысли понятные наводит: здесь, думаю, русалки.

Но долго они не откликались. Наконец — будто колокольчики зазвенели: смех раздался. Я крикнул: — Эй, потешил я вас, а вы меня. Товарищу моему помогите.

Смеются русалки, не отвечают.

Я пуще прежнего плавать стал, воду ласкать: русалки — они тоже будоражатся, когда с мужчинами играют. Совсем уже изнемог — сжалились русалки, серебряными голосками по воде рассыпались:

— Алатырь, Алатырь!

Проклял я про себя всех духов, больших и малых, едва на берег выбрался. Спрашиваю Илью:

— Что, доволен?

Усмехнулся Илья:

— Вырвал ответ у девок, не зря вместе поехали. Меня, старого пня, они бы и не заметили.

Оделся я; спрашиваю:

— Ну и что ты, Илья, делать теперь думаешь?

— А что думать, — отвечает Илья. — Ехать надо, охо-хо.

Поняли мы: не переубедишь Илью. Он вообще упрямый, а уж сейчас...

Сидим мы на берегу речки. Костер развели. Говорит Илья:

— Что ж, богатыри, весело мы с вами пожили, пятнадцать лет с лишним Русскую землю защищали, да и сами по ней гуляли, жизнь свою любили, Теперь не мила мне жизнь, поеду послушаю, что мне Алатырь-камень скажет. Ждите меня год. Потом позовите гусяров, расскажите им что-нибудь, наврите, как Илья у Алатырь-камня голову сложил, только так расскажи те, чтобы и сто лет после этого про меня пели. Пускай последняя это былина обо мне будет. Родных у меня не осталось, товарищей — вы только, прощаться больше не с кем. Князю Ярославу скажите: появилась у Ильи после смерти Сила, и мертвый за Русскую землю стоять будет, пусть князь и на него рассчитывает. На пирах за меня чашу поднимайте. Да и без пиров поминайте: мне так легче будет. Не знаю уж, с каким Богом после смерти говорить буду. Смородинку против правил видел уже: не понравились мне ее воды, да смерти не минуешь. На всякий случай положите Перуну от меня лосятилки и вашему Богу свечку поставьте. Ну а там, может, и вернусь, погуляем еще вместе, коли

научит меня Алатырь-камень, как жить.

— А про меня, — говорю, — никому ничего не рассказывайте, и гусяров не зовите, и свечек не ставьте. Жил как ветер, и кончусь как ветер.

Задумался Добрыня.

— К матери, — говорит, — съездите и к Учителю. Они меня и отпоют.

Не понял Илья:

— Вы-то, — говорит, — чего заветы пишете, ваше время еще не поспело.

— Не разбирает, — говорю, — Алатырь-камень, кто молодой, кто не очень, и еще неизвестно, чей черед первый.

— Ты что несешь-то? — хмурится Илья. — Не пойму я.

— Чего там понимать, — говорит Добрыня. — Только по дороге в скиты заедем, я у Учителя про камешек этот расспрошу.

Ахнул Илья.

Ну да ахай не ахай, а у богатырей слово твердое....

Глава 6 ИЛЬЯ

Охо-хо-хо-хо, что-то мне Алатырь-камушек скажет. А ну как скажет — повесься, Илья, на первом суку? Ну — он скажет, а я послушаю, да веревку с собой не повезу. Но все твердят — Алатырь, Алатырь. В жизни не слушали богатыри русалок да леших, а вот теперь сам Илья к ним побежал. Не обманули, не слукавили ли? Не знаю, не знаю, а только не живется мне спокойно, и как успокоиться — не знаю. Последняя надежда — на Алатырь-камень, хоть и тревожусь я. А тут еще Алеша с Добрыней ко мне пристали: «Вместе едем». Понимаю я их, и сам бы так же сделал, но только тяну товарищей на другую Смородинку. Ладно, но только советы камушка сам исполнять буду. Там уже горой стану, с собой не потащу. Не думал, не думал, что так оно все будет, что у камня безмозглого и заповедного совета попрошу. Достал меня Волхв — не мытьем, так катаньем. Может, и на Добрыню с Алешей средство у него есть последнее...

По дороге заехали мы в скиты, где Добрынина мать да Никита живут. Ахнул только Никита, когда про Алатырь-камушек услышал, но — понял меня. Однако ничего-то он нам присоветовать не сумел: сам там не был, и от других ничего толкового не слышал. Одну только вещь сказал, которая меня успокоила немного: не Смородинка Алатырь, не в его власти ты. Сказал — дает Алатырь-камень тебе волю выбирать, а сам только советует. Зачем поставлен — непонятно; вроде бы действительно: запечатывает Русскую землю с севера, так, что ничего ей оттуда никогда грозить не будет. Вроде бы: поставили древние богатыри его, и на других сторонах света хотели печати поставить, но не успели, потому что налетела на Русь злая Сила и не дала, а потом уже и богатырей таких не стало, чтоб запечатать Русскую землю могли. Сказал еще Никита — мол, думает он, что Святогор над этим в уединении своем и бился, Силы небывалой искал, но одолела его Сила эта... Уж я-то помню, как Святогор умирал: верю Никите. Алеша больше моего понимает, но молчит.

Поговорили мы с Никитой, повидался с матерью Добрыня, поехали на север: времени-то уж мало оставалось теплого, а на Север зима рано приходит. Еще ведь и искать Алатырь-камень надо: остров, говорит Никита, маленький, да еще и найди его в Дышащем море... Но люди, что там живут, знать, конечно, должны. Не похожи они на упырей, что от Смородинки кормятся, верить им можно.

Поехали мы.

Леса особенные пошли: на холмах стоят, мхом и лишайником обвиты. Что в русской стороне чаща, то здесь обычный лес. Валуны голубые на тебя пялятся (не таков ли и Алатырь-камушек?), озера круглыми площадками меж холмов разложены, ели тонкие, высокие — словно стражи с мечами, в небо воткнутыми. И небо — облака низкие, сизые, плотные, едва за ели не цепляются. Речек много — холодные, неглубокие, с перекатами, где рыба играет.

Спешили. Дороги толком не знали, поэтому несколько раз с пути сбивались. Долго ехали. Потом вдруг останавливается Алеша и говорит:

— Море близко.

Понюхал воздух Добрыня:

— Не чувствую. И не пахнет солью совсем.

А Алеша:

— Сила моря рядом.

Нахмурился Добрыня. Как же они к Силе друг друга ревнуют! Но ничего — возьмет ее каждый за свой бок и товарищам принесет.

Проехали еще шагов двести — и в самом деле, пахнуло уж и солью.

А потом и море открылось. Белое-белое, словно облако уложено и мечом отполировано. Волны в берега бьют, а пену уж и вовсе небывало белую высекают.

Поехали мы берегом морюшка; где-то здесь деревенька должна быть, не деревенька даже, а просто несколько изб: сюда новгородские люди приезжают морского зверя промыслить да рыбку, а так живут здесь два-три человека, солью морской обросли. Нашли мы их избы — крепкие, чистые, живут себе, Перун на пригорочке стоит: не добирались сюда княжеские дружинники. Ну, на Перуна я зол был, потому не понравилось мне это.

Разговорились. Так, мол, и так, ищем Алатырь-камень да лодку, чтоб перевезла нас.

Перевезти, говорят, несложно, надо только подождать, чтоб море успокоилось, потому что люди вы грузные, а с конями вашими и вовсе вровень воде бортами идти будем. А Алатырь-камень — знаем остров, где он стоит, и никогда туда не заплываем, где там камень стоит, не знаем, и никто там не живет, чтоб подсказать вам.

— Только перевезите, — говорю, — а уж Алатырь-камень мы и сами найдем.

— Не спрашиваем, богатыри, зачем вам это надо, — говорят в ответ, — только не слышали мы, чтобы на подвиг к Алатырь-камню ездили. Сколько здесь живем, никого туда не перевозили. Не ездят туда люди.

— Почем вы знаете, — говорю, — море же круглое. Не с одного вашего берега лодки ходят. Беспокоюсь только, как бы не потонуть нам дорогой.

— Не беспокойся, — отвечают, — лодки у нас крепкие, в них на морского зверя ходят и добычу обратно везут.

Не понравилось мне, что с крысой морской и дохлой нас сравнили, ну да делать нечего, близок ко мне камешек, а без лодки не достанешь.

Еще два дня волновалось море, но и дышало при этом: то в самые избы прибой бьет, то отступит подальше. Остаются тогда на суше звезды морские и Ракушки всякие. Звезды — диковинные твари, раньше Таких только сушеных видел, а тут лежат, пошевеливаются. Вот коли бы создал Бог такую, только с меня ростом — вот чудище-то было бы. Все-таки есть Бог, наверное, потому что все на земле и в море соразмерно, и человек, подумавши, со всякой тварью может справиться.

Успокоилось море. Сели мы в лодку и коней завели. Глубоко сидит лодка, только что не точь-в-точь вровень с водой идем. Ох, не нравится мне это...

Долго плыли. Наконец показалась лепешка — остров. Лесистый, большой. Что за дело — то за Волхвом по одному острову гонялись, то теперь на другой к Алатырь-камню приехали. Мала, что ли, Русская земля, что нас все на острова несет?! Да по морю этому коварному? Ну да этот остров поживей будет; тут тебе и вода есть, и птица, и зверь всякий. Не пропадем, не то что на той скале, где едва не кончились без водички-то. На Русской земле — оно и на острове сподручней, так я думаю. У нас и острова для житья приспособлены, не то что у муравьев этих, у греков.

Высадили нас на берег. Договорились: в следующую луну приедут, если бури не будет, а заштормит, так позже.

Земле я был рад, как кони наши. Это молодые моря не боятся, а я человек русский, мне пучина эта противна. На земляшке — что ж, там и смерть принять можно, а в бездонной мокроте этой — не придумаешь хуже смерти.

Сошли на берег, размяли косточки.
Леса перед нами, а позади море. Куда ехать?
Говорит Добрыня:

— Не может Алатырь-камень стоять в чаще, словно валун какой. Хотя и не живет здесь никто, а не могла зарастить к нему дорога.

Стали искать, берегом поехали. И точно — от заливычка отходит дорожка, да не абы какая, а как троеконь проехать можно. Следов на ней ничьих нет, травой поросла, но бежит дорожка, зовет.

Посмотрел я на море проклятое, на небо хмурое, махнул рукой: поехали.

Двинулись мы. Леса дремучие, густые. Звери непуганые, зайцы на самую дорогу выскакивают, птицы только что на шелом не садятся.

Недолго ехали. Видим — поляна впереди. Остановились.

Добрыня говорит:

— Все ж таки Сила на Алатыре положена, давай сначала мы с Алешей подъедем.

— Нет, — говорю. — Меня и лесной хозяин к камешку этому послал, и девки речные. Мой это камушек.

Алеша свое гнет.

— Если бы, — говорит, — я с девками в речке не поиграл, не сказали бы они тебе ничего. Всех нас вместе к камешку послали.

— Ты, — говорю, — с девками и впрямь поиграл за меня, да ты и рад небось. А к камушку уж ладно — троеконь и подъедем.

— Только осторожно, Илья, — говорит Добрыня, — если мы с Алешей что почуем — поворачиваем обратно.

Не шутят с Силой.

— Ладно-ладно, — говорю, — езжай, там видно будет.

Выехали мы из лесу.

Стоит на поляне камушек в богатырский рост, не в человеческий, зеленым мхом и голубым лишайником порос, плоский, в землю вкопанный, сверху сужается, как шелом. А от камушка три дороги отходят — направо, налево да прямо.

Посмотрели мы на него, постояли.

— Чувствуете чего? — спрашиваю.

— Ничего не чувствуем, — отвечают. — Не Алатырь это.

— А это мы сейчас глянем, Алатырь или не Алатырь, — говорю, — может, вашей Силой и не понять его. Не может здесь быть второго такого камня, сердцем чувствую: Алатырь.

Подъехали.

Соскочил я с седла, подошел к камушку.

— Здравствуй, Алатырь, — говорю. — Стоишь ты, землю Русскую охраняешь. А я по земле этой ездил, с других сторон ее запечатать старался. Долго ездил, пока не наслал на меня Волхв несчастье. Сына моего под мой же меч подвел. Как дальше жить — не знаю. К тебе за ответом приехал. Хозяин лесной да девки речные сказали: ты знаешь.

Молчит камушек, шумит лес.

— Давай мы его Силой попробуем. — Алеша с Добрыней говорят.

Подъехали, насупились, глаза таращат — не отвечает камешек.

Обошел я его со всех сторон, осмотрел, они все стоят.

Потом Алеша говорит:

— Вроде буквы какие-то проступают, богатыри.

Смотрю — и действительно вроде буквы. Только подо мхом не разглядишь.

— Прости, — говорю, — Алатырь, я сейчас тебя мечом немножко поскребу — очень уж мне ответ знать хочется.

Скребу — не счищается мох! Добрыня вмешался:

— Мой, — говорит, — Потык на Смородинку закален, давай я попробую.

Взялся он — чисто счищает все Потык, словно иней стирает.

Написано: «Налево поедешь — богату быть, направо поедешь — женату быть, прямо поедешь — убиту быть».

Почесал я в затылке. Хороший выбор предлагает Алатырь-камушек. Говорю:

— Стойте, богатыри, может, на нем так от века написано было.

— Не могло так от века написано быть, — говорит Добрыня, — русские буквы-то на памяти дедов появились. Может, и не для тебя написано, а — недавно.

— Что ж, богатыри, — говорю. — Видно, ответил мне Алатырь-камень. Убиту быть я всегда успею. Женату быть — прошло мое время. Богату быть не хочу, однако давайте проверю, чего это мне камешек сулит. Поеду один, тут уж не перечьте: камешек про одного говорит.

Поуживали они меня, но видят — моя правда. Договорились: ждут меня три дня и три ночи — невелик остров, нечего мне там больше делать, — потом за мной поедут.

— Ждите, — говорю, — Илью с большим богатством. Может, жадный стану, золотой терем построю, на пол камня драгоценные высыплю и на них спать буду.

Махнул рукой и поехал.

Ехал дорогой и думал: кончается моя жизнь. Вот сказал сейчас Алатырь: налево поедешь — богатым быть; а ну как поехал налево — и не устою перед богатством? А это значит, прямо поедешь — убиту быть. Потому что испокон веку равнодушны были все богатыри к богатству. Да не все ли равно, коли перестал я себя беречь для Русской земли, коли словно заслал мне Волхв в грудь стрелу свою знаменитую и кончил Илью.

Одно хорошо: на острове этом все решится, не зря лесного хозяина да девок речных спрашивали, ответил Мне Алатырь.

Дорога ровная шла, тоже травую поросшая не мятою, да, видно, ждала меня дорожка эта.

Все думал я, как сейчас переменюсь, потому что всю жизнь свою ни злата, ни серебра не считал, было — гулял (а чаще на пользу подвигов обращал), не было — птичку подстрелишь, кореньями заправишь — вот и сыт, и не нужно тебе злато. Бывали богатыри жадные на славу (я, например); на Силу (Добрыня); на девок (Алеша); а на злато — не было жадных богатырей, просто оно слишком, злато, и богатырю легко дается: то князь отсыпет, то в подвиге добудешь, то вообще неизвестно как, но найдешь там, где обычный человек ввек не увидит.

Выходит, судила Сила Алатыря мне жадным на злато стать, первым из богатырей опозорюсь, товарищам на посмеху. Хорошо хоть далеко это от Русской земли, не запоят гусяры про Илью жадного.

Ехал недолго, солнышко только заходить стало за тучи, меркнуть стал свет; выехал я на пригорок, вижу — изба. Батюшки, на острове на краю земли, где и люди-то русские не живут — изба! К человеку Алатырь меня посылал! Велик и чуден остров этот, видно.

Крикнул я:

— Живой кто есть? Выходи!

Тихо кругом, только хвоя шелестит. Стоит себе избушка серенькая, дождями и снегами затертая, молчит тоже. Вдруг распахнулась дверь, и вылезает старичок, сухонький, сгорбленный — как сухарик, и на меня прищуривается.

— Здравствуй, отец, — говорю. — Из-за моря к тебе приплыл. Не прогонишь на ночь глядя?

Улыбается ласково старичок:

— Не знаю, богатырь, имени твоего, но только давно я тебя ждал. Не побрезгуй убогим моим домишкой, заходи.

Спешился я, зашел.

Досадно мне было, что имени моего не знает старый, казалось — по всей Руси уж давно прогремел, да, видно, не доходит до острова этого наша слава. Богатырем признал, а не бродягой безродным — и то хлеб.

Старичок же лыбится, маслится, как тещин блин, и меня ласково к себе манит. Поговорим, думаю.

Зашел.

Избенка бедная, старая, на лавках — ветошь, печку давно уж переложить надо бы.

— Садись, — говорит старичок. — Звать-то тебя как?

— Ильей Муромцем.

И ухом не ведет старый.

— И хорошо, — говорит, — милый. А меня Радомиром люди называли, покуда видали меня еще.

— Что ж, — говорю, — теперь не видают?

— А оттого, — говорит старичок, загадочно улыбаясь, — что не я хожу к людям, а они ко мне. Заповедано ходить людям к Алатырь-камню, а все ходят. И ты приехал, мечом, Силой отмеченным, камня коснулся, и открыл тебе камень ко мне дорогу. Что убитым быть не торопишься — это понятно. Что женатым быть не хочешь — и это верно. Захотел ты богатым быть, и самое тебе тут место.

— Что же за богатство такое? — спрашиваю.

— А богатство великое, — отвечает старичок важно. — Стоит моя изба на четырех углах. Под одним Углом — золото, под другим — серебро, под третьим — Жемчуг, а под четвертым — камения драгоценные.

— И кто же, — спрашиваю, — богатство это все добыл?

— Разные люди, — смеется старичок, — тут и варяжское есть, и русское, и с Востока пришедшее. Теперь твое будет. Да такое это богатство, что весь мир сможешь ты купить. Хочешь — наймешь столь великое войско, что любого князя земного погубишь и на его место сядешь.

— Показывай богатство, — говорю. — Избенка твоя — уж прости — больно неказистая, не верится мне.

Улыбается снова старичок, ведет меня в угол и доски с пола отворачивает. Золото блещет. Ведет во второй. Серебро сияет. Ведет в третий. Жемчуг светится. Ведет в четвертый. Камения мерцают. Да, много всего, не было такого, пожалуй, и у князя Владимира, Впрочем, не считал я его казны.

— Ну и что ж, — говорю, — брать можно?

— Можно, касатик, можно, — смеется старичок, — Только докажи сперва, что богатство тебе по силе, а то не уйдешь отсюда.

Смех меня разобрал.

— Ну и как же ты, поганый старикашка, — спрашиваю, — меня, Илью-богатыря, удержать сможешь? Ключом по ногам стучать станешь?

Озлился, вижу, старичок.

Ведет на двор, показывает в углу костей кучу.

— До тебя, — говорит, — приезжали, смотри, что случилось с ними.

Вытаскиваю Скалушку — да не поднимается рука. Смеется старичок гнусно:

— Приехал — теперь делай, что говорю, а то белеть твоим костям здесь.

С Силой старичок, думаю. Ну да не белеть моим костям здесь все равно, увезут меня Добрыня с Алешей отсюда, похоронят на Русской земле и тебя, пень колодистый, порубят.

— Говори, что делать, — отвечаю.

— Поклянись, — смеется старичок, — что рабом богатства своего не будешь.

— Клянусь, — говорю.

— А раз клянешься, так вот я сейчас тебя мечом своим по шее и стукну: коли врал, так сейчас голова долой.

Смеется и вытаскивает из-под лавки меч проворно.

— Приезжают, — говорит, — к Алатырю моему с заговоренными мечами, и думают, что все им под силу.

Я пошевелиться не могу. Ну, думаю, не соврал ли?

Стукнул меня старичок лезвием по шее — но и его меч Силой заговорен, не отрубил мне голову, потому что не соврал я.

Переменился в лице старикан.

— Удивительно, — говорит, — что не врешь, потому что все головы до тебя отлетали. Ладно. Поклянись, что в свою пользу богатство не обратишь.

— Клянусь, — говорю.

— А раз клянешься, так вот тебе огонек на пробу.

Лезет в печь и достает угли пылающие, раскрывает мне рот легонько и туда сует.

Ну, думаю, не бывало такого, чтобы люди огонь жрали, врут они или правду говорят.

Но — диво дивное — погас огонь, и холодные угольки в горло мне полетели.

Выплюнул я их.

— Что, старый, — говорю, — многие ли у тебя огонь отхаркивали?

— Никто не отхаркивал, — говорит старичок, суровая. — Последнее тебе испытание. Выдержишь — твое все, а меня, видно, рыбам на корм пора пускать. Поклянись, что в чужие руки богатство до последней жемчужинки отдашь.

— Клянусь.

— Ну а раз клянешься, так испей варева моего. — дает мне отраву явную по запаху и по виду.

Проглотил я ее. Старичок вокруг меня ходит, все ждет, когда я на пол грохнусь. А я стоял, стоял, да надоело мне все и говорю:

— Дай, что ли, воды, больно противное варево твое.

Рухнул старичок как подкошенный на ветошь свою и заголосил:

— От века живу, уже и забыл, когда родился, все богатство стерег, но приехал богатырь этот дурацкий и забирает все.

Посмотрел я на старичка одним глазом, пошевелил ногой. Вот уж повезло — двигаться могу. Достал я меч и решил старичка этого кончить, потому что не по добру он на богатстве этом сидел и людей смущал.

Начал старичок от меня убегать, в воздух скакать и мечом махать, и слова какие-то не по-русски приговаривать. Долго бегал, и по избе, и по поляне — шустрый был, но кончил я старичка.

Ни злата, ни серебра, ни жемчуга, ни камней драгоценных брать не стал: возьмешь, а старичок вдруг и оживет. Что ж ты, скажет, клялся-клялся, а за богатство мое хватаешься все же? Плюнул я, хоть и пригодилась бы Ярославу казна такая, переночевал в избушке, наутро поехал к товарищам.

Они уже ждут, кони на месте пляшут.

— Что?! — кричат.

— Очищена, — говорю, — дорожка эта прямоезжая.

Рассказал, как дело было.

Потемнели лицом они.

— Великая Сила на острове этом живет, — говорят. — Один раз справился Илья, второй не езжай.

— Как видно, и без Силы Силу победить можно, — отвечаю. — Дорожку очистил, но сына не вернул и душу свою не успокоил. Снова поеду.

Уговаривали, упрашивали — поехал.

Еду направо: женату быть.

И что это, думаю, такое значит? Из всех богатырей один Добрыня только женат был, и сердце свое разбил.

Не годится богатырю такого сподобиться. Однако посулил мне это камешек. Стал я думать, что хуже — богатым быть или женатым, да так и не решил. Люди кругом женятся да богатеют, одни мы как нелюди по лесам-полям шныряем, ни кола ни двора не имея. Вот женится Илья — вся Русская земля ахнет.

Ехал снова недолго: маленький остров все же. Выехал на пригорок: стоит изба богатая

да ухоженная, резьбой украшенная, сытая, довольная. По двору живность бегает.

Открывается дверь бесшумно, и появляется хозяйка. Не молода, не стара — как вдовы, к которым я в окошко стучал, — брови черные, глаза черничные, губы клюквенные, телом дебела и округла. Улыбается, кланяется мне в пояс и говорит:

— Добро пожаловать, славный богатырь Илья Муромец!

Подозрение меня взяло:

— А знаешь ты меня откуда? Не доходит до острова вашего слава моя! Смеется хозяйка:

— Так ведь ты уже и здесь подвиг совершил! Весь остров знает, как старика жадного победил и от богатства отказался!

— Стало быть, Силу имеешь? — говорю.

— А на острове иначе не проживешь, — смеется.

— И много вас тут таких, с Силою?

— Нас со стариком двое было, да теперь я одна осталась. Заходи в дом, не побрезгуй. Зашел, сел, начала она на стол собирать.

— И откуда ж ты взялась здесь, молодка? — спрашиваю.

— Алатырем поставлена.

— Так ты, поди, старше меня будешь?

— Года мои все при мне, в девки не гожусь, но и в старухи не спешу.

— И что ж — все время без мужика?

— Сама, все сама, богатырь.

— Хозяйственная ты, видать.

— Уж это точно. Хозяйство у меня справное, а только слова перемолвить не с кем.

— Со стариком бы сошлась.

— Это со старым-то? — смеется. — Зачем он мне с его жемчугами? Что мне — камнями да златом птицу кормить? На что он мне был, жадюга, богатства ох ранять поставленный?

— Кем поставленный-то?

— Алатырем, — отвечает с готовностью.

— А тебя на что Алатырь поставил?

— Меня на то, что, если заедет на остров мужчина отчаянный, с сердцем кровоточащим, так чтоб утешила его и к жизни вернула.

«Эка!» — думаю.

— Знаю, — говорит, — знаю про рану твою; сыночка потерял, кровиночку, лихом под твой меч подведенную. И ведь какой сыночек разумный был да на тебя похожий! Как бы вы с ним вдвоем Русскую землю защищали, по дорожкам ездили бы!

Смахнул я слезу.

— Выпей, — говорит, — моего хмеля, он сердце веселит.

«Знаю я хмель твой, — думаю, — да чему быть, того не миновать». Выпил. Села она подле меня.

— Я тебе, — говорит, — новых сынов рожу. Сильна я и детей твоих подниму. Будут они тебя веселить, а как вырастут, отдашь ты им меч свой и доброму на учишь. Не было у тебя ни кола ни двора, да меня нашел. Алатырь тебя ко мне вывел. Сладкие будут у нас дети, а дом веселый, и ни в чем поперек тебе идти не буду.

Сидит и ко мне тянется — чтобы обнял, значит. Ну а где обнял — там и все остальное.

Бродит во мне хмель ее, рука сама поднимается, веселеет тело, да только голова ясная.

— Что ж, — говорю, — других женихов Алатырь не присылал?

— Ты первый, — говорит.

Не поверил я ей.

— Ладно, — говорю, — покажи хозяйство свое.

Ведет она меня по дому, а дом — как игрушечка, терем прямо маленький, и пахнет сладко, и следов мужчины нет в нем. Только сомнительны показались мне половички в

одном месте: зачем бы им это ход в подпол прикрывать?

— Веди на двор, — говорю.

Птица у нее чистая, белая, словно из пены морской. На дворе ни сориночки, только смотрю я: травка в трех местах нехорошая растет, темная такая. Знакома мне эта травка, знаю я, чем листики ее полнятся.

— Что ж, — говорю, — хозяйство у тебя хорошее — спору нет. А вот что за могилки у тебя тут?

— Какие могилки, родимый? — спрашивает.

— А вон там, где травушка темная.

Опустила глаза она, но тут же на меня снова подняла.

— Мужья это мои, — говорит.

— Те, что Алатырь к тебе посылал?

— Они.

— Так что ж обманывала меня?

— Прости глупую бабу. Не любят мужики на вдовах жениться.

— И отчего ж мужья твои умерли?

— Сама не знаю. Берегла, холила, а одним за другим в землю легли.

— Берегла, — говорю, — значит, так. А то и по-другому сказать можно: ведьма ты, наверно.

— Какая ж я ведьма, — говорит. — Была бы ведьма — опоила бы тебя травами, да и делала бы что хотела.

— Какими травами ты меня поила, — говорю, — того не знаю, а только не простой хмель у тебя, честная вдовица. Показывай, — говорю, — мужнину одежду.

Поколебалась хозяйка, однако повела меня в чулан.

Все вычищено-выскоблено, пылиночки ни на чем нету. Лежат доспехи варяжские, одежда новгородская да платье монашеское.

Удивился я.

— Вот какие, — говорю, — мужья у тебя были.

— Всех, — говорит, — люблю и помню. Варяг мой ко мне пришел — из русских варягов был; разбили дружину его, и страшно ему стало, до самого Алатыря бежал, а тот его ко мне направил. Новгородец любопытный был, не от лиха спасался, а сам шел. Монах — тот веру потерял и отчаялся. Всех обогрела, всех устроила.

— Устроила, — говорю, — под зеленую травку.

— Не клевети на меня, богатырь, — хмурит брови честная вдова. — Смертны люди.

— Что ж сынов никому не родила? — спрашиваю.

— Так не это было им нужно, — говорит. — Варяг от страха избавиться хотел — и жил у меня тихо, как в крепости какой. Новгородец хотел близ Алатыря жить — и каждый день к нему ходил, все про тайны выпрашивал. Монах веры искал, и научила я его вере в солнышко да в тучку.

— Что за вера такая? — спрашиваю. — Перуна знаю, нового Бога знаю, в Одина верят, про степных богов слыхал, а это что за вера?

— А это, — смеется, — моя вера, особенная. Я вообще придумщица, не скучно тебе со мной будет.

— Мне, — говорю, — сыны такие нужны, чтоб Силой обладали. Я вот век скитаюсь, Силы не ведая. Не такие богатыри нужны. А ты женщина обычная, и от тебя сынов мне не надо.

— Постой-постой, — говорит, — какая же я обычная? На этом острове обычные люди не заживаются. Испытай Силу мою, коли хочешь.

— Птицей обернись, — говорю, — тогда поверю.

— Птицей не могу, — отвечает, — но птички мне повинуются.

— Можешь, — говорю, — за море восточку послать?

— Могу, — говорит.

«Знаю я твою весточку, — думаю. — Об Илье не заботься, Волхв; под зеленой травкой он у меня лежит, муж мой четвертый, самый любимый».

— Зови птичек своих, — говорю, — сейчас весточку посылать будешь.

И веду ее к окошку, под которым сомнительные половички-то были. Отворила вдова окошко, шею направила, заклекотала, застонала по-птичьи. Отворил я тихонько половички, камни острые в подполе увидел и кричу ей:

— Чем клекотать, собирай-ка на стол, Алеша с Добрыней едут.

Встрепенулась честная вдовица, да прямо в подпол и полетела на камушки-то свои. Ахнула, глянула на меня глазом мутным и перед смертью что-то проклекотала.

Тут я половички-то живо прикрыл, потому как что клекотала и кому передавала — того не знал.

Обошел я домик ее хорошенький — и все нашел: и другие ловушки хитроумные, и травки ядовитые и Дурманные, и камушки странные из дальних земель, и косточки беленькие в подполе: не всех мужей, видно, хоронила ведьма-то.

Поехал обратно.

Дорогой веселый был. Не берет теперь Илью Сила, злая! Может, за тем меня Алатырь и позвал, чтоб места вокруг себя почистить? Может, не кончена жизнь моя, раз и Алатырю пригодился?

Стоят Добрыня с Алешей у Алатыря, руками машут.

— Очищена, — говорю, — и эта дорожка прямоезжая.

Рассказал, как было все.

Стоят товарищи, смотрят как на диво дивное. Илья, Силы отроду не имевший, двоих Сильных победил! Заговорил Алеша:

— Хоть и победил ты их, а нет у тебя Силы по-прежнему. Не езжай больше.

И Добрыня отзывается:

— Нет Силы. Чувствовали бы мы ее.

Рассердился я на товарищей.

— Видно, — говорю, — за недоумка Илью держите. Как вороны ученые заладили: нет Силы, нет Силы! А то, что я, может быть, к жизни возвращаюсь, — об этом что, не подумали? Что спадает с меня тоска-кручинушка? Что вернусь с третьей дорожки — и снова прежним стану? Что правду говорили и лесной хозяин, и девки речные — Алатырь меня к жизни вернет? Завидно вам, что ли, что я Сильных победил? К подвигам ревнуете небось? Так их у вас еще до ваших остатных лет будет столько, что пере забудут люди половину. А мне что ни подвиг — все в богатырскую котомочку, Жадные вы, выходит! Привыкли, что Илья, рот разинувши, на вашу Силу смотрит!

— Не сердись, Илья, — говорит Добрыня, — да только не шути больше с Алатырем. Не ревнуем мы тебя к подвигам. Чуть не умерли тут у Алатыря от слова великого данного — с места не сходить, все уже проклинали. Ты, может, совсем рядом погибаешь, а мы — вот уж действительно дураки — слово дали не помогать тебе.

— На третий подвиг вместе поедem. — Алеша вступает. — Твой будет подвиг, мы за кустиками стоять будем, только в случае крайней надобности вмешаемся.

— Да что за кустиками, — говорит Добрыня, — на расстоянии свиста, а свист у тебя, Илья, богатырский, и будем мы очень далеко.

Повеселело у меня на сердце.

— Пустое, — говорю. — За печаль вашу — спасибо, а только если не расчищу я и третью дорожку сам — не видать мне жизни, от тоски погибну, и никакие травы ваши меня не вылечат. Я не из гордости своей от помощи вашей отказываюсь, а потому, что выжить хочу. Не расчищу все дорожки — смерть скорая и не веселая от тоски придет. Так что поехал я снова. Вот переночуем у Алатыря, и с солнышком в путь.

Отошли мы в сторону — не любят камни огня, тем более такие чудные камни, как Алатырь, и развели костер. Темно уж было.

— Не нравится остров мне этот, — говорит Добрыня. — Думают люди, что не живет

здесь никто, а вот уже двоих Сильных Илья встретил, и обоим лучше бы по земле не ходить.

— Теперь не пойдут уже, — хохочу.

— Не смейся, не смейся, Илья, — вступает Алеша. — Неладно что-то с островом этим. Алатырь Русскую землю здесь запечатывает, да только Сила его, видно, и темные уголки будит. Велика его Сила, и на все ее хватает — и на доброе, и на злое.

— Ну, у тех-то своя Сила была.

— Была-то была, — качает головой Алеша, — а только связана она с Алатырем, недаром он дорожки к ним указывает.

— Проверяет Алатырь людей мимоходом, — говорю. — Сам Русскую землю с севера держит, а людишек все же щупает. Кто на богатство польстится, кто на ведьму.

— А кто, кроме тебя, польстится на то, чтобы убиту быть? — мрачно спрашивает Добрыня.

— Того не знаю, а, видно, есть и такие.

— Для богатырей дорожка эта придумана, — качает головой Добрыня.

— Да не печалься ты, — говорю. — Там, где Сила нужна была, и там справился, а уж на бранной дорожке-то не справиться? Ведь создан я для этого. С колдунами да с ведьмами век не связывался, а помог мне, видно, Алатырь. А уж с мечом да с ножичком знаком я, расчищу и эту дорожку.

Молчат богатыри.

— Вернешься, — говорит Алеша, — надо по острову этому втроем погулять. Вместе его почистим.

— Вот это, — говорю, — дело, а там и в Русскую землю. Уж зима скоро.

— Странно, странно, — говорит Добрыня. — Не любят обычно Сильные один с другим рядом жить. А на острове этом небольшом — словно засады стоят.

Я свое гну:

— Засады эти Алатырь поставил на черных или пустых людей. А нам здесь бояться нечего. Сами говорили — старыми богатырями Алатырь-камешек поставлен.

Поморщился Добрыня:

— Богатырями-то богатырями, да старыми богатырями, о которых и не знаем мы ничего. Тогда и земля Русская еще князей не имела, и богатыри другие были. Великой Силы касались, но такая Сила человеку не подъемна. Творили многое ею, а она потом сама уже другое творила.

— Святогор ею баловался, — откликается Алеша, да и Святогора она скрутила, сам ты видел, Илья.

— Тебя ждал Святогор, — говорю, — ждал, что ты его раскуешь. Значит, подвластна тебе Сила эта.

Не соглашается со мной Алеша:

— Не подвластна такая Сила и мне. Спасти Святогора, может, и спас бы, а может, и сам бы там лег.

— Алатырь-камень этой Силой поставлен, — говорит Добрыня. — Не знаешь никогда, что с тобой сделает. Заповедано же к нему ездить.

Надоел мне спор этот. Говорю:

— В случае тоски смертной богатырю можно. Не приведет меня Алатырь-камень к дурному; я за ним дорожки расчищаю, а он в благодарность жизнь мою чистит. Завтра на подвиг мне, так что спать, наверно, пора.

Я лег, а они еще у костра сидели, переговаривались да головами качали. Недолго я смотрел на них, улыбнулся, да и уснул сразу.

Продрогли за ночь Илюшины косточки. Иней на землю лег, травы примял, седой, как волос мой. Но не вышло солнышко, не подняло травки, не прогнало иней докучный. Серо небушко, и свет еле брезжит. Стоит лес черный кругом, просыпаются богатыри, и нерадостно Алеше с Добрыней, а Илье радостно.

— Последний день, — говорю, — кручинюсь. Чует мое сердце — до темноты уж

свободен буду. Так что поехал я.

Сажусь на коня. А Алеша мне кричит:

— На расстояние свиста хоть подойдем!

— И удачу мою спугнете, — отвечаю.

Добрыня:

— Давай хоть до полпути с тобой доедем!

— Что ты говоришь, Добрыня, — отвечаю. — Где полпути эти? Может, подвиг мой уж за поворотом начинается, может, не свист, а звон мечей услышите на этой поляне самой? Не тоскуйте, а если скучно — с Алатырем еще поговорите.

Повернул коня и поехал.

Но не выдержал — обернулся.

Стоят товарищи мои — плечом к плечу, на меня смотрят.

Навернулись слезы мне на глаза: повезло мне, старому! Махнул им рукой — и за поворот.

Весело мне было ехать.

Хорошо, привольно жил Илья, а под конец еще товарищи с ним скитаться стали. Да какие товарищи! Тоскует по всему Добрыня, до тайн Силы своей докопаться хочет. Смеется Алеша, беспечен бывает. А как до дружбы со старым пнем, со мной то есть, — так все забыто, только свистни, Илья!

Не бывало такого товарищества у старых богатырей, и у тех, кто за нами придет, не будет. Долго еще люди будут про нас песни петь.

Счастливый ты, Илья!

Даже мелькнула у меня мысль: так хорошо мне сейчас, что вернусь к товарищам, и прочедем мы остров этот действительно странный, как лошадиную гриву, и не останется на нем зла. Но тут же остановил себя: не dokonчишь подвиг, тоска вернется, а тоска у меня такая была, что и товарищи не помогали. Нет, буду делать, как Алатырь сказал. Колдуна да ведьму победил — что же, вражий меч не переломлю? Только вот если сотня на меня налетит — тогда не отобьюсь. Но откуда здесь, на островке этом, сотне воинов взяться? А так — пусть трое, пусть семеро, десятеро пусть даже — отобьется Илья, потому что весело ему и не стар он совсем. Коня вот только, Бурейки, нет со мною, новый-то не богатырский, я к нему не привык, и он меня не понимает.

Солнышко не показывается, серенько кругом, но чист воздух, и далеко видно, когда лес расступается. А расступается он не часто. Вгрызаются людишки на юге в лес, а на севере — как шкура богатая без проплешин стоит. Днями можно ехать без дорог и без полей. Древние леса у русских. Киев — тот ближе к Степи стоит, и веселее там леса. А тут — седые от мха, черные от елей старых, в голубых тенях. Призрачные леса, и зверье здесь непуганое, и птица доверчивая. А что новгородцы сюда доходят — так это как муравьишка по лесу пробежал, схватил веточку, лес и не заметил.

Ехал я так лесом и о нем думал; пошла дорога вверх, расступился лес неохотно (ревнив он к полянам), и увидел я горочку. Ели на ней перстами в небо указывают, но мало елей, чистый склон лежит в траве жухнувшей уже к осени, да валунов голубых много, словно старые богатыри здесь с богатырями играли.

Дорожка на горочку идет по пустоши заболоченной и желтой; вот вода голубая в желтой оторочке: озерцо, видно. А в траве — морошка, ягода северная, редкая и сладкая. Слез я, сорвал ягоды ее огненные, словно солнышки маленькие; редкая ягода, и в Киев ее по осени с великим бережением привозят, потому что не растет на юге, диковинна и вкусна. Вспомнил я золотые россыпи ее на блюдах во дворцах княжеских — а здесь лучше!

Покушал морошки, дальше на горку поехал потихоньку. С горки огляделся — пол-острова видно. Леса черные в небо уходят, вьется вниз дорожка по пустоши, через лес к Алатырю ведет. А здесь ветер северный свистит, щеки обжигает, валуны стоят да елей немножко. Плоская у горки вершинка. Поехал я дальше, чтобы горку эту перевалить, как голос чей-то пуще ветра засвистел:

— Значит, ягоды собираешь, Алатырь не боишься?

Выхватил я меч, закружил коня.

Вижу — Волхв стоит.

От ветра ежится, бороденка развевается. В кольчуге Волхв и в полном вооружении, а рядом конь его вороной. Понятно, думаю, вот куда меня Алатырь-то повел. Ну да раз двоих других кончил, теперь и тебя, нетопырь, не упущу. Довольно тебе уж по земле-то шастать.

— Никого, — говорю, — не боюсь, а Алатырь благодарю за то, что на тебя вывел.

— Не рано ли? — смеется Волхв. — Я ведь мог тебя и стрелой достать, пока ты, как медведь в малиннике, в морошке пасся.

— Не страшна мне смерть, — говорю, — сам знаешь из-за чего.

Снова смеется Волхв.

— У меня, — говорит, — для каждого из вас подарок припасен. Вы думали, поленицу кончили, недоумка Святополка разбили, так и все уже? Изведу я вас, и настанет мое время тогда.

— Сомневаюсь, — отвечаю. — Думаю, поганой смертью век свой кончишь. На излете ты уже. Престол теперь прочен, надоела всем смута. Прошло твое время.

Оскалил Волхв зубы:

— Не прошло и не пройдет. И смута не кончена. Пойдет скоро Мстислав Тмутороканский на Киев, а за ним и я, убогий, въеду. Мстислава сломаю, а дальше — ну да вы этого всегда боялись, так что сам знаешь.

— Или думаешь, что победишь меня, что мысли свои заветные выдаешь?

— Думаю! — хохочет Волхв. — Не уйти тебе с вершинки этой! Все знал я про ваши разговоры с лешим да с русалками, давно на острове этом поджидал. Одного не ждал: как это тебе, Илья, мужику простому удалось тех двоих свалить? Ну да третью дорожку не расчистишь. Не стал стрелой тебя доставать, потому что удовольствие хотел получить.

— Сейчас получишь, — говорю. — Только скажи мне, мать Сокольника ты кончил?

— Своими руками яд дал, — хвалится Волхв, — а мальчишку к рукам прибрал. Хороший был у тебя сын, Илья!

Пустил я коня на него, да Волхв в сторону отскочил со смехом своим поганым, и едва я с обрыва не сверзился с разгону с конем вместе — эх, Бурейка, Бурейка, ты б меня не подвел!

За спиной Волхв хохочет-заливается.

Понял я: не на конях надо биться на вершинке этой, и соскочил на землю.

Бросился я на Волхва, хотя подождать надо было бы, покуда он первый подставится. Отбил мой удар со смехом Волхв и меня чуть не достал. А ветер свистит-посвистывает в ушах так насмешливо.

Схватились мы. Волхв посерьезнел, бьемся так на так. А вокруг леса небо подпирают, простор держат, и бьемся мы на этой вершинке — не за сына моего бьемся, а за землю Русскую.

Стал меня Волхв к обрыву теснить. Со всех сторон меч его вьется, а я только успеваю отбиваться, как от пчел.

Срезал Волхв у меня пук с бороды и щеку задел; затеплилась рана на ветру этом пронизывающем. И левую руку с кинжалом поранил Волхв, и потекла кровь. Изловчился я, увернулся и от обрыва отпрыгнул, но только выбил Волхв кинжал у меня из руки, и остался я с одним Скалушкой.

Посмотрел на меня Волхв, усмехнулся, меч опустил.

— Хватит, — говорит, — не кот я — с тобой, как с Мышью-то, играть!

И тут — ноженьки вы, мои ноженьки! — подкосились они и задрожали, и обезножел Илья снова, и на колени упал.

И подумал я: «Может, правду говорил Алатырь-камень — богату не быть, женату не быть, тут я его перехитрил, а вот убитым — быть?» И свистнул я что было мочи.

Прибил я ветер свистом своим, аж Волхв зажмурился, но тут же снова разлыбился:

— Не услышат свиста твоего, старый пень, далеко ты товарищей оставил, на силы свои дряхлые понадеялся! И еще порадую: не послушали товарищи тебя, твоей дорожкой поехали, да завел я их в болота самые, а болота те почище Смородинки будут: не выберутся оттуда, с лягушками останутся.

Правду говорил, волчья сыть! Самого себя перехитрил Илья! Но только разозлился я и к бою изготовился, на коленях стоя. Подошел ко мне Волхв, легкой добычей считая, а я тут кинжал у него из рук и выбил.

Почти сравнялись мы.

Вижу — шепчет что-то Волхв, на меня идя: Силой dokonать хочет. Отбил я и крикнул:

— Что, Волховчонок, берет Илью Сила?

Ничего не ответил Волхв, потому что не брала меня больше его Сила, заговор Святогора сняла и ног лишила, а больше — не брала! И стали мы биться по-обыкновенному, только искусен был Волхв в бою и меня моложе, да я еще на коленках стоял.

Долго бились, мечи горячими стали. Уж и Волхв устал на меня насакивать. А я стою себе на коленках, как идолище, и мечом машу, и не взять меня больше ни Силою, ни сталью.

Но вот вижу — загорелись глаза его отчего-то, собрал силы и скакнул.

Отшатнулся я и страшный удар сзади ощутил по хребту; ослабели руки мои, и ударил Волхв меня прямо в грудь, так что лопнула кольчуга, и никогда так не ударял меч меня, и охнул я, ощутив боль смертную и согнулся. А Волхв меч только глубже вогнал, и лопнуло во мне что-то, и кровь хлынула, и упал я.

Откинул Волхв ногой Скалушку и сверху, с размаха, вонзил меч второй раз в спину мою. Застонал я, захватал землю зубами. Перевернул меня Волхв на спину, чтобы в лицо мое смертное посмотреть. Скосил я глаза — и понял все. Когда я от Волхва-то в последний раз на коленках отскакивал, хребтом об валун угодил, и воспользовался этим Волхв, и так стало мне обидно, что слеза по правой щеке потекла.

Издалека-издалека донесся до меня голос Волхва:

— Плачешь, Илья?

Хотел я сказать: «Не от меча, от камня плачу!» Но только захрипел, и кровь сильнее потекла. Завкал Волхв, как лягушка:

— Не буду добивать тебя, в мучениях умрешь!

И еще что-то говорил, только я не слышал ничего больше: пуще ветра в ушах у меня шумело, и знал я, что помираю. Смотрел на Волхва, не хотел глаза опускать, хотя на небушко мне бы лучше смотреть. И увидел я: открывается в груди его рана глубокая; лопаются шея, подкашиваются ноги, кричит Волхв, грудь рвет, рану руками закрывает, — но что ты сделаешь против такой раны? — и падает мертвый. Не понял я ничего поначалу, а потом догадался: Сила пришла к Илье в смертный час, и увидел Илья, что недолго Волхву по земле ползать осталось, и что погибнет Волхв, а не умрет своей смертью, и что скоро это будет.

Засмеялся я, только смеха своего не слышал.

Изумился Волхв, надо мною склонился, но ничего не понял. А потом выпрямился, прислушался и побежал к коню своему, и увидел я краем глаза, как усакал Волхв, скрылся под горкой.

Приподнялся я на локте, чтобы в последний раз на землюшку свою посмотреть, и увидел: выносились из Леса на конях взмыленных Добрыня с Алешей...

Только поздно все это было, я уж обратно упал, я только и видел, что серое небушко, которое стало чернеть.

Знал я: помирает Илья. И думал: лучше так помереть, чем ногой стариковской землю притоптывать, и жалел не о жизни своей, а только о том, что не успею товарищам сказать про смуту Мстислава Тмутороканского, а пуще того — про то, что ходит Волхв под смертной тенью, и чтобы знали — коротки дни его. Но ничего-то этого не сказал я никому, и почернело небушко, и настала ночь, и мелькнули перед глазами моими старыми зелеными

степи да веселые леса, и подхватило меня и понесло с острова этого холодного да пустого на теплую, исхоженную мною Русскую землю — на Смородинку, видно, где нырнуть мне нужно было в черные смолистые воды ее; но этого я уже не додумал.

Алеша

Глава 1 АЛЕША

«От Колывани до Чагоды семьсот верст. Доезжай до Белозера, там повороти на заход. По-другому не проедешь. Прямой дороги от Колывани до Чагоды сроду не было. Пути от начала до конца совсем плохие, все больше непроезжие тропки, а торных дорог и вовсе нет. По топям тропы идут. Ты этих мест не знаешь, поэтому остерегись. За ветром не гонись — в землю уйдешь: топи здесь цепкие и неприметные. На день клади себе не больше тридцати верст: и тех, может быть, не одолеешь. Конь твой больше к степям привык да к шляхам южным; на болотах трудно ему будет. С отъездом не мешкай: как только письмо мое получишь — выезжай в тот же день. Осень скоро, размокнут леса, и не проедешь совсем либо ползти будешь, как жучок малый. Или по-другому сделай: повремени луны две, реки станут, и по льду на юг быстро пройти будет можно — по Двине и по Сухоне. Крюк большой, да по льду, как по мрамору.

Небо все больше темным будет, ни солнца, ни звезд до Белозера не увидишь; смотри не заплутай. Ну да тебе язык звериный известен: не пропадешь. Зверь здесь многочисленный, незлой и бесхитростный до самой Сухоны; дальше уж новгородцы постарались, какого зверя выбили, какого остервенили.

К Чагоде выходи через Суду-реку. У переправы увидишь камень серый, на шлем похожий. От того камня отсчитай по реке сто шагов вниз по течению и в лес сворачивай. В глубине осинник начнется. По кромке его и езжай. Коли осенью туда доберешься, пусть конь в лесу том бересклет найдет и хоть листик малый, да съест: поначалу выворотит коня, зато потом год устали знать не будет. Кстати и мне набери, пожалуйста, бересклета того горсть-другую: удивительный бересклет на Чагоде, а у меня уж кончился. Езжай, значит, вдоль осинничка дальше. Верст через десять горка будет. Сильный в здешнем лесу леший, охотниками обиженный, водить тебя станет, ты ему не давайся и прямо к горочке езжай. Там я знак наш оставил, по нему к Омельфе и выйдешь. Про Омельфу уж наговорились мы с тобой досыта. Не приняла меня княгиня; тебя, может, примет — любят тебя вдовы. Тогда говорил и еще раз скажу: Омельфы остерегайся. Может, и впрямь Божья душа, а может, и волшебство какое нехорошее за ней водится. С Богом.

Вот вспомнил еще. Коли выедешь по дороге на тропу у Ваги-реки, на день задержись да проверь быстренько, не проходил ли в недавнее время по ней пеший отряд человек так из семи. Тут, в Суздале, людишки княжью казну потрепали немножко и на север ушли. Думаю, через Вагу к Дышащему морю бегут: путь тот татам давно известен, и тропка та для людей таких нарочно и проложена. Ну а если вдруг встретишь их, по голове им надавай, казну отбери и в чаще схорони, я за ней потом когда-нибудь подъеду. И вот еще что. Если увидишь в Белозере Кажима-купца, так скажи ему, собаке, что упряжь вся в гниль развалилась и что как Добрыня с делами расквитается, так в Белозеро непременно придет и морду Кажиму побьет. На этом все».

Такое вот письмо получил я от друга своего Добрыни на самом исходе лета. Гонца спросил — не передавал ли чего на словах Добрыня. Но нет, письмо только одно и было.

Наутро выехал я. Не стал до зимы ждать, пока реки станут. Хорошо, конечно, по льду скакать, алмазную пыль за собой клубами подымая, да заскучал я в Колывани.

Колывань — место пустое, глухое и безвидное. Поговорить там не с кем, кроме двух-трех глупых промысловых людей, и делать там нечего, разве только что красную рыбу руками ловить. По своей воле никогда б я туда не заехал, да новость одну проверить было

надо, Не подтвердилась новость, напрасно лето потерял: не было Волхва в Колывани.

Не поверил я поначалу Добрыне: чтоб богатырь, да верхом, да всего тридцать верст в день делал! Немыслимое дело! Однако знал, что говорил Добрыня. Хуже пути в жизни моей не было. Одна свинцовая хлябь кругом, не земля, а кисель, да еще и дождь тебя беспрестанно поливает. Тропы теряются, ужами ерзают, проклятые, и все под кустом в клубок свиться норовят и так до весны проспять. И впрямь заплутал бы я в лесах этих. Язык звериный только и вырuchал. И тут не ошибся Добрыня: непуганы твари местные и доверчивы.

Ехал я, ехал, то и дело голову нагибая, чтоб еловые лапы мне глаза не повыкалывали, аж шея заболела, Ехал, да все направо поглядывал. В той стороне, за морем, на острове, Илюшина могила была. Года еще не прошло, как достал его клинком заговоренным Волхв.

То плакал я мысленно, то вопросы Илюше слал. Но только не разговаривал со мной Илья. Как полетела его душа прочь с острова каменного и холодного, как нырнула в реку Смородинку, так словно и не бывало ее.

Не такой был человек Илья, чтоб друзей своих позабыть. За семью мы друг другу были. Не давала ему, видно, Зга сама слово сказать — великая Зга, мир сотворившая и возненавидевшая. Рот зажимала Илье, карга подземная... Да, боги, боги... Невеликая от них помощь...

Гонялись мы за Волхвом, по всей земле гонялись, да товарища и потеряли. А вражина наш целехонек и, пока мы за ним по колываням всяким шастаем, уж небось давно в Киеве сидит в тереме у князя Ярослава Владимировича и снова сети плетет, всем нам на погибель... Ну да будет и на Волхва управа. Попомнишь ты, как Илью старого добивал... Мой теперь Волхв, не отдам Добрыне, сам врага кончу.

Никого не встретил я, пока от Колывани до Белозера ехал. Тропы все больше звериные шли, и ехать по ним замучаешься: так накланяешься, глаза от сучьев оберегая, что уж не только шея, но и спина заболит. И — ни души, ни следочка человеческого. Думал — может, змей летучий покажется, — так шиш. Лешие здесь и то ленивые, как попова женка. На тропу свернул, как Добрыня просил, — пуста тропа, ни людишек, ни казны, и не проходил никто по тропе этой уж недель десять. Плюнул и дальше поехал, томясь. Скучная дорога. Не могу без врагов я.

Один раз только на странность одну натолкнулся и даже в чаще той на день задержался. В истоках Онеги это было. Ехал-ехал лесом черным, вдруг падалью запахло. Свернул на запах, вижу: пятеро волков растерзанных на земле валяются. Чтоб в месте глухом — волки дохлые, да пять штук, да рядом все?! Не молнией же их поубивало! И чтоб никто из зверей на падаль ту не позарился?! Не брезгует и медведь волчатинкой, а уж про меньших тварей и говорить нечего. Но — не тронуты лежат волки; как хищник неведомый придавил их, так никто с тех пор и не подходил к серым.

Слез я с коня, осмотрел чашу, да так мне это все странно показалось, что только головой я покачал. Волки зубами чьими-то разодраны. Не маленькие зубы, медведю впору, да не медведь. И когтями кто-то по серым прошелся. Сроду не видал я таких когтей, будто крючья железные, на огне закаленные, волков свежевали. Что за бой здесь был? Что за зверь такой удивительный на Онегу пришел? Далеко заезжали мы, много чудес видали, но звери-то у нас все наперечет. Не великая тайна, звери-то. Змеи огненные, крылатые, и те нам знакомы. Но уж никак не змей волков-то рвал, да и не спустится змей на землю в чаще такой — в елках, как в силке, застрянет. Не дурак змей-то.

Стал я зверей да птиц выкликать — не ответил никто: бояться. Раз мне чуден хищник этот, то им и подавно: они гораздо меньше моего видали.

Следов на земле, понятное дело, не осталось. Какие следы, когда дождь второй месяц леса поливает. Еще немного — и поплывут волки в Онегу-реку и из нее в Море Дышащее. Но нашел я на кусточке одну шерсть, и мороз меня пробрал: шерсть седая, в палец длиной как щетина жесткая, а концы — острые-преострые. На иголки серебряные шерсть та похожа. Небывалая шерсть. Новый зверь действительно.

Убрал я шерсть в тряпицу и в суму сунул. Узнать надо будет, что за чудище такое в

онежский лес забрело. Ну да мало ли тайн в лесу... Дальше Камня, Уральских гор то есть, почитай, и не хаживал никто, Может, за Уралом белки алмазные живут и лисы там с избу величиной. А тут — шерсть жесткая серебряная. Эка невидаль. Медведь небось новый пришел к нам из стран восточных — вот и загадка вся.

Дальше поехал. О звере невиданном узнал — и ничего больше. Потерянные недели. Дождь, топь, тропы. И ни души... Чрезмерно велика наша земля, я так скажу. Словом на ней перемолвиться не с кем. В Белозере уж я наговорился.

Первым делом нашел Кажима-купца да ухо ему помял немножко. Когда еще Добрыня приедет — а ты знай, новгородское рыло, как богатырям гнилую упряжь продавать! С мечом или с конем не обманешь нас, а с упряжью — попадемся. Если правду сказать, так вовсе оторвал я ухо Кажиму и в реку окуням бросил. Пусть спасибо скажет, что головой его сейчас сом не хрумкает. Не шутят так с богатырями. Злой я был и в Белозере ночи две всего и провел.

Позабавиться хотел, да только хмурые какие-то забавы вышли. Не до веселья мне и к Омельфе поскорей надо.

Доехал до переправы, камень нашел и осинничек, и горку, и знак Добрынин. Нашел и бересклет, две горсти листьев собрал в суму и коню своему веточку сунул. Не выворотило коня с бересклета — небось ушла уж вся Сила из листьев после первого же мороза. Ну да уж Добрыня разберется. Он у нас по этой части мастак. Это я лечить не люблю... А насчет лешего — не слыхал я его: не то Кажимову кровь на мне почуял, не то вовсе куда-то в глушь перебрался. Правда, за это время снег выпал. Может, забаловался леший в первых сугробах и о дозоре своем позабыл.

Еду дальше. К исходу дня запах обозначился: хлебы пекут из муки привозной, дорогой, южной. А потом и тын серый показался, среди леса стоящий. Вот он, Омельфин дом, терем маленький, на петушка похожий, голову из-за тына высовывает, на меня смотрит. И дверь скрипнула. Ну, здравствуй, Омельфа!

Об Омельфе слыхал я давно. Княгиня она была варяжская, Рюрика самого правнучка. Жила во время оно в Киеве при Владимировом дворце, да, овдовев, на Чагоду ушла с людьми верными. С тех пор лет двадцать в лесу живет, за тын не выходит. Звал ее Владимир обратно, дары слал, грамотами ласковыми заманивал — не поехала Омельфа. Пожимал Владимир плечами, недоумевал, все про нее людей разных выпрашивал. Любил Владимир Омельфу. Добрая женщина была, овдовела рано, родить никого не родила, но слова плохого от нее никто не слыхал. А из леса так и не вышла. Говорили про нее люди уклончиво: мол, в тихом месте живет, богам молится, вдовий хлеб потихоньку пристойно ест. А уж теперь и забыли все про Омельфу. Умер Владимир, и такая свара меж сыновьями его пошла, что уж не до тетки им стало. Меня же к Омельфе дорожка привела непростая. И думать не думали мы про Омельфу, за Волхвом по всей земле гоняясь. Но вот тут случилось дело одно...

Скакали мы с Добрыней по Волховьим следам, Илюшу в земле северной оставив, слезы утирая. Петлял Волхв, как волчище матерый, знал, что мы за ним по пятам идем. И упустили мы его — далеко уж от моря Дышащего, в Новгородской земле. Упустить упустили — но одну поганую нору его открыли.

Много у Волхва нор на Русской земле, иная и под княжескими палатами есть. А мы нашли лесную, невеликую, на берегах Ильмень-озера. Место неприметное — бережок, осока, сосенки — подземелья и не заметишь вовсе. Ну да мы тогда яростные были, горячие, Сила наша играла и прямоком на подпол вражий вывела. Полезли мы туда и видим — на чуть-чуть только опоздали. Был здесь вражина, ел и спал даже, но уж дня два как ушел.

Уходил впопыхах. Убежище свое перед уходом все перерыл: искал что-то, а прибрать за собой не успел. Ну да не осталось, конечно, на виду ничего стоящего. Не мальчик Волхв, в войну играющий.

Стенки там глиной выложены были. Осмотрели мы все, обстукали — ничего не нашли. Тогда стали землю Силой мерить — и обозначился под полом тайник в локоть глубиной. Залезли — а там вещь странная: береста старая, а на ней знаки непонятные и голубок. А под

ней береста другая: словно рисунок какой. Посмотрел на нее друг мой Добрыня и нахмурился: «Эге, — говорит, — Алеша, не узор это и не руны приворотные, а нарисованы здесь Белозеро и Суда-река, а на Чагоде крест стоит. Знаю я теперь, к кому голубок тот на Суду-реку летал».

Дальше разделить нам пришлось. Я на Колывань спешно помчался, а Добрыня — на Чагоду. Да только не приняла его Омельфа. Что с бабой делать будешь? Терем топором рубить, а ее саму огнем пытать, про тайны выпрашивая? Рюрикова рода Омельфа, и не годится об этом даже и думать. Уехал несолоно хлебавши Добрыня, да сразу и завертелся, и к Черному морю пошел след один проверять. Ну а мне в Колывань написал. Алеше теперь с Омельфой разговаривать, а что — и поговорю. Правильно Добрыня пишет: всегда меня вдовы любили.

Долго выкликивал я Омельфино имя. К тыну уж самому подъехал. Не откликнулся никто; по двору шмыгали людишки, вооружались неслышно, я так думаю, но ворот не отворяли. Скучно мне ждать стало, принялся я снежки лепить да в терем бросать.

Это у детей снежок затея невеликая. А снежок богатырский, с любовью вылепленный да с силой брошенный, шею свернуть может. Стукались снежки мои о терем-теремок, аж дрожал он. Наконец рассердился я, в конька резного снаряд запустил. Грохнул конечек на землю, и доски следом посыпались. И кричит из-за тына голос дрожащий, старческий, мужской:

— Князя киевского дом сей! Смертью за увечья строительные ответишь!

— Ах, князя киевского, — говорю, — так он мне друг. Простит мне князь Ярослав Владимирович, коли тетку его повеселю немножко.

На голос прицелился, да через тын снежок и перекинул — но так, вполсилы. Рухнул на снег переговорщик и как свинья завизжал:

— Матушка-княгиня, отвори ему лучше, всех нас поубивает, злодей!

Зашлепали по двору ноги старушечьи. На крыльце, видно, Омельфа стояла, за осадой моей наблюдая. И говорит голос тонкий, встревоженный:

— Отвечай мне немедленно, смерд, чей ты и добиваешься чего? Быстро отвечай, а не то выпороть тебя велю.

Ох, Рюрикова кровь! Ни разу не слыхал я Омельфиного голоса — но как не признать княгиню после слова ласкового такого?

— Не смерд, — говорю, — а богатырь. Алешей кличут. Слыхала и ты обо мне в затворе своем.

Заголосила Омельфа:

— Ох, лихо мне, ох, горе! Этот богатырь похуже прежнего будет!

— Добрыня-то тебе чем не угодил? — спрашиваю.

— Настырен он, но теперь думаю, лучше б я его на двор пустила, ты-то дерзок непримерно, и боюсь я тебя!

— Не бойся, княгиня, — говорю, — Рюриковичам я служу. Не хоронись понапрасну, пусти.

— Такие-то слуги княжеские теперь на земле Русской пошли! — Омельфа говорит ядовито. — Господские терема рушат!

— Спешное у меня дело к тебе и важное. Престольный я богатырь и Ярославу Владимировичу человек близкий, каким и отцу его, Владимиру-князю, раньше был.

— Да уж забыла я родных своих, — хитрит Омельфа. — Чужие они мне теперь. Я больше с белочками да с зайчиками.

— Про зайцев и поговорим, — успокаиваю. — О государственных делах речи не будет.

— Завтра приходи.

— В лесу замерзнуть боюсь.

— А я тебе шкур медвежьих вышлю, — уговаривает старуха.

Озлился я:

— Ну так медведем в твой дом и войду. Ты что думаешь, я тын твой кулаком одним не

проткну?! — И по тыну ударил легонько.

Закачался тын, заплакала Омельфа и во двор впустить меня велела. Распахнулись разбухшие ворота (видно, редко из них хозяева выходят), и въехал я во двор. С коня соскочил тут же, старухе до земли поклонился. Косится на меня затворница, в сторону жметя:

— Ну что с тобой теперь делать? На дворе ведь, поди, ночевать не станешь?

— Не стану, — говорю. — Не пичужка я, не пес и не попрошайка.

Вздохнула Омельфа:

— Ладно. За мной иди.

Заходим в терем — там чисто везде, вымыто, выскоблено, травами летними пахнет и маслом розовым. По лавкам вышивки веселые разложены — птицы там, выюнки, солнышки всякие. По стенам посуда расписная. По-девичьи Омельфа живет. И саму ее рассмотрел я. Сухонькая, легонькая, личико сморщенное и глаза выцветшие да заплаканные, голубенькие. Икон в доме нет, а стоит в нише камень грубый, белый, вроде бабы голой: Мокоши Омельфа молится. Успокоил ее как мог, посулил завтра поутру сосну любую на выбор в лесу свалить — на конек новый. Сели за стол, распорядилась Омельфа хлеб и мед подать. Без опаски есть стал. Нет у Омельфы Силы и злого умысла нет. Хитрая старушонка, но безвредная.

— Старым богам молишься? — спрашиваю. — Не приняла царьградскую веру?

— Не приняла, — поджимает губы Омельфа недовольно. — В прашуровой вере помру. Последняя я из Рюриковичей верная осталась... Крестить меня, поди, князь послал?

Засмеялся я старушечьей печали: нет дел больше У Ярослава, как теток в купель окунать!

— Да молись кому хочешь, — говорю. — Хоть зайцу поклоны бей. До этого князю дела нет.

— Вся семья уж Новому молится, — настаивает Омельфа. — Я одна за Мокошь стою. Боюсь, пришлет мне князь попа.

— А ты князя не серди, — советую, — он тебя по-родственному и пожалеет. Доживешь век свой, как тебе любо.

Встрепенулась Омельфа:

— Да я-то уж вроде угодить стараюсь! Ни во что не встречаю, гостинцы малые посылаю, язык на привязи держу.

— А ты язык-то как раз на сегодня и распусти, — снова советую. — Расспросить мне тебя надо. Княжеское дело у меня, между прочим.

Не слукавил я. Давно уж Ярослав право нам дал на него при нужде ссылаться, по вражьему следу торопясь.

Испугалась Омельфа, за грудь схватилась: там у нее под платьем деревяшка какая-то спрятана, оберег старый.

— Да не обмирай, — успокаиваю. — Не знаешь ты тайн страшных. Не о чем тебе печься. Пустое дело у меня к тебе. Ты скажи, видишься в затворе своем с кем?

— А ни с кем не вижусь. Гонцов от племяшей принимаю, купцов иной раз — товар рассмотреть, а больше никого у меня не бывает.

— Гостей необычных, занятных — не водилось?

— Не водилось. — Омельфа отвечает, глаза потупив.

Чего уж там, понятно: врет затворница.

— Так-так, — говорю, — а голубок-то твой к тебе часто прилетает?

Ахнула Омельфа и платком закрылась.

— Бересту, — говорю, — где берешь для писем-то? Из Новгорода возят небось? Непростое дело — писчая береста.

Сбросила Омельфа плат и на меня с ненавистью уставилась. Ворот, жемчугом вышитый, рванула:

— Режь меня, жги, пытай, мучь — ни словечка не скажу! В печку бросай, конем топчи — в глаза тебе плюну!

И ведь плюнула, в тот же самый миг и плюнула, ведьма старая, безмозглая!

Утерся я. Вот какие дела. Ахнул бы князь Ярослав, когда б узнал, какие голубки к тетке его залетают, ахнул бы и Омельфу на части резать бы стал, правды допытываясь. Умылась бы Омельфа в крови своей. Ну так то по-родственному, промеж своих какие счеты! Я же человек чужой, из простого звания, не мне княгинь на допрос вести... Хотелось мне, конечно, Омельфу за волосы схватить и в воздух приподнять маленько, чтоб разговорить старую. Однако Рюриковичам служу...

Поднялся, меч достал. Визжит Омельфа и снова в меня плюет: смерти боится.

— Когда ж слюна у тебя кончится, — говорю, — гадюка ты теремная!

Стал мечом терем мерить. Неужто не оставил Волхв по себе памятки?

На Омельфину грудь меч показал. Понятно теперь, что за оберег на себе старуха таскала, за что руками хваталась. Ну да не раздевать же ее. Так, мечом в воздухе махнул, платье разрезал, кожи не задевая. Упал на пол диковинный оберег, божок дальний, зверообразный, Омельфа на него повалилась, руки-ноги растопырила и шипит по-змеиному.

— Да пропади ты, — говорю, — пропадом. Знал бы Рюрик, какую тварь заботливую и влюбчивую корень его даст. То с князем-мужем постель делила, теперь голубка лесного завела... Милого увидишь — скажи: пусть лучше сам на себя руки наложит. Коли мне попадется — легкой смертью не умрет голубок твой.

Лежит Омельфа на полу и стонет жалобно, и слезы из глаз катятся.

Плюнул я и вышел. Теперь понятно, откуда вражина всю подноготную Владимира-князя знал. Уж каких только песен тетка старая ему не напела! Ничего не утаила, ветошка глупая. Хитер Волхв и проворен: уж и на Рюрикову плоть лапу наложил! Шустер голубок...

Дворня вся разбежалась, хозяйкин визг слышав. Обабились Омельфины защитнички, за тыном сидючи. А может, Волхв порчу на них навел.

Свистнул я так, что окошки задрожали и снег с веток попадал, на коня сел и за ворота выехал. В лесу развернулся тихонько и назад к терему повернул. Смотрю: выскочили из ворот четверо и вдоль тына порскнули. Трое быстро назад бегом вернулись: нет Алеши, уехал; закрыли ворота.

А четвертый пропал.

Найти его я не смог.

Зима того года была жестокая и долгая. По всей земле люди замерзали на дорогах. Кони отказывались выходить из стойла. Мелкие реки промерзли до самого дна; рыба погибла. Повсеместно, от черноморских пределов до самых вечных льдов, в лесах и степях наступила бескормица. Звери стаями потянулись к жилью. Зайцы забирались в подклети, как мыши. Лисицы заползали в дома, чтобы там свирепо вцепиться зубами в последнюю оголодавшую курицу. Орланы семьями сидели на крышах, ожидая от людей хоть какого-нибудь пропитания. По ночам над избами кружили филины и время от времени нападали на малых детей, выскочивших на двор по нужде. Волки вышли из лесов и бесстрашно нападали на любые обозы, не гнушаясь человечины. По ночам они заполняли деревни и скопом рвались в хлева, где ревела умирающая с голоду скотина. Собак разорвали почти всех.

Ночи того года были страшны. Звезды приблизились к земле и налились ярым морозным огнем. Красные, зеленые и белые, они злобно таращились на притихшую замерзшую равнину. Они заметно увеличились в размерах и висели в черном небе, как до краев наполненные ядом хрустальные сосуды. Многие наблюдали в них чертей. Луна выпела до белизны и светила так ярко, что больно было смотреть. В чертах ее усматривали лик самого Сатаны — или Мокоши. Многие в ту зиму сошли от этого лика с ума.

Беда эта охватила все известные земли. В непривычных к холоду западных странах вымирали целые города. В Богемии началось людоедство. Берега Черного моря сковал лед. Корабли не могли пробиться на Русь ни из Царьграда, ни из Синопа. Степи лежали в глубочайшем снегу, и караваны, шедшие из Тмуторокани и Херсонеса, застревали в сугробах, где их добивали небывалой величины волки. Покрылось льдом Варяжское море; плавать по нему было нельзя. Впервые на памяти людей закрылся путь из варяг в греки.

Русская земля оказалась отрезана.

Христиане говорили, что пришел конец света, и пеняли князьям, что те не перебили всех идолопоклонников. Молельцы Перуна, напротив, валили все на христиан и злорадно поминали Рюриковичам, как князь Владимир побросал идолов в Днепр. Случилось несколько кровавых схваток: крещеные сжигали Перуновы рощи, староверцы громили церкви. Приближалась весна, но теплей не становилось. Многие утверждали, что тепло теперь вообще больше никогда не наступит.

Пошли разговоры про одичание земли и явление небывалых либо забытых зверей. Под Туровом, в местах обжитых и населенных, объявились три змея сразу. Они прилетели с востока, из-за Камня, оголодав, а замерзнув. В устье Днепра всплыл перепончатый морской черт о двух головах. С северных гор валом повалили белые волки. У Дышащего моря появились неведомые племена. Они ели сырое мясо и говорили на языке, которого не понимал ни один человек. Говорили, что от морозов треснул и развалился сам Алатырь-камень и что Русская земля теперь без защиты.

Говорили и о вовсе диковинных вещах. Многие уверяли, что зайцы заголосили по-человечьи, что мыши собираются на снегу крестом и так тихо погибают, что, пожрав странников на дорогах, волки превращаются в оборотней и живут в избах семейно, выходя ночью на новые кровавые дела. Передавали, что под Псковом объявился невиданный зверь. Имя ему Скипа, роста он медвежьего, норова — волчьего, ходит на задних лапах, шерсть у него железная, никого и ничего не боится, с ревом бросается на огонь и умело затаптывает костры, любит человечину, но не брезгует и дичиной, говорит по-людски, и убить его нельзя. Говорили и о золотых горностаях, поджигающих избы, и о черной утке, выкалывающей глаза старикам, и о многом другом, небывалом и страшном.

В ту зиму я скитался по Новгородчине и Псковщине безо всякой цели. Добрыня назначил мне встречу на середину весны. Времени было как никогда много, дел же не находилось. Пустив коня рысью, мерно покачиваясь в седле, я объезжал оцепеневшую землю. Отбивал обозы от волков, возвращал к жизни замерзших путников, когда надо — умирал бунтующих. Но все это были пустяки.

Из головы у меня не шел Омельфин человек, пропавший, как раставший, в лесу. Редко кого упускал я, а уж дворового холопа — так и вовсе не бывало такого никогда. Я не сомневался, что он ушел к Волхву. Упустил я его, конечно, не по беспечности, а оттого, что путь его скрыла от меня вражья Сила. Прав был Добрыня: какое-то волшебство на Омельфином тереме все-таки было. Должно быть, Волхв огородил ее дом Сильным словом.

Поскитавшись по холодной земле, я решил снова ехать на Чагоду. При этом мне самому было непонятно, на что я рассчитывал и чего ждал.

Как добиться толку от проклятой старухи, я не знал. Думаю, даже под пыткой она бы ничего мне не сказала: старицкая любовь как булат.

Приблизившись к Чагоде, я поехал тайно, лесами, то и дело увязая в снегах. Однако выезжать на дорогу я не хотел: старухины дворовые, несомненно, крутились по всей округе, и нельзя было допустить, чтоб они пронюхали про мое возвращение. Загодя и огнедышащий змей не страшен, а невзначай и заяц за льва сойдет. По дороге я ломал голову, чем мне пронять проклятую Омельфу. Старуха была труслива, но вместе с тем тверда как камень (варяжскую внучку с пути свернуть — что скалу из моря выворотить).

Поразмыслив, я решил напугать Омельфу зверем. Конечно, старуха жила в лесах и зверье было ей не в диковину. Однако я давно приметил, что в лесу боятся волка, а в городе — князя. Не понимает городской житель страха, зверьми нагоняемого, а тот, кто в глушь забился, городского кнута не боится. Ужас — он каждую ночь должен под окнами ходить. Змея страшного, но редкого и залетного, меньше боятся, чем обычного жожака серого.

Я решил запустить в Омельфин терем медведя. Все ж таки больше в нем страху, чем в волке. Перед волком дубовую дверь захлопнешь — и не войдет он в дом, на улице останется зубами клацать. А медведь и терем своротить может, и вообще злоба в нем слепая, Айкая, не алчная, как в волке, а бессмысленная и поэтому грозная. К тому же если волк — зверь, и все,

то медведь отчасти на человека похож и тем особенно лют...

Медведей на Чагоде немерено. Местные жители называют его здесь просто: хозяин. Встретить на Чагоде медведя самое простое дело. Однако стояла зима, и хозяин спал под снегом, в берлоге. Надо было искать шатуна.

Прошлая осень выдалась теплой и урожайной (так часто бывает перед холодными зимами), орехов и ягод в лесах было невпроворот, медведи наелись от пуза, спали крепко, и шатунов было мало. Я проискал бродягу два дня.

Только на третье утро я наткнулся на свежие следы, которые вывели меня к задранному лосю. Шатун оголодал и оставил от сохатого одни рога. Я пошел дальше и вскоре заприметил в мелколесье бурый шар. Сытый медведь спал в кустах бузины, я успокоился и потихоньку отправился проводить Омельфин терем.

За тыном кого-то ждали. Изнутри, по всем четырем углам, у потайных смотровых щелей топтались дозорные. Вряд ли это было в мою честь: я навестил Омельфу три месяца назад и с тех пор ничем себя не обнаружил. В тереме же царило какое-то непонятное оживление. Запахи, доносившиеся до меня, ясно говорили о том, что в тереме пекут, варят и жарят. Доносился и прелый дух стирки. По всему можно было предположить, что Омельфа ждала гостей.

Больше ничего заметить мне не удалось, и я ушел прочь, гадая, кого же поджидала старуха. Уж не вызвала ли она нарочного от князя Ярослава, чтоб пожаловаться на меня? Однако никаких нарочных так не ждут. Не сам князь же к Омельфе едет! В глубокой задумчивости я ушел в лес и принялся рассеянно следить за спящим хозяином. Ждал я до темноты, потом с медведем заговорил. Тот, кто не знает наших дел, подумает, что с глупым зверем разговаривать легко — подумает и ошибется. Конечно, легко спросить: где озеро? Где река? Нет ли в лесу человека? Куда уходят тропы? Не в топь ли? Не видно ли коней на дороге? Тут же звери ответят тебе. Совсем другое — просить зверя что-то сделать. Вовсе к этому звери не приспособлены. Управлять ими трудно, почти невозможно. К тому же медведь поумней и поупрямее мыши будет, ему так просто в башку не залезешь...

Битый час работал я Силой, уж совсем выдыхаясь. Медведь только сопел, облизывался и крутил головой, пока я внушал ему, что за серым тыном навалены бочки с зерном и медом и что по двору бегают молодая кобылка. Мозги его ворочались споро. Он думал про людей, вооруженных острыми копьями, про горячие факелы, которые будут совать ему в морду, про надоедливых собак, которые непременно вцепятся ему в мохнатые штаны. Только ночью мне удалось победить его страх.

Не спеша, медведь поднялся, рывкнул, отряхнулся и направился в сторону жилья. Я следовал за ним. Когда до терема оставалось с полверсты, забрехали собаки. Медведь остановился в раздумье. Я проклял Омельфиных шавок и вновь принялся напускать на зверя сладкого дурману. Наконец хозяин решительно потряс головой, с удовольствием представил, как расшвыряет шавок во все стороны и даже шваркнет какую-нибудь о забор, и последовал дальше.

Подобравшись поближе, он начал выбирать наилучший подход. Я стал совсем близко к воротам. Меня донельзя удивило, что Омельфин двор вдруг как вымер. Ушли дозорные, ни души не осталось за тыном, замолчал терем. Это было странно. Собаки лаяли яростно и хрипло, именно так, как лают они на подкрадывающегося крупного зверя, которого сами страшатся. Человек, проживший за тыном в лесу хотя бы год, никогда не отмахнется от такого лая, а возьмет рогатину и огня и пойдет встречать лесного хозяина железом и жаром. Омельфа же отчего-то удалила всех вон.

Однако я вообще перестал что-либо понимать, когда медведь приблизился к тыну.

Собаки от страха и ярости потеряли рассудок и уж хрипели и давились, а не лаяли. Людей же во дворе по-прежнему не было.

Медведь тем временем встал на задние лапы, привалился к воротам, заревел и ударил по доскам. Когда он заскреб когтями по тыну, в тереме отворилась дверь.

Услышав человека, медведь замолчал, в нерешительности сопя и на всякий случай

прикидывая, куда бы деться. Потом снова поворотил морду к терему, коротко рывкнул и злобно скребнул лапой по доскам еще раз. Тут из-за тына послышался тихий, прерывающийся, полный нетерпения голос Омельфы:

— Скимушка, ты?

Земля ушла у меня из-под ног. Скрипнуло смотровое окошко, и тут же раздался ужасающий визг:

— Медведь! Ме-едве-е-едь! А-а-а!!!

Хозяин рывкнул и отпрянул, а Омельфа уж неслась к терему, спотыкаясь и вопя во все горло:

— Лю-юди! Рогатину! Медведь! Огня! Огня! Огня!!

Хозяин поворотился и, переваливаясь, побежал в лес. Уж приоткрывались ворота, вылетали на снег обезумевшие собаки, полыхали факелы...

Я ушел подальше и в изнеможении сел в снег.

Так вот в каком обличье показывался Омельфе ее голубок! Так вот кого Омельфа сегодня в гости ждала, кому пекла-варила! Так вот что это за Скима-зверь, который говорит по-людски и которого невозможно убить! Так вот чью игольчатую шерсть подобрал я в онежском лесу! Так вот какую личину напялил на себя теперь Волхв! Так вот что это за новая напасть! Я застонал от стыда и хватил себя кулаком по лбу.

Голова у меня шла кругом. Аи да Алеша-простак! Аи да Святогор ученик! Видел бы его сейчас Святогор! Сию минуту за Скимой-зверем отправляться мне надо.оборотнем Волхв стал.

Но не простым оборотнем, когда мужик — в волка, а баба — в лисицу, и когда дела у них хоть и кровавые, но безмозглые: загрызть кого, и вся недолга. Волхв же под себя зверя целого нового слепил с шерстью железной... Вот это да, это — Сила... Опасно ему стало по земле человеком ходить. Уж примелькался и во дворцах, и в хатах. Знают теперь люди, чего от кудесника этого ждать: если не войны, так пожара, не пожара, так свары, не свары, так хвори или какого другого лиха. А властвовать-то хочется, седьмой десяток Волхв разменял, а в Киев так королевичем и не въехал пока.

Правильно сделал, что зверем обернулся. К голубушке своей Омельфе в зверином обличье приходил и уж в опочивальне личину менял. Однако привыкла его Омельфа зверем встречать, медведеобразным, рыкающим, в ворота скребущимся... Да, дела... Круто завернул Волхв...

Бессильно волшебство против времени. Постарел Волхв, как и все мы, смертные, стареем. А звериная оболочка — вон она, новехонька, да еще кто знает, какой век Волхв зверю тому положил...

Зверя бить немедленно надо. Теперь Волхва сразишь — он Скимой обернется и на тебя тут же бросится с мордой оскаленной. В Скиме теперь Волховья Жизнь. В Скиме и смерть его. Вот что понял я, в Омельфином лесу сидючи.

Однако на самом деле проку от всех этих мыслей было немного. Как Скиму брать?оборотня обычного — не мечом и не стрелой, а либо колом осиновым, либо клинком серебряным, заговоренным. Ну а Скиму-то, Скиму? На каком огне клинок тот закалять, какие слова булату шептать? И где осину такую сыскать, чтоб зверя железного в яму загнала?

Когда Волхв нового зверя придумывал, должна была спросить его великая Зга, мать всех вещей, каков век тому положить и какую смерть. Не даст никому Зга жизни вечной, да, по правде говоря, и вообще больше ста годов никому не даст. Но на зверя такого особая смерть должна быть условлена. Положит Зга Скиме смерть от стрелы яхонтовой, или от клинка хрустального, или от воды заморской — пока догадаешься, сожрет тебя Скима.

Очень хотелось мне по Скиминому следу тотчас пойти. У терема Омельфина потерял я след этот — в другом месте подхвачу. От Пскова до Новгорода гуляет теперь Скима. Да нельзя мне на него пока идти. Подомнет меня Скима под себя, как зайчишку худого. Повременить надо и про Скимину смерть вызнать обязательно.

Вздохнул я, поднялся. Ночь уж была. Огляделся кругом, прислушался.

Не спит Омельфин терем, стоят на дворе слуги, за лесом в щелочки потайные подглядывают, а может, и сама Омельфа зрачком яростным обманщика в ночи выискивает. Не поможет это, Омельфа. Меня Скима только один напугать может.

Разминулись мы на этот раз со Скимой. Спугнул я его. Не придет к тебе ни сегодня, ни завтра. Свиньям яства дорогие пойдут. Ну да не горюй, старуха: будут у тебя сегодня, Омельфа, и праздник и веселье.

Запалил я семь веток. Долго будут гореть они и погаснут неохотно. Слова я для этого знал особенные и мысль огненную дереву сопротивляющемуся передал. Запалил ветки и тын Омельфин с четырех сторон ими обложил. Разом вспыхнул тын, как венец соломенный.

Завыли на дворе, запричитали, заметались. Отошел я в сторонку. Быстро сгорел тын, обнажился терем Омельфин, как подлость людская всегда обнажается. Отстояла его дворня — да и не хотел я Омельфиной гибели. Волхвовью оборону лишь снять хотел. Теперь — строй, Омельфа, тын наново. Хороший будет тын, прочный, но без Сильных слов на нем. А голубок твой сюда не прилетит больше. Глаза выплачешь, меня по ночам проклиная, но не видать тебе голубка своего. Остережется он являться туда, где огонь мой погулял. Вырвал я из тына твоего ядовитые зубы, Омельфа. Доживай век на покое. Никто тебя больше не потревожит.

Я умылся снегом, отряхнул коня от черного пепла и сел в седло.

Встреча наша с Добрыней назначена была под Угличем, на волжском берегу, в давно известном нам укромном месте. Роща там дубовая священная, но народ в нее не ходит: во-первых, попы не велят и за то казнью казнят, а во-вторых, больно часто там Перун себя кажет.

Раньше Добрыни приехал я и в роще той в снегу яму себе вырыл глубокую. Там полмесяца и проспал. Перуна не видал, конечно: в исключительные зимы только кажет себя Перун, а так до весны в небе, у солнца самого, бродит. Так вот однажды сплю, и вдруг словно руку мою пожал кто легонько. Проснулся, думаю — едет Добрыня и близко уж он. Действительно — на другой день приехал.

Долго мы с Добрыней просидели в снежной пещере моей. Рассказал я ему все. Руками оба развели: веревочек много, а к зверю ни одна не привязана. Перегрыз все. Ушел. Вздохнул Добрыня:

— Не хороши дела в году этом. Тут еще — слышал? — Брячислав дурную дурь затеял.

Брячислав был Ярославу племянник. Мятаж затеял и впрямь сдуру: молод был, глуп и самонадеян (не очень-то вообще умны Рюриковичи). Новгород взял с лету, раздел пращурову вотчину до нитки и увел множество новгородцев в полон. О походе на престольный Киев Брячислав и не мечтал, а мечтал о том, чтобы, подобно варяжским конунгам, которым доводился праправнуком, невозбранно грабить по всей земле богатые города. Разбойник был Брячислав, одним словом. И варяжские родичи, которых он из-за моря выписал, не лучше были. Дикими им казались русские обычаи, когда князь земли вокруг себя собирал, — варяги-то больше в набеги ходили: кровь у них до сих пор молодая и глупая. Над Брячиславом же в семье киевской давно смеялись. На Руси вырос, а все на север глядит, на цыпочки встает — дотянуться бы. За варягами пришлыми сызмальства бегал, про морские походы расспрашивал, лодочки они ему из бересты вырезали, с мордой драконьей оскаленной на носу. Что делать — кровь, она себя всегда явит.

Решили мы с Добрыней на выручку Ярославу не спешить. Пустое дело было. Не первый это мятеж и не последний, и не несчастье какое великое, а так, укус зверька малого. Пускай добывает себе князь Ярослав Владимирович легкую славу в бою.

Знали мы: расвирипел Ярослав и племянника ищет, из Киева уж давно вышел с войском отборным, вору наперехват. Не уйти Брячиславу. Обозов взял много в Новгороде, не рассчитал. Жадность подвела. Русская земля — болотиста она и равнинна, это тебе не по морю синему сундуки с золотом на корабликах возить...

По пятам Брячислава неспешно мы шли, от нечего делать следы его исследуя.

Медленно тянется Брячиславово войско, пригибает его к земле новгородское золото. Вон повозка брошена, здесь конь в топи увяз, а тут три покойника лежат — монетку не поделили. Ярится Брячислав, взад-вперед вдоль строя скачет, воинов и носильщиков погоняет, пряжку от плаща потерял даже смарагдовую... Нехорошо сейчас Брячиславу, неуютно и боязно. Ничего... А ты у своих не тащи...

Армию Ярослава мы встретили уже на Ловати. Как мы и думали, Ярослав перехватил племяша на реке Судоме в Псковской земле и разбил без труда. Разбиты были и варяжские родственнички. Пленников новгородских Ярослав освободил, казну у Брячислава отобрал, а самого отхлестал прилюдно по щекам, как щенка малого, и на колени поставил. И то дело. А то и выпороть князька было б не грех.

Боязлив был Брячислав и руку Ярославу поцеловал, и заплакал, и на кресте божился от присяги больше не отступать, а что до новгородского похода, то это его бес-де попутал.

Бес этот был нам не внове. Приземист, сухощав, волос черный, с проседью, движется, как игрушка царьградская заводная — резко, неловко, но споро. Давно уж бес тот был нам знаком. Сам Волхв приходил Брячислава смущать. К старшим Рюриковичам не суется уж, а этого, меньшого, думал поймать на нехитрую Уду. Богатства сулил, жизнь вольную, обещал к морю Варяжскому вывести, на ладьи войско поставить и в Дальние страны обильные пенным путем повести. Не выдержал Брячислав, дрогнул. Дедовская слава покоя ему не давала, тесна земля Русская казалась, на моря хотел варяженок вернуться. Да уж, поплавал...

Ярослав был в ярости. И его сманил во времена недавние Волхв на усобицу. Сводил брови Владимиров сын, усом дрожал: что ж богатыри волчищу этого никак не придавят? Промолчали мы. Правильно гневается князь. Обещали Волхва кончить — да вместо этого Илью потеряли. Одним богатырем меньше стало. От князя отдалились, в хвосте ехали, а сами говорили промеж себя: плохие века наступают. Кончается богатырей время.

До нас Святогор Русскую землю держал, а до него — Микула и Вольга. Сто лет богатыри великим дозором ходили. Святогор Кашея победил. У Микулы с Вольгой свои тайные дела были. Никита, Добрынин Учитель, тоже не порожняком жизнь прожил. И мы своего добьемся — завалим Волхва-вражину... Но только что ж это за нами не идет никто? Нет у нас учеников. Просятся многие, да не богатырская кость, не богатырский глаз, а про ум уж и речи нет. Помрем мы — останется Русская земля без защитников. Рюриковичи — много ли они наохраняют с нравом их бешеным и сварливым...

Так вот ехали, говорили, головами качали. Несколько дней прошло, а мы все об одном. Уж и забыли про Ярослава-князя, все советуемся, об учениках горюем, средства всякие в уме перебираем. Да без толку все. Может, и вовремя Илья ушел: не успел он горечи этой отвеждать...

Так в мыслях невеселых доехали мы с княжеским войском до Киева. В Киеве же нас удивили.

Город встречал княжескую армию плачем. Несколько гонцов выслал вперед себя Ярослав, но не поверил им народ, и во дворце не поверили. Решили все почему-то, что полегла Ярославова дружина, а если не полегла, то искалечена и наполовину повыбита. Вот и бросались теперь жены с воем на шею мужьям, которых в мертвецах уж держали.

Странно нам это показалось. Киев вообще город тщеславный, надменный и спесивый. То ли оттого, что на холмах стоит над рекой великой, то ли Сила в нем такая, то ли царьградцы дурь эту кесарьскую сюда занесли. Но только всегда готовится Киев к победе — даже тогда, когда и неоткуда ждать ее, победу-то. Уж сколько раз бывало — уйдет на войну войско, а городские уж столы накрывают, меды готовят — на победных пирах бражничать. И не раз меды те в Днепр выливали, потому что не хвались, на битву едучи. Горькое похмелье от медов тех было. Но чтобы Киев — да зарыдал, да еще после того, как гонцы о победе возвестили — невиданное то дело!

Мы сразу на Волхва подумали: мол, он мрак нагоняет, сердца смущает. Отлично умеет это Волхв делать. Если постарается, может и целый город страхом, как платком, накрыть. Тем более что в Киеве он свой и помощников здесь у него предостаточно (когда только мы

хорей этих передущим! Все руки не доходят). Но дело было, как оказалось, в другом.

Как сумерки падут, выезжает на улицу призрак в кольчуге. Кольчуга иссечена, сам страшный, один глаз вытек, второй в землю недвижно уперт, меч сломан, конь виден едва-едва, если издали смотреть, так и вовсе по воздуху призрак плывет. Медленно едет, не спешит, слов никаких не говорит, но только каждый вечер является, весь город объезжает, а потом в Днепр уходит, и до следующей ночи нет его. В дождь, правда, не показывается — или просто не различить его под дождем. Слабый призрак, Силы в нем особой нет, а так — знак какой-то. И больше сказали: князя Святополка в нем признали.

Князь Святополк, Ярославов брат, Владимиров сын, был Волхва наилучший радетель. Едва не перевернули они Русскую землю вместе, насилиу мы тогда с ними справились. Бежал Святополк в Богемскую сторону и в лесах тамошних пропал. Последнее, что рассказывали — видели: нес его конь стремглав по лесу, а Святополк уж и поводья бросил, и лицо к небесам задрал и то плачет, то смеется бессмысленно. Так в Богемских лесах и сгинул, обезумевший.

Сомнение нас взяло. Говорят — квелый призрак, мало в нем плоти, а больше воздух один. Призраки — они ведь как различаются? Бывают такие, что осязать их можно. Бывали случаи, что женщина от призрака зачинала и младенца здорового рожала. Короткая, правда, жизнь у младенца такого была. Осязаемый призрак дверь железную с петель снести может. По большей части страстные это люди, не своей смертью умершие. Дела у них на земле остались: девица там, сродственник неотомщенный, казна украденная или государство целое. Вот таким Святополку бы и быть. Когда же в призраке воздух один, слегка только подкрашенный, то обычно от легких людей они и ни во что не лезут. Печальны, тайн не знают, ни вреда, ни пользы от них.

Святополк же был человек яростный, трусливый, изобретательный и алчный. Печали в нем вовсе не было. Людей ненавидел. А брата Ярослава — особенно. Ему бы из леса выехать да Ярославу в темя копьём и ткнуть (не защитишься от призрака). А он вместо этого огороды киевские объезжает и вздыхает по-девичьи.

Как на грех, только въехали мы в Киев, посещения прекратились. Луну целую прождали — и ничего. Наконец прибегают: «На Подоле князь Святополк объявился!»

Поскакали мы скорей с Добрыней туда.

Как раз из сада монастырского выезжал призрак. В руке меч сломанный, голову на грудь повесил и покачивает ею, как пьяный, по сторонам не смотрит. Бледный весь, белый почти, и все видно сквозь него, и плоти нет никакой, конечно. До нас доехал, остановился, голову поднял, в глаза Добрыне смотрит. Губами стал шевелить, будто сказать что хочет. Пошевелил-пошевелил, снова голову на грудь уронил и дальше поехал. Мы за ним бросились — а он в небо скакнул — и нет его.

— Не нравится мне это, — Добрыня говорит, — не к добру мертвец разъезжился. Глаз выбит, меч сломан, сам побит весь — войну пророчит. Да и не бывало такого никогда, чтоб призрак по Киеву третий месяц разъезжал. В Чернигове, конечно, Бабка Красная вот уж сорок лет как является, так там дело понятное — внучат ищет донянчить и злодеев покарать. А здесь-то чего?

— Прощения Святополк просит.

— Неужто на Смородинке раскаялся?!

— На Смородинке или не на Смородинке, а только сильна смерть, Добрыня, и часто весь ум человеку переворачивает.

— Где ж она была, пока Святополк по земле волком хищным рыскал? — Добрыня насутился.

— Что ж о том говорить. И так понятно: вздорны боги... А сейчас весть какую-то Святополк посылает. Понять бы.

— Да уж, — крутит головой Добрыня, — хотелось бы. Сколько мы с тварью этой ядовитой без толку провозились. Хоть теперь прок бы какой с него получить. Пошли хоть на место то глянем, где он в небо скакнул.

Подошли — а на земле четыре следа, от копыт вроде. Два на буквы похожи —

«мыслете» и «твердо», третий — на венец, а четвертый — на череп.

— Разгадал загадку? — Добрыню спрашиваю.

— Кто ж не разгадает. Мстислав, князь Тмутороканский, со смертью связался. Не пойму только — помрет Мстислав, или войну затеет, или к братьям Убийц подошлет.

— Война, — говорю, — будет. Череп-то, смотри, будто мечом рассечен.

— Рассечен-то рассечен, да можно ли призраку верить, да еще такому худому, как Святополк?

— Не пустомеля Святополк был.

— Но враль изрядный. Не дружок ли его, Волхв, со Скиминого следу нас сбивает, в Тмуторокань на безделье толкает?

— Не начальник Волхв над призраками. От Мокоши и Зги они. Поехали, Добрыня.

Задумался друг. А я его уговариваю:

— Не все ли равно, скакать-то куда сейчас? Знаешь ты разве, куда вражина ушел? Снова со следа сбились. Да и неизвестно нам ничего о Скиме пока. Рано в берлогу к нему соваться. А в Тмуторокани, чую, дело большое намечается. Много зла Святополк на свет вытащил, по земле Русской проволочил. Может, дело говорит сейчас, грехи замаливает.

— Так поехали, что ли?

Поехали.

Быстро на юг летели, нигде не задерживались, только у людей знакомых: новости выпросить. И что ж — в степях сказали нам: в Тмуторокань варяжские кольчуги сотнями везут. Чего уж дальше спрашивать. Войну Мстислав начинает. Не обманул призрак. Что ж, и после смерти, выходит, не поздно раскаяться.

Глава 2 ДОБРЫНЯ

Тмуторокань — город степной и страшный. Круглые башни его походят на могильники. Кайма оборонительных стен извивается по-змеиному. Говорят, тмутороканская оборона и впрямь была заложена храмовым змеем, который в незапамятные времена полз вокруг города, оставив за собой мертвенный слизкий след. По этому следу и были выстроены стены.

В городе не растет ни былинки, только у княжеского терема разбит скудный сад. Рабы поливают его трижды в день, однако жизнь в саду еле теплится. Объясняют это тем, что под Тмутороканью лежит кусок соли размером в город. По мнению многих, сюда ушла вся соль опресневшего Сурожского моря. Старухи шепотом утверждают, что земля в городе солона от слез. В это можно поверить: кто бы ни правил Тмутороканью — хазары ли, греки ли, русские — а только город этот всегда был нехорош.

Тмуторокань стоит на окраине известных русским земель. До всех русских городов отсюда очень далеко. Только Корчев лежит под боком, прямо через пролив. Зимой пролив замерзает. По льду от Тмуторокани до Корчева четырнадцать тысяч сажен: всадник доберется туда за полдня.

Тмуторокань выстроена на месте хазарской Таматархи шестьдесят лет назад дедом нынешнего правителя киевским князем Святославом Игоревичем. Еще раньше на этом месте стоял греческий город Гермонасса. От Гермонассы остались мостовые и обветшалый храм, щерящийся желтым оскалом колонн на залив, где пристают корабли. Наверно, в ту пору выстроена и сама пристань, ровным белым плитам которой дивятся приезжие русские. От Таматархи остались извилистые крепостные стены, угрюмая рыночная площадь и наводящая ужас подземная тюрьма, Итиль.

В Тмуторокани — главная пристань Черного моря и большое торжище. Здесь жители юга скупают варяжское серебро. Варяги берут здесь бирюзу, яхонт и сард. Русские вообще скупают все что ни попадя. Тем более что в Тмуторокани действительно можно найти все. Есть и шелка, и ковры, и пряности, и, Конечно, груды оружия и бесчисленные кони. Сард — сардоникс или оникс, полудрагоценный камень.

В Тматорокань стекаются подонки всех народов. Это город убийц, воров и клятвопреступников. Беглые сбиваются здесь в шайки, чтобы потом, сговорившись уйти промышлять разбоем в горы или леса. Некоторые перерезают глотки морякам, захватывают их суда и отправляются в море — на горе встречным кораблям. Много кораблей действительно исчезает каждый год меж Тматороканью и Синопом. Что с ними происходит, неизвестно. Свидетелей таких встреч попросту нет: ни на суше, ни на воде от тматороканских разбойников пощады не жди.

На берегу морские тати содержат службу осведомителей. Те трутся у причалов и в кабаках, норовят набиться в приятели к кормчим или, еще лучше, пробраться на корабль и порыться в грузе. Повадки их хорошо известны, и многие суда выставляют дозорных, которые молча топят осведомителей в море. Особенно берегутся кормчие, увозящие по весне варяжское серебро в Царьград. В те недели, когда они ожидают обозов с севера, дохляков в море становится больше. Впрочем, никого в Тматорокани это не заботит: человеческая жизнь здесь дешева.

В местные трущобы не стоит забираться даже очень ловкому человеку. Ворье набрасывается, как саранча, и вмиг оставляет на земле бездыханный, обобранный до нитки труп. Подручные калеки потом закапывают убитых в подземельях, поэтому первое, что чует свежий человек, приблизившись к воровским кварталам, — это отвратительный сладковатый дух.

Тматороканские женщины чернявы, толсты, бойки и вероломны. Многие из них промышляют телом — даже иные жены почтенных горожан. В их домах имеются укромные комнатки, вход в которые открывается прямо с улицы. Тот, кто вошел туда разнаряженный, приведенный веселой сводней, будет вынесен обратно мешке неразговорчивым могильщиком. Тматорокань стоит на трупах.

Тем не менее город славится своими забавами. Здесь можно найти любой известный смертным вид разврата. О притонах Тматорокани мечтают все черноморские вору и бродяги, а также многие неприкаянные души. Даже в Царьграде такого нет. Тматороканцы же вполне овладели искусством совращения. К тому же они используют приворотные южные средства — бальзамы, притирания и масла, от которых человек совершенно теряет голову. Многие держатели притонов пытались насадить вокруг своих халуп разнообразный горный дурман, но, как я уже сказал, в Тматорокани ничего не растет, поэтому зелье по-прежнему доставляют сюда в кожаных мешках издалека. На обозы эти часто нападают лихие люди, но дурманная дорожка не зарастает.

Само собой, в Тматорокани полно ворожей и волшебников. Они стекаются сюда со всего света и с важным видом прорицают купцам, морякам и ратникам их судьбу. Большинство этих колдунов на самом деле не понимает в Сильных делах вовсе ничего. Однако они успешно морочат голову простодушным чужакам — причем за большие деньги. Чужеземцы не скупятся: тматороканским пророчествам принято верить. В общем, пришлый купец плохо кончает в Тматорокани. Приехав, он тут же бежит на базар, где ему подсовывают всякое гнилье; здесь же его отлавливает прорицатель, который сулит ему богатства и долгую жизнь; прорицатель же сводит его с какой-нибудь веселой вдовой. Что до постели вдовицы, то самая прямая Дорога из нее ведет в соленую землю.

Ничего в Тматорокани не изменилось после того, как в нее пришел русский князь. Напротив, выходцы с Севера быстро переняли местный дух. В городе прибавилось русских голов, а злого лукавства не убавилось.

Есть и еще одно. Среди тматороканских волхвов встречаются Сильные. По моему убеждению, едва ли не все они служат злу. Люди они искушенные и властные, и, находясь Тматорокань в центре земли, могущество их было бы необъятно. Однако, к великому счастью, Тматорокань стоит на задворках. Правда, отсюда зло невозбранно растекается во все стороны по торговым путям — но, покуда достигнет дальних мест, все же несколько ослабевает.

Мы с Алешей въехали в Тматорокань ночью. Следовать нашему примеру я никому не

посоветую, но все ж таки нас было двое, и мы были богатыри.

Город шумел. То и дело пролетали по узким улочкам гонцы на длинноногих черных конях, у дверей трепетали на ветру растрепанные малиновые факелы, повсюду шлялись пьяные ратники, веселые кварталы шумели, и многие горожане казали в этот поздний час на улицу лукавый корыстный глаз. Слухи о войне оказались верны. Отряд Мстислава готовился к походу.

Княжеский двор поразил нас тишиной и темнотой. Спал высокий остроглавый терем, спали толстые стены, спала широкая брусчатая площадь. Только над крыльцом смутной красной точкой мерцал масляный светильник, над ним хлопал ставнем ветер, в отдалении покашливал на стене часовой да где-то в саду злобно мявкал барс. Терем словно оцепенел, и казалось невероятным, что за стеной ходуном ходит город.

То же оцепенение царило и внутри. Немногочисленные слуги бесшумно передвигались на цыпочках, стражи в коридорах замерли, как неживые, все казалось полусонным, хотя во всем дворце несомненно шла какая-то важная и спешная работа. Нам передали, что князь велел подождать до утра. В отведенной нам комнате мы с Алешей, тихо беседуя, провели ночь, не смыкая глаз.

Не человек правит землей, а земля человеком. Мстислав сидел в Тмutorокани тридцать пятый год; я не видел его лет десять, и теперь, когда мы встретились вновь, мои брови поползли вверх. Перед нами сидел не русский князь и не варяжский конунг, а самый настоящий восточный царек.

Голова Мстислава была обрита наголо, тучное тело облачено в золотой парчовый халат, на поясе — черный дамасский кинжал. Тронеподобный стул, на котором сидел Мстислав, был узорчато украшен по бокам бирюзой и кораллом, подлокотники выложены слоновой костью, в спинку вделан громадный лазоревый камень. Позади стоял служка и обмахивал Мстислава павлиньим веером. Всего-то и осталось в князе от северян Рюриковичей, что пронзительные синие глаза, да еще в правом ухе висела жемчужная родовая серьга. Серьгу эту сто шестьдесят лет назад привез конунг Рюрик от самых Рифейских гор.

— Что, богатыри, — спросил Мстислав насмешливо, постукивая пальцами по ручке стула, — не любя вам Тмutorокань?

— Беспокойный город, — уклончиво ответил я. — Солнца в нем много.

— И во дворце моем покоя нет? — смеялся Мстислав. — В клетушке своей — вон, до утра проговорили.

— Да раньше случая не было, — широко улыбаясь, встрял Алеша. — Мы с Добрыней всю Русь насквозь проехали, в дальнюю твою даль добираясь, а так толком и не поговорили. В пути до разговоров разве? Тати, болота, тени. Первая ночь спокойная — в твоём доме была.

— Потому и мечей не снимали?

— Барсов боюсь, — невозмутимо отвечал мой Друг. — Всех котов ненавижу, а барсов в особенности. С детских лет как кота заслышу, так рука сама к палке тянется.

— Ишь ты, — протянул Мстислав насмешливо, — в коте, оказывается, Сила-то какая!

— А черт его, кота, знает, — беспечно махнул рукой Алеша, — где этот кот шлялся и чего по дороге набрался. Барсы вон твои — хоть и в лукошке вскормлены, а все в горы глядят. И мявкают по-дикуму. Страх от них один.

— Лучший сторож кот, — заявил Мстислав. — Псу кусок мяса брось — и продается пес. А кот никому не верит... Однако напрасно на меня грешишь. По колдовству не ходок я. Без Силы барсы мои.

— На войну-то возьмешь котов своих? — спросил я хмуро. — Или тмutorоканское добро сторожить оставишь?

— А у меня всего-то добра, что голова на плечах да меч в руках, — смеялся Мстислав. — Куда мое добро — туда и барсы мои. Вместе кочуем. Степняки мы, звери дикие, окраинные.

— Куда кочевать станешь? — настаивал я. — На восход, на юг, на север или на закат?

— А хоть бы и на закат. От Тмуторокани во все стороны дороги открыты. Возьму и в Царырад поплыву. Пускай мои барсы собак кесаревых задерут. У собаки — мясо сладкое... Мы, люди южные, знаем.

— На северную еду не тянет?

— А в поле решу, — прищурился Мстислав. — На коня сяду, в поле выеду, а там и посмотрим, чего мне и барсам моим захочется: не то собачатины Царьградской, не то птицы вольной степной, не то рыбы сладкой горной, не то лосятинки русской душистой.

— Справится барс с лосем-то?

Мстислав захохотал:

— Не охотник ты, Добрыня, нет, не охотник! Уж сколько лет землю меряешь, а в делах мужских как дите малое ты. Куда лосю против барса-то?!

— Оно и верно, — смиренно кивнул Алеша. — А ты поучи нас, князь, поучи охоте вольной. Мы что — зверя да птицу пропитания ради бьем, смысла в дичине не понимаем. Как на войну пойдешь — рядом с твоим стремнем ехать будем. Глядишь, и научимся чему.

Мстислав потеревил серьгу, посерьезнел:

— В каком доме богатырь завелся — уж и не вы ведешь его, как паук в углу рассядется и паутину свою плести начнет... Вы мне скажите, Ярослав-то, братик мой, чем вас из терема своего выкурил? Вы, говорят, его, сердешного, без надзора и до ветру сходить не отпускали.

— Раз паучки мы — так возьми паучков в дорогу, — просил Алеша ласково, пропуская все мимо ушей, — глядишь, и сгодимся на что. Не чужие мы Рюриковичам. Отцу твоему, князю Владимиру, сколько лет служили.

— А что мне отец... Киев — в странах северных. А я вот на юге правлю. Отцу до меня дела не было, а мне до него. Владимировы слуги для меня люди пришлые.

— Возьми паучков! — повторял Алеша ласково (я понял, что он был вне себя от злости).

— А и возьму, — с хитрым прищуром пообещал князь. — Вас если в тереме оставить, всех котов передушите и сам дом спалите. На пепелище тогда вернусь.

У себя под боком — оно надежней будет. В случае чего — барсы мои за вами приглядят... Ладно, богатыри, как услышите рог мой, так на коней садитесь — и к стремени княжескому, к стремени поближе...

— И когда рога того ждать? — спросил я, едва сдерживаясь.

— А ты погуляй по Тмуторокани, Добрыня, погуляй, — снова рассмеялся Мстислав, — может, по сердцу кто придется. В погреб веселый какой зайдешь, хозяйку облапай и вина закажи. У меня с этим просто... А насчет рога не беспокойся. Мой рог и под землей услышишь.

Мстислав несказанно удивился бы, узнав, что под вечер мы с Алешей действительно оказались в веселом погребе. Я таких мест сроду не люблю: одно пустозвонство и лукавство в них. Алеша, напротив, по ним шастать горазд (неуемный он; уж бороду сединой побило, а стати и на год не прибавило). Однако не за этим делом в погребок мы пришли.

В княжеском тереме сидеть нельзя было: все в нем на подслушке да на подглядке (в южных странах по этой части мастера большие живут). По городу слоняться — и того глупей. На голову мы местных людей выше, и оружие наше приметное, да и лица поумней тмутороканских будут. В погребе же — как ушел под землю, так и не видно тебя, и для улицы пропал, и никто тебя в погребе том не сыщет. Следили за нами по пути, конечно, ну да следаков тех мы уж в тихом переулке придушили немножко — не до смертоубийства, но так, как кот мышью зубами до беспамятства прижимает. Да Алеша еще по злобе крысу поймал, шею ей свернул да следаку одному за пазуху и запихал. Пускай знает князь Мстислав, как нас зверями стращать и по следу нашему псов своих пускать.

— Зарвался князь, — говорил Алеша задумчиво, качая головой и попивая кислое вино. — Совсем зарвался. Напрасно Владимир удел ему дальний дал. Нельзя родичей с привязи спускать: заматеруют — да тебе же в сапог и вцепятся. Под боком княжичей

держат надо, в Новгороде — самое дальнее. А в Тмуторокани воеводу посадить надо было, из рода старого, варяжского, престолу верного.

— Самодур Владимир был.

— Ну а я о чем? Вот и отравили его, и ушел в землю прежде времени, и праха его ядовитого и черви теперь не касаются... Еще вина спросим.

Странны обычаи Тмуторокани человеку русскому. Вина здесь море (у нас-то меды; вино за драгоценность почитается и на княжеских пирах подается только; попы и те причастие по капельке малой дают). А сюда вино из Царьграда каждый день на ладьях привозят. Понятное дело, в погребках его травяными настоями хмельными разбавляют, но с Алешей такие дела не проходят. До сих пор потирает голову хозяин: после первого же глотка запустил ему Алеша в темечко кувшином с тем дурманом-то...

У погреба здесь у каждого — имя свое. Чудно это, как в Царьграде совсем. На Киев весь — два погреба, верхний и нижний (у Днепра и на горке). А тут — и не сосчитаешь их, погребов-то. Вот и висит у каждого на входе примета своя. Этот вот «Черепом» прозвали, потому что висит в дверях на веревке черепушка с виском пробитым. Нечего сказать, веселые люди в Тмуторокани... В Киеве бы вмиг дозор дворцовый прискакал: откуда кости взяли, такие-сякие? А виру князю заплатить не хотите?! Да и попы киевские того бы не допустили: по их части и кости и черепа... Здесь же покойники чуть не под ногами валяются... Дурной город, безголовый. Не люблю я Тмуторокани.

В погребе — шабаш. Народ пьян весь, девки наглые, как ящери, туда-сюда шныряют, заголяются, да лицо У каждой румянами да белилами так расписано, что дьявола у нас в церквах краше малюют. Поди ж ты — красота какая... Вонючка опять же. Кто и до улицы не дойдет, здесь прямо нужду справит. Хозяин ему по уху, а лужу прибрать забудет, конечно... Хороши у Князя Мстислава воины, вот уж да! Мечи под лавки Побросали, о кольчугах уж и речи нет (нужны ли они, кольчуги-то, когда девки под боком!), забыли уж, наверное, как и зовут кого. Не будет в сегодняшний вечер Мстислав в свой рог трубить, нет, не будет! Не собрать ему войска, не вывести из города. Как опустеют погреба — вот тогда, значит, в ночь выступает рать. Не дурак Мстислав, ой, не дурак.

— Так что — на север князь попрет?

— А леший один знает, что у него на уме... Ярослав на престоле — без году неделя... Мстислав — не в Тмуторокани родился. Юг — богаче, север — краше.

Много вина в Тмуторокани и шелков и парчи много, да носит Мстислав в ухе варяжскую родовую серьгу. На север она его зовет...

— Серьга-то — Сильная? Не приметил?

— Ночью на нее посмотреть надо. Варяжские серьги от луны зажигаются.

— Ее до Мстислава дед его, Святослав Игоревич, носил. Водились за ним дела волшебные, говорили люди...

— То до нас было. Может, врут.

— На могиле Святослава был я. Не простая могила на порогах днепровских осталась... В какое время ни придешь, полоса светлая наискось тянется, словно луч лунный.

— Ну что ж... Про голову его, печенегом отрубленную, тоже разное рассказывают... Может быть, может. Небось и Рюрик сам из Скандии не с мечом только ушел... Мечом одним Руси не добудешь, тут Сила нужна...

— Волхвовали варяги, думаешь?

— Определенно волхвовали... Без волхвования и девка к парню не потянется... Все на волшебстве в мире этом... Вон, гляди: у хозяина в углу — пучок травы сухой.

— Давно на траву эту смотрю. Не видал я такой.

— Во-во... Раз не видал, дальняя трава, значит, а раз издалека везли, то и не пустая, выходит...

— Зажечь бы, дым понюхать...

— Не гордись, Добрыня... Может, дым этот тебя сам понюхает, понравишься ты ему, и он тебя — в полон... Здесь с такими делами поберегись...

— Не люблю я Тмуторокани.
— Знаю. Ты Царьград больше любишь.
— То — город, а здесь вертеп один.
— И в вертепе люди живут... Ох, отойду от дел — загуляю... На тмутороканской женюсь...

— Ой, мало ли ты гулял, Алеша! Девки о тебе уж песни поют!
— Так ли еще запоют...
— А ну тебя...
— Волхва завалить, как кабана, — и гуляй Алеша... Ты здесь ничего такого не чувствуешь?

— Нет в этом городе Волхва и не было давно.
— Ну ладно... И Мстислава с нас хватит... Веером его обдувают... Халат надел... Отец бы узнал — в гробу перевернулся...

— Да что теперь Владимира вспоминать. Велик был человек, да из ямы не окликнешь...

— Посмотри — снова прислали лазутчиков-то. Донес хозяин во дворец, что мы здесь с тобой бражничаем...

— Не подслушали б.
— Все равно пустое болтаем.
— Не скажи, Алеша, ох не скажи. Богатырское пустое — его на три полных короба хватит.

— Так пойдем, что ли?
— Да чего дольше-то сидеть. Все равно — нашли нас...
— Пойдем. А этих — на улице передавлю... Зол я на Мстислава.

Мы кинули хозяину грош и вышли. На улице уж была ночь, и во тьме Тмуторокань шумела суматошно, не по-доброму — как вчера шумела и как после нас шуметь будет. Не перекроишь этот город. А все одно когда-нибудь запустеет. Ничего нет прочного на земле. Княжеские разведчики крались за нами в безопасном отдалении. Их было четверо, все — дюжие детины не пойми какой крови.

— Ох, поплачут они у меня...
— Да оставь, Алеша, черта тебе в них.
— Нет, ты погоди, давай в переулок спрячемся...

Мы стали за угол. Домишки здесь были такие приземистые, что наши головы торчали чуть ли не выше крыш. Стемнело, однако в узком проходе все равно был краем виден страшный круглый Итиль... Только Мстислав, может быть, знал, что творилось в его подземельях.

Из-за стены показалась голова первого следака. Алеша молча ударил его кулаком в нос; следак сдавленно ахнул, упал, забился в луже мгновенно натекшей крови. Мы выскочили наперерез остальным; те принялись удирать, мы — за ними. Прямо перед нами угрожающе вырастала Итиль; Алеша на бегу норовил достать подсмотрщиков кулаком... И тут земля ушла у меня из-под ног. Сознание я потерял только на миг или, точнее, на тот миг, пока летел куда-то вниз. Я пришел в себя, оказавшись в темноте, в груди дерущихся и вопящих тел.

Следакам не повезло. Оказавшись в ловушке, мы рассвирепели, и я долго не мог оттащить беснующегося Алешу от их уже безжизненных тел.

— Попались... Итиль!
— Стыдоба, брат!
— Добрыня, подожди! Ты ничего не слышишь?!..

Я вытер лицо и прислушался; издали доносился, приглушенный трубный рев. Это был рог Мстислава. Как и обещал лукавый князь, звук этот был слышен даже под землей.

Любое сердце дрогнет в Итили. Нет на берегах Черного моря тюрьмы страшней. Нет подземелья хуже и во всей Русской земле. Итиль построена хазарами. Все, что видит глаз на

поверхности, — это огромный облупившийся купол, уходящий краями в плоскую мостовую. В самом куполе пленников нет. Зато подземелья Итили простираются на многие сажени во все стороны, как паучья нора. Некоторые из них имеют тайные люки, ведущие на близлежащие улочки. В такой люк попались и мы.

Тмуторокань под русскими — без малого шестьдесят лет. Итиль много старше. Некоторые утверждают, что она стояла на этом месте всегда. Здесь из-под земли слышатся вопли и стоны. Иногда на поверхности даже проступает кровь. Тел своих жертв Итиль не отдает никогда. В ней живут страшные огромные собаки, которые пожирают трупы — а иногда и живых пленников. Слышал я, будто в итильских подземельях встречаются создания и похуже... Один поп уверял меня, что одна узкая лесенка ведет отсюда прямо в Тартар. По его словам, демоны утаскивают из Итили людей в адское пламя живьем. Однако доподлинно об Итили не известно ничего: еще никто не выходил отсюда живым. Здесь до сих пор гниют заживо некоторые из узников Таматархи.

На Итили лежит проклятие. Узники покинут эту тюрьму только тогда, когда пересохнет река Итиль. Река Итиль известна русским как Волга, и, насколько я знаю, она не пересохнет никогда. Нет на свете тюрьмы прочнее Итили.

Есть в этой тюрьме одно правило: миловать узника нельзя. В крайнем случае, чтобы облегчить его участь, ему перерезают глотку. Ни один еще человек не был отсюда освобожден. Захватив Таматарху, русские так и не осмелились проникнуть сюда. Время от времени князь Мстислав бросает в Итиль опасных людей, как он бросил нас. Он уверен, что больше никогда не повстречается с ними под солнцем и луной. Но даже Мстислав не знает имен всех узников Итили. В свое время властители Таматархи поместили сюда многих людей, помогавших русским. Мстислав не освободил ни одного. Некоторые из них, как говорят, живы до сих пор: как это ни странно, но многие люди живут в тюрьме на удивление долго. Стражники Итили появляются на поверхности только ночью и то изредка. Они сами набирают себе смену. В Тмуторокани по ночам иногда пропадают младенцы. Если над пустой колыбелькой на стене был поспешно вырезан знак паутины, родители знают, что их дитя унесено в Итиль. Нет участи страшнее, потому что мальчик вырастет палачом.

Мы проговорили с Алешей несколько часов, перебирая в памяти все, что знали об Итили. Мы договорились не разлучаться, что бы ни происходило; если один будет умирать, он заберет с собой другого. По всей вероятности, ждать этого оставалось недолго. Мы почти ничего не различали вокруг. Яма, в которой мы оказались, была черна и глубока. Мы даже не смогли рассмотреть потолка, скрывавшего предательский люк, как ни старались. Вход, ведущий из ямы в подземелье, был забран решеткой, которую не могли разогнуть даже наши не слабые руки. За решеткой, в конце коридора, еле-еле мерцал тусклый светильник. С поверхности земли до нас не доносилось почти ничего, только под утро сверху слышался мерный дробный гул: это поспешно уходила из города полупьяная армия Мстислава.

Стены были сложены из прочнейшего камня. Полом служила скала. По всей вероятности, любитель барсов упрятал нас в Итиль навсегда.

Мы кричали, суля стражам поочередно страшные кары и невыносимое богатство. Однако с тем же успехом мы могли петь погребальные песни. Оружие было при нас, и стражники не собирались откликаться на наш зов. Вряд ли мы будем беспокоить их долго, решили мы с Алешей. Жажда и голод сделают свое дело. Раскаленные клещи, кожаные плети и ржавые крючья нас не увидят. Мы умрем без особых мук.

Однако сдаваться мы не собирались. По очереди мы пробовали свою Силу. Все вокруг молчало. В Итили мы оказались беспомощны, как два мышонка. Мы сидели спина к спине, берегли силы и молчали. Так прошло три дня.

К исходу четвертого я услышал, как Алеша пробормотал:

— Ладно, пускай костер.

Я подумал, что мой друг помешался.

— Нет, Добрыня, — сказал Алеша, не оборачиваясь. — Я-то как раз с ума не сойду. Я вот что хочу сказать. Ты когда-нибудь слышал про костер из мечей?

— Нет.

— Это последнее средство. Святогорово. Отчаянное и тайное. Когда больше уже ничто не может помочь. Только для этого надо сломать наши мечи.

— Сломать мечи? Хуже этого только смерть в Итили...

Богатырский меч заговорен. Иногда такой меч приходится искать несколько лет. Сломай свой меч, и ты лишишься половины Силы. Меч — это больше чем рука. Это скорее второе тело... Однако окружавшая нас тьма и зловоние, исходившее от тел умерщвленных врагов, были так отвратительны, а наша скорая смерть так неизбежна, что, поколебавшись несколько мгновений, я согласился.

Почувяв гибель, мечи потяжелели и похолодели. При первом же ударе о стену они разлетелись, будто были сделаны из льда. Я не поверил своим глазам: Алеша, кажется, знал, что делал. Он исползал всю яму, собирая осколки, сказав, что, если потеряется хоть один, проку не будет. Я с дрожью оглядывался на зарешеченное подземелье: что, если какой-нибудь крохотный осколок отлетел именно туда? Тогда мы останемся в Итили совершенно безоружными и даже собственные жилы нам придется резать кольцами кольчуги...

Алеша сложил обломки поленицей, потом поднял на меня глаза и неловко спросил:

— Чем ты еще дорожишь? По-настоящему дорожишь?

Я молча снял с шеи крест и швырнул в диковинный страшный костер.

— Хочешь, я отдам тебе свой?

Я кивнул. Алеша молча повесил мне на шею свой граненый алмазный крестик.

— Он что — в костер не пойдет?

— Нет, — сказал Алеша, отвернувшись. — Все, что у меня было, — это меч. Я не такой как ты, Добрыня, — пояснил он, усмехаясь, — и не вожу за собой дом, как улитка.

— Давай положим в костер и твой крест. Теперь я им дорожу.

Алеша покачал головой:

— Не придумывай. Когда-нибудь ты и впрямь будешь им дорожить, я это вижу... если мы выйдем из Итили... Но пока что это не более чем залог... Так что не мучайся понапрасну и прячь его на грудь. Так... А теперь не мешай мне пустыми разговорами.

Он склонился над костром. Я отвернулся.

Прошло очень много времени. Мне вообще показалось, что минул целый день. Почувствовав мое нетерпение, Алеша прошептал:

— Дерево загорается быстрее... Не забывай — здесь богатырские мечи да еще и твой крест...

В молчании прошло несколько часов. Я стоял неподвижно; тело мое одеревенело, но я представлял, каково было скорчившемуся у костра Алеше.

Внезапно в воздухе раздался звук лопнувшей струны; вспыхнуло белое пламя, и по стене передо мной заплясали тени. Я обернулся и вскрикнул от боли: глаза мои не могли смотреть на огонь. Алеша, заслонившись рукой, по-прежнему сидел у костра.

Пламя погасло так же быстро, как зажглось. Но прежде чем белый огонь вовсе погас, Алеша выхватил из костра ослепительно тлеющую головню, вскочил и крикнул мне:

— Быстрее! И никуда не сворачивай! Он помчался прямо на решетку; я ожидал, что он разобьет себе лоб, но решетка со стоном расступилась, и мы, задыхаясь, выбежали в широкий коридор. Как видно, пламя вело Алешу, и он не раздумывал, куда бежать. Я еле успевал следовать за ним по этим паучьим норам, только краешком глаза отмечая ужасы, творившиеся по сторонам. За железными прутьями бились люди, похожие на окровавленные скелеты, под сводами подземелий полыхал красный огонь, в котором в невероятных мучениях извивались визжавшие тени, палачи в изумлении застыли при виде нас, подняв высоко в воздух кнуты и клещи, пахло свежей кровью, и я заскрежетал зубами, когда мне под ноги попался блестящий, еще живой, только что вырванный глаз... Но останавливаться было нельзя; белый огонь тянул нас вперед, как вихрь тянет за собой два утлых листочка, и, вот так-то стремительно прошелестев по бесчеловечному царству пытки, мы внезапно оказались перед лестницей, круто уходившей вниз, в самые недра земли. Не останавливаясь,

Алеша устремился в ее узкий проем, обернувшись и крикнув мне:

— Скорей! Сюда! Главный вход запечатан!

Следуя за ним и ужасаясь его неожиданной великой Силе, я побежал вниз по крутым степеням. У меня уже не было ни сил, ни времени смотреть по сторонам, и только в самом низу лестницы, там, где ход распадался на три зловонные норы, я краем глаза увидел склизкую лиловую тварь, похожую на собаку с перепончатыми крыльями, с шипением отступавшую в темноту. Страшно сверкнули ее ослепительные клыки, гадко завернулась слюнявая розовая губа, раздался глухой утробный лай — и все исчезло, потому что мы уже бежали ходом, идущим вверх. В свете пламени сверкнула блестящая серебряная дверь, а потом она с грохотом рассыпалась, и, задыхаясь от блистающей пыли, мы выбежали на свет. Белое пламя в руке Алеши погасло, земля сотряслась, мы упали ничком, и, когда я поднял голову, я увидел, что мы лежим на песке на самом берегу моря и что позади нас с грохотом осыпается крутой рыжий откос...

— Что это было? — спросил я Алешу шепотом, когда наконец смог говорить.

— Ларна, — сказал он, отводя глаза. — Ужас Итили.

— Ужас Итили?!

— Да, но на землю она не выходит, и чем меньше говорить о ней, тем лучше.

Перед моими глазами вновь встало это чудовище, разинувшее розовый мокрый зев, снова замелькал белый Алешин огонь... С содроганием я посмотрел на его руки, ожидая увидеть вместо них обуглившиеся кости. Алеша тоже смотрел на них — с усмешкой.

— Видишь, — сказал он, поднимая ладони вверх, — даже не обгорели, А это было ни больше ни меньше как пламя Зги.

Пламя Зги! Идущее из самых глубин земли! Порождение самой Зги, о которой запрещено даже говорить!

Алеша все еще с усмешкой качал головой, не сводя с ладоней глаз:

— Да уж, я-то думал, больше мне ни меча, ни девки в руках не держать. Боль-то была страшная. А посмотри — ни рубца. Даже не опалились.

— Как это может быть, Алеша? — с недоверием прошептал я. Я не понимал этого — я, Добрыня, богатырь, от которого скрыто не так уж много тайн на земле.

Алеша пожал плечами и пристально, серьезно посмотрел мне в лицо.

— Все ж таки я ученик Святогора, — сказал он.

Мы долго плавали в море, пытаюсь смыть скверну Итили, но нам казалось, что белое пламя все еще ослепляет нас, что из подземелья на нас все еще рычит Ужас Итили и что вокруг нас по-прежнему стенают окровавленные тени.

Как выяснилось, белое пламя все же оставило на Алеше свой след: в правую ладонь его, в которой он нес белый факел, вплавилась серебряная пыль. Рассыпавшаяся дверь оставила по себе вечную память.

Мы долго изучали пострадавшую ладонь. Боли не было. Не чувствовалось и жжения. Но срезать серебряные пылинки оказалось невозможно. Чем бы мы ни пытались их подцепить, они уходили все глубже в плоть.

— Проще отрезать руку, — вздохнул Алеша и задумчиво посмотрел на море.

— Обойдется, — сказал я уверенно, внутренне содрогаясь от страха.

На лице не слушавшего меня Алеши обозначилось странное изумленное выражение.

— Дверка, — прошептал он. — Дверка.

— Что?

Он вздрогнул и отвернулся.

— Устал я, Добрыня, — сказал он, помолчав. — Посплю-ка я. Посторожи до заката.

Он свернулся калачиком на самой кромке воды и мгновенно уснул. Глядя на его лицо, я знал, что он о чем-то догадался, но о чем — спросить не решался. Вообще, бережно надо говорить с человеком, разбудившим пламя Зги.

Алеша спал спокойно; серебряная пыль, ввевшаяся в руку, пока никак его не тревожила. Если это и был яд, то действовал он медленно. Но что-то говорило мне, что

никакой это не яд, что все гораздо сложнее — и, возможно, хуже.

Как только солнце коснулось воды, Алеша мигом проснулся, как будто его разбудили. Посмотрел на красный закат, перевел взгляд на руку, потряс ею показал мне: пылинки ярко засеребрились на солнце.

— Да, — сказал Алеша невесело, — с такой рукавицей теперь все девки мои. — И снова надолго замолчал.

Когда тяжелые думы его покинули, он порывисто вздохнул, поднялся на ноги, тряхнул головой и, глядя на близкую хмурую Тматорокань, распластавшуюся у моря, как больная черепаха, весело спросил:

— Ну, Добрыня, что с барсами делать-то будем?

Барсов во дворце не оказалось. Мстислав действительно взял их с собой.

Что мы учинили во дворце, вспоминать не хочется. Никому не посоветую оказаться на пути двух разъяренных богатырей. К тому же из стражников получают никудышные воины. У них слишком сытая жизнь.

Когда, произведя разгром и смертоубийство, мы добрались до оружейной, перед нами встал трудный выбор. Мстислав хранил несколько Сильных мечей. Однако мы подозревали, что лежащая на них Сила нам враждебна. Всматриваясь в нее, мы видели остроконечные выжженные горы, исчезающий в море белый парус и зеленые смарагды. Что это все значило, понять мы не могли. Мечи были родом из дальних стран, чуть ли не из самых копей царицы Савской, той самой, что в свое время смущала покой царя Соломона. Разговорить ни один меч времени не было. В конце концов мы выбрали два обыкновенных булатных клинка.

Что нас чрезвычайно порадовало — это что наши кони остались целехоньки. Мстислав побоялся брать норовистых богатырских коней в поход — и за свою предусмотрительность был примерно наказан. Теперь мы были уверены, что легко догоним и Мстислава, и его войско.

Разрубив на куски бирюзовый трон, мы вскочили в седла и с гиканьем вынеслись за ворота. Те, что смотрели нам вслед с городских стен, видели лишь, как по Соляной дороге несутся, быстро удаляясь от города, два сверкающих вихря.

Соляная дорога — прямоезжая. Она начинается в Тматорокани и идет до северных склонов Касогских гор и дальше — к устью Волги и Хвалынскому морю. Называется она Соленой потому, что по ней на Восток возят соль. Впрочем, есть и другое объяснение: каждый год касоги угоняют по ней в полон сотни греков, хазар и русских, а людские слезы, как известно, солонны. По-моему, я уже говорил, что, по мнению местных жителей, под самой Тматороканью лежит огромный кусок соли. Не то соляной промысел здесь так велик, не то слез в этом краю так много... Так или иначе, Соляная дорога прямая, почти как стрела. Войско идет по ней быстро. Однако еще быстрее скачет по ней богатырский конь.

По пути мы встречали испуганные обозы, идущие с востока в Тматорокань. На восток же не шел ни один: тматороканские торгаши загодя пронюхали о войне.

С некоторым удивлением мы заметили, что восточные обозы не тронуты. Как видно, Мстислав запретил войску грабительствовать. Допрошенные нами купцы рассказывали, что Мстислав едет впереди войска на черном коне; слева и справа от него бегут барсы, В пути войско почти не отдыхает. Идут они на касогов.

Касоги — народ храбрый и отчаянный. Живут они в предгорьях и неплодородных горных долинах. Ремесел не знают, торговли тоже, налетают на идущие мимо караваны и близлежащие селения — и тем живут. Испокон века у касогов каждый богатырь — князь. Совсем недавно они подчинились наисильнейшему из них — Редеге. Про него говорят, что он разбойник, каких мало, но что слово свое держит, как примерный государь. Под ним касоги сплотились, и их набеги совершенно иссушили соседние земли.

Ничего плохого в том, чтобы покорить касогов, нет. Не потому бросил нас Мстислав в Итиль, что боялся нашего вмешательства. Препятствовать ему мы бы не стали. На уме у него было другое. Надо думать, он действительно решил в конце концов идти на Киев.

Отряд Мстислава мы завидели загодя. В сухую погоду идущее по степной дороге

войско поднимает огромное облако пыли. Издалека может даже показаться, что над дорогой низко летит алчущий поживы змей. Только ленивый не заметит войска в степи. В этом смысле лес гораздо удобней. Однако Мстиславу выбирать не приходилось. В здешних краях лес растет только по горам, а в горы Мстислав лезть не хотел: это касогская вотчина, и хозяйева там они.

Завидев пыльное облако, мы ускорили бег наших коней. Вскоре нас заметили дозорные, кружившие по тылам отряда. Поднялась суматоха; кто-то хватался за меч, кто-то — за лук, кто-то бежал нам наперерез, но мы ушли в сторону и беспрепятственно полетели к самой голове войска. Очень скоро мы увидели Мстислава.

Он остановил рать и сидел в клубах пыли, как черное изваяние, не шевелясь. Белые барсы по обе стороны его коня изготавились к прыжку, оскалили пасти и зашипели. Я невольно вздрогнул, вспомнив Ужас Итили.

Подлетев совсем близко, мы с Алешей остановились как вкопанные. Мстислав смотрел на нас в упор, глаза его налились кровью, веки подрагивали от едва сдерживаемого гнева, щеки побелели, а бритый затылок, напротив, побагровел. Только сейчас я заметил, как похож он на своего отца князя Владимира — Владимира, который тоже не чурался предательства и в жизни хотел одного: власти.

Наконец Мстислав отвернулся, выпрямился в седле, поднял повелительно левую руку высоко вверх и тронул коня. Загремели доспехи, заржали кони, заклубилась пыль; войско возобновило свой ход на восток. Поехали следом и мы. На протяжении семи дней пути мы не перемолвились с Мстиславом ни словом.

Тмutorоканский князь выслал вперед себя гонцов. Те по всем правилам объявили касогам войну.

Однако на самом деле Мстислав хитрил. Теперь дорожащие своим достоинством касоги были вынуждены ждать его в чистом поле. Если бы он вторгся в их края как вор, они бы заманили отряд в леса и там, по всей вероятности, прикончили бы. В каком-то смысле касоги, приняв вызов Мстислава, уже проиграли. Два войска сошлись на рассвете. Солнце светило нам в лицо. Тмutorоканские щиты и шлемы сияли розовым огнем. Рать противника казалась черной.

Мы съехались на выстрел стрелы. Войско касогов было побольше нашего, однако вооружено было плоховато: разбоем армию не вскормить. Все поняли, что предстояла изнурительная тяжелая битва. Если не произойдет какого-либо чуда, придется биться до вечера, зло изничтожая друг друга, а в сумерки, как это обычно водится, победителя выберет случай.

Ни Мстислава, ни касогского князя это не устраивало. Не за тем они выставляли свои лучшие силы друг против друга, чтобы теперь предоставить исход битвы на суд мелких духов, живущих в ковыле.

Мстислав нахмурился, начал оглядываться и одного за другим подзывать к себе воевод. Говорили долго и горячо. Совещался и вражеский стан. Как видно, касогский князь тоже колебался. Победить, лишившись при этом войска, никому не хотелось. Такая победа мало что значила. Разбитые тмutorоканцы могли со временем выслать в горы наемников — и как бы Редега стал отбиваться от них тогда? Боялся наступать и Мстислав. В Тмutorокани плохо представляли, что происходит в горах, однако не подлежало сомнению, что в случае нужды все непокоренные долины станут за Редегу.

Так прошло несколько часов. Солнце встало прямо над головой. Войска изнемогали. И тут со стороны касогов зазвучала серебряная труба.

Это был звонкий переливчатый звук, и глаза всех тмutorоканцев устремились на юного касогского трубача, выехавшего вперед. Однако звук трубы быстро смолк, и вслед за трубачом из касогских рядов выехал великан. Он был необычайно высок и широк в плечах. Под ним был невероятный, громадный белый конь. Черные волосы всадника развевались на прохладном ветру. «Редега, Редега!» — зашептали вокруг. И так, это и был сам касогский князь. Он подъехал совсем близко к нашим рядам, остановил коня и закричал:

— Мстислав!.. Посмотри — нас не меньше, а вас не больше! На что нам губить свои дружины?! Горы не родят мне новых воинов, море не принесет тебе новых ратей! Одолей меня — и возьми все, что имею: страну, жену, детей! Иди на меня, Мстислав, если ты друг своему войску!

Тмutorоканское войско затрепетало, как тростник. Все слыхали о таких поединках, но въяве не видали никогда.

Мстислав сидел на коне неподвижно, устремив глаза на Редегу. Касог был выше. Плечи его были шире Мстиславовых самое меньшее на пядь. Касогский конь был тяжел и мог легко смести тонконового тмutorоканского жеребца.

Нет, не уберечься было воинам от касогских мечей! Сейчас Мстислав покачает головой, отъедет Редегу в свой стан, и начнется кровопролитная битва, и только слепой случай решит судьбу боя...

И тут Мстислав медленно двинул коня вперед. По войскам прокатился ропот. Мы с Алешей в недоумении переглянулись. Мстислав и Редегу съезжались все ближе. Редегу в серебряной кольчуге, на белом коне; Мстислав — в черных доспехах, и жеребец под ним был вороной. Может быть, Мстислав владел Силой?

Как только клинки их сшиблись, я понял, что сражаются два воина и что никакой Силы ни на одном из них нет. Войска затаили дыхание, и в наступившем затишье мне были отлично различимы сомнение и даже отчасти страх Мстислава.

Сначала перевес был на его стороне. Редегу был по-великански могуч, и ему бы рубить сплеча, но он Вился вокруг Мстислава по-разбойничьи, по-осиному и, вместо того чтобы рубить, жалил. Мстислав же рубил по-варяжски, наотмашь, да сил уже не хватало: варяжские ухватки — для молодых. Он стал уставать. Редегу же воспрянул.

Над степью звенели два клинка, и с двух сторон им вторило то ликующее, то печальное эхо: войска следили за боем своих князей. Даже солнце, как казалось, вовсе остановилось и наблюдало за происходящим недоумевающим исполинским глазом.

Рука Мстислава начала дрожать. Он пропустил два удара. Раны его были пустячные, но при виде крови вождя русское войско застонало.

Дело было почти кончено. Еще три или четыре сшибки — и голова Мстислава покатится с плеч.

Варяжский внук погнал коня в сторону — передохнуть — и внезапно обернулся прямо на нас с Алешей, оскалившись по-звериному и прищурившись в предсмертной истоме (шея его горела, ожидая касогского удара). Глаза князя были пусты и уже ничего не выражали.

Алеша бросил свою Силу в бой первым. Я запоздал на долю мгновения. Тмutorоканский жеребец вдруг захрапел, взвился на дыбы и бросился на касогского коня, как коршун. Редегу в изумлении отступил, а Мстислав уже, сжав зубы, рубил слева-справа, справа-слева, как будто орудовал кузнечным молотом; внезапно Редегу пронзительно вскрикнул; из шеи его брызнула кровь, он поник в седле; конь понес Редегу прочь, но Мстислав в два прыжка настиг его и перерезал великану горло. Кровь хлынула на землю струей...

Покуда касогское войско стеноло, а тмutorоканское в ликовании барабанило по щитам, покуда решали, кому договариваться о мире, Мстислав в изнеможении лежал на руках дружины. Пот струился по его лбу, раны кровоточили. Похоже было, что он пока что плохо понимал, что произошло.

Мы с Алешей, переглянувшись, поехали прочь.

К ночи все определилось. Касоги сдержали свое слово. Их страна становилась данницей Тмutorокань.

О набегах обещано было забыть. Было послано за семьей Редегу: ехать им заложниками в тмutorоканский стан. Победителям можно было начинать пир у костров и рассылать высокомерные грамоты во все известные им земли.

Мстислав послал за нами как только пала тьма. Все еще пошатываясь от усталости, он вышел нам навстречу, держа что-то в руке. Когда мы сошлись поближе, Мстислав

остановился, поднес к своему горлу нож и протянул рукоятку Алеше.

Никаких Сильных советчиков у Мстислава не было. В Итиль он бросил нас по собственному разумению. Когда мы догнали его в пути, он несказанно разгневался, однако что делать, не знал. Отчасти, конечно, он боялся богатырей, бежавших из Итили (хотя про костер из мечей, белое пламя, Ларну и серебряную дверь он, разумеется, еще ничего не слышал). Тем не менее он был по-прежнему твердо намерен покончить с нами во что бы то ни стало. Тмугороканскому отряду был отдан приказ по-воровски расправиться с богатырями во время битвы.

И все же в отчаянный миг он запросил у нас помощи. Мстислав говорил, что сделал это вопреки собственной воле. Что ж, боги шутили шутки и не с такими людьми...

Наши страхи оправдались. Расправившись с касогами, Мстислав намеревался идти на Ярослава, в Киев. Едва-едва успокоившись после гибели Святополка Окаянного, княжеская междоусобица начиналась сызнова.

Ни на какие наши уговоры Мстислав не поддавался. Он твердил, что Ярослав зазнался, нахален, горяч, жесток.

— Не нужен мне Киев! — топал ногой Мстислав. — Не удержу я его, в Тмуторокань сидючи! А коли в Киев перееду — Ярославовы псы горло мне перережут или медом горьким напоят! Не нужны мне ни Днепр, ни Киев. Восточных земель хочу! И пусть не суется Ярослав мне здесь под руку! Свое отстоять желаю, а чужого мне не надобно!

Мы с Алешей держали долгий совет. Сказать по совести, от князя Ярослава Владимировича нас самих уже с души воротило. Он действительно был своенравен, подозрителен, заносчив, зол. Только после череды несчастий, в которых он сам чуть не погиб, Ярослав слегка опомнился и взялся за ум. Однако надоело нам заступаться за князя Ярослава. Два года нянчились мы с ним, как с малым дитем, и немало тем его избаловали.

К тому же сейчас остановить войну можно было, только немедленно убив Мстислава. Обагрять руки кровью Рюриковичей мы не хотели. Решено было на время отступить: пусть поучатся князья без богатырей править!.. Было ясно, что ни за Ярославом, ни за Мстиславом никакое особое зло не стоит. Да, Мстислав бросал людей в Итиль, где их сжирала дьявольская собака Ларна; Ярослав, не сильно отставая от брата, пытал своих врагов в киевских подземельях, обходясь огнем земным. Нет на свете князя доброго — нет и не будет никогда. Проклят престол любой во веки веков!..

Мы с Алешей договорились на время вложить мечи в ножны. Они еще понадобятся нам в нашей охоте на Волхва.

Было здесь и еще одно тайное соображение. Волхв где-то притаился и, накапливая яд, как гадюка, ждал подходящего времени для того, чтобы снова появиться на Русской земле. Пока что он, надев личину Скимы-зверя, ушел в северные леса. Однако мы были убеждены, что Волхв не преминет вмешаться в братскую междоусобицу. Он непременно появится в стане одного из князей — Ярослава ли, Мстислава. Там его станем поджидать мы. Из междоусобицы получался первостатейный капкан. Волхв обязательно должен был сунуть в него свою лапу.

Мы решили разделиться. Один должен был скакать на север, в Ярославов стан, другой — следовать за шатром Мстислава. Хотели было бросить жребий, но потом решили по-другому: пошли к князю и честно спросили, кого он хочет видеть рядом с собой.

— Добрыню, — ответил Мстислав, помешкав.

— Почему?

— А ему в руки я кинжала еще не давал.

Расставаясь, мы с Алешей проговорили всю ночь. Рассуждали, как мы это часто делали, о Силе.

Каждый Сильный питается от Силы земли. Мне предстояло пить Силу юга. Алеша уходил на север. Мы плохо представляли, что из всего этого выйдет. Могло статься, что север и юг сшибутся друг с другом и Сила их уничтожится. Но могло выйти и по-другому: мы сумеем связать их волшебство в доселе небывалую сеть и покрыть ею Русскую землю —

хотя бы на время, пока дышим мы оба.

Алеша уезжал в ночь. Перед дорогой он захотел взглянуть на Итиль.

Облупленный зловещий купол высился над городом, как застарелый гнойный нарыв. Ночь снова была шумная (в городе праздновали победу), и из царства ужаса До нас не доносилось ни звука. Алеша долго молча смотрел на окаянное узилище, потом поднес к глазам ладонь, в которую вплавилась серебряная пыль, сумеречно поблескивающая сейчас в ночи:

— Смотри, Добрыня — звезды Итили...

— Перестань, Алеша, — быстро заговорил я. — Кончится вся эта заваруха, съездим к Учителю в скит — и снимет он с твоей руки пыль, как листья с дерева снимают.

Алеша положил руку мне на плечо:

— Не части, Добрыня. Раз звезды — значит, путь ясный...

Я ничего не понял, но промолчал. Впрочем, даже если бы я и переспросил, он бы все равно не ответил.

Я проводил его до городских ворот. Створки со стоном разошлись, Алеша махнул мне рукой, ударил коня по бокам и мгновенно исчез в ночи.

Я закрыл глаза и стал провожать его внутренним зрением. Я отчетливо видел светящийся силуэт Алеши; он быстро удалялся вдоль кромки моря на север, то и дело оглядываясь на Тматорокань. В версте от города он остановился, постоял на месте и вдруг решительно завернул вправо, возвращаясь к Тматорокани с востока.

Глава 3 АЛЕША

Городские стены растворились во тьме, будто и не было их. Скрылся в воротах Добрыня, смолкли тматороканские голоса, затихла музыка. Я остановил коня. По левую руку от меня глухо плескало в берег невидимое во мраке море. Вокруг не было ни души. Пахло польню, гниющими водорослями и пылью.

Тучи заволокли небо. Темнота сгущалась. Откуда-то со стороны Корчева повеяло холодом. Я тронул поводья; конь затрусил направо, закладывая крутую дугу. Мы возвращались в Тматорокань.

Город снова вырос передо мной из темноты, как приземистый черный гриб. Над ним вилось розовое зарево: в эту ночь веселье выплеснулось из кабаков на улицы. Войско праздновало небывалую бескровную победу.

Когда я подъехал к восточной стене, хлынул ливень. На другой стороне пролива, над Корчевым, полыхнула молния, заворчал гром. Из-за городских стен слышался визг: многочисленные тматороканские шлюхи спешили в укрытие. Дозорные на стене зашевелились, громко посылая проклятия разверзшимся небесам. Я неслышно подъехал поближе.

Тматороканские стены не то чтобы очень высоки. В них не будет и трех сажен. Встав на спину коня, я подпрыгнул, ухватился за край и подтянулся.

Стена была пуста. Дозорный отошел к дальней башне и повернулся лицом к городу, завистливо прислушиваясь к грохоту бубнов и завыванию флейт, которые доносились из ближнего кабака. Я не стал его разочаровывать, быстро переполз через стену и тихонько соскользнул вниз, на темную мощеную мостовую.

Скоро я уже стоял у стен Итили. Кованые узорчатые ворота тюрьмы смотрели прямо на скупо освещенную факелами площадь. Из-за игры теней казалось, что Итиль злобно оскалила щербатый рот. Факелы шипели и чадили. Часовых у входа не было. Никто и никогда еще не пытался прорваться в Итиль, и тюрьма выставляла только внутренние дозоры.

Прижимаясь к холодной мокрой итильской стене, я начал медленно продвигаться вперед. Подобравшись поближе, я зачерпнул горсть грязи и метнул в факел, прикрепленный над входом. Он мгновенно и беззвучно погас. Ворота погрузились в темноту. Я огляделся.

Площадь была пуста.

Сердце мое билось часто и тяжело. Я сделал еще три шага вперед и решительно прильнул к воротам, ведущим в ад. Из ворот тянуло стылым холодом. Запах гниющей плоти, доносившийся из-под земли, был отвратителен. Но я чувствовал и кое-что похуже: где-то Далеко в глубине, учуяв неладное, забеспокоилось, зашевелилось, проснулось склизкое лиловое чудовище — Ужас Итили, Ларна...

Я полез за пазуху и достал припрятанную тряпицу, Ларна молча рванулась вверх по лестнице. Я развернул ткань и приложил Скимину шерсть к дверям. Твердая игольчатая щетина загорелась темно-синим огнем, в котором беспокойно заметались крохотные алые искры. Ларна мчалась наверх, сметая все на своем пути. Я закусил губу. Мне казалось, что я уже слышу глухой мерный топот хищной адской твари. Ларна мчалась быстрее, чем я рассчитывал, Скимина же шерсть горела неторопливо. От нее шел тяжелый серный запах. Щетина трещала в моих руках, на глазах исчезая во враждебной ей Силе Итили. Синее пламя подобралось уже к самым моим пальцам; я бросил полыхающий клочок на землю и резко отпрянул. Отбегая от ворот, я явственно услышал гул и вой. Ларна ворвалась в верхние коридоры...

Ярчайший лиловый свет брызнул из щелей на площадь, мгновенно осветив притихшие в ужасе дома. Жуткий гортанный лай потряс Тматорокань — лай и грохот; Ларна всем телом ударила в содрогавшиеся ворота Итили!

Ворота с ужасающим громом распахнулись, и на площадь хлынул ослепительный адский свет. На мостовую вылетело лиловое чудовище. Город сотрясся от его вопля... Ларна метнулась влево-вправо, наконец унюхала Скимину шерсть, с пронзительным воем проглотила ее, на миг повернулась к городу, тоскливо взвыла еще раз и канула обратно в подземелье.

Ворота Итили с грохотом захлопнулись. Адский свет погас. Все кругом стало ослепительно черно. В этот момент закричал город. Из тысяч глоток одновременно вырвался страшный стон ужаса, вырвался, пронесся над городскими крышами и взмыл небесам.

Людской страх взбудоражил небо. Молнии, до тех пор полыхавшие в стороне, стали бить прямо в Тматорокань. Гром ревел над самой головой не умолкая... Началось светопреставление. У меня оставалось еще одно дело, и я побежал к княжескому терему.

Тматороканцы метались по улицам, совсем обезумев. Общий вопль прекратился, и теперь люди кричали и выли поодиночке, выскакивая из домов в чем были, многие вовсе нагишом. Потеряв от ужаса рассудок, они барабанили в чужие двери, бросались друг на друга, падали на землю и с рычанием сплетались в яростные клубки. Казалось, наступал день Страшного Суда.

Ворота княжеского двора были открыты настежь. Мстислав в развевавшемся алом плаще метался по площади, расшибал воинам лица в кровь, кричал, грозил, но те не признавали своего князя, плакали, падали в грязь, бросали оружие наземь и страшно выли. Барсы, за которыми я пришел, забились в угол двора под поленницу и жалобно мявкали оттуда. Хвосты их колотили по земле, как ухваченные кем-то сильным змеи. Ударом кулака я развалил поленницу. Барсы остались лежать, в ужасе зажмурившись и не переставая пронзительно плакать. Я зажал их головы коленями и сунул им под нос свои, все еще пахнущие Скимой, руки. Звери захрипели, пена хлынула у них из пастей, глаза закатились...

Я отпустил их (барсы мгновенно кинулись прочь) и пошел вон. Люди опаматовались. Мстислав хриплым голосом раздавал приказания, у крыльца строилась княжеская дружина, кто-то уже выводил ратников за ворота... Пристроившись к этой неразберихе, я выскользнул наружу.

Скоро мой конь уже нес меня на север от Тматорокани, в Русскую землю. Я остался доволен тем, что узнал и сделал, Волхв был чужаком для Итили. Встреть его Ларна, она его растерзала бы. Могущество Волхва не достигало глубин ада. Следовательно, бороться с ним было мне по плечу.

Узнав про Скиму-зверя, я на какое-то время дрогнул: Волхв казался всемогущим, как

Кащей. Теперь я снова был спокоен. На его удар придется мой удар, на его Силу — моя Сила. К тому же я попутно сделал одно доброе дело: если Волхв когда-либо сунет свой нос в Тмуторокань, Ужас Итили теперь разорвет его на куски.

Я был спокоен и за Мстислава. Конечно, барсы — не Ларна, но, впервые познав Скимин запах в эту страшную ночь, они теперь не подпустят оборотня к князю. Не стоит надеяться, что они набросятся на него. Но, услышав жуткий запах издали, они поднимут такой вой, начнут так биться в судорогах страха и ненависти, что князь непременно встревожится и побережется. Теперь Волхву к Мстиславу близко не подойти.

Когда-нибудь со временем я расскажу обо всем этом Добрыне. Однако я радовался, что мне удалось посетить Тмуторокань тайком от него. Я не был уверен, что Добрыне по плечу Ужас Итили. Не хватало еще потерять товарища в вызванном мною лиловом пламени ада...

Говоря все это себе, я несся на север. Дождь все хлестал с небес, стояла крошечная мгла, и серебряной пыли, так хищно впившейся мне в руку, совсем не было видно.

В Русской земле меня встретила беда. После холодной зимы на землю обрушилась новая напасть: свирепое лето. Решительно, боги в тот год воевали против русских.

На северной границе степей, на берегах Ворсклы, меня встретило душное синее марево. Я проклял богов, остановил коня и привстал на стремянах.

Над Русской землей лежал бескрайний густой сизый дым. Леса терялись в нем. Поля покрывала черная тень. Оттуда, с севера, на меня наплывал запах пожарищ. Вдалеке, в лесах, действительно плясали красные языки пламени. Я направил коня прямо в сизую мглу. Урожай этого года погиб. Поля лежали потрескавшиеся и растерзанные. Выгорели огороды и сады. На всей земле не было видно ни былинки, только в глубине лесов, в тенистых оврагах, еще можно было встретить свежие побеги.

Многие реки пересохли. В уцелевших вода приобрела отвратительный цвет и вкус. Пить эту воду было нельзя. Чтобы добыть воду из родников, нужно было вгрызаться глубоко в землю. Сил на это ни у кого не было.

Птицы целыми стаями улетали на север, поближе к вечным снегам. Кабаны выходили из леса и, злобно хрюкая, рылись в сухой ботве. Уцелевшая скотина, напротив, рвалась в чащу, обещавшую хоть какую-то прохладу.

Люди сидели по избам, изнемогая от голода и зноя. Уже начали есть кору, чего не случалось с незапамятных времен. Желудей и тех не осталось.

Истощенные зимой и подкошенные летом, люди умирали тысячами. Князья раздавали зерно только семьям воинов — и то горстями. Попы служили молебны, которым внимали молчаливые злые толпы. Случилось много поджогов церквей и княжеских подворий.

Снова, как и прошлой зимой, говорили о знамениях, предвещавших скорую полную гибель. Многие видели истощенного плачущего Стрибога и обессиленного Перуна. Уверяли, что ночью по селениям бродит Мокошь и срывает с веток уцелевшие плоды. В Чернигове Красная Бабка среди бела дня поджигала дома. Из Днепра полезли на берег никогда прежде не виданные черные блестящие змеи. Появилась необычная мошка, глубоко вгрызавшаяся в людскую плоть. Уверяли, что по вечерам она собирается напротив церквей семью черными столбами. В потрескавшейся земле, на глубине, кое-кому мерещилась шевелящаяся Зга.

За прошедшие месяцы пошло больше разговоров и о Скиме. Передавали, что он по-прежнему лютовал на севере. Почему-то он часто нападал на волков, и в лесах натывались на целые перерезанные стаи — как я наткнулся на такую прошлой зимой на Онеге. Кто-то уж говорил о Скиме: «Новый Хозяин пришел». Впрочем, в глад и мор всегда случается много зловещих чудес, и, за немногими исключениями, народ о Скиме не особенно-то думал. Думали о другом: как вымолить дождь.

Я летел напрямик в Киев, стараясь нигде не задерживаться. Однако целых три дня я все-таки потерял. На реке Удай из леса навстречу мне выехал игривый белый конь. Он оглядывался на меня и тихонько ржал, словно звал за собой куда-то. Я подумал, что конь, может быть, выведет меня на так необходимый мне богатырский меч, и поехал следом. Белого коня в лесу встретить — к неминуемому волшебству.

Однако догнать белого коня мне долго не удавалось. В итоге, проскакав за ним целый день, я снова оказался далеко на юге, и какова же была моя досада, когда конь вывел меня вовсе не на заветный клинок, а на обычное Перуново капище! Как оказалось, это был жреческий конь, обычно бережно скрывааемый в дубовых чащах, а теперь по непонятной причине вырвавшийся на свободу. Погуляв на воле пару дней, конь вернулся в рощу и привел за собой меня.

Мрачно глядел я на седобородых жрецов, истово гонявших коня через уложенные на земле копы и пытавшихся понять, что он пророчит. Поодаль старухи гадали на дубовом пепле. Мне жрецы чрезвычайно обрадовались.

— Последний богатырь из старых к нам приехал, — приговаривали они, отбивая бесчисленные земные поклоны.

— Это почему ж последний? — спросил я хмуро. — А Добрыню что — уж и за богатыря не считаете вы?

— Добрыне новый Бог люб, — живо ответствовали старцы. — А ты за старых стоишь.

— Ни за кого из богов не стою я. Не мое это дело.

— Стоишь, стоишь! — настаивали старцы. — Ты с ними разговариваешь, тебе их Сила видна.

— Вот уж много радости мне в ваших богах... Вы мне скажите лучше, Перуна про дождь спрашивали?

— Спрашивали, благодетель!

— И что Перун?

— Великую сушь сулит.

— Ну спрашивайте дальше, старцы, спрашивайте...

— Ты спроси!

— А мне и спрашивать не надо. Осенью дожди пойдут. Не будет толка летом.

— А коли и осенью не пойдут?! Что, если конец всему наступает?

— Про то не ответчик я.

— Спешься, ночь хоть в роще нашей проведи!

— Пустое дело, отцы. Да и спешу я.

— Так хоть угощением нашим не побрезгуй!

— Это каким же таким угощением? — угрюмо спросил я.

Мне поднесли полную горячую чашу; почуяв запах свежей человеческой крови, я рассвирепел.

Первым делом я выбил чашу из рук стариков; темная влага потекла на высохшую землю. Потом, не думая, я несколько раз рубанул сплеча — жрецы завyli, хватаясь за кровоточащие обрубки. Две отрубленные руки упали им под ноги.

— Головы за такое буду рубить! — закричал я, срывая голос, и пустил коня вскачь на свежеструганный Перунов лик. Перевернул доску с отвратительными дарами, отхлестал по спинам завохтавших ворожей, поднял коня на дыбы и с удовольствием обрушил на набежавшую толпу... Завyli жрецы, заскулили:

— Ох, горе нам, последнего заступника потеряли! Продался новому Богу Алеша!

Что было с ними делать? Разогнал всех беспощадно, а идолу лицо тканью завесил. Запечатал рощу ту на целый год, посулил жрецам гибель страшную, коли еще раз вздумают кровь человеческую проливать, и понесся, ярясь, через лес на ночь глядя... Нашел меч богатырский, нечего сказать! Помог мне белый конь!

...Под Переяславом меня настигла весть о том, что великий князь киевский спешно ушел из столицы и торопливо повел свое войско на север. В Суздале начался мятеж.

С проклятиями я полетел вслед.

Засуха не пощадила никого и ничего — через какую бы землю я ни проезжал, везде встречал одно и то же: пекло, марево, голод, смерть.

Разумеется, прежде Суздаля догнать Ярослава мне не удалось. По дороге люди цеплялись за мои стремени и умоляли помочь. Надо было задерживаться в деревнях, искать

скрытые под землей, доселе неведомые источники, находить съедобные корни, пользоваться больных. К тому же теперь, побывав в проклятой Перуновой роще, я останавливался во всех городках и строго-настрого запрещал народу подносить богам что-либо, кроме птиц. Времени я потерял на этом немало, но не оставлять же было такое страшное дело на бестолковый жреческий произвол. В итоге я провел в пути вдвое больше против того, на что рассчитывал.

Когда же я наконец прибыл в Суздаль, то вообще проклял жестокий и легкомысленный человеческий нрав.

Суздальцы восстали на недород. Теперь уже невозможно было доподлинно сказать, с чего все началось. Судя по всему, на этот раз виноваты были не жрецы, а местные попы. Когда в округе установился голод, попы закричали, что во всем виноваты ворожеи и чародеи. (Вообще в тот год, как я уже сказал, случилось много кровопролитий между сторонниками нового и старых богов. И те и эти винули друг друга в небывалых бедствиях.)

Суздальцы попам поверили. По всей Суздальской земле стали избивать колдунов. Так пропало немало Сильных. Некоторых из них я знал много лет и сейчас болел за них всей душой. Но перебили и прорву вовсе невинного люда. Кровь полилась рекой. Стоило какой-нибудь старухе выйти во двор при луне, как к ней уже бежали соседи с вилами.

Хлеба от этого, конечно, не прибавилось. Устрашенные народной лютостью, вмешались княжеские воеводы и стали наказывать за смертоубийства. Народ обратился теперь и на них. Голодный бунт превратился в мятеж.

Когда я въехал в Суздаль, мятеж утихал. Ярослав кого молча карал мечом, кого торжественно топил в реке, кого убеждал грозным словом. Я появился, как раз когда князь сурово говорил с толпой.

— Не волхвы в несчастье сем виноваты, — кричал князь, насупив брови, — не ворожеи и чародеи принесли на нашу землю глад и мор! То Бог карает нас за грехи наши! Не роптать и смертоубийствовать надо, а молить Всевышнего о прощении! Дурные попы у вас были, суздальцы! Не тому они вас учили, против воли Всевышнего восстали, твари злобные, бесчувственные, глупые! Все теперь в иле речном лежат, сомы их на части рвут! Новых попов привез я вам, смиренных и мудрых. Простоте и невзыскательности вас научат новые попы...

Князь говорил сердито и долго. Время от времени щелкал пальцами, отрок подавал кувшин с водой, князь отпивал глоток, прополаскивал рот и снова обращался к хмурой толпе.

Впрочем, я был рад узнать, что одними проповедями дело не ограничилось. Уж давно было послано посольство к волжским булгарам, и со дня на день ожидали, что по реке прибудут первые струи с зерном.

Завидев меня, Ярослав просиял:

— Бог мне тебя послал, Алеша! Советчики у меня рыла свиные, трусливые и скудомозглые. Хрюкают что-то, в грязь носом уткнувшись, а как палку на них кто подымет — так прочь бегут с визгом. И спросить совета толком не у кого. Теперь дело на лад пойдет.

— Это как Волга струи болгарские нести будет, — заметил я. — Сегодня мешок зерна сотни воинов стоит.

Медлить было нельзя, и я тут же рассказал князю о готовящемся походе Мстислава. Ярослав скрипнул зубами:

— Так...

— Новые полки вызывай, князь. Дружиной своей не обойдешься. Много войска у Мстислава, и алчно оно.

Князь рванул ворот кольчуги:

— На кол посажу... Рот камнями набью... В землю живым зарюю... На брата восстал...

Тут же послали в Киев гонцов, сами из Суздаля ушли и стали лагерем на слиянии Оки и Клязьмы. Решено было выдвигаться в поход, как только болгарские струи войдут в Клязьму.

Не прошло и двух недель, как в лагерь начали прибывать полумертвые от усталости конники: Мстислав пересек Днепр и вступил в Киевскую землю. За тмутороканской дружиной шел громадный отряд касогов. Войско везло хлеб в обозе, ни в чем не нуждалось и быстро продвигалось на северо-запад.

Ярослав послал брату грамоту: «Не восставай против престола, брат твой на нем сидит, а не касог какой. Войско иноземное распусти, сам в Тмуторокань возвращайся и смирно там сиди, пока я над тобой суд родственник вершить буду. Не по праву ты на Киев идешь. Меня на престол отец наш поставил, и небесам я люб».

Киев затворил ворота. Две недели простоял Мстислав под стенами, улеживая столицу щедрыми посулами. Обещал даровой хлеб. Однако киевляне, устав от смут, посулы отклонили и изготовились терпеливо ждать законного владыку.

Владыка же их, князь Ярослав, мерил высокий берег Оки быстрыми шагами, хмурился и то и дело взглядывал на восток — не идут ли наконец проклятые болгарские струги.

Мстислав между тем ушел к Чернигову. Город покорился — укрепления его были пустячные, и касогского наскока за ними было все равно не пересидеть. Мстислав воцарился в княжеских палатах и послал оттуда брату вызов на битву.

«Спесивый брат, — писал он, — переполнилась чаша терпения моего. Самовластно попираешь престол ты сапогом грязным. Прежде времени отец наш великий князь Владимир помер, а то не сидеть бы тебе в киевских палатах. Самозванец ты и человек пустой. А кто из нас небесам люб, так то по брани увидим. Коли отвернется от меня Бог и победишь ты меня, так и правь себе Русской землей беспрепятственно, я на тебя больше меча не подниму. А коли мне победа Дарована будет, значит, из нас двоих негодный брат — ты, и уходи тогда к Литве на закат или к варягам на север и правителям их за кусок хлеба жалобные песни пой».

Ярослав рассвирепел. По счастью, в тот же день, когда была получена ругательная грамота, из-за поворота реки показались первые болгарские струги.

Ярослав пал на колени и возблагодарил Бога. Помолившись вволю, а заодно дождавшись, пока струги причалят, и убедившись, что болгары не обманули и прислали зерна сполна, Ярослав скомандовал выступление.

Решено было идти окольным путем, через Новгородскую землю, не спеша, просить помощи у заморских родственников — варягов, в Новгороде дожидаться прибытия варяжских дружин и только после этого идти на юг, в Черниговскую землю, где Мстислав нетерпеливо ждал сражения.

К варягам Ярослав отправил меня.

— Что хочешь, то и скажи им, — напутствовал он. — Что угодно сули. Все отдам, кроме престола и земли. Хотя — Тмуторокань отдать могу. Все равно — отрезанный ломоть, из Киева не дотянешься. Пускай попляшет Мстислав на варяжьем пиру...

Перед самым отъездом я получил тайное письмо от Добрыни. До тех пор я мало что о нем знал. Наши лазутчики доносили, что Добрыня от Мстислава не отходит, все время хмур, в боевых делах не участвует, воинского совета князю не дает, спит вполглаза и часто объезжает лагерь.

Добрыня писал кратко и осторожно: «Сила у нас большая. Касоги народ яростный и слову верный. Никто нам не перечит. Мечты наши до небес поднимаются. Незваных гостей пока не было, но ночей не сплю. С барсов не спускаю глаз».

Прочитав последнюю строчку, я не сдержался и расхохотался. Вот и заводи после этого тайны от Добрыни! Выходит, в Тмуторокани в последнюю ночь он за мной следом шел и видел все — и как Ларну я приманил, и как барсов на Скиму натаскивал. Нипочем не оставит друга Добрыня...

С тем же гонцом отправил ему письмо и я: «Поехал за море за северными кольчугами. Опоздать не боюсь. Без меня битва не начнется. Мы уши прижали, только зубами скрипим. А барсов береги».

В тот же день войско вышло в поход. Я обогнал его и, петляя между болотами, выбирая заброшенные проселки, поскакал на север, к Варяжскому морю.

На такой случай в устье Луги у киевского князя всегда стояла наготове ладья. Днем и ночью, зимой и летом она была готова к немедленному отплытию. Правило, заведенное еще князем Владимиром, гласило: «Парус поднять и в море выходить, когда посланник княжеский два шеломы воды выпьет. А коли к тому времени ладья снаряжена не будет, так, переплывши море, голову кормчему рубить и на кол насаживать».

Правило это было введено не по злобе и не по пустому самодурству. Часто бегали Рюриковичи за море, к варяжским кровникам, за помощью спешной, и не раз варяги Рюриковичей выручали. Однажды кормчий и впрямь немного замешкался — так действительно, переплыв море, на варяжском берегу голову ему срубили, кормчего нового наняли, а ленивую голову в Бирке на колу выставили. И по сей день на колу том белый череп болтается. Мне никому рубить голову не пришлось. И одного шеломы не успел бы я выпить, как уж отчаливали мы от берега. Резной дракон на носу ладьи часто закивал на высоких волнах, выпрямился и послушно выгнулся парус, гребцы сели на весла, и мы понеслись ровно на заход.

По морю четыре дня плыли, потом серые скалы показались, а на вершинах их птиц — видимо-невидимо. Тут парус убрали и на веслах вдоль берега пошли. В Бирке пристали.

Бирка — главная варяжская пристань. Город богатый, крепостной стеной обнесен, шесть ворот в ней, и башни над воротами. Пребольшое торжище здесь, хотя, конечно, поменьше тмутороканского будет. Есть в Бирке и мастера славные. Бусы здесь из стекла льют и из горного хрусталя точат. До Царьграда самого бусы эти доходят. Кольчуги и мечи ладят, камнями северными торгуют.

Необычная пристань Бирка. Здесь путь из варяг в греки начинается, а из греков в варяги — кончается. Сюда шелка с юга везут, из Новгорода — соболей, из Чернигова — воск. Князья местные посредниками меж русскими и варягами служат. Сам старый князь сейчас в отлучке был, и всеми делами заправлял свояк его, Бьорн. Не родственник Бьорн Рюриковичам, захудалый князек, но ничего плохого о нем не скажу: все по-честному решает и в случае нужды к большим вождям направляет.

У меня-то как раз дело было не шутейное. Покрутил головой Бьорн и размышлять стал:

— Кого ж просить? Сейчас в отлучке все, за моря поплыли. Почитай, и не осталось никого на берегу. Младшие сыновья только — баб да ребят стерегут.

Знаем мы эти варяжьи отлучки. Грабить пошли. Варяги ж как — летом грабят, а зимой пьянствуют и песни поют. Беспечальная жизнь.

Думает Бьорн, хмурится: большой доход варягам от русских, и нельзя не помочь князю киевскому в деле таком. Наконец решился, вздохнул притворно:

— Ох, даже не знаю, что и сказать тебе. Ни одного вождя нет на всем побережье сейчас — хоть под кусты заглядывай. Один только остался — Якун.

— Якун? — говорю. — Так чего ж лучше? Известный воин Якун и Русскую землю знает.

— Ты его когда последний раз видел? — Бьорн спрашивает тоскливо.

— Да уж лет пять тому будет.

— О чем и речь. Глазами стал слаб Якун.

— Так ведь не стар он.

— Какое стар... В походе зрения лишился.

Понятное дело, думаю. Доездили, разбойничек.

— И кто ж, — спрашиваю, — Якуна вашего ослепил?

— А собака его знает, — пожимает плечами Бьорн и в голове чешет задумчиво. — К бриттам приплыли, Ноттингем осадили, а оттуда со стены — смола, да на головы. Не уберегся Якун. Выжгло ему глаза.

— Так что мне тогда за прок от него, незрячего?! Ему ж отряд вести!

— Не до дна самого выжгло, — упорствует Бьорн, — мал-мало остались глаза, кой-чего видит Якун.

— Так что же он дома тогда остался, с другими князьями в поход не пошел?

— Я ж тебе говорю: глаза выжгло...

Не добился я толку от Бьорна, плюнул и к Якуну поехал. А что делать? Войско-то нужно. Пусть он там хоть слепой, хоть глухой, хоть чурка неподвижная — а войско какое-никакое соберет. Без князя не поднять варягов. Не ходят они за море без вождя. У них за такие дела головы рубят.

Местного кормчего дал нам Бьорн. Без такого здесь — никуда. Гибельный берег, хоть и красоты неземной. Все здесь заливами изрыто, да не простые заливы, а узкие и длинные, как реки. Хотя, конечно, Даже наидлиннейший покороче Клязьмы будет. Глубокие заливы, извилистые. Как река промеж холмов — так они промеж гор. Угрями петляют. И берега у них — не пристанешь. От воды до неба — гора каменная, отвесная, словно кто ножом резал. И по другую сторону — гора. И скал подводных в изобилии. Кто не знает здешних мест — тот и не суйся лучше.

Вот устроились варяги! Не земля, а крепость. Здесь ни стен, ни войска особого не надо. Поставил над входом в залив двух лучников — так они сверху любого прихлопнут, как муху. А по суше к варягам и вовсе не дойдешь. Горы до небес. Склоны крутые, осыпей много, ледников. Перевалы снегом закрыты. Пропадет, застрянет в горах войско. А с моря — скалы страну берегут. Это Русская земля всем ветрам открыта — с какой хочешь стороны на нее лезь, рать в лес заводи и иди тихонько до города нужного, а там из чащи выскакивай — и ворота деревянные ломай... Нет, определенно повезло варягам.

Пока мы по заливам петляли, я на носу сидел, глаз от красоты этой отвести не мог. Мало того, что как крепость заливы или в крайнем случае как ров крепостной каждый. Так еще и Сила у земли здешней немереная. Мало где такая Сила есть еще, и описать ее мне трудно: незнакомое все, на ином языке Сила эта говорит. Черпал я ее жадно — да и ложки не выбрал, наверное.

Дает здешняя Сила мужество небывалое — ото льда. Плечи широкие дает — от камня. И знание — от воды. В воде, может быть, и дело-то все: холодна она, прозрачна и солона, и мудра вода эта, потому что из моря пришла и в море уйдет. Светлый век, спокойный и долгий у того будет, кто в воду эту смотреть станет. Ну да не обо мне речь: с ладьи в воду глядячи — многому ль научишься...

Петлял залив, петлял — и наконец кончился, как обрубился. Тупик узкий, с двух сторон скалами подпертый, но хмурости в месте этом нет никакой. Трава так зелена — аж светится. По горам водопады бегут — чуть не с версту длиной. Поближе подплывешь — ревут струи громадные, беснуются, огромные, а с середины залива — ручеечками кажутся малыми. В тупике этом — дома простые, невысокие, крепкие.

Якун в самом большом жил. Что говорить — русские терема свои у варягов взяли. Смотришь — ну как у нас. Единственно что — варяги драконьи головы на коньке вырезают, а русские — что попроще: солнце там или петушка. И другие дома здесь есть: у тех крыша травой засеяна густо, так что вроде как под землей люди в них живут. Но то народ победнее, а Якун-то князь, ему терем положен.

Сидит Якун у очага. Хоть и лето, а холодный день был, ветер ледяной меж скал свистал. Громадный воин Якун, богатырской стати, могуч, как прежде, но на глазах — золотая луда, повязка то есть, золотом расшитая. Голову прямо держит, глаза больные бережет. Рассказываю ему про свою печаль, а сам все на луду смотрю и как Якун головой вертит примечаю. И догадался скоро: не лекарь Якуну луду прописал. Ничего глазам уж его не поможет. Смолой пол-лица выжжено у Якуна. В другом тут дело. Уродства своего витязь не любит. И если присмотреться — в луде дырочки крохотные, и видит сквозь них Якун кой-чего. Свет от тьмы точно отличает, за руками чужими следит, а вот лиц не различит, нет. Немного толку от Якуна в битве теперь. Ведь когда войско о войско бьется, лица в первую очередь видеть надо, по лицу врага поймешь, а не по рукам или там по мечу. И своих видеть нужно: струсил кто? Кто от смелости охмелел излишне? На кого тень смерти легла?

Досада меня взяла. И надо ж было князьям остальным за море об эту пору уйти! Калеку в Новгород везти придется.

А Якун важничает, хитрит. Во двор меня повел — ни за косяк, ни за столб не заденет, ровно идет. Во дворе заставил служек в воздух монеты кидать — и что же, мечом в монеты попадает и рассекает надвое.

Не понравилось мне это. Когда храбрится увечный — значит, боится снисхождения смертельно и втайне здоровых всех ненавидит. Отступить даже вовсе от Якуна я хотел. Но обещал же привести князю войско. За Якуном пойдут варяги, за мной — не пойдут. Правда, дальше-то глупость одна выйдет. По-хорошему, должны были б варяги в сражении нашему князю подчиниться, да никогда такого не бывало. В бою только от своего варяг приказ принимает. Ох, навоюет Якун-богатырь на нашу голову...

А Якун все понимает:

— Нет, — говорит, — сейчас на берегу никого. Все за море ушли. Я один только могу рать поднять. Но — понимай, оголится берег наш тогда, без защиты жены и дети останутся. Поэтому плата за поход особая будет.

И цену заламывает непомерную...

Долго с ним рядился. Как купчишка, торговался Якун окаянный. В дом уходил, слова разные говорил, камни даже немаленькие ногой в залив сбрасывал. Наконец сговорились о цене.

— Вот и хорошо. — Якун говорит и повязку, довольный, поправляет. — Ты где хочешь теперь жди — хоть у меня в тереме, хоть обратно в Бирку поезжай. А я через десять дней с дружиной подойду. Как увидишь парус с золотой полосой — мои корабли.

Уж и парус под слепоту свою приспособил, витязь тщеславный и мелочный. Спрашиваю его:

— Как бы мне с Сильным каким через тебя перемолвиться? Дело у меня одно есть.

— Княжеское? — Якун спрашивает жадно, чтоб с меня еще серебра слупить.

— Нет, — говорю, — никакого не княжеское, а для моей лично выгоды.

Что ж, посулил я Якуну от князя горы серебряные, можно мне и снисхождение сделать. Говорит Якун:

— Как мы есть с тобой теперь почти братья, сведу тебя с Сильным одним. Не сомневайся, о чем хочешь с ним говори. Я к нему сам за советом всякий раз плаваю.

Сомнение меня взяло. А Сильный тот — в тишине благословенной злом тихим не опоганился ли, не соблазнился? Можно ли ему верить? Ну да делать нечего, за десять дней никого я сам не сыщу.

Прощался и отплыл с Богом. Своего провожатого мне Якун дал.

Сильный тот жил в двух днях пути. На развилке морской остановиться, к правому берегу причалить и в рощу подняться. Вся недолга. От рощи до воды — камень докинуть можно, и роща сама — с платок величиной, не укроешься в ней, и стоит изба у всех на виду. Не так на Руси Сильные селятся. Наши света не любят, чужих глаз и подавно. Никогда б не стал я у нас на открытом месте Сильного искать. Что ж, другая земля — другая Сила.

Завидел, однако, Сильный ладью нашу — на берег встречать вышел. Ворогом его зовут. Мужчина не старый, плечистый, и по повадке видно — воином был. Взгляд спокойный, с достоинством и без прищуря всякого.

В избу свою не повел:

— Не от кого нам прятаться, а на солнце нам духи летние помогут. От ладьи твоей отойдем только: не терпят духи многолюдства.

За мыс отошли и там на зеленом откосе примостились. Странно мне на солнце о тайном-то разговаривать. На Борога покосился — не пустое ли дело? Да вроде не пустое.

И для начала с пустяка начал: мол, есть у князя Мстислава жемчужная серьга в ухе, сам конунг Рюрик, пращур его, из здешних холодных мест ее на Русь привез. Не лежит ли на серьге той Сила какая?

— Лежит, — кивает Борог спокойно. — Нехитра Сила та: от страсти любовной оберегает. Не всякая страсть князю ко двору. Великое несчастье для войска через женщину неправильную выйти может. Рюрик от этого сторожился — и правильно делал.

— Вот и слава Богу, — говорю, — а то я уж разное думать стал. Нехорошие дела у нас ныне творятся, боюсь я поэтому Силы незнакомой.

Вижу — нет зла на Бороге и особого интереса ко мне нет, значит, без опаски можно говорить с ним. И осторожно повел речь о том, что зверем одним очень интересуюсь. Небывалый зверь, Сильный, чтоб не сказать дьявольский. Досаждает он мне, но никак: не пойму: как брать-то его?

А Борог первым делом спрашивает:

— Оборотень?

Вздыхнул я:

— Оборотень.

— В людском обличье встречал?

— Встречал.

— Бился?

— Бился.

— Пролилась кровь?

— Пролилась.

— Нехорошо.

И замолчал. Потом спрашивает:

— Ночью или днем зверь тот выходит?

— В сумерках выползает.

— И того, значит, хуже... Других зверей трогает?

— Волков задирает. Стаи на части рвет. В чем дело — понять не могу.

Покивал Борог, подумал:

— В зверином обличье с женщинами знается?

— Знается. От одной отвадил я его.

— Смертоубийство через это вышло?

— Не вышло. Тын я ее спалил — а больше никак не учил.

— Хорошо, хорошо. — Борог кивает. Потом спрашивает: — А отчего ко мне-то пришел? Сам Сильный ты, и слышал я о тебе.

— Молчит Сила моя. Ничего не говорит про зверя. А ты человек северный, свои у тебя дела, может, поможешь.

Снова покивал Борог и говорит, подумавши:

— Вот что тебе скажу. На моем веку такого не бывало. Оборотень — он либо лис, либо волк. А тут вовсе новый зверь какой-то. Точно — не из-под земли он, не из глубин?

— Точно, — говорю. — Сам проверял.

Посмотрел Борог на руку мою, с серебряной пылью вплавленной, но ничего не сказал, похмыкал, потом говорит:

— Сказка есть одна. От незапамятных времен. До сих пор не разберемся — для малых детей сказана или для Сильных дел. Так что если наврет сказка — не обессудь.

— В обиде не буду.

— Ну так вот. Сказка такая. Мол, появился в лесах наших зверь необыкновенный. Вскоре после смерти колдуна одного дело это случилось. Колдуна-то люди забили за Сильные дела. Тесаком серебряным кровь ему отворили... Да, объявился зверь и разбойничать стал. Язык человеческий знал. Большая Сила у него была. Сколько злодейств учинил — и не перечесть. Не только людям — обычным зверям покоя не давал. Волков да медведей душил, лисиц лапой прибивал, до всех ему дело было. Много раз окружали его и топорами рубили — уходил зверь, да всякий раз с собой в чашу еще кого-нибудь прихватывал. Обратились к духам тогда. А духи и говорят: «Серебряный волк зверя того победит». И нашли тесак, которым колдуна того забили, поймали волка и к шкуре его пришили. Обезумел волк не то от боли, не то от Силы, и выпустили его на зверя. В клочья он его разорвал, а потом сам сдох, и земля под ним провалилась. Вот такая сказка была.

— На руку мою намекаешь? — хмрюсь.

Пожимает плечами Борог:

— Откуда мне знать? Рассказал, что знал. А с рукой твоей, если интересно тебе, дело странное. Не знаю я, как получил ты отметины эти, и знать не хочу. Да ты все равно и не скажешь. Вижу я одно: серебро это соскрести и Силой великой невозможно. Не человеческой рукой вплавлено, не человеческой и изымется. Опасно и самовольно серебро это. Если век долгий жить хочешь — так в избу мою пойдем сейчас, и отрублю я тебе руку топором заговоренным. Но коли отнять руку эту посеребренную от тебя, охота у тебя на зверя не задастся. Удачу грозную принесет тебе пыль эта, если прежде сам через нее не погибнешь. Но как серебро это к охоте на зверя твоего приспособить — того я взять в толк не могу. Сказка-то про серебряного волка говорит.

— Спасибо, — говорю, поднимаясь. — Врать не буду, темна сказка твоя, а про руку я и сам догадывался.

Разводит Борог руками:

— Говорил я, не Сильней я тебя.

— Ну прощай.

— Прощай и ты.

Пошел я прочь, а Борог меня окликает:

— Эй, богатырь! А про дверцу тоже знаешь?

Екнуло сердце мое, нахмурился я, за меч взялся.

Смеется Борог:

— Не ведаю я тайн твоих, не сердись, сам ничего в видении своем понять не могу. Но напоследок скажу все-таки: прав ты, есть дверца какая-то у тебя на пути. И слышу я — прижал ты дверцей кого-то, хрип из-за нее предсмертный идет, гибнет враг твой, но из дверцы той новый кто-то лезет.

— Больше ничего не видишь, не слышишь? — спрашиваю.

— Ничего.

Махнул Борог рукой на прощанье, к воде я спустился, в ладью сел. С той поры снова о Скиме думал, а не о Ярославе с братцем его.

В Бирке, правда, отвлекся: заветный меч поискал. Четыре сотни клинков перебрал — ни к одному кулак не прилип! Ну что ты будешь делать! Не в Дамасское же царство мне идти!

Якун привел дружину ровно через десять дней. В ту же ночь отплыли мы. Якун на свой корабль с золотым парусом пригласил — честь оказал.

Говорит мне Якун:

— Давай так решим. Ты не говори никому, что не шибко я теперь зряч, а скажи, мол, волшебства ради Якун золотую луду носит и Сила большая на ней.

Задумался я:

— Ярославу правду скажу все ж таки. Иначе дела воинские промеж вас путем не решить. А другим говорить не будем.

Надулся Якун, как ребенок малый, но правоту мою признал. А я дальше говорю:

— Остальным скажем — пришел из-за моря богатырь северный, золотой, Силой отмеченный, и Сила та на глаза наложена. Пускай почешется Мстислав.

Разулыбался Якун. Ох, лихо мне, лишенько! Мне б за Скимой-зверем по оврагам кружить, а не слухи пускать и не наемников улещивать! Но сжал зубы, смолчал.

Привез я гостей дорогих в Новгород к Ярославу. В самое время пришли. Заскучал Мстислав в Чернигове и новую грамоту прислал: мол, если через полмесяца в поход войско твое не выйдет, сам в Новгород пойду и тогда не взыщи, брат, коли не так что получится. Соединились два войска, и повел нас князь Ярослав на юг.

В дороге меня застало письмо Добрыни. Оно было коротким: «Скажи князю выступать. Барсы заволновались», Я порвал письмо на клочки и поскакал к княжескому шатру. Ярослав и Якун пировали; я спрыгнул с коня... На другое утро войско подняли затемно и спешно погнало вперед. Дружинники ругались; их гнали только что не плетями...

Черниговская земля запирает дорогу к Киеву. К среднему течению Днепра без нее также не пройти. Мстислав занял самую сердцевину Русской земли меж, севером и югом и насмешливо ждал нас там. Мы знали, что он расположился у Листвена, на берегу! Руды. В каком-то смысле это было благом. Наше войско! устало бояться и ждать, и поиски Мстиславовой дружины по лесам нас только ослабили бы. Между тем поиски эти могли тянуться неделями. Было много случаев, когда обе рати искали боя, но найти друг друга не могли, с проклятиями блуждая по русским болотистым чащам.

Всю дорогу я ехал рядом с Ярославом. Рядом же скакал тщеславный Якун. По моим наблюдениям, его опытный конь выбирал дорогу сам. Оставалось только надеяться, что Якунов меч будет валить врагов также без вмешательства хозяина...

Ярослав был сумрачен. Он взял с меня слово не покидать его ни после победы, ни после поражения. Как видно, Ярослав размышлял, не плетем ли мы с Добрыней заговор в пользу Мстислава. Я объяснил ему Добрынино отсутствие как мог. Ярослав только покачал головой, не поверил и замкнулся в недобром молчании.

На двадцатый день пути мы завидели стальной блеск мечей и копий. Мстиславова армия стояла во всей ратной славе и приветствовала нас угрожающим звоном оружия и криками. Из хора оскорблений, угроз и насмешек выделялся угрюмый вой беспощадного касогского войска...

Мы стали лагерем. Битва была назначена на завтра. Наши лазутчики донесли, что Мстиславова рать стоит подковой: в середине черниговцы, на левом краю тмутороканцы, на правом — касоги. Против черниговцев мы выставили варягов; собственная же Ярославова дружина должна была противостоять людям Мстислава. По окончании совета Якун отъехал в свой стан; Ярослав, завернувшись в плащ, поскакал на левый край. Я пообещал присоединиться к нему утром.

Дождавшись, пока разъедутся воеводы, я выбрался из шатра, скользнул в лес и стал пробираться в направлении тмутороканского лагеря. Небо было чистым, но звезды заволакивала какая-то нехорошая дымка.

Я внимательно слушал лес. Вскоре мои ноги сами стали выбирать дорогу. «Добрыня зовет», — подумал я. Пройдя еще саженой двести, я кожей почувствовал, как от сосен отделяется могучая тень.

— Плохие дела, Алеша.
— Плохие, Добрыня.
— Якун хоть что-нибудь видит сквозь свою луду?
— Гриву коня различит и от меча увернется.
— Варягам отвар мужественный дает?
— На рассвете даст. Сейчас варить поехал.
— Касогам и варить ничего не надо... Злые как черти. И черниговцы расшевелились...
— Чем их Мстислав купил, черниговцев-то? Чем им плохо под Ярославом было?
— Долю в тмутороканских торговых путях обещал. Мол, в обход Киева шлях пушу...
Слушай, Алеша, барсы беснуются.

Дрожь пробежала по моей спине, и я непроизвольно оглянулся.

— Уж двадцать пятый день Волхв вокруг стана ходит...

— Видел?!

— Так... Встречал...

Барсы заволновались, когда я еще скакал с Якуном в Новгород. Вдруг однажды ночью они подняли жуткий рев и, как малые котята, стали забиваться под ковры. Добрыня, ночевавший в княжеской палатке, выскочил наружу и увидел, как Волхв скрылся в лесу. Ошибки быть не могло. Кудесник решил показаться Мстиславу.

— Потом каждую ночь приходил. Князь ничего понять не может, ночей не спит, дурное мыслит. Ничего мне не говорит, но барсам верит: мол, несчастье чувствуют. Я тоже глаз не смыкаю: вдруг Волхв слуг своих пошлет. Дозоры вокруг палатки в три кольца поставил, но сам сейчас незаметно ушел. Раз я прошел, значит, и Волхв пройти может... Наказал я князю:

барсов от себя ни на полшага не отпускай. Как завоюет, хватай меч и бей первого, кто в палатку войдет, пусть хоть я это буду... И днем три раза Волхв приходил... Держу я пока оборону вокруг Мстислава, да Волхв теперь другой... Кто знает Силу новую его, что Скима выкинуть может... Не выиграть Ярославу сражения...

Мы помолчали.

— По следу шел?

— Какое! Я от Мстислава на шаг отойти боюсь... В любом случае, со всех сторон Волхв наведывается...

— Когда ударит Мстислав?

— Завтра на рассвете.

— И то хорошо... Наши выдохлись, до утра не оправятся...

— Знаю, поэтому князя и сдерживаю.

— Завтра в битву не мешайся.

— И ты в стороне держись.

— Князей прикроем только.

— Уж это наверняка.

— Потом как съехаться — не знаю. Меня Ярослав при себе просил быть.

— И меня Мстислав — тоже... Да ладно, не потеряемся...

— Не было такого никогда... Ладно, друг, пора.

— Пора.

Мы обнялись.

Когда мы уже разошлись шагов на десять, Добрыня обернулся и тихо сказал:

— Счастливой охоты. Я же знаю, куда ты пошел.

Я махнул ему рукой.

Я долго кружил по лесу. Хотя ни единого Скиминого следа не было, что-то говорило мне, что враг недалеко. По какой-то странной причине долгое время я не мог учуять его, но потом меня охватила страшная, сводящая с ума тревога. Это был хорошо знакомый знак. Я поспешил на зов.

Первое время я ничего не слышал, но потом из чащи послышались яростное рычание и приглушенный вой. Я побежал на звук, не заботясь о прикрытии.

Как я ни старался, скрытое зрение мое не открывалось, и я видел ровно столько же, сколько бы видел и любой другой на моем месте ночью в лесу.

Чаща вдруг кончилась, и я вылетел на поляну, по которой стремительно метались черные тени. Они рычали и хрипели, а с земли уже шел чей-то предсмертный визг. В слабом свете звезд я увидел, что почти все тени были невелики и тощи, и только одна, самая страшная, возвышалась над поляной черной скалой, мучая и уничтожая... То Скима боролся с волками!

Не зная толком, что мне делать, я обнажил меч и бросился прямо на неведомого зверя, целя ему в горло, но Скима грозно рыкнул и бросил мне в лицо недобитого обезумевшего волка. Пока я отбивался от него (а волк принялся рвать меня с неволчьей силой), Скима почти бесшумно нанес по стае еще два-три удара и, видно, довершив намеченное дело, подался в лес. Страхнув с себе волчий труп, я метнулся за ним, и тут кровь моя заледенела: Скима поворотился ко мне и Добрыниным голосом шепнул:

— Повремени, друг...

Пока я стоял, скованный ужасом, Скима, завораживая меня пристальным взглядом, растаял на моих глазах... Когда оцепенение спало, я рванулся вперед, но теперь на мою долю не досталось даже призрака, и я понял, что в этот миг где-то в лесу входил в человеческое тело Волхв... Никогда не думал я, что меня ужаснет простая уловка Скимы — перенять голос богатыря... Что делать, как видно, с возрастом я становился глуп.

Пометавшись по лесу, я вернулся на поляну. Теперь я уже ничего не чувствовал. Где бы Волхв в тот миг ни находился, он был далеко. Не в шатре ли Мстислава? Поспел ли Добрыня вовремя?!

Бегло осмотрев место боя, я присвистнул от изумления. На земле валялась дюжина волков — одни уже мертвые, другие бьющиеся в предсмертных муках. Это была полная стая, с отцом и матерью, тремя совсем молодыми прибылыми и семью старшими переярками. Тут ударил гром. Еще минуту назад небо было совершенно чисто, как вдруг его заволокли тучи, засверкали молнии и хлынул ливень. Времени размышлять обо всем об этом уже не было, и я бегом бросился назад в лагерь. Но не успел я пробежать и сотни шагов, как вдруг дико взвыли касогские трубы: Мстислав бросил свое войско в бой.

Так! Мы не совладали с Волхвом! Мстислав не стал ждать рассвета! Вот зачем Скипа дрался с волками; он питал свою Силу кровью, чтоб немедленно разжечь битву!

В нашем стане царило смятение, Звук касогской трубы разбудил не войско, а скопище сонных, измученных людей. Второпях хватались за мечи, звали коней, со всех сторон неслись проклятия, а с поля уже доносились первые стоны и булатный звон...

Вскочив на коня, я понесся на левый край к Ярославу. Я нашел его уже в пылу битвы.

Лучше всех дрались варяги. Они только остервенились от ужаса ночи, частых ослепительных молний и ледяных струй дождя. Гром ревел так яростно, что заглушал все остальные звуки. При свете молний страшно блистало оружие, а оскаленные лица воинов напоминали грозные личины ада. Проливаемая кровь казалась черной.

Я держался рядом с Ярославом и отводил предназначенные князю удары. Далеко впереди молнии выхватывали из ночи островерхий холм, на котором, скрестив руки на груди, в задумчивости стоял Мстислав, наблюдавший за боем со стороны. Можно было различить, как поодаль недвижно стоит Добрыня.

Временами на глаза мне попадался Якун. Он мужественно лез в самую гущу, и варягам приходилось его прикрывать, теряя драгоценные силы. В свете молний золотая луда на его глазах вспыхивала ослепительными нитями, которые уже мало кого устрашали. Наш строй дрогнул еще до рассвета. Первыми отошли варяги. Они понесли огромные потери, были раздражены дряхлостью своего вождя и больше не желали драться. Якун звал их вперед, но кто-то грубо схватил его коня под уздцы и поволок прочь с поля битвы. Якун растопырился, как жук, но сделать ничего не смог. В стыде он сдернул повязку со своих глаз и швырнул на землю. Когда его провозили мимо меня, я увидел, что он плачет.

Черниговцы Мстислава хлынули в образовавшийся прорыв. Ярославова дружина пыталась заполнить промежуток, образовавшийся на месте отряда отступивших варягов, но черниговцы напирали, как разбушевавшееся море, а с краев русских рубили страшные касоги... Ярослав выбрался из мешанины тел, отер пот со лба и зло приказал отступать.

В голубоватом предрассветье остатки нашего войска потекли на север. Нас не преследовали. Нужды в этом не было. Когда мы остановились, чтобы перевести дух, выяснилось, что половина нашего войска осталась на поле брани. Мы с Ярославом въехали на высокий холм, чтобы осмотреться.

Позади нас, в утреннем тумане, величественно сверкали мечи победителей. Ветер доносил до нас вопли войска и пение серебряных труб. Очень далеко, на таком же высоком холме, сидел на коне Мстислав, обзоревавший свои полки. Касогские отряды начали строиться, чтобы пройти мимо него, потрясая пиками с отрубленными головами побежденных.

В тот же миг я услышал еще один звук, который, видимо, не был услышан больше никем в нашем стане. Издалека, из вчерашнего леса, донесся заунывный вой волков, тоже оплакивавших своих мертвых.

Глава 4 ДОБРЫНЯ

С холма, на котором стояли мы, равнина видна была далеко на север. Над хмурыми полями лежал утренний туман, тут и там пронизанный остроглавыми возвышенностями и темными макушками леса. Вдалеке, позолоченная недобрым холодным солнцем, замерла побитая дружина Ярослава. Налетавший ветер смело терзал ее поникший стяг. Ясно

различимы были и сам Ярослав, понуро озиравший поля мертвых, и нетерпеливо гарцевавший рядом Алеша.

Касогский князь, приглашенный Мстиславом на холм разделить радость победы, сверкнул зубами:

— Владыка, прикажи — догоним... Никто до Новгорода не дойдет...

Мстислав молча покачал головой.

— Прикажи! — настаивал касог. — Сейчас не добьем — на следующее лето снова в поход идти. Добудем тебе брата сегодня же, не позднее ночи, Голову его к тмутороканской стене прибьешь!

Мстислав покосился на меня:

— Ну, богатырь, что скажешь?

— У барсов своих спроси, — хмуро посоветовал я. — Давно они голоса не подавали.

Мстислав вздрогнул. Барсы сидели по обе стороны от него, как восточные мраморные изваяния, только щерили зубы на проходящие мимо войска и тихонько рычали, возбужденные запахом свежей крови. Всю ночь они дико провыли в шатре: Волхв подходил совсем близко.

— Прочь поди, — сказал Мстислав касогу сердито, — барсы мои тебя не любят.

Потом повернулся ко мне и приказал:

— На поле поедем.

Объезжать поле битвы, усеянное мертвыми, есть всеобщий древний обычай, и, пожалуй, нет победителя, который побрезговал бы взглянуть на зачочневшие трупы, сломанные доспехи и черную запекшуюся кровь. Говорят, вождь должен отпустить на волю погибшие души своих и чужих, иначе им сто лет слоняться в местах, где прервалась их жизнь, — слоняться со стонами и жуткими ликами, пугая окрестные деревни и делая землю вовек неплодородной. Даже если в этом и есть какая-то правда, все равно обычай этот тяжел. Одно дело рубить кого-то мечом в пылу боя, другое — созерцать плоды смертной жатвы.

Мертвецы принадлежат уже другому миру. Они не могут не ужасать. Может быть, если бы люди после смерти не делались так страшны, мы бы не боялись умирать.

Но, может быть, самое страшное — это хриплый стон, вдруг раздававшийся из-под недвижной груды тел, или внезапно открывшиеся глаза, или задрожавшая ладонь. На поле брани много умирающих. Редко кого подберут уцелевшие. Удел большинства — медленная мучительная смерть.

Мало я видел вождей, которые не содрогнулись бы, осматривая павших. Даже князь Владимир всегда мрачнел, а руки его пунцовели. Мстислав же был почти весел. Он заглядывал в лица трупов, вертел головой по сторонам, что-то считал на пальцах. Лицо его прояснилось, он пришел в доброе расположение духа.

— Чему обрадовался, князь?

— Мне ли не радоваться, Добрыня! Здесь лежит черниговец, там варяг, а собственная моя тмутороканская дружина цела! Не умно ли получилось? Даже отцу моему удача такая редко выпадала! А Якун-то, Якун, воин великий и славный, и половины войска своего теперь не соберет!.. Ну что, часто русские варягов бивали?!

Я отмолчался. Действительно, в битве погибли больше наемники. К тому же несмотря на свою нынешнюю странную радость, особым извергом Мстислав не был. По крайней мере, он не стал добивать брата.

Объехав все поле и насладившись победой сполна, князь вернулся в шатер и приказал до вечера его не будить. Однако разбудить Мстислава все же пришлось: ближе к закату воины нашли Якунову золотую луду.

В сумерках войско охватило волнение: князь приказал благодарить Перуна.

Внезапно налетевшая прошлой ночью гроза действительно стояла целой рати: все воины суеверны, и захваченному врасплох полку Ярослава, несомненно, казалось, что молнии бьют в него с такой же яростью, что и касогские стрелы. За подобную удачу небо, конечно, стоило поблагодарить. Однако что было необычно в приказе князя, так это то, что

он вызвал на поле не попа с крестом, а старых черниговских жрецов. Последние тридцать лет Мстислав жил по большей части в Тмуторокани. Иисусу там молились главным образом царьградские греки. Имелся, конечно, свой дворцовый поп и у Мстислава: Рюриковичу неприлично было пренебрегать новой верой, твердо введенной его гневливым отцом. Однако вряд ли даже греки в Тмуторокани были так уж истовы в своих обрядах. Тмуторокань напоминает библейский Вавилон, в тамошнем смешении языков и народов невозможно удержать никакую веру в первозданной отчетливости. Этот город подобен котлу, в котором одновременно варятся мясо, овощи и пряности. Покрутившись в такой похлебке, тмутороканец в итоге верил в каждого бога понемножку, и царьградские иконы запросто соседствовали с Дажьбоговыми оберегами, глиняными ликами Матери-земли и вовсе мало кому понятными варяжскими священными рунами. Вообще не скажу, чтобы в городе этом много думали о богах.

Однако, придя в Русскую землю, Мстислав о богах все-таки вспомнил. Что такое Тмуторокань? Причал, торжище, крепость. Русская земля же была государство. На причале можно кланяться всем богам сразу. В государстве же князь должен идти рука об руку со жрецом.

Русская земля была крещена князем Владимиром меньше сорока лет назад. Это ничтожный срок. Перун, Мокошь, Стрибог и прочие древние боги еще не успели уйти, хотя и ослабели. Иисус прочно воцарился лишь в престольном Киеве, который первым принял царьградскую веру из рук своего лютого князя.

Киев же Мстислава обидел, отказавшись открыть ворота и впустить Рюриковича в отцов город. Возникал закономерный вопрос: не лучше ли в таком случае сменить веру, вернуться к старым богам — с тем чтобы вовсе забыть про надменный Киев и править государством из какого-то нового места нравом попроще, хотя бы из того же самого Чернигова, если не просто из далекой Тмуторокани. Выиграв важную битву у Листена, Мстислав решил попытать судьбу. Священных рощ поблизости не было. Собранные по окрестному захолустью жрецы сокрушенно покачивали головами и охали. Перун любил дубы и часто метил их молнией. Однако и одиночных дубов рядом не имелось. Решили забыть про лес и устроить таинство прямо в поле. Я только покачал головой в изумлении.

Со дна реки подняли большой продолговатый черный камень, вкопали в землю и развели под ним огонь. Я наблюдал за всем этим уже не с изумлением, а с отвращением. Впервые, я не любил старых богов, а во-вторых, жрецы не то все забыли за старостью и ненадобностью, не то лукавили нарочно, стараясь задобрить князя, а не Перуна. Так, костер они соорудили из сосновых веток. Что может быть глупее — ведь как раз сосна Перуну вовсе не любя. С камнем получилось еще хуже: его надо было брать из стоялого озера, а не из проточной реки, да еще и мелкой... Однако было похоже, что, кроме меня, старых обрядов не помнил больше никто. Ничего удивительного в этом не было: те же самые черниговцы, всегда потихоньку бегавшие к своим жрецам в лес, молились богам наспех и с опаской. Мысли их были больше о том, как не попасться киевским дружинникам, а не о том, что любит или, наоборот, чего не любит Перун.

Когда камень был вкопан в землю, а огонь разведен, жрецы в белых одеждах встали лицом к костру и замолчали. Мстислав выстроил войско огромным кругом, а сам выехал вперед. Однако он всегда побаивался незнакомых таинств и поэтому вскоре подозвал к себе меня.

Я обозлился. Теперь в Чернигове станут говорить, что Добрыня переметнулся к старым богам! Что бы я ни думал о Перуне или Иисусе, это касалось только меня одного. Но делать было нечего: сейчас Мстиславово доверие было мне важнее, чем собственное доброе имя.

Из-за камня послышался звон бубна. Жрецы подбросили в огонь горсть царьградского порошка, и костер прыгнул вверх, облизав при этом весь камень. Перуново таинство началось.

Бубен гремел все яростней. Десять черниговцев неуверенно вышли к огню и пустились в пляс. В это время из темноты показалось медленное шествие. Это несли к костру тело

касога, убитого молнией.

Мы верим, что на убитом молнией человеке нет грехов и что боги метили не в него, а в спрятавшегося за ним подлого сатану. Верим и в то, что погибший от грозы был праведником и, умерев, теперь стал нашим заступником перед богами. Убитого молнией человека по-простому хоронить действительно нельзя. Касога несли четверо, все — в черном, лица у всех — скрыты под черными же личинами, все — без оружия. Поднесли к костру и застыли на месте. Жрецы простерли руки к небесам и запели дрожащими голосами:

— Без вины убит, теперь перед Перуном стоит, стрела огненная летит, праведника разит. Ты не гасни, стрела, ты не гнишь, стрела, ты свети, стрела, ты ударь, стрела.

Тут снова загремели бубны и заглушили тихий старческий напев. Жрецы меденно поворотились к воинам в черном и бережно приняли у них с рук тело касога, поднесли его к самому жертвеннику и подняли высоко вверх на вытянутых руках. Касог был низкоросл, но в полном вооружении и поэтому, наверно, непомерно тяжел для ветхих старцев. Руки их явственно дрожали, и покойник колыхался над костром, как будто куда-то плыл по огненной реке.

Бубны умолкли. Старцы разом резко выдохнули:

— Э-эх!! — и бросили касога в костер.

Кольчуга его засверкала ослепительным золотом, и на мгновение показалось, что мертвец превратился в полуденное солнце. Закоченевшие руки его стали на глазах разгибаться; труп зашевелился...

Войско заворчал в изумлении, а я в отвращении заткнул нос от отвратительного запаха паленой плоти.

Однако запах этот быстро распространился и по воинским рядам, вызывая тошноту у многих. Заметив это, жрецы подбросили в огонь пахучей смолы. Тяжелый запах исчез, и от костра обнадеживающе повеяло лесом.

В полной тишине жрецы повернулись к нам с Мстиславом и завопили:

— Клади меч, отец, найдешь кладенец, клади палицу, Перуну понравится!

Мстислав нахмурился и покосился на меня. Я же пребывал в сомнении. Жрецы обещали неодолимый меч-кладенец, а я как раз скитался без стоящего клинка! Конечно, настоящий кладенец — драгоценный меч, обнаруживаемый под землей в том месте, куда ударила молния, еще не попадал смертному в руки никогда, как и топор-саморуб. Однако не нальется ли мой тмутороканский меч Перуновой Силой, если поднести его к жертвеннику, что и предлагали сейчас жрецы?

Старцы по-прежнему надрывно пели, раскачиваясь взад-вперед:

— Меч! Меч! Меч!

Мстислав сказал, почти не разжимая губ:

— Ступай, Добрыня. Твои это дела.

— Ты тоже не безоружен, князь.

Глаза Мстислава вспыхнули гневом.

— Обещал в походе прикрывать меня? Вот и иди! Не пойду я под неведомую Силу подставляться!

И он яростно дернул ногой.

Я смерил его холодным взглядом и соскочил с коня. Жрецы пали передо мной ниц, войско восторженно застонало. Я сделал первый шаг вперед.

Самый старый жрец медленно поднялся с колен и протянул руку, чтобы взять у меня меч. Я покачал головой. Старец отступился, хотя глаза его были сейчас совершенно безумны. «Значит, — мельком подумал я, — у него все-таки есть вера».

Костер горел высокой свечой. Касог начал обугливаться, доспехи его почернели. Вблизи огня запах снова стал труднопереносим. Я опустил на одно колено и сунул острие тмутороканского клинка в огонь.

Клинок нагревался медленно. По лезвию поползли синие змейки и непонятные матовые узоры. Я вглядывался в них до боли в глазах, но ничего толком разобрать не сумел, кроме

извилистой, занавешенной дымом дороги, по которой медленно ползли две искры, преследующие верткую черную тень. Однако тут огонь жадно лизнул мои руки, я отпрянул, и видение скрылось.

Тут я почувствовал, что за моей спиной происходит что-то особенное, потому что по воинским рядам прошел невнятный шум. Я обернулся и тут же отвел глаза: этот старый обряд я видеть не хотел. Я тоже верю, что молния входит в тучу, как муж в жену, и что молния — мужское достоинство Перуна, но уж больно дик восславляющий это танец...

Наконец за моей спиной гортанно закричали, ко мне подскочил жрец, выхватил мой меч из огня и торжествующе показал толпе. Получив свой меч обратно, я, как того требовал обычай, низко поклонился огню, вырвал из своей головы несколько волосков и бросил в костер. Войско одобрительно загудело...

Однако, еще только шагая к своему коню, я уже понял, что напрасно благодарил Перуна. Никакой Силы на моем мече так и не появилось.

Мстислав посмотрел на меня с опаской и даже отъехал в сторону. Я невесело усмехнулся: на таких людей не Сила, а дурь жреческая нужна...

Все подходило к концу. Жрецы сгрудились у костра и начали что-то выкапывать из-под него. Наконец, с победным воплем они выпрямились и побежали к Мстиславу; тот отпрянул... Старший жрец торжественно протянул ему на вытянутых ладонях небольшой черный камень...

Потом стали одаривать войско мохнатой прострел-травой: как считается, во время грозы молния пронзает ее и делает Сильной. Впрочем, прострел-трава действительно хорошо лечит некоторые раны.

Люди начали разъезжаться, недоуменно качая головами и вполголоса переговариваясь. От таких зрелищ они уже совершенно отвыкли. Что ж, сегодня воинский стан будет обсуждать не только прошедшую битву, но и богов. Ничего худого в этом нет.

Старший жрец поманил меня пальцем. Я неохотно приблизился.

— Ты нас не вини, — шепотом сказал он. — Не вовсе мы сегодня наврали. Может, и меч бы твой закалился, коли б поверил ты нам. Видение все-таки ж было тебе.

Я вздрогнул и нахмурился:

— Не великое видение ты мне показал, отец. Не было в нем большого смысла.

— Так ведь не все по правилам было... Не успели мы обряд приготовить как следует... Мертвеца вон даже неправильно в огонь положили...

— Кремень князю тоже пустячный преподнесли?

Старик быстро заморгал:

— Ты уж не выдавай нас, милостивец! Не совершь — не попьешь, не обманешь — за стол не сядешь! Перунов кремень кто ж впопыхах-то найдет?!

— Да уж, — согласился я, развеселившись. — Это тебе, отец, не касогов на огне жарить.

Старец похлопал белесыми ресницами, поклонился и устало зашагал в ночь.

Ночью начался пир. В землю у княжеского шатра вбили копьё и повесили на него золотую луду — Якунов позор. Дико завывали касогские трубы, глухо гремели бубны, тматороканцы трубили в рога и горны, откуда-то повылезали чернявые обозные бабы, пошли в пляс между кострами...

С отвращением смотрел я на все это. Не много найдется на свете картин гаже, чем торжествующий победитель.

От нечего делать я вытащил из ножен меч. Нет, ничто в нем не изменилось. Конечно, я видел на нем нас с Алешей, преследующих Волхва, но конец богатырской дороги оказался скрыт огнем. Будет бой, но где, когда и какой, Перун не показал.

Внезапно я ощутил легкое жжение на груди — там, где висел алмазный Алешин крестик, и только покачал головой: мгновение назад я смотрел на клинок, которого коснулась огненная рука Перуна, а теперь со мной заговорил кроткий Иисус. Я стал прислушиваться, однако жжение прекратилось так же внезапно, как и началось. И все же это

был знак: пора было скакать к другу. Ведь Алеша носит в своей руке серебряную пыль Итили. Надо ехать к Учителю — сильнее врача я не знаю. Желательно поспешить — кто скажет, когда пыль Итили покажет свою злую Силу? В том, что она рано или поздно обнаружится, сомнений у меня не было. Я уронил голову на руки и задумался.

После Тматорокани в моей жизни наступило черное время. Снова возобновилась смута, причем смута, в которой мы не могли взять ничью сторону и в итоге были вынуждены бессильно наблюдать, как в самом сердце Русской земли проливается кровь. Было и другое, пугавшее меня не меньше, а возможно, и больше: Сила моя потускнела.

Я гадал, в чем было дело. Чары Волхва? Особое волшебство Итили, которому я обучен не был и которое сломало меня? Или просто я начинал чувствовать свой возраст и Сила покидала меня по той же причине, по какой у стариков выпадают зубы? Или я просто был излишне мнителен? Или же все дело в том, что я утратил свой богатырский меч в подземельях проклятой Итили? В любом случае, такого не бывало никогда: Сила всегда оставалась при мне, как мой глаз или голос. Теперь же я нередко чувствовал себя беспомощным, должен был во многом полагаться на Алешу, а помочь ему ничем не мог. Не повиновался мне и Мстислав, который часто заводил речь о том, что присоветовал бы в связи с тем или иным делом не я, а именно мой отсутствующий друг. Никакой ревности к Алеше у меня не было. Это чувство, хорошо знакомое нам обоим, осталось в прошедших годах, в молодости. Сейчас я боялся того же, чего боится любой человек: унижительного бессилья. Другое дело, что мне было нужно гораздо больше, чем простому смертному...

Не в состоянии дожидаться утра, я выплеснул вино в костер, поднялся и зашагал к столу Мстислава.

Застолье там на некоторое время замерло. И касоги и тматороканцы дремали, пробуждаясь только для того, чтобы отпить еще вина из чары и выкрикнуть какую-нибудь пьяную глупость. Мстислав, напротив, не спал, смотрел зорко и цепко и усмехался слабости сотрапезников (вообще должен сказать, что Рюриковичей хмель не берет).

— Что, Добрыня, наконец-то поздравить меня решил?

— Не с чем поздравлять тебя, князь..

— Как не с чем?! А золотая луда там чья на копье висит? А чье войско сейчас в дальнем лесу со стонами раны зализывает? Какой такой князь теперь на год сна лишился?!

— И твой сон беспокоен будет, князь Мстислав Владимирович...

Мстислав посмотрел на меня недобро:

— Перунов кремь мне сегодня дали...

— А что Перунов кремь — в битве он только ратная подмога. А когда со снами воевать да с теньями — тут кремь не помощник...

Мстислав сжал зубы:

— Пей, гуляй сегодня, богатырь, о теньях завтра поговорим.

— Не люблю я гуляния на крови свежей.

— Так, значит, пир мой тебя не веселит?

— Не веселит. Отпусти меня, князь.

Мстислав смерил меня пристальным взглядом:

— К Ярославу уйдешь?

— Не нужен мне Ярослав. Другие у меня заботы. Слово свое сдержу и, пока с братом не договоритесь вы или до смерти друг друга не забудете, твой я. Не советчик я Ярославу. Чтоб ты дурного не думал, и на глаза ему обещаю не казаться. Слово на то новое даю. А как дела свои завершу — снова у тебя объявлюсь.

— И когда ждать тебя? — спросил Мстислав, помолчав.

— Через четыре луны в стане твоём буду. Если, конечно, ты к тому времени в Богемскую землю или в Царьград с касогами своими не откочуешь. У тебя ж задумки-то великие...

Мстислав качнул головой:

— На то не надейся... Не уйду я с Русской земли... Ишь что выдумал — в чужеземье

меня толкать...

— Не толкаю тебя никуда... Так отпустишь?

— А как я тебя удержу? Разве что ножом к земле прибую.

— Не выкован нож еще такой.

— Ох и силу же взяли богатыри! Ты б с отцом моим так поговорил — изведаль бы и плетей и клетки...

— И с отцом твоим говорил я всяко! И в ссоре с великим князем киевским был! Про то всякий знает!

— Надменен ты, Добрыня. Мнишь о себе очень. Уж и слова тебе поперек не скажи.

— Не заслужил я слов таких — про нож да проземлю. С касогами так шути, князь. Им такие шутки понятны. Ну да ладно... Поехал я.

Мстислав молчал, слегка покусывая губу. Молчал и я. Наконец новоиспеченный владыка Русской земли не выдержал:

— О барсах мне скажи. Иначе не отпущу я тебя или вовсе сам с тобой поеду. Дороги мне звери эти, самолично их в горах у матери отбил и выкормил. Хранят они меня. Чего воют, чего бесятся? Какую беду пророчат?

— Да уж догадался ты, князь, давно. Волхв вокруг твоего стана ходит.

Мстислав с силой провел ладонью по лицу, будто стирая что-то — не то усталость, не то страх. Помолчал, потом спросил:

— Ну и как — пристойно ли тебе меня в таком случае бросать?

— Мне теперь что, князь, всю жизнь за тобой третьим барсом бегать? На время битв не спускал я с тебя глаз. Теперь сам берегись. И так не бывало доселе, чтоб богатырь полгода за Рюриковичем нянькой ходил... Меня послушай — и охоронишься... Барсов от себя не отпускай, своей рукой их корми, как я кормил, чтоб не отравил их Волхв, незнакомцев ни в шатре, ни в палатах не принимай, а если кто все же через порог переступит — руби ему голову, ни о чем не спрашивая. Если кого невинного зарубишь — на мне кровь та будет, я за нее отвечу... До Чернигова сопровожу тебя и через четыре месяца ровно назад буду.

— Опоздаешь — с Волхвом сойдуся... Что ты кудесник, что он...

— Смотри сам, князь, — сказал я, поднимаясь. — На то ты над людьми поставлен, чтоб самому решать все.

— Уйди поскорей, Добрыня, — промолвил князь, прищурившись на огонь, — а то не выдержу я и воинов кликну. Не умеешь ты с князьями разговаривать. Мужиком родился, мужиком и помрешь. Землю тебе пахать, а не по коврам дорогим разгуливать. Не люблю я тебя и не очень-то тебе верю. Уйди с глаз моих...

Через десять дней, проводив князя в Чернигов, я выехал на север.

Новгород для Рюриковичей — крепость. Как только погонят их из Киева или еще откуда, так в Новгород бегут они и там хоронятся. В Новгороде варягов много и до земли Варяжской недалеко. В случае чего, к родичам уйдут Рюриковичи, хоть язык праотцов уж и забыли почти.

Вот и Ярослав сидел теперь в Новгороде. Писал он отчаянные грамоты северным родственникам, но не спешили те на помощь. Разбит Ярослав был, а не любят люди поверженным помогать; на дух не переносят неудачу люди.

Между тем Ярослав не сдавался, бежать за море не хотел, а был намерен биться до последнего и кружить по всей земле, уходя до времени от Мстиславовых ратей, — хоть в снега северные уйти, но только дружину свою сохранить для битв будущих. Не отчаивался Ярослав и каждый день обещал в Киев вернуться. Это был добрый знак.

Все эти новости я узнал от Алеши. Он, конечно, загодя почуял, что я еду, и выехал встречать меня далеко за городские ворота.

Я тут же принялся уговаривать его немедленно отправиться к Учителю. Поначалу Алеша не соглашался, но в конце концов признался, что Ярослав надоел ему хуже горькой редьки и что проку от его пребывания в княжьем стане не много.

— Во время битвы прикрыл я князя, а теперь пускай сам гуляет. Не надобен ему

богатырь, чтоб по лесам белкой неприметной шмыгать, от Мстислава уходя. Все равно шуму я в таком случае наделаю непременно и его присутствие выдам. Скажу — через три луны в Новгород вернусь, а коли уйдет он из Новгорода к тому времени, пускай весть мне оставит, где искать его. Это Волхва не сыщешь, а Ярослава-князя найти — нехитрое дело.

О моем приезде Ярослав не знал. Алешу отпустил неохотно, к опеке его привыкнув. Да только правильно мы от Рюриковичей ушли: не надо князей баловать.

Через день поехали в скит.

На этот раз дорога нам выпала легкая, но хмурая. Уже наступила зима. В нынешнем году она была мягкой, и это было великое благо: после прошлогодней ледяной стужи и засушливого голодного лета больших холодов ныне многие бы уже не перенесли. Появился и хлеб: зерно в Русскую землю волжские булгары поставили без обмана. Зимовать было трудно, но уж мало кто ожидал теперь вселенского мора. Однако весело никому не сделалось: земля была истощена непогодой и смутой.

Скит стоял в дремучих лесах недалеко от Новгорода. Учитель ушел туда много лет назад, как только поставил меня на ноги. В том скиту жила и мать моя, непрестанно молившаяся Богородице, чтоб та уберегла ее странствующего хмурого сына. И с матерью, и с Учителем виделся я редко — хорошо, если раз в год, но перед каждым отчаянным делом приезжал — не то попрощаться, не то благословение получить.

Нашему приезду они поразились как нечаянной радости — отчего-то не почуяли нас заранее (странные дела творились в тот год с Сильными людьми). Мать была все такая же, только печали прибавилось в глазах, Учитель же сильно постарел.

— В землю смотрю я, Добрыня, — сразу сообщил он мне, покашливая. — Недолго мне осталось в лесу сидеть и тебя ждать. Не позднее чем через три года помру, а может, и много прежде того.

Мать шепотом рассказала, что бывают дни, когда Учитель вовсе не встает с постели, и что травы не помогают.

— Ты б полечил его, Добрыня. Может, Сила твоя поможет, ведь любишь ты его.

— Не велика Сила моя... Сам друга к Учителю лечиться привез...

К тому времени уже не было сомнений в том, что увечье Алеши серьезно. Учитель долго осматривал его руку и так и сяк, окуривал разными дымами, пробовал пыль то пальцем, то пером, то ножом, то корнем. Наконец сказал:

— Плохо дело, богатыри. Не достать пыль эту. Как коснешься пылинки любой — вглубь уходит. Не дастся она в смертные руки. Одно — средство остается — руку немедленно отнять по локоть. Алеша усмехнулся невесело:

— Шутишь, Никита? Когда такое было, чтоб богатырь — да без правой руки?!

— Отнять руку надо, я тебе говорю, — упорствовал Учитель. — Головой отвечаю — тогда век твой долгим будет. А что до богатырей, так ты на меня посмотри: поднял я на ноги Добрыню и тут же в скит ушел. И ты ученика возьми, натаškai его как следует, а дальше от людей скройся в какой хочешь земле.

— Не годится, — сказал Алеша серьезно. — Разные мы с тобой богатыри, Никита. Во мне смирения нет и быть не может. И не уговаривай — не расстанусь я с рукой... Скажи лучше, когда в могилу-то она меня свести полагает? Дела мне нужно кое-какие до тех пор завершить да за Илью с Волхвом расквитаться.

— Не знаю. По-разному пробовал я — но ответа не добился. Плохо разбираю я Силу Итили. Не знаю даже, преждевременно прервется ли путь твой или с рукой раненой до старости глубокой жить будешь. Вижу, опасна пыль тебе, но спит до времени. А сроков никаких мне не разглядеть. Святогору то под силу одному было бы. Но уж много лет смертным сном спит Святогор, на делах тайных надорвавшись...

— Тогда и говорить нечего, — вздохнул с облегчением Алеша. — Коли ты смертной тени на мне не видишь, так и ничего. Может, обойдется все и внуков еще своих дождусь. Не дам руку резать, и говорить об этом больше не надо.

Несколько дней рассказывали мы Учителю про Скиму. Слышал он о нем и раньше, да

не верил, рассказами все вести считая.

— Вот Силу взял Волхв, — дивился Учитель, — и кто только дал ему такую... Упустил я вражину, вам охоту передал, а уж гляди — Илюша в могиле, а этот волкам теперь головы с плеч рвет...

Он пристрасно допрашивал Алешу о его встрече со зверем. Алеша только головой качал:

— Въедлив ты, Никита. Рано от дел отошел. Знал бы я — в четыре глаза бы на Скиму глядел. Как проведать мне теперь, шестипал он или нет? И куда усы его глядят — вверх или вниз? Мне б башку ему снести — и все, а в тонкости не вхожу я...

Сокрушался Учитель:

— Не все знание я Добрыне передал. Не смог: не похож на меня Добрыня. Вот теперь знание мое со мной в яму и уйдет, на Смородинку возвратится, не востребованное, а может, еще и пользу бы какую на земле принесло!.. Предчувствовали что-то прежние богатыри, зверя подобного давно ждали, меня к битве с ним готовили. Почти все растерял я, да крохи кой-какие остались. А бывает — кроху малую во вражину метнешь, а из него и дух вон.

Когда по весне мы стали прощаться, Учитель сказал, что едет с нами.

Два дня я его уговаривал, на коленях стоял, только что руки ему не вязал. Старый, да хворый, да от богатырской жизни отвыкший — да на Скиму!

Ничего не слушал Учитель. И конь у него нашелся в леске соседнем, и мешочек с травами Сильными наготове был. Только меч и кольчугу брать не стал.

— Монах я. Не от кого мне обороняться. И так в землю уж глаза смотрят. Ветошка я старая, а не воин. Перед носом Скимы мною помашете — а дальше хоть живым в землю закапывайте.

Не уговорили. Поехал. Никому кроме нас не открылся. Даже матери моей сказал, что в Царьград на богомолье собрался. Не поверила мать, ну да давно уж никого от подвигов не отговаривала... Правда, провожала нас с плачем, а мне напоследок шепнула:

— Ох, смотри ты за дедом да за Алешей! Уж давно так тяжело на сердце у меня не было!

Но только въехали мы в лес — и скрылись из глаз и скит и мать, стоящая на дороге, бессильно опустивши руки, и новая дорога началась...

Учитель не был ни грустен, ни весел. Безо всякого интереса смотрел он, как мы с Алешей на мечях бились, как Алеша со зверьем забавы ради разговаривал. Не интересовали его и рассказы о смуте. Он молча думал какую-то свою важную думу.

Чувствовал он себя неважно. В седле сидел прямо и переходы дневные не сокращал, но по ночам плоховато ему было.

— Видишь, как, — сказал мне раз Алеша, отъехав от Учителя подальше, — мы с тобой до старости учителей наших дожили и век их поздний покоили. А нам кто глаза закроет? Эх, Добрыня, Добрыня! Жидки мы с тобой, нам бы только с Волхвом Силой мериться, а о том, чтоб учеников взять, и речи нет... Трудно Русской земле без богатырей будет...

Разговоры эти нас обоих сильно расстроили, и в конце концов мы договорились: положить своим странствиям еще три года, а дальше учеников искать, троих каждому, и дальше вместе по земле ездить и богатырскому делу ребят обучать...

Когда пришла пора выбирать дорогу — на Новгород или на Чернигов, мы с Алешей заколебались. Как знать, куда забрел сейчас Скима-зверь? Но Учитель твердо сказал:

— На Чернигов едем.

— Там Скима?

— Чуешь его?

Учитель пропустил наши вопросы мимо ушей и только повторил строго:

— На Чернигов.

Больше мы от него ничего не добились.

Как только мы выехали на черниговскую дорогу, на которой некогда свирепствовал приснопамятный мальчишка, Волхвовый сын Соловей-Разбойник, нам встретилась простая

телега и гроб на ней. Гроб был покрыт черной парчой, за телегой ехали четверо всадников. Учитель заволновался, приподнялся в стременах и, напрягая стариковское горло, крикнул:

— Куда гробовину везете, молодцы?

— В Киев, — отвечивал один из всадников хмуро.

— А кого хоронить-то будете?

Всадник помолчал, а потом нехотя ответил:

— Княгиню Омельфу.

Мы взломали гроб.

Сомнений не было; в нем лежала старая Рюриковна. Ран на теле не было, но отвратительные бурые пятна на лбу и груди ясно свидетельствовали: яд.

Пока побитые всадники с охами и плачем подымались с земли, мы быстро посовещались. Все трое сразу почувствовали на теле Силу Волхва. Алеша ошибся: голубок все-таки вернулся на Чагоду. Всадники были с Омельфиного двора (удивительно, что они не сразу узнали Алешу). Княгиня отошла тихо, гостей перед тем у нее никаких не было, за ворота Омельфа не совалась. Правда, за семь дней до Омельфиной смерти купила дворня в Белозере сладкой муки мешок...

Влезли мы на коней, Омельфиным провожатым крикнули:

— Дальше езжайте, а о нас молчите, не то век ваш короток будет: за язык длинный из-под земли вытянем.

Мы с Алешей мучились и злились от тупого бессилья. Учитель бесстрастно молчал, потом, когда наши сетования ему вконец надоели, сказал:

— Не первая она и не последняя. Удивляюсь вам. Или о враге давно не слыхали? И поумней Омельфы люди яд из его рук принимали. Вообще скажите спасибо, что Скипа в тот раз на Листвене занят был, а то не увидела бы больше Алеши черниговская дорога.

Мы осеклись.

Свернули с дороги и въехали в лес. До Чернигова оставалось три дня пути. Я возвращался к Мстиславу раньше срока.

По дороге Учитель завел речь о новых временах:

— Чужой мне земля стала. Не понимаю я ее. Жестокости прибавилось. Родство исчезло. Восстает брат на брата — как будто за тем их мать рожала. Рюриковичи выродились. Куда там Ярославу против Владимира. И вообще — бестолковы люди стали или это я уж совсем из ума выжил. Вот казалось лет тридцать назад: Нового бога примут все — и по-другому заживут человеки. Думалось — жестоки, кровожадны, мстительны Перун с Мокошью, кроток Иисус Сладчайший. Поверят в него — переменятся нравы. А теперь смотрю — хоть Иисусу, хоть Перуну, хоть зайцу косому молись: не переменятся люди, так же злы и глупы останутся... Мы-то в скиту сидим, молимся, книги греков ученых читаем, а как придут к нам за советом, послушаешь разговоры мирские — так и плюнешь на все, и в келье своей тихой запрешься... Вот оно и получается — прожил я две жизни, сначала богатырствовал, потом монашествовал, и зря все. Волхв как ходил по земле, так и ходит, вражина, старые боги его покрывали, и Новый терпит... Ни мы, ни ученики наши ничего не достигли. Так, усобицу прекратить, или загадку разгадать, или исцелить кого, или битву выиграть — можем. А землю от зла оборонить — мечты это только наши были... Молодой мы народ, русские, вот и спесивы и надменны... Мечемся, за моря бегаем, слова тайные учим жадно — а все без толку в землю ляжем... Вы-то тщету эту понимать прежде моего начали, отсюда и невообразимая беспечность ваша... Молчите! Как же не беспечность — год, почитай, с мечами игрушечными разъезжаете спокойно! Да, правильно все Алеша в Итили сделал, надо было мечи Итили отдать, но с тех пор сколько времени-то прошло! Или не знаете вы, что Сила ваша без мечей убавилась?! Вон Добрыня уже простую мысль послать мне не может!

Впервые со времен юности я покраснел. — А если с Волхвом на мечях биться?! Ты вот, Алеша, злишься, что ушел от тебя Скипа! А как же ему не уйти было, когда ты с тмутороканским дурным мечом ему в рыло смертоносное полез?! Скажи спасибо, что не

растерзал тебя Скима!.. Да, ну уж ученички у нас вышли! О высоком гадают, великих тайн ищут, а простейшее — забыли!

Непривычно было мне слушать раздраженные речи Учителя, странно было видеть его взволнованное морщинистое лицо, растрепанную седую бороду, облысевшее темя.

— Что, Добрыня, ругаешь старика? Умнее всех хотите быть, учеников набрать норовите, а у обоих в руках вместо меча — по палке железной!

— Да послушай, Никита, — вмешался разобиженный Алеша, — или не помнишь, как учили вы нас? Меч, мол, богатырский, не с базара берется, по всей земле за ним ездить надо, драгоценность это великая! Я свой первый меч два года искал! В какие только дела не впутывался, в какие углы только не забирался! А сейчас — да мыслимое ли было дело в год этот проклятый еще и за мечом бегать! Еле-еле и так крутиться успеваем! То на Чагоду, то в Тмutorокань, то в Чернигов, то в Новгород, то к варягам, то опять в Новгород! Как еще кони наши это все выдерживают! Не кори попусту, Никита! Сами про мечи знаем все, да времени вздохнуть не имеем!

— Так-так... Хорошо язычок у Святогорова ученичка подвешен! А ты что скажешь, ученик мой, Добрыня?

— Правду Алеша говорит. Не забывали мы о мечах.

— А ты Алешиным именем не прикрывайся! За себя говори!

Мы уже давно остановились на поляне, и наши кони, удивленные богатырской распрей, танцуя в испуге, уж успели вытоптать на ней всю молодую траву.

— Говори, ученик! — совсем уж не по-доброму прикрикнул на меня Учитель.

Меня охватил гнев, я еле сдерживался.

— Вот что, Никита, — сказал Алеша медленно, — давай-ка мы до заката разными дорогами поедем, а к ночи, охолонув, снова вместе сойдемся. Уж и звери нам удивляются.

Учитель споро прыгнул на землю и бросил поводья:

— Не пойду дальше, здесь в землю лягу!

Он топнул ногой, лицо его дрожало от ярости.

— Копайте мне могилу! Ну! Здесь! Копайте!

Учитель упал на землю и раскинул руки в стороны:

— На этом самом месте копайте!

Алеша выразительно посмотрел на меня:

— Поехали, Добрыня. К вечеру вернемся.

— Приказываю! — захрипел в страшном гневе Учитель. — Ройте мне яму! А коли бросите меня не погребенным, проклянущу обоих словом страшным! Не забыл я Сильные слова в монастыре-то!

— Я остаюсь, Алеша.

— Испугался? — нехорошо засмеялся Учитель и захлопал ладонью по земле. — Закапывай, здесь закапывай меня, ученичок.

— Волхвовья Сила на тебе, — сказал бесстрастно Алеша, прыгивая с коня. — Совсем ты, Никита, ополоумел. Доставай меч, Добрыня. Нечем нам больше копать. Тем более сказал наставник твой — не мечи у нас, а палки железные.

Учитель молча поднялся и сел в сторонке. Так же молча он показал на место, где только что лежал. Хмурые, растерянные и озлобленные, мы принялись за работу.

Мы успели уйти в землю лишь на локоть, когда в лесу протрубил хриплый рог.

Мы вскочили, направив испачканные мечи на лес. Пала тишина, но через мгновение рог протрубил снова.

— Мстислав, — сказал я с невероятным облегчением, опуская оружие.

Сосредоточившись, мы поняли, что по лесу действительно неспешно едет малый конный отряд.

— Зови его, Добрыня.

Я кивнул, напрягся, но через миг растерянно оборотился на Алешу: Сила моя мне не повиновалась.

Алеша прошипел что-то сквозь зубы, с ненавистью кинул взгляд на Учителя, а затем прищурился на лес.

Вскоре мы услышали стук копыт, затрещали сучья и на поляну выехали три всадника. Первым ехал Мстислав.

— Добрыня! Алеша! Вот так да! — просиял он. — Вот так дичину мы сегодня поймали! Я-то оленятинки захотел, а на богатырей выехал! Вот спасибо, утешили меня!.. Что Ярослав-то? Видались? — И он кинул на меня подозрительный взгляд. Меня душила злоба на все и всех сразу.

— Или забыл ты мой наказ? — сказал я, как мне показалось, грозно. — Или никого уж не боишься? Хранители твои где?!

— Недалече, — засмеялся Мстислав, поворотился к лесу и пронзительно свистнул. Из чащи огромными прыжками выскочили барсы и наперегонки бросились к хозяину. — Доволен?

— Недоволен! — притопнул я ногой. — Отчего из дворца ушел?! Просил я — меня дожись! Не нарушил я слова своего, еще и близко не истек срок мой!

Мстиславовы спутники смотрели на меня, разинув рот. Но еще больше они изумились, когда Мстислав посерьезнел и поспешил оправдаться:

— Ни разу не шелохнулись за весь срок барсы.

При мне они и сейчас, сам видишь. И в лесу отряд большой, на время только я от дружины отъехал.

Я махнул рукой и отвернулся.

— А это кто с вами? — спросил Мстислав, радуясь возможности перевести разговор и показывая на Учителя.

Несомненно, дожидаясь этого, Учитель поднялся — достойно, не спеша — и выпрямился:

— Не мудрено, что забыл меня, князь Мстислав. Уж лет двадцать как мы не видались. Ко двору отца твоего Добрыню я доставил.

— Никита?! — ахнул Мстислав. — Так не сгинул ты?! Ну дела! Уж если старые богатыри из затвора выходят — значит, действительно погибель рядом бродит!

И он мельком глянул на меня, а потом перевел глаза на Алешу:

— Святогор не проснулся, случаем?

— За кощунство и ответить можно, — молвил побледневший от гнева Алеша.

— Да какая муха вас сегодня укусила?! Что бросаетесь на князя, как малолетки?

— Не сердись, не сердись, князь, — заговорил Учитель вполне разумно и даже доброжелательно, подходя поближе. — Нехорошие дела творятся, не до вежливости нам. И Добрыня прав, и Алеша. Напрасно ты дворец свой покинул, а Святогорову память не князьям ворошить, ты уж мне-то поверь, я человек бывалый.

Разговор пошел дальше только между Учителем и князем.

Мстислав был чрезвычайно рад, что ему наконец попался приветливый богатырь. Мы с Алешей хмуро переглядывались, вообще перестав что-либо понимать.

— Да, — говорил Мстислав с чувством, — вовремя вышел ты из затвора! Часто вспоминал я былые времена. Коли б вы со Святогором по-прежнему богатырствовали, не случилось бы смуты в Русской земле!

Учитель ласково улыбнулся и стал участливо расспрашивать Мстислава про ссору с братом, о которой уже и так все знал от нас. Наконец, наговорившись всласть и совершенно очаровав тмутороканского князя, Учитель сказал:

— Что ж, пора и к отряду возвращаться. Тем более что дело к вечеру идет. Негоже тебе, князь, в лесу-то ночевать.

Мстислав посерьезнел. Мы вскочили в седла. Уезжая с поляны, я обернулся. Выкопанная нами яма показалась мне в этот предвечерний час особенно зловещей.

Мы разбили лагерь на обочине черниговской дороги, на вытопанной поляне, где часто останавливались застигнутые ночью или ненастьем путники. Больше с князем и Учителем

мы в ту ночь не говорили — не потому, что не хотели, а потому что Учитель и Мстислав никого к себе не подпускали, уединившись у княжеского шатра. Как показалось мне, Учитель упивался вновь обретенной властью после стольких лет безмятежного затворничества. Глаза его сверкали, осанка стала величественной и горделивой. Мстислав смотрел на него с обожанием. Несколько раз мы перехватывали презрительные взгляды, которые князь бросал на нас.

— До Чернигова проводим и прочь уедем, — сказал Алеша сквозь зубы. — Пускай Никита теперь Рюриковичей бережет. Им про старое время послушать приятно. Вообще — приятный богатырь стал Никита. Дворцовый.

Я понурился:

— Уедем, да. Не хочу я в его дела мешаться. Никогда Учителю поперек дороги не становился.

— Хватит и нам места в Русской земле.

— За мечами поедем.

— Вот-вот. Мечи искать станем, а Рюриковичи — да хоть они распропади.

— Пустое дело князей нянчить.

— Собаки они алчные, добра не помнящие.

— Глупы к тому же.

Так переговариваясь, мы просидели до полуночи, потом устроились по очереди спать. Давно улеглись уж и Учитель с Мстиславом.

Перед рассветом сторожил я. Глядя на догорающие костры спящего стана, я думал об одном: сегодня от меня в лесу полностью отказалась Сила.

Ночь начала редеть. Над бором возшла зеленоватая луна. Неожиданно в небе вспыхнула красная точка и стремительно понеслась к земле, оставляя за собой широкий светящийся след: где-то над Черниговом на землю падала звезда. Как только ее красный огонь скрылся из глаз, на поляне дико завывли барсы. Воины зашевелились во сне, а мы с Алешей уже что было сил мчались к шатру. Вой усиливался, доставая, казалось, до самой луны, черный купол шатра вырастал! передо мной, вот он был уже совсем рядом, и я нырнул в его черный проем.

Стена шатра, обращенная к лесу, была разодрана сверху донизу, на полу кто-то стонал, и резко пахло лесным зверем.

— Скима! — бешено закричал сзади Алеша и бросился прямо в рваную прореху.

Выскочив наружу, мы успели различить на опушке огромного серебристого зверя, в глазах которого отражалось по дрожащему зеленому огню. Скима задрал морду вверх, коротко взвыл, спокойно глянул на нас и в мгновение ока растаял, оставив по себе редкий клубящийся дым...

Когда мы вернулись в шатер, нас встретили причитаниями и криком. Мстислав сидел в углу, зажав голову руками и раскачиваясь. У самой прорехи на полу лицом вверх лежал мертвый Учитель.

Как рассказал с трудом оправившийся от страха Мстислав, прошлым вечером разговор меж ними шел пустой. Учитель хвалил барсов, расспрашивал князя, где и как он их подобрал, чем кормил, как растил, что они любят и чего не любят, как играют друг с другом и с людьми, когда ласкаются и когда сердятся, давно ли в последний раз были в лесу и не заскучали ли, сидючи вместе с князем взаперти. Потом Учитель обратился к князю с просьбой: можно ли ему будет поехать с барсами на пару дней на охоту в лес. «В скиту уж истомился», — сообщил Учитель лукаво. «Молодых возмешь?» — спросил князь. «Куда им, — махнул Учитель рукой. — Пускай с тобой отдыхают. А мы уж с кошечками твоими на воле побегаем».

На этом пошли спать.

Мстислав спал крепко и видел счастливые сны — то радугу над Днепром, то желудь на золотом подносе. Проснулся он, как и все в лагере, от вопля барсов. Он успел увидеть, как в шатре молча и ожесточенно борются две тени, — а потом большая тень канула вон, вторая

же зашаталась и упала. Когда Мстислав подполз к Учителю, тот был уже мертв.

Никаких ран на его теле не обнаружилось. Он был убит Силой. Мы отказались от княжеских похорон, посадили мертвого Учителя в седло и медленно повезли в лес. Начатая могила была совсем неподалеку.

Пока мы копали яму, солнце поднялось уже совсем высоко, и лицо лежавшего на земле Учителя осветилось ярким теплым лучом. Поначалу на лице отражалось невыносимое страдание, но теперь черты его разгладились, и Учитель и впрямь выглядел как мирно умерший схимник.

Могила богатыря должна быть глубокой: иначе он будет слышать земные дела и после смерти не найдет покоя. Когда мы ушли в почву на две сажени, внизу вдруг глухо зазвенело железо. Сняв еще с локоть земли, мы наткнулись на два меча. Лезвия их сияли как две молодые луны. Взяв один из них в руку, я обнаружил, что рукоятка его была теплой.

На могиле посадили дуб, всю поляну заговорили от добрых и от злых духов, оставив себе по ключу. Долго стояли на коленях и молчали.

— Ушел, — сказал я наконец.

— Смородинка приняла?

— Приняла.

Уже в лесу Алеша спросил меня вполголоса:

— Так, значит, к тебе вернулась Сила?

Я кивнул.

Мстиславу мы ничего объяснять не стали. Сказали только, что барсы его теперь бесполезны. Неведомо как Волхв успел их приручить, и на рассвете они взвыли уж не на Скиму, а на сражавшегося с ним Учителя. На всякий случай барсов прибили стрелами, а тела кинули в болото. Шатер сожгли. Про остальное Мстиславу знать было не нужно.

Не нужно ему было знать про то, что самые Сильные мечи добываются через вражду и смерть и что Учитель нарочно вывел нас к своему последнему тайнику и там разъярил. Не надо было князю знать и про то, что, в отличие от нас, Учитель догадался, что барсы больше князя не уберегут. А то, что в ту ночь Учитель Мстислава заслонил и отбил у большого зла, Мстислав знал и сам.

Не успел еще распрямиться посаженный на могиле Учителя дуб, как Мстислав уже послал гонцов к Ярославу в Новгород. Гонцы везли княжескую грамоту. В ней Мстислав писал, что войну прекращает, сам уходит с войском в Тмуторокань, советует брату безо всякого страха возвращаться в Киев и оттуда как старшему невозбранно владеть всей правой стороной Днепра.

Через семь дней, не дожидаясь ответа, Мстислав вывел свое войско из Чернигова и направился к морю.

Войско уходило в полном молчании. Мстислав в знак скорби запретил песни, горны и бубны. Ослушавшихся было велено карать смертью.

Мы проводили Мстиславово войско до сурожских волн, пожелали князю удачи, пообещали вскорости навестить Тмуторокань, а сами ушли в степь.

Глава 5 АЛЕША

Первые тридцать дней мы провели в молчании. Мы бороздили степь вместе и порознь, всегда сходясь для ночлега, но ни разу не раскрыли рта. Безмолвно мы трапезничали, безмолвно стреляли птицу, безмолвно разводили костер. Словно страшась нашего молчания, за тридцать дней нас не потревожил никто. Молчание не было ни дурью и ни прихотью. Такая тишина предписывается учителями на темном распутье — либо перед большим подвигом. Насчет подвига мы не знали. Может, никакой бой на самом деле нам и не предстоял. Распутье же было серьезным: какую дорогу выбирать, куда ехать и что делать, как искать Волхва?

Перед тем как замолчать, мы договорились, что на этот раз не отступимся и что

никакие дела и никакие вести не заставят нас оторваться от следа. Хорошо было бы еще, чтобы с нами согласились боги и либо позволили нам прикончить хищника, либо дали нам самим пасть в бою.

Мы жаждали решительной сшибки. Бессмысленные скитания надоели, а от княжеских распрей воротило с души, как от тухлого мяса.

Никаких знамений ни я, ни Добрыня в степи не видали. Как ни заговаривали мы с Силой и с богами, никакого ответа мы не получали. Впрочем, нам удалось несколько успокоиться и укрепиться: молчание предписывается учителями не зря. Положенное нами время испытания истекло. Потянулись новые пустые дни. Мы уже находились в степи намного дольше, чем собирались. Однако никто не решался заговорить первым. Все еще казалось, что боги откроют нам на что-то глаза или что Сила подхватит нас неодолимым смерчем и понесет прямо на врага.

Боги молчали. Скажу больше, они злонамеренно отвернулись от нас. Сила земли свернулась в клубок и затаилась. Закаты и рассветы были тусклы. По ночам мелкие звезды сонно моргали над головой, делая вид, что вовсе позабыли о всяком волшебстве. Даже ночь полнолуния выдалась слабой, как разведенный мед. Ведьмацкие травы осыпались и засохли. Птицы перестали отвечать на мой зов. Звери скрылись. Больше в степи делать было нечего. Мы оказались не любы богам.

Все так же молча мы поехали к Днепру.

Ничего приметного по дороге не случилось, и мы заговорили, только когда наши кони замочили ноги в синей днепровской воде.

— Куда теперь?

— В Новгород. Я и так обещал Ярославу приехать через три луны.

— Наохлится князь, знает он, что у Мстислава под боком ты терся.

— Да не в том дело... Слово богатырское нарушил я. Теперь никогда не будет мне веры от Ярослава... Ну да провались он. Знаешь, Добрыня, чувствую я — не придется мне больше по княжьим коврам шаркать, хитрые речи плести. Кончилось то время. Отпал я от князей.

— Больше ничего не чувствуешь?

— Ничего. Так в Новгород?

— В Новгород.

И мы снова замолчали. Понять нас стороннему человеку было невозможно. Богатырских дел на Русской земле оставалось столько, что и десятерым богатырям не переделать. Мы же теперь не хотели ввязываться ни во что и только тоскливо втягивали в ноздри воздух: не пахнет ли откуда-нибудь Скиминой шкурой...

Под Черниговом заехали на могилу Никиты. За прошедшие месяцы высаженный дубок быстро пошел в рост. Поляна оставалась крепко запечатана, и, кроме безвредных насекомых, на ней никого не водилось. Даже пчелы и осы попусту бились о возведенную нами невидимую стену: как-никак, а у них все же имелся яд, и Сила их отсекала.

Стояли последние дни лета, но Никитина могила утопала в мягком разнотравье. Цветочные головки безмятежно покачивались на ветерке, легкий сладковатый запах витал кругом. Сама могила была усеяна крепкими желудями. Сомнений не было: ничто не тревожило Никитин сон.

На этом месте мы решили дать своим мечам имена. Когда мы обрели мечи, они были одинаковы, как близнецы. Теперь, проведя с нами лето, они изменились, приспособившись к руке хозяев, и теперь их было уже не спутать. Добрыня назвал свой Травень. Я неожиданно для себя выбрал дальнейшее имя: Синоп. Я часто возвращался в мыслях к Тматорокани и к тому, что я там пережил; видимо, отсюда пришло и имя.

Из черниговских лесов поехали напрямик в Новгород. Подобравшись поближе, разделились: в отличие от меня, Добрыня богатырское слово держал, а ведь он обещал Мстиславу близко не подходить к мятежному брату. Он остался кочевать в лесах, я же поскакал в город.

Ярослава в Новгороде я не застал. Мстислав смирно сидел в Тмуторокани, однако Ярослав покидать северные края опасался, правил Киевом через воевод, а сам жил то в Новгороде, то в небольших городках в округе. Он боялся предательства — яда, ножа и удавки. Я нагнал его в пути.

Многочисленный княжеский отряд выглядел жалко. И сам Ярослав, и его воины затравленно озирались по сторонам, как видно, ожидая, что из лесу вот-вот выедет одетый в черное Мстислав или что на дороге возникнут низкорослые свирепые касоги. Ярославова дружина, несомненно, находилась под тенью Волхва.

Меня Ярослав встретил неприветливо. Он даже не подпустил меня к себе и все время потихоньку отъезжал в сторону, плохо скрывая страх.

— Вот какое теперь слово у богатырей! Или тмутороканское золото киевского тяжелей?

— У обоих у вас золото легкое, как лепешка коровья, — отвечал я, рассерчив. — А что мздоимством меня коришь — так за то и головой поплатиться можно.

Ярослав рванул коня в сторону, брызнул слюной:

— Три луны тебя я ждал терпеливо! А ты с Мстиславом-вором в Тмуторокань отъехал! Смерти моей хотите, измену плетете! На князя своего руку подымаешь, итильский злодей!

Услыхав такие слова, подскочил я поближе да хвост Ярославову коню и отсек с маху.

— Хуже золотухи ты, князь! Не стерплю — отрежу язык поганый!

— На Рюриковича — да меч! — задохнулся Ярослав.

— Это правда, — сказал я, быстро остывая. — Не богатырю на вас руку подымать, а кобелю ногу заднюю. Ни рассудка, ни храбрости в вас, Рюриковичах, нет, а только спесь крутая да ярость. На этом прощай, князь Ярослав Владимирович. Не приду я впредь к тебе. Не зови больше. Своим умом живи.

— Дружина! — закричал князь, дергаясь в седле. — Измена! Ко мне!

Но только поднял я над головой свой Синоп, и прилипли к земле конники. Дергается князь, от злобы визжит пороссячим образом, а и с места сойти не может.

— Не серчай, великий князь киевский, — сказал я. — Ты лучше подумай, как коню своему хвост новый пришивать будешь. А пока хвост животине не вернешь, в города не суйся: засмеют тебя бабы.

Сказал — и уехал.

Долго ругал меня Добрыня, но потом правоту мою признал неохотно и вздохнул:

— Прав ты. Кончилось старое время. Не сговориться нам с престолом больше. Не поеду и я к киевскому двору... Куда теперь едем-то?

— Не знаю.

И мы снова стали бесцельно бороздить землю...

Однажды только посмеялись. Разговорив встречного купчика на суздальском проселке, Добрыня вернулся ко мне белый от ярости:

— Малый непутевый! Или Силу тебе свою некуда девать больше, как с жеребцами шутки шутить?! Сними с Ярославову коня проклятие, сними немедленно!

Я расхохотался. Действительно, отъезжая от гневливого Рюриковича, проклял я его коня по-особенному и по-смешному: выпали и грива, и остатки хвоста у него, и кочевал теперь насупившийся Ярослав по Нов-городчине на лысом коне, и смеялись над князем, как я и сулил ему, бабы... Ну да ладно: снял проклятие. Пошутил и будет, а то Добрыня очень уж расстраивается. Серьезен друг мой безмерно.

Никаких стоящих вестей не было. Скимой теперь пугали детей, но решительно ничего нового в рассказах о нем не содержалось.

Недавно его видели в новгородских лесах. Возможно, он подбирался к Ярославу. Однако обезумевший от страха побежденный князь был не великой добычей, и мы решили Ярослава не прикрывать.

Поздней осенью я сказал Добрыне:

— Разделимся. Хочу к Святогору съездить. Уж лет пять как я могилу его не навещал.

— Лукавишь. Волшебство его будить едешь. Нельзя. Заповедано это. Мало тебе Итили было?

— Все одно не отговоришь.

Добрыня уговаривал меня целый день, потом отступился.

Уезжал он хмурый: в его скитаниях цели не было. Договорились встретиться по весне.

О Святогоровой избушке, в которой лежал он, до сих пор сжимая свой меч в руках, я подумывал давно — с того самого дня, как зажег белый огонь в Итили. Однако ехать не спешил. Во-первых, Добрыня был прав и касаться таких тайн действительно заповедано. Во-вторых, Святогор сам надорвался, шевеля неподъемную Силу; меня же эта Сила могла вообще раздавить, да еще при этом вырваться на волю и наделать таких дел, что меня прокляли бы и правнуки. В-третьих, в Святогорово время Волхв только начинал, учитель с ним не боролся, никакого особого Скиминого следа взять я тут не мог, Короче, колебался я долго.

Решился же ехать вот по какой причине. После смерти Ильи нам не было помощи ни от богов, ни от людей, ни от нашей собственной Силы. Сила Добрыни стала вообще меркнуть. Помогли нам только Учителя — Святогор в Итили и Никита в том самом проклятом лесу. При некотором воображении это можно было воспринять как долгожданный знак. Я решился скакать к Святогору, пообещав себе обращаться с его тайнами крайне бережно и скорее погибнуть, чем выпустить большое зло на свободу.

Последние годы Святогор прожил в Угорских горах, выстроив там себе избушку, в которой и подбирал нетерпеливо ключ к миру иному. Примчавшись на его предсмертный зов и опоздав, я запечатал избушку страшным словом, чтобы никто в нее больше не вошел и чтоб никто наружу не вышел. Как распечатать такое слово, я не знал. В любом случае об этом нельзя было даже и думать: я не сомневался, что по избушке до сих пор вьется нехороший кудрявый дымок, выпущенный Святогором из злосчастной потусторонней дверцы. По совести, я вообще не знал, что мне там делать. Однако все было лучше, чем хмурая злая езда взад-вперед и шутки с княжескими конями...

Лес, окружавший Святогорову избу, сильно изменился с тех пор, как я был здесь в последний раз. Я с удовлетворением отметил, что никакого нового зла в нем не появилось. Больше того, даже сейчас, зимой, кругом лежали проталины, поросшие белой пролеской, а кусты смородины были и по сию пору усыпаны черными бусинами ягод. Как видно, в лес стекалось зверье со всех сторон, и многочисленные олени бродили по здешним рощам, доверчивые, как в княжеском зверинце.

Лес поредел и стал виден насквозь. Это был хороший знак: чем светлее лес, тем меньше в нем злобных духов. Мне показалось, что даже леший уже очень долго не заглядывал сюда. Конечно, сейчас была зима, и он скорей всего спал.

Сама изба стояла новехонька и не тронута временем. Бревна, из которых она была сложена, сияли, как в княжеском тереме, мох с лишайником и подползти близко боялись. В окошке по-прежнему приглушенно мерцала свеча. Я осторожно заглянул внутрь избы и увидел только плотный пар. Ни Святогора, вытянувшегося на лавке с мечом на груди, ни стола, за которым он записывал свои тайные мысли, ни противоположной стены и немногочисленного скарба Святогора видно не было.

Я осмотрел избу со всех сторон. К моей радости, выяснилось, что она стала быстро уходить в землю (странно, что я не заметил этого сразу). Сияющие бревна провалились вглубь уже на пядь. Что ж, через пятьдесят лет земля сомкнется над Святогором, и ядовитый пар станет клубиться уже в глухом подземелье, никому не причиняя вреда. А еще лет через сто над избушкой густо взойдет папоротник и будет расти на этом месте до скончания века. Деревья же не вырастут здесь никогда, и даже много веков спустя знающий глаз сразу поймет, что это за необыкновенное место, и обойдет Святогорову могилу стороной...

Я ночевал в лесу. Ночью проталины прогревались, и я спал, как на печи. Огня не разводил, зверя не стрелял и вообще ничего особенного не делал. Иногда для развлечения уезжал в соседние рощи.

Так прошло два месяца. Зима стояла сырая, поворотив же на весну, вообще размякла. В лесу взошли фиалки, и над округою разлился их слабый свежий запах. Не знаю уж, что изменилось в мире, но я вдруг стал спешно строить избу.

Я строил ее в глубине леса день и ночь. Это должна была быть точно такая же изба, как у Святогора.

Мысль эта пришла мне в голову внезапно, как внезапно падает с дерева лист. Мгновенно нашел я и место: над ним взойдет в этом году луна на Купалу.

Строил я с ожесточением, с какой-то лихой радостью, ворочая бревна, как медведь. Гул разносился по лесу, но звери не ушли. Наоборот, они с любопытством приходили посмотреть, чем это занят человек, так похожий на того, что спит в заповедной избе.

Я закончил строительство в вечер полнолуния. Изба вышла точь-в-точь как Святогорова. Такие же в ней были и лавка и стол. Вечером, перед восходом луны, я вошел в избу, притворил за собой дверь, лег на лавку, положил меч на грудь и закрыл глаза. Поначалу время шло совсем медленно. Когда луна коснулась небес своим серебряным краем, я ощутил ломоту в висках. Пора было начинать.

Я вообразил себя Святогором.

Я лежу в своей избе неживой, и дыхание больше не туманит лезвие моего меча. Ядовитый пар приник к лицу и не дает мне открыть глаза. Тело мое сковано давно. Ничто не колыхнется и в избе. Все неподвижно, как и полагается в безмолвном царстве смерти, на Смородинке-реке.

Я безмятежен. Я безмыслен. Я скован. Я мертв. Ничто и никто не нарушит мой покой. Я ничего и никого не хочу знать. Прочь, жизнь, прочь. Я закаменел в смерти и счастлив в ней.

Я слился с избой, с туманом, с землей. Я камень, я дерево, я сама земля, я потусторонний туман, я ночь. Я сплю, и видения не тревожат меня.

Не говорите со мной, боги: я все равно не отвечу. Забудьте обо мне, люди: меня никогда и не было на земле.

Недвижность. Равнодушие. Покой.

Но вот в тумане загорается светлая полоса: над лесом взошла луна и заглянула в мое окно. Туман чуть-чуть зашевелился, как взбаламученная вода в стоялом ручье, в нем замелькали крохотные серебряные частицы. Я вижу их отчетливо, они приближаются ко мне, они похожи на искры холодного огня или на раскрошенное серебро. Их становится все больше, они вихряются, они жалят меня, они проникают мне в рот и будоражат мой мертвый язык. Они хотят унести меня куда-то. Белый огонь пробегает по телу, и слова наконец-то срываются с моего языка.

Я, Святогор, сын Дажьбога, победитель тьмы, раб Силы, страж царства мертвых, червь истины, — говорю: именем отца моего, дланью Силы моей, лезвием меча моего, кровью врагов моих — повелеваю вам, духи ночи: повинуйтесь! Да скует вас Зга, да разорвет вас Перун, да попрет вас Мокошь, да испепелит вас отец мой, если не послушаете меня. Я, Святогор, приказываю: несите меня, духи ночи, страшные ликом, словом и делом. Несите меня туда, куда хочу я, к сияющим дверям, из-за которых несется рев ада. Открой мне свои тайны, Итиль, доверься мне, Ларна! В эту ночь я, Святогор, пробужденный ото сна, вижу, и слышу, и говорю. Серебряная пыль окутала меня облаком, и, возлежав в нем, как Перун в грозовой туче, я, покачиваясь, поплыл во мглу, из которой раздавались угрожающие крики и жалобные стоны духов, познавших все начала и концы. И я увидел розовую пасть лиловой Ларны, и я вошел в подземелье, чтобы увидеть там белый свет, и пламя ада не опалило меня.

Я вижу: вспыхнула серебряная дверь и чья-то рука сжимает факел. Факел касается серебра, и оно разлетается в пыль. Воет Ларна, воют духи.

Я вижу серебряные копи, в которых была выкована эта дверь. Они на невообразимой глубине. В них трудится белое пламя луны. Звезды здесь — гвозди. Холод здесь — жар. Разрушение здесь — работа.

Под копиями я вижу вечную тьму. Я прикасаюсь ко Зге. Факел в моей руке. Меня снова

тащит назад, к серебряной двери. Теперь уже я касаюсь ее факелом, и она разлетается на куски. В мои глаза летят холодные искры ада.

Теперь я просто рука, и серебро рассеялось во мне, и пронзило мои жилы, и рука сделалась крепка, как таран, и страшна, как зверь.

Я ударяю ею стены — они рушатся. Я бью ею по мечу — он крошится. Я грожу ею Ларне — лиловое чудовище с ворчанием отступает. Может быть, теперь я вообще одолею ад. В моей руке — холодные семена, застывшее пламя Итили, замерзший огонь — о, как он мучает меня и как он страшен! Я спешу встретиться с кем-то, я устал, я больше не могу, надо спешить, спешить!..

Кто мой враг?

Меня выведет к нему серебро, я знаю. Серебряной рукой я и ударю по нему. Он падет, как срубленный ствол, как сбитая с небес звезда, как пораженный плод. Мне осталось ждать три луны. Да-да, я не обманулся, я слышу шипение Ларны: «Не забывай, Святогор: всего три луны!»

Мне видится лес, мне видится путь... Но что это? Свет гаснет! О-о, меня бросили оземь так, что сама Итиль содрогнулась! Я цепенею, о-о, как быстро я цепенею, да будь ты проклята, темнота!..

Туман. Оцепенение. Сон. Покой. Я должен что-то запомнить.

Не мучайте меня, дайте мне замереть.

Провал. Недвижность. Смерть.

Пустота.

Конец.

Все.

Сны мучили меня несказанно. Я понимал гибельность их плена и силился проснуться. Сквозь смеженные веки я уже начинал различать свежеструганные стены избы, но тут что-то мягко опускалось мне на грудь и властно влекло на глубину. Звон в ушах, чьи-то вкрадчивые голоса, головокружение, неясные образы и тени. Я спал и не спал. Может быть, я блуждал по иным мирам, может быть, я плыл в царстве мертвых. Но только наконец я открыл глаза.

Первое, что я услышал, было пение птиц.

Я не сразу смог подняться со своего ложа, а когда наконец привстал, в глазах потемнело и к горлу подступила тошнота.

Справившись с дурнотой, я толкнул дверь и вышел наружу. Снега не было и в помине. На бурой прошлогодней листве колыхались сиреневые колокольцы. В голых ветвях вяза малиновки начинали вить гнездо. По моей ноге пробежал муравей. Я опустился на теплую солнечную землю и заснул по-настоящему, без голосов, мук и страхов.

Когда я проснулся, был уже вечер и в зеленоватом небе стояла луна. Она была на ущербе. Я проспал в избе семь дней, и за это время пришла весна.

Не дожидаясь рассвета, я оседлал коня и выехал на восток. До назначенной встречи с Добрыней оставалось пять дней. Я опаздывал.

Весна в том году разливалась невероятно быстро, затапливая самые глухие темные уголки. Птицы щебетали наперебой, цветы лезли из-под земли чуть ли не на глазах, лешие и русалки одурели, и поэтому в ту весну в лесах пропала уйма людей.

Добрыня нетерпеливо дожидался меня в условленном месте. Мы обнялись.

— Теперь можно попытаться, — только и сказал я на все его расспросы. — Не беспокойся: ничего дурного со мной не случилось. Изба Святогора уходит в землю. Никто больше не потревожит ни его сна, ни его тайн.

Добрыня погрузился, видя, что я держу свое знание при себе. Он же за эти месяцы одиноких странствий не научился решительно ничему.

— Где Скипа?

— Все еще под Новгородом, — отвечал Добрыня не охотно. — Я только что оттуда.

— Ничего?

Он покачал головой:

— Ничего.

Мы молча направили коней на Ильмень.

— Когда новгородская река стала называться Волховом?

— Ты думаешь, это знак? — с сомнением спросил Добрыня. — Вряд ли. Так ее кличут уже вторую сотню лет.

«Хоть третью, — подумал я. — Знаки обнаруживаются в самых неожиданных местах. Бывает, что знак столетиями лежит на земле, пока не пригодится».

Добрыня ворчал, что под Новгородом мы уже изъездили все тропки, что надо заманивать Скиму в степь, и предлагал разные козни, долженствовавшие соблазнить Волхва. Я не возражал, но упрямо метил на север.

Через несколько ночей снова настало полнолуние. Дождавшись, покуда луна всплывет наверх, я подставил свою искалеченную руку ее бесстрастным лучам. Серебро загорелось ровной чертой. Она указывала точно на Ильмень.

Я подозревал Добрыню. Увидев знамение, он скрипнул зубами. Не обменявшись ни словом, мы легли спать.

Уж не знаю, отчего мне так повезло, но только проснулся я внезапно, как вынырнул, и, еще ничего не соображая, резко рванулся в сторону. В тот же миг на то место, где только что лежала моя рука, со свистом опустился Добрынин меч. Я вскочил. Добрыня стоял, загородив собой луну, и казался сейчас черным камнем.

— Жаль, что ты проснулся, — сказал он бесстрастно. — Ложись снова и закрой глаза. Все равно сегодня я отрублю тебе руку.

«Волхв!! — мелькнула страшная мысль. — Добрыня стал рабом Волхва!!»

Я со стоном выхватил из ножен свой меч и стал в боевую стойку.

Но рассудок тут же вернулся ко мне, я опустил меч, вытер пот с лица и засмеялся:

— Проще отрубить мне голову. У тебя ничего не получится. Ты же видишь, на мне Сила мертвеца.

Добрыня в сердцах ударил мечом по земле так, что по ней пошел гул.

— Будь проклят Святогор! Он тащит тебя за собой!

— Добрыня, Добрыня, я сам ухватился за его руку.

— Рука! — воскликнул Добрыня горько. — Опять рука! Почему я не отнял ее, пока ты спал на берегу моря в Тмуторокани! Или почему мы не погибли вместе в Итили!

— Мы еще сможем погибнуть вместе. И к тому же кто тебе сказал, что это произойдет скоро? С чего ты взял, что я завтра же уйду к Святогору, оставив тебя одного?

— Мертвец — тебя ведет мертвец.

— Меня ведет Учитель, — сказал я и нахмурился.

Добрыня понурился.

— Делай как знаешь, — сказал он наконец. — Только помни: лучше один живой богатырь, чем три мертвых Волхва.

Мороз пошел у меня по коже, но я тут же отмахнулся от наваждения:

— А еще лучше — два живых богатыря и один мертвый Волхв!

— Дай Бог нашему теляти волка съесть, — сказал Добрыня горько, махнул рукой, лег, завернулся в плащ и отвернулся.

Больше до самого Ильменя я не услышал от него ни слова.

Река Волхов вытекает из озера Ильмень уверенным широким потоком, направляющимся на север, и делит Новгород на две части — левобережную, где сидят князья, и правобережную, которой заправляют купцы.

Новгородские купцы в последнее время забрали большую власть: через город проходит путь из варяг в греки. Нет большего торжища между морями Варяжским и Черным. Новгородцы ходят на юг до самого Царьграда, на запад до Богемии и на север до Рифейских гор. Как далеко проникают они на восток, не знает никто.

Князьями новгородцы недовольны. Рюриковичи самовластны и взбалмошны. К тому же княжеская власть не дает новгородцам того, что им на самом деле надо: невозбранных

дальних торговых и промышленных путей. Ни один князь никогда не дотянется до пределов, которых шутя достигают торговые новгородские люди. К тому же князья постоянно ввязываются в свары и междоусобицы. В таких случаях все окрестные земли начинают бурлить и захлебываться кровью, торговля же замирает.

Новгородцев тянет на восток. Там, за чащами лесов, лежит девственная гористая страна. Оттуда новгородские ходоки приносят дивные вещи. Последнее отлично известно разбойникам, и те по-волчьи перекрывают все тропы, идущие с Востока. Разбойники скорее пропустят в Новгород целый караван из Тмуторокани, чем одинокого путника, пересекающего Каменный пояс.

Новгородцы не раз просили Рюриковичей поставить на восточных дорогах заставы. Однако князья только недоуменно морщились и до сих пор не выслали на Восток ни одной дружины. Это глупо: страны те действительно очень богаты. Людей там, почитай, нет совсем, но в земле лежат самоцветы, железо и даже россыпи золота.

Пробраться в те места нелегко. Вековой лес уходит здесь на восток до самого края земли. Никто еще не добрался до его конца, и непонятно, есть ли он. Некоторые новгородцы полагают, что за краем восточного леса лежит рай.

Рай или не рай, но в глубинах леса живут твари, которые давно перевелись на всей остальной земле. Именно туда, за Камень, скрылись летучие змеи. В Русской земле они появляются теперь так редко, что рассказы о них многие уж считают вымыслом. В восточных же лесах змеи до сих пор живут припеваючи; я их сам не раз там видел. Как правило, они селятся на горках, с которых могут озирать окрестность. Держатся они по одному. К логову змея трудно подойти безнаказанно. Говорят, что они откладывают яйца, как обычные гадюки. Но доподлинно этого не знает никто. Те же новгородцы, правда, время от времени приносят домой кусочки толстой желтоватой скорлупы. Целое яйцо должно быть невероятных размеров: надо думать, никак не меньше человеческой головы.

В тех же горных лесах встречаются глубокие темно-синие озера. Иногда из их глубин всплывают удивительные и страшные твари, описать которых невозможно: никто никогда не видел такого чудовища целиком. Рассказывают только о невероятных размерах щупальцах и громадных червеподобных кольцах, временами поднимающихся из воды. Некоторые изображают этих чудовищ отчего-то совсем по-другому — а именно в виде огромнейших богомоллов с выпученными глазами, крыльями и клешнями. Последнее мне совсем непонятно.

Там же можно встретить и диких людей. Тело их покрыто звериной шерстью, роста они громадного и очень сильны, переговариваются друг с другом на зверином языке. Ни огня, ни железа они не знают. Договориться с ними невозможно. По повадкам это хищные звери. Иногда они заходят на восточные окраины Русской земли и крадут там детей.

Одним словом, из Новгорода открывается путь ко многим удивительным вещам далеко на востоке.

Мы с Добрыней сидели в Новгороде третью неделю. Скипа ушел отсюда совсем недавно — возможно, почувствовав наше приближение. Его путь был отмечен растерзанными стаями волков. До следующего полнолуния взять его след было совершенно невозможно. В некоторой растерянности мы прекратили погоню и осели на правобережье Новгорода, в домике знакомого нам торгового ходока. Приехали мы к нему ночью, днем носа на улицу не показывали, и приезд наш остался в тайне. Посещали нас только верные люди, которыми в каждом городе рано или поздно обзаводится всякий богатырь.

Про Ярослава разговоров было немного. Князь по-прежнему кочевал вокруг Ильменя, не в состоянии решить, можно ли верить брату Мстиславу и спокойно идти править в Киев. Мстислав же по непонятной причине молчал. Ярослава это бесило и пугало. Войны, однако, по-прежнему не было.

Ярослав сделался одержим страхом, воду пил только из рек и озер, питался исключительно дичью, которую стрелял сам и сам же зажаривал на костре. В свой шатер он не впускал никого. За последние три месяца рядом с ним не появилось ни одной девки, и по

Новгородчине поползли скромные глумливые слухи. Впрочем, помимо насмешек все это вызывало еще и недовольное ворчание: русские верят, что князь должен быть плоден, и считают, что если он теряет мужскую силу, то и с землей управиться не сможет.

Однако Ярослав не слишком-то занимал мысли новгородцев: для них он оставался полоумным киевским чужаком. Чаще всего разговоры шли про те самые восточные леса. Мы выпрашивали новости из тех земель: Скима-то ведь ушел на восток... Новгородцам тоже был часто нужен наш совет — все ж таки мы умели управляться с самой разной нечистью и ведали тихие пути леса. Они приносили с собой всякие удивительные вещи, найденные у Камня.

За две недели мы перевидали всякого. Показывали нам зубы и позвонок змея и кусочки его скорлупы. Спрашивали, отдавать ли все это знахарям, а если отдавать, то за какие деньги. Вытаскивали из дорожных сум диковинные травы и просили их испытать (мы нашли среди них новое средство от грудного кашля и два медленнодействующих яда). Несколько человек приносили золотой песок, а один привез даже крупный ярко-зеленый смарагд, за который любой русский князь или варяжский конунг отдал бы не меньше трех шлемов серебра.

Однако все это были пустяки. Мы спрашивали, как далеко на восток обычно заходит Скима. Нам дали точный ответ: дальше Камня Скима пока что не бывал. Не видали ль в тех краях каких-либо новых строений, будь то башня, курган из камней или попросту приметный шест? Не видали. Не завелась ли какая новая нечисть в пещерах Каменного пояса? Не видали ль там таящихся людей? Не завелась и не видали, но горы были так велики, а число новгородских странников так ничтожно, что ответ этот немногого стоил.

Наконец настала вторая луна, отпущенная мне Святогором. Мы вышли во двор. Высокий тын скрывал нас от всего мира, только с небес надменно взирало огромное круглое око. Я подставил руку его лучам. Загоревшаяся полоса уверенно показала: на восток. Мы прокляли двухнедельное бездействие и в ту же ночь покинули Новгород.

Скимин след мы взяли сразу: по мертвым волкам. Скима рвал волков дюжинами, растил свою Силу и быстро двигался к Камню. Мы заслонились Силой в надежде, что он нас не почует, и быстро шли за ним.

Спросить о Скиме было не у кого. Разговаривать с птицами, которые, несомненно, знали, куда идет оборотень, я боялся: ему могли донести про разговор. Не так-то уж безобидны безмозглые пичужки... Впрочем, распознавать Скимин след было легко: оборотень хоть почти и не оставлял отпечатков на земле, все же летать не умел, был громадного роста и по дороге злобно ломал ветви, лезшие ему в глаза. Время от времени в кустах попадалась жесткая длинная серебристая шерсть.

Добрыня неохотно говорил со мной. Он держал слово и, конечно, больше не пытался отнять мою злополучную, сулившую нехорошее руку. Но как я ни подъезжал к нему с шутками-прибаутками и разговорами про Силу, он отмалчивался. Не сомневаюсь, он размышлял о том, как ввязаться в бой со Скимой первым.

Так миновала целая луна. Третье, последнее, полнолуние застало нас в предгорьях Камня у истока Печоры. В эту ночь серебряная полоска на моей руке превратилась в тонкую правильную стрелу. Острие ее показывало на север. Скима был близко и двигался по самой кромке Каменного пояса.

Могло статься, что мы скоро увидим зверя. Судя по следам, теперь мы отставали от него не больше чем на десять дней. Добрыня нарушил обет молчания для того, чтобы хмуро попросить об одолжении: не отдавать его в руки Волхва раненым и, в случае чего, добить. Он пообещал сделать то же самое для меня.

Скима шел быстро и перестал петлять. Как видно, ему нужно было добраться в какое-то определенное место в срок. Мы заподозрили, что на Камне Волхв воздвиг новый Оплот. Подобных святилищ Силы, Оплотов, осталось в известных нам землях не так-то много. Отнюдь не все они служат злу. Но даже те Оплоты, Сила которых черна, давно захлопнули свои двери для Волхва: владыки Оплотов устали от его бесконечных козней. Даже с союзниками Волхв не умел жить в мире и беспрестанно пытался выжить их из выстроенных

ими же стен. Это и понятно: без собственного Оплота Волхв не мог добиться своего — полной власти над Русской землей.

Оплоты строятся в местах диких, малолюдных и отдаленных, большей частью на горах или скалах (хотя Идолище, например, стоит в южных степях). Как правило, строители Оплотов стараются выбрать уединенное урочище и уйти в нем глубоко под землю. Правда, последнее в горах не всегда возможно, поэтому зловещая Крепость в Таврии, например, выросла вверх.

И Добрыне, и мне бывать в Оплотах приходилось не раз. Это страшные места, даже если Сила их не зла. Отчасти они напоминают Итили. Однако если никто из живущих не знает, зачем на свете существует Итили, то каждый Оплот выстроен с определенной целью: править той или иной землей. Итили же до Тмуторокани дела нет.

Есть и другое, более важное, отличие: подземелья Итили уходят в самые недра земли, где бушует незамутненная Сила и где, как говорят некоторые, находится ад. Подземелья Оплотов же не ведут никуда, и в них никогда не появится чудовище, подобное Ларне.

Каменный пояс изобилует неприметными пещерами, уходящими, как говорят, очень глубоко. В местах этих никто не живет, тем не менее над горами здесь разлита какая-то угрюмая свинцовая Сила. Она, скорее, не поднимает, а давит, вгоняет в землю, в камень. Когда бы мне пришлось строить здесь свой Оплот (от чего Бог меня сохрани), то я бы ушел в глубь горы, оставив на поверхности лишь узкий лаз.

Насколько я знаю, до сих пор ни один из Сильных на Камне не жил. А напрасно: если взобраться на одну из вершин, то между тобой и Русской землей будет лежать только громадная плоская равнина, и ничто не мешает тебе насыпать отсюда Силу на Суздаль и Новгород. Идя по кромке гор, мы все чаще посматривали на поросшие лесом вершины, ожидая увидеть на них нового черного властелина.

Мы стали наткаться на всякие неприятные диковины. Первым делом из-за Камня пожаловал змей. Мы заранее изготовились к встрече, потому что птицы с пронзительными криками в ужасе посыпались с деревьев вниз и заметались по кустам, как перепуганные курицы. Тут же в отдалении жалобно завывали волки. Через несколько мгновений нас накрыла громадная тень. Над лесом пронесся протяжный злобный рев.

Широко раскинув свои перепончатые крылья, змей принялся кружить над лесом, то и дело ныряя вниз. По всей вероятности, он высматривал нас с Добрыней. Не то Скима почуял погоню, не то крылатая тварь забеспокоилась сама по себе: на змее лежит немалая дикая Сила, и богатырей он ненавидит.

Змей был громадный, с варяжскую ладью величиной, и старый: крылья его были черны, клыки пожелтели. Мы загородились от него умным словом, но змей почуял неладное и прокружил над лесом целый день. Только к ночи он тоскливо взревел, с натугой захлопал крыльями, поднялся ввысь и тяжело перевалил через горный кряж. До самой полуночи над лесом витал отвратительный дух падали. Лишь поздно ночью ветер уволок его на север, в вечные льды.

На другой день мы натолкнулись на другую напасть: заговоренную самоцветную жилу.

Тропа шла по самой кромке гор, и тут вдруг перед нами выросла невидимая преграда. Перешагнуть через нее мы не могли; чтобы обойти, надо было спуститься вниз и потерять на этом полдня. Пришлось разговаривать с камнем.

По всей вероятности, ни Волхв, ни какой другой Сильный не имел к преграде никакого отношения. Сила уходила глубоко под землю и вряд ли была навлечена человеком. Обычно такую оборону ставят над собой самоцветы. В местах, где они залегают, прозрачные камни (особенно красные) выставляют на земле заслон, обороняясь от жадных рук. Как мы ни бились, пройти не могли, и тогда Добрыня достал из-под кольчуги алмазный крест, который я отдал ему в Итили. К моему удивлению, алмазы смели заслон, как буря разметывает сугроб. Раньше никакой Силы на моем кресте не было. Что ж, камни переменчивы и влюбчивы. Хорошо, что я отдал свой крестик Добрыне...

Встречались и другие чудеса. Так, невесть откуда взялся двухголовый гусь, прилетела

красная бархатная бабочка с мою рукавицу величиной, несколько раз случались странные опасные камнепады. Однако, почти не обращая на все это внимания, мы спешили вперед.

Внезапно Скимин след прервался. В этом месте лес по непонятной причине неожиданно отступил от гор. Справа к проплешине спускались скалы и осыпи. Как видно, здесь Скипа полез вверх.

Зверь был в этом месте три дня назад. Если он ушел в свое горное логово, сейчас он должен был сидеть прямо над нами. Но возможно было и другое: Скипа мог перевалить через горы и спуститься на обширную болотистую равнину, уходящую на восход. Там его было бы уже трудно сыскать. Надо было спешить.

Мы решили оставить коней в лесу — с ними нам на гору не подняться. Если обнаружится, что Скипа ушел дальше на восток, что ж, тогда мы пойдем за ним пешком.

Отведя коней подальше в чащу, мы ползком подобралась к самому краю леса.

Гора уходила здесь круто вверх, оканчиваясь безымянной лысой вершиной. Тут и там чернели трещины. Вход в Скимину пещеру мог открываться где угодно. Если Волхв сейчас находился в ней, то за предгорьями в настоящий миг следил его пристальный черный глаз. Мы не знали, в каком обличье встретим его: в человеческом или зверином. Надо было быть готовыми ко всему. В лесу мы дождались сумерек.

В сумерках даже спящая Сила пробуждается. Это лучшее время для погони. Но одновременно это и лучший час для обороны. Как знать, чья возьмет...

Еще днем, в чаще, я приманил семерых сонных совят.

Проснувшиеся подростки были бесстрашны и глупы. Я внушил им, что в холодных скалах есть пещера, согретая чьим-то теплым дыханием, и что пещера эта полна вкусных крупных рогатых жуков (не бойся врать, когда говоришь с птицами). Совята шипели и пощелкивали клювами в предвкушении скорого приятного разбоя. Я разом выпустил их в небо, и они устремились вверх — бесшумные крылатые тени. Двое принялись бестолково летать взад-вперед, один, испугавшись чего-то, сразу нырнул обратно в лес, а четверо наперегонки устремились к темнеющей щели, похожей на перекошенный усмешкой рот. Они зависли перед входом и вдруг в ужасе отпрянули; один, видимо, мертвый, тут же камнем полетел вниз, а трое, беспорядочно хлопая крыльями, понеслись в разные стороны, то и дело припадая к скалам.

Можно было считать, что дело сделано. Никто, кроме Волхва, не может убить сову взглядом.

Мы полезем наверх, решено.

Надо было дожидаться полного мрака. Мы лежали неподвижно. Отчего-то никакого страха я не испытывал. Лицо Добрыни было мрачно, но спокойно. Я не знал, о чем думает он, но я-то сам думал о враге.

Странные пожары, когда в дождливую погоду вдруг выгорает целый город. Брат, восставший на брата. Обезумевшие дружины, крушащие свою собственную оборону. Правители, вдруг начисто лишившиеся воли, неподвижно сидящие в своих палатах и изрекающие дикие приказы (видно, что кто-то говорит их устами). Кровь — струйки, ручейки, реки крови. Русские рати, уничтожающие друг друга. Рука князя Владимира, подносящая кубок с отравой к устам. Озаренные огнем пыточные подземелья, хруст ломаемых костей, свист плети, запах паленой плоти, крики привязанных к залитым кровью скамейкам богатырей. Засады в дубравах. Стрелы, летящие в ночи. Илья, брошенный спиной на камень и затем пригвожденный мечом к земле... И за всем этим — беспокойные черные глаза, редущая борода, вечная усмешечка и прибаутки невысокого щуплого человека, родившегося на Русской земле около шестидесяти лет назад, прошедшего ученичество в самых изощренных Оплотах, небывалого кудесника, не дающегося в руки, непобедимого, изворотливого, искушенного Волхва...

А теперь Скипа-зверь, оборотень, страшный перевертыш, рвущий глотки матерым волкам, за несколько недель покрывающий огромные расстояния от моря до моря... Только Сильнейшим из Сильных дается дар сделаться оборотнем, почти непобедим такой человек-

зверь... Пал уже Добрынин Учитель Никита, пали и многие другие до него. Но я отличаюсь от них: меня коснулось пламя Итили...

Я тронул Добрыню за плечо: близится полночь, пора.

Нам не надо было договариваться ни о чем. Прежняя Сила, которой мы владели столько лет, сейчас помочь не могла. Волхв всегда уходил от нас и даже умертвил при этом двух богатырей. Если нам не поможет серебряная пыль Итили — мы пропали. Волхв сейчас сидит в пещере и смотрит на ночной лес. Лук и стрелы у него под рукой... Мы поползли вверх.

Мои чувства обострились до предела. Я ощущал присутствие Волхва совсем неподалеку, я вообще различал сейчас множество скрытых вещей. Внутренним зрением я видел, как сияют красные и зеленые самоцветы в горной породе, слышал, как под землей тихонько пересыпается с места на место золотой песок, потревоженный моим движением по камням...

Подъем был крутой, мы несколько раз чуть не срывались вниз. Почти с самого начала в ноздри ударил сильный запах падали. Он усиливался по мере того, как мы приближались к Волхвовой норе. Наконец мы заметили небольшой багровый луч. Он выбивался из скал, за которыми в этот час колдовал Волхв.

Руки мои нащупали ровный выступ. Я подтянулся и оказался на площадке у самого входа в пещеру. В этот миг из пещеры полыхнуло ослепительное багровое пламя и пронзительный тоскливый крик огласил горы. От скалы отскочил огромный камень и покатился на нас, круша все на своем пути. Еле увернувшись, мы прыгнули ко входу, и тут в проеме появился Волхв.

Волосы его развевались, в руке был длинный посох, из-за его спины, из-под земли, шел мерный низкий гул.

— Хартуман! — закричал Волхв повелительно, поднимая посох к небу. — Хартуман!!

Лицо его было перекошено гневом. Он направил свой посох на нас, наши ноги подкосились, и мы упали на колени. Мечи перестали слушаться нас и ожили, и чем сильнее мы сжимали их рукояти, тем бешеней они плясали в воздухе. Мой меч совсем обезумел и норовил перерезать мне горло. Добрыня еле увертывался от жала своего Травня. Он запрокинул голову далеко назад, меч же вертелся в его руках как живой и метил ему прямо в грудь.

— Хартуман! — вскричал снова Волхв. — Хартуман инскоборан!!!

Добрыня хрипел, жало меча приближалось к его сердцу в сатанинском танце. Я бросил свой Синоп на землю. Он подпрыгнул, встал на рукоять и со всей силы ударил меня в колючугу. Теряя сознание, с возгласом отвращения, я ухватился за его лезвие рукой, как схватил бы нападающую змею. И как только лезвие меча полоснуло по моей истерзанной Итилью руке, поднялся страшный вихрь, в вое которого потонуло все, даже гул гор, и, освобожденный, я вскочил с колен и бросился на Волхва.

Но не успел я совершить последний прыжок, как багровое пламя вспыхнуло еще сильнее, Волхв содрогнулся, рот его исказился болью, тело заплесало и на моих глазах выросло в Скиму... Громадный, выше меня на две головы, серебряный зверь пошел вперед с оглушительным ревом, когти его зашевелились, шерсть загорелась белым огнем и стала дыбом, и в самую душу мне взглянули его бесстрастные зеленые глаза...

Я стоял, оцепенев, а Скима на мгновение завис надо мной, простирая над моей головой свои огромные лапы с сияющими когтями, но прежде чем он успел обрушиться на меня, я, подпрыгнув, ударил своим посеребренным и окровавленным кулаком в самое его мохнатое горло.

Оглушительный рев потряс горы. Скима рухнул на меня, и, погребенный под его шевелящейся тушей, я мгновенно отошел в мир теней. «Здравствуй, смерть», — успел подумать я.

По-моему, я очнулся от нестерпимой вони. Глаза мои с трудом разлепились, и я увидел, что солнце стоит высоко, что прямо передо мной в вышину уходит гора и что на мне лежит

чье-то скорчившееся тело. Через мгновение я понял, что прямо в лицо мне смотрит мертвый Волхв.

С содроганием я вскочил. Погибший кудесник глухо стукнулся о землю, как сломанная кукла.

— Добрыня! — закричал я. — Добрыня!

Ответа не было. Оглянувшись, я увидел, что Добрыня лежит на земле, припорошенный каменной пылью. Я бросился к нему; он был жив...

Если бы кто-нибудь увидел нас в тот день, он бы, несомненно, подумал, что мы лишились рассудка. Весь день мы просидели над телом врага, не спуская с него глаз.

Волхв лежал ничком, окоченевший, недвижимый, ничтожный. К вечеру мой нос уловил слабый запах тления.

Мы провели на скале три дня. Когда тело Волхва начало невыносимо смердеть, мы запеленали его лицо и руки Сильными травами, забросали труп сосновыми ветками и подожгли.

Труп Волхва горел девять дней. Только после этого костер вдруг погас и нам досталась черная зола. Мы истолкли ее в порошок, кинули на скалу, залили расплавленным серебром и засыпали сверху щебнем. Потом, поднатужившись, мы свалили сверху громадный камень, с грохотом упавший прямо на затвердевавшую серебряную лужу. Теперь мы были уверены, что вход в этот мир для Волхва запечатан навсегда.

Мы осмотрели пещеру. Она была не так велика, как мы ожидали. Однако Волхв пробивал ход вбок. Как видно, он хотел соединить две подземные полости.

Работа только начиналась, и Оплота как такового пока что не было. Не осталось после Волхва и какого-то особого скарба. Оружие, мешок с травами и кореньями, сверток с золотом и смарагдами. Мы долго думали, что с этим со всем делать, потом спустились вниз и вырыли на поляне яму ровно в Волхвовый рост, покидали все в нее, завалили ветками и подожгли. Мы едва успели отбежать на безопасное расстояние, как из ямы повалил зеленоватый густой дым. Трава на поляне немедленно пожухла, почернели и ближние сосны. Что ж, уберечь этот лес мы уже никак не могли. Через три года на этом месте будет вовсе зиять обугленная пустошь.

Разумеется, оружие, золото и камни в огне не погибли. Мы залили их серебром: лучшего средства от оборотня еще не придумано. После этого мы разбили в лесу лагерь и принялись ждать.

Лес начал гибнуть на следующее утро. Листва осыпалась на глазах, стремительно багровея. Хвоя чернела и опадала густым дождем. Земля высыхала и становилась неплодной.

Ближе к осени пошли дожди. Некоторые деревья к тому времени уже завалились набок или вовсе упали, однако кое-что в погибающем лесу все же возшло: бледные вытянутые грибы с мутно-зеленой головкой. От них шел явственный запах гнили. Они росли днем, на глазах, с небывалой силой.

Дело было завершено. Больше на Волхвовой могиле делать было нечего.

По первому снегу мы выехали в Русскую землю.

Глава 6 ДОБРЫНЯ

Очнувшись тогда на скале, я первым делом глянул не на поверженного врага, а на Алешину руку. Слезы облегчения выступили у меня на глазах: серебряная пыль исчезла, словно ее и не бывало, и рука сделалась обыкновенной, исцарапанной, загорелой, покрытой шрамами, мощной рукой богатыря. Война с Волхвом была окончена. Нам предстоял долгий век.

Зимний солнцеворот застал нас в Чернигове. Там мы узнали весть, которой ждали: неделю назад два брата съехались в Городце под Киевом, заключили бессрочный союз и мирно разделили государство. Ярослав получил земли к западу от Днепра. Мстислав взял восток.

Десятилетняя смута кончилась. Русская земля утихомирилась. Мы знали: битв теперь долго не будет. Волхв погиб; вместе с ним была истолчена в пыль и злая Сила, столько лет будоражившая Русскую землю. Теперь можно было не заботиться о князьях и престолах.

Конечно, у нас не было сомнений, что рано или поздно великое зло найдет себе новую оболочку. Предугадать его пути мы не могли. Однако еще лет тридцать зло будет вызревать в тишине и уединении: должно было вымереть поколение, помнившее прежнего его посланца. По-другому на земле не бывает.

Однако сегодняшние младенцы должны будут встретиться с новым злом, едва достигнув тридцати лет. К тому времени среди них должны оказаться Сильные, которым будет по плечу охота на нового зверя. Это как раз была наша забота. Пришла пора искать учеников.

Мы решили отныне не расставаться. Тайн друг от друга у нас больше не было. Теперь все дороги будут общими. Будущие богатыри станут учиться у нас обоих. Такого еще не бывало, и их Сила удвоится, если не утроится.

Учителя никогда не рассказывали нам, как они нас нашли. Мы знали одно — когда пришла пора, Учителя стали колесить по земле, прислушиваясь к голосу своей Силы и забираясь подчас в самые неожиданные места: если Святогор подобрал Алешу на торных днепровских порогах, то Никита вообще заехал за мной в невообразимое захолустье, в крохотную жалкую деревеньку, совершенно потерявшуюся в северных болотистых лесах. Мы подозревали, что нам предстоит долгий путь. Золотая ель чаще родится, чем богатырь.

В стародавние времена богатырей было двое: Микула и Вольга. Потом пришел Святогор, за ним — мой Учитель. Ровесником Учителя был Илья, который полжизни просидел, обезноживший, на печи, и поэтому свои подвиги совершал уже вместе с нами, молодыми. В нашем поколении богатырей было всего двое: Алеша и я. Получалось, что за сто лет на Руси богатырствовало всего семь человек.

Мы принялись неторопливо объезжать землю.

Весна в том году выдалась необыкновенная. Почувствовав смерть Волхва, поля, леса и сады изнемогали под тяжестью новых стеблей, завязей и почек. Цветы взошли небывалые — едва ли не в два раза больше обычного. Их запах разносился по всей земле — от снежных берегов Дышащего моря до теплых скал Колхиды. Тысячи женщин вынашивали детей, которые должны были родиться к концу лета. Уже сейчас было понятно, что их отцам будет чем их прокормить: урожай ожидался бешеный. Земляника выросла с орех величиной. Молодая плотва не умещалась на ладони. Собранный по весне мед был прозрачен, как слеза, и необыкновенно сладок. Его собрали так много, что не в чем было хранить, и у бочаров прибавилось работы.

Нечисть поуспокоилась. Лешие перестали тревожить людей, заботясь теперь исключительно о многочисленных молодых деревцах. Русалки, также забыв о людях, самозабвенно играли с рыбой, и огромные серебряные лебеди послушно и тяжело плескались в обычно скучных заводях. Водяной не казал носа наверх, увлеченный необычайным подводным приплодом, он целыми днями пас стаи бесчисленных ловких мальков на теплых ласковых отмелях.

В тот год выздоравливали смертельно больные, прекратились ссоры, пожаров не было вовсе. На южных рубежах степняки братались с русскими. Со всех концов в города потянулись купцы. Смех и гомон на дорогах не умолкали даже ночью. Многие безбоязненно ехали по темным лесам, не дожидаясь рассвета.

О смерти Волхва было сказано немногим: Ярославу с Мстиславом да некоторым Сильным людям. Остальным правду было знать ни к чему. Им следовало просто забыть имя врага, как будто он никогда и не ходил по земле.

В княжеских делах мы больше не участвовали, а неторопливо ездили себе взад-вперед, забираясь в самые отдаленные уголки. Отвлекаться почти не приходилось: в кои-то веки никому не требовалась богатырская помощь. Наконец-то можно было передохнуть.

Разделавшись с врагом, мы познали безмятежный покой.

Так прошли весна и половина лета. Однако несмотря на плоднй сладкий год ученики нам не попадались. Ни разу не дошло даже до испытаний. Мальцы были веселы и шустры, но дальше княжеского терема ни одному было не пойти. Более того, за полгода мы вообще не встретили ни одного нового Сильного. Могло показаться, что Сила вообще стала не надобна на земле.

Мы сделались задумчивы. Алеша стал посматривать на меня искоса, и я приготовился к нехорошему. Действительно, однажды на обочине степей, под Галичем, мой друг весело сказал:

— А ты знаешь, почему нам нет удачи?

— Почему? — спросил я, нахмурившись и уже предчувствуя новую заботу.

— А потому, — сказал Алеша торжественно, — что мы не доделали одно дело.

— Это какое?

— Итиль.

Я вздрогнул и впился глазами в веселое лицо друга. Итиль! Из которой мы едва выбрались! Где мы повстречали Ужас глубин! Где в руку Алеше впиалась серебряная пыль, оказавшаяся гибельной даже для Волхва! Снова идти в Итиль?!

Конечно, я понимал, что имеет в виду мой друг. Теперь Итиль оставалась главной обителью скорби в известных нам землях. И впрямь легко могло статься, что наша удача пресеклась, потому что мы забыли о ее узниках.

К тому же война с Итилью выглядела не такой уж и безнадежной. Да, победить Итиль невозможно. Ее Сила идет из чрева земли и, возможно, исходит от самой Зги. С Ларной не совладает никто. Подземелья, уходящие во мрак, запечатать нельзя. Однако Итиль можно обезлюдить.

Сколько пленников томится там, не знает никто. О людях этих забыли все смертные, даже матери их уже давно похоронили. Однако боль и плач узников расплзаются по земле. Их беда вопиет к небу об отмищении. Узилище нужно закрыть. Скверна Итили будет по-прежнему колыхаться под землей, однако больше не потревожит людей. Проникнуть в Итиль, освободить узников и потом уничтожить все входы и выходы — при удаче это можно сделать.

Мы стали совещаться. Вечером поворотили коней на юг и помчались в Тматорокань.

Как я уже говорил, Тматорокани я не люблю. Даже если освободить всех узников Итили, снести ее страшный купол и построить на этом месте курган со святилищами всех светлых богов, добрым городом Тматорокань все равно не станет: страшная Ларна по-прежнему будет блуждать в глубоких подземельях под городом. Тматорокани на роду написано прожить долгую скверную жизнь. Хорошо было бы вообще бросить это место и перенести город в степь, однако Ларна от себя никого не отпустит. Я вообще считаю, что здешние подземелья выстроены в форме волшебного кристалла и что преодолеть их Силу невозможно.

Было решено не бросаться в бой сразу, а немного пожить в Тматорокани и осмотреться. Провести незамеченными здесь больше трех дней мы не могли: Тматорокань — не сонный Новгород, в котором при некоторой удаче мог бы спрятаться даже огненный змей. Поэтому мы, не таясь, открыто расположились в княжеском тереме.

Мстислав принял нас радушно. В отличие от большинства, он знал, отчего на Русской земле перестала литься кровь, все ссоры стали решаться миром и начала плодоносить самая никудышная земля. Даже в Тматорокани этим летом зелень поперла из камней, песка и глины, а на княжьем дворе вообще расцвел пышный сад.

На третий день мы приступили к Мстиславу с разговорами об Итили.

— Разрушить двери Итили?! — изумился Мстислав. — Да вы хоть знаете, о чем просите тматороканского князя?!

Истории, которую он поведал, мы действительно не знали.

Много лет назад, когда Владимир только-только прислал юного сына править завоеванной Таматархой, к Мстиславу явился древний старец. Он назвался Наземным

Стражем. По словам старца, в его роду из поколения в поколение всегда рождалось двое братьев. Старшего забирали служить в Итили, младший оставался на земле. Если кто в городе и знал что-то об Итили, так это он. Оставшийся на земле посылал в узилище провизию, вино, воду и прочее. Наземный Страж заявил Мстиславу, что Таматархой можно править только до тех пор, пока стоит Итиль. Если правитель распахнет двери тюрьмы, престол его падет. Может быть, не устоят даже каменные стены Таматархи.

— Я Итили боюсь, — внушительно сказал Мстислав. — Без крайней надобности с узилищем этим не связываюсь. Пленников туда бросаю только в самых исключительных случаях. Вас вот бросил, потому что Сильные вы и справиться с вами по-другому не рассчитывал... Но вы правы. Скверные дела творятся в подземельях, скверные, чтобы не сказать — адские... Слушайте меня: обещаю больше в Итиль не посылать никого. Подождите — ныне плачущие там перемрут, и опустеет Итиль. Купол останется, двери останутся, ходы подземные останутся — но ни крови, ни воплей больше не будет. Не стану я разрушать дверей Итили; пускай сами бурьяном порастут.

Мы переглянулись. Ждать? Если сделать так, как предлагал Мстислав, ждать надо было лет тридцать, если не все пятьдесят. На это могло не хватить даже жизни пока что не найденных нами учеников. К тому же, как знать, на что решится зловещая стража Итили, когда опустеют пыточные подземелья, — не выйдет ли она на страшный промысел в город?

И тут Алеша послал мне лукавую мысль. Я легонько кивнул.

— Не враги мы престолу твоему, — обратился Алеша к князю. — О просьбе нашей забудь. Устоят Таматарховы стены. Слова тебе об Итили больше не скажем.

— А сами? — подозрительно спросил Мстислав. — Сами в Итиль не полезете?

— Так мы там уже как родные, — засмеялся Алеша. — Легкая у тебя рука.

Мстислав покраснел от стыда.

— Мечи мы там забыли, — продолжал Алеша. — Если и спустимся в Итиль, то на одну только минуточку. А к тебе это отношения не имеет. Ты нам соваться туда запретил, и в случае чего не тебе, а нам ответ держать.

Мы объяснили пытливому князю, с кого в таких случаях спрашивают боги, он успокоился и даже сказал:

— Коли полезете, просьба у меня будет. Лет этак пятнадцать назад сослал я в Итиль деву одну. Сильной она была и меня любила, и испугался я. Волосы у нее как смоль, роста высокого необыкновенно, Праксией зовут.

— Пополам уж переломили давно Праксию твою, — сказал я мстительно, — а волосы у нее уж к концу первого дня седыми от пыток сделались.

— Тьфу! — плюнул в сердцах Мстислав. — Невозможный ты богатырь, Добрыня! Моя б воля была — вовсе с тобой не заговорил бы вовек!

— Не серчай, — успокоил его Алеша. — Не по злобе Добрыня говорит. Обещаю тебе: коли жива колдунья твоя, ночью темной на двор к тебе приведем.

Мстислав фыркнул и кольнул меня непрощающим глазом. Алеша же невинно полюбопытствовал:

— А что ж деву-то сослал, князь, не помогла тебе разве жемчужная серьга? Она же вроде от любви опасной бережет.

Мстислав так и ахнул:

— Выходит, действительно ничего не спрячешь от богатырей!

Алеша горделиво усмехнулся:

— А ты как думал-то? Так что с серьгой-то получилось? Любопытно мне.

Мстислав помрачнел:

— Своими руками отдал я серьгу Праксии... Уж потом из Итили вернули...

— Видать, Сильна была подруга твоя.

— Сильна... А все одно из Итили не вышла.

— Не всем такое счастье дается, — легко согласился Алеша. — А кстати, как кремень Перунов поживает?

Мстислав поколебался, говорить или нет, потом все же нехотя признался:

— Обманули меня, должно быть. Я ж помню, как Добрыня тогда от жрецов нос воротил...

— За это на меня зла не держи, — попросил я. — Не встречаю я в такие дела. Сам должен человек с богами разбираться. Тем более — князь.

— Да, — вздохнул Мстислав. — Боги, боги... Махнул я на все это рукой. Хотел было Русь к Перуну назад поворотить, да потом раздумал. Не стану я народ взад-вперед, как стадо, гонять. Да и знака никакого не подал мне Перун.

— Это уж как водится, — весело сказал Алеша. — Скупы на такие дела боги.

— Через главный вход не пройти. Ворота Итиля заперты, причем изнутри. Из потайных ходов мы знаем два. В первый провалились сами и туда больше по своей воле не пойдем. Через второй на берег моря вышли тогда сквозь дверцу серебряную.... С этого конца и пробовать надо. С моря войти, через дверцу рассыпавшуюся, а оттуда одна дорога: по ступеням вниз, на глубину. В самом низу, помнишь — площадка. Там Ларна сторожит... Оттуда — три пути. Про два первых и знать не хочу, а третий, правый, вверх ведет, напрямик в тюрьму, мы по нему-то как раз тогда и бежали... Пройти можно — с хитростью некоторой...

— А Ларна?

— Ну не привязана же она там.

— Я знаю, что у тебя на уме, Алеша. Ты хочешь, чтоб я в городе остался и в главный вход стучал, Ларну отвлекая, а ты чтоб в это время с моря в Итиль один вошел... Не выйдет. Одного я тебя в Итиль не пущу.

— Значит, ни тебе, ни мне не пройти.

— Значит, так.

— Оба бился ты, Добрыня.

— Значит, оба бился.

— Ну и ну... Ладно, вместе с моря попробуем. А Ларну пройдем: Святогоровым именем нарекусь ради случая такого...

— Думаешь, испугается Ларна Святогора?

— Если Святогора не испугается — тогда, значит, вовсе никого Ларна не боится и гиблое дело наше... Так как?

— Ладно, пойдем...

Время, назначенное нами для выступления — полдень, — было выбрано не случайно. В этот час всех подземных тварей одолевает дремота. К тому же они убираются как можно дальше от поверхности земли. Может быть, даже сама Ларна скрывается в одном из коридоров, о которых страшно и подумать, и дремлет там на сырых камнях.

Мы долго искали вход. Три года назад Итиль нас едва не погубила, и, когда мы вырвались из нее, нам было, конечно, не до того, чтобы делать на морском берегу заметы. К тому же тогда никто из нас и думать не думал, что мы вернемся в Итиль еще раз.

Рыхлый невысокий, идущий вдоль моря обрыв, который таил вход в Итиль, был однообразен. Везде одно и то же — рыжеватый щербатый склон в человеческий рост, на нем присыпанная песком жесткая трава, а под ним — влажная песчаная отмель. Мы были там уже с рассветом, но к полудню никакого входа так и не нашли. Нам начало казаться, что Итиль сыграл с нами шутку и что на самом деле три года назад он выплюнул нас на поверхность совсем в другом месте.

Дело осложнялось еще и тем, что на этот раз поиск вели следопыты, а не богатыри: нам нельзя было пробовать землю Силой — Ларна бы немедленно учуяла нас и помчалась бы наверх. Тогда этот вход оказался бы закрыт для нас навсегда. Поэтому мы блуждали по берегу вслепую. Какие отметины можно было найти на земле спустя три года? Уж не серебряную пыль, не наши следы и тем более не сам лаз. Не подлежало сомнению, что Итиль успела залечить полученную рану. В худшем случае нас вообще поджидал там восстановленный серебряный щит.

В это трудно поверить, но мы, Сильные богатыри, от которых земля не скрывала почти ничего, проискали проклятую нору десять дней. На одиннадцатый Алеша сел на песок, уткнул голову в колени и задумался. Потом он молча ушел в степь и вернулся с черным мохнатым пауком.

Он посадил ядовитого гада на откос и хворостинкой погнал вперед. Через пятнадцать саженей паук уперся и дальше не пошел, а потом осторожно обежал откос по дуге. По его следу можно было выстроить ровную полукруглую дверь. Вход в Итиль был найден.

На другой день небо заволокли тучи, полил дождь. Он шел три дня. Солнце не показывалось ни на мгновение. На четвертый день ранним утром дождь прекратился, и к полудню мы уже стояли на отмели перед тем самым местом, которое так старательно обозначил для нас паук.

— Пора!

Алеша опустился на колени и принялся осторожно разгребать песок. Вскоре на лице его обозначилось недоумение: он выгреб песка уже на три локтя, но ничего особенного не открывалось — только мокрые сгустки глины, корни, кремни. Я принялся помогать.

Лишь когда мы углубились в откос на сажень, обозначился несомненный завал. Когда мы разгребли землю с краев, обнаружилась скала. Завал аркой уходил в нее. Можно было перевести дух: вход в узилище был найден.

Завал был черен. Он состоял из оплавленных комков того же самого проклятого серебра. Ни щелей, ни тем более створок или скважин в нем не было. От него явственно веяло Силой глубин. Это и был запиравший его ключ.

Алеша попытался просунуть меч меж аркой и стеной — но с тем же успехом можно было ломать серебро пальцами. Он обернулся ко мне и пожал плечами. Нам оставалось только одно: попробовать прорваться Силой.

Однако, что бы мы ни делали, вход оставался наглухо замурован. Правда, не проснулась и Ларна... Тогда мы соединили острия наших мечей и уперли их в серебро. Через некоторое время по мечам пополз легкий дымок, и их лезвия стали потихоньку уходить вглубь. Ведя мечи по кругу, мы вырезали небольшое отверстие (комки серебра с шипением посыпались на песок), резко отступили назад и прислушались.

Мы не чуяли решительно ничего — ни Силой, ни слухом. В воздухе не ощущалось даже обычного присутствия сырого подземельного духа. Может быть, оказавшаяся ненадежной лестница была теперь замурована у самого основания и, таким образом, этот вход в Итиль был вообще перекрыт?

Переглянувшись, мы стали расширять отверстие. Как только вырезанный нашими мечами кусок серебра звучно упал на песок, я стремительно нагнулся и просунул голову в образовавшийся проем.

Вынырнул я оттуда как ужаленный. В локте от оплавившегося серебряного завала стояла неровная стена. Она была сложена из черепов.

С этой преградой наши мечи ничего поделывать не смогли. Как мы ни тужились, как ни напрягали Силу, но черепа не сдвинулись с места ни на палец. Такую оборону Итили нам было не сломить. Думаю, с ней не справился бы и сам Святогор.

Мы отступились. Как только мы шагнули прочь от серебряного щита, по земле пробежала частая дрожь, завал задрожал, прорезанная дыра стала стремительно сужаться, но прежде чем мы успели понять, что к чему, из-под ног у нас вырвался вихрь песка и метнулся прямо на дверь. Через мгновение перед нам вновь стоял ровный и скучный непотревоженный приморский склон.

На другой день, опять ровно в полдень, мы направились в дом, в котором обитал Наземный Страж Итили.

Когда Тматорокань не воюет, она торгует. Когда она не торгует, она гуляет. Не спит она, по-моему, вообще никогда.

Как и следовало ожидать, дом Стража находился в самой разгульной части города, там, где кабачки и притоны заседали друг на друга, как пчелиные соты, где крыши домов почти

смыкались над головой, помещая прохожего в темный узкий коридор, из которого пришлый человек не смог бы отыскать выход наружу без посторонней помощи. Княжеская стража не заглядывала сюда почти никогда. Княжеское правосудие — если такое вообще существовало — об этих улицах забыло.

Еле протиснувшись сквозь толпу девок и гуляк, мы нырнули в проходной двор, увитый красными вьюнками, и оказались перед крепким домом из ноздреватого известняка. Окон с наружной стороны дома не было, и на нас смотрела лишь одна окованная железом дверь.

Когда Алеша ударил в нее кулаком, по дому прошел гул, и мне показалось, что эхо его отозвалось у меня под ногами. Никто не спешил нам открывать. Тогда я нагнулся к замочной скважине и крикнул:

— От князя, эй! Открывай, а то сейчас дверь вы садим!

Через некоторое время послышались тихие шаги. Дверь отворилась. На пороге стоял человек неопределенного возраста, но в любом случае никак не старик. Несомненно, разговаривавший с Мстиславом Страж уже давно отошел в мир теней, передав все ключи младшему сыну.

Мы втиснулись внутрь; хозяин не сопротивлялся.

— Князь прислал. Говорить будем.

Он медленно затворил наружную дверь. Мы стояли в узком проходе, скупо освещенном желтым масляным светильником. Хозяин не двигался с места, видно, не желая допускать нас во внутренние покои. Теперь было видно, что у него самое обычное для Тматорокани лицо — горбоносое, невозмутимое, замкнутое. Что думал он о нас, понять было невозможно.

— За пленницей мы пришли, — сказал я строго. — Праксией зовут. Князь к утру на свой двор требует. Тюремщик не шелохнулся.

— Ты что, оглох, Страж? Или о богатырях не слыхал?!

— Кончай в молчанку играть, кончай, — быстро заговорил Алеша. — Не чужие мы Итили, сами из нее бежали.

Страж стоял неподвижно, лицо его оставалось невозмутимым, как будто мы говорили на непонятном языке.

— Ох, сейчас я его жизни лишу... — Я взял Стража за плечо и сжал так, что кости захрустели. Зрачки тюремщика сузились в точки, он испытывал невероятную боль, но лицо его по-прежнему было лишено какого бы то ни было выражения, он даже не пытался вырваться.

К моему удивлению, всегда скорый на расправу Алеша сейчас вдруг стряхнул мою руку с плеча Стража и заговорил ласково:

— Не трожь его, Добрыня. Или ты не знаешь — не поет флейта разбитая?

— Он что, немой?!

— Не сердь богатыря, Страж, горяч нынче Добрыня.

Словно дожидаясь именно этих слов, Страж запрокинул голову и безмолвно, как рыба, разинул рот. На месте языка у него был черный обрубок. Как видно, кому-то в Итили не понравилась разговорчивость его отца.

— Ладно-ладно, — продолжал все так же ласково Алеша, — никто тебя мучить не будет. Лучше вспомни, пожалуйста: Праксия, пятнадцать лет назад князем в тюрьму препровожденная. Заскучал по ней князь. Видать, Сила ее в нем зашевелилась. Если не доставить ему колдуньи этой, шума князь наделает, Итиль потревожит. А мы-то с Добрыней Итиль знаем и будить ее боимся. Миром все решить надо. Не можешь ты говорить, понимаем, но ответ-то все ж таки дай как-нибудь.

Страж посмотрел на Алешу пустыми глазами, потом повернулся и пошел в глубь коридора. Только я двинулся за ним, как он поворотился и выставил вперед ладонь, воспрещая мне путь.

— Мы здесь, здесь подождем, — ласково кивал Алеша. — Не бойся: не пойдет дальше Добрыня.

Когда Страж скрылся за поворотом, ласковое выражение тут же исчезло с лица Алеши, он нахмурился и, покусывая губы, стал к чему-то прислушиваться. Я же, как ни старался, не мог уловить ничего.

Мы прождали Стража долго. Наконец он бесшумно возник из-за угла и, не обращая никакого внимания на меня, прямоком направился к Алеше, что-то сжимая в кулаке. Подойдя совсем близко, он выставил кулак вперед и разжал ладонь. На ней лежали щепоть пепла и пять камушков.

Алеша радостно закивал:

— Понятно, спасибо, Страж, пять лет как скончалась Праксия, так и передадим князю, чтоб не рвал себе сердце попусту и Итиль не беспокоил зря. Ох, дай мне только пепел пальцем пошевелить...

Страж придвинулся к Алеше на полшага, в темноте почти неуловимо мелькнул Алешин кулак... Страж рухнул на пол как подкошенный.

Алеша наклонился над ним, вынул меч, вздохнул:

— Эх, старый я стал, мечом подранков добивать приходится. А раньше-то тем же самым кулаком весь дух вон вышибал... Пошли.

Перешагнув через мертвого, мы осторожно двинулись дальше.

— Слева хоромы его заветные, — шелестнул мне на ухо Алеша, — за угол поворачивай...

Комната, освещенная тем же тусклым светом, что и коридор, была без окон. Топчан, стол, две лавки, поставец с чарками, гневный лик бога Хорса в углу. Алеша, словно комната эта была ему знакома, без колебаний направился к столу, взялся обеими руками за крышку, резко рванул вверх... Обнажился неглубокий поддон. Он был разбит на ровные деревянные ячейки. Одни были пусты, в других лежало по целому ореху, в некоторых — по расколотому, во многих — камушки наподобие тех, что только что показал нам немой.

— Поди ж ты, счет ведут, — изумился я.

Алеша пожал плечами:

— А как не вести, небось часто проверяльщики приезжают... Не одна Ларна Итилью заведует... Шестьдесят семь мертвецов в подземелье лежат, двадцать девять пленников в ямах дрожат, а семерых пытаются еще... Давно не было новых гостей в Итили... Посмотри-ка! — И он со смехом дернул меня за рукав.

В двух крайних ячейках лежало по кусочку серебра. Алеша покачал головой, потрогал:

— От той самой дверцы, между прочим... Видишь — и мы с тобой здесь значимся. Всему счет ведет Итиль...

Дрожь прошла у меня по спине, занемели руки... Лицо Алеши сделалось невозмутимым, он выпрямился и положил руку на рукоять меча. Не глядя на меня, сказал:

— Ну что, пошли, Добрыня?

— Не могу, — молвил я, от стыда еле ворочая языком. — Страх меня сковал. Подождем немного...

Алеша помотал головой:

— Не выйдет. Уже начинает волноваться Итиль. Страж-то дохлым жуком на крыше ее валяется, почуяли собаки подземные, что душа живая прочь отлетела... Еще немного — перекроют и этот вход. А другого мы с тобой не знаем. Пошли.

— Мне б хоть дух перевести! — взмолился я. — Стыдно мне, Алеша, да не боец я сейчас! Дай хоть на улицу выйду, от страха продышусь!

Алеша нахмурился, взял меня за плечо:

— На улицу не пушу. Унесут тебя ноги прочь. Не дождусь тебя тогда, а ты, опомнившись, от стыда на меч бросишься. Не сладишь с собой: не по тебе Сила Итили. Ну да я с тобой... — И он с силой подтолкнул меня: — Ступай, Добрыня.

Алешина рука направляла меня прямо на глухую стену, в которой не было и намека на какой-либо проем, я еле передвигал ноги, небывалый ужас сковал меня, лишив и совести и рассудка... Дойдя до стены, я со стоном привалился к ней лбом и зажмурился. Тут Алеша

повелительно потряс меня за плечо, и я раскрыл глаза — в самый раз, чтобы увидеть, как он чертит мечом по стене, как ползут по камню трещины и как отворяется еще одна потайная дверь в Итили...

Пахнуло запахом запекшейся крови. Алеша подталкивал меня в спину, но я упирался, как ведомый на убой бык. Тогда Алеша просто швырнул меня в открывшийся проем, как несмышленного паренька, шагнул следом и тихо приказал:

— Давай руку!

Я вытянул сжатый кулак и почувствовал, как Алеша разжимает мне пальцы и всовывает в ладонь рукоятку Травня. Оказывается, я бросил свой меч на пороге Итили...

Сила, завещанная мечу Учителем, оживила меня. Пелена спала с моих глаз, свободно потекла по жилам кровь, расправились плечи, окрепли ноги... Я возвращался к жизни. Через мгновение я уже был собой.

— Вот и хорошо, — услышал я тихий голос Алеши. — Вперед.

Мы стояли в начале широкого низкого коридора, полого уходящего вниз. Далеко впереди, у поворота, за которым открывался путь Бог весть в какие глубины, горел красный глаз фонаря. Ни сомнений, ни страха у меня больше не было, и мы бок о бок направились вперед. Меч в моей руке похолодел. Это было неудивительно: мы вступали в великую обитель зла.

Красный глаз приближался. Пока что я не чувал поблизости ни души, но знал, что за поворотом беснуется неподвластная мне Сила. Я с горечью подумал, что даже мой Учитель не ведал всех тайн на земле, и покосился на Алешу. Ученик Святогора ступал мягко, как подкрадывающийся к дичи хищный степной кот, рот его был приоткрыт, глаза сияли от возбуждения. Он-то знал, что это за Сила и откуда она идет. Подавив горечь, я отвел глаза. Что ж делать, это действительно подвиг Алеши. Надо радоваться, если я окажусь ему щитом, а не обузой. И тут из-за поворота послышались шаги.

Слишком далеко, чтобы успеть добежать и перехватить. Слишком близко, чтобы успеть скрыться за дверью. Не сговариваясь, мы упали на пол и разметались как мертвые. Сквозь прищуренные веки я видел, что стены подземелья побагровели: шедший нам навстречу отряд нес яркие факелы.

Они вышли из-за поворота строем — девять стражей в кольчугах, по трое в ряду. Увидев нас, замерли на месте. Невнятный шепот, позвякивание оружия. Наконец отряд двинулся вперед, чтобы резко остановиться и замереть в десяти шагах от нас. Раздался хриплый голос:

— Это те, что сбежали.

— Да, и они живы.

— Я сам знаю, что они живы. Но где Наземный Страж?

— Наверное, он мертв.

— Кто пропустил их сквозь стену?

— Конечно, Страж.

— Да, они хитры... Не приближайтесь к ним. Польем их дождем. Приготовиться! Раз, два...

Прежде чем он сказал «три», мы с Алешей вскочили и стремительно бросились на них. В прыжке я взвыл от боли — что-то впилося мне в голень. Преодолевая боль, я набросился на растерявшийся отряд. В ближнем бою он немногого стоил: стражи Итили привыкли пытаться, а не драться.

— Одного оставь! — кричал Алеша, летавший по коридору, как сверкающий смерч; меч его блистал, как молния.

Пока Алеша добивал отступавших итильцев, я приставил меч к горлу одного из поверженных:

— Поведешь к главным воротам!

Итилец глянул на меня налитыми кровью глазами, исполненными лютой ненависти, потом резко подался вперед, насаживая свою глотку на меч... Прежде чем я успел отпрянуть,

он уже хрипел, и кровавые пузыри лопались у него на шее.

— Эх, и у меня никого не осталось! — кричал Алеша. — Хватай щит, без щитов не отбиться!

И впрямь, когда мы подбежали к повороту, оттуда градом полетели никогда не виданные мной короткие острые лезвия, наподобие того, что уже сидело в моей плоти, причиняя жуткую боль. Итильцы держали их щепотью и метали не меньше, чем на десять саженей. Если бы не подхваченные щиты, дальше этого поворота нам бы не пройти: лезвия летели с такой силой, что завязали даже в кованом щите.

Однако поворот был пройден, сметен был и итильский заслон. К девятерым павшим добавились еще шестеро.

— Смерть Итили! — кричал Алеша, добивая врагов. — Смерть!

Гулкое эхо подхватывало его крик и несло далеко под землю. Мы помчались вперед, к главным воротам...

Нас уже никто не останавливал, не было времени задерживаться и у нас, и мы, сжав зубы, неслись по этому царству страха, освещенному багровыми факелами. По пути нам попадались лишь остолбеневшие палачи у пыточных станков, замершие с окровавленными клещами, горящими головнями и раскаленными иглами в руках. Мы отсекали им руки, некоторые лишились и головы. Привязанные к столбам пленники с невероятной мольбой в глазах беззвучно разевали разорванные мучителями рты, но мы не могли остановиться ни на миг. Ужас, как снежный ком, рос в моем сердце: откуда-то издалека, из глубин, к нам метнулась потревоженная Ларна.

Коридор пошел вверх, и, миновав еще три развилки, мы оказались в обширном каменном зале. Прямо в глаза нам бил тонкий голубой луч. Мы уткнулись в главные ворота Итили, и это был дневной свет.

Что было силы мы бросились на ворота, но они даже не дрогнули, словно мы были две невесомые бабочки, а не рослые богатыри в доспехах, только гром прокатился по залу, с рычанием отдаваясь под землей. Ни замков, ни запоров на воротах не было, не было на виду и петель: да, не мастеровые ладили эта врата, а сама древняя Сила Таматархи!

Между тем из нижних коридоров к нам приближались жуткие лай и вой: это летела к главным вратам рассвирепевшая Ларна... И тут Алеша стал лицом к проходу, из которого должно было выскочить лиловое слюнявое чудовище, расставил ноги, поднял правую руку с мечом над головой и громовым голосом закричал:

— Святогор! Святогор!!!

Ровным гулом отозвались стены, оглушительно взлаяла Ларна, в этот миг выбегавшая из-за поворота, Итиль содрогнулась, из ворот хлынул свет, меня подняло в воздух, вынесло наружу и швырнуло чуть ли не в самое солнце.

Грохот сотрясал Тмуторокань. Я лежал на площади перед входом в тюрьму, рядом со мной барахтался Алеша, а перед нами шевелилась Итиль, как проснувшееся чудовище. Двери ее медленно закрывались, из них било лиловое пламя, видно было, как беснуется Ларна, не осмеливающаяся перепрыгнуть через порог. Наконец задрожал грозный купол, воздвигнутый Сильными, задрожал, заколебался и с невыносимым грохотом развалился. Я оглох и почти ослеп, а когда зрение вернулось ко мне, я увидел, как в клубах пыли пляшут языки лилового огня и как руины на глазах проваливаются под землю... Тут налетел холодный вихрь и бешено закружился над площадью. Когда он исчез так же стремительно, как и возник, моему взору предстало черное пепелище. Руины Итили ушли под землю, и на поверхности осталась невысокая горка мелкого щебня. Позади меня во весь голос вопила потрясенная Тмуторокань, в глазах моих стояли слезы. И тут, несмотря на вопли, плач и крики, я отчетливо услышал тихий голос Алеши:

— Сделано.

Я обернулся и тут же вскочил на ноги: Алеша лежал ничком на земле, и ярким белым огнем полыхала его безжизненно поникшая правая рука...

Я подхватил его, как перышко, и бегом бросился прочь от руин. Толпы на улицах

испуганно расступались, как вода, гонимая ветром, смолкали крики, высыхали слезы. Уже совсем недалеко был княжий терем... Задыхаясь на бегу, я заглянул в лицо друга. Глаза его закатились, он еле дышал. Я мельком глянул вниз, на его увечную руку, и не сдержал стона: серебряный огонь пропал, и ладонь стала чернеть на глазах. После этого время для меня остановилось.

Знахари, колдуны и прорицатели толклись во дворе днем и ночью. Под страхом смерти им было запрещено отлучаться. Эта пестрая толпа гомонила дни напролет, и из Алешиной комнаты их разговор казался мне карканьем воронья.

Алеша умирал. В сознание он больше не приходил. Рука его была похоронена глубоко в руинах Итили: я отсек ее, как только добрался до княжеского двора. Однако это не помогло. Не помогло и мое умение врачевать. Собравшиеся целители бледнели от страха и трясли головами: никто не мог понять, что это за болезнь, ясно было только, что она наслана Силой Итили. Испробованы были все средства, некоторые настолько отчаянные, жестокие и отвратительные, что я о них и вспоминать не хочу. Ничто не помогло, улучшения не наступало.

Алеша лежал спокойно, не метался, не бредил, жара не было, напротив, его постепенно сковывал холод. Его не согревали ни медвежьи шкуры, ни раскаленный очаг, ни сильное питье, ни заговоры. Глаз он не открывал и вообще не подавал ни одного признака жизни, кроме слабого прерывистого дыхания.

Так он пролежал три дня и две ночи. На третий день, ближе к полудню, в комнате вдруг потемнело. Я выглянул в окно: с севера на Тматорокань наплывало темно-синее облако. Оно летело быстро, и даже хотелось сказать, что оно куда-то очень спешило. Вскоре выяснилось, куда это облако летело и зачем.

Оно остановилось над городом, и над Тматороканью разразился небывалый ливень. Его струи были с мой палец толщиной. Они прибили к земле всю зелень и местами разворотили даже крыши.

Ливень бушевал нескончаемо долго. Лицо Алеши налилось белизной. Кончики его пальцев шевельнулись и беспомощно заскребли по постели. Я стал на колени и заплакал.

И тут прямо перед Алешиной кроватью с потолка вдруг пролилась струя воды. Она вилась вокруг своей оси, журчала и сияла чистым зеленоватым светом. Как только она коснулась земли, Алеша резко вздохнул, повел плечом и отошел.

Ливень продолжался еще несколько мгновений, потом перестал. Облако растаяло, но солнце не вернулось на небо. На сорок дней над Тматороканью повис туман.

Я похоронил Алешу в степи. Долго искал место, наконец выбрал маленькое урочище. Там в дубовой роще из-под земли бил родник. Я выкопал яму в два богатырских роста, выстелил ее душистыми травами. Свистнул Алешиного коня, перерезал ему горло и столкнул на дно. Сверху наложил дубовых ветвей. На ветви лег Алеша. Лицо его было спокойно. Мне даже почудилась тень его лукавой усмешки. Я вложил ему в руки меч и прикрыл тело плащом. Отмолившись над ним с рассвета до заката, я стал забрасывать яму землей.

Тматорокань медленно отходила от пережитого ужаса. К руинам Итили было запрещено приближаться. Похоронив Алешу, я провел на них три недели, однако, думаю, многого не достиг. По моему совету князь Мстислав на веки вечные запретил городу вонзать в землю лопату. Помимо всего прочего, это означало, что новое строительство больше невозможно и что Тматорокани века через два придет конец. На это место вернется степь, а люди откочуют на север, к Сурожскому морю, или через пролив, в Корчев. Что ж, это лучше, чем жить в руинах Итили.

Горожане ликовали. Подземелий и их безжалостных стражей можно было больше не бояться. Что же до погибших в Итили пленников, то споров на этот счет не было: они приняли быструю смерть, избавившую их от адских мучений.

Каждый день горожане осаждали княжий двор с просьбами устроить празднество. Князь отвечал всем одинаково: «Подождите, пока уйдет туман».

На сорок первый день после Алешиной смерти туман рассеялся, выглянуло солнце, и в городе застучали топоры и молотки — готовились столы и помосты. Я хотел уехать в ту же ночь, но Мстислав упросил меня остаться:

— Хоть три дня еще меня не бросай. Великой Силой вы Итиль взяли, дай под Силой этой хоть чуть-чуть еще походить.

— Алеша Итиль взял. Не я.

— Понятно это мне. Но все же...

В назначенный день по всему городу накрыли столы, зазвенели знаменитые тмутороканские бубны и трубы, толпами повалили в город званые касоги... Озирая веселье с высокого княжеского помоста, Мстислав вдруг наклонился ко мне и шепнул:

— У меня все ливень тот из головы не идет... Почему Алеша в дождь ушел, а не в молнию?

Я с отвращением посмотрел в хитрые глаза любопытствующего князя:

— Потому что пожар в городе твоём боги тушили.

Лицо князя просияло.

— Так теперь счастливо правление мое будет?!

Не знаю, как я удержался, чтобы не снести в тот же миг Мстиславу голову с плеч. Только-только ушел в землю Алеша, а уж загорелись алчные глаза, залопотали глупые языки, даже в смерти его выгоду ищущие. Боровы тупорылые! Не вам о богатырях умерших судить! Не вам Алешино имя произносить устами червивыми! Положить бы на вас проклятие страшное, чтоб и в мыслях не касались вы великих мертвых своих!

Но не положил я проклятия никакого и голову князю не срубил, а вместо этого чашу с вином поминальным молча допил, с помоста спрыгнул и пошел куда глаза глядят.

Но ушел я недалеко, и попал я в беду большую, какой не чаял, потому что подняли меня на плечи хмельные тмутороканцы и понесли по городу, и осыпали меня цветами девицы, и кланялись мне в землю старухи, и трубили в мою честь проклятые южные горны... И не было у меня сил ни головы рубить, ни плакать, ни кричать, ни стонать, ни беспмятствовать, ни помнить, саднило все нутро мое, как незажившая рана, и хуже крючьев Итили рвала мне сердце ликующая толпа, несущая меня на плечах с возгласами: «Слава Добрыне!..»

Я ушел из Тмуторокани в ночь. Тьма не утихомирила город, гуляки слонялись даже по княжескому двору, на который я зашел за своим конем, и, завидев меня, падали пьяные гуляки ниц, и хватали меня за стремяна, умоляя пробыть в городе обещанные три дня... Не было у меня сил больше терпеть, и пнул я просившего сапогом в лицо, и хлестнул коня плетью, и понесся прочь из проклятого города.

В степи я спешился, лег и приник ухом к земле.

Где-то далеко-далеко, в невообразимой глубине, слышался тоскливый протяжный вой: это тосковала по Итили бездомная Ларна.

На берег Варяжского моря я добрался к зиме. Тусклая тоска гнала меня туда. Я решил уходить с Русской земли в заснеженные Рифейские горы.

Там, в светлых лесах у воды, я и буду теперь жить до скончания своих дней, обрастать мхом, как валун, уходить в землю, как дерево. Может быть, из-под земли мне станут слышны голоса моих мертвых друзей... Никогда ни один смертный больше не получит от меня ни защиты, ни совета. Я, Добрыня, тайный богатырь князя Владимира, ученик Никиты, друг Ильи и Алеши, ухожу ото всех в безмолвие. Я не хочу больше молиться богам, мне противна моя Сила, я больше не ищу никакого знания. Раз в год, по весне, я буду посылать матери весть, что жив. В остальном же я забуду о мире. И пусть мир забудет обо мне. А если кто все ж таки отыщет меня и придет в мою водянистую даль за советом, он встретит только холодный пустой взгляд, неподвижные губы и окаменевшее тело. А если этот кто-то будет Сильным, то он почует мою тоску и заболеет ею, и это будет еще малым наказанием тому, кто придет будоражить вросшего в землю богатыря.

Да! Я остался последним богатырем на Русской земле. Выбито и перемерло наше семя,

нет и никогда больше не будет на земле созвучного мне сердца.

Страшен был конец моих товарищей. Нехорошей смертью померли мои пращуры Микула и Вольга. Волком-оборотнем стал своевольный Микула, поганым зайцем скакал по земле тщеславный Вольга. У приоткрытой дверки своей спит в уходящей в землю избушке великий Святогор. В черниговской земле лежит сраженный Скимой Учитель. У Алатырь-камня похоронен умерщвленный Волхвом могучий друг мой Илья. В степном урочище лежит веселый, последний, любимый мой товарищ — настигнутый белым пламенем Итили Алеша... Нет, жестоки боги, жестоки, своевольны и равнодушны, и нет на свете правды!.. Но пусть правды нет и пусть равнодушны боги, лишь бы билось рядом родное сердце. А как замолчит оно, так и смысла нет дальше жить на земле.

С такими мыслями выехал я на берега Варяжского моря. Зима сковала кромку воды смятым мутным льдом, из-за моря несло холодом, небеса стали ровны и одноцветны, как саван, все живое прибилося, замерло, ушло. Хмура, бессильна, покорна и скучна лежала передо мной земля. Не веселее было и море.

Я поехал краем воды. Вечерело. К утру я должен был выехать к переправе на Луге. На этом мой путь по Русской земле кончится. Я молвлю тайное слово, и Ярославова ладья неспешно понесет меня на заход, через все это молчаливое море, в белоснежную страну забвенья.

Путь мой лежал через жалкую промокшую деревеньку. В ней и было-то всего домов пять, построенных в расчете на то, что направляющиеся за море люди захотят перековать коня или что им потребуется ночлег. Однако за море ходили не бедные люди, и услуги нищих их не интересовали. Я поехал шагом, мрачно глядя на людскую нужду, тщету и глупость.

За деревушкой начиналась скованная ледком топь. Она не успела промерзнуть до дна, и под слюдяным покровом бойко сновали мелкие полосатые окуньки. Тут же на берегу стоял босой, переминающийся с ноги на ногу, посиневший от холода мальчишка. Он зачарованно разглядывал окуней. Он поднял на меня глаза, вздрогнул и мгновенно потупился. Я остановился.

Налетел порыв ярого зимнего ветра, и волосы мальчишки разметались, обнажив белые замерзшие уши. Кругом было так неприятно, как может быть только в северном краю зимой. Я задумчиво смотрел на застывшего мальчика. Хорошая же жизнь его ждет. И зачем только пускаем мы в мир новые души?

— Ну что, рыбак, — спросил я со вздохом, — дать тебе грош?

Мальчишка молча потряс головой, не отрывая глаз от воды.

— Сапоги себе купишь.

Он прошептал что-то такое, чего я не разобрал.

— Явственней говори, не с рыбой беседуешь.

Мальчишка глянул на меня исподлюбья — с обидой:

— А я с рыбой и говорю.

— Рыбу есть нужно, о чем говорить-то с ней...

Он сердито повел плечом:

— Ох, дядя, дальше езжай, уж и так из-за тебя все окуни разбежались, мне их теперь до утра собирать — не собрать.

Я невесело засмеялся:

— Хочешь, слово скажу — и вернутся к тебе окуни твои и даже на берег сами выпрыгнут?

Мальчишка нахохлился:

— Я вот сам сейчас слово скажу — и дальше ты, дядя, поедешь.

— Далеко ль?

— Нет, дальше переправы не дорога тебе.

Я усмехнулся:

— Да уж дальше переправы в ваших краях кататься незачем.

Мальчишка в досаде хлопнул себя по бокам, нахмурился, глянул на моего коня и что-то прошептал. Конь храпнул и неуверенно сделал два шага вперед.

В следующий миг резко пришпоренный мною конь в один мах перелетел через топь и приземлился рядом с мальцом. Тот в испуге присел на корточки и спрятал голову в колени. Я пристально глядел на него сверху. Соломенные волосы разметались, острые позвонки выгнулись дугой на тоненькой шее.

— Эй, Ерш Ершович, как звать-то тебя?

Мальчишка, все еще трясаясь от страха, исподлобья глянул на меня:

— Алеша...

Заунывно кричали чайки, море плескалось о лед, в леске хрустнула ветка под ногой неосторожного зверя. Сумерки быстро сгущались, и дрожащий на холодной земле мальчишка на глазах исчезал в стылой туманной мгле.

— Прыгай в седло, — сказал я, глядя на море, охваченное уже совершенной чернотой. На краткий миг мне показалось, что именно оттуда, из-за предельной черты, смотрят сейчас на меня глаза моих товарищей.

Но видение это прошло, как не бывало, и я вновь видел перед собой то же, что и прежде: чахлый мокрый залив. — Прыгай, — повторил я решительно.

Мальчишка молча выпрямился и, широко раскрыв глаза, серьезно смотрел на меня. Я нагнулся, подхватил его под мышки, поднял с земли и усадил на коня перед собой. Мальчишка дрожал мелкой дрожью, боялся свалиться вниз, побаивался прислониться ко мне и обеими руками цеплялся за конскую гриву.

— Поехали.

— Куда? — прошептал он, не оборачиваясь.

— Сапоги тебе покупать... Да не цепляйся ты так, конь уж что думать не знает... Пока я рядом — не упадешь...

Я тронул коня, и прочь поплыли замерзшая топь, лесок, тропка... Мальчишка обернулся на оставшуюся позади деревню, насупился, сжал зубы, чтоб не расплакаться. Потом взор его наткнулся на рукоять моего меча. Он вытер глаза, коротко вздохнул и искоса глянул на меня:

— А меч ты мне дашь подержать?

Я ударил коня по бокам, и он понес нас крупной рысью напрямик в наплывающую темноту, на восток. Все скрылось из глаз: и земля, и небо, и море. Теперь я ясно видел только одно — светлую голову подпрыгивающего передо мной в седле ученика.

— Дам, — сказал я. — Конечно, дам.